



СЕРИЯ
«ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА»

Документы
и материалы



Г. С. БАТЕНЬКОВ

СОЧИНЕНИЯ И ПИСЬМА

ТОМ 1

ПИСЬМА
(1813—1856)

Иркутск Восточно-Сибирское книжное издательство 1989

Издание подготовлено
А. А. БРЕГМАН,
Е. П. ФЕДОСЕЕВОЙ

Ответственный редактор
С. Ф. КОВАЛЬ

Рецензент *С. С. ВОЛК*

Покушение 14 декабря не мятеж <...>, но первый в России опыт революции политической, опыт почтенный в бытописаниях и в глазах других просвещенных народов.

Г. С. Батеньков

ДЕКАБРИСТ ГАВРИИЛ СТЕПАНОВИЧ БАТЕНЬКОВ

Декабрист-сибиряк Гавриил Степанович Батеньков занимает в движении декабристов особое, выдающееся место. Герой Отечественной войны 1812 г., храбрый офицер-артиллерист, друг и соратник М. М. Сперанского, деятельный участник его сибирских реформ, инженер, архитектор, оригинальнейший философ и мыслитель, человек с умом государственного деятеля, поэт, литературный критик, активнейший участник подготовки восстания 14 декабря на Сенатской площади, декабристский кандидат во Временное революционное правительство. Его богатая биография, полная героизма и драматизма, занимала и современников, и потомков. Его жизнь и деятельность, «загадка» 20-летнего заключения в Алексеевском равелине Петропавловской крепости и многогранное творчество изучались и анализировались в трудах историков и литературоведов, юристов и философов, общественных деятелей, краеведов и архитекторов.

Первый биографический очерк о Г. С. Батенькове был напечатан через 26 лет после его смерти[1]. В 1918 г. Батенькову посвятил статью известный советский литературовед, знаток декабристской эпохи Б. Л. Модзалевский[2]. В 1947 г. Е. П. Федосеева защитила кандидатскую диссертацию: «Декабрист Г. С. Батеньков (опыт биографии)».

О Батенькове написаны две монографии[3]. В ряде ста-

---

[1] Ореус И. И. Гавриил Степанович Батеньков: Историко-биографический очерк // Рус. старина. 1889. № 8. С. 301—362.

[2] Модзалевский Б. Л. Декабрист Батеньков: Новые данные для биографии // Рус. ист. журн. 1918. Т. 5. С. 101—153.

[3] Бородавкин А. П., Шатрова Г. П. Декабрист Г. С. Батеньков. Томск, 1960; Карцов В. Г. Декабрист Г. С. Батеньков. Новосибирск, 1965 (далее: *Карцов*).

тей освещаются общественно-политическая, научная и литературная деятельность декабриста, участие его в подготовке реформы Сибирского управления, работа в должности инженера Корпуса путей сообщения по созданию архитектурных и гидротехнических сооружений, прокладке дорог и строительству мостов [4].

Достойное место отведено Г. С. Батенькову и в трудах по истории развития общественной мысли и революционного движения в первой четверти XIX в., накануне и в период первой революционной ситуации (1859—1861) в России и в трудах по истории государственных преобразований [5].

Материалы о службе, научной и общественно-политической деятельности, а также письма публикуются уже с конца XIX в.[6] Но многое еще не опубликовано [7].

Почти все авторы работ о Батенькове, созданных за сто с лишним лет, несмотря на различия оценок и отдельных выводов, видели в нем одного из выдающихся деятелей Северного общества декабристов, всесторонне одаренного, незаурядного человека, высокоэрудированного мыслителя.

Гавриил Степанович Батеньков родился 28 марта 1793 г. в г. Тобольске. Он был двадцатым ребенком у шестидесятилетнего отставного обер-офицера Степана Батенькова. Имени матери установить не удалось, но известно, что она была из мещанско-купеческого рода сиби-

---

[4] Перечисление всех статей отняло бы слишком много места, поэтому отсылаем читателя к библиографическим указателям: Движение декабристов: Указатель литературы / Сост. Р. Г. Эймонтова. М., 1960, 1983.

[5] Отметим лишь некоторые: Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 1, 2; Она же. День 14 декабря 1825 года. М., 1975 (далее: *Нечкина*); Семенова А. В. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982 (далее: *Семенова*); Минаева Н. В. Политические идеи Сперанского, Карамзина и Пестеля. М., 1983.

[6] Восстание декабристов. Материалы. М., 1976. Т. 14 (далее: *ВД*); Западный В. А. Следственное дело Г. С. Батенькова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. 1984. № 4. С. 54—56; Илюшин А. А. Поэзия декабриста Г. С. Батенькова. М., 1978 (далее: *Илюшин*).

[7] См. обзоры архивных фондов: Иванова Л. М. Фонд Г. С. Батенькова // Записки ОР ГБЛ. М., 1952. Вып. 13. С. 43—56; Коншина Е. Н. Архив Елагиных и Киреевских // Там же. 1956. Вып. 15. С. 18—27.

ряков Урванцевых. Отец декабриста женился на ней после смерти первой жены.

Детство Батенькова протекало в патриархальной религиозной семье, где даже пожилой отец не мог ничего решать без ведома своих родителей. Религиозность воспитывалась в ребенке с младенчества. Первые уроки своего воспитания и познания окружающего мира Батеньков связывает с именем «дяди Осипа», посетившего Тобольск проездом на Алеутские острова, откуда ездил «с отчетом и за милостями императрицы по подвигам Шелихова»[8]. К сожалению, фамилию первого воспитателя двухлетнего Батенькова достоверно установить затруднительно. Можно предположить, что это был любознательный и деятельный сподвижник Г. И. Шелихова по российской торговой компании поручик Осип Арканов, заседатель Нижнекамчатского земского суда[9]. Географический атлас, подаренный им мальчику, стал для него «классическою книгою», с которой и началось образование Батенькова.

Первоначальные основы грамоты мальчик приобрел самостоятельно. По словам Батенькова, он научился читать и писать с помощью букв, рисованных на карточках. «Писать начал вдруг сам, без приготовления, разумеется, не каллиграфически и едва ли не прежде всего татарскими буквами»[10].

После смерти отца Батеньков был определен в Военно-сиротское отделение Главного народного училища в Тобольске. В дни сиротского отрочества он дружил с молодым живописцем — учеником художника, родственника матери. В его мастерской он часто бывал вместе с другими учениками. Батеньков вспоминал: «Во время продолжения работ мы, незанятые, следили с любопытством и за приготовительной техникой <...> и в то же время, кто мог, читал книги, а после, как умели, старшие разбирали их. Живительнее всего были сочинения Карамзина: «Путешествие», «Аглая», «Безделки». Иногда восторгались и парили с Державиным и находили ближе к сердцу Дмит-

---

[8] Батеньков Г. С. Данные. Повесть собственной жизни // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. М., 1933. Т. 2. С. 88.

[9] *ЦГАВМФ.* Ф. 913. Оп. 1. Д. 247. Л. 49 а.

[10] Батеньков Г. С. Данные. Повесть собственной жизни. С. 101.

риева, Богдановича, Долгорукова»[11]. Круг чтения Батенькова в тобольском кружке молодежи и часы, проведенные им в мастерской художника, закладывали основы будущей политической осторожности и умеренности и формировали художественные наклонности будущего строителя и архитектора. Юношеские интересы Батенькова видны из его показаний Следственному комитету 22 марта 1826 г., которые он сам назвал «полной биографией»: «Первые мысли о выгодах свободного правления и привязанность к оному, как обыкновенно бывает, получил я во время обучения истории. Древние греки и римляне с детства сделались мне любезны, но природные мои склонности влекли к занятиям другого рода: я любил точные науки и на 15 году возраста знал уже интегральное исчисление, почти самоуком»[12].

В 1811 г. восемнадцатилетний Батеньков покинул Тобольск — он был зачислен в Дворянский полк при 2-м кадетском корпусе в Петербурге. Через год учебы, в начале Отечественной войны 1812 г., юный сибиряк был выпущен из корпуса прапорщиком артиллерии. В корпусе началась его дружба с будущим «первым декабристом» Владимиром Федосеевичем Раевским. В показаниях от 22 марта 1826 г. Батеньков написал: «<...> я подружился с Раевским <...>, с ним проводили мы целые вечера в патриотических мечтаниях, ибо приближалась страшная эпоха 1812 года. Мы развивали друг другу свободные идеи, и желания наши, так сказать, поощрялись ненавистью к фронтовой службе. С ним в первый раз осмелился я говорить о царе, яко о человеке, и осуждать поступки с нами цесаревича. В Сибири, моей родине, сие не бывает»[13]. Последние слова свидетельствуют о появлении у Батенькова еще в начале самостоятельного жизненного пути интереса к политическим проблемам, связанным с «патриотическими мечтаниями».

21 мая 1812 г. прапорщик Батеньков поступил в 13-ю артиллерийскую бригаду корпуса генерала от инфантерии Остен-Сакена и осенью 1812 г. принял участие в боевых операциях. В 1813—1814 гг. участвовал в заграничных

[11] Там же. С. 99.
[12] *ВД*. Т. 14. С. 93.
[13] Там же. Цесаревич — вел. кн. Константин Павлович — был главным начальником пажеского и кадетских корпусов.

походах русской армии. 8 января 1813 г. вступил в Силезию, 7 августа того же года в сражении у селения Крайнбау командовал двумя орудиями и получил первое ранение. 17—19 сентября сражался при г. Мейсене. Во время вражеской вылазки из крепостей Виттенберг и Магдебург 4 октября того же года «чрез расторопность свою спас и доставил к армии артиллерийские снаряды, будучи между неприятельскими войсками». За этот подвиг Батеньков получил чин подпоручика и 20 декабря вместе с бригадой вступил во Францию. В январе 1814 г. участвовал в сражениях при г. Вакулере, местечке Бриень ле Шато и в генеральном сражении при селении Ларотьер «при разбитии главной французской армии», за отличия в которых награжден орденом св. Владимира 4-й степени с бантом.

30 января 1814 г., прикрывая отступление корпуса при местечке Монмираль, получил десять штыковых ран, взят в плен, из которого был освобожден 10 февраля того же года генерал-майором И. И. Дибичем. А уже с 15 марта по 4 апреля командовал двумя орудиями батарейной роты № 10 в составе прусского корпуса при блокаде крепости Мец. 31 июля вернулся с войсками в Россию вместе со своей 13-й бригадой, переименованной в 27-ю.

13 декабря 1814 г. Батеньков получил отпуск «для излечения ран» и уехал в Тобольск к матери. В Тобольске он явился к начальнику 10-го округа инженеров путей сообщения инженер-полковнику Риддеру и заявил о своем желании перейти из артиллерии на службу в Корпус инженеров путей сообщения. Однако вызванный из отпуска 1 апреля 1815 г., Батеньков получил назначение в корпус генерала от инфантерии Дохтурова и вновь оказался в заграничном походе[14]. С 22 по 25 июня 1815 г. он принимал участие во второй блокаде крепости Мец, а затем, по 30 августа, «следовал до города Вертю». 24 декабря вместе с армией вернулся в Россию.

Военно-походная жизнь сыграла большую роль в жизни Батенькова. Начитанный, остроумный, отважный сибиряк оказался в центре дружеской офицерской компании и получил доброе прозвище Книжник. Во время войны

---

[14] Здесь и далее сведения о прохождении службы взяты из формулярного списка подполковника Батенькова — *ВД*. Т. 14. С. 30—34; см. также: *ЦГВИА*. Ф. ВУА. Д. 4167. Л. 40 — список отличившихся в сражении у Монмираля (из журнала исходящих бумаг 27-й пехотной дивизии за 1814 г.).

он стал «походным поэтом», о чем вспоминал спустя многие годы. Особый интерес у него и его друзей (Елагина, Паскевича, Бердяева и других) вызывали философские проблемы. Увлечение немецкой идеалистической философией Шеллинга и Канта стало источником дружеских бесед и споров, которые друзья называли «галиматейной философией». Себя участники этих споров и бесед называли «галиматейными философами». В своей переписке они пользовались условной терминологией, заимствованной у масонов. Отсюда же и шуточное название дружеской компании «Кагал» (от древнееврейского kahal — собрание, община).

Вернувшись в Россию в конце 1816 г., Батеньков продолжал служить в артиллерии. Но военная служба уже тяготила его. 7 мая 1816 г. прошение об увольнении с чином, мундиром и пенсией было удовлетворено. Но указ об отставке Батеньков получил только в марте 1818 г. уже в Сибири.

Этот уход с военной службы следует рассматривать как протест против аракчеевского произвола, воцарившегося в армии после окончания Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813—1815 гг. Сам Батеньков об этом периоде своей жизни так писал в показаниях Следственному комитету: «Война представила мне поучительную картину; но я выходил из строя за ранами, должен был беспрестанно лечиться и *продолжал свое образование* <...>. Военной славы не искал, мне всегда хотелось быть ученым или *политиком*. Во время двух путешествий за границу мысли о разных родах правления практическими примерами во мне утвердились, и я начал иметь желание видеть в своем отечестве более свободы»[15] (курсив мой. — *А. Б.*).

Гавриил Степанович твердо решил, уйдя с военной службы, заняться науками и стать инженером. Друзья сочли это решение опрометчивым, так как в военной карьере они видели гарантию материального достатка и продвижения по служебной лестнице. Предупреждения и уговоры друзей не остановили Батенькова. Он воспользовался данным ему еще в 1815 г. разрешением готовиться к экзаменам в Институт Корпуса инженеров путей сообщения и прибыл в Петербург. В это же время он стал

---

[15] *ВД*. Т. 14. С. 93.

членом столичной масонской ложи «Избранного Михаила», которая впоследствии превратилась в одну «из побочных вольных организаций Союза благоденствия». Членами этой ложи были многие будущие декабристы: Николай Бестужев, братья М. и В. Кюхельбекеры, Ф. П. Толстой, Ф. Н. Глинка и другие. Вступление Батенькова, как и других декабристов, в масонскую ложу было не столько данью аристократической моде, сколько стремлением использовать масонские организационные формы для углубления и развития оппозиционных настроений, нравственного совершенствования. Передовые члены ложи использовали ее для формирования антифеодального общественного мнения — обязательного условия успешного становления и развития тайных декабристских обществ.

5 октября 1816 г., успешно сдав экзамен в институте, он получил звание инженера 3-го класса и назначение по его «прошению и желанию» («на помощь престарелой матери») на службу в 10-й (Сибирский) округ. 21 ноября Батеньков прибыл в Тобольск к полковнику Ф. Ф. Ридеру.

Вероятно, именно тогда он получил стихотворное «Послание» от В. Ф. Раевского, написанное еще в 1815 г. Поручик Раевский служил в то время в Каменец-Подольске адъютантом командующего артиллерией 7-го пехотного корпуса. Он был центром дружеского кружка офицеров-единомышленников, мечтавших «о благоденствии народа». В знак дружбы члены кружка носили железные кольца. Вспоминая дни Отечественной войны 1812 г., Раевский обращается к другу — участнику заграничных походов:

Почто ж зовешь меня, мой друг,
Делить все радости с тобою!
Могу ль покоем обладать?
Пловец над пропастью бездонной
В отчизне милой, но безродной,
Не ведая, куда пристать,
Я в море суеты блуждаю,
Стремлюсь вперед, ищу пути
В надежде пристань обрести
И — снова в море уплываю [16].

Послание Раевского не могло оставить равнодушным начинающего инженера, мечтавшего быть полезным роди-

---

[16] Раевский В. Ф. Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск, 1980. Т. 1. С. 9—13, 107—109 (далее: *Раевский*).

не. Но дел в Тобольске ему не нашлось. Бездеятельность и долгое отсутствие писем от А. А. Елагина, друга-однокашника, навевали на Батенькова грустные мысли. По просьбе генерал-губернатора Сибири И. Б. Пестеля Главное управление путей сообщения предписало Батенькову принять на себя техническое руководство инженерно-строительными работами в Томске, необходимыми для приведения в порядок городских улиц и укрепления набережной реки Ушайки. В конце марта 1817 г. Гавриил Степанович приступил к работе. Его увлекла новая деятельность и особенно идея строительства моста через р. Ушайку. «Три короба наболтал я об укреплении берега реки, теперь занимаюсь проектом моста, и хочется построить оный аркою из железа на каменных быках»,—писал он другу 24 мая 1817 г.[17]. Но строительство моста зависело не столько от местного, сколько от петербургского начальства. Поэтому, ожидая решения Главного управления, Батеньков проектировал пока перестройку ключа, снабжавшего жителей питьевой водой. Согласия на строительство моста по своему проекту он не получил и был вынужден строить по «образцовым чертежам», утвержденным без учета специфики отдельных районов империи. Поэтому вместо «большого железного моста» началось возведение деревянного, утвержденного томским губернатором. Одновременно шло строительство ключа по проекту Батенькова, также не одобренному петербургским начальством, избегавшим лишних хлопот во всем, что касалось благоустройства отдаленных от столицы губерний.

Свою службу в Томске Батеньков считал хлопотливой и требующей значительной отваги, поскольку работы велись колодниками — ссыльными арестантами, закованными в цепи, или местными жителями в порядке повинности, т. е. людьми, работающими по принуждению, без необходимых знаний и опыта. А придирки местного начальства, препоны со стороны чиновников Главного управления отражались на настроении Батенькова. Любя всегда Сибирь как свою родину, в этот период он с горечью написал: «Сибирь мне не нравится, но <...> не смею подумать о всегдашнем переселении за черту Урала. <...> Я, видно, родился для того, чтоб терпеть, живу

---

[17] Письмо 13.

редко так, как хочу, и мало имею способов угождать себе»[18].

Заявление это было не совсем справедливо. Именно тогда Батеньков уже наладил дружеские отношения со многими сибиряками, ставшими ему близкими на всю жизнь. Он организовал с этими друзьями Томскую масонскую ложу, которая через своего казначея Н. И. Кусова поддерживала связь со столичной «ложей-матерью» «Избранного Михаила». В своих показаниях Батеньков об этом говорил: «Жил довольно долго в Томске, где из семи или восьми человек составили мы правильную масонскую ложу, и истинно масонскую, ибо кроме добра ни о чем не помышляли»[19]. Тогда же Батеньков влюбился в свою дальнюю родственницу Прасковью (Полину) Аргамакову. Так что его недовольство жизнью можно объяснить главным образом служебными трудностями и отдаленностью близких ему по духу друзей, живших в столицах и связанных с видными деятелями русской культуры. Поэтому он так настойчиво просит А. А. Елагина прислать сочинения В. А. Жуковского: «Тебе известно, что я люблю словесность, и, следственно, прочесть хорошие творения всегда мне приятно, <...> сблизь нас более и более, я буду писать к нему»[20].

Контрасты в настроении были результатом критических размышлений о тяготах жизни людей, ссылаемых подчас безвинно в Сибирь на каторгу и в ссылку, о бедности местных жителей, принуждаемых к трудовой повинности, справиться с которой они не могли из-за своей нищеты. Батеньков неоднократно писал о нецелесообразности для экономики государства использовать на стройках подневольный труд, так же как и при других формах деятельности. Он утверждал, что вольный рабочий сможет работать гораздо лучше и добросовестней, так как будет заинтересован в результате труда, от которого зависит его заработок.

Несмотря на все неприятности томской службы, придирки начальства, недоверие сослуживцев, тоску о далеких друзьях и интересной жизни в столице, Батеньков не может оставить Сибирь. Он утверждает: «Родимая сторо-

---

[18] Письмо 14.
[19] *ВД*. Т. 14. С. 94.
[20] Письмо 15.

на образует наши привычки, склонности и образ мыслей; <...> служить в Сибири я никому не желаю, но жить в ней согласен до последнего издыхания»[21]. Уехать из Сибири не позволяло ему и чувство долга перед матерью: «Я привязан к Сибири волею матери, я одну ее имею, и прочее все мне чуждо по крови. Опять от нее удалиться для меня страшно, особливо когда нужды и болезни не оставляют меня преследовать»[22].

В Томске он завел новые знакомства. Читал на вечерах в томских домах поэмы Жуковского «Людмила» и «Громобой», писал стихи, занимался переводами и ждал отпуска. Но вместо отпуска 3 января 1818 г. Батеньков снова отправился в Тобольск для вступления (временно) в должность управляющего 10-м округом путей сообщения в связи с отъездом инженер-полковника Ф. Ф. Риддера в отпуск в Петербург и Лифляндию. «Здесь теперь посадили меня на воеводство»,— иронизирует Гавриил Степанович в письме из Тобольска 19 января 1818 г.[23] Он начинает задумываться о прожитых годах, и ему кажется, что он «уже состарился» (это в 25 лет!) и пора «выкинуть из головы мечты» о лучшем:

«Кто в мире и любви умеет жить с собою,
Тот радость и любовь во всех странах найдет»,—

философски решает будущий декабрист. Отдаленность друзей-однополчан и «пустоту» он компенсирует любимым занятием — учением. По-прежнему много работает за чертежным столом, рисует и даже вышивает.

Особое место в тобольской жизни Гавриила Степановича занимали переводы. Он начал переводить книгу Буланже «Древность, открываемая чрез обычаи и обряды»[24]. Любопытна оценка, данная им этому сочинению: «Это дорогая книга, она мне доставила столько новых идей, что весь сонм педантов в париках во всю жизнь возбудить такого множества не в силах». Работа над книгой привела Батенькова к мысли помещать в письмах друзьям «всегда одну статью» с серьезными философскими рассуждениями. Этот оригинальный план обмена «по-

---

[21] Письмо 19.
[22] Письмо 18.
[23] *ГАОО*. Ф. 4. Оп. 1. Д. 144; письмо 20.
[24] Письмо 22 и примеч. 10 к письму 15.

сторонними мнениями» подсказан автором «Древности...», нашедшим «ключ ко всем загадкам, таинствам и аллегориям» и объяснившим «причину многих суеверий и того унылого духа, который вообще почти царствует в человечестве». Не откладывая, он предложил Елагину завести «классическую переписку» для обсуждения какого-либо предмета с позиций представителей противоположных характеров: сурового и веселого. В качестве примера тематики для спора Гавриил Степанович выдвигает тезис: «Следуя обычаям времени и страны своей и исполняя во всей точности, без прекословий и умствований уставы их, человек бывает благополучен, а следственно, ближе к праву называться мудрым» — это для «сурового» характера. Характер веселый может возражать: «Слепое доверие уставам и обычаям времени и страны своей налагает на человека узы предрассудков, лишает его истинной душевной свободы и, ежели не всегда нижее становит, по крайней мере, часто приближает к роду бессмысленных»[25].

Беря на себя «первый характер», Батеньков тем самым получал право выбора предмета для дискуссии. А в предложенной теме мог проявиться критический подход автора к существующей действительности. Доверяя другу высказывать противоположные мнения, Батеньков надеялся услышать в них подтверждение своих взглядов и выводов, которые будущий декабрист искал в жизни. К сожалению, в дальнейшей переписке отсутствует четкая нить этой двусторонней полемики, но противоположность настроений и мнений друзей присутствует почти в каждом письме.

Увлеченный своими делами Батеньков приходит, однако, к выводу, что свобода от армейской службы, которой он добивался в 1816 г., не принесет счастья. «Я обратил на то внимание, что свобода по праву рождения, самыми гражданскими установлениями нам предоставленная, безрассудно меняется нами на пустые мечты; она составляет первейшее наше счастие, но во зло употребляется до такой степени, что пользуемся ею, только покоряя себя неволе и узам»[26]. «Неволя» и «узы» не замедлили сказаться. Сибирский генерал-губернатор И. Б. Пестель

[25] Письмо 23.
[26] Письмо 24.

«просил» Батенькова вернуться в Томск для продолжения начатых там работ. В начале апреля 1818 г. инженер-поручик уже в Томске, но теперь в двух должностях: инженера и начальника 10-го округа. Работы было много, нужно было многое знать и уметь. И не удивительно, что служба в Сибири, несмотря на все ее трудности, помогла ему сохранить в себе человека и превратила из мальчика в «опытного мужа». Поэтому он и «благословлял» тот час, «в который решился переменить звание», т. е. уйти из артиллерии, где не только солдат, но и офицеров «муштруют, выправляют и бранят за то, что они имеют головы», за то, что они не безвольные куклы[27]. Вывод этот, сделанный Батеньковым по собственным наблюдениям и на основе писем бывших сослуживцев, которые еще оставались в армии, характерен для большинства будущих его единомышленников, членов первых организаций тайного общества декабристов.

Батеньковым все сильнее овладевало критическое отношение к аракчеевским порядкам в стране, он возмущался бесправием и беззащитностью подавляющей части населения империи, видел злоупотребления местных властей, казнокрадство и взяточничество чиновников. Описывая А. А. Елагину трудности томской жизни и службы, он сообщал: «Чем было затруднительнее мое положение, тем осторожнее все шаги. Я сделался педант по службе <...>. Строгость правил и образа жизни моей не позволяли злословить, наружно ласкали меня и оказывали даже самое уважение»[28]. В то же время продолжались жалобы на него начальству и из Петербурга запрашивали объяснения. Несмотря на поддержку проектов и действий Батенькова главным начальником путей сообщения, местными властями они «охуждались».

Начало 1819 г. для Гавриила Степановича было очень трудным — в Тобольске скончалась его мать, главная «сердечная связь» с Сибирью. Но он не утратил оптимизма и ироничного добродушия и не скрывал этого в своем автопортрете: «Вообразите человека высокого, смуглого, худощавого, рябоватого, с открытым видом, довольно быстрым взглядом; несмотря на продолжительные горес-

---

[27] Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толля. Из архива Елагиных. М., 1936. С. 95 (далее: *Письма Г. С. Батенькова*).
[28] Письмо 26.

ти, более веселого, нежели мрачного, не совсем провинциала, не дикого, который может подчас развеселить, рассмешить и занять, который хотя поверхностное, но имеет понятие обо всех человеческих знаниях, который более всего любит ему любезных, говорит прямо, без украшений, лести и скрытности». А это было как раз то время, о котором он писал в показаниях Следственному комитету 22 марта 1826 г.: «В 1819 г. сверх чаяния получил я три или четыре письма от Раевского. Он казался мне как бы действующим лицом в деле освобождения России и *приглашал меня на сие поприще*». Активный член Союза благоденствия В. Ф. Раевский, обращаясь к другу, надеялся, что он помнит клятву, данную ему при выпуске из кадетского корпуса в 1812 г.: «Идя на войну, мы расстались друзьями и обещались сойтись, дабы в то время, когда возмужаем, стараться привести идеи наши в действо». Батеньков не забыл своих обещаний, но, собираясь жениться, ответил «советами *оставить все опасные предприятия*»[29]. (К сожалению, ни писем Раевского за 1819 г., ни ответа Батенькова обнаружить не удалось. Вероятно, в 1822 г., узнав об аресте «первого декабриста», Батеньков их уничтожил, так же как уничтожил часть компрометирующих бумаг и сам Раевский перед заключением в Тираспольскую крепость.)

Всю весну, как и в предыдущем 1818 г., Батеньков вел серьезные научные наблюдения за вскрытием протекающих в Томске рек Томи и Ушайки. В результате этих наблюдений он представил в Совет путей сообщения свои мысли о намерении заняться «общей теорией стечения двух рек». Одновременно он заверил начальство, что заниматься этими вопросами будет в свободное от основных работ время. 23 июня Совет одобрил «занятия» Батенькова, а в мае 1819 г. в Тобольск прибыл для ревизии Сибири М. М. Сперанский, и Батеньков должен был заниматься другими делами.

Батенькову импонировали взгляды Сперанского, высказанные им в ранних проектах, которые, как отмечалось исследователями его деятельности, отражали «дух французского буржуазного кодекса» — прогрессивного антифеодального свода законов, регулировавших гражданские

---

[29] Там же; *ВД*. Т. 14. С. 94.

отношения[30]. Поэтому, готовясь к встрече со Сперанским, он написал обстоятельную «Записку о состоянии 10 округа путей сообщения». В пятнадцати пунктах этой записки он не только перечислял работы, но и давал характеристику условий их проведения, отмечал трудности и высказывал свои предложения по совершенствованию производства. К записке Батеньков приложил «именной список чиновников путей сообщения 10 округа»[31]. Из семи человек, включенных в список, шесть было в различных командировках, в том числе четверо в Петербурге, и Батеньков все еще был единственным инженером в округе.

С первых же шагов Сперанского в Сибири Батеньков стал ему ценным помощником. Его энергия, многосторонние знания, основательные сведения об экономическом и политическом состоянии края, трудолюбие привлекли внимание Сперанского. В свою очередь, Батеньков возлагал на Сперанского большие надежды: «Сибирь должна возродиться, должна воспрянуть снова. У нас уже новый властелин, вельможа добрый, сильный, и сильный только для добра»,— писал он восторженно из Тобольска 6 июня 1819 г.[32].

Спустя три недели Сперанский дал поручение инженер-капитану Батенькову отправиться вместе с ним в Иркутск и заняться там в его присутствии «мерами на постройку обруба на реке Ангаре, так как сие по обстоятельствам не терпит отлагательства»[33].

Поездка со Сперанским кроме конкретной задачи по укреплению берега р. Ангары имела и более широкие цели. Батеньков был приглашен в поездку для «обозрения восточного края» в качестве окружного начальника путей сообщения. Незадолго перед поездкой в Иркутск он узнал о присвоении ему 17 апреля 1819 г. капитанского звания по Корпусу инженеров путей сообщения и полагал, что производству способствовал новый главный директор путей сообщения инженер-генерал Августин Бетанкур, сменивший Ф. П. Деволанта. Смена начальства, по мнению Батенькова, положительно сказалась и на всей деятель-

---

[30] Минаева Н. В. Правительственный конституционализм и передовое общественное мнение России в начале XIX века. Саратов, 1982. С. 104.

[31] *ГАОО*. Ф. 4. Оп. 1. Д. 184. Л. 1—7.

[32] Письмо 28.

[33] *ГАОО*. Ф. 4. Оп. 1. Д. 188. Л. 2.

ности службы путей сообщения, в том числе и в Сибири.

Для Батенькова наступил новый этап жизни — активная творческая деятельность под руководством М. М. Сперанского. Причины злоупотреблений, выявленных в результате ревизии Сперанским и его помощниками, в том числе и Батеньковым, состояли в том, что в таком обширном крае империи, как Сибирь, не было законов, основанных на ее географических, этнографических и социальных особенностях, так же, как не было таких законов и во всей России. Перед проверяющими стояла трудная задача: «<...> желалось бы и должно было бы большую часть исполнителей сменить и отрешить, но кем заменить отрешаемых?» Ответить на этот вопрос, т. е. подготовить проект нового размещения чиновников вместо уволенных и преданных суду, Сперанский поручил Батенькову, в честности которого убедился, познакомившись с ним лично. После утверждения проекта о Батенькове заговорили как о человеке «в великой силе». Действительно, Сперанский считался с ним и поручал ему наиболее ответственные работы.

Несмотря на длительную (со 2 декабря 1819 по 25 января 1820 г.) болезнь «от полученных в сражениях ран», Батеньков активно включился в работу[34]. Уже в январе 1820 г. он занялся пересмотром проекта укрепления правого берега р. Ангары в Иркутске. Проект этот был составлен в Петербурге инженер-генерал-майором Леонтьевым. Тщательно проверив изыскания и проанализировав особенности реки Ангары и ее притока Иркута, Батеньков доказал, что столичный проект не обеспечивал решения главной цели работ — избавления Иркутска от натиска ангарской воды. Кроме того, предусмотренные этим проектом сметные ассигнования значительно превышали необходимые затраты. По проекту Батенькова требовалось затратить около 90 тыс. рублей вместо запрошенных ранее 265 тысяч!

Свой проект устройства набережной р. Ангары: «планы, сметы и описания» — 26 мая 1820 г. автор представил Сперанскому. Хождение этого проекта по инстанциям вплоть до «высочайшего» утверждения длилось почти два года. Указ об утверждении проекта был подписан Алек-

---

[34] *ЦГИА*. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 659. Л. 2—46; *ГАОО*. Ф. 4. Оп. 1. Д. 188. Л. 7—9 об., 15, 16.

сандром I 22 февраля 1822 г., когда Сперанский и автор находились уже в Петербурге. Спустя еще два года набережная в Иркутске по проекту Батенькова уже достраивалась. «Скоро берег Ангары будет окончен прочно и весьма красиво»,— так написал опытный инженер А. Мартос, посетивший Иркутск в 1824 г.[35]

Параллельно с проектированием набережной в Иркутске Батеньков выполнял и другие серьезные поручения. Так, 21 марта 1820 г. Сперанский предписал ему удостовериться в «возможности учредить трактовую дорогу вдоль берега Байкала вместо существующей теперь Кругоморской». Давая это задание, Сперанский был уверен, что оно будет выполнено Батеньковым «с усердием и ожидаемым успехом». На следующий день Батеньков отправился в Иркутский и Верхнеудинский уезды для «изысканий к устройству новой Кругобайкальской дороги»[36]. Ценным помощником в этой работе был для Батенькова верхнеудинский исправник, известный ученый и знаток Сибири М. М. Геденштром, предложивший строить дорогу через южный берег Байкала. Существовавшая к 1820-м гг. Кругоморская дорога, заменившая старый верховой путь в Забайкалье через Тунку, была так же, как и первая, очень труднопроходимой. Она шла «от Иркутска вдоль юго-западного берега Байкала на Култук, а далее по горным перевалам Хамар-Дабанского хребта». По проекту Батенькова путь от Иркутска следовало проложить на Култук — южный берег Байкала (через устья обследованных им рек Муриной, Выдриной, Переемной и Язовки) — селение Посольское и уже от него на Кяхту.

7 апреля 1820 г. Батеньков представил Сперанскому и Риддеру предварительные итоги своих изысканий, а последний, в свою очередь, переслал их 24 апреля в Петербург директору путей сообщения[37]. 31 мая Батеньков вновь уехал из Иркутска для окончания проектирования «сухопутной дороги» по берегу озера Байкала. 23 июня, завершив работы, вернулся в Иркутск и передал все результаты своих изысканий на утверждение начальству. Но, несмотря на положительные отзывы Сперанского и Риддера, проект Батенькова утвержден не был — вероятно,

---

[35] *ГАОО*. Ф. 4. Оп. 1. Д. 188. Л. 36—37, 40—41 об., 43—44; Мартос А. Письма о Восточной Сибири. М., 1827. С. 161.

[36] *ЦГИА*. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 659. Л. 3; *ГБЛ*. Ф. 20, 3.4. Л. 1.

[37] *ГБЛ*. Ф. 20, 3.4. Л. 3—8.

начальство обратило внимание на удлинение дороги (вместо старых 421 версты по проекту предлагалось 665), но не учло большей доступности и удобств передвижения, обеспечивавшихся этим проектом. Впоследствии, в 1860-х гг., именно на предложенном Батеньковым и Геденштромом пути был проведен новый тракт, а затем и железная дорога[38].

В свободное от службы время Батеньков «был приглашен» «содействовать учреждению при Иркутском военно-сиротском отделении школы по методе взаимного обучения». Для этой школы он подготовил специальные таблицы, которые должны были помочь ученикам приобрести «первоначальные геометрические познания».

«Таблицы» были одобрены Сперанским и напечатаны в губернской типографии (около 50 экземпляров). Один экземпляр 28 апреля 1820 г. Батеньков переслал в Петербург Риддеру, надеясь на заведение ланкастерских школ в ведомстве путей сообщения. Два экземпляра направил и Сперанский—в «Санкт-Петербургское общество для учреждения в России училищ по методе взаимного обучения» и в Департамент народного просвещения. Впоследствии, вспоминая свои геометрические «таблицы», Батеньков называл их наиболее «замечательным учебником из числа составленных им для первой в Сибири ланкастерской школы»[39].

Педагогические занятия будущего декабриста отвечали требованиям просветительной деятельности среди народа, предъявляемым к членам первых декабристских организаций. Не исключено, что заинтересовал Батенькова системой взаимного обучения В. Ф. Раевский, который написал ему в 1819 г. несколько писем.

Но главное дело, которым занимался Батеньков при Сперанском,— это участие в разработке законов и уставов по управлению краем. Историю этой работы он кратко изложил в «Объяснительной записке»[40], приложенной к письму Я. Д. Казимирскому от 9 мая 1858 г. Записка составлена в третьем лице, так как предназначалась для представления адресатом начальству: «Сперанский по существу Сенаторской ревизии, ему порученной, и произве-

---

[38] *ГАОО*. Ф. 4. Оп. 1. Д. 188. Л. 38; *Карцов*. С. 46.
[39] Там же. Л. 32—35; письмо 31.
[40] *ИРЛИ*. Ф. 604. Оп. 1. Д. 14. Л. 29—34 об.

денных следствий по управлению занимался мыслию дать всему учреждению того края новое устройство. Он сообщил это желание Батенькову и пригласил его заняться развитием частей». Кроме Батенькова о подготовке программы «общего закона» знал только ближайший друг Сперанского Ф. И. Цейер, а затем и К. Г. Репинский, приехавшие со Сперанским. Все остальные сотрудники, получив конкретные задания, выполняли их, не зная конечной цели. Всем говорилось, что работы ведутся с научной целью, что, «впрочем, и не было ложно». Батеньков занимался подготовкой статистических данных по различным отраслям жизни Сибири. Активно помогал ему бывший помощник губернского почтмейстера Текутьев. Для работы кроме официальных сведений из дел «канцелярии губернатора Трескина», которые «были первым источником», собирались сведения от всех, кто их имел, в том числе «даже от мещан и казаков».

Еще в Иркутске Батеньков подготовил «первоначальные очерки в виде научных обозрений по семи предметам: 1) о сухопутных сообщениях; 2) об учреждении этапов; 3) о ссыльных; 4) об инородцах; 5) о сибирских казаках; 6) о занятии Киргизской степи Средней орды; 7) о приведении в известность земель в Сибири». На основе первых шести были выработаны уставы, вошедшие потом в «Сибирское учреждение»[41]. Работа над составлением уставов велась уже по возвращении из Иркутска в Тобольск с сентября 1820 г. до января 1821 г. В ходе «отделки» пополнялись статистические сведения, которые готовила специально созданная «особая рабочая» группа, независимая от канцелярии Сперанского. В группе этой были чиновники К. Г. Репинский, Жорж Вейкардт, Текутьев, Булич и Протопопов. Переписчиками нанимались «вольные писцы из кантонистов». Переводы на французский язык делал Г. Г. Вильде, преданный Сперанскому еще со времени пензенской жизни при нем.

Наиболее ответственный раздел реформы — «Устав об управлении сибирскими инородцами»[42], разработанный Батеньковым под руководством Сперанского,— анализировался уже многими исследователями, в частности В. Г. Карцовым (с. 92—102).

---

[41] *ГБЛ*. Ф. 20, 1.12; 2.11—13; *ПСЗ*. Собр. 1. Т. 38. № 29126—29132.

[42] *ПСЗ*. Собр. 1. Т. 38. № 29126; *Карцов*. С. 92—102.

В работе над сибирской реформой Батеньков, еще не будучи членом тайного общества, как и многие декабристы, проявил себя сторонником сближения коренных жителей Сибири, так называемых инородцев, с русским народом. Он выступал против реакционной политики царизма, рассматривавшего народы Сибири как «низшие», «неполноценные». Нет сомнения, что Батеньков был знаком и с политикой правительства Северной Америки, начавшего в 1815 г. «резервирование» американских аборигенов—индейцев, и относился к этому резко отрицательно. Об этом он не раз упоминал в своих письмах.

Для того чтобы доказать необходимость выработки сибирских законов, основанных на истории, этнографии, климатологии края, т. е. обосновать нецелесообразность централизации управления в таком многонациональном государстве, как Россия, и необходимость федеративного устройства страны, он проводил серьезные статистические исследования. Результатом этой работы была «Табель населения Сибири по климатам» [43]. Аналогично национальный вопрос рассматривался и П. И. Пестелем в «Русской правде», хотя Пестель в отличие от Батенькова был сторонником централизованного правления и заботу об улучшении жизни коренного населения Сибири возлагал на Временное верховное правительство: «<...> да сделаются они нашими братьями и да перестанут коснеть в жалостном своем положении». Так же, как и Батеньков, Пестель провозглашал возможность сближения русского народа и кочевников в управлении и государственном устройстве на основе преобразования последних «в земледельные», т. е. тогда, когда по своему социально-экономическому и духовному уровню они сравняются с русским населением и смогут «в общий состав государственного устройства на общих же правилах поступить» [44].

Серьезным вкладом Батенькова в российское законодательство являются также его проекты законов о сибирской ссылке — Уставы о ссыльных и этапах и подготовительные к ним материалы. Самым серьезным подготовительным материалом для составления Уставов были «Записки о заселении Сибири», составленные им по заданию Сперанского, в том числе «О заселении Нерчинского

---

[43] *ГБЛ*. Ф. 20, 4.5.
[44] *ВД*. М., 1958. Т. 7. С. 142—143.

края», «О поселении в Иркутской губернии», «О поселении Нерчинском», «О каторжных и ссыльных, в Нерчинские заводы поступающих», «Особенное распределение сосланных в Иркутскую губернию людей» и другие. В этих записках Батеньков анализирует состояние сибирской ссылки, отмечает ее жестокость и неэффективность использования труда ссыльных-уголовников при освоении территорий восточных окраин России[45]. Анализ кодексов сибирской ссылки, подготовленных Батеньковым в 1820—1821 гг., дан в работах С. В. Кодана[46].

Следующая крупная работа Батенькова в этот период — подготовка «Проекта положения о приведении в известность земель в Сибири». Этот проект, в отличие от остальных сибирских проектов, не вошел в «Сибирское учреждение», а был передан начальнику Главного штаба П. М. Волконскому и стал «основой произведенных съемок». Проект Батенькова до начала его реализации рассматривали и одобрили выдающиеся военные инженеры-топографы-картографы Ф. Ф. Шуберт и И. И. Фицтум[47].

Результаты работы Батенькова над проектом Устава об инородцах и другими проектами сибирской реформы, завершенной уже в Петербурге, свидетельствуют об идеологической зрелости будущего декабриста, сумевшего уже в начале 1820-х гг. вложить в законодательный акт, составленный по заказу царя, прогрессивные идеи.

Работа над проектом реформы так увлекла Батенькова, что, по его признанию, он «совершенно теперь успокоился» и в нем «возродились <...> новые надежды и почти не осталось следов прежней угрюмости»[48].

Большая умственная нагрузка, климатические условия и старые раны давали себя знать. Инспектор Тобольской врачебной управы Яков Алберт, освидетельствовав Батенькова 27 ноября 1820 г., рекомендовал «продолжить лечение в климате более умеренном, без чего к выздоровлению его не предвидится надежных средств». В тот же день Батеньков подал прошение начальству о четырехмесячном отпуске[49].

---

[45] *ГБЛ*. Ф. 20, 1.19, 21—23; *ПСЗ*. Собр. 1. Т. 38. № 29128.

[46] Кодан С. В. Реформа сибирской ссылки в первой половине XIX в. // Историко-правовые исследования, проблемы и перспективы. М., 1982.

[47] *ГБЛ*. Ф. 20, 1.12—16.

[48] Письмо 32.

[49] *ГАОО*. Ф. 4. Оп. 1. Д. 129. Л. 38—40.

Ожидая разрешения на отпуск, Батеньков продолжал работать. Свою работу в Сибири он определял так: «План преобразования сибирского управления во всех почти частях и даже мало-мальски соседственная политика — вот что занимает меня». Взаимоотношения его со Сперанским в этот период были деловыми и человечными. Об этом не без гордости сообщал Батеньков друзьям 4 декабря 1820 г. из Тобольска [50]. Тогда же, забыв о жалобах на здоровье, требующее теплых Кавказских вод, он писал: «Я теперь удивительно как здоров, отогрелся и ожил». Здесь, конечно, речь идет о моральном здоровье и тепле, вызванных интересной работой. В другом письме Гавриил Степанович писал: «Расположение Сперанского возросло до значительной степени, он привык ежедневно быть со мною». Причину такого сближения он объяснял так: «Редкость людей в нашем крае доставила мне большое удобство совершенно обнаружить ему мое сердце — и он нашел его достойным некоторой привязанности» [51].

10 января 1821 г. разрешение на отпуск было получено и «дозволено» «по истечении сего срока прибыть в Петербург». 8 февраля Батеньков, получив 636 рублей 12 копеек — «прогоны» от Тобольска до Георгиевска и оттуда до Петербурга,— отправился из Сибири вслед за М. М. Сперанским, уехавшим в Петербург с отчетом о проведенной им сибирской ревизии [52].

По пути на Кавказ Батеньков провел сутки в Белеве у Елагина, с которым не виделся семь лет. В начале апреля 1821 г., полный бодрости и надежд на новую, столичную жизнь, он возвращался с юга через Воронеж и Калугу. На три недели гость-сибиряк стал хозяином московской квартиры Елагиных в доме Померанцевой, возле Сухаревой башни. Здесь он встретился со своими однополчанами и сотрудником Сперанского Г. Г. Вильде. Здесь же он получил новое письмо В. Ф. Раевского, о котором упоминал впоследствии. К сожалению, и это письмо обнаружить не удалось.

В начале мая 1821 г., после пятилетнего перерыва, Батеньков вновь приехал в Петербург, точно выполнив предписание Сперанского быть до возвращения императора из

---

[50] Письмо 33.
[51] *Письма Г. С. Батенькова.* С. 110.
[52] *ГАОО.* Ф. 4. Оп. 1. Д. 129. Л. 43—45 об.

Лайбаха. Обладая «логической способностью и умением приводить мысли свои в систему» и «всякое познание рассматривать как звено в непрерывной цепи», Батеньков мог, по его словам, «начертать какой-либо план, рассмотреть, в порядке ли мысли у другого, и даже показать ключ к сему порядку». Вероятно, именно эти особенности мышления способствовали сближению его взглядов со взглядами передовых представителей русской и западноевропейской общественной мысли [53].

Сразу же по приезде он был хорошо принят и «обласкан» двумя начальниками: главным директором Корпуса инженеров путей сообщения А. Бетанкуром и М. М. Сперанским. Бетанкур, подписывая в 1821 г. формулярный список инженера Батенькова, так оценил его право на повышение в чине: «Capable et digne» [54]. 20 июня 1821 г. капитан Батеньков получил «махровые эполеты» — был произведен в майоры.

На его плодотворную деятельность по подготовке проектов сибирской реформы обратили внимание в столице и предложили переменить службу и оставить военный мундир. Поэтому Гавриил Степанович надеялся стать чиновником для особых поручений или помощником статс-секретаря при Сперанском, который был назначен членом Государственного совета. Уверенность Батенькова в своей нужности в столице подкреплялась и тем, что принимались его условия перехода к новой службе [55].

28 июля 1821 г. Александр I подписал указ, по которому Батеньков назначался не в Государственный совет, а во вновь образованный Особый комитет для рассмотрения разных предметов по сибирским губерниям (1-й Сибирский комитет) «для производства дел» с переводом в резерв [56]. Это назначение Батеньков воспринял не только как ступеньку к реализации своих честолюбивых планов. Ему казалось, что он «сделал значительный гражданский шаг» [57]. Он решил, что теперь ему открывается возможность участвовать в улучшении государственного устройства путем реформ по примеру сибирских.

---

[53] *Письма Г. С. Батенькова.* С. 112—117.

[54] Одаренный и достойный (франц).

[55] Письмо 39.

[56] Одновременно с Батеньковым правителем дел Комитета был назначен и другой сотрудник Сперанского — Ф. И. Цейер.

[57] *ВД.* Т. 14. С. 94.

Батеньков в это время много читает, особенно интересуется «политическими науками», которые считает для себя необходимыми. Большой интерес проявляет он и к литературной жизни столицы. Завязывает личные знакомства с учеными, журналистами и писателями. «<...> начал с Воейкова чрез Жуковского, а потом всех узнал у Греча. У сего последнего были приятные вечера, исполненные ума, остроты и откровенности,— здесь узнал я Бестужевых и Рылеева»,— признавался он на следствии, вспоминая вечера, на которые собирался «цвет умной молодежи» [57].

Вскоре настроение Батенькова и отношение его к новой должности изменились. Резкий переход его от радужных надежд к выводу о бесперспективности службы в Комитете, так же как и в других правительственных учреждениях, сформулированному им в октябре 1821 г., имел серьезные причины. Одна из них — результаты редактирования и согласования проекта «Сибирского учреждения», из которого было изъято главное — выборное начало как основа формирования органов местного самоуправления. Видит он, что правительство не предпринимает ничего и для улучшения условий жизни крестьян. Батеньков понимает, что путем реформ сверху невозможно улучшить благосостояние народа и усовершенствовать государственное устройство империи.

К служебному, гражданскому разочарованию Гавриила Степановича прибавилось и чувство одиночества. Он, как всегда, много писал друзьям, звал в гости, обещал гостеприимство. А своего дальнего родственника и сослуживца-сибиряка Семена Трофимовича Аргамакова, ехавшего из Тобольска в Петербург, даже пригласил поселиться в своей квартире, в доме Масальского на Дворцовой набережной, «близ Прачешного моста» [58]. Вместе с тем жалобы на одиночество и пустоту часто сопровождались рассказами о посещении театров, загородных прогулках, визитах и встречах с писателями, журналистами и учеными. Любопытны критические замечания Батенькова о театре Петербурга начала 1820-х гг. В театре господствовало «явное пренебрежение к публике во всех отношениях, со-

[58] Письма 40, 41. Эта первая после возвращения из Сибири петербургская квартира Батенькова находилась «по парадной лестнице, с набережного подъезда, в самом верху».



Г. С. БАТЕНЬКОВ. 1820-е гг.
Автор неизвестен. Из кн.: *Письма Г. С. Батенькова*

вершенный упадок трагедии и комедии», единственных «стройных театральных произведений»,— утверждал он незадолго до приезда в столицу знаменитой актрисы Е. С. Семеновой [59].

В начале 1822 г., завершая отделку «Сибирского учреждения», Батеньков по делам службы общался с Аракчеевым, председательствовавшим в Комитете, а не со Сперанским, который в ожидании нового назначения вел замкнутый образ жизни. По мере окончания сибирских дел Гавриил Степанович все больше убеждался в «беспо-

[59] Письмо 42.

лезной» трате времени на службе. Он все чаще задавал себе вопрос: «Что впереди?» Не находя ответа, сравнивал себя с невольником, судьба которого решалась последним ударом молотка на аукционе. Поэтому он мечтал освободиться от «казенной» службы. Решение это было основано на систематическом общении с государственными чиновниками всех степеней и рангов. Результатом этого общения был едкий и точный отзыв о них: «Чем меньше букашки, которые нас кусают, тем они непобедимее, как потому, что обыкновенно многочисленны, так и потому, что ничтожество каждой из них на особицу скрывает их от взора самого проницательного»[60]. Говоря о «высокостепенных» чинах, он с откровенной беспощадностью замечает, что почти все они превращаются в «пышную подлость».

Такое же негативное отношение к государственному аппарату было свойственно в то время и членам тайных обществ. Поэтому они возлагали серьезные надежды на службу своих единомышленников на высоких государственных постах. Стремясь постепенно привлечь на свою сторону «членов во всех сословиях и наиболее из лиц значительных как в гражданском, так и в военном состояниях, <...> занимая сами мало-помалу места значительнейшие и следуя первой своей цели—обращать службою своею на себя внимание правительства», они рассчитывали достичь новых форм управления при сохранении монархии[61].

На основании близости взглядов Батенькова и членов тайных обществ некоторые исследователи высказывали предположение о том, что он был членом Союза благоденствия. Так, В. Г. Карцов полагал, что Батенькова могли принять в Союз в Кишиневе «поздней осенью 1820 г.», когда он якобы посещал В. Ф. Раевского[62]. Это неверно. Батеньков ни разу не встречался с Раевским после 1812 г. Их отношения поддерживались только перепиской. В 1815 г. по пути из Сибири в действующую армию Гавриил Степанович действительно хотел встретиться с другом юности. Но в имении его отца — в с. Хворостянке Курской губернии — Владимира Федосеевича он не застал, так как

[60] Письма 44, 45.
[61] *ВД*. М., 1926. Т. 2. С. 73.
[62] *Карцов*. С. 57—58.

тот служил тогда в Каменец-Подольске. Об этой несостоявшейся встрече 1815 г. и вспоминал Раевский в 1819 г. в письме к П. Г. Приклонскому, на которое ссылается Карцов. Поздней осенью 1820 г. Батеньков не мог быть в Кишиневе, так как находился в Сибири при Сперанском и уехал оттуда только 8 февраля 1821 г. Так что предположение В. Г. Карцова о вступлении Батенькова в Союз благоденствия не подтверждается имеющимися документальными данными[63]. Бесспорно, однако, что Батеньков догадывался о существовании какого-то общества, к участию в котором приглашал его Раевский в письмах и стихотворном послании, но он еще не знал ни его названия, ни имен людей, участвовавших «в деле освобождения России».

Кроме того, петербургские контакты будущего декабриста с прогрессивно настроенными, свободомыслящими представителями различных кругов общества давали ему возможность выявить среди них тех, с кем он обнаруживал сходство взглядов. Но поначалу при Батенькове о существовании тайного общества не говорилось, а были общие разговоры «про правительство, негодования на оное, остроты, сарказмы»[64].

Думая об улучшении форм правления страной, Батеньков исходил из факта реально существовавшей монархии. Поэтому, пользуясь своим служебным положением, доверием Сперанского, а затем и Аракчеева, он избрал наиболее доступное ему средство: «вперение» — подбор должностных лиц для Сибири из числа близких ему по духу чиновников. Он рассчитывал, что честные и заинтересованные в благе народа люди, а не «букашки» или «высокостепенные», сумеют улучшить законы. Для этого они должны были, по мысли Батенькова, «восполнить умом и создать вновь» то, что не удалось включить в «Сибирское учреждение», и «приписать указу» то, «что действительность есть». Иначе говоря, он надеялся, что его единомышленники, заняв административные посты в губерниях, смогут обеспечить подготовку проектов местных законов с учетом особенностей своего края. В этом он видел начало борьбы за благоденствие народа[65] и в этом

---

[63] *Раевский*. Т. 1. С. 9—12, 118, 379.
[64] *ВД*. Т. 14. С. 94.
[65] *ГБЛ*. Ф. 20, 2.1.

сходился с декабристами, не будучи еще членом тайного общества.

Как уже говорилось, в реформаторских планах Батенькова Сибирь представлялась наиболее подходящим краем для проверки жизненности задуманных преобразований. Первый шаг на этом пути был сделан Батеньковым еще в 1819 г., когда он представил Сперанскому проект нового размещения чиновников вместо уволенных и преданных суду в ходе сибирской ревизии. В 1821—1822 гг., когда создавалась новая, Енисейская губерния, правитель дел Сибирского комитета подбирал для нее губернскую администрацию. Гражданским губернатором не без участия Батенькова был назначен Александр Петрович Степанов, знакомый с членами тайных обществ, писатель, сибирский краевед, инициатор «Енисейского альманаха» — первого сибирского литературного журнала и автор ряда сочинений, посвященных Сибири. Впоследствии Степанов дружелюбно относился к декабристам, проезжавшим через Красноярск.

В этой же губернии служил друг юности и земляк Батенькова Петр Афанасьевич Меркушев. Другой знакомый Гавриила Степановича инженер Алексей Иванович Мартос, отставленный Аракчеевым от службы в военных поселениях за критическое отношение к существовавшим там порядкам, также стал енисейским чиновником.

Представители прогрессивной молодежи поддерживали нового губернатора. В их числе были его сын Николай Александрович Степанов, впоследствии известный карикатурист, сотрудник «Искры» и «Будильника» и активный участник революционного движения, и его друг, будущий писатель Владимир Игнатьевич Соколовский (сын томского губернатора), впоследствии (1834) арестованный вместе с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым по делу «О лицах, певших пасквильные стихи».

А. П. Степанов и его помощники собирали и анализировали сведения о степных законах и обычном праве коренных жителей Сибири. В результате был подготовлен местный проект степных законов для кочевых «инородцев» Иркутской и Енисейской губерний[66]. В основе проекта лежал принцип выборности начальников управления «инородцами». По сравнению с положениями, утвержден-

---

[66] *ПСЗ*. Собр. 1. Т. 38. № 29126, § 70—71.

ными Уставом об управлении народов Сибири, этот проект был более прогрессивным.

Много лет спустя в своих «Заметках по административным вопросам» Батеньков написал: «Закон есть умный вывод из оснований всей народной жизни, выраженный в нравах и обычаях»[67]. Нет сомнения, что именно этот взгляд на закон, который должен лежать в основе жизни государства, заставил Батенькова в начале 1820-х гг. попытаться создать для Сибири такие законы.

Еще в марте 1822 г. Батеньков обратился к Сперанскому с просьбой ходатайствовать перед главным директором о переводе его из Корпуса в гражданскую службу. Просьбу свою он мотивировал слабым здоровьем, расшатанным многочисленными ранами[68]. Более серьезная причина состояла в том, что он не хотел быть ни «высокостепенной» «пышной подлостью», ни «букашкой». Могла быть и еще одна причина: Батенькову при его обширных знакомствах стало известно об аресте в Кишиневе (6 февраля 1822 г.) майора Раевского. После этого он мог подвергнуться преследованиям как один из друзей и корреспондентов «первого декабриста».

Ожидая решения своей участи, Батеньков продолжал научные исследования и подготовил для публикации «Общий взгляд на Сибирь» и часть «Записки о заселении Сибири». Эти сочинения были опубликованы Н. И. Гречем в 1822—1823 гг.[69] и вызвали интерес читающей публики, подтвердив мнение об авторе как знатоке Сибири и проводнике передовых методов управления, основанных на выборном начале.

Но Батенькова не удовлетворяло внешне крепнувшее положение в среде чиновников. Он чувствовал, что «все служебное напитано» ядом коварства, зависти и непостоянства[70]. Занятий для него в Сибирском комитете уже почти не было, хотя он по-прежнему числился правителем дел. Угнетала неясность будущего положения. Он пытался еще через своих енисейских помощников улучшать сибирские законы, но натыкался на противодействие в сто-

---

[67] *ГБЛ*. Ф. 20, 5.28.

[68] Письмо 46.

[69] Сын отечества. 1822—1823. Ч. 81. № 41. С. 3—13; № 44. С. 147—159; Ч. 83. № 11. С. 53—63; Ч. 84. № 10. С. 107—128. № 11. С. 145—156; Ч. 85. № 15. С. 36—38.

[70] Письмо 49.

лице и сопротивление западно-сибирской администрации. В свободное от службы время Гавриил Степанович много читал, посещал литературные вечера. В это время он подружился с исследователем-историком А. О. Корниловичем. Тогда же заинтересовался творчеством А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева и сам продолжал литературную работу. Именно в этот период Батеньков проявил себя как ученый-критик. В 1822 г. была напечатана «Генеральная карта Российской империи, с означением больших и малых почтовых дорог в самые отдаленные места государства. Разделенная по последнему положению России на губернии и области, с показанием новоприсоединенных к России земель <...>. Издана и гравирована Г. С. ...» Батеньков, обстоятельно проанализировав это издание, подготовил для печати «Замечания на Генеральную карту Российской империи и проч., изданную Г. С. ...». Эта критическая статья была опубликована анонимно в 1823 г.[71] В основу критики Батеньков положил требования, которым, по его мнению, «должно следовать при издании географических карт»: «точность и удобство, чистота отделки их способствует и украшает издание». Образцом «точности» и «удобства» были и «Замечания», так же как и большинство составленных им в Сибирском комитете деловых бумаг.

Не случайно поэтому Аракчеев обратил на Батенькова внимание и, решив забрать его в военные поселения, вел переговоры со Сперанским. Отказать всесильному временщику Сперанский не смог и уступил ему своего ученика и помощника. За три дня до официального назначения в военные поселения по представлению Сперанского Батеньков получил денежную награду десять тысяч рублей. Этой наградой Сперанский вывел его из денежных затруднений. 29 января 1823 г. Батеньков был уже освобожден «от занятий по части Главного управления путей сообщения», откомандирован в Отдельный корпус военных поселений и «назначен членом комиссии составления проекта учреждения» этих поселений. Обязанности правителя дел Сибирского комитета с него не снимались, так как требо-

[71] Северный архив. 1823. 1/385. Ч. 6. С. 197—204. Вероятно, не желая сообщать своего авторства, Батеньков, подписывая рукопись «Замечаний», переставил свои инициалы — вместо БГС написал БСГ, а издатель имя автора не раскрыл.



А. О. КОРНИЛОВИЧ
Из кн.: Корнилович А. О. Сочинения и письма. М.; Л., 1957

валось его участие в доведении «Сибирского учреждения» до местных властей.

Переход на службу к генералу Аракчееву не радовал Гавриила Степановича. Еще в сентябре 1822 г., побывав в Грузино для знакомства с военными поселениями, он почувствовал грозящие ему там опасности: «<...> условие совершенной и безмолвной зависимости не сродно моему нраву и привычкам, а в чужой монастырь не ходят с своим уставом»,— написал он друзьям после этой поездки[72].

В аракчеевском Грузино первые недели после назначения Батеньков не был загружен работой. «Мне отдых <...>. Гуляю и красуюсь»,— сообщил он С. Т. Аргама-

[72] Письмо 50.

кову в начале 1823 г.[73]. А начав работать, Батеньков быстро ощутил свое зависимое состояние. «Вы не поверите, в какой пустоте ношусь я теперь, как мало для меня случаев радоваться и как сильно тяготит меня собственное бытие»,— писал он друзьям уже в апреле. Тогда же он сожалел об оставленной Сибири, где был «несравненно» «ближе к самому себе», чем находясь на почетной службе у Аракчеева. Из своих наблюдений Батеньков сделал знаменательный вывод. «Язык мой и руки не были тогда связаны. Опытность, горестная опытность не показала еще тогда *ничтожность многих надежд»* (курсив мой.— *А. Б.*)[74]. А надежды, как мы знаем, были на силу реформ сверху.

Вскоре после отъезда (25 мая 1823 г.) Сперанского в Чернигов к дочери Батеньков ненадолго уехал в «свою семью», в Москву к Елагиным. Он надеялся, что встреча с близкими возвратит ему «жизнь и воспрянут надежды». В свидании с друзьями ему виделся главный источник счастья. Вторым источником новых надежд и творческих замыслов были по-прежнему встречи с прогрессивными деятелями, серьезное чтение и постоянное самообразование, которым он отдавал все время, свободное от службы в военных поселениях.

В Грузино Батеньков работал над проектом учреждения военных поселений. Наблюдая жизнь поселян, он размышлял над сложившимися там порядками и делал серьезные политические выводы. Впоследствии, 29 марта 1826 г., он так написал В. В. Левашову, прося разрешения сообщить свои соображения Николаю I: «В мыслях я неистощим, ибо наблюдал и рассуждал много»[75].

Именно в Грузино «во время вечерних прогулок» у него укрепились и оформились мысли о «беспорядках и злоупотреблениях», царивших в стране. Результаты этих размышлений были, по его словам, «поводом к возбуждению во мне желания перемены в образе правления». Свои мысли Батеньков сформулировал 28 марта 1826 г. в записке с критикой внутреннего состояния российского государства, которую и подал как продолжение показаний Следственному комитету.

---

[73] Письмо 51.
[74] *Письма Г. С. Батенькова.* С. 131—132.
[75] *ВД.* Т. 14. С. 131.

Критикуя администрацию, он написал: «<...> я удостоверился, что она, не быв утверждена на *политической* свободе, не может быть прочна и не может достигать своего назначения». О системе налогов сказал решительно: «Ничего <...> не было обманчивее»,— а земские повинности назвал обширным полем злоупотреблений и народного бедствия.

Оценивая казенное хозяйство, он брался доказать, «что истинная экономия нигде не наблюдалась и что все основано было на том, что счета одного места не сводились с другими, что сметы были произвольны, что ревизия состояла в одной поверке цифр». Этот документ — свидетельство не только административной и экономической грамотности Батенькова, но и политической, гражданской зрелости будущего декабриста, проявившейся уже в 1823 г.[76] Возвращаясь в Петербург из Грузино и поездок по военным поселениям, Батеньков встречался со столичными писателями и поэтами, в частности с В. А. Жуковским. Их сердечные, дружеские отношения и взаимная привязанность настолько окрепли, что весной 1823 г. перед отъездом в Павловск поэт бывал у Гавриила Степановича «каждый день». По признанию Василия Андреевича своей племяннице Авдотье Петровне Елагиной, он полюбил Батенькова и был «совершенно» согласен с ним «в образе мыслей». Особый интерес у будущего декабриста вызывали собрания Вольного общества любителей российской словесности. Оценивая майский литературный вечер 1823 г., он отметил: «<...> удовольствия сего рода становятся уже потребностию нашей публики»[77].

Друзьям и знакомым казалось, что жизнь сибиряка вошла в устойчивое русло и он успешно продвигается по служебной лестнице. Однако самого Батенькова это благополучие не удовлетворяло. Еще в конце ноября 1823 г. он признался Елагиным: «Я никогда более нынешнего не чувствовал охоты просить увольнения от службы»,— и добавлял, что делами занимается «с каким-то нехотением» и тоскует из-за «невозможности предпринять что-либо для своего спокойствия[78]. Его он находил в научных и общест-

---

[76] Там же. С. 131—134. Более обстоятельно этот документ будет проанализирован во втором томе.
[77] Письма 53 и 58.
[78] *Письма Г. С. Батенькова.* С. 138.

венных интересах, особенно ярко проявившихся в 1823—1824 гг. Это было время, предшествовавшее становлению его как дворянского революционера-декабриста.

Научные занятия и переписка за эти годы, перечень книг личной библиотеки говорят о серьезных занятиях Гавриила Степановича не только служебными делами. Он анализирует политическое устройство России и других государств, изучает историю, этнографию и экономику, читает сочинения философов, совершенствует свои знания живых иностранных языков и изучает древние. Последнее из перечисленных сделало Батенькова одним из предшественников русской науки о древнем Египте[79]. Его брошюра «О египетских письменах» была издана анонимно, за подписью «Б», в типографии Н. И. Греча в 1824 г. С 12 июля по 30 августа того же года это сочинение печаталось в виде отдельных статей»[80]. Возникло оно в результате знакомства Батенькова с трудом Ж.-Ф. Шампольона «О египетском иероглифическом письме»[81]. В брошюре нет перевода. Здесь предложено читателю, незнакомому с подлинником, «извлечение с приличными пояснениями». Давая сочинению Шампольона блестящий отзыв, Батеньков прежде всего обратил внимание на «точность» и «удобность» изложения столь сложного материала, т. е. на те качества, которые он считал обязательными для любого сочинения.

25 января 1824 г. «за отличие по службе» Батеньков был произведен в подполковники и назначен членом Совета главного над военными поселениями начальника Аракчеева. Трудолюбие, обширные знания и высокое качество составляемых им документов позволяли ему рассчитывать на определенную независимость и деятельность, не связанную со служебными обязанностями. Впоследствии он написал: «Как ни сильно было лицо графа Аракчеева, но поелику стал он знать меня с портфелью статс-секретаря и членом своего Совета, притом я знал, что ему был нужен, то и мог принять не тот тон, какой наблю-

---

[79] Кацнельсон И. С. Материалы для истории египтологии в России // Очерки по истории русского востоковедения. М., 1956. Сб. 2. С. 208.

[80] Сын отечества. 1824. № 28—30, 32—35.

[81] Рус. перевод. см.: Шампольон Ж.-Ф. О египетском иероглифическом письме / Пер. с франц., ред. и комментарий И. Г. Лившица. М., 1950 (Классики науки).

дал с Сперанским». В этом противопоставлении отношений к своим «необыкновенным» начальникам был глубокий смысл. Сперанского Батеньков «любил душою», хотя и знал его недостатки. В Аракчееве он видел человека, который был «зависим, ибо сам писать не может и неучен», но «страшен физически, ибо может в жару гнева наделать множество бед»[82]. Но с тем и другим Батеньков работал добросовестно. 29 мая 1824 г. приказом по Корпусу Аракчеев объявил ему благодарность «за отличное исполнение возложенных на него поручений», а 10 июля того же года назначил Батенькова «старшим членом Комитета по отделениям военных кантонистов».

Работа в Совете военных поселений, частое посещение Штаба поселенных войск и высших правительственных учреждений, поездки на топографические съемки местности, отведенной поселениям, общение с поселянами и их начальниками усиливали недовольство Батенькова аракчеевскими порядками. Его все больше привлекает деятельность просветителя и этнографа. 7 марта 1824 г. он сообщил друзьям, что надеется отправиться в Сибирскую экспедицию на «<...> поверку и продолжение открытий Матюшкина и Врангеля», но не только как картограф, топограф, но и как просветитель, лингвист, этнограф. Но мечтам осуществиться не пришлось. Служба в Совете военных поселений продолжалась. Уже 2 мая Батеньков, иронизируя над своими планами, писал Елагину: «<...> что будет с бедными моими мечтами?», «<...> не поискать ли им вовсе выхода и улететь на вечный покой ко предкам своим — небывальщинам и бредням, в страну воздушных замков?»[83] Оценивая сложившуюся обстановку, здравомыслящий Батеньков понимал, что его мечты избавиться от службы у Аракчеева подобны мечтам Дон-Кихота, повесть о похождениях которого он в то время читал.

О широте и многогранности интересов Батенькова свидетельствует и тот факт, что еще весной 1824 г. по просьбе Н. А. Полевого и Н. И. Греча он занимался аналитическим разбором системы спряжений русских глаголов, задуманной Полевым. Сообщая об этой работе друзьям, он писал: «Долго было бы толковать, в чем они правы, в чем неправы, где умничают и где дурачатся»[84]. Особое

[82] *ВД*. Т. 14. С. 143.
[83] *Письма Г. С. Батенькова*. С. 142.
[84] Письмо 60.

внимание уделял он литературному языку. Ратуя за чистоту русского языка, против засорения его иностранными словами, он допускал использование нерусских терминов только в тех случаях, когда в родном языке не было слов, обозначавших новые понятия. В то же время он резко критиковал попытки нового министра народного просвещения А. С. Шишкова возродить «седой кластицизм», вернуть в русский лексикон фиту и ижицу и изгнать из него новшества романтической школы Карамзина, Жуковского, Пушкина. Батеньков со свойственной ему честностью заявлял: «<...> я никак не согласен ни оного, ни секового употреблять в письмах»[85].

Среди литераторов и ученых Батеньков стал своим человеком. Многие литераторы бывали у него запросто дома, в том числе поэт А. Дельвиг, декабрист, историк А. О. Корнилович и другие. Был ли тогда Батеньков полностью с ними откровенен в оценке действительности, сказать трудно. А вот в письмах к А. А. Елагину он, используя иносказания, очень страстно критикует военные поселения. Это позволяет сделать вывод о том, что в нем уже назревал протест против деспотического строя в целом. Так, он пишет, что Синие горы (военные поселения) «высоки, пространны, скалисты, ветрены, холодны и опасны»[86]. Даже тогда, когда Батеньков описывает друзьям свои служебные занятия, он иронизирует не только над военными поселениями, но и над собой. Например, он сообщает, что уехал работать «за Волхов», на родину Марфы Посадницы, туда, где когда-то легендарный Вадим выступал против самовластия Рюрика. А теперь в этих местах он, Батеньков, вынужден был, «взяв в руки тяжелый булыжный камень, сгонять мух с казенного строения»[87]. В приведенных словах подражание известной басне И. А. Крылова «Пустынник и Медведь». На это явное подражание обратил внимание В. Г. Карцов[88]. Подобно басенному Мишеньке, который сгонял муху с лица друга увесистым булыжником, Батеньков с «булыжным камнем» оберегал ненавистные ему «строения» — аракчеевские военные поселения.

---

[85] Письмо 65.
[86] Письмо 62.
[87] Письмо 65.
[88] *Карцов*. С. 117—118.

Все тягостнее было Батенькову делать дело, которое противоречило его убеждениям, интересам и вкусам. Аракчеев наваливал на него «кипы дел», от которых не спасали даже болезни. «Суеты» отнимали «у головы всю свежесть», заставляли «сидеть — когда необходимо движение, рыскать по городу — когда необходим покой». Твердое намерение оставить службу связывалось и с решением Гавриила Степановича «непременно и чего бы то ни стоило жениться в 1825 году». Он подумывал даже о поселении в деревне, поблизости к Елагиным[89].

Однако ноябрь и декабрь 1824 г. внесли в жизнь Батенькова, как и всех жителей Петербурга, новую заботу. 7 ноября северная столица подверглась свирепому натиску стихии—наводнению. В письмах от 14 и 29 ноября 1824 г., 3 и 29 февраля 1825 г. он дает яркое описание следов «опустошительного потопа» и мер, принятых для борьбы с ним и его последствиями[90]. Одной из этих мер была деятельность «Комитета для пособий с.-петербургским жителям, потерпевшим от наводнения». Комитет был создан на основании указа, текст которого готовил Батеньков.

Напряженные дела и заботы не лишали его интереса к международным событиям: он размышляет о конференции держав — членов Священного союза, собранной в Петербурге по греческим и ближневосточным проблемам. От внимания Батенькова не уходили и результаты промышленной революции: «С изобретением паровых машин силы человеческие стали дешевы и не всегда нужны»,— замечает он, завершая писать «Положение» о покупке лесов для поселений в Старой Руссе и наблюдая там за ходом строительных работ и перевозкой грузов.

Гавриил Степанович по-прежнему в курсе литературных дел. Он знает об издательских трудностях альманаха «Полярная звезда» К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева, говорит о появлении новых альманахов: «Северные цветы» А. А. Дельвига и «Русская Талия» Ф. В. Булгарина. Иронически отзывается о затянувшемся литературном конфликте между Булгариным и Измайловым[91].

Устав от служебных поездок, придирок начальника Штаба военных поселений П. А. Клейнмихеля, Батеньков

---

[89] Письма 68, 70.
[90] Письмо 69, 70, 74, 75.
[91] Письма 66, 71.

хлопочет об отдыхе. 19 декабря 1824 г. он получил «домовой» отпуск на 28 дней. Как и в предыдущие два года, он отправился в Москву, к Елагиным. Три недели, проведенные Батеньковым в Москве, определили всю его дальнейшую жизнь. Там он познакомился с одним из директоров Российско-Американской компании И. В. Прокофьевым. Прокофьев жил в Петербурге в одном доме с К. Ф. Рылеевым. Батенькова он знал заочно по делам службы еще со времени работы Гавриила Степановича в Сибири. Встреча с прогрессивными представителями московской интеллигенции на приеме у Прокофьева не прошла бесследно. Разговоры о положении в стране, о необходимости избавить народ от беззакония и деспотизма, о революции в Европе, государственном устройстве Америки, внутреннем и международном положении России были созвучны настроениям Батенькова и приводили его к совершенно определенному выводу: «Зрелище военных поселений и Западной Сибири, угнетаемой самовольным и губительным управлением, общее внутреннее неустройство, общие жалобы, бедность, упадок и стеснение торговли, учения и самых чувств возвышенных, неосновательность и бездействие законов, несуществование истинной полиции — все, с одной стороны, расположило не любить существующий порядок, с другой же — думать, что революция близка и неизбежна». Сделав такой вывод, Батеньков продолжил свои размышления: «У Прокофьева же в Москве в генваре 1825 года пришла мне в первый раз мысль, что поелику революция в самом деле может быть полезна и весьма вероятна, то непременно мне должно в ней участвовать и быть лицом историческим.

На пути из Москвы я начал рассуждать о делах греческих, обращался на Россию и жалел, что у нас географическое положение не представляет никакой удобности к восстанию. Зная по делам, что все разыскания о тайных обществах были более злобны и ничего не доказывали, я уверен был, что их нет в России и что все наши либералы только на словах. Проезжая от Бронниц к Новугороду, я рассуждал о силе тайных обществ, уверился, что это ужасное средство атаки на правительство и что они не изобрели еще против сих мин достаточных средств. Мне казалось, что контрмины могут состоять только в таковых же обществах, и начертал план их администрации»[92].

[92] *ВД*. Т. 14. С. 95.

Эти показания приводились неоднократно исследователями биографии Батенькова и толковались по-разному. Анализ документального наследия декабриста и воспоминаний о нем современников убеждает, что верное толкование признания Батенькова, сформулированного в свойственной ему форме иносказания, дал В. Г. Карцов[93]. Наличие в показаниях признаков внешнего противоречия: с одной стороны, уверенность в том, что тайных обществ «нет в России», так как «разыскания» о них «ничего не доказывали», с другой — рассуждения об атакующей силе тайных обществ — по сути своей только иносказательная форма. Ход мыслей Батенькова от Бронниц — района военных поселений, места восстания поселян в 1817 г., символизирующего борьбу народных масс за свои права, до Новгорода, символизирующего «вольность, народоправство» — свободу, был закономерен для дворянского революционера. Из сетований Батенькова на отсутствие в России «удобности к восстанию» можно сделать вывод о том, что уже в начале 1825 г. он не был противником восстания, понимал его неизбежность, но не видел еще реальной перспективы его проведения. В то же время при мысли о возможности народных выступлений, подобных тем, что были в Бронницах, он ужаснулся. Он искал иной путь к свободе и «сделал свой план атакующего общества». Что же это за общество? Против кого оно станет «контрминой»: против тайных обществ, которых Батеньков еще не видел, или против правительства? Исходя из анализа предшествующей и последующей деятельности Батенькова видно, что он думал тогда об «атаке» против правительства, а не за правительство, рассчитывая на участие в обществе честных людей, а не «кусающих букашек», как предполагал В. Г. Карцов. Он планировал, в сущности повторяя пройденный уже Союзом благоденствия этап, создание общества для борьбы за свободу путем постепенных государственных преобразований, производимых сверху, а не добытых снизу в результате народных революционных выступлений.

В. Г. Карцов справедливо заметил, что мнение С. Н. Чернова о плане Батенькова создать охранительное «для правительства» общество в качестве контрмины про-

---

[93] *Карцов*. С. 119—121.

тив тайных обществ неверно[94]. Насколько серьезными были замыслы декабриста, свидетельствует «план», который он обдумал, возвращаясь из Москвы в Петербург. Затем он нередко возобновлял думы о нем. В «плане атакующего общества» он назвал четыре предполагаемые им «отрасли» и перечислил их функции: «1. Деловую, которая бы собирала сведения, капиталы, управляла и ведала дела членов. 2. Ученую, которая бы вообще действовала на нравы. 3. Служебную, которая бы с пособием капиталов общества рассыпана была по государству, утверждала основание управления и состояла бы из лиц отличнейшей в делах честности, кои бы, занимая явно гражданские должности, тайно по данным наказам отправляли и те обязанности, кои будут на них лежать в новом порядке. 4. Фанатиков более для того, что лучше их иметь с собою, нежели против себя»[95].

Говоря о «фанатиках», Батеньков имел в виду революционеров, готовых в случае необходимости «на крайние средства», даже грозящие им собственной гибелью. Конечно, оговорка о причине включения «фанатиков» в планированное общество делалась Батеньковым для Следственного комитета. На деле же сам Батеньков в дни подготовки к восстанию оказался в числе «фанатиков» — революционеров, выступивших против самодержавия.

Знакомство с И. В. Прокофьевым в Москве, продолженное в Петербурге, способствовало сближению Батенькова с членами тайного общества. Он стал частым гостем в доме Российско-Американской компании на Мойке, где жили ее служащие. Здесь бывали братья Бестужевы, останавливался, приезжая из Москвы, В. И. Штейнгейль и собирались у Рылеева все члены Северного общества.

Поначалу присутствие Батенькова — правителя дел Сибирского комитета, ученика Сперанского и доверенного члена Совета начальника военных поселений Аракчеева — в квартире Прокофьева и его вольнолюбивые высказывания вызывали у присутствовавших сомнения и настороженность. Руководители тайного общества сочли необходимым убедиться в его искренности. Единомышленники Рылеева не сразу поверили, что Батеньков, так же, как и они, стремится избавить страну от деспотизма и беспра-

---

[94] Там же. С. 120.
[95] *ВД*. Т. 14. С. 96.

вия, хотя еще не нашел для себя верный к этому путь.

Вернувшись из Москвы, Батеньков активно включился и в культурную жизнь столицы. В литературных кругах связи его уже настолько окрепли, что 20 января 1825 г. он принимал у себя и представлял дочери Сперанского Е. М. Фроловой-Багреевой «весь петербургский Парнас». Он продолжал дружеское общение с В. А. Жуковским и вмешивался в литературные споры Булгарина с другими издателями, в том числе с В. Ф. Одоевским, поддерживая последнего[96].

Особый интерес вызывали у него зарубежные события: итоги революции в Испании и освободительное движение негритянских племен — ашантиев против английских колонизаторов. Борьбу ашантиев он оценивал как «нечто великое: борьба дикости с желанием образования; не для них ли теперь время Петра?»[97] Одобряя действия ашантиев, Батеньков думал, не встать ли ему на этот путь, открывшийся после поездки в Москву, но признавался, что «должен остаться в бездействии», так как еще окончательно не решил, чему следовать,— продвигаться по службе и жить спокойной семейной жизнью или выбрать путь революционера, борца за свободу? Убедившись в неизбежности революционных преобразований, Батеньков решил продолжать изыскивать средства для их достижения без «ужасов» народного восстания.

Как уже говорилось, Батеньков исходил из реально существовавшей в России монархии и считал ее необходимым условием, отвечавшим сложившимся традициям и обычаям народа. Однако он полагал, что осуществить преобразования, ликвидировать бесправие народных масс и злоупотребления властей и дать людям свободу можно лишь при наличии царя-преобразователя, подобного Петру I. Этим и объясняются слова Батенькова о Петре в письме об ашантиях. В то же время он еще надеялся на силу задуманного им «атакующего общества», которое, по его планам, должно было влиять на формирование законов, издаваемых царем.

Поэтому он продолжал искать людей, которые разделили бы с ним его надежды. Поиски эти подчас приводили к разочарованиям. Неудачной была, например, его попыт-

---

[96] Письма 72, 77.
[97] Письмо 74.

ка завербовать в свое общество (в ноябре 1825 г.) Н. И. Греча[98]. Но с людьми, близкими ему по духу, Батеньков встретился. Случилось это на квартире Рылеева, в доме Прокофьева, где собрались члены Северного общества. Поводом приема были именины, но не самого Рылеева, как полагали некоторые биографы Батенькова на основе его показаний, а Анны Федоровны — его сестры. В. Г. Карцов справедливо считал, что именно это событие было поводом для встречи декабристов в квартире Рылеева, и тем самым определил дату первого посещения Батеньковым собрания членов тайного общества[99]. Много лет спустя, вспоминая 3 февраля 1825 г., Батеньков писал об этом собрании — заседании тайного общества[100].

После первого посещения квартиры Рылеева Батеньков сблизился с членами его группы, особенно с А. А. и Н. А. Бестужевыми, и часто встречался с самим Рылеевым. Недовольство службой в поселениях и стремление разобраться в собственных мыслях и поступках постоянно присутствуют в его переписке с друзьями. Всю весну он говорит о лихорадочном состоянии своих дел. «Никогда не были они важнее, опаснее и неисповедимее»,— написал он 3 марта. Еще не решив, что ему делать, но уже видя, что жизнь и служба при Аракчееве не могут привести к реализации его планов преобразования законов, он задается вопросами: «Для чего я живу, для чего я тружусь? для чего я борюсь?» Оценивая свое состояние в этот период, Батеньков писал: «Мне просто душно в тесноте <...> и несносно терпеть беспрестанные <...> принуждения»[101]. Особенно досаждал ему П. А. Клейнмихель.

В первых числах мая Батеньков уехал (почти на все лето) в Грузино, надеясь там «отдохнуть от дел» и лечиться «без помехи». В Петербург приезжал по делам или к друзьям[102].

Вспоминая лето 1825 г., он показывал на следствии: «<...> прожил я во Грузине покойно и приятно, зани-

---

[98] Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 449—451.

[99] *Карцов С.* 122.

[100] Батеньков Г. С. Данные. Повесть собственной жизни. С. 125—126.

[101] Письма 76—78.

[102] Письма 80, 81.

мался постройками, устройством военно-сиротской части и делами. Прочитал лорда Байрона <...>»[103]. Как видно из этих слов, отдыха от дел не было, но зато он мог заниматься и неслужебными делами. Одним из таких дел была подготовка сочинения, начатого еще после возвращения из Москвы, в январе,— «Опыт теории правительственных учреждений».

На следствии Батеньков признался, что у него уже были подготовлены и прочитаны Н. А. Бестужеву: 1) введение; 2) теория разделения правительственных учреждений; 3) теория силы и власти разных частей и 4) теория состава правительственных мест. «Недоставало только теории образа их действия. Все сие писано методом аналитическим, в чертах общих»,—написал он, отвечая на вопрос Комитета 15 мая 1826 г. Однако когда по повелению Николая I потребовалось предъявить это сочинение в Комитет, то 22 мая 1826 г. Аргамаковым «отыскались» и были представлены лишь отрывки сочинения, вероятно относящиеся к четвертому из названных выше разделов. Остальные листы «Опыта» обнаружены не были. Но еще за два месяца до предъявления этих фрагментов, 29 марта 1826 г., Батеньков подал генералу В. В. Левашову упомянутую выше записку с критикой внутреннего состояния Российского государства, которая, бесспорно, воплотила в себе основные мысли утраченных частей «Опыта». В сохранившихся отрывках разбираются только в пределах одной статьи три вопроса: «Принадлежности представления правительственных мест», касающиеся места пребывания, времени и обрядов представления[104].

2 июня 1825 г., оставшись на несколько дней в Петербурге, Батеньков написал друзьям знаменательные слова: «<...> *сумасшествие* (курсив мой.—*А. Б.*) мое растет и множится». И добавляет, что этот «дар» («сумасшествие») — «причина всего великого и необычайного», но он может лишить его надежды стать полковником[105]. В таком признании читается определенная решимость Гавриила Степановича включиться в активную борьбу за достижение «великого и необычайного», то есть свободы.

---

[103] *ВД*. Т. 14. С. 96.

[104] *ЦГАОР*. Ф. 48. Оп. 1. Д. 264. Л. 1—12; *ЦГИА*. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 671. Л. 19—19 об. Подробный анализ «Опыта» будет дан во втором томе.

[105] Письмо 84.

В 1820—1830-х гг. слова «сумасшествие», «сумасшедший» были очень распространены в России в оценках людей, мысли и действия которых отличались от традиционных, общепринятых в то время. Назвав себя так, как назвали грибоедовского героя в доме Фамусова,— «сумасшедшим», Батеньков намекал друзьям на свои тайные мысли «карбонария». Забегая вперед, заметим, что через семь месяцев, оказавшись перед членами Следственной комиссии, а затем и в Алексеевском равелине, Батеньков, используя этот «диагноз», позволил себе резко и без оглядки критиковать существующие в стране порядки, адресуясь к царю и даже богу.

Письмо от 2 июня содержит и другие любопытные сведения. Батеньков жалуется, что его попытки «быть педагогом» не находят применения, так как некого учить. А его «покушения» «учить взрослых вообще встречаются то насмешкою, то злобою». Расшифровка этой жалобы проста: Батеньков безуспешно пытался убеждать своих новых друзей, членов тайного общества, в возможности добиться свободы путем воздействия на монарха и усовершенствовать законы с помощью реформ. В качестве примера такой неудачной попытки «учить» Рылеева Батеньков привел на следствии их спор по поводу появления в печати стихов Языкова «Новгородская песнь 1170 года». В связи с этими стихами Батеньков заметил Рылееву, что не следует прибегать к незначительным действиям, которые, «не принося пользы, раздражают только правительство». В ответ руководитель Северного общества доказывал пользу и таких действий. Он говорил: «<...> ежели мы долее будем спать, то не будем никогда свободными». Затем, вспоминая допетровскую Россию, сказал, что вновь настало время «повесить вечевой колокол». Не соглашаясь с этими выводами, Батеньков «говорил ему, что горсть солдат все разрушить может и что восстановленный Новгород признает князем первого честолюбца, который к нему явится». «Рылеев тотчас меня оставил»,— закончил Батеньков свой рассказ о неудачной попытке «учить взрослых» [106].

Однако вера в преобразовательную силу реформ не мешала ему критически относиться к внешним новшествам в жизни Петербурга. Он иронизировал над обязательны-

---

[106] *ВД*. Т. 14. С. 96.

ми усами у «бутошников», зеленой окраской лотков, кадочек, подножек и тому подобными мелочными «усовершенствованиями» городского быта столицы.

Все больше погружаясь в планы преобразования российских порядков, Батеньков часто приезжал из Грузино и Старой Руссы в Петербург не только по делам службы. На обедах у Прокофьева он все чаще встречался с членами тайного общества, а некоторые из них бывали у него. В доме петербургского головы И. В. Кусова он общался с представителями русского купечества, в том числе с прогрессивно настроенным купцом А. П. Сапожниковым.

10 сентября 1825 г. в Грузино была убита любовница и экономка Аракчеева Н. Ф. Минкина-Шумская. Жестокость ее была настолько велика, что крепостные, воспользовавшись отсутствием в Грузино графа, решились расправиться с ней [107]. Слухи об одобрении Батеньковым поступка крепостной девушки, способствовавшей убийству Минкиной, стали «предметом городских разговоров», а затем и злобного доноса на него П. А. Клейнмихеля. По словам анонимного доносчика, в его присутствии Батеньков говорил другу-сибиряку (вероятно, С. Т. Аргамакову.— *А. Б.*): «Не нужно жалеть! Вещи идут своим ходом. Несчастье невелико. Впрочем, несчастье одних есть счастье для других <...>» [108].

О реакции членов тайного общества на возможное «отречение» — уход от дел Аракчеева, заболевшего после смерти Минкиной, Батеньков так отвечал на следствии: «<...> уже в октябре обедали мы у Прокофьева. Целый стол говорили о переменах, кои последовать могут <...>. А. Бестужев сказал при сем случае, что решительный поступок одной молодой девки производит такую важную перемену в судьбе 50 миллионов» [109]. Как видим, слова Батенькова и Бестужева по сути очень близки.

Вслед за событиями в Грузино столичное общество взволновала дуэль подпоручика лейб-гвардии Измайловского полка К. П. Чернова с флигель-адъютантом В. Д. Новосильцовым. Похороны подпоручика, защитившего честь сестры, оскорбленной аристократом, состоявшиеся 27 сен-

[107] Письмо 94.

[108] Батеньков Г. С. Данные. Повесть собственной жизни. С. 142—144.

[109] *ВД*. Т. 14. С. 96.

тября, превратились в многолюдную демонстрацию. Присутствуя на похоронах вместе с другими будущими декабристами, Батеньков почувствовал «нечто новое, похожее на так называемое общее мнение». Именно после этой демонстрации К. Ф. Рылеев и А. А. Бестужев окончательно убедились, что Батенькову можно верить.

На октябрьском обеде у Прокофьева Батеньков и А. Бестужев, оказавшись наедине, «<...> начали мечтать о судьбе России. Нам представлялась она в прелестном виде под свободным правлением, я пожелал, чтоб мы пользовались свободою, жалел, что нет средств приняться за столь полезное дело и что, по всей вероятности, нет людей, кои бы могли поддержать конституционное правление. Он сказал, что люди есть уже, которые на все решились; я отвечал, что не был бы русским, если бы отстал от них. Прибавил к тому, что перевороты снизу, от народа, опасны и лучшее средство придумать так, чтоб овладеть самым слабым пунктом в деспотическом правлении, то есть верховною властью, употребив интригу или силу»,— показывал на следствии Батеньков [110].

Завершая эти показания, Батеньков попытался представить октябрьскую встречу в доме Прокофьева как первый шаг к сближению с членами тайного общества. На самом деле будущие декабристы в октябре не знакомились с Батеньковым, так как уже с февраля считали его сочленом организации, хотя и не подвергали формальной процедуре приема. Теперь шла речь *не о приеме* в тайное общество, а о переводе его из числа «согласных» — испытуемых *в число полноправных,* испытанных членов общества — в «Союз убежденных». Для этого он и подвергался «испытанию». Из ответа Батенькова Бестужеву руководители Северного общества поняли, что он, так же как и они, решился принять участие в восстании против деспотизма, если этого потребуют обстоятельства, и поверили ему окончательно.

Служебное положение Батенькова, несмотря на доверие к нему Аракчеева, становилось очень напряженным. Вернувшийся из отпуска Клейнмихель, чувствуя умственное и деловое превосходство Батенькова, прилагал все меры к подрыву этого доверия. В ход были пущены шпионаж, доносы и постоянные придирки. Батеньков решил оставить

---

[110] Письмо 95; ВД. Т. 14. С. 96.

службу в военных поселениях и подыскивал себе новую должность. Он советовался со Сперанским и Б. Б. Кампенгаузеном — первым русским государственным контролером и вел переговоры с Российско-Американской компанией. 7 ноября он подал официальное прошение в Штаб и отправил письмо Аракчееву с просьбой уволить его от службы. 12 ноября он получил официальное извещение о необходимости просить об этом Главное управление путей сообщения, так как числился в штате Корпуса инженеров путей сообщения. Сверх ожидания, в день обращения к герцогу А. Вюртембергскому с просьбой об отставке — 14 ноября 1825 г. — он был устно извещен, что уже отчислен «по прошению» из Корпуса военных поселений. Любопытно, что именно в этот день Клейнмихель получил донос на Батенькова, о котором говорилось выше. Вероятно, едкие слова доносчика о поведении Батенькова после гибели Минкиной были переданы Клейнмихелем Аракчееву и повлияли на решение его участи. Поэтому без письменного указа, а только по устному распоряжению, переданному через генерала Эйлера, заменявшего больного Аракчеева, Батеньков был освобожден от занятий в военных поселениях.

Оставшись без должности, Батеньков «огласил» предложение, сделанное ему правлением Российско-Американской компании, стать правителем ее колоний «на Восточном океане». Переговоры действительно были почти завершены — он обязывался служить пять лет за 40 тысяч рублей в год. Но это оглашение предназначалось прежде всего для петербургской публики. Батеньков стремился этим поступком избежать «небезопасных пересудов», которые могли возникнуть в связи с его скоропалительной отставкой, названной им «деспотической мерой».

Объявив о предстоящей службе, Батеньков не спешил ехать на Восток, так как еще рассчитывал получить более спокойное место в столице. Его контакты с членами тайного общества стали постоянными [111]. К тому же Батеньков «болел». В краткой записке от 27 октября он извещал друзей: «Я болею лихорадкою и не могу писать» [112]. На самом же деле причиной почти месячного молчания была не только болезнь. Моральная «лихорадка», связанная

[111] Письма 97—99; *ВД*. Т. 14. С. 97.
[112] *ГБЛ*. Ф. 99, 3.9. Л. 34.

с переходом из числа «испытуемых» в «убежденные» члены тайного общества, удерживала его от писем. Подтверждает это и единственное известное исследователям письмо, написанное Батеньковым за время между 14 ноября и 14 декабря 1825 г. Он писал, что причины, заставившие его уйти из военных поселений, были им «не так мало <...> рассмотрены, чтоб последствия их могли быть неожиданными» [113]. Будущий декабрист сознательно встал на путь революционера и понимал, что этот путь потребует сил и времени.

С середины ноября к больному Батенькову неоднократно приходили Рылеев, Н. и А. Бестужевы и вели разговоры о необходимости преобразований в стране. Все больше погружаясь в заботы и планы тайного общества, Батеньков соглашался с необходимостью перемен, но считал, «что верховная власть яко идея нелегко может быть присвоена, что одною силою утвердить ее в новом виде трудно». Рылееву, отдававшему «великие преимущества республикам» и говорившему, «что сего же надобно желать и в России», Батеньков доказывал, что время республики еще не настало, так как народ привык к монархии. В подтверждение традиционности российской монархии он ссылался на церковные эктении в память царей, произносимые народом повсеместно [114]. Батеньков был убежден, что народ (крестьянство) еще не готов к пониманию антицаристских идей и не поддержит их.

«Около 10 ноября» вернулся из Киева в Петербург один из основателей и руководителей Северного общества С. П. Трубецкой [115]. Рылеев известил его о новом члене общества [116] и своем желании познакомить их. Встреча состоялась дома у больного Батенькова, но он не знал, что пришедший — член общества и один из директоров Северной думы. Рылеев предупредил его лишь о том, что гостю «известна армия», в которой «свободные мысли глубоко пустили свои корни». Имелись в виду 2-я армия и созданное там П. И. Пестелем Южное общество. Переговоры с южанами от имени северян вел Трубецкой, нахо-

---

[113] Письмо 99.

[114] *ВД*. Т. 14. С. 82, 98.

[115] Трубецкой С. П. Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск, 1983. Т. 1. С. 29 (далее: *Трубецкой*).

[116] Трубецкой уехал в Киев в феврале 1824 г., то есть еще до вступления в тайное общество Батенькова.

дясь на службе в 4-м корпусе в Киеве. В результате этих переговоров, согласованных с другими руководителями Северного общества, был выработан общий план действий. По этому плану намечалось в мае 1826 г. во время смотра войск 2-й армии начать восстание, с тем чтобы северяне в Петербурге его поддержали.

Уже после первой встречи Батеньков «стал подозревать», что Трубецкой принадлежит «к сильной партии недовольных в армии», а остальных членов общества посчитал «вне самого дела». Он все еще не знал, кто и как намерен действовать. Трубецкой не раскрывал ему поначалу замыслов северян, а сообщил только, что «на юге, особенно в Киеве и Бобруйске, много людей, желающих перемены». Батеньков чувствовал недосказанность и понимал, что его опять проверяют. И только лучше узнав друг друга, Батеньков, Трубецкой, Рылеев и другие северяне стали откровенно обсуждать принципиальные вопросы, связанные с планами государственных преобразований в стране.

В показаниях Следственному комитету Батеньков так описывал эти обсуждения: «<...> 7. Я неоднократно говорил Трубецкому и Рылееву, что в России утверждение гражданского порядка несравненно настоятельнее, нежели политического, что у нас еще нет уездных судей, исправников и проч[ее]. Они обыкновенно возражали, что сей путь слишком долог и что надобно искать кратчайшего.

8. Говорил Трубецкому, что введению свободного правления в России предлежит непреодолимое препятствие в крепостном состоянии крестьян и что поелику нельзя ничего подобного допускать без соблюдения строгой справедливости, то одно вознаграждение помещиков представляет почти неразрешимый вопрос, тем более что весь частный кредит наш, можно сказать, искусственный и, как чрез сердце, обращается чрез казенные банки. <...>

9. Ведя разговор о том, что обеспечение представительного правления на твердой земле составляет важный вопрос, потому что монарх-завоеватель легко может оное испровергнуть, объявлял свою мысль, что вопрос сей разрешается без труда, а именно, возведением на престол особ женского пола, и что мы, имея двух императриц и многих великих княгинь, можем с сей стороны быть покойны.

10. Говорил, что Конституция есть не что иное, как

нравы, что писать ее не должно и что местные различия всего важнее в таком обширном государстве, как Россия; а вообще желать должно только: свободы тиснения, уничтожения тягостных народу и исполненных злоупотреблений земских повинностей, утверждения суда в нижних инстанциях, отложения произвольных заключений под стражу и ссылки в Сибирь людей нижних состояний за малые вины, пресечения своевольств местных властей, более же всего уменьшения армии или занятия ее войною.

11. Говорил с Рылеевым, что Россия теперь в таком еще состоянии, что депутатов можно иметь разве от одних университетов.

12. Соглашался с тою мыслью, что Тройственный союз ограничивает в некоторой мере самостоятельность России».

Батеньков признался далее, что хотя он и «удерживался» от подробных разговоров о военных поселениях, но допустил «три безрассудные вещи»: 1) в ответ на слова Н. А. Бестужева, «что, по мнению Рылеева, Кронштадт есть наш остров Леон», сказал ему (Бестужеву), что остров этот «должен быть на Волхове или на Ильмене», то есть в районе военных поселений; 2) утверждал, что впоследствии военные поселения станут «нашей национальной гвардией» и 3) говорил, что поселения «будут точкою опоры, когда недовольные выйдут на Пулкову гору».

Главная же идея, которую Батеньков старался внушать товарищам, обсуждая с ними цели и методы преобразований, состояла в следующем: «<...> преобразование то единственно может быть одобрено, после коего на другой день все рады и довольны, <...> всякие меры несправедливости и своевольства всегда влекут за собою гибельные последствия» [117].

Впоследствии, развивая мысль о выборе наиболее приемлемой формы управления страной после восстания, он считал необходимым введение конституционной монархии. Но, защищая это предложение, он понимал, что такая форма государственного устройства может быть временной. Утверждая, «что по обширности государства, по опыту тысячи лет и по нравам нашим республиканское правление нам не свойственно», он сразу же сделал оговорку: «по крайней мере, *для перехода нужна сперва монархия*» [118] (курсив мой.— *А. Б.*).

[117] *ВД*. Т. 14. С. 82—84.
[118] Там же. С. 98.

Таким образом, еще до междуцарствия Батеньков не был принципиальным противником республики. Допуская возможность республиканского устройства, он считал, что идти к нему надо не «кратчайшим» путем, а постепенно. Как известно, аналогичных взглядов придерживались и С. П. Трубецкой, и В. И. Штейнгейль, и другие декабристы.

Со свойственной ему аккуратностью и привычкой к точной ориентации в делах Батеньков искал ответа «на важнейшие вопросы, до переворота относящиеся». Он интересовался, насколько осведомлены руководители думы «о банках, внешнем и внутреннем кредите, государственных имуществах, о крепостном состоянии крестьян, о финансовой и военной системе, о средствах гарантии вновь замышляемого правительства», но не мог получить точных ответов ни от Трубецкого, ни от Рылеева [119]. Неосведомленность руководителей общества в столь серьезных государственных делах породила у Батенькова сомнение в его силе. Поэтому он предположил, что «действительное общество» находится не в Петербурге, так как оно должно иметь «и средства, и виды основательнее» тех, которыми, как он понял, располагала Северная дума.

29 марта 1826 г. Батеньков представил генералу В. В. Левашову в виде записки проект конституции для России [120]. В основу своего проекта он положил принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, то есть принцип, на котором держится буржуазный политический строй. Основанием каждой конституции, по его мнению, должны быть четыре проблемы: 1) устройство безотчетной и неограниченной власти, состоящей из императора, палаты вельмож (верхней) и палаты «по выборам» от среднего сословия (низшей); 2) устройство исполнительной власти, ограниченной законами и подотчетной перед законодательной властью; 3) образование суда присяжных и 4) обеспечение (гарантия) «неизменности установленного порядка». Этот последний раздел, существенный для характеристики взглядов Батенькова, состоит из девяти «вещественных» и семи «моральных» пунктов. В числе «вещественных» — «обра-

---

[119] Там же. С. 99.

[120] Там же. С. 135—138; во втором томе записка о конституции будет переиздана с соответствующим комментарием.

щение военных поселений в народную стражу», передача Петропавловской крепости в ведение города, независимость трех университетов и трех академий и другие. Среди «моральных» — свобода тиснения, независимость судебной власти, законы о наследии короны и «вельможества» и другие.

Необходимо учитывать, что в «мыслях» о конституции Батеньков не был чистосердечен. Защищая себя, он пытался доказать новому императору твердость своих монархических убеждений, не совместимых с поддержкой республиканских замыслов. В этом документе он еще не признавался, что перед восстанием в принципе одобрил идею свержения монархии и установления в России республиканского правления. Как отмечалось выше, признавал республиканское правление, как следующий шаг в истории государства. Но этот шаг требовал, по мнению Батенькова, серьезной подготовки народа к мысли о свержении монархии. Таким подготовительным периодом он и считал конституционную монархию.

Одновременно с конституцией осенью 1825 г. Батеньков обдумывал план системы народного просвещения, свойственной конституционной и неограниченной монархии. При этом он критически осмысливал недостатки существовавшей в России системы просвещения. Впоследствии он неоднократно возвращался к этой проблеме[121].

Внимание ведущих деятелей тайного общества — Рылеева, Трубецкого, А. Бестужева и других—было сосредоточено на вопросах будущего государственного устройства страны. Они неоднократно рассматривались при разработке плана предстоявшего в начале 1826 г. выступления, согласованного с южанами. В Батенькове все видели знатока законов и опытного автора законопроектов. Поэтому его мысли и предложения обсуждались на заседаниях Северной думы и при встречах его с отдельными членами общества.

Руководители Северного общества узнали о смертельной болезни царя днем 26 ноября, то есть на следующий день после получения известия во дворце. 27 ноября у Рылеева собрались возбужденные новостями и расстроенные неподготовленностью к действиям А. и Н. Бестужевы, К. Торсон и Батеньков. Всем было ясно, что наступило

---

[121] *ГБЛ.* Ф. 20, 5.17. Л. 1—21.

время действий, о которых мечтали. Но в то же время все понимали, что к действиям не готовы. Надо было срочно менять планы революционного выступления.

Оценивая сложившуюся обстановку, Батеньков говорил: «Представилась законность искать чего-либо в пользу отечества». Он понимал, что со смертью Александра «представился редкий в истории случай. Россия сделалась свободна от присяги, данной самодержавию и продолжавшейся непрерывно 64 года в лице царствующих особ и их наследников <...>» [122].

Батеньков надеялся, что Сперанский сумеет подать голос в Государственном совете в защиту законов и добьется присяги членов Совета «государю и законам», то есть ограничения самодержавия. Но эта надежда рухнула в тот же день, 27 ноября. Во второй половине дня Государственный совет, не раскрыв пакета с завещанием умершего царя, присягнул цесаревичу. Ни один голос не был подан в Совете за ограничение власти нового императора.

Узнав об этом, Батеньков «поссорился со своим стариком [Сперанским. — *А. Б.*] и наговорил ему бог знает что. Как можно, упустили такой день, каковых едва ли во сто лет бывает один, и ничего не могли сделать для отечества. Теперь все пропало невозвратно; *все предприятия надобно выкинуть из головы;* кончено: Россия на сто лет должна остаться в рабстве»,— с горечью говорил он В. И. Штейнгейлю вечером 27-го у Прокофьева.

Показательно, что в ответ на упрек Гавриила Степановича Сперанский не выразил ни удивления, ни протеста: «Я один, что ж мне прикажешь делать; одному мне нечего было говорить» [123]. Ответ этот — фактическое признание Сперанским своего бессилия в поддержке вынашиваемых будущими декабристами планов, в которые он был посвящен Батеньковым [124].

Возмущаясь бездействием Государственного совета и

---

[122] *ВД.* Т. 14. С. 99.

[123] Там же. С. 80.

[124] В 1854 г., вспоминая о Сперанском, Батеньков нашел ему оправдание. Он верил, что его учитель действительно мечтал «ограничить действия самодержавного правления» законом, но не мог сделать этого, так как опережал свое время. «Сперанский не сделал ничего в полном и свободном употреблении своих моральных сил, находясь большую часть жизни в страдательном противоречии с современными обстоятельствами и стихиями»,— написал ссыльный декабрист; см. также: *Семенова.* С. 46—47.

Сената, Батеньков говорил Рылееву и присутствовавшим Трубецкому, Бестужевым и Оболенскому, что они (Совет и Сенат) там «спят и что если бы они думали об отечестве, то могли бы в ту самую минуту, как Николай Павлович присягнул цесаревичу, принять сие отречение» (зная о завещании Александра) и объявить царем малолетнего Александра Николаевича, а потом сделать «что признают за благо». При обсуждении возможных кандидатов на пост ограниченного монарха Батеньков поддерживал также предложение Трубецкого о возможности присягнуть Елизавете, вдове Александра I. Выдвигал он и третьего кандидата — великого князя Михаила Павловича [125].

Как известно, совещание 27 ноября имело особое значение для последующих шагов тайного общества. Здесь было принято единодушное решение: 1) приступить к задуманным действиям, если Константин действительно не примет присяги и не согласится на престол и 2) если он примет корону, то скапливать силы, постепенно добиваться ведущих должностей в гвардейских частях и ожидать действий южан. На этом же совещании Рылеев предложил «некоторым членам» (Е. П. Оболенскому и братьям Бестужевым) кандидатуру Трубецкого на пост диктатора [126]. Участвовавший в совещании Батеньков понял, что общество к выступлению еще не готово и его «средства слабы», поэтому после разговора с Рылеевым присягнул, как и другие, Константину.

Присягнув Константину и надеясь на возможность добиться при нем перемен в стране, Батеньков обратился за поддержкой к С. П. Трубецкому. Зная его как серьезного и основательно мыслящего руководителя тайного общества, «облеченного широкими полномочиями», Батеньков рассчитывал на взаимопонимание. Он стал убеждать Трубецкого «оставить все замыслы, по крайней мере на 10 лет». Далее предлагал, составив «собою аристократию» (из числа наиболее подготовленных, образованных, честных людей, преданных идеям свободы), добиться ограничения монархии «простым требованием, а не мятежом». Реально оценивая силы, которыми располагало Северное общество, Батеньков в то же время переоценивал возможности «простых требований», адресованных самодержцу.

---

[125] *ВД*. Т. 14. С. 129—130.
[126] *Трубецкой*. Т. 1. С. 31.

7 декабря С. П. Трубецкой, придя к больному Батенькову, подтвердил слухи об отречении Константина и сказал, что есть «несколько войск», которые не хотят присягать Николаю, с ними «можно покуситься на предприятие перемены», то есть на выступление. Касаясь возможных перемен, он сказал, что у Южного общества «желания простираются даже до того, чтоб иметь республику, но <...> она устоять не может».

Рассматривая варианты «предприятия», Батеньков и Трубецкой «согласились в том желании, чтоб, приостановив действие самодержавия, наименовать временное правительство, которое бы распорядило в губерниях избирательные камеры и собрало депутатов <...> от дворянства, купечества, духовенства и поселян». Далее предполагалось преобразовать верхнюю палату, а затем уже присягнуть императору Николаю. Преобразование верхней палаты Батеньков предлагал возложить на Временное правительство «совокупно» с губернскими депутатами от всех сословий. Таким образом, присяга новому императору допускалась только после создания органов, ограничивающих самодержавие.

Батеньков понимал, что Николай мог и не пойти на «принудительную присягу», но они с Трубецким не обсуждали этого варианта. Оба исходили из реально существовавших отречения Константина и присяги, данной ему Николаем, то есть отречения от престола наследника по завещанию [127]. В результате возникала возможность провозгласить императором Александра Николаевича и, «пользуясь его малолетством», переменить образ правления, то есть установить конституционную монархию. Об этом не говорилось, но каждый об этом думал. Не следует забывать, что, принимая согласованное решение, Батеньков и Трубецкой были откровенны не до конца. И тот и другой пытались еще раз выяснить позиции собеседника. Батеньков искренне верил в возможность мирных переговоров с претендентом на престол. Трубецкой, конспиратор и старейший член тайного общества, соглашаясь с Батеньковым, сомневался в реальности согласованного плана.

При обсуждении в штабе восстания стратегической программы и тактики предстоявшего выступления Батень-

---

[127] *ВД.* Т. 14. С. 99.

ков, придерживаясь своего «бескровного плана», понимал, что в его осуществлении могут возникнуть серьезные осложнения. Так, если войска не присягнут Николаю, а все перейдут на сторону Константина и он явится в Петербург, перемена образа правления будет невозможна. После присяги цесаревичу солдаты уже не поддержали бы новых призывов революционеров, которые сами агитировали их за Константина. Поэтому Батеньков предлагал разделить участников выступления на две группы: одну оставить на стороне цесаревича, другую — на стороне великого князя. При перевесе первой группы могут быть два результата: первый — Николай, стремясь к власти, согласится провозгласить представительный образ правления и признает Временное правительство; второй — Николай «отложит свое вступление на престол», и тогда этот его шаг следует принять за отречение и объявить государем Александра Николаевича.

Постоянные встречи Батенькова 7—14 декабря с Трубецким, Рылеевым и другими руководителями Северного общества имели для них особое значение. Батеньков жил в доме Сперанского и был там своим человеком. По словам М. В. Нечкиной, этот дом был «самый осведомленный после дворца пункт». Отсюда декабристы очень быстро получали через Батенькова необходимые сведения о событиях во дворце. После присяги Константину Батеньков подолгу беседовал со Сперанским, пытаясь узнать, «возможно ли что-нибудь предпринять в пользу законов». Из бесед он узнал, что Сперанский полагает «всякую мысль об этом бесполезною и всякое покушение невозможным» [128].

На время междуцарствия дом Сперанского для гостей был закрыт, но А. О. Корнилович и С. Г. Краснокутский бывали у Сперанского и так же, как и Батеньков, передавали Рылееву и Трубецкому дворцовые новости [129]. Батеньков неоднократно повторял в те дни: «Совестно сим случаем не воспользоваться», «кажется, вся вероятность к успеху предприятия несомненна, станем ожидать и надеяться». Но Гавриил Степанович понимал, что для подготовки успешного восстания недостаточно только «ожидать и надеяться». Необходима хорошо продуманная про-

---

[128] *Семенова.* С. 46—49.
[129] *ВД.* Т. 14. С. 102.

грамма действий, основанная на глубоком знании руководителями задачи выступления и точном учете реальных сил, которые будут его осуществлять и обеспечивать закрепление достигнутого успеха. Он писал: «Без внутреннего правления, без капиталов, без решительного назначения и обеспечения желаемого вновь порядка и без постоянной деятельности каждого члена по принятой им на себя обязанности» тайное общество существовать и успешно действовать не может. Спустя полтора месяца, мотивируя свой отказ (на первых допросах) от принадлежности к тайному обществу, Батеньков вновь сформулировал обязательные принципы существования революционной организации. Тайное общество,— писал он,— это «союз, на ясных и определенных условиях основанный, известным порядком и правилами управляемый и прямые обязанности на каждого члена возлагающий». Но, став членом тайного общества (хотя и «никакими приметными обрядами» принят в него не был), он сомневался в готовности северян к выступлению против деспотизма. Особенно беспокоила его горячность молодежи: «Так ли они сильны, чтобы могли что-нибудь предпринять?» — спрашивал он В. И. Штейнгейля, А. И. Якубовича и других, слушая смелые антицаристские высказывания молодых на совещаниях у Рылеева [130].

Как отмечалось, 7—8 декабря при рассмотрении «средств для замышляемой революции и для будущего образования государства» Батеньков согласовал с Трубецким свой план действий, рассчитанный на установление конституционной монархии. Предполагалось в день предстоящей переприсяги поднять войска, опираясь «просто на верность» первой присяге, идти от полка к полку, *собирать более народа»*, не делать ни малейших беспорядков» (курсив мой.— *А. Б.*). Намечалось «начать внушение о том, чего могут <...> ожидать» солдаты «в личную пользу». И затем, «ежели счастье будет благоприятствовать до того, что удержимся на целую ночь, то дать первоначальные понятия и о цели покушения»,— признавался на следствии Батеньков. Он предлагал также вывести из города восставшие войска, чтобы «отвратить всякую опасность от дворца и от всего города», так как предвидел неизбежность столкновения между правительственными

---

[130] *ВД*. Т. 14. С. 78, 80, 81, 86.

войсками и восставшими. Он настаивал на выводе восставших полков на Пулкову гору, чтобы избежать кровопролития и жертв не только среди сражающихся, но и среди горожан, в присутствии которых на Сенатской площади и прилегающих к ней улицах не сомневался. Убеждая товарищей в целесообразности своего плана, Батеньков утверждал, «что сей род восстания почтеннее и величественнее, нежели шум в городе, притом же предает в руки пути сообщения, представляет удобную ретираду и подкрепление, когда полки в Царском селе и Рожественске присягнуть не успеют» [131].

Развивая свой план, Батеньков предложил в случае успеха восстания в качестве гарантии конституционной монархии следующие меры: 1) учредить провинциальные палаты «для частного законодательства»; 2) военные поселения превратить в народную гвардию; 3) Петропавловскую крепость — «палладиум русских вольностей» — передать городовому правлению, разместив в ней «городовой совет» и «городовую стражу»; 4) предоставить независимость Московскому, Дерптскому и Виленскому университетам [132].

Однако план Батенькова штабом восстания принят не был. Близкий к нему вариант плана, предложенный Трубецким еще до объявления о предстоящей переприсяге, также не был принят и подвергся корректировке в сторону его радикализации [133].

Предварительный подсчет сил, на которые рассчитывали революционеры, вселял надежду на успех. Сведения, собранные от полков, складывались во внушительную цифру — шесть тысяч солдат! Руководители и ведущие деятели Северной думы активизировали подготовку к решительным действиям, чувствуя приближение конца междуцарствия. Участвуя в совещаниях у Рылеева, беседуя с Трубецким, братьями Бестужевыми, Штейнгейлем и другими ведущими представителями тайного общества, Батеньков постоянно информировал их о событиях во дворце, о которых узнавал из разговоров со Сперанским, его дочерью и зятем.

Вечером 12 декабря в штабе восстания стало известно,

---

[131] Там же. С. 91, 99.

[132] Там же. С. 100; Т. 17. М., 1980. С. 50.

[133] Обстоятельный анализ согласованного «плана государственного переворота» см.: *Нечкина; Трубецкой.* Т. 1. С. 36—37.

что член Северного общества, подпоручик лейб-гвардии Егерского полка Я. Ростовцев, живший в одной квартире с начальником штаба восстания Е. П. Оболенским, отправился с письмом к Николаю Павловичу. В письме и устно Ростовцев призывал Николая: «Погодите царствовать!» — и добавлял: «Преклоните Константина Павловича принять корону». Он донес Николаю, что против него «таится возмущение», которое «вспыхнет при новой присяге». Не называя никого из петербургских руководителей тайного общества, подпоручик пугал будущего царя «заревом», которое «осветит конечную гибель России». В то же время он явно дезинформировал Николая, еще утром напуганного письмом генерала И. И. Дибича об уже «открытом» заговоре, охватившем империю от Петербурга и Москвы до Бессарабии. В своем письме Ростовцев отводил подозрения от Петербурга и направлял внимание правительства на юг и военные поселения[134]. Поступок Ростовцева взволновал всех собравшихся в тот же вечер в квартире Рылеева. Здесь были (в разное время — то группами, то поодиночке): Трубецкой, братья Бестужевы, Оболенский, Каховский, Арбузов, Репин, Коновницын, Одоевский, Сутгоф, И. Пущин, Батеньков, Якубович, Щепин-Ростовский, Штейнгейль[135].

Батеньков пришел в этот раз к Рылееву после посещения матери Ростовцева. Вероятно, как отмечал В. Г. Карцов, визит этот был не случаен, так же как и посещение Батеньковым вечером следующего дня купца А. П. Сапожникова — зятя Ростовцева. Штабу восстания необходимо было выяснить, что сообщил Ростовцев Николаю и как велика опасность, грозящая членам тайного общества.

В связи с частыми посещениями Батеньковым дома Сапожникова (осень — начало зимы 1825 г.) Я. А. Гордин высказал предположение о связи поступка Ростовцева со взглядами Гавриила Степановича на пути к достижению преобразований. Как известно, и до и после 27 ноября на совещаниях у Рылеева и в личных беседах Батенькова с Трубецким, Штейнгейлем и другими неоднократно обсуждались «бескровные» варианты достижения желаемых перемен. Говорилось и о возможности запугивания претендента на престол сообщением о наличии в стране тайного

---

[134] *ЦГАОР*. Ф. 48. Оп. 1. Д. 3. Л. 1—1 об.
[135] *ВД*. Т. 17. С. 51.

общества, готового к антиправительственному выступлению. Предполагалось, что запуганный Николай будет упрашивать старшего брата принять корону, но Константин ее не примет, а Николай не согласится взойти на престол, ограничив себя конституцией, и само собой должно будет продлиться междуцарствие. Однако к 12 декабря план решительных действий в связи с ожидаемой со дня на день переприсягой был уже разработан и принят большинством руководителей и ведущих деятелей тайного общества, в том числе Батеньковым. Они надеялись на поддержку шести тысяч солдат. Поэтому вполне допустима мысль Я. А. Гордина о том, что «поступок Ростовцева был эпизодом <...> внутренней борьбы» между сторонниками решительных действий и защитниками мирных переговоров [136].

Таким образом, идейная позиция Батенькова за все время его членства в Северном обществе может показаться довольно умеренной. Но под оболочкой умеренности в поисках методов коренных преобразований в России, склонности его к «бескровной революции» и установлению в России ограниченной монархии как первому этапу революции в Батенькове заметны симпатии к республиканскому строю, как ко второму этапу революционных преобразований. Трудно сказать, чего больше было в Батенькове — умеренной идейности или рационализма, покоящегося на осведомленности и учете сил, которые отныне будут вступать в неминуемое кровавое противоборство. Во всяком случае в нем проступают черты революционера, учитывающего все условия, необходимые для успеха революционного переворота. Отсутствие хотя бы одного из них вызывало у него сомнения и побуждало самого и других руководителей к усиленному поиску действенных средств. Дальнейший ход подготовки восстания покажет, что Батеньков отойдет от своих прежних позиций и примет точку зрения рылеевского большинства.

Весть о доносе Ростовцева пришла в штаб восстания в то время, когда продолжалось обсуждение кандидатур для избрания во Временное революционное правительство, которому предстояло приступить к своим обязанностям в случае победы восстания. Участвуя в обсуждении, Ба-

---

[136] *Карцов.* С. 147; Гордин Я. А. События и люди 14 декабря: Хроника. М., 1985. С. 105—112.

теньков говорил: «Во Временное правление надобно назначать людей известных». Такого же мнения придерживались все ведущие деятели общества.

При подборе кандидатур в состав Временного правительства непосредственно перед восстанием, как отмечает А. В. Семенова, декабристы учитывали несколько факторов:

кандидат должен обладать «передовой политической репутацией». Участие известных деятелей в правительстве поднимет его авторитет среди широких слоев населения внутри страны и за рубежом;

названные кандитаты должны одобрить «Манифест к русскому народу», которым провозглашались уничтожение самодержавия и программа революционных преобразований и назначалось Временное революционное правительство — верховный исполнительный орган на период созыва Великого собора и определения им формы государственного устройства;

кандидат должен иметь тесные личные связи с членами тайного общества и в момент восстания должен быть в Петербурге, чтобы приступить к своим обязанностям сразу после победы [137].

В канун восстания кандидатами во Временное правительство были утверждены сенаторы Н. С. Мордвинов и М. М. Сперанский, на которых надеялись руководители Северной думы. Но тайное общество не собиралось оставлять это правительство без своего влияния и контроля. Поэтому в его состав предполагалось «кроме известных» деятелей ввести одного из авторитетных членов организации. Еще задолго до декабрьских событий северяне наметили избрать Н. И. Тургенева или С. П. Трубецкого. Ко дню же переприсяги первый находился за границей, и в сложившейся ситуации назначение его было бессмысленно. Второй был уже избран диктатором, и на него возлагалась координация действий Северного и Южного обществ, Московской и других управ и руководство разработкой единого плана действий по подготовке и проведению восстания [138].

12—13 декабря вместе с Н. С. Мордвиновым и М. М. Сперанским в состав Временного правительства

---

[137] *Семенова.* С. 12—16.
[138] *Трубецкой.* Т. 1. С. 30—31.

избирается в качестве правителя дел Г. С. Батеньков. Нет сомнения, что на своего избранника штаб восстания не только возлагал узкие обязанности правителя дел (как определила Следственная комиссия)[139], он наделял его более широкими полномочиями. Об этих полномочиях вспоминал И. Д. Якушкин: «При временном правительстве должен был находиться один *избранный член* тайного общества и *безослабно следить* за всеми действиями правительства»[140] (курсив мой.— *А. Б.*). Доверие, оказанное Батенькову этим избранием, свидетельствует о том, что руководители Северной думы ценили его юридические знания, опыт и честность.

Пытаясь ввести в заблуждение Следственную комиссию и несколько смягчить свои признания от 18 марта 1826 г., Батеньков возвел на себя обвинение в честолюбивых замыслах, якобы побудивших его участвовать в деятельности тайного общества. Он «признавался», что надеялся на утверждение родовой аристократии, превращение временного правительства в регентство и получение возможности управлять государством именем Александра Николаевича. И все это он задумал якобы для того, чтобы «занять в истории место истинного утвердителя в России представительного правления и прославиться приведением в действо многих полезных предположений»[141].

Утром 13 декабря Батеньков был у Сперанского, от которого узнал о твердом намерении Николая стать «новым государем». Мнение же Сперанского, что «его величество подает великие надежды», очень огорчило Батенькова. Было ясно, что деспотическая власть монарха сохраняется и все надежды на ограничение ее рушатся. И он с грустью заметил по поводу позиции, занятой его патроном в этот ответственный момент, что «всякий думает о себе, а об России никто не заботится». Присутствовавшая при этом дочь Сперанского, «указав на малютку», сказала: «Перестаньте о ненужном хлопотать: это их дело. Время все делает, а мы должны теперь радоваться»[142]. Такой поворот событий уже не устраивал Батенькова, и он поспешил в штаб восстания. По пути к Ры-

---

[139] *ВД*. Т. 17. С. 50.
[140] Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951 (далее: *Якушкин*). С. 146.
[141] ВД. Т. 14. С. 92.
[142] Там же. С. 104, 144—145.

лееву встретил Н. и А. Бестужевых и сообщил им, что «завтрашний день назначена присяга» Николаю Павловичу, так как цесаревич «совершенно» отказался от престола. Справлялся у Бестужевых о согласии командира лейб-гвардии Финляндского полка полковника А. Ф. Моллера содействовать восстанию, интересовался и другими полками, на которые есть надежда у организаторов восстания. И вновь заметил А. Бестужеву, с которым собирался поехать к его матери, что желал бы видеть на троне Елизавету или Михаила Павловича потому, что младший из великих князей «скорее всех примениться бы мог к конституционным формам».

Известие Н. Бестужева об отказе Моллера содействовать восстанию встревожило друзей. «Это худо, он может донести»,— сказал Батеньков. Всем троим было ясно, что отказ полковника, батальон которого должен 14-го нести караул в Зимнем дворце, около Сената и в других государственных учреждениях, значительно усложнял дело.

Штабу восстания необходимо было знать окончательное отношение Сперанского к предстоящей присяге. Руководители восстания продолжали надеяться на его либерализм и прогрессивные взгляды. Домой к нему были направлены А. О. Корнилович и С. Г. Краснокутский. Пришел и Батеньков. В седьмом часу вечера 13 декабря, то есть немногим более чем за час до начала заседания Государственного совета, назначенного на 8 часов, со Сперанским при закрытых дверях разговаривали три будущих декабриста. Зная уже, что он готовил текст Манифеста об отречении Константина и воцарении Николая, они пытались повлиять на гражданскую совесть своего кандидата во Временное правительство. Манифест подлежал оглашению на предстоявшем заседании Совета. Однако Сперанский на призыв членов тайного общества помешать присяге Николаю I не откликнулся и таким образом не оправдал надежд руководителей готовившегося восстания. Как отмечала академик М. В. Нечкина, «Сперанский, очевидно, ждал лишь победы декабристов», но сам бездействовал и не проявлял инициативы. Правда, во время беседы он сообщил, что присяга Сената и Совета новому царю назначена на 7 часов утра следующего дня[143]. Результаты встречи со Сперанским сразу же были переданы в штаб восстания.

---

[143] *ВД*. Т. 14. С. 85; *Нечкина*. С. 66.

Поздним вечером 13 декабря Батеньков участвовал в последнем, решающем совещании у Рылеева. Здесь окончательно обсуждался порядок действий и определялся перечень обязанностей каждого из ведущих деятелей тайного общества на день 14 декабря.

В ходе бурного обсуждения в ответ на слова Рылеева, что «полки не будут присягать и что это удобный случай к перемене», Батеньков заметил: «Что касается до меня, то воевать не умею, а мое дело писать!» Заявление это явно с двойным смыслом. Воевать, как известно, Батеньков умел. Говоря «мое дело писать», он фактически дал согласие на пост правителя дел в будущем Временном правительстве. О рекомендации его на эту должность он слышал еще накануне, и теперь, 13-го вечером, Рылеев сообщил ему уже об избрании его, как о принятом решении. С момента избрания он «должен был стать несколько в стороне от непосредственных участников революции, чтобы с приходом к власти не дать <...> поводов к разговорам об ее узурпации» [144]. Именно эти соображения могли заставить Гавриила Степановича дать Рылееву вышеприведенный ответ.

Но судьба восстания и будущее начатого дела его волновали. На этом же вечернем заседании Батеньков, негодуя на результаты последней беседы со Сперанским и хорошо зная характер своего наставника, уверял собравшихся, что Михаил Михайлович «ни во что не войдет» и «не примет в таких случаях никакого места». Вместо Сперанского он предложил избрать в правительство пользовавшегося уважением в народе архиепископа Филарета. Полагая далее, что Н. С. Мордвинова намечали в состав Временного правительства «на первый раз, единственно для имени», надеялся, что вскоре после победы возникнет возможность заменить его полковником С. П. Трубецким [145], который, как рассчитывал Батеньков, принесет гораздо больше пользы в деле реализации планов тайного общества. И для себя твердо решил: предстоявшее восстание необходимо. В сложившейся обстановке только военное восстание может «дать заметить, что в России нужно уже в столь важных случаях более к народу внимания» [146].

---

[144] *Карцов*. С. 149.
[145] *ВД*. Т. 14. С. 85, 92, 100.
[146] Там же. С. 102.

Итогом последнего заседания декабристов в ночь перед восстанием был, как известно, согласованный «план государственного переворота». План этот, по словам М. В. Нечкиной, слагался из нескольких звеньев. При удачном исходе восстания образуется Временное революционное правительство, которое приступит к сбору Учредительного собрания (или Великого собора). Если же восстание потерпит неудачу, восставшие войска уходят из Петербурга «к новгородским военным поселениям, в которых находят свою опору»[147]. Надежда на эту опору была подсказана Рылееву Батеньковым, так как он неоднократно говорил, что новгородские «поселения, особенно Старорусское, сильно негодуют и готовы возмутиться при первом случае»[148].

В ночь на 14 декабря руководителям и ведущим деятелям тайного общества «задуманное и обдуманное восстание представлялось и могущим победить»[149].

Утро 14 декабря для Батенькова обернулось многими неожиданностями. Первой из них был вызов в Дежурство Корпуса инженеров. Но он поспешил в штаб восстания на Мойку. Это было около 9 часов утра. Рылеева дома уже не было. Успел завернуть к Сперанскому и выдержать стычку по поводу присяги Совета и Сената. По пути в Дежурство вновь встретившимся Бестужевым сообщил: «Никто в Совете и Сенате о нас не позаботился». Но свою надежду на успех восстания выразил словами: «Совестно сим случаем не воспользоваться». На предложение А. Бестужева не ехать в Управление путей сообщения, так как там могут заставить присягнуть Николаю, Батеньков ответил: «<...> я не присягну, пока не уверюсь в отречении цесаревича»[150]. В этом уже была неправда: уверяться в отречении цесаревича не было необходимости. Он уже знал об этом от Сперанского.

Тем не менее от твердого намерения проявить активность в день восстания Батеньков не отказался. Из штаба Корпуса он вновь отправился в сторону Сенатской площади и штаба восстания. У Синего моста через Мойку, выходящего на площадь, он встретил Рылеева и И. Пущи-

[147] *Нечкина.* С. 99—100.
[148] *ВД.* Т. 14. С. 35, 73.
[149] *Нечкина.* С. 118.
[150] *ВД.* Т. 14. С. 80, 85, 105.

на. На их слова, что ему «надо быть на площади», он ответил: «Я уже здесь». Показания об этой встрече, данные ее участниками, нуждаются в пояснении. Как уже отмечалось, присутствие Батенькова на площади во время восстания не было предусмотрено. Он должен был быть там после победы, чтобы вступить в должность правителя дел Временного правительства. Из других показаний Рылеева известно, что огласить и поднести к подписанию в Сенате манифест к русскому народу соглашались не только Рылеев и Пущин, но и Батеньков. Правда, на вопросы Следственного комитета по этому поводу Гавриил Степанович отвечал, что не собирался читать манифест об установлении нового порядка в стране, а желал произнести в Сенате речь в пользу представительного правления, о чем и говорил Рылееву [151]. Но к моменту их встречи у Синего моста в Сенате уже не было сенаторов, так как после присяги они разъехались по домам, и произносить речь или оглашать манифест было не перед кем.

Волнуясь за судьбу восстания, Батеньков был вблизи от места сбора восставших частей и разговаривал с Рылеевым и Пущиным во время появления на площади Московского полка, первым прибывшего к Сенату во главе с А. А. Бестужевым около 11 часов утра.

Напряжение на площади нарастало. К восставшим московцам посылались для уговоров парламентеры царя. С батальоном лейб-гвардии Преображенского полка уже двигался Николай. Вскоре перед московцами оказался и Конный полк. Однако Измайловский, Семеновский, Финляндский, Егерский и другие гвардейские полки еще не пришли. И царь выжидал, не зная, что они предпримут, придя на площадь,— примкнут ли к восставшим или поддержат его.

Около часу дня к каре Московского полка подошел первый отряд восставших лейб-гренадер. А за ним выстроился «колонной к атаке» пришедший на площадь через Галерную улицу Морской гвардейский экипаж, выведенный из казармы Н. Бестужевым. Около половины второго Николай отдал приказ Конному полку приступить к атаке «мятежного» каре. Примерно в это время, опасаясь новых подкреплений восставшим, царь приказал вывести на площадь пешую артиллерию, уже присягнувшую ему.

---

[151] Там же. С. 118.

Именно в этот момент Батеньков вновь встретился с Рылеевым. Узнав, что артиллеристы готовятся к атаке восставших, он понял: судьба восстания решена [152]. В шестом часу на Сенатской площади восставших уже не было.

Блестящую оценку событиям этого дня дал Г. С. Батеньков в своем знаменитом показании от 18 марта 1826 г.: «Покушение 14 декабря не мятеж, как, к стыду моему, именовал я его несколько раз, но первый в России опыт революции политической, опыт почтенный в бытописаниях и в глазах других просвещенных народов. Чем менее была горсть людей, его предприявшая, тем славнее для них; ибо, хотя по несоразмерности сил и по недостатку лиц, готовых для подобных дел, глас свободы раздавался не долее нескольких часов, но и то приятно, что он раздавался» [153].

Однако оценка эта прозвучала спустя три месяца и четыре дня после событий. А пока, узнав об окружении Сенатской площади правительственными частями, Батеньков «совершенно смешался». Он понял — поражение восстания неизбежно... и поспешил в Дежурство путей сообщения к присяге.

Оценивая этот поступок декабриста, В. Г. Карцов, не допуская мысли о предательстве, справедливо видит в нем «акт малодушия». По мнению Карцова, Батеньковым «мог руководить не только личный страх за свою судьбу, но и стремление сохранить за собой возможность продолжать деятельность в плане организации повседневной борьбы «кусающихся букашек», хотя бы медленного «впервения» в жизнь своих идей» [154].

В малодушии Батенькова проявилась не просто хрупкость дворянской революционности декабриста. Его трезвый ум, умение взвешивать реальные возможности и силы сторон, вера в большую действенность идей постепенного преобразования монархии в представительный строй руководили его поведением, особенно во вторую половину дня 14 декабря. Надежд на успех восстания уже почти не оставалось, и мысль его сосредоточивалась лишь на том, чтобы уцелеть и, может быть, продолжить незавершенное дело посредством распространения передовых идей. Инстинкт

---

[152] Там же. С. 85—86, 105.
[153] Там же. С. 90—91.
[154] *Карцов*. С. 151.

самосохранения сработал раньше и сильнее, чем чувство долга и верности товарищам по делу.

Уйдя после присяги домой, Батеньков вскоре опять «вышел на тротуар, который был наполнен людьми. Говорили, что и те, и другие солдаты стоят уже вместе и вся опасность миновалась». А в 7 часов вечера он, взволнованный и огорченный поражением восстания, мучаясь данной им присягой,— как-то отнесутся к этому поступку товарищи — пошел к Рылееву узнать, «чем кончилось дело».

К. Ф. Рылеев показывал, что 14-го «ввечеру» действительно забегал к нему Батеньков «на минуту» и спрашивал, чем кончилось дело.

Об этой встрече у Рылеева говорили на следствии Штейнгейль и Каховский, но со слов И. И. Пущина, поэтому обратимся к показанию последнего. После «происшествия» он заехал к Рылееву и у ворот встретился с выходившим от него Батеньковым, который спросил: «Что, сударь?» Пущин ответил: «Дурно, очень дурно»,— и они расстались. Пущин «взошел» к Рылееву, а Батеньков уехал [155].

Как же было на самом деле? Что и где говорил в тот вечер Пущин Батенькову? Почему так упорно все свидетели подтверждают краткосрочность пребывания Батенькова у Рылеева вечером после восстания? Документальных ответов на эти вопросы найти не удалось. Но ответ напрашивается. Как отмечала М. В. Нечкина [156], поздно вечером 14 декабря на последнее конспиративное совещание в квартиру Рылеева пришли несколько декабристов. Среди собравшихся были «Рылеев, Каховский, Оржицкий, Штейнгейль, Батеньков». На следствии об этом совещании «старались не говорить». А так как «гибель всех замыслов была очевидна», то, прощаясь друг с другом, участники совещания «договаривались, как держать себя на допросах», о чем говорить и что умалчивать. Вероятно, на этом совещании договорились при ответах на вопросы о целях восстания ссылаться на отвергнутый план Батенькова — собрать полки для отстаивания верности присяге, данной Константину, а в случае его формального отречения вести мирные переговоры с претендентом на престол об учреж-

---

[155] *ВД.* Т. 14. С. 54—55, 59—60, 66, 86.
[156] *Нечкина.* С. 326—327.

дении конституционной монархии, не говоря о планах установления «представительного», республиканского правления. Именно так и отвечали многие декабристы в своих первых показаниях.

Сам же Батеньков об этом вечере говорил еще более сдержанно, не назвал никого из декабристов, с которыми виделся у Рылеева. Узнав о поражении восстания, Батеньков, по его словам, «боялся уже ехать к Трубецкому, полагал его важным участником, а о Рылееве считал, что он только что знает, и потому зашел к нему». Увидев плачущую жену Рылеева и осведомившись об А. Бестужеве, «*мгновенно* отправился домой и лег спать». В подтверждение своих слов он упомянул, что разбудил его подполковник путей сообщения давнишний знакомый Я. А. Севастьянов, который, зная о разговорах Батенькова утром 14-го в Дежурстве по поводу переприсяги, волновался о его судьбе, так как о начале арестов ему уже было известно.

Батеньков понимал, что и его арест близок. Однако когда 15 декабря Сперанский вызвал его к себе и спросил, насколько он причастен к событиям минувшего дня, декабрист ответил, что «участия никакого не принимал». Но тут же добавил, что его могут только «припутать за разговоры». Выслушав Батенькова, Сперанский «приказал» ему «каждый день быть на виду» в Корпусе путей сообщения. Несколько дней приказ выполнялся[157].

18 декабря Батеньков решился послать Елагиным коротенькую записку[158], извещая друзей, что «жив» и что среди «инсургентов» были «известные» им лица. Фактически этой запиской он готовил Елагиных к своему неизбежному аресту. Через несколько дней Сперанский, зная уже о показаниях Рылеева и Трубецкого, в которых назывался Батеньков[159], вновь говорил с ним и приказал заняться делами: подготовить записки о колыванских заводах и о военных поселениях («для своей пользы»). Осторожный политик, Сперанский, отдавая приказы Батенькову, заботясь о его «пользе», стремился прежде всего обезопасить себя.

26 декабря, на десятом заседании Тайного комитета,

---

157 *ВД*. Т. 14. С. 105.

158 Письмо 100.

159 *ВД*. М., 1925. Т. 1. С. 18, 159; Т. 14. С. 35.

было решено арестовать Батенькова. Поводом для решения послужили показания К. Ф. Рылеева и Бестужевых. Николай I утвердил решение комитета 27-го и потребовал доставить Батенькова к нему [160].

28-го вечером главноуправляющий путей сообщения герцог А. Вюртембергский сообщил Следственному комитету, что по повелению императора арестовал Батенькова и со всеми бумагами, найденными в его квартире, представил Николаю. «Дело об арестовании бывшего управляющего делами Сибирского комитета подполковника Батенькова», заведенное герцогом, включает ряд документов (с 29 декабря 1825 по 8 октября 1826 г.) о содержании бумаг, найденных у арестованного, о его родственниках и личном имуществе [161]. Арестовали Батенькова на вечере в доме Севастьянова.

29 декабря Батеньков был допрошен царем в присутствии генерала В. В. Левашова и М. М. Сперанского и заключен в каземат № 2 Никольской куртины Петропавловской крепости. Началось полугодовое сражение волевого, мужественного, умного человека со Следственным комитетом.

Вряд ли следует останавливаться на ходе следственного разбирательства, так как оно подробно отражено в обширном «Деле о подполковнике Корпуса инженеров путей сообщения Батенькове» и в деле, содержащем «Письма на высочайшее имя и имя генерал-адъютанта Левашова от некоторых арестантов о замеченных ими беспорядках и злоупотреблениях в царствование покойного императора», опубликованных в 1976 г.[162] Но несколько особенностей дела следует назвать.

1. Батенькову, как уже отмечалось, принадлежит, пожалуй, самый яркий и точный отзыв о тайном обществе декабристов и его членах из числа выслушанных Следственным комитетом: «Тайное общество наше отнюдь не было крамольным, но политическим. Оно, выключая разве немногих, состояло из людей, коими Россия всегда будет гордиться. <...> Цель покушения не была ничтожна, ибо она клонилась к тому, чтоб ежели не оспаривать, то, по крайней мере, привести в борение права народа и права

---

[160] Там же. М., 1986. Т. 16. С. 37, 228.
[161] *ЦГИА*. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 671. Л. 1—40.
[162] *ВД*. Т. 14. С. 29—145.

самодержавия, ежели не иметь успеха, то, по крайней мере, оставить историческое воспоминание. Никто из членов не имел своекорыстных видов».

2. В ходе допросов и очных ставок он не назвал ни одного из неизвестных следствию участников восстания.

3. Два месяца упорно отрицая свою принадлежность к тайному обществу, он был тверд и в защите своего учителя — М. М. Сперанского. Жертвуя добрым именем, он категорически отвергал подозрения о сочувствии Сперанского планам тайного общества и фактически спас его от краха [163].

4. 18 марта 1826 г., давая свои откровенные показания, Батеньков стыдил себя перед следователями за отказ в предыдущих показаниях «от лучшего дела» своей жизни. «Я не только был член тайного общества, но член самый деятельный. Предприятие, план его, цель покушения — все мне принадлежит или во всем я принимал великое участие»,— написал он [164]. Бесспорно, Батеньков преувеличивал свою роль в делах и планах тайного общества. Его признание вызвало недоумение у членов Комитета. «Он или хотел продолжить упорное запирательство, или из *непостижимых видов* (курсив мой. — *А. Б.*) принимает на себя звание главного начинщика возмущения 14 декабря, не быв таковым»,— записано в журнале заседания [165]. Однако никаких непостижимых видов у декабриста не было. Заявляя так решительно, он смягчил удар, который ожидал товарищей, одновременно увеличивал силу удара для себя, искупая приступ временного малодушия, выразившегося в присяге вечером 14 декабря. Думается, только так следует определять истинную цель столь смелого самообвинения. Как и другие ведущие деятели тайного общества, Батеньков, говоря его словами, «не имел своекорыстных видов».

5. В ходе следствия, сидя под усиленной тюремной охраной, Батеньков сформулировал и представил в Комитет два серьезных документа, о которых говорилось выше: «Мысли о конституции» и «Размышления» с критикой внутренней администрации, системы налогов и казенного хозяйства России [166].

---

[163] Там же. Т. 16. С. 135, 280.
[164] Там же. Т. 14. С. 90.
[165] Там же. Т. 16. С. 134.
[166] Там же. Т. 14. С. 131—138.

6. Постоянные ссылки Батенькова на болезненное состояние в ходе следствия как причину отказа от ранее даваемых показаний Комитет оценил как желание «запутать и продлить дело». Основанием к этому выводу служило свидетельство штаб-лекаря, утверждавшего, что декабрист в «здравом смысле» и никаких подозрений на расстроенное состояние его рассудка нет. Жалобы на болезнь, «сумасшествие» — одно из средств борьбы Батенькова с Комитетом, дающее ему возможность писать и говорить на допросах больше, чем мог бы позволить себе говорить здоровый человек [167].

По мнению Батенькова, во время следствия ни о ком из его товарищей столько не говорилось и не писалось, как о нем. Из 146 заседаний на 20 слушались или зачитывались 24 показания, прошения и проводились очные ставки по его делу, зафиксированные в журналах. Кроме того, Батеньков несколько раз допрашивался царем. К нему в каземат с вопросами, обещаниями и советами, как и что говорить, приходили члены Комитета. Приходил с увещеваниями и протоиерей П. Мысловский. Батеньков писал письма-прошения царю, председателю и членам Следственного комитета, часть которых не вошла в его «Дело» и публикуется в настоящем издании [168].

Сперанский не посещал заключенного, но с его помощью навещала Батенькова в крепости (до суда) его невеста, через которую Сперанский мог влиять на преданного ему Батенькова. Сперанский обещал декабристу защиту перед Николаем I, если тот будет молчать об его отношениях с тайным обществом. Пытались помочь Батенькову и его друзья Елагины и поэт В. А. Жуковский.

5 июля 1826 г. Батеньков был осужден Верховным уголовным судом по III разряду и приговорен «по лишении чинов и дворянства к ссылке вечно в каторжную работу». 10 июля 1826 г. по указу Николая I приговор был «смягчен» — вечная каторга заменена двадцатилетней с последующим поселением. Как известно, в литературе утвердилось представление не только о безучастности Сперанского к судьбе своего молодого друга, спасшего его от краха. Принято считать Сперанского и виновником его двадцатилетнего заключения в крепости. Однако А. В. Семенова,

---

[167] Там же. Т. 16. С. 184.
[168] Письма 101, 103.

основываясь на документах одного из членов суда, убеждает нас, что это неверно. Несмотря на предварительное решение суда приговорить Батенькова к смертной казни, Сперанский настоял, чтобы он был включен не в первые два, а в третий разряд. Таким образом, жизнь декабристу была спасена [169].

Спустя месяц после приговора по случаю коронации нового царя срок каторги Батенькову был сокращен до 15 лет. Но все это было только на бумаге. 25 июля 1826 г. временно, до подготовки мест отбывания каторжных работ, Батенькова, Бечаснова и Штейнгейля отправили в крепость Свартгольм (Аландские острова). А вскоре и еще три декабриста — Повало-Швейковский, Сутгоф и Панов — прибыли в холодную северную тюрьму.

Батеньков пробыл здесь почти год в неимоверно тяжелых условиях, описанных им в поэме «Одичалый», впервые опубликованной при жизни автора [170]. К концу года крепость посетил финляндский генерал-губернатор А. А. Закревский, и положение узников несколько улучшилось: разрешили прогулки, встречи друг с другом и бани. Пришла помощь и от друзей [171].

18 июня 1827 г. военный министр предписал коменданту Петропавловской крепости принять согласно «высочайшего повеления» находившегося в Свартгольмской крепости «государственного преступника Батенькова», осужденного в каторжную работу, для содержания в крепости [172]. Предписание вызывает недоумение. Почему осужденного на каторгу направляют в Алексеевский равелин на срок, не оговоренный повелением царя? Почему он не отправлен, как другие декабристы, в Сибирь? Эти вопросы уже неоднократно рассматривались всеми биографами Батенькова. Почти все ответы на эти вопросы заслуживают внимания, но требуют уточнений и дополнений.

Возможно, самой главной причиной был страх Николая перед человеком, заявившим о своем намерении стать во главе империи в качестве регента при малолетнем Александре. Николай, зная историю дворцовых переворотов и боясь потерять престол, принял всерьез клевету, возве-

---

[169] *Семенова*. С. 56.

[170] Рус. беседа. 1859. Т. 3. Кн. 5.

[171] Письма 106 и 116.

[172] *ЦГИА*. Ф. 1280. Оп. 5. Д. 13. Л. 108—109, 111, 116, 120, 126, 130, 140, 147 об., 154 об.

денную на себя Батеньковым. Вторая причина — смелая оценка Батеньковым значения 14 декабря и утверждение им справедливости целей тайного общества. Третья — отрицательная характеристика Николая как претендента на престол, откровенно высказанная Батеньковым Комитету. Четвертая — авторитет и связи, оставшиеся у декабриста в Сибири, могли создать сосланному на каторгу земляку ореол мученика и нежелательную правительству популярность. К нему могли проявить интерес и его столичные друзья-литераторы и ученые, от которых зависело формирование общественного мнения. Пятая — заключение Батенькова в крепость гарантировало Сперанского от неожиданных признаний любимого ученика. Поэтому нельзя исключать из причин и возможное влияние Сперанского на Николая в решении этого вопроса.

Но рассматривать ссылки Батенькова на свое «безумие» как основание для заточения его в крепости нельзя. Считая причиной многолетнего заключения декабриста это обстоятельство, Елагины, а за ними и некоторые исследователи (И. Ореус, М. Геденштром и другие) ошибались. Разговоры Батенькова о «безумии» и «сумасшествии» были только поводом, которым воспользовались Николай и его помощники, а не причиной. У императора появился предлог для задержки в Петербурге «больного», «безумного», а вернее, лично ему опасного «государственного преступника». Правда, больного требуется лечить. Но царь знал, что врачи находили его совершенно нормальным, и отправил «сумасшедшего» сибиряка не в госпиталь, а в каменный каземат Алексеевского равелина.

Итак, после 10 месяцев и 23 дней, проведенных в крепости на Аландских островах, Батеньков возвращен в Петропавловскую крепость. 23 июня 1827 г. в четвертом часу дня он был принят комендантом крепости и по повелению Николая заключен в каземат № 9 секретного дома Алексеевского равелина.

Для Батенькова начался новый отсчет времени, новая форма существования, продолжавшаяся 18 лет 7 месяцев и 28 дней. Попав вторично в Петропавловскую крепость, он должен был готовиться к длительной тюремной жизни. Поэтому, не теряя мужества, он все свои силы сосредоточил на мыслях о жизни государств и народов, о смысле человеческого существования. Он размышлял о путях развития России, о значении для будущего идей декабристов.

Не видя людей, не слыша человеческих голосов, разговаривал громко сам с собой, шагая по крохотному каземату. Доведенный до крайности, считая себя забытым друзьями и товарищами, не зная, что ждет его в будущем, Батеньков решил уморить себя голодом. Он неделю не принимал пищи. Перепуганное тюремное начальство по предписанию Бенкендорфа вызвало для «утешения» священника П. Мысловского. Вслед за ним убеждал Батенькова прекратить голодовку и плац-майор. Обессиленный декабрист сдался. И снова шли годы. На питание отпускалось 50 копеек в день. Прогулки разрешили только по коридору под надзором молчаливых караульных. Кто он, знал только комендант. На обложке его личной карточки стояла фамилия: «Бекетов»[173]. Для всех, кроме царя и коменданта крепости, Батеньков на многие годы исчез.

В 1828 г. из каземата № 9 он был переведен в каземат № 5. Прежнее его жилище занял декабрист А. О. Корнилович, ранее отбывавший каторгу в Читинском остроге и вторично заключенный в Петропавловскую крепость 14 февраля 1828 г. 31 мая 1832 г., узнав, что рядом с ним «через одну или две комнаты» сидит Батеньков, он обратился к Бенкендорфу за разрешением получить свидание, так как они были «хорошо знакомы» еще задолго до 14 декабря 1825 г. 22 июня 1832 г. «государственным преступникам» № 9 и № 5 было разрешено «видеться иногда» в особом арестантском покое в присутствии смотрителя равелина[174]. 15 ноября 1832 г. Корнилович уже выбыл из крепости рядовым на Кавказ. Сам Батеньков об этих свиданиях никогда не вспоминал.

Бездействие угнетало, и, «чтоб не оставаться праздным», он «предпринял изъясниться»[175]. «Изъяснения» его в 1835 г. вылились в гневные письма царю с критикой сложившихся в стране порядков. «Мне бы тебя хоть единожды убить. Тогда бы я прах твой и рассеял»,— мечтал узник[176].

---

[173] *ЦГИА*. Ф. 1280. Оп. 5. Д. 322. № 15/1827; Там же. Оп. 5. Д. 13. Л. 111.

[174] Корнилович А. О. Сочинения и письма. М.; Л., 1957. С. 321—322, 502—503; *ЦГИА*. Ф. 1280. Оп. 5. Д. 13. Л. 514—514 об.

[175] Письмо 116.

[176] Фрагменты этих писем опубл.: Модзалевский Б. Л. Декабрист Батеньков: Новые данные для биографии // Рус. ист. журн. 1918. № 5. С. 101—153. Цит. по: *Карцов*. С. 170.

В 1844 г. новый шеф жандармов А. Ф. Орлов «нашел» потерянного всеми Батенькова и сообщил о нем Николаю. В ответ услышал от царя, что Батеньков содержится в крепости, так как был признан (?) сумасшедшим. Убедившись в абсолютной нормальности узника, засвидетельствованной врачами, Орлов напомнил царю, что все осужденные даже по первым двум разрядам, отбыв срок каторги, вышли уже на поселение и что «секретный» узник также заслуживает освобождения из крепости. Посетив Батенькова «на правах родственника», Орлов разрешил выписать для него газеты и журналы [177]. Он же порекомендовал ему изложить на бумаге все, о чем думал в период «откровения», наступившего после неудачной попытки 1835 г. поучать царя. В 1845 г. записки Батеньковым были закончены. Они составили четыре тетради, которые сейчас хранятся в *ИРЛИ* [178]. Но и на этот раз никто ими не интересовался. Однако положение заключенного изменилось: Орлов дал свои деньги на его содержание, а крепостное начальство выказывало ему «свою дружбу» [179].

31 января 1846 г., спустя 20 лет 1 месяц и 15 дней со дня ареста, Батенькову сообщили об освобождении из Алексеевского равелина и ссылке на поселение в Томск [180]. 14 февраля смотритель равелина сдал «секретного» узника каземата № 5 жандармскому унтер-офицеру Никифору Жданову со всеми его документами и деньгами на проезд. Батеньков получил по описи свои личные вещи и деньги, изъятые при аресте. 11 марта Н. Жданов привез его в Томск. Сдав документы начальству, он поместил Батенькова в городской гостинице «Лондон» и вернулся в Петербург.

На следующий день Батеньков поселился в доме томского исправника Н. И. Лучшева. В этом доме Гавриил Степанович прожил до амнистии 1856 г., став членом и добрым помощником приютившей его семьи. Первое время он жил в «двух маленьких комнатах» вместе с братом хозяина А. И. Лучшевым, оставившим о нем добрые воспо-

---

[177] *ГБЛ*. Ф. 20, 9.37. Л. 1.

[178] *ИРЛИ*. Ф. 265. Оп. 2. Д. 133. Анализ этих записок, открывающих перед читателями мировоззрение, научные и философские взгляды узника и его бескомпромиссность по отношению к деспотизму, будет дан во втором томе.

[179] Письмо 116.

[180] *ЦГИА*. Ф. 1280. Оп. 8. Д. 96. Л. 5.

минания. В 1850 г. он перебрался в новое жилье — маленький флигелек во дворе у Лучшева и почувствовал себя «легче, крепче и моложе».

Поначалу Батеньков казался томичам «несколько странным», да иначе и не могло быть. Человек двадцать лет не общался с людьми. Он даже не умел купить черного хлеба на рынке[181]. Вел он себя сдержанно и осмотрительно, так как знал, что местному начальству сообщено мнение о нем царя: «он опасен!»[182], избегал политических разговоров, а «о правительственных лицах он упоминал разве так как-нибудь косвенно». Отвыкнув от обычных разговоров, он «говорил всегда книжным языком, с учеными терминами и латинскими фразами, почти исключительно о высоких нравственно-религиозных предметах». В большие праздники и в воскресные дни «как бы обязательно» ходил в церковь. Отдохнув и окрепнув (он приучил себя купаться в р. Томи даже зимой), Гавриил Степанович постепенно включался в жизнь томичей, начал вести обширную переписку. Он сообщал о своем «воскрешении» друзьям и бывшим сослуживцам. Весть о его появлении в Томске взволновала и обрадовала всех декабристов, расселенных на огромном пространстве Западной и Восточной Сибири. Ему писали. И он пространно отвечал друзьям: В. Ф. Раевскому, С. П. Трубецкому, И. И. Пущину, В. И. Штейнгейлю, Е. П. Оболенскому и другим.

Особой, поистине родственной заботой о старом друге семьи были наполнены письма к нему вдовы А. А. Елагина Авдотьи Петровны, ставшей для Батенькова заботливой сестрой. Свои письма к Елагиной и ее детям Батеньков превращал в живой отчет о своих делах и заботах, в дружеский совет молодым умудренного жизнью человека, в серьезные научные рассуждения о прошлом и будущем России. Большое место в их переписке занимали также философские и религиозные проблемы.

Томичи помнили инженерные работы Батенькова 1817—1820 гг. И теперь он часто получал заказы на проектирование дач и особняков. Так, богатый виноторговец С. Е. Сосулин заказал ему строительство загородного до-

---

[181] Лучшев А. Декабрист Г. С. Батеньков//В потомках ваше племя оживет: Воспоминания о декабристах в Сибири. Иркутск, 1986. С. 214—217; письмо 125.

[182] Письмо 116.

ма со службами на берегу р. Ушайки, в четырех верстах от города. В качестве оплаты труда архитектора он подарил ему земельный участок в 55 десятин по соседству со своей усадьбой. Здесь и построил Батеньков «соломенный дворец». Спустя некоторое время Н. Лучшев перевез сюда свой старый дом, а в городе вместе с Батеньковым выстроили новый. Чудесная природа — лес, река, горы — окружала «соломенный» хутор. О своей любви к этому уголку земли Батеньков писал почти во всех письмах.

Уединяясь в Соломенном, Батеньков писал письма и научные работы по экономике Сибири. Несколько записок он посвятил истории золотопромышленности [183]. Придавая особое значение этой отрасли, Батеньков считал, что с ее расширением Сибирь преобразуется, возвысится и «азиатский элемент жизни видимо станет уступать новому, более образованному, нравственному и рациональному». Одновременно с этими записками Батеньков работал над очерком по истории Томска, возвращался к нему и в последние годы жизни[184]. Он сравнивал свой город золотоискателей с американским Сан-Франциско и находил общие для этих городов черты. Его волновало чрезмерное богатство Горохова, Асташева, Поповых и других золотопромышленников и бедность основной массы населения края. Совершенно прав В. Г. Карцов, считавший, что Батеньков «правильно подметил ростки капитализма в Сибири как некое прогрессивное начало и к ним тянулся. Однако он внутренне ощущал весь ужас надвигавшейся власти капитала, ее грязь, попирание ею всех лучших человеческих чувств, нравственности» [185]. Это подтверждается откровенными высказываниями и иносказательными письмами Гавриила Степановича, адресованными близким ему по духу товарищам. Особенно четко сформулировал декабрист свое отношение к делению народа на богатых и бедных. «Чудовищные богатства немногих домов при всеобщей бедности не составляют благоденствия. Надобно, чтобы богатство, имея свои бассейны, наполняло собою всю массу населения»,— запи-

---

[183] *ГБЛ*. Ф. 20, 5.4 — Краткое описание истории золотопромышленности и характеристика рабочих — ссыльных золотых приисков; Там же. 5.5 — «Проспект» на устройство сибирской золотопромышленности; Там же. 5.6 — Аналитический взгляд на золотопромышленность в Сибири и другие.

[184] Там же. 5.11—13.

[185] *Карцов*. С. 192.

сал он в одной из заметок по вопросам финансового дела.

Считая Сибирь, как и в молодые годы, одной из главных составных частей России, неразрывно связанной со всей страной, несмотря на отдаленность от ее центра, он никогда не забывал специфику своего края. Еще в проектах «Сибирского учреждения» была заложена идея учета местных особенностей. Декабрист был твердым сторонником федеративного устройства государства и проводил эти мысли в своих заметках об управлении и дорогах Сибири. Последним он придавал значение связующих нитей между отдаленными краями и центром страны. Вместо дорог, обеспечивающих войну, он предлагал дороги как «гарантии мирных наклонностей народов» и расцвета экономики России [186].

Наряду с вопросами экономики и повышения благосостояния родины декабриста волновали новые политические веяния, которые несло с собой молодое поколение. Революционные события 1848—1849 гг. в Европе, которые предсказывал он еще в своем «откровении», радовали его. Газетные сообщения, рассказы приезжавших из столицы в Сибирь чиновников, письма товарищей с оценкой революционных событий давали пищу для анализа и выводов. Сопоставляя революционную ситуацию 1840-х гг. в Европе с эпохой декабрьского восстания 1825 г., Батеньков пришел к выводу, что в том и другом случае революции не достигли успеха из-за того, что «прогресс смешивается то с импровизацией, то с непримеченным одряхлением».

К 1849 г. для Батенькова в основном уже был закончен период создания прочного материального быта, который бы давал ему «возможность не только отразить безобразную, чудовищную нищету, но и упражнять свою деятельность в том ограниченном круге, который строго необходим для приличного существования и полезного занятия в практическом употреблении жизни»[187]. Жажда духовной пищи не могла удовлетвориться ни общением с узким кругом томской общественности, преимущественно купеческой, ни сравнительно богатыми библиотеками И. Д. Асташева или П. П. Аносова (томского губернатора), ни радушными приемами хлебосольных горожан с их обывательскими разговорами. Интерес к литературе побудил

---

[186] *ГБЛ*. Ф. 20. 5.31 и письмо 197.
[187] Письмо 181.

Батенькова заняться переводами с иностранного и критическими заметками о литературе своего времени. В ряду этих литературных занятий особое место занимает статья, написанная в 1849 г. по поводу второй части «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. В ней декабрист ратовал за то, чтобы Гоголь шел дальше в своем идейном развитии, обличал «пошлости второй степени», т. е. социальный и политический строй России. «Нам страшно, что Гоголь впадает в мистицизм, прямой или патриотический. С этого камня преткновения нельзя сойти иначе, как напившись до полного насыщения живой воды»[188],—так закончил статью Батеньков.

Под «живой водой» Батеньков подразумевает, конечно, передовые идеи, которые только и могут поддерживать литературу на уровне духа времени. А время это «необыкновенно любопытное», по выражению И. И. Пущина, с «необыкновенными событиями» в Европе, захватившими воображение всех декабристов в Сибири. Революции 1848—1849 гг. в Европе и слухи о тайных обществах в России ускорили осуществление давнего желания И. И. Пущина поехать в Восточную Сибирь на лечение минеральными водами и заодно проведать друзей-соузников.

Поездка Пущина и посещение им Батенькова, беседы с ним о друзьях, разбросанных по всей Сибири, о событиях, стремительно развивающихся в мире и охвативших Россию, несмотря на николаевский режим в стране, могли вселять надежды на скорые социальные и политические перемены, но вряд ли пробуждали «надежду принять непосредственное участие в русской революции», как пишут А. П. Бородавкин и Г. П. Шатрова[189]. Скорее всего, двух собеседников в загородном уединении Батенькова (в Соломенном) занимала участь нового поколения революционеров — участников кружков М. В. Буташевича-Петрашевского, оказавшихся под следствием и арестом. Среди них были сын декабриста — Н. С. Кашкин, сыновья других известных людей, близких по духу и настроениям, в том числе и сибиряк Р. Черносвитов. Не могла не интересовать их, разумеется, и идеология этого нового революционного

[188] *ЛН*. М., 1956. Т. 60. Кн. 1. С. 316—318.

[189] Бородавкин А. П., Шатрова Г. П. Декабрист Г. С. Батеньков. С. 82.

кружка, пытавшегося решать те же задачи социального и политического переустройства, которые не удалось решить декабристам. Судя по отрывочным замечаниям в письмах, и Пущина, и Батенькова привлекали новейшие социально-политические теории, исповедуемые петрашевцами, социалистически-коммунистические. Их будет не раз затрагивать Батеньков в письмах к Пущину, Н. А. Бестужеву и даже к молодежи из близкого окружения декабристов, так как его особенно интересовали новые силы, которые в начавшемся мировом процессе разложения старого и рождения нового строя доведут их дело до конца. «Школа социалистов претендует иметь во власти эти силы, а коммунизм обладает новыми соединениями. Это состояние в настоящее время почти во всем свете достигло страстной разрушительной борьбы» — таков один из выводов, сделанных Батеньковым при знакомстве с идеями утопических социалистов и коммунистов[190]. Правда, это написано было в заметке 1861 г., но еще в 1855 г. в письме к Н. Бестужеву декабрист-мыслитель держался не меньших высот: «Странный народ эти коммунисты: в них есть инстинкт потребности выйти из политических громад, но главное стремление — разрушить социальную форму»[191].

Главное значение этих теорий Батеньков правильно увидел в том, что они указали на обветшалость существующих социальных и политических форм жизни, которые клонятся к упадку, однако он не признал за социалистическо-коммунистическими учениями будущего потому, что «большею частию обращены они на гниль, а не на осредоточение силы в индивидуумах и их группировке»[191]. Сквозь туманность и явно намеренную завуалированность нельзя не видеть в Батенькове крупного мыслителя, подобно М. А. Фонвизину, Н. А. Бестужеву и другим, отдавшим дань новейшим для того времени общественным теориям. Интерес к этим теориям возрастал в связи с все более ощутимыми признаками назревающего в России кризиса, усугубляемого в начале 1850-х гг. обострением международной обстановки. Батеньков, как и большинство декабристов в Сибири, с тревогой следил за международными событиями, осуждал царизм за безрассудное втягивание России в военный конфликт, тяжело переживал неудачи

---

[190] *ГБЛ*. Ф. 20, 6.10.
[191] Письмо 163.

русской армии и радовался победам и мужеству русского солдата.

После 1849 г., особенно после посещения И. И. Пущина, о Батенькове узнали почти все декабристы, их семьи, родственники и знакомые, оживилась переписка, особенно с Пущиным, Якушкиным, Раевским, Трубецким, Волконским, Н. Бестужевым и другими. Не проходило недели, чтобы его не посещал кто-нибудь из декабристских курьеров, чиновников, знакомых и незнакомых, жаждавших встречи с бывшим узником с двадцатилетним тюремным стажем. Особенно близкие отношения установились с жандармским офицером Я. Д. Казимирским, губернатором П. П. Аносовым, чиновниками Восточной Сибири Н. Д. Свербеевым, Н. Р. Ребиндером и их семьями и почти родственные — с детьми декабристов И. Д. Якушкина, С. П. Трубецкого, С. Г. Волконского и В. Л. Давыдова. К сыну И. Д. Якушкина Евгению Батеньков питал отцовские чувства, готов был удочерить Елену Сергеевну Волконскую (в замужестве Молчанову). С ее фотопортретом Батеньков сфотографировался в конце своей жизни. Детей же О. П. Лучшевой он считал фактически своими приемными детьми, заботился о них, как об их матери, до конца своей жизни.

В ряду этих дружеских связей, сделавших жизнь Батенькова духовно богатой и вернувших его к полнокровной творческой жизни, особое место занимают его отношения с петрашевцем Ф.-Э. Г. Толем, отбывавшим каторгу с 1850 г. в Керевском винокуренном заводе под Томском. Благодаря усилиям Батенькова при поддержке томского губернатора П. П. Аносова Толю удалось освободиться из каторжных работ и поселиться в городе, найдя приют у Батенькова. Можно представить, какое удовлетворение получал Гавриил Степанович от бесед с автором доклада на «пятницах» Петрашевского «Нужна ли религия в социальном смысле?» и в каком направлении обсуждались темы о религии и боге. Собеседник Г. С. Батенькова был склонен к материализму и вносил в деистические философские основы убеждений соответствующие коррективы. Суть их была выражена в одном из писем Толя Батенькову: «Знание себя без знания природы — только призрачное знание, а знание природы непременно приведет к знанию себя. Понятие о себе в человеке должно расти по мере победы над природою. По мере того растет и понятие

о боге. А чем высшее понятие о себе человек имеет, тем более он будет посягать на побеждение природы»[192]. По-видимому, такие беседы и порождали тот сарказм, с которым Батеньков описывал в письмах свои хождения в храм и молитвы «в честь лошадям».

Со смертью Николая I в феврале 1855 г. в русском обществе возросли надежды на окончание Крымской войны и внутренние преобразования, если и не коренные, то хотя бы установление «умного» абсолютизма. Пережил эти надежды и Батеньков, а позорный мир встретил без энтузиазма, с «болью в сердце». Вступление на престол нового монарха не сулило перемен: «Всего кажется вероятнее, что крутых перемен ожидать нельзя; новая воля выскажет себя по времени, последовательно. Теперь всего желательнее внешний мир; о внутреннем и заботиться нечего»[193],— писал Батеньков Я. Д. Казимирскому 25 апреля 1855 г.

И совсем без энтузиазма, почти равнодушно встретил он «амнистию». Но воспользовался ею незамедлительно и 11 сентября 1856 г. выехал из Томска, где не оставалось после выезда семьи О. П. Лучшевой никаких сильных привязанностей. Ехал он в Тульскую губернию, куда пригласила его семья умершего друга А. А. Елагина. Он нашел в семье Авдотьи Петровны Елагиной в селе Петрищево Белевского уезда «прежнюю, уже сильно испытанную дружбу, свой дом, свою семью», но в конце 1857 г. приобрел с помощью Е. П. Оболенского в Калуге собственный дом и пригласил к себе семью О. П. Лучшевой, чтобы «продолжать именно ту самую жизнь, какая была в Томске»[194].

Здесь и прошел остаток жизни Г. С. Батенькова, наполненный большой творческой работой по переводу исторических трудов с надеждой их напечатать. Им были переведены: «Призвание писателя» Шарля де Ремюза, «Старый режим и революция» Токвиля, «История Франции XVI в.» Мишле и «История Византийской империи» Шарля Лебо. К сожалению, переводы Батенькова не увидели свет, и читатели не знакомы до сих пор с этим видом литературного труда декабриста. Работы по вопросам

---

[192] *Письма Г. С. Батенькова.* С. 331.
[193] Письмо 169.
[194] Рус. старина. 1889. Т. 63. С. 350.

общественной и политической жизни России периода подготовки отмены крепостного права, в которой он принял участие и как член Калужского губернского комитета, тоже еще не опубликованы. А между тем записки по крестьянскому делу, университетскому образованию, о литературе и по другим вопросам представляют интерес не только для истории декабризма и развития общественной мысли в России. Именно по этим работам историки склонны отмечать эволюцию его мировоззрения от декабризма к революционной демократии. Против этого трудно возразить, но, чтобы не впасть в преувеличение, есть необходимость хотя бы приблизительно определить степень этой эволюции. Тем более это необходимо для Г. С. Батенькова, прошедшего сложный и тернистый путь от убеждений конституционного монархиста, хотя и обосновываемых им тактическими соображениями, к республиканизму и сделавшего шаг к революционному демократизму. Определение степени этой эволюции удобнее будет сделать во втором томе, где будут собраны основные философские, политические и литературные труды.

29 октября 1863 г. Г. С. Батеньков умер в Калуге и похоронен в с. Петрищево рядом с могилой А. А. Елагина, как и завещал декабрист.

Письма декабриста открывают перед читателями многогранность интересов их автора. Проблемы внутренней и международной жизни России, настоящее и будущее народов, война и мир, вера и безверие, взаимоотношения и взаимосвязь сменяющихся поколений, наука, литература и искусство — вот сюжеты, которыми наряду с личными делами автора и его адресатов насыщены тысячи страниц, хранящихся в различных архивах, музеях и библиотеках.

В первый том включены письма Батенькова с 1813 по октябрь 1856 г., то есть до его отъезда из ссылки после амнистии. Письма, относящиеся к последнему периоду жизни Гавриила Степановича (ноябрь 1856 — октябрь 1863), составят первую часть второго тома.

Для первого тома выявлено и учтено 301 письмо. В сборник включено 207. Из них 94 публикуются впервые, 12 писем, опубликованных ранее фрагментарно, воспроизводятся нами полностью. Таким образом, из 207 писем 106 полностью печатаются впервые. Остальные 101 публиковались начиная с 1889 г. в разных изданиях, боль-

шая часть которых сейчас недоступна широкому читателю.

94 письма (из 301), в том числе 66 опубликованных ранее, не вошли в настоящее издание по разным причинам: малозначительность содержания, обилие религиозных сюжетов и пространных рассуждений, аналогичных тем, которые есть в публикуемых нами письмах к другим адресатам в более сжатом виде.

В соответствии с правилами публикации 202 письма воспроизведены в томе по автографам или копиям, находящимся на хранении в девяти архивохранилищах в 53 делах по 22 фондам. Только пять писем воспроизведено по предыдущим публикациям. Оригинал письма 205 не выдан составителям из *ЦГАОР* по техническим причинам. Места хранения писем 1, 2, 46 и 204 обнаружить не удалось.

Несколько слов о самом крупном собрании писем Батенькова, хранящемся в Отделе писем *ГБЛ*. Рукописное наследие Батенькова в этом хранилище сосредоточено в основном в двух фондах: ф. 20 — архив Г. С. Батенькова и ф. 99 — архив Елагиных. Кроме писем Батенькова к различным адресатам в этих фондах хранятся сотни писем к нему от родных и друзей, в том числе декабристов и петрашевцев, государственных деятелей, литераторов, ученых, мореплавателей, промышленников и просто знакомых со всех концов России. Здесь же есть служебные документы, научные и литературные труды (обстоятельная характеристика хранящегося в *ГБЛ* документального наследия Батенькова дана в обзоре Л. М. Ивановой «Фонд Г. С. Батенькова»). Девяносто шесть писем декабриста за 1813—1855 гг. вошли в сборник «Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толля». Это был первый сборник, вобравший в себя значительное количество писем Батенькова и существенно обогативший представление исследователей о сибиряке-декабристе. В *ГБЛ*, так же как и в других архивах, оставалось еще много писем декабриста, ожидавших публикации. В первый том настоящего издания включено 159 писем (69 из них вводятся в научный оборот впервые), хранящихся в *ГБЛ*.

Настоящее издание писем и трудов [195] Батенькова совпадает со 195-летием сибиряка-декабриста и 125-летием со дня его смерти.

---

[195] Во второй том кроме 160 писем войдет и часть научных и литературных трудов Батенькова.

Письма Батенькова в зависимости от адресата, времени написания и сюжета, которому посвящены, различаются не только по объему, но и по стилю и языковым особенностям. «Беседуя» с друзьями и близкими, он был многословен при излиянии нежных, дружеских чувств. Не ограничивал он себя и при красочном описании природы, нравов и обычаев среды, в которой находился, людей, с которыми общался. Зато в письмах к официальным лицам чувствуется тщательный отбор не только мыслей, но и слов, заносимых на бумагу. Оригиналы его писем (особенно черновики) изобилуют зачеркиваниями, вставками и авторскими сносками. Считая необходимым соблюдать в любой работе, в том числе и в письме, аккуратность и математическую точность, он часто прибегал к нумерации отдельных формулировок, разделению письма на параграфы или пункты.

Язык Батенькова богат метафорами, историческими и мифологическими образами, ссылками на древних и современных ему авторов (русских и иностранных), на библию и Евангелие. Цитировал он и свои стихи, вставлял в письма стихотворные экспромты. Любимый его стиль— язык иронии, понятной адресатам, умевшим читать его письма «между строк». Иногда иронично, иногда всерьез Батеньков употреблял языковые архаизмы, пришедшие из XVIII в.: «вить» (ведь), «обымаю», «оные», «паки», «цалую» и другие. Эти особенности языка автора при публикации сохранены. Применял он различные словообразования, образуя их из фамилий: «гравеизм», «каченовщина», «лебовато», «эзоповато» и так далее; любил и неожиданные словосочетания, например: «консервация памяти».

Особое место, прежде всего в сибирских письмах к Елагиной и ее детям, занимают богословские рассуждения, перемежающиеся с ироничной критикой отдельных служителей культа [196].

Обращает на себя внимание чувство собственного достоинства, звучащее во всех его письмах независимо от обстоятельств, при которых они писались. Даже в его письмах к высокопоставленным особам, написанных во время следствия, не было низкопоклонства, не говоря уже

---

[196] Религиозные взгляды Батенькова будут рассмотрены во вступительной статье ко второму тому.

о письмах к столичным знакомым, на чью помощь мог он надеяться, находясь в ссылке в Томске.

Свои письма Батеньков подписывал полной фамилией или знаком, заменявшим подпись. Часть писем совсем не подписана. Одно письмо подписано цифронимом «$\sqrt{-1}$» (письмо 128).

Письма публикуются в хронологическом порядке. Место и дата написания письма воспроизводятся по оригиналу, но помещены перед текстом каждого письма. Данные, установленные составителями, печатаются в квадратных скобках. Слова и части слов, прочтенные предположительно из-за неразборчивости почерка автора или недописанные им, также заключены в квадратные скобки. Подчеркнутые слова переданы курсивом. Под строкой помещены примечания Батенькова, пометы адресатов, резолюции, перевод иностранных и пояснение архаичных слов.

Сведения о местонахождении оригиналов и первой публикации даются в комментарии к каждому письму. В необходимых случаях указывается на повторные публикации, а также на ошибки прежних публикаторов. Большая часть включенных в том писем — автографы. Использование в издании копий или черновиков оговаривается в комментариях.

Из публикуемых в этом томе писем 35 подготовлены к печати Е. П. Федосеевой. Ею же проведена работа по выявлению писем в *ГБЛ* и подобраны иллюстрации. Остальные материалы выявлены, археографически обработаны и все прокомментированы А. А. Брегман.

В заключение приносим благодарность С. Ф. Ковалю и С. С. Волку за ценные советы и рекомендации, а также сотрудникам архивов и библиотек за доброжелательное отношение, внимание и помощь в работе, особенно З. И. Перегудовой *(ЦГАОР)*, В. А. Сплошнову *(ЦГВИА)*, Н. Б. Волковой *(ЦГАЛИ)*, А. В. Муктан *(ЦГИА)*, И. Н. Соловьеву *(ЦГАВМФ)*, В. И. Александровой *(ЛО Арх. АН СССР)* и А. Д. Алексееву *(ИРЛИ)*. За перевод французских текстов благодарим Р. А. Пашенину и И. А. Лившица.

А. А. Брегман

1. БАТЕНЬКОВОЙ (МАТЕРИ)

Дармштадт, 25 ноября 1813 г.

Милостивая государыня матушка!

Было время, в которое обманчивое воображение представляло мне счастливою ту минуту, в которую оставлю я мое отечество и пойду обозревать места отдаленные! Но сердце, исполненное к вам любви, изменило мне в самую минуту разлуки. На берегах Тобола еще проливались слезы мои. Час от часу потом удалялся я от вас, сердце грустело более и более, и, наконец, я уверился, что без вас не могу быть счастливым. Но возвратить нельзя прошедшего, и мне остается одно утешение — писать к вам. Редко я имею возможность исполнять это, служба отнимает много времени, а война лишает часто и самых способов, так что я благословляю тот день, в который могу испросить себе благословение ваше, которое подкрепляет меня в трудах и спасает в опасностях.

Хотя нет еще перемирия [1], но войска главной армии спокойно расположились на кантонир-квартирах [2]. Мы сперва блокировали крепость Майнц, теперь же сменил другой корпус, и мы отдыхаем. Ни малого недостатка ни в чем здесь не встречали, ибо земля довольно богата. Впрочем, совершенно неизвестно, начнутся ли опять военные действия или заключат мир; все желают мира, хотя, с другой стороны, война и обещает новые блистательные почести и славу оружию союзных войск. Сражение под Лейпцигом [3] было решительным ударом для неприятеля. Там пали силы его, вторично противу нас собранные; не будет мира, то разрушим и третью армию, которую он собирает. Об этом можно говорить надежно, ибо мы при-

выкли уже на каждом шаге торжествовать над французами.

В деньгах, платье и ни в чем я не имею теперь нужды. Следственно, вы можете меньше заботиться обо мне. Пишите чаще, письма доходят всегда исправно и служат большим утешением в сердечной об вас тоске. Прощайте. Засвидетельствуйте почтение мое бабушке и матушке крестной. Сестрице не пишу я для того, что мало имею времени, но пусть прочтет она письмо мое к Петру Афонасьевичу[4]. Впрочем, уверьте, что я всегда люблю ее и всегда буду любить. Прощайте.

Батеньков.

Василью Марковичу, Марку Алексеевичу, Степаниде Корнильевне, Марку Петровичу, отцу Андрею и всем, кто знает меня, кланяйтесь, а особливо Петру Алексеевичу Коврнгину, Наталье Антоновне и Авдотье Антоновне, а сестрица пусть уведомит обо мне Молокова.

Поздравляю вас с праздником Христова рождества. 25 ноября (по нашему стилю) 1813 года.

2. П. А. [МЕРКУШЕВУ]

Дармштадт, 25 ноября/7 декабря 1813 г.

Любезный мой Петр Афонасьевич!

Открылась возможность писать к тебе — и я не могу не исполнить долга, возлагаемого на меня любезною дружбою. Этот долг приятен мне, сердце же мое уверено, что ты с удовольствием прочтешь строки из земли чужой и отдаленной.

Уже полночь, небо ясно, и месяц освещает нас целым своим кругом. Я все ходил по городу один-одинехонек. Ночь прекрасна и приятнее многих дней моей жизни; ибо я ничего не чувствовал более, как любовь ко всемогущему, воспоминал об вас и наслаждался бытием моим.

Некогда один день был приятнейшим мне и злополучным для тебя, друг мой; ужели теперь тоже? — но не надобно мучиться прежде времени — один случай не может служить законом для всех прочих. Я спокоен.

Пять дней уже прошло, как корпус наш на левой стороне Майна расположился на кантонир-квартиры. Рота наша стоит за милю отсюда в городе Грос-Герау, а здесь корпусная квартира генерала Сакена[1]. Не знаю, долго ли

мы простоим, куда пойдем и что делать будем. Но все надобно воспользоваться временем отдыха. Слухи различны: одни уверяют, что скоро заключится мир, а многие думают, что мы пойдем в Швейцарию, а оттуда во Францию, ибо переправа через Рейн заграждается многими на оном крепостями. Если будем в Швейцарии, то я употреблю все старание слазить на Сент-Готард посмотреть Чертов мост[2], Женевское озеро и Рейнский водопад. Все это не далеко и теперь отсюда *, но нельзя еще ехать. Надобно ждать, чтобы вихрь войны занес туда, а может быть, и самый мир, если мы через Италию и Средиземное море в Крым возвращаться будем.

Теперь скажу тебе немного о тех городах, в которых был я на этих днях.

Франкфурт-на-Майне. Город известнейший в Германии. Он лежит на обоих, но главною частию на правой стороне реки. Вид города со всех сторон прекраснейший. Мне лучше всего нравится смотреть с моста Каменного. Отсюда видно и древние башни церквей, и грос-герцогского замка, и прекрасные здания по берегу реки. Главная улица столь же прекрасна, как и в самом Берлине.

Дармштадт. Столица герцога Гессен-Дармштадского. Половина этого города, или новый город, прекрасна своими строениями, регулярностию улиц и отменною чистотою, а другая, напротив, имеет узкие улицы, старые и худые домы и как бы на азиатский город похожа. Здесь был я в театре и музеуме.

В первом играли оперу, и мы с удовольствием слушали прекрасных певиц и хорошую музыку. Декорации хороши, а особливо перемена ясного дня в бурный на открытом воздухе сделана с довольным искусством. В музеуме кроме натурального кабинета еще примечательны многие живописные картины и скульптурные изваяния. В особенности прекрасны: Робинсонова Магдалина, Рафаелев Креститель, Адам и Евва при первом ударе грома, Лунная ночь, Рейнский водопад, Венера и многие другие. Здесь стоит еще небольшой обелиск, присланный в дар от императрицы Екатерины, сделанный изо всех камней, ископаемых в России. В Педагогическом институте и на фабриках мы еще не были.

---

* Не более 30 миль или 200 верст. (Примеч. Г. С. Батенькова.)

Ашафенбург. Большой и красивый город на правом берегу Майна. В нем два прекрасные герцогские замка из красного камня, набережный сад и каменный мост через реку примечательны. Здесь теперь главная квартира нашего Барклая де Толли и австрийского фельдмаршала Шварценберга[3], здесь и полевой почтамт, откуда полетит это письмо за тридевять земель.

Офен-бах. Прекрасный город в 3 верстах* от Франкфурта. Две улицы состоят из великолепных зданий, по садам и аллеям приятно прогуливаться, и изо всех мест, занятых теперь нашею армиею, я бы не желал квартировать нигде, как в Офен-бахе.

Висбаден славен своими минеральными теплицами.

Гог-Гейм славен лучшим Рейнвейном, который и в самой Франции уважается, а Европе известен под именем вина гоггеймского. Отсюда видно хорошо и крепость Майнц, окружающую один из лучших городов, принадлежащих Франции.

Гиссен имеет прекрасный университет и обсерваторию.

Вот тебе маленькое описание примечательных здесь мест. Я не имею досуга писать более, ибо мы с часу на час ожидаем инспекторского осмотра, я на беду завтра дежурным, а офицер в главную квартиру сейчас отправляется, не надобно медлить, ибо иначе и не отправлю письма к тебе до нового случая.

Удостоверь матушку мою во всегдашней моей к ней любви и преданности и спроси у ней для меня благословения и кланяйся моей сестрице, Авдотье Алексеевне, Алексею Афонасьевичу, Раисе Афонасьевне, Матвею Андреевичу, Флегонту Дмитричу и Калиновскому[4]. Я люблю всех вас и любить всегда буду.

Батеньков.

Напиши к Молокову, а мне письма надписывай: Силезской армии в корпус генерала Сакена, 13-арт[иллерийской] бригады в батарейную роту № 13. Через Белосток за границу. Прощай.

Медали за 1812 год мы уже получили. Они серебряные, не более медного сибирского гроша, на голубой лен-

---

* Чтоб ты не подумал, что это очень близко, я предупреждаю уведомить, что на половине дороги между Франкфуртом и Офен-бахом есть еще один город—Обер-рат. (Примеч. Г. С. Батенькова.)

те. С одной стороны всевидящее око, окруженное сиянием, и внизу 1812 год, а на другой надпись: не нам, не нам, а имени твоему[5]. О прочих награждениях для нашего корпуса еще не слышно.

Я думаю, что у вас свирепствуют уже морозы во всей их силе, но здесь еще нет зимы и еще думать нельзя о теплом платье. Дни настоящие майские, теплы и ясны, поля еще зеленеются, лишь деревья сбросили листья и пожелтели дубы. Если в этом состоит здешняя зима, то немудрено, что французы не любят наш климат. Снегу по сю пору еще не видно, может быть, покажется все это в генваре, но уже ненадолго, ибо март здесь летний месяц. Таким образом, не могу ли я сказать, что прошел землю с одного конца на другой, да и без увеличивания: от Иртыша до Рейна нешуточное расстояние.

Пиши ко мне чаще, друг мой, и уведомь, получил ли мои письма из Бауцена, Берлина, Вецляра и Ваккерта, там писал я много — больше, нежели теперь[6]. Я буду всегда тебе отвечать, и, может быть, ты скоро получишь письмо из Франции; впрочем, где бы я ни был, не перестану любить тебя.

В Великие Луки пошли мой поклон. Да прикажи, чтобы Филя[7] писал ко мне. Тебя поздравляю с новым годом, ибо ты получишь письмо уже в 1814.

3. А. А. ЕЛАГИНУ[1]

Гродно, 18 августа 1814 г.

Любезный Алексей Андреевич!

Насилу нашел я свою роту. И где же? — в монастыре. Бог грешников призывает на покаяние!

Наши все здоровы, но бриенское награждение[2] не очень для них велико, а особливо бедный Бердяев[3] получил только ассирийский орден Деревянного Железа[4] на кожаной ленте и на старости лет должен повиноваться твоему поручичьему благородию. Слух носится, что маркитант крепко хлопотал, чтоб тебя наградили. Андреев не обманулся в ожидании Владимира[5]; а я уже, бог знает какими судьбами, попал в число кавалеров такого почтенного ордена, который, как уверяют, совсем мне не к лицу.

Но бросим говорить о пустяках. Деньги есть вернейший предмет. Итак, постарайся те георгдоры[6], которые пришлют нам, переслать в Гродно. По всему вероятно,

что Баранов скоро к вам приедет, ибо Черепахин[7] уже возвратился.

Мудрено сказать, да и я еще сомневаюсь в истине того, что мне сказывали офицеры 67 и 68 рот, будто бы наш Баран Баронович есть человек семейный, имеет жену, и детки скоро будут. Когда так, то у вас не будет скучно.

Мы стоим в деревне Свислоче, 25 верст от Гродно, говорят, что часто будут ученья, но они, благодаря богу, по сие время не начинались, а мудреного ничего нет. Кост...[8] любит протереть глаза.

Кланяйся Федору Андреевичу и поздравь его с полученною наградою, а у Ивана Ивановича выпроси извинение, что я уехал, не простившись с ним[9].

У нас здесь истинная скука, некуда ни выйти, ни выехать, да и кофею, коренной причины всех веселий и радостей, нет нисколько. А как скука, по уверению всех мудрецов, происходит от лености, то ты и не удивишься, что я так скоро оканчиваю мое письмо.

Батеньков.

<...>[10] Уведомь поскорее, где вы стоите и как к тебе писать — а нам, кому-нибудь, надписывай в *Гродно.*

4. А. А. ЕЛАГИНУ

Гродно, 24 октября 1814

Любезный Алексей Андреевич!

Я получил твое письмо, 14 георгдоров и ноль за монмиральское дело[1], все это в один день, то есть 23 ч[исла] октября.

Не говоря более ничего об этом, скажу только, что наша рота больше всех почти награждена, ибо Бердяев, Черепахин, Бурнашов и Верховитинов получили чины, а Моисеев и Praванько получат в высочайшем приказе, Карпов имеет Анну вторую, Семенов Владимира 4-го, а Щерба[тов] Анну 2-ю, армейским тьма наград. А 13-й батарейной — полковнику Владимира 4-го с бантом, Елагину и Андрееву Анны на шпаге, а за одиннадцать ран[2] надежду получить высочайшее благоволение. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

Пожалуйста, постарайся узнать у Подольского, по какой теореме вывел он заключение, что мне следует в выдачу 14 георгдоров, ибо я никак не могу собраться

с толком и узнать, получено ли мне третное не в зачет жалованье[3] и какою монетою? На это я жду ответа, может быть, ближе, чем из Брянска.

Скажи, пожалуй[ста], почему ты на трех письмах сряду приписывал мне чин поручика, верно охмелевшая голова все забыла, и можно ли думать, чтобы она удержала в своей памяти надолго дружбу к тому, кому оную обещала.

На вопросы ответы написаны. Тебе все кланяются и поздравляют с другою шпагою, а я спешу ехать в полки калибровать ружья и потому оканчиваю письмо.

Батеньков.

Любенков еще в Гродно[4], но рота их уже в Вильне, она теперь 43 батарейная.

Поздравь нас с 27 номером бригады и 53 роты, только числа не святые.

[*Адрес с остатками сургучной печати:*] Его благородию милостивому государю Алексею Андреевичу Елагину.

5. А. А. ЕЛАГИНУ

Гродно, 7 ноября 1814 г.

Вольтер давно уже открыл целому свету, что беззакония, происки, коварство, властолюбие и все ужасные грехи были свойством особ духовных; архиереи всегда грешили более простых попов, а попы более каждого из овец духовных. Убежденный в столь ясной истине, я нимало не удивился, когда узнал из письма твоего, любезный Алексей Андреевич, о треклятых поступках окаянного нашего первосвященника и друга[1]. Жалею вместе с тобой о несчастных жертвах его политики, но уверен, что не только наши наставления, но и целая библия не обратит его на путь истинный; а за тысячу верст и кинжалами ничего не сделаешь. По этим причинам поневоле укротишь свой гнев и из жестокого мстителя обратишься в спокойного наблюдателя дел бесчеловечных. Впрочем, ты напугал нас уведомлением, что А[лександр] И[сакич][2] болен без надежды выздороветь, но мы все уверены, что бог добр для людей добрых. Очень жалею, что я не могу с тобой увидеться в Брянске, куда я скоро надеюсь ехать, ибо отпуск уже получен; правда, меня затрудняет немного недостаток в деньгах, а особливо, когда по сие время еще не знаю,

как и почему Подольский исчислил мне 14 георгдоров. Несмотря на то, что я в половине декабря, наверное, не буду уже жить здесь, ты все еще можешь писать ко мне, и я уведомлю, когда надобно будет отправлять твои грамотки в те пустыни, куда я переселяюсь.

Из последнего моего письма ты знаешь, что рота наша называется теперь 53-ю легкою и поступила в 27-ю бригаду; к тому прибавлю, что мы с новым названием получили всю новую артиллерию и тьму завели мануфактур кожевенных и канатных для исправления всего, что худо. У нас в бригаде роты Александра Ивановича Дитрихса и капитана Блинова, а Дельден[3] целой бригады отец и командир. Боже мой! Сколько прожектов о наборе адъютантов и целого штаба! Сколько соболезнования о потере великого министра Прядильского[4], красы всех деловых людей!

Может быть, ты не знаешь и того, что Чертов в 26 бригаде, рота их 51-я стоит в Плоцке и Корольков бригадный командир, рота Вербовского теперь 25-я, а священное, почтенное и знаменитое имя 13-й батарейной роты похитил Матвей Шишкин и среди пресловутого Одеса[5] издевается над теми, которые прежде носили это имя и потеряли его невозвратно.

Непростительно не написать тебе о наших смотрах и ученьях. Г[осподин] Кост... старается просветить нас в быстрых движениях, бодрости и храбрости. Учит переменять в минуту 28 позиций, стрелять на 25000... сажен, наводить на солнце и проч. Все это не чудеса, а вот в чем штука-то: скоро мы будем под выстрелами другой батареи переплавляться вплавь через Немень; без всякого сомнения, целая губерния будет смотреть чудесный наш переход через воды, подобно израилям, гонимым от фараона чрез Чермное море[6]. Кованьки здесь нет; генерал заметил, что он не бодр, и отправил опять в Вильну принимать лошадей на целый корпус.

Извини меня, что я разболтался так много и не оставил здесь места Василью Николаевичу, да он и особо припишет, а ты получи от меня. Поклоны тебе Моисеева, Бурнашева и Верховитинова; Кулды же еще не приехал, несмотря на то, что ему давно прошел срок, назначенный к образованию способностей его в лошадином полтавском депо[7]. Прощай, я жду от тебя ответа из Луцка и в Луцк к тебе еще писать буду. Батеньков.

За Монмираль ты и Андреев получили Анненские шпаги, А[лександр] И[сакич] Владимира с бантом, все наши, даже и Бердяев, чины, кроме одного меня, я получил ноль, потому что более всех надеялся получить что-нибудь. Завтра или послезавтра сюда будет Анна Ивановна[8]. Она уже в Несвиже. Ивану Ивановичу[9] кланяйся.

6. А. А. ЕЛАГИНУ

Киев, 4 июня 1815 г.

Воспоминание о друге моем Алексее Андреевиче Елагине!

Итак, нет уже на земле моего любезного!.. Добрая душа его обитает теперь выше звезд! Она презирает все земное; смеется над временем и живущими в нем. Тени древних нечестивцев не были столь счастливы в обителях неба. Они, не зная истинного бога на земле, и там не приближались к престолу его; здешняя жизнь была для них восхитительнее, и потому они часто являлись друзьям своим в эфирном теле, но с глубокою тоскою о разлуке с ними. Не то ныне; тени нам любезных близки к предмету более, нежели дружба, их занимающему, и мы не зрим уже оных носящимися по холмам.

Красуйся, друг мой, в жизни нетленной, я не сомневаюсь, что ты там, где и все мы будем некогда. Не сомневаюсь, говорю, ибо, бывши на земле, ты не мог бы забыть того, кто тебя любит, забыть самим тобою изреченную клятву уведомлять о всем, что случилось с тобою. Нет, ты не можешь быть клятвопреступником! И полгода, в которые не знаю я о тебе ничего, без всякого сомнения, провел ты выше видимого мира.

Но я всегда буду оплакивать мою потерю. Спешу туда, где ты был долго, проникну в *круг отборных людей всякого состояния и той прекраснейшей женщины*, которую ты любил, соберу все, до чего ты касался, и потом

В стране Борея, вечно льдистой,
Где нет движенья веществу,
Где магнетизм владеет чистой,
Все смерти дань, как божеству;
Где солнце полгода сияет;
Но, косо падая на льдах,
Луч яркой в радужных цветах
Скользит — и тотчас замерзает —
Из водок, спиртов, вин и пунша всяких токов,

Меркурьев дульцисов и хины горьких соков
Там льдину сделаю и урну из нея
И сею надписью твой прах украшу я:
«Так точно хладен днесь веществ сих друг, любитель —
Покой его спаситель!»
Потом с сердечною тоской
Я буду жить в пустыне той,
Огнь дружбы греть меня там станет.
И друг твой плакать не престанет,
Доколь горячею слезой
Не смоет урны над тобой [1].

Б[атеньков].

Остается теперь мне только попенять Федору Андреевичу и Ивану Ивановичу, что они меня забыли. А чтоб когда-нибудь стал писать Андреев, на то я и не надеялся. Впрочем, будьте все уверены, что я много вас люблю и почитаю и не оставлю писать из заграницы, только бы знать, где вы будете, а наша рота 27 бригады 53 [2] легкая, в 3-м корпусе действующей армии.

Батеньков.

[*Адрес:*] Его благородию государю Алексею Андреевичу.

7. А. А. ЕЛАГИНУ

Киев, 9 февраля 1816 г.

Любезный Алексей Андреевич!

Я писал к тебе подробно в Лубны, а по некоторым сведениям полагая тебя в Брянске,— если это правда, то я надеюсь скоро узнать, что с тобою делается.

Все наши здоровы, Александр Вильмович [1] уже не командует ротою, а на место его полковник Ульрих [2], пожалуй, ему 30 лет. Здесь в Арсенале и после будем стоять верстах в <...>* от города. Я и Бердяев подали просьбу в отставку [3].

Вот все, о чем пишу к тебе, ибо жаль потерять времени на пустоглаголение, если тебя в Брянске нет.

Прощай, остаюсь тебе преданный Батеньков.

Адресуй: 7-я Артил[лерийская] бригада, в легкую № 53 роту, в 3-ем корпусе в Киеве. Я тотчас буду тебе отвечать по всем категориям.

[*Адрес:*] Его благородию милостивому государю Алек-

---

* Цифра не поддается прочтению из-за повреждения текста.

сею Андреевичу Елагину, господину артиллерии поручику и кавалеру в Брянске Орловской губернии.

8. А. А. ЕЛАГИНУ

Белая Церковь, 5 июня 1816 г.

Мне непонятно, каким образом можно было написать в одном месте столь сильные противоречия. Я разумею здесь твою проповедь о добродетели и бессмертии, составляющую первое ко мне письмо по приезде твоем *в Маркитантию*. Ежели и подлинно так, что пребывание мое между хохлами (в числе коих и Иващенко) возродило во мне нелепые намерения, то не менее признаться надобно, что и тебя правила окружающего народа столкнули с прежней орбиты и из одного только почитателя шнапсоидальных их талантов[1] сделали камратом и в своем криводушии.

Ты ужасаешься мысли, что добродетель между людьми чаще всего служит маскою всех пороков, и в то время не веришь бессмертию. Ежели души разрушаются и, следственно, состоят из материи, то все естественные их обязанности состоят в том, чтоб иметь протяжение, скважность, делимость, тяготение и проч. Они столь же легко могут отступить от своих законов, как толстобрюхий первосвященник поместиться в чернильнице, в которую теперь обмакиваю мое перо, или проехать от Белой Церкви до Киева на паре мух. Не знаю, куда в этом случае поместить добродетель и что она? О бессмертии независимо ни от какой религии уверяет нас разум, по крайней мере наше самолюбие, и я из человеческой гордости не хочу утверждать, что штабс-капитанство и кавалерство некоего Крючка составляет всю цель, для которой начал ты свое бытие. Ежели бог ничего более не имеет, чтоб сделать нас соучастниками своего блаженства, то, право, достаточно, ежели мы будем называть его высокопревосходительным и вместо всех молитв один раз в месяц пройдем церемониальным маршем мимо невидимого и приложим правую руку к козырьку кивера или левую к пуговке на шляпе.

Что люди все плуты, я в этом твердо уверен и ежели бы имел возможность делать многое и явно выставлять причины, к действиям побуждающие, то доказал бы свету, что прямой и ничем не украшаемый порок менее вреден, нежели кроющийся за щитом добродетели; жаль

только, что люди чрезмерно смешны и хотя знают, что нет ни одного деяния, произведенного чистою добродетелию, но всегда хотят, чтоб их обманывали и старались уверять в том, чему они никогда не поверят.

Ожидая ответа на галиматейно-ахинейное мое письмо [2], я теперь умолкаю. Да светлеет паче прежнего лоб твой! да не излетит никогда из памяти твоей данное мне обещание писать всегда, где и как бы мы ни торчали на сем свете! Приступаю к важнейшим пунктам:

Кованько уехал уже из роты, и чрез неделю получил я от него и от самого светлейшего письма на 4 ½ листах полноформатных <...> [3].

Здесь стоит теперь вся наша бригада для практического ученья, и хотя Кост каждый день задает по две сильные муштрации и бомбардирации, но это ни до меня, ни до Бердяева не касается, ибо мы уже люди вольные [4]. Жду только пачпорта и скоро выеду из Киева, прошу на это письмо отвечать в Великие Луки Псковской губернии, надписавши для доставления мне, его благородию Филиппу Афонасьевичу Меркушеву, с тем чтоб он подождал оригинального моего там появления, о котором ему неизвестно. Впрочем, сказать тебе надобно, что это не военный человек, но такая ж повеса, как и я, следственно, лишних чинов наблюдать не нужно. Ежели успею, еще к тебе из роты напишу, теперь устал и могу только сказать — прости, с наложением величайшего проклятия, ежели забудешь любящего тебя Батенькова.

Я все буду писать в Белев.

К Кованьке пиши в *Водолаги*, Слободско-украинской губернии или в самый Харьков, а к Моисееву в Васильков, <...>* письмо по причине мерзкого твоего сургуча я получил распечатанное.

9. А. А. ЕЛАГИНУ

Смоленск, 24 июля 1816 г.

Ты видишь теперь, что я уже свободен и странствую по белому свету. 19-го числа простился со всеми своими товарищами и комратом Бердяевым, признаюсь, мне ужасно жаль было их оставлять, а особливо столь почтенного и любезного начальника, как Василий Яковлевич Ульрих.

---

* Одно слово, возможно «твое», оторвано на оригинале.

Кажется, ни с тобою, ни с ними я не увижусь более: со всем тем беззаконно будет, ежели ты забудешь меня. Верь, любезный Алексей Андреевич, что я люблю тебя как брата и потому хотя надеюсь иметь право на твою дружбу. Продолжение нашей переписки будет служить знаком, что связь наша не перерывается, и я об этом только и прошу тебя.

На два последних письма ты мне не ответил, это дало мне причину подумать, что тебя нет в Белеве, в противном случае я решился бы с тобой увидеться и не сделал бы в дороге большого круга.

Бердяев и Кованько оба в Харькове, там же и Рынден. Вот почему ты можешь часто писать туда, и хотя я после уже знаком с тобою, нежели двое первых, но они меня просили, чтоб убедить тебя иметь с ними переписку. Ежели ты не женишься, то Василий Николаевич хочет приехать зимою в Белев и сбить тебя с толку идти служить в кавалерию, один же идти боится.

Не пишу теперь никакой галиматеи, потому что отдыхаю и нездоров, постарайся иметь сведения о Паскевиче[1] и меня уведомь, к первому августа я буду уже в Петербурге.

Прощай, мой милый. Будь уверен в вечной преданности Батенькова.

Ежели ты писал в Великие Луки, то послезавтра я получу твое письмо.

10. А. А. ЕЛАГИНУ

Петербург, 6 августа 1816 г.

Ежели б не ужасные хлопоты и не беспрерывное занятие[1] проклятыми *иксами и плюсами*, то я бы охотно принялся опять за галиматейную и ахинейную философию, несмотря на то, что ты должен мне многими ответами, любезный Алексей Андреевич!

Итак, я в столице — наслаждаюсь свободою. Ежели только иксоплетство можно почесть наслаждением. Дело мое, касающееся до [в]ступления в инженеры путей сообщения, приняло, по-видимому, доброе начало — и я должен чрез несколько дней явиться на публичное испытание[2]. Меня приняли весьма ласково и, может быть, останусь даже в Петербурге, но что проживу более двух месяцев, это весьма верно. Здесь я буду ожидать длинных

твоих писем, да не забудь поскорее прислать и деньги, которые крайне нужны, как и сам ты умною головою своею рассудить можешь.

Я стою Литейной части против Гагаринских бань, в доме Быкова, № 24[3], куда и можешь ты адресовать твои письма, но, ради бога, не сделай по прошлогоднему и не заставь дожидаться оных целые десять месяцев,— для меня больно будет потерять твою дружбу, которая даже и в разлуке много приятных часов мне доставляла.

Уведомь, что ты делаешь и не предпринимаешь ли чего-нибудь важного, я во всем до тебя касающемся принимаю столь же живое участие, как бы то собственно ко мне относилось; а поелику черт и горами ворочает, то немудрено, что перевернет и твои мысли, может быть, ты вздумаешь опять в службу, разумеется, с переменою мундира, тогда не поленись, сделай милость, меня отыскать, когда будешь в Петербурге, или уведомь предварительно о твоем отъезде; я совсем переселюсь в питейную контору, чтоб встретить тебя в первый день по приезде. Может быть, тебе кажется чудным, что я надеюсь видеть тебя опять в службе, но я делаю это из суеверного доверия к седому нашему харьковскому оракулу[4], ибо он предрек это, но в таком только случае, когда ты не женишься.

Повторим старую анафему на того из нас, кто первый дерзнет перервать переписку, хотя это проклятие и не укрепит более нашей связи, но, по крайней мере, послужит первым упреком преступнику, ежели, паче всякого чаяния, из нас таковой случится.

Теперь прощай, не имею времени писать более — после воздам сторицею. Ты сам знаешь, что по силе моей многоболтливости я никогда в долгу не оставался.

Батеньков.

11. А. А. ЕЛАГИНУ

Петербург, 11 сентября 1816 г.

Ежели ты не женился и не сошел с ума, то я не знаю, чем изъяснить то, что четыре мои к тебе письма остались без ответа. Важность их содержания, кажется, должна бы заставить тебя преодолеть свою леность и, по крайней мере, вооружиться сильно против вводимого мною раскола в галиматейную философию. Быть может и то, что

мысль о приобретенной нами свободе желаешь сделать наиболее обширною и освободиться от всех связей, сохранять которые святым именем дружбы ты заклинался.

Мне больно, что я часто вынужден бываю делать тебе упреки, и охотно признаюсь, что радуюсь, увидевши после их несправедливость, кажется, однако же, ты принуждаешь меня сильно настаивать, чтоб выманить ответ на свои послания, и ежели рассмотреть всю нашу переписку, то ты виноват непростительно.

Последнее письмо мое из Петербурга сказало уже тебе, что добиваюсь определения в водяные[1], это натурально; тебе известно, что я образован по кругу, следственно, огонь и земля не мои стихии. Легче бы было выполнить намерение, когда бы я просто вздумал утонуть, но я хочу жить в водяных и потому должен преодолеть большие препятствия, даже сомнителен успех; однако ж буду ждать конца, буду любоваться тем, что люди более, нежели ты, меня любящие, не забывают своего товарища и друга; буду бранить твое непостоянство, но не истреблю моей к тебе приверженности и не дам тебе права считать меня достойным всегдашнего забвения.

Я написал бы тебе много подробностей о моей здесь жизни, но быть может, что ты не в Белеве и, следственно, не получишь моего письма; быть может и то, что это совсем для тебя незанимательно; ежели ты совершенно ко мне равнодушен, то пожалеешь о времени, полезном для твоих хозяйственных занятий, которое должен бы ты был употребить, чтоб читать мелочные дела человека, совсем тебе чужого. Скажу только, что нынешняя моя жизнь не имеет и тени того величия, которое мы разделяли с тобою пред лицом владыки Кабазинского[2]. Там нужен был один фидеизм[3], здесь нужны деньги. Я сказал тебе это для того, чтоб надпомнить о тех милых днях, как мы были друзьями.

Помнится, в одном письме из Киева я требовал от тебя уведомления, долго ли пробудешь в Белеве, имея намерение с тобою увидеться. Не это ли испугало тебя? — ежели так, то не пиши и теперь гораздо долее, ибо (от чего бог да сохранит тебя) я мог бы на пути отсюда в Сибирь заехать и прожить у тебя до зимней дороги.

Много досадую я и на то, что ты не уведомил меня об Иване Ивановиче, он не менее имеет права мне выговаривать, как и я тебе. Ради бога, скажи ему, что я его

не забываю, люблю, надеюсь на его хорошее расположение и желал бы хотя еженедельно трактовать о теоретической и практической части галиматеизма. Я не получал уже давно сведения и о гнезде бывшей славной 13-й тысячи, уверен только, что всеразрушительные категории сильно бунтуют в тамошнем конденсаторе, ежели только пустота способна принимать какие-нибудь впечатления. К чему служат налобные надписи, причинившие столько поругания надменному и здесь даже великолепному Фр...?[4] К чему служат беленькие кружки, не нам принадлежащие[5] и едва Грос-Герау не разрушившие? Ни к чему, мой милый, как во знамение поругания сильной Кабазы и к конечному ее истощению. Кованько онемел, видя странную игру фортуны, видя Ира в колеснице Крезовой[6]. Оставим наши рассуждения, заключим только, что в здешнем наилучшем мире часто истинно добрые страдают, а злодеи и клятвопреступники наслаждаются. Под это заключение я подвожу и тебя, ибо, верно, ты нежишься, султанствуешь, веселишься, несмотря на то, что приятным долгом считаешь не исполнить ни одного данного мне обещания. Собственноручными твоими письмами могу доказать правду слов моих, но надеюсь, что ты обратишься, и тогда вам, милостивый государь Алексей Андреевич, я по-прежнему буду другом и услужником.

Батеньков.

Я стою на Гагаринской пристани в доме Быкова № 24.

12. А. А. ЕЛАГИНУ

Тобольск, 1 декабря 1816 г.

Наконец я получил и от тебя письмо, мой милый друг Алексей Андреевич! Мучительно мне было целые полгода не знать ничего о тебе, и хотя все удостоверяло, что ты меня не забудешь, не перестанешь любить даже, но признаюсь, что взгляд на твое письмо произвел во мне неожиданную радость. Движения сердечные изъяснить трудно, и потому не понимаю, отчего я почувствовал тогда столь сильное смятение, что несколько минут как бы я боялся его распечатать. Может быть, невольно сожалел я тогда о упреках, помещенных в четырех последних моих письмах, и хотя оные писал я шутя, с одним только намерением заставить тебя писать ко мне и с твердым уверением не возродить в тебе такой мысли, что злость водила

мою руку, однако же я писал к тебе — и не помнил, что мы целые три года в разлуке.

Дружба требует искренности — я от тебя ничего не скрою.

Получая прежде твои письма, я тотчас же начинал ответ, никогда не заботился ни о слоге, ни о хорошем порядке, не вымарывал даже того, что самому мне дурным казалось, и нередко отправлял, не прочитавши даже написанного. Следственно, легко мог ты читать то, чего никогда б я помещать не должен; равную беспечность замечал я и в твоих письмах, но последнее из них мне показалось совсем в новом виде; оно должно произвести важную революцию в нашей переписке. Шестимесячное твое молчание, как кажется, будет кремнистым хребтом, отделяющим все, что оставалось между нами детского, от того, что зрелому возрасту прилично. Ты ранее меня почувствовал в этом нужду, я согласен с тобою и должен просить извинения — по крайней мере, за казанское письмо[1]. Правда, это важная перемена, но она состоит только в форме и отнюдь не колеблет твердого основания дружбы. Я люблю *тебя, ты меня* любишь, время изменяет наш возраст, мы должны согласовываться с непреложными законами природы, помня только то, что есть в нас, ни от времени, ни от обстоятельств совсем не зависящее. Сим только средством могут надолго разлученные в точности знать друг друга. Переписка открытая, не запутанная ненужными пустяками, для нас более полезна; дружба имеет в себе много святого и потому не совместна с неблагопристойностию, терпимою разве в связи молодых шалунов, которых шалости же только соединяют. Неужели не найдем мы в себе довольно ума, чтоб занять друг друга приятным и полезным? Это была бы такая природная бедность, которая составила бы преграду всякой благородной связи; совершенно нищие головою, по мнению моему, и к товариществу не способны. Кажется, я попадаю на твои мысли или уже совсем ничего понимать не в силах.

Мило было мне, друг мой, напоминание твое о тех днях, которые провел с тобою в лучших местах в Европе. Ночь в Еш-лохе, кажется первая при свидании после мнимой моей смерти, всегда меня восхищала, и едва ли не эта самая ночь влила в сердца наши ту дружбу, которую я стремлюсь увековечить. Говоря о Германии и Франции, я всегда к себе тебя переселяю, но не могу в то же время

не помнить и другого тебя, мне столь же любезного и которому я обязан многими счастливыми часами моей жизни; догадаешься, что я говорю об Любенкове: не ревнуй, он стоит того, чтобы равнять с тобою, прошу не забывать его, потому хотя, что он и тебя, и меня не забывает. Часто я читаю с удовольствием его письма, и нет из них ни одного, где бы ты упомянут не был; помнится, я уведомлял, что он в *Фелине* и все в той же роте. Бердяев в Харькове и почти каждую почту ко мне пишет; нет слов, которыми бы мог я выразить благодарность, за то чувствуемую; скоро вступит он опять в службу, я думаю, что подобные причины к тому его вынуждают, как и тебя, искать новой жизни. Предприятие твое ехать в Америку меня восхищает, радуюсь, что ты увидишь еще многое, и сожалею, что не могу тебе сопутствовать. Сколь ни велико мое желание доставить тебе услугу, приготовивши, так сказать, нужные материалы к началу твоего предприятия, но я пишу уже из *Тобольска* и, следственно, не в силах ничего сделать.

Я ношу теперь звание поручика в Корпусе инженеров путей сообщения[2]. Экзамен в Петербурге, мною выдержанный, сделал меня известным всему верховному начальству по сей службе, честолюбие и надежды заставляют ее продолжить; сюда отпустили меня почти только в отпуск и изъявили желание утвердить в Петербурге, где, может быть, весною я обниму тебя.

Прочитавши письмо это, ты подумать можешь, что я хочу начать с тобою переписку довольно мрачную и отметать буду все, что нас развеселить может. Но нет, люблю забавы и считаю оные первым добром; нрав мой все тот же, люблю видеть и обнаруживать смешное во всем, где б только оное ни скрывалось, желаю только не помещать[3] ничего необдуманного, глупого и совсем незанимательного, буду уведомлять тебя о себе как можно чаще, и хотя совсем не нужна периодическая очередь в ответах, но я не желал бы никогда по полугоду совсем не знать, где ты и что происходит с тобою. Прежние мои настояния прими за доказательство, что ты никогда не выходишь из памяти Батенькова.

13. А. А. ЕЛАГИНУ

Томск, 24 мая 1817 г.

Опять давно не имею от тебя никакого сведения, любезнейший Алексей Андреевич. Но не думай, чтоб я упрекать начал. Ты сильно убедил меня, что упреки дружбе не свойственны, изъявляю только мою тоску и жалею, что встретил ты препятствия чаще беседовать с тем, кто предан тебе всею душою и в отдаленной пустыне каждое слово друзей считает милым гостем, каждую строчку — неоцененным подарком.

Я здесь совершенно один; многие ласкают, но сердце ни к кому не привязывается. Судьба даровала мне то счастие, что я по сие время не находил людей, которые бы меня ненавидели; врагов не имею, но есть небольшой кружок друзей; я далеко от них, но это не препятствует взаимной связи, мы меняемся своими мыслями и забываем обстоятельства и расстояние.

Я состарился в те три долгие года, которые живу без тебя; может быть, поэтому исчезла большая часть той веселой резвости, которую беспрестанно вы во мне видели; я не умел тогда скучать и тосковать, все мне казалось приятным, и я находил смешное в вещах довольно важных. Ты должен удивляться, что все, теперь от меня исходящее, носит печать какого-то уныния; но не полагай, чтоб я совсем переменился; новый круг, в котором я, так сказать, заперт, сильно действует на чувства. В каждом слове и поступке нужна крайняя осторожность, не вижу здесь никого, кому бы мог говорить искренно, и с сожалением вспоминаю о тех приятных днях, которые текли с добрыми товарищами. Кто мне заменит тебя, Бердяева, Коваоньку и Чертова? Проходил ли день, в который бы не шутили мы друг над другом, и была ли хотя одна шутка, которой бы цель была нижее, нежели взаимное удовольствие. Шутки и здесь употребительны, но они не только близки к насмешкам, а часто клонятся к тому, чтоб, сделавши смешным осмеиваемого, унизить его в глазах тех, от коих зависят почему-нибудь. Сохрани бог от таких правил, от такого общества!

Чем более рассматриваю, тем более удивляюсь, каким образом можно было вкоренить в умы ту мысль, что общество военных людей состоит из развращенных членов. На каждом шагу вижу несправедливость этого, но

ежедневно мысль сию, как неоспоримую истину, громогласно произносят.

По сие время не мог заметить двух человек гражданского сословия, особенно занимающих места несколько важные, двух, говорю, в истинной взаимной дружбе. Они ласкают друг друга, но в то же время видно притворство, и внимательное рассмотрение покажет совершенную вражду, зависть и полную готовность вредить друг другу,— лишь бы иметь какое-либо приобретение. Не смею сравнивать, во сколько раз собор таковых людей хуже нашего кагала, арифметика еще не изобрела числа, которое бы могло выразить сие содержание.

Но оставим других в покое и займемся сами собою. Скажи, неужели пребывание твое в Белеве будет уже вечным, неужели ты совсем не намерен служить? Возьми пример с Бердяева: он скоро будет лубенский гусар,— почему же и тебе не носить ментика? Слухи носятся, что и Чертушко предположил быть кирасиром; все загремят шпорами и, верно, соблазнят философа брянских лесов[1].

Ежели ждать времени, когда, по обыкновенному течению вещей, могу я оставить Сибирь, то, верно, уже по сю сторону Ахерона[2] мы не увидимся. Но когда не будет похоже на то, чтоб будущею весною начать здесь важные работы, то я непременно на зиму пущусь в Россию в отпуск и похлопочу о *том*, чтоб быть в 3-м округе[3]. Впрочем, в Томске было бы не худо, когда б удалось мне выполнить свои мечты.

Три короба наболтал я об укреплении берега реки, теперь занимаюсь проектом моста, и хочется построить оный аркою из железа на каменных быках[4].

Надобно признаться, что наша служба хлопотлива и требует значительной отваги. Неопытный офицер, отдаленный за 5000 верст от всех, чьим советом может воспользоваться, должен выдумывать и производить такие здания, коих цена в несколько десятков тысяч возвышается. В артиллерии менее хлопот и ответа, зато менее и видны служащие, особливо в чинах наших.

Как бы то ни было, но я непременно уже весь 1817-й год пробуду в Томске. Не ленись ко мне писать и, ради бога, какими-нибудь средствами докопайся, где Кованько; он у вас около Москвы и, к величайшему удивлению моему, совершенно не пишет. Жду и от почтенного

Ивана Ивановича ответ на мое послание, или, лучше, жду сведения, где он.

Преосвященная башня, по последним сведениям из Киева, все еще торчит в Одессе, и пространное чрево, к оной принадлежащее, час от часу пыжится и надувается более и более от прибыли и барышей, которые подряды и разные с жидами и единоземцами его обороты доставляют [5].

Андреев, как кажется, утонул в удовольствиях.

Моисеев жив и кланяется. У них на наши места много уже новых офицеров. Рука времени не пощадила и 24-го кагала, и там уже мало тех, которые делили с нами и славу, и труды. Калмыцкая артиллерия также рассеяна, хан обратился в свои уделы, Тутчик, Карачинский, Карпов, Холанские и Ивин неизвестно где кочуют. Не знаю ничего и об Новине.

От Любенкова часто получаю сведения и знаю, что он в Витебской губернии. Прости теперь и не забывай писать к Батенькову.

Письма лучше адресуй в Тобольск по-прежнему.

14. А. А. ЕЛАГИНУ

Томск, 30-го мая 1817 г.

Любовь моя, а может быть, и всех прочих, есть игрушка воображения, канве рукоделье, а сердце, исполненное дружбы, такое богатство, которое понесу в могилу и которое за корону променять не согласен.

Далеко и в пустыне голос любящих меня услаждает горесть дней, основание дружбы моей с тобою непоколебимо, и пусть вселенная обратится опять в хаос, все не будет беспорядок совершенный, ибо мы нарушим его своим согласием. Любовь почтенна бывает только тогда, когда дружба ей сопутствует: в этом случае она стоит всей нашей привязанности; и пусть покажется мне в таковом виде — я преклоню колена и принесу жертву истинной преданности. Все это принадлежать тогда будет добродетели и попрепятствует ли присутствию прочих ее собратий? Шутку ты сам примечаешь, сколько же я постоянен, тебе известно. Ни слова более.

Вследствие моей всеболтливости и по причине неограниченного желания чаще выманивать твои письма могу я в своих помещать иногда такие вещи, которых событие,

может быть, и не случится в нашем веке. Мне хотелось знать, что бы сказал ты, если б уверился, что слепой божок в самом деле сшутил надо мною [1]. «*С твоею ли харею влюбляться*», говоришь ты. Беру зеркало — сперва браню его; потом всматриваюсь и нахожу тебя неправым. Не знаю уже, потому ли, что ты в самом деле неправ, или потому, что привычка делает все сносным. Как бы то ни было, но легко случиться может, что найдутся люди, которые привыкнут смотреть на меня. С первого взгляда скажут: дурен, со вторым промолчат, а потом, потом... раскаются в первых словах. Вот как надежда зеленит черное!

Белев и Козельск, по-видимому, суть два фокуса, около которых теперь проходит кривая линия твоей жизни. Ты счастлив, что, объемля небольшое пространство, мог заключить в оное предметы, тебе любезные. Со мною совсем другое: я сосредоточен в одной точке, живу здесь только в самом себе и не смею показать красный свой нос, а еще менее осиротевшее сердце далее сих тесных пределов. Ежели бы и друзья оставили меня, ежели б и они не утешали удаленного, тогда бы, тогда бы... Право, не знаю что... умереть; но умереть, не живши, и страшно, и несправедливо.

Мало, кажется, писал я тебе о нынешних моих занятиях. Они по сие время еще неважны, может быть, будут лучшие, но, чтобы не солгать, теперь не пишу об них. Я нашел было здесь людей, цену которых для меня ты можешь узнать по тому, что я чрез три дня знакомства был уже так к ним близок, как сын и друг. Это г. Ламанов [2], бывший вице-губернатор: он женат на сестре нашего П. Н. Таптыкова, и составляют оба такое семейство, которому подобного мне еще не случалось видеть. У них каждый день хорошее общество; всегда гостят девушки, и я не пропускал ни одной свободной минуты, чтобы не разделить с ними, не пропускал ни одного случая, чтоб не приобресть таковую минуту. Но теперь уже все кончилось, они едут чрез несколько дней в Пензу и сюда не возвратятся.

Обстоятельства показывают мне два пути. Ежели предположение мое на постройку здесь большого железного моста утвердится, я на зиму поеду в Екатеринбург на заводы для наблюдения за работами. В этом городе много добрых знакомых и притом иметь буду случай два

раза побывать в Тобольске, любезном мне по многим отношениям. Иначе в сентябре буду проситься непременно в отпуск, приеду к тебе и спрошу, что мне делать? Между тем не можешь ли ты что-нибудь присоветовать? Сибирь мне не нравится, но я прикован к ней волею матери и не смею подумать о всегдашнем переселении за черту Урала. Если б я мог, подобно тебе, жить на свободе, то решительно отказался бы гоняться за всеми призраками, которые честолюбие и нужда рисуют в обманчивых и иногда утешительных видах. Но что делать? Я, видно, родился для того, чтоб терпеть, живу редко так, как хочу, и мало имею способов угождать себе. Счастие мое состоит в одном только уверении, что и самая злость не сыщет в делах моих таких пятен, которые бы производить могли ненависть и омерзение.

Теперь прощай, любезный Алексей Андреевич!

Весь твой Батеньков.

15. А. А. ЕЛАГИНУ

Томск, 19—20 июля 1817 г.

Я, право, не знаю, судьба и фортуна не составляют ли одну и ту же женщину, охотницу до перемен и своевольную в поступках своих с теми, которые гоняются за оною, на коленях испрашивают ее милостей и за одну улыбку готовы жертвовать покоем и свободою. Ежели время и опыт не исправят моих заблуждений, то нельзя поручиться, что по единому мановению сильной сей богини не оправдаю я твое пророчество и на Шпицбергене или на Чукотском носу не вырою себе могилы собственными руками.

И здесь для меня пустыня. Множество обстоятельств, во множественном числе и разных родах скопившихся вокруг меня, не позволяют и подумать оставить Сибирь в скором времени. Мне остается только, обращая взоры на запад и к югу, радоваться вашему благополучию; горизонт ваш яснее, и нет ни нравственных, ни физических непогод, столь сильных, какие здесь меня обуревают.

Похоже на жалобы и стенания. Переменим декорации! Бросим взгляд к Десне и Днепру и между ними увидим старого друга нашего: в ментике, с шашкой, с шпорами, с саблей, на бодром коне. Сила Новгородская! Какая за-

висть должна теперь гнездиться в богатырском твоем сердце! Со всем твоим мужеством пресмыкаешься в пыли, с позорною котомкою, около деревянных болванчиков, заменивших место тех Перунов, кои гремели на Монмартре[1], и некогда слабый соперник надругается теперь презрительным взглядом, брошенным в быстром его полете. Воплощенная скупость кременчужская! Не уязвляют ли взор твой блистающие золотые махры и вычуры? Кагал! Кагал! Какие испытал ты изменения? От Салгира до Оби рассыпались твои члены, и где единство вида и мыслей их? [2]

Друг мой! Изнеможенный мой ум не в силах представить столь разительной картины, опиши ее ты на свободе, опиши окаянство владыки и мои слабости.

Слабости ... точно, я слаб теперь и переменился действительно. Мое воображение подобится увеличительному стеклу. Малые достоинства рисует го образе божества; малые неприятности представляет ужасными бедствиями. Одного этого достаточно, чтоб навсегда разлучить меня с покоем; а пустыня, одиночество, удаление от друзей не суть ли новые мои мучители.

Опять за жалобы! Что за дьявольщина? Верно, не в добрый час взял я перо; распростимся лучше на нынешний день, утро мудренее вечера — спокойной ночи тебе, милостивый государь Алексей Андреевич!

Июля 20

Я видел ее и тебя[3] — видел обоих в милом мне Тобольске. Она подарила меня ласковым взглядом, ты прижимал к сердцу, исполненному дружбы, вместе радовались вы свиданию со мной, уверяли, что никогда не разлучитесь более, уверяли, что навсегда осушите мои слезы и мне дадите случай почувствовать, что жизнь есть неоцененный дар, ниспосылаемый благостию небес. Я подлинно был счастлив и не хотел бы пробудиться, но глаза мои открылись невольно; где они? — вскричал я. Здесь! — отвечали мне рабочие, потряхивая цепью, накладывая на плечи колья и вынимая из ящика диоптры к астролябии[4]. Черт с вами, я переломаю вам бока кольями и выткну глаза циркулем, ежели осмелитесь вперед не вовремя меня беспокоить! «Уже двенадцатый час». Двенадцатый? — повторил я. Ах, я уважаю это число: в двенадцатом году узнал я Елагина..., но час двенадцатый... Ах, утро прошло, а ни-

где не сказано, чтоб день был мудренее вечера. И в самом деле, в утро жизни моей я действительно блаженствовал, душа моя была непорочна, одно стремление к приобретению нужных познаний занимало меня, мало встречал я трудностей, не знал печали [5]. Полдень приближается — и я вижу себя в вихре сует; мечты, надежды не перестают обманывать; что же будет вечер мой?

При таких меланхолических мыслях нельзя тебе не заметить во мне жителя угрюмой Сибири, но я не всегда таковым бываю. Третьего дня девушки с удовольствием слушали, как я читал им Людмилу и Громобоя [6], они похвалили мое искусство, и я, пришедши домой, прыгал от радости до тех пор, пока проклятые раны в левой ноге не доложили мне, что я опоздал уже резвиться и должен мыслить о покое.

Бываю иногда и стихотворцем. Недавно семидесятилетний старик взбесил меня своим слишком механическим поцелуем прекрасной ручки. Вместе пришли мы в гости, и хозяйке угодно было поздороваться непременно только с одним из нас; жеребий должен был решить дело. Не знаю, от излишнего ли моего желания взять верх над соперником, а может быть, по особым проискам судьбы, моей неприятельницы, я проиграл мое право; не отмстить его насмешкам казалось мне весьма больно; я вспомнил, что был некогда походным поэтом, и тотчас изложил мои мысли.

В какой бы ни было беседе
И пусть хоть на гулянье где,
В саду, на бале, на обеде
И, словом, завсегда везде,
Когда увижу, что Анете
Случится встретить старичка,
И, как уж водится на свете,
Потерпит поцелуй рука
От губ нечувственных, холодных,
Которы пережили жар,—
Всегда я в выраженьях томных
Скажу: пропал небесный дар! [7]

Уверяют, что для экспромта довольно порядочно; но я не смею ничему верить, слепое доверие всегда меня обманывало, по крайней мере, на этот раз я был доволен, что как-нибудь отразил насмешки.

Признаюсь, сегодня напал на меня совершенный болванизм, и ежели б немного менее прошло времени по отправ-

лении к тебе последнего письма, я, верно, решился бы отложить мою беседу с тобою до будущей почты.

Да какая нужда откладывать, не в цензуру, не в руки критиков идут мои строки, ежели ты любишь меня, то простишь и глупостям, можешь не читать письма, но не осердишься за то, что оно написано. При таких рассуждениях я не остановлю мою руку, хотя бы изволила пороть оная прямую бессмыслицу. С кем этого не бывает?

Мне странно кажется, что ты за пять тысяч верст посылаешь свои вопросы, которые сам без труда решить можешь. Тебе известно, что я люблю словесность, и, следственно, прочесть хорошие творения всегда мне приятно,— зачем же прямо не прислать всего того, что Жуковский тебе сообщает? Кстати, я замечаю, что ты близко знаком с этим почтенным земляком твоим; удели и мне этой чести, если можешь, сблизь нас более и более, я буду писать к нему, только с условием, чтоб наша переписка не была наполнена сухими учтивостями, лучше не начинать ее, ежели не можно продолжать прямо приятельски.

Я желал бы иметь книгу: *Образцовые русские сочинения*[8], особливо 3-ю часть, и когда ведешь переписку с петербургскими, то не можешь ли достать книг, нужных по нашей службе, на французском языке, по части построения мостов и дорог, об устройстве фонтанов и следующих математических творений: Théorie des fonctions analytiques par la Grange, Analyse géométrique de Monge, Architecture hydraulique de Prony[9].

Я перевожу теперь книгу под названием: Древность, открываемая чрез обычаи и обряды[10]. Мало на это имею времени по множеству занятий, зимою должно ожидать лучшего успеха, и по мере, как подаваться буду вперед, стану сообщать тебе; скажу только, что книга эта содержит в себе много важных истин и дает случай смотреть на род человеческий особенными глазами. Ей обязан я многими новыми идеями и по совету почтенных людей решился трудиться за переводом.

Теперь прощай! Остаюсь навсегда тем же. Батеньков.

Не видался ли с Кованькой и Чертовым? Они у вас где-то.

16. А. А. ЕЛАГИНУ

Томск, 26 июля 1817 г.

Любезный Елагин становится мне день от дня любезнее, хотя и давно уже мне казалось, что моя любовь к нему достигла высочайшей степени, и ничего к оной прибавить не можно. Любезнее, милее, необходимее — это точная правда; священным именем дружбы свидетельствуюсь в искренности слов моих; и, принося в залог доброе сердце, составляющее все мое добро, даю торжественный обет в вечной и постоянной преданности.

Я провел уже третье лето без тебя, Алексей Андреевич, удален на целую четверть величины всей земли, но ни к кому другому не ближее, и, кажется, время и пространство трудятся в том только, чтоб крепче связать узел нашей дружбы.

Зная меня, ты можешь предугадывать, какое действие имело последнее твое письмо и то, что при оном следовало. Удивление и неизъяснимый восторг последовали за первыми движениями радости, прости мне, я не могу молчать, хотя это и строго ты заповедовал.

Можно ли было избрать лучший путь, чтоб заставить меня в одну минуту согласиться и твердо быть убеждену, что люди в силах приближаться к ангелам. Кроме искренней приверженности, кроме непонятной доброты и кроме неограниченной твоей ко мне любви, что могло заставить подъять довольный труд для неизвестного? Признаюсь, я не слыхал подобного примера, они редки на земле, может быть, случился еще первый, и вы подарили род человеческий сильным доводом о справедливости истинного его благородства, по которому люди в силах приближаться к ангелам.

Никогда это не изгладится из моей памяти; в часы радости строки, чрез тебя полученные, умножат мое удовольствие; они прогонят и тоску, а в то время, когда бедствие и отчаяние будут призывать к могиле, я возьму их в руки как надежное средство утешиться. Словом, всегда будет это любимым упражнением моей души, любимым предметом размышления и надпомянет всегда, что я имел в жизни счастливые минуты и был любим... друзьями.

Здесь Сибирь в полном значении сего слова. Не имею времени писать много и откладываю до свободных часов

сообщить тебе понятие о нашем отдаленном крае, сделаю многое известным тебе и постараюсь описать оба города — тот, в котором живу, и тот, в котором всегда быть желал и желаю.

Но вся моя служба есть теперь еще в самом начале; кажется, не совсем бесполезно, что я отдельно действую и даю отчет в делах моих прямо высшим начальникам. Мне предстоит укрепление берега, постройка большого каменного или чугунного моста, бассейн в городе, а теперь занимаюсь только мостовою в виде шоссе, обделкою водяного ключа и предположениями о будущих работах. Прожектер и исполнитель соединены в лице моем, я мало подчинен местному начальству и пользуюсь большою свободою в выборе занятий и во всем прочем. На прошедшей почте получил от главного директора[1] весьма лестный отзыв, он пишет, что проекты мои рассматриваны были в Совете, что доказывают они знание и прилежание и убеждают начальство в самом выгодном обо мне мнении.

Таким образом, прошедшая почта и по службе, и через тебя была одною из самых лучших.

Не сетуй, что иногда пропускаю почты без письма к тебе, это не есть нерадение. Я не могу начать, чтоб не писать много, но в службе не имею помощников, тьма чертежей, тьма бумаг требуют упражнения моих рук, а желание не делать ничего не обдумавши отнимает много времени.

Прости, мой милый, благодари за меня ... и сам прими искреннюю благодарность Батенькова.

Я писал к тебе и на прошедшей неделе, напишу, может быть, и на будущей, но не обещаю таковой непрерывности прежде, нежели наступит зима; тогда буду совершенно свободен и, следственно, всякий день могу посвящать тебе.

17. А. А. ЕЛАГИНУ

Томск, 6 сентября 1817 г.

Ты опять замолчал, милый Елагин! Я не делаю тебе упрек, но хочу только известить, как скучно мне целый месяц не иметь от тебя ни строчки, между тем как все обещало гораздо чаще получать твои письма.

Сам я в беспрестанных хлопотах, но скоро кончится лето, и вместе с тем получу я совершенный досуг, возмож-

ность каждую почту писать к милым моим и надеюсь, что меня не допустят жаловаться на их холодность.

К вам собираются члены рассеянного кагала. Моисеев будет жить в Виневе и служит теперь в одной бригаде с Кованькою, отыщи их и, ради бога, напомни обо мне последнему. Кажется, и сам светлейший [1] туда же отправляется, ибо он состоит теперь при резервных ротах.

Мне много бы можно было писать о себе, но, право, теперь не успеваю, пошлю после обозрение всей моей здесь жизни; теперь скажу только, что томское общество так мало, что для него и я почти необходим, и слишком приметно будет, ежели удалюсь отсюда.

Впрочем, нрав мой сделался до чрезвычайности странным: иногда резвлюсь так много, что принужден бываю сам унимать себя; а иногда делаюсь совершенным болваном, неспособным не только говорить и делать, но даже слушать и видеть, что другие делают.

В таковом болванном положении теперь к тебе пишу, почему и не ищи связи и толку; я совсем бы не писал, ежели б не боялся быть перед тобою виноватым, потому что на будущей почте никак писать не успею.

Здесь представляются иногда картины весьма трогательные. Работы произвожу я колодниками; вчера нашел я в числе их человека скованного, в разорванном рубище, но с благородным видом. Не трудно было отличить его от прочих; я спросил, кто он таков? Ответом был ручей слез и едва выговоренные слова: «Несчастный, который имел некогда надежды и наслаждения». Я узнал, что говорю с бывшим капитаном гвардии, ценившим дорого честь свою и смертию дерзкого своего сослуживца отомстившим нанесенную обиду. Я не мог удержать слез, чувствовал в полной мере, как ужасно состояние сего человека, и к большому беспокойству услышал еще более. Он следует в Нерчинск, в каторжную работу; недалеко отсюда узнал он подробно о своем назначении, узнал, что в сообществе ужаснейших злодеев должен в тяжких работах и в глубоких пропастях проводить дни свои, что одна смерть может положить конец его страданиям. Отчаяние достигло высочайшей степени, он не мог рассуждать ни о чем и слепо последовал первому внушению отчаяния. Скрылся, пойман, и строгие законы готовят ему теперь телесное наказание.

Можешь представить, какое имело это влияние на мое

сердце, можешь догадаться, что я постарался утешить его, по крайней мере, ласкою и состраданием. Дело еще в уголовной палате не решено, я бегу ко всем, описываю положение несчастного, оба пола берут в нем участие, и, может быть, удастся сделать доброе дело.

Все состоит в избавлении его от вторичной казни, но ссылку в Нерчинск никакая власть отменить не может. Остается только писать к доброму моему приятелю, главному тамошнему начальнику[2], и надеюсь, что он облегчит участь его.

Теперь прости, любезный друг, ради бога, пиши чаще и верь вечной и непременной к тебе преданности Батенькова.

18. А. А. ЕЛАГИНУ

Томск, 3 октября 1817 г.

Любезнейший Алексей Андреевич!

Я восхищаюсь твоим счастием, дружески поздравляю тебя с важным переворотом в жизни, но переворотом приятным — неоцененным[1]. Давно я был уверен — что сестра и друг должна обратиться некогда в вечную твою сопутницу; может быть, и в самых запутанных письмах проскакивала эта мысль, но ты хотел быть скрытным, хотел прежде познакомить меня с тою, к которой невольно теперь стремится моя душа, хотел, может быть, удивить меня нечаянностию — и, признаюсь, не успел в последнем намерении; повторяю еще, что я давно ожидал сего события.

Я дарю тебе всего себя, располагай мною, как хочешь; пятилетний опыт, а еще более ласки твоей подруги уверили меня, что дружба наша есть дружба истинная и неразрывная. Без частых обо мне надпоминаний, без искренней любви ко мне твоей могла ли бы *она* знать мое имя? Я стыжусь самого себя, я много виноват пред тобою,— твое имя здесь живет только в моем сердце и для всех прочих, меня окружающих, непонятнее китайских названий. Но я делаю это не от неблагодарности, мне кажется только, что не имею здесь человека, который бы понял всю силу дружбы и взаимной приверженности.

Ты требуешь, чтоб я уделил своей дружбы той, кому все твое принадлежит; ах, ты еще худо меня понимаешь; я не умею делить дружбу — это для меня такое целое, ко-



А. П. ЕЛАГИНА
Из кн.: Афанасьев В.
Родного неба милый свет. М., 1980

торое не имеет частей и принадлежит кому-нибудь все или уже совсем не принадлежит. Не уделяю я дружбы твоей *Дуняше*, но обымаю обоих вас, как одно существо, одного единственного утешителя, какой остается мне в истинно страдальческой жизни моей.

Я называю *Дуняшей* твоего друга, ты сам называешь ее так-же — ты не сообщил мне другого названия, и пусть упрямство твое еще продолжится: я ничем не могу лучше доказать моей уверенности в дружбе вашей, как повторением того выражения, которое, верно, мило ей в устах твоих.

Я летел бы тотчас в счастливое семейство достойных и почтенных друзей моих, но нет свободы, нет возможности. Свидание с тобою было мне всегда наиприятнейшею мечтою и, к сожалению, не более было, как мечта, по сие время несбыточная.

Милый мой! Я привязан к Сибири волею матери, я одну ее имею, и прочее все мне чуждо по крови. Опять от нее удалиться для меня страшно, особливо когда нужды и болезни не оставляют меня преследовать.

Но чтоб показать тебе всю мою готовность исполнить твое желание, я чрез две недели буду проситься в отпуск именно в Белев, и, может быть, по уважению ран самый проезд не будет стоить собственных издержек.

Теперь прости, мой любезный друг, наслаждайся приобретенным добром и помните оба вечно вам преданного Батенькова.

19. А. А. ЕЛАГИНУ

Томск, 5 декабря 1817 г.

Какой душеполезный совет подаешь ты мне, любезный друг? — оставить Сибирь... Ах, это всегдашняя мечта моя в минуты огорчения, единственная тогда отрада! Оставить Сибирь — это самая мучительная мысль в те часы, когда сердце мое добро, чувства согласуются с природою и обманчивые призраки, как сон, исчезают. Нет, мой милый, мне не легко оставить Сибирь; ежели я когда-нибудь вынужден буду перешагнуть через Урал с тою мыслию, что никогда уже не увижу седые верхи этого исполина, поверь мне, я обольюсь слезами и навсегда расстанусь с добрым покоем — с самою надеждою.

Вы люди большого света и привыкли считать простые чувства *странными*. И как можно иначе? Привязанность к той стороне, где, кажется, сама природа бросает только крошки безмерного своего достояния, где живут — в казнь за преступление и имя которой, как свист бича, устрашает; привязанность к этой стране — вам непонятна, с гордостию хохочете над нами; но и мы в простоте своей улыбнемся подчас, смотря на суету вашу.

Родимая сторона образует наши привычки, склонности и образ мыслей; каждый предмет нам что-нибудь надпоминает. Неужели не почесть мне священным то место, где в первый раз робкими устами осмелился я коснуться к трепещущим грудям милой... Нет, это место Иерусалим мой, я всегда там на поклонении и, может быть, нигде не благодарю творца вселенной так усердно и искренно.

Отъезжая из родной стороны, я читаю укоры на всех лицах, меня окружающих. Ищи счастия, говорят мне, но

счастие на *чужой* земле — не *свое* счастие. И девушки твердят, кажется: «Мы росли вместе, твои привычки — были и нашими, ты мог быть хорош для нас — зачем хочешь быть последним в дальней стороне?»

Но оставим говорить о том, что каждому из нас равно известно. Я скажу только, что служить в Сибири я никому не желаю, но жить в ней согласен до последнего издыхания.

Все это не должно тебе внушить мысли, что свидание с тобою не есть одно из первейших моих желаний, что я откажусь употребить все усилия, дабы скоро совершилось оное; нет, я иначе думаю; дружба моя к тебе искренна и неразрывна, она благородна — и потому не препятствует любить священное — я летел бы с тобою увидеться — и, обымая друга, перелил бы в сердце его чувства свои.

Ежели будешь писать к Кованьке, скажи и обо мне, скажи, что я не сержусь на его молчание, но не смею уже писать более, чтоб не нанести скуки.

Уведомь об Иване Ивановиче. Александру Исакичу при свидании скажи и за меня то же, что за себя скажешь. Кажется, наша к нему приверженность равна и на одних основаниях.

Здесь отыскал я Молчанова [1], знакомого тебе по корпусу и лейб-шампанскому полку. Он тебя знает — и не дает ли уже это ему права требовать у меня всего, что могу сделать? Он несчастлив, лишен всего — за грубость против начальства. Теперь принят в доме губернатора и вице-губернатора как учитель французского языка!!! — что делать, не имея лучшего, надобно быть и тем довольну.

Поклонись милой подруге своей и помните всегдашнюю вам преданность Батенькова.

С новым годом поздравляю — веселись на святках.

Не можешь ли прислать мне полотна — здесь его совсем нет.

Посылаю тебе стихи моей фабрики — не смей строго критиковать военно-походного поэта [2].

20. А. А. ЕЛАГИНУ

Тобольск, 19 января 1818 г.

Как птица небесная, перелетаю я с одного места на другое и вот опять на полторы тысячи верст ближее

к тебе, но все еще не с тобою, иметь скоро это удовольствие не смею и надеяться.

Здесь теперь посадили меня на воеводство. Знай, что ты в лице знаменитого Книжника кагала должен теперь уважать еще господина управляющего X округом путей сообщения [1].

Так, я калиф, и не на час, а на целые 4 месяца, может быть, и более.

От тебя давно нет писем, к тому же они должны прогуливаться лишних 3000 верст. Суди по этому, сколько я должен терпеть, а жаловаться не можно: на тебя не смею, а на обстоятельства нет суда и расправы.

Уже более года, как я живу в Сибири, может быть, проживу еще годы — и теперь начинаю думать, что здесь основать можно всегдашнее свое пребывание.

Мне кажется, я уже состарился, кажется, поздно гоняться за пустяками, кажется, пора искать покой и выкинуть из головы мечты, которые беспрестанно меня обманывали лестным обещанием лучшего счастия.

Кто в мире и любви умеет жить с собою,
Тот радость и любовь во всех странах найдет.

Вот каким философом я сделался, верно, ты не ожидал, да я и сам не верю. Постоянство мое непоколебимо только в привязанности к друзьям, к любви к тебе; а прочее?.. Ах, не спрашивай, я поневоле должен выставлять слабую свою сторону.

Право, не знаю, что написать тебе более, страшный столбняк в голове и не попадается ни одной хорошей мысли. Вот почему я наверное полагаю о действительном приближении старости: способности и воображение тупеют, ежели и чувства сердечные потеряют свою пылкость, ежели они оледенеют так же, как и мозг мой, то я откажусь жизнь* и, несмотря на угрозы Ада, потребую в тамошнем гарнизоне бессменное себе место.

Но нет, сердце не изменяется и под сединами, я могу еще наслаждаться, бывши твердо уверенным, что и на нашей грязной планете есть люди, которые меня любят, есть люди, с которыми могу разделить и скуку, и удовольствия.

Прощай — более писать не могу. Не сердись на Батенькова.

---

* Так в оригинале.

Кланяйся А[вдотье] П[етровне] или лучше пусть прочитает она хотя и галиматейное письмо мое и примет, что оно и к ней писано.

Уведомь об Иване Ивановиче.

[*Адрес:*] Его благородию милостивому государю Алексею Андреевичу Елагину, в Белеве, Тульской губ[ернии][2].

21. А. А. ЕЛАГИНУ

Тобольск 10 февраля 1818 г.

Ты уведомляешь меня, что пишешь каждую почту, а я приношу тебе благодарность сердечную и искреннюю за два письма, несколько уже времени в каждый четверг получаемые. Мы живем не в век чудес, потому и это не чудо. Ко мне обращают письма из Томска, и в то же время здесь я перехватываю другие, туда же адресованные,— вот и вся развязка.

Думать, что я скучаю перепискою с тобою — значит обижать меня ужаснейшим образом; на кого и надеяться буду, ежели ты уже сомневаешься в тех чувствах души моей, которые составляют мне все, то есть счастие и достоинство? Нет, милый Елагин, да устранится от тебя такая мысль, которая много пугает меня, ежели ты привыкнешь ей покоряться.

Ты не знал ли Петра Николаев[ича] Дамогатского[1], я с ним знаком порядочно и получаю его письма из П[етер]бурга.

Четвертый год мы уже не вместе, но сердце мое никогда не разлучалось с тобою, я всегда искал тебя, и, к счастию, старание мое никогда не было напрасным. Не считая меня злым завистником, нельзя полагать, чтоб я без радости, без нового всегда удовольствия читал описания твоего счастия. Боже сохрани меня мыслить иначе! Напротив, я живу только твоим счастием, дружба твоя согревает, питает мой дух, и чем тверже уверен в ее непреложности, тем более имею права сказать себе: я не сирота и не одинок в мире. Письма мои точно не так веселы, как прежние, и это оттого, что я не хочу показываться тебе в маскарадном платье. Смотри на меня, каков я в самом деле, или лучше, каков я в те часы, когда душа моя искренно беседует с другом бесценным и единственным.

Не беспокойся, однако же; я не много переменился и

с тобою был бы совершенно таков, каким ты прежде знал меня. Надобно признаться, что недостаток сотоварищества сильно на меня действует; большею частию, видя пустоту вокруг себя, я обращаюсь более к любимому своему занятию — учиться. Из-за доски и чертежного стола встаю покойным, но не имею тех резвых идей, которые прежде делали меня способным веселить себя и других. Иногда даже я не понимаю сам, как мог я некогда во всем находить приятное, хотя, впрочем, истинная причина этому состояла в возможности с кем-нибудь разделить свои чувства.

Подожди немного! Я отделаюсь со своими казенными хлопотами и тогда уже первым долгом поставлю много писать к тебе; предваряю, что тут не приметишь больше старания, ибо наша переписка не будет даже и в осьмушку издаваться в свет.

Одним письмом, а именно 15 декабря, ты сильно испугал меня, какие-то страхи и предчувствия, и мне, признаюсь, жалко было вообразить тебя за бобами и картами [2], испытующего судьбу в значении страшных снов, неприятных предчувствий, которым, верно, ты веришь не более, как и твой Батеньков.

Следующий лист принадлежит Авдотье Петровне [3].

22. А. А. ЕЛАГИНУ

Тобольск, 16 февраля 1818 г.

Пятый еще час утра, но сегодня день отправления почты в Россию, я встаю, чтоб исполнить приятнейшую обязанность мою писать к тебе, милый Елагин. На прошедшей неделе ты молчал, и это, верно, есть следствие переезда моего из Томска, по которому долго не писал к тебе.

Завтра наступит масленица. Этот праздник и здесь велик; балы, катанья на лошадях и с гор, игры и забавы! Я должен отказаться от вас, потому что проклятая рука вспомнила 7-е августа [1] и ни вверх, ни вниз не изволит тронуться.

Между тем я ничего не теряю чрез это из философской моей жизни. Она все потечет своим порядком. Правда, надобно отказаться на время от рисовки и черченья, любимых моих отдохновениев, зато поспешу переводами. Жалею, Елагин, что я не могу тебе доставить или пере-

сказать в немногих словах творение Буланжера, которым теперь занимаюсь. Это дорогая книга, она мне доставила столько новых идей, что весь сонм педантов в париках во всю жизнь возбудить такого множества не в силах. Титул книги: «*Древность, открываемая чрез обычаи и обряды*»[2]. Автор действительно нашел ключ ко всем загадкам, таинствам и аллегориям, объяснил причину многих суеверий и того унылого духа, который вообще почти царствует в человечестве, особливо в простонародии, особливо в века менее просвещенные. Он все приписывает важному перевороту, некогда случившемуся на земле, доказывает, что зрелище разрушенного мира необходимо должно было произвести столь сильные впечатления ужаса и горести над плачевным остатком рода нашего, что все люди принимали от отцов и передавали детям те страхи, которые вообще делают человека несчастнее всех творений земных, питали и увеличивали его заблуждение и суеверия от поколения до поколения до дней наших.

С сим понятием он рассматривает все обряды и церемонии богослужебные, простонародные и политические всех вер и всех народов и, кажется, достаточно объясняет, возводя многие из них до глубочайшей древности.

Не наскучил ли я уже тебе философиею? Однако ж как бы то ни было, но ты часто будешь вынужден терпеливо сносить это. Я намерен, начавши переписываться каждую почту, помещать всегда одну статью такого рода и желал бы от тебя получать тоже.

Почтеннейшей Авдотье Петровне свидетельствую глубочайшее мое почтение; как другу просвещенному, готов ей всегда сообщать мои мысли и чувства, но, не забывая пол, намерен сделать услугу другого рода. Все мешает рука, я к этой же бы почте приготовил *узоры* для платьев, колье и других надобностей. Впрочем, смешно из Сибири почти в Москву получать такие вещи, но искреннее мое усердие заменит недостаток — и вы, верно, довольны будете получать и слабые труды вашего Батенькова.

Полотно я получил, благодарю много. Чем взаимно могу отслужить тебе?

23. А. А. ЕЛАГИНУ

Тобольск, 2 марта 1818 г.

Поздравляю, тебя, любезный Алексей Андреевич! — с чем бы ты думал? — не отгадаешь — поздравляю с великим постом! Я не виноват, что все, стекающее теперь с пера моего, носит печать какого-то, по словам твоим, уныния. Род теперешнего поздравления действительно подтверждает твои мысли, но, извини, чем богат, тем и рад.

Я богат теперь постом. То есть имею пост во всем до избытка, даже пост и в переписке с тобою, потому что три недели нет ни строки руки твоей.

Но оставим это, я намерен сделать тебе предложение, которое, может быть, не отвергнешь.

Независимо от продолжения искреннего и дружеского обмена чувств наших я желал бы иметь с тобою посторонню и в некотором отношении классическую переписку, желал бы избрать какой-нибудь предмет, который бы мы обсуживали с противных сторон и нося противные характеры.

Например, пусть будут предложения:

Следуя обычаям времени и страны своей и исполняя во всей точности, без прекословий и умствований уставы их, человек бывает благополучен, а следственно, ближе к праву называться мудрым.

И *противное:* Слепое доверие уставам и обычаям времени и страны своей налагает на человека узы предрассудков, лишает его истинной душевной свободы и, ежели не всегда нижее становит, по крайней мере, часто приближает к роду бессмысленных.

Защищающему первое может быть придан характер суровый, для второго же характер веселый, выражения первого важны и степенны, второго иронические.

Я желал бы, повторяю, заняться этою галиматьею и уверяю, что она, по окончании года, может составить нечто целое. Мне хочется взять первый характер и с будущею почтою пошлю к тебе опыт сего занятия.

На нынешней почте отправляю к Де-Воланту последние груды бумаг и чертежей по томским работам — и становлюсь самодержавным владыкою всего моего времени. Жалуюсь тебе на недостаток общества, но не могу сказать, чтоб никого здесь не было. Лучшего и ближайшего друга имею я в лице здешнего председателя Коллета[1]. Это за-

ставляет по крайней мере объявить тебе его имя, может быть, как-нибудь вы встретитесь, и ты будешь иметь случай узнать ученого, доброго моего друга.

С Авдотьей Петровной я мог бы вести подобного рода переписку, ежели она имеет на то время; против ее я желал бы защищать вообще женщин и получать от нее на то возражения. От ее ума можно ожидать в этом случае много нового, верно, она знает хорошо пол свой.

Вот какую околесную я нагородил тебе. Уведомь меня, ради бога, не слыхал ли и не знаешь ли что-нибудь о Паскевиче[2], мне больно совсем с ним раззнакомиться.

Теперь прощай, мой милый, верь, что я не выпускаю ни на минуту тебя из моих мыслей и остаюсь всегда верный и преданный тебе Батеньков.

24. А. А. ЕЛАГИНУ

Тобольск, 9 марта 1818 г.

Целый век я ожидаю твоих писем, это крайне ощутительно после того, как каждую почту, а иногда и по два вдруг, получал оных.

Делать нечего, я, не видя оправдания, уже оправдываю тебя, верно, всему причиною мой переезд из Томска, он прогневил тебя, да и мне, правду сказать, наделал столько хлопот, что не скоро от них отделаюсь.

Не описываю теперь всего тебе, скажу только, что, отъезжая, я оставил работы неоконченные; по полученным сведениям, продолжающий оные далеко отступил от моих предложений и, по-видимому, все подвергается большой опасности в весенний разлив воды. За полторы тысячи верст и на бумаге только должно действовать; можешь вообразить, как трудно таким образом быть строителем.

И у нас начинается уже весна — пространное поле для размышлений, описаний, восторгов и удивлений романистам и любовникам. Лизы[1] с кузовками часто будут встречаться с балагурами, сколько сплетется венков и гирлянд! Горе бедной незабудке, свет столько уже избалован, что каждый любящий должен надпоминать своей подруге *не забудь меня.*

Я на последней только почте получил указ об отставке из артиллерии[2]. Признаюсь, видя его, я испытал некоторые особенные чувства. Це[ль —]* Свобода, в полной

* Конец слова «Це[ль-]» на л. 13 об. оторван.

мере мною понимаемая, обнаружила всю тяжесть цепей связанного службою. Я обратил на то внимание, что свобода по праву рождения, самыми гражданскими установлениями нам предоставленная, безрассудно меняется нами на пустые мечты; она составляет первейшее наше счастие, но во зло употребляется до такой степени, что пользуемся ею, только покоряя себя неволе и узам.

Прости моей метафизике! Я люблю мечтать и хотя часто противоречу себе, но не хочу терять навсегда мыслей, рождающихся при разных обстоятельствах, и во всей наготе их повергаю перед глаза искреннего друга.

Кланяйся почтеннейшей Авдотье Петровне и не забывай чаще писать к Батенькову.

[*Адрес:*] Его благородию Алексею Андреевичу Елагину. В Белеве Тульской губернии [3].

25. А. А. ЕЛАГИНУ

Тобольск, 30 марта 1818 г.

Продолжительное твое молчание, милый Алексей Андреевич, мучит меня гораздо более, нежели самое стечение скучных и неприятных моих обстоятельств. Я два месяца жил здесь и неуклонно следовал постановленному правилу писать к тебе каждую почту, от тебя имею только странное сведение о болезни Авдотьи Петровны, после которого ты замолчал, предоставляя полную волю самым неприятным догадкам обуревать сердце истинно к вам приверженного.

Я еду опять в Томск — и, полагаю, уже на долгое время, без отставки нет возможности выпутаться из Сибири, не знаю, на что решиться. Я полагал возложенным на меня званием управляющего округом воспользоваться для успокоения себя по крайней мере на целое лето, но все вышло наоборот. Сибирский генерал-губернатор [1] просил опять о возвращении к прежним занятиям — и я удалюсь опять от тебя за 1500 верст, проклиная Сибирь и службу. Должности обе остаются при мне — тем более хлопот, черт знает когда будет лучше.

Остаюсь уверенным, что ты станешь писать чаще; там я не имею совсем ни одного порядочного знакомого, должен скучать и тем с большим нетерпением ожидать каждую почту. Прощай — дела много, писать некогда, надобно распорядиться делами и дорогою. Путь последний, не знаю,

доеду ли до вскрытия рек, и необходимо нужно пуститься на перекладных, хотя это уже совсем не по моему здоровью.

Кланяйся Авдотье Петровне и люби твоего Батенькова.

[*Адрес рукой С. Т. Аргамакова:*] Его благородию милостивому государю Алексею Андреевичу Елагину, в Белеве Тульской губернии.

26. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Томск, 24—26 марта 1819 г.

Мне ли винить вас, милые и единственные друзья? Ах, я столько преисполнен чувством радости, восхищения, что не знаю, с чего начать! Хочу сказать все вдруг, хочу раскрыть благодарное мое сердце — и только что чувствую, имею как бы новое бытие, имея новый знак любви вашей; только чувствую это, говорю я, любуюсь состоянием души моей, но слов нет — и не сыщу. Вот образ истинного восторга, вот рай мой!

Боюсь, не огорчил ли я вас моим роптанием?.. Вы долго молчали: год почти по простонародному счету — век по страданиям моего сердца. Я не смел и не мог сомневаться в вашей привязанности, но опасения насчет здоровья, не скрою, самой жизни вашей были теми фуриями, которые ежечасно преследовали вам преданного и, клянусь небом, неизменного друга.

Вы одни составляете всю связь мою с миром [1] — не оставляйте меня. Пустынный мрак страшен, одиночество тягостно, злоба людей люта — не оставляйте меня.

Вами я примиряюсь с роком, вами ощущаю собственное бытие мое, изъязвленное страданиями; без вас я не чувствовал бы биения сердца и в тот же хлад, в каком и все окружающее меня, погрузился бы.

Начинаю писать в ту минуту, как получил совсем неожиданное, даже не в почтовый день, письмо ваше. Успел только три раза прочитать его, начинаю — и продолжать не в силах. Нужно несколько часов успокоения; но чтоб живее насладиться счастием, уже редким в моей жизни, я *должен* говорить с вами, должен перенестись весь к вам. Простите нестройным порывам моей чувствительности: я после много скажу вам, должен много сказать, теперь скажу только, что вы для меня есть то, без

чего я перестаю быть *я*, без чего не сделаюсь прежним *я*. Друг мой знает это *я*, но уже едва ли может вообразить его в нынешнем положении; грусть, гонения судьбы и сильных переобразовали его.

Милый малютка ваш [2] дорог мне, как залог взаимного вашего счастия. Вообще я люблю детей — и ежели угрюмый рок отвратит на минуту грозный взгляд свой, какое восхищение ожидает меня? Не только от неизвестной услышу сладкое название друга — я вступлю в теснейшую связь, так сказать, с бессмертием, с продолжением бытия друзей моих, и сколько бы ни были жестоки мои страдания, не оледенеет сердце, не уменьшится любовь, которою живу и движусь.

От *неизвестной!..* что я сказал? Неужели могу я назвать так особу, которую привык почитать, в которой знаю все доброе и только не имею счастия представить себе вид наружный *! Нет, вы мне слишком известны, более, нежели знакомы, я принадлежу вам, пространство не ограничивает дружбы, она есть существо иного мира; нет, я совершенно знаю вас, знаю, люблю — и, смея сказать это, не доказываю ли уже несомненного уверения в возвышенности чувств ваших — *его* и *ее*, жаль, что не умею сказать этого в лице первом.

26 марта

День моего патрона [3],— вам его посвящаю.

Отдаленная Сибирь с суровым своим климатом, с тяжкими цепями... конечно, не может понравиться сама собою; но вы знаете, что целый мир иногда для нас заключается в одном существе — это существо для меня была мать. Вспомнит, может быть, о том и Алексей Андреевич; желание успокоить ее привлекло меня, поборая** все препятствия, на берег Иртыша. Выбирать было не из чего, один и необходимый путь представлялся только глазам: войск здесь нет, в статской службе я, кажется, буду вечно безграмотным, оставалось устремить все внимание, всю память, чтоб выдержать экзамен в Институте путей сообщения, ибо одна эта служба могла привести меня к желаемой цели. Дело увенчалось успехом, я летел на мою родину и думать о последствиях считал преступлением. Четыре

* Я желал бы иметь ваши миниатюрные портреты. (Примеч. Г. С. Батенькова.)

** Так в оригинале.

только месяца наслаждался я в полной мере своим счастием, меня послали в Томск строить мосты и дороги; расстаться с матерью было мучительно, но не безотрадно. Здесь хотя 1500 верст расстояния, но все ближний город, кроме еженедельных писем, всегда можно пересылать что хочешь и ездить из одного в другой. Итак, 1817 год прошел без важных хлопот, конечно, в беспрерывных трудах, в частных огорчениях, в войне с недугами и невежеством, даже в пленении сердца... В первый день 1818 г. я выехал опять в Тобольск, опять был с матерью; поручение должности окружного начальника обещало уже мне долговременное здесь пребывание, а я ничего и не желал более. Однако ж через три месяца должен был опять ехать; горестное это происшествие случилось ровно через неделю от нынешнего дня, сильно настояли о возвращении меня. Начальство наше согласилось — и я в двух лицах: окружного начальника и инженера-производителя работ — прибыл в Томск. Первые дни были хороши по-прежнему. Но вскоре начался период явного моего бедствия[4]. Один только — и по здешнему обыкновению, подражая одному, все и всё восстало на меня. Это с мая месяца, огорчения мои были ежедневны; все меня оставили, даже близкие и по сие время любящие не смели не убегать от меня, не смели ничего сказать, а еще менее сделать в мою пользу. Я почувствовал всю силу цепей и узнал, каково жить в отдаленных колониях. Терпение мое не совершенной бы подвергнулось пробе, если б ангелы-хранители в то же время не оставили меня. Провидение желало, чтоб я выпил полную чашу: и зауральские друзья мои, кажется, сами вы, простите мое выражение, боялись упадшего на меня гнева,—словом, я был отчужден от всех. Сначала мучился, признаюсь, роптал; но после ярость обратилась в некоторую скромную тоску, которая, конечно, уже имеет теперь решительное влияние на характер вашего друга и не снимет печати своей до последнего его разрушения.

Чем было затруднительнее мое положение, тем осторожнее все шаги. Я сделался педант по службе, непреклонность в ничтожных почти ее мелочах возбудила более негодования, но обеспечила мою безопасность. Строгость правил и образа жизни моей не позволяли злословить, наружно ласкали меня и оказывали даже самое уважение. Зимою начались резкие жалобы в Петербург (я завишу непосредственно от Главного управления)[5]. Произведен-

ные мною работы, на довольно значительную сумму, стали охуждать, голоса были в воле моих гонителей, между тем как могли препятствовать моим действиям, все средства имели произведения сделать худшими,— заметьте, это все без явного разлада. Объявляя, что донесения мои начальству ложны, надеялись одним ударом сразить меня, ввергнуть под строгость суда и проч. Я ужаснулся, прочитавши первые бумаги, присланные мне из П[етер]бурга для объяснения. К счастию, правды не было ни на волос, я в силах был *ясно* и *совершенно* оправдаться. Мне изъявлена большая благодарность вместо обвинения — это раздражило еще более. Злоба изобретательна, не удаются открытые средства, тем успешнее вредит она косвенно. Возражения на возражения, и теперь в столице, конечно, это никогда не кончится, но уже начальство мое, приняв много на себя, должно отражать большую часть стрел само.

Между тем настал 1819 год, ужасный для меня, я лишился всего — нет уже моей матери, и Сибирь, с которою прервались, таким образом, все сердечные связи, сделалась для меня ужасною пустынею, темницею, совершенным адом. Казалось мне, что я уже забыт за Уралом. Служба состояла в неравной борьбе, лютой и продолжительной. Сколь ни расположено ко мне начальство высшее, даже много для меня сделало, напр[имер] исходатайствовало сверх жалованья пансион за отличную службу и проч., но, лишившись главного покровителя — Де-Воланта, я всего опасаюсь и, конечно, рано или поздно должен уступить силе.

Пользуясь лестными обо мне отзывами и доверием начальства, вздумали переменить место моей ссылки на другое, еще ужаснейшее. Под благовидным предлогом важного поручения я должен отсюда выехать, но куда же? — в *Иркутск;* и это исполню 1-го мая, исполнить бы надобно и теперь, но тяжкая болезнь не допускает. Там поручено мне строить на реке Ангаре набережную в 300 тыс. рублей — поручение виднейшее и наилучшее во всяких других обстоятельствах. Но тут, конечно, уже приняты все меры к вреду моему,— и тем удобнее, еще менее свободы, и сила уже неограниченна.

Вот что происходит со мною. Я много наболтал, верно, наскучил, но я еще постращаю вас желанием доставить понятие о всех подробностях моей жизни — и это в сле-

дующих письмах, ибо уверен, что переписка наша возродится деятельнее. Опишу и места, и людей, опишу и самого себя.

Теперь исключительно к вам, сударыня, обращаюсь. Вы желаете видеть меня; ах, это и мое первейшее желание, но нужно ждать почти год, после я непременно буду проситься в отпуск и именно к вам. Вот все, что сегодня сказать могу. Между тем вам легко продолжать переписку со мною: Ал[ексей] Андр[еевич], верно, дал обо мне понятие, я скажу только, что если дружба и искренность будет водить пером вашим, то вы прямо все по сердцу мне скажете. Можете говорить и для ума, ибо я всеми мерами старался образовать слабые его способности. Вообразите человека высокого, смуглого, худощавого, рябоватого, с открытым видом, довольно быстрым взглядом; несмотря на продолжительные горести более веселого, нежели мрачного, не совсем провинциала, не дикого, который может подчас развеселить, рассмешить и занять, который хотя поверхностное, но имеет понятие обо всех человеческих знаниях, который более всего любит ему любезных, говорит прямо, без украшений, лести и скрытности — вот мой портрет. Ручаюсь за его сходство, и личное свидание разве только сделает более резкими некоторые черты, но мало прибавит нового: я могу описать себя, ибо занимаюсь собою, знаю все свои слабости.

Простите, добрые мои, целуйте Васиньку, целуйте, как родители его и как друзья мои. Вы пишете о своем семействе, но кто его составляет? Я хочу знать все подробно. Ах, если б мог принадлежать когда и как-нибудь к этому счастливому сонму!

Благодарю вас за посылку, бывши в Иркутске, постараюсь отыскать для вас что-нибудь из китайских вещей, которые, без сомнения, у вас не совсем обыкновенны.

Письма все пишите в Томск — перешлют отсюда, где бы я ни был.

Хотел бы я знать, какие письма мои вы получили, особенно, помнится, были значительны в генваре 1818. Но нет на них ответа.

Батеньков.

27. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Томск, 6, 10 апреля 1819 г.

Ничего не видавшему первое, что глазам встретится, кажется весьма занимательным. Кто не знает этого? — и мудрено ли мне, после долгого заключения в четырех стенах с одним собою, находить в обыкновенном чудное, из пустого наполняться и думать, что действовавшее на меня подействует и на всякого? Ежели вы согласны в этом, друзья мои, ежели вы добры и любите меня более за младенчество, нежели за возмужалость, то простите, что занимаю не важным, не полезным, ребяческим, или еще лучше сделаете, ежели совсем читать не будете.

Как бы то ни было, но я здесь опишу утро мое 5-го апреля.

По словам всех, как говорил мне прислужник мой (не удивляйтесь, он более может слышать ото всех, потому что всем меня известнее), и даже по некоторым признакам, собственно мною замеченным, казалось, наступила уже весна. Седины свои мало-помалу стрясала природа, по крайней мере, нигде уже их видно не было. Но в пятницу ввечеру все опять умерло; все, кажется, участвовало в набожном унынии рода человеческого, ручьи остановились — и белый мох покрыл распутия. Скучен мне день, скучна и ночь, не всходит еще солнце, но уже блистает слеза на глазах моих; заунывный звон утренний согласовался с расположением души моей, я желал молиться и, собрав остатки изнуренных сил, пошел в ближнюю церковь. Каждая пьеса имеет свое единство, каждый писатель имеет своего героя. Мой сегодняшний герой будет дьячок, истинный служитель по чину Мельхиседекову *, ибо с первого взгляда узнать можно, что число лет его неисчислимо.

Там, на правом берегу Ушайки, далеко от меня, куда теперь слабый взор едва достигает и где некогда, очень недолго, жил я покойно, приятно, но, что скрывать, с сердечными надеждами и удовольствием; там, говорю, возвышается голая, крутая Воскресенская гора, первое на берегу Томи пристанище покорителей Сибири, где положили они основной камень городу [1], впоследствии столь

* Послание ко евреям, глава 7, стих 3. (Примеч. Г. С. Батенькова.)

знаменитому, что на пространстве 2500 верст и верные, и неверные, и граждане, и дикие трепещут имени Томска и *томского*...

Далеко отойду я от моего предмета, ежели буду вам описывать остатки старых башен казачьего острога или первого города, живописность местоположения, прежние там мои прогулки, многие хорошие чувства и мысли и т. п. Нет, это слишком будет! явное подражание Тристраму Шанди[2],— я скажу только, что там чернеется старый деревянный собор. Сгнил пергамент, содержавший предания о его построении, обрушилось и все рукотворенное, но он виден еще в падении своем, как бы научая, что кедры, ныне возвышающиеся, скосит некогда неумолимое время, подобно, как косит нас, траву слабую.

Но собор имеет еще живой памятник своей древности: это дьячок, это герой мой. Медь не звенит уже на церкви, слаб голос и дьячка нашего, но он пережил век меди.

Много сходства в сходстве современничества, крепчайший долее только противится истлению.

Я вышел из дому. Собор покрыт туманом, не видно его. Уже я в церкви — и соборный дьячок там, но едва приметен во множестве, в курении и дыме. Сколько же древностей скрыто от нас мраком? Мы совсем не знаем древностей природы, и древность человеческую знаем в тех только, которые оставили больше шуму (ах!) своими пороками.

Молиться пришел я — и молился. Богу раскрывал тоску сердца моего, богу исповедовал мои слабости, невинность и страдания; у бога просил помощи, просил прощения — моим гонителям. Казалось, ничто не возмутит сладкого расположения души моей. Но сатана, древний враг благочестию, и древними, и новыми орудиями искушает нас, древними чаще в смех, новыми всегда в досаду.

Боюсь, чтоб не пуститься в глубину умствований, я забуду тогда предмет мой. Пора переменить тон, пора переменить декорации.

Старый дьячок, дьячок соборный, не забывайте, хлопотал о свечах и подсвечниках; недоволен был церковным старостою, не знаю, за что, ударил три раза кошку, кинул углем из кадила в лицо сторожа, погрозил старушке, которая, кланяясь спасителю, не приметила, что он толкал ее сбоку, и проч. и проч.— дела обыкновенные, и, верно,

кроме подобного мне грешника, никто их не заметил. Между тем 30-летний пономарь истинно из глубины сердечной, из самой, по-видимому, сокровеннейшей глубины, тянул *«господи помилуй»*

Я опять молился — забыл, что делать надобно, и не видал, как свечки у всех в руках запылали. Дьячок заметил мое нечестие, сделал мне строгий выговор: «Ты спишь в церкви!» — сказал он мне.— Помилуй бог! — подумал я,— сон и на мягкой постели бежит от меня. Пономарь пел стихи погребальные довольно хорошо, я не жалел, что нет певчих, ибо лучше слышал слова, истинно высокие; дьячок вышел среди церкви и начал читать кафисму [3].

Не в первый раз был я в церкви в этот день, слыхал, как поют на длинный распев в Лавре Печерской, помню, как бывало и в других местах; но здесь, казалось мне, все было с особенным благочестием, без всякой поспешности — так была настроена душа моя. Хотя дьячок и силился, чтоб голос его был слышнее пения, но по случаю увольнения за выслугою срока зубов его не мог он достигнуть своей цели. Гневался, но кто же мог замечать гнев его? Пономарь все кончил и, видя, что помощник его не прочитал третьей части надлежащего, видя, что должно сказать *окончание впредь* или утомить целый приход, начал с неустрашимостию: *«Волною морскою»*. Тут потерял герой мой свое терпение, кричал сколько мог громче. «Не на свадьбу ли спешишь ты?» — говорил он пономарю.— «Читай канон!» — отвечал тот ему с твердостию.— «Дамаскин после жил Давыда, вы не любите старого»,— продолжал старик. Священник насилу помирил их, пославши читать стороннего.

Не можно уже было слышать ничего более, кроме упреков сверженного от налоя. Он в глаза священнику исчислял благочестие всех блаженной памяти протоиереев старого собора, начиная, как кажется, по крайней мере, со времени Петра I. Наконец, дабы показать народу, что он не простой служитель, поспешил в алтарь и явился среди церкви— в стихаре и с свечою.

Я не смел осудить его, ибо за полчаса перед тем сам сделал то же. Теснимый народом, который, может быть, по крайней мере я так думаю, принимал меня за несчастного (и не ошибался; но здесь особливо называют так сосланных в Сибирь из чиновников), будто нечаянно

искал в кармане платок, чтоб показать крест орденский и тем защититься от толчков соседних.

Дьячок беспрестанно качал головою, когда, по его мнению, пономарь сбивался с ноты; на беду последний ошибся и вместо «Ужаснися небо» запел «Столб злобы». «Не столб ли он?» — у всех нас спрашивал его соперник. Молчание — я, по крайней мере, не мог отвечать, хотя дело о столбах и относится до моей должности,— не мог потому, что совсем не расположен был сделаться судьей да и не знал, что отвечать должно, не знал даже, и, верно, многие также, что певец ошибался. *Нам ли судить певцов?*

Наконец дождались мы и конца службы: священник сказал отпуск, пономарь начал первый час, дьячок запел *благочестивейшего.* Тут я услышал его сладкогласие, но медленность так была велика, что я лишился надежды дослушать все. Пономарь оканчивал уже почти — старый дьячок пел еще Елисавету Алексеевну [4]. Не привыкнувши к терпению, он снова бранить начал чтеца и с досадою закрыл его книгу; пока перебирал последний листы ее и пока доходил до надлежащих, первый подвигался понемногу вперед и, видя, что пономарь начинает, закрывал опять его книгу и в таких беспрестанных трудах и подвигах славословия достиг наконец до благоверного князя. Полагая, по-видимому, что некоронованных можно петь и не в священном облачении, к успокоению нашему, или, лучше, к греху нашему, стал снимать стихарь свой.

Всем известно, что снимать надобно снизу вверх: дьячок не скор в своих делах, как могли уже вы видеть, но на этот раз не помогла и медленность; он, накинувши одежду на голову, запутался — и, продолжая петь или браниться, слышен был, как из глубины могильной. *«И вся православные християне сохрани!»* — вскричав громогласно, пономарь начал читать что следует. «По делам ему!» — проворчал священник; но нельзя было не сжалиться над бедным страдальцем, мы помогли ему всеми силами выпутаться, хотя он и сердился на нас за это. Между тем не заметили, как служба кончилась, и, оставив упрямого петь еще и *супруга ее,* выбрались по домам.

Я дорогой и домой пришедши смеялся, как дитя. Большой грех, знаю, друзья мои, однако я давно не смеялся. Да и привык уже видеть, как судьба все мои предприятия оборачивает вверх дном. Где ищу радости — там горе; где ищу искренности — там коварство; где ищу покровитель-

ства — там тиранство и проч., и проч. Здесь шел для умиления и сокрушения — и возвратился с хохотом.

Но, ах, пусть так, а не иначе разрушаются мои намерения.

Простите, что я занимал вас пустяками, что же могу сказать лучшее? Жизнь моя единообразна. Уверяю вас, что это примечательнейший случай во весь год, который прожил здесь. Не верьте, если скажут вам, что другое что-нибудь гораздо более на меня действовало.

10 апреля

При звоне колоколов, при стуке колес, при шуме народном кто не догадается, что праздник велик? И в самом деле он не мал, потому что я особенно почувствовал покой в сердце своем, кажется, забыл все прошедшее дурное и помнил одно минувшее приятное; кажется, я целую вас, милые друзья мои; ах, если б это случилось в самом деле,— праздник мой тогда был бы истинный праздник воскресения, я воскрес бы из гроба досад, печали, скуки, недоверчивости, раскаяний и проч.

Поклон милому Васиньке. Боже мой, когда я распространяюсь столько, что друзья, писавши ко мне, могут кому-либо приписывать поклоны? Поклон милому Васиньке — это потому, что все истинно милое кажется нам необыкновенным, я воображаю, что Васинька растет не по дням, а по часам, как сильный, могучий богатырь; но пусть и не так, все уже ко времени получения этого письма он будет уметь и мне откланяться, сплеснуть ручонками и, взявши бумагу, сказать: *дядя!* Кто тогда более выиграет? верно, за сухой поклон старою негибкою спиною всякий согласится выменять нежное, невинное, ангельское приветствие малютки! — поклон Васиньке!

Прощайте, ради бога, чаще пишите ко мне, я шепну вам не важную, но испытанную истину: можно привыкнуть и лениться, и забывать; можно привыкнуть помнить и две минуты в неделю посвятить другу. Ежели два, три или четыре месяца, а еще лучше — год писать каждую почту, увидите сами, что трудно будет после нарушать этот порядок. Хоть две строчки, но будут посланы — и отменить это покажется странным и невозможным.

Остаюсь навсегда вам преданный Батеньков.

Не можно ли как-нибудь достать мне в Москве «Боже-

ственную философию»[5], недавно, в нынешнем году, там отпечатанную, перевод Корнеева.

28. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Тобольск, 6 июня 1819 г.

Любезные друзья мои!

На несколько дней я приблизился к вам довольно значительным расстоянием. Сегодня еду в Омск, вернусь сюда чрез 8 дней и отправлюсь в Иркутск, где пробуду, по крайней мере, два года. Вот новости, неутешительные по отношениям моей к вам дружбы, но добрые по прочному устроению моего положения, ежели благоволит бог.

Сибирь должна возродиться, должна воспрянуть снова. У нас уже новый властелин, вельможа добрый, сильный, и сильный только для добра. Я говорю о ген[ерал]-губерн[аторе] Мих[аиле] Мих[айловиче] Сперанском[1].

Имея честь приобрести его внимание, я приглашен сопутствовать ему при обозрении Сибири в качестве окружного начальника путей сообщения. Грех было бы упустить такой случай, ибо это и благодарность, и надежды лучшего требуют.

Со вступлением нового главного дирек[тора][2] и собственно по нашей службе мы оживаем. Он знает меня, и уже на третий день вступления, как, верно, и по газетам вам известно, произведен я в капитаны[3].

Пишу все это к вам для того, что твердо уверен в вашей ко мне дружбе и в искреннем участии во всем, что до меня касается.

Любя вас всею душою, желая более и более быть вам близким, я, кажется, имею право пожаловаться на редкость ваших писем, хотя и не сомневаюсь нимало в расположении вашем.

Торопят ... ехать надобно, некогда писать более — прощайте.

Батеньков.

Адресуйте все в *Тобольск*.

[*Адрес на конверте с почтовым штемпелем: «Тобольск»:*] Его благородию милостивому государю Алексею Андреевичу Елагину в Белеве Тульской губернии[4].

29. Ф. Ф. [РИДДЕРУ] [1]

Тобольск, [до 26 июня 1819 г.]

Милостивый государь Филипп Филиппович!

Не повторяю изъявления глубочайшей моей благодарности за продолжение ко мне расположения вашего, ибо смею ласкать себя надеждою, что ваше превосходительство не сомневаетесь в искренности моих чувств.

Нынешние обстоятельства, сколько с одной стороны вообще и для нашей службы благоприятные, столько же в отношении лично ко мне затруднительные, поставляют меня в обязанность подробно объясниться перед вашим превосходительством.

Без сомнения, изволите быть уже известны, что в мае месяце прибыл в Тобольск наш новый и истинно почтенный вельможа. Тишина водворилась вместе с его приездом. Ему угодно было, между прочим, обратить особенное на меня внимание, обласкать, говорить о многом, прочитать значительнейшие из сделанных вами описаний Сибири и, наконец, пригласить меня ехать с собою для обозрения восточного края. Имея, с одной стороны, обязанности быть в Иркутске по известному вам поручению [2], о котором поступили новые настояния от министра, с другой же, не получая сведений о скором вашем сюда прибытии, а более всего желая чрез сближение себя к столь доверенной от государя особе доказать ему и пользу нашей службы и несправедливости, всегда здесь нами претерпеваемые, я дал обещание исполнить его волю. Он именно говорил мне, что желает действиям нашим дать ход в трех его губерниях, особенно по части искусственной, чтоб построения на дорогах и самая конструкция судов руководимы были нашими инженерами и что, взявши меня для совместного сих частей обозрения, он лучше увидит, в чем нужды настоят теперь.

В сем предположении Михайлу Михайловичу угодно было сделать распоряжения, но с последнею почтою полученное мною письмо о скором прибытии вашем в Тобольск поставило меня в нерешимости. Отказаться от прежнего обещания, исполнение которого представляет много выгод и мне и службе, и отказаться почти в то время, как нужно было отправиться, ибо едет он отсюда чрез три дня, казалось мне делом весьма неприличным. Я решился объяснить ему о вашем приезде, об обязанно-

сти моей сдать вам должность и о степени зависимости, по которой без вашей воли не могу я делать ни одного шага. Его высокопревосходительство отвечал мне то только, что ежели вы готовы будете когда-либо уважить его просьбу, то исполнение нынешнего его желания будет ему приятнейшим одолжением. Вместе с тем жалел он, что не имел случая лично с вами познакомиться.

Михайло Михайлович ни в каком случае не высказывал себя властелином, хотя необходимо должен иметь чрезвычайное полномочие, даже насчет войск и горной части. Генерал, командующий корпусом[3], приезжал сюда к нему, а после будет дожидаться в Омске — все это доказывает, что власть его более, нежели власть предместника; но он нигде не выказал ее в шумном и великолепном виде. Позволяя к себе свободный вход бедным и угнетенным, конечно, имел случай узнать много, однако же по сие время не заводит великой бури.

Я сделал это отступление для того, чтоб доставить вам понятие о новом нашем правлении. В нынешних обстоятельствах просил я совета у всех, кто имеет право на доверенность вашего превосходительства, все советуют мне, особливо же Александр Степанович, почт-директор[4], не упускать случая примирить с главным сибирским начальником, часть еще весьма здесь юную. Они от пребывания моего при нем в течение нынешнего лета заключают следующие выгоды:

1) Мы не сделаем отказа на первое требование нового и весьма доверенного властелина.

2) Как человеку, любящему и покровительствующему познания, более будет случаев доказать, что влияние искусства на обыкновенные дела будет способствовать успеху и что инженеры наши лучше всякого другого к сему употреблены быть могут.

3) Что первоначальные дела по округу будут нам известны, в каком виде от местного начальства представятся и чем новее какое-либо предприятие, тем нужнее, чтоб при суждении об оном мог кто-либо говорить в его пользу.

4) Без всяких насчет наших сумм издержек можно будет обозреть и сделать подробные описания важнейших мест в Сибири; он будет и в Барнауле, может быть на Маковской пристани, в Нерчинске и Кяхте.

5) Иные берутся советовать вашему превосходитель-

ству, а в особенности Александр Степанович, что не будет ли вам угодно самим в это время отправиться со всем управлением для обозрения округа. Вы, непременно рассчитывая, что будете сюда до половины августа, можете застать генерал-губернатора в Томске и сопутствовать ему далее. Тогда я уже буду только при вас и, конечно, с пользою по описаниям, съемкам и для составления чертежей.

6) Наконец, собственно для меня решительное окончание может быть с особенною пользою дел моих в Томске, по которым вместо два года продолжавшихся охуждений легко могу получить одобрение. С другой стороны, Михайло Михайлович без воли вашей отнюдь не желает занять меня действительною работою по постройке набережной и отпустит, когда вам буду нужен, но полагает, что в течение нынешнего лета не случится особенных препятствий, что вы позволите мне пробыть у него до весны и что сдача дел не требует необходимо здесь моего пребывания, тем более, что дела и прежде целый год без меня почивались, а теперь есть и письмоводитель.

Вот обстоятельства, которые разрешить я еще не могу. Имея, с одной стороны, большое желание вас видеть, имея обязанность ожидать вас для сдачи, а еще более потому, что, может быть, имеете в виду какие предприятия и нежели я *.

30. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Иркутск, 17 марта 1820 г.

Год молчания не сильное еще средство, чтоб принудить меня не любить вас, почтеннейшие друзья мои! Попытайтесь даже обнаружить неприязнь ко мне — и тогда все еще не изменю я моих к вам чувств и буду безотвязным искателем вашего расположения.

Нужно ли мне надпоминать все минувшее? Нужно ли приводить в свидетельство собственные ваши обещания, чтоб иметь право жаловаться на совершенное от меня удаление? Нет, я лучше буду молчать об этом — и ежели безусловным уважением темных для меня причин вашего молчания не возвращу я себе прежней дружбы, то, конечно, уже не поможет никакое о том настояние и вопли.

---

* На этом письмо обрывается.



ГОРОД КЯХТА
Офорт (фрагмент). Из кн.: Мартынов А. Е. Живописные путешествия от Москвы до китайской границы. М., 1891

Не потому, чтоб я, очередуясь с вами письмами, не писал к вам целую зиму. Этому была причиною жестокая болезнь моя, которая в течение многих месяцев лишала всякой надежды жить [1], теперь она миновалась, и я спешу, по крайней мере, сам не быть виноватым.

Служба моя ныне идет весьма хорошо. Я пользуюсь расположением главного директора и весьма близок ко здешнему генерал-губернатору; достоинства сего истинно превосходного человека известны всякому, и мне простительна, быть может, слабость похвалиться моими к нему отношениями.

Уже вам известно, что я был в Кяхте и видел образ жизни тамошних соседей наших, который нимало не похож

на то, что мы видели в Европе. Я переплывал воды Байкала, перенесся величайшие пространства, обозревал природу во всем ее величестве. Но ежели ценою сих, столь бесплодных наслаждений купил я охлаждения ко мне друзей моих, то имею я право жаловаться на свое несчастие и, бросая страннический посох, сожалеть о безрассудном к нему пристрастии.

В отдаленной синеве седые исполины, препоясанные густым туманом, гладкая зеркальная поверхность воды в тихое время и страшные черные волны во время бури, оглушающие ревом своим и как бы готовые испровергнуть в бездну мшистые скалы, препятствующие их буйству,— вот зрелище, какое представляет Байкал в летний день с первого взгляда.

Тихо — и сердце наполняется каким-то особенным восторгом при виде сего озера. Воображение чрезвычайной отдаленности оного от средоточия отечества нашего, совершенный недостаток постоянного населения, дикая природа, разбросанные кое-где хижины ловцов, белеющиеся вдали парусы судов,—и мысль, что там, за водами, за высокими хребтами гор, близко начинается земля, отличная от всех, виденных нами, образом общежития и образом мыслей ее обитателей,— все это питает в душе задумчивость и особенные, неизъяснимые чувства.

Настанет буря, страшно засвищет ветер в горных пропастях, заскрыпят столетние лиственницы на вершинах, заревут волны — и невольный ужас объемлет сердце странника в ужасной пустыне. Тут предстанут ему дела веков минувших, живо вспомянутся разрушительные орды, изшедшие отсюда, страшные и неумолимые, подобно бунтующим волнам святилища их (Байкал почитается священным между язычниками).

Мрачная осень удвояет сии ужасы; вид умирающей природы, сражение волн с волнами, удары льда об лед приводят в трепет и надпоминают всеобщее разрушение. Пловец опускает парусы и ищет безопасного пристанища от ярых ветров. Густой туман надолго скрывает солнце и берега. И в ясный день на земле близкой — там представляется непроницаемый мрак. Рев волн увеличивает ужас, нестерпимый холод делает место сие истинным подобием тартара, к которому не смеет приближаться нога человеческая и за которой не проницает око, как за дверь могилы...

Ручьи и реки, будто б ужасаясь приблизиться к бездне, скрываются под льдистою корою. Одна величественная Ангара дерзает струиться и, как бы время из вечности, истекает; но и сама, облекаясь в мрак тумана, свидетельствует о своем происхождении из стран ужаса и смерти.

Но зима, новое чудовище мест полунощных, не умедлит принести оковы свои. Борьба продолжительна, но победа ее неизбежна. Она разгонит мрак, сравняет и сгустит волны — Байкал предстанет опять взорам не страшный и покорный, приступный для всякого, но в новом величестве. Наступят ясные дни; поверхность сего вместилища вод, как гладкий хрусталь, ярко отражать будет лучи солнца; ветер, подобно тщательному блюстителю чистоты, сметает с него все постороннее, уносит снег на берега и сильным вихрем в ущелинах подымет до вершины гор, дабы украсить алмазами и изумрудами мрачную их одежду.

Вот Байкал для поэта и живописца! Вот место, близ которого я теперь живу. Но сколько бы мертвая натура ни представляла величественного и изящного, все без нравственных наслаждений оставит она великую пустоту в сердце. И унылая тоска, всегдашний спутник одиночества, возьмет верх над всеми ее впечатлениями. Людям всего любезнее люди со всеми их недостатками и слабостями. Позвольте мне сладостное уверение, что вы не перестали любить меня и что позволено иногда надпомнить вам о себе Батенькову.

В мае поеду в Тобольск.

Адресованные в Тобольск на имя мое письма пропасть не могут.

31. Ф. Ф. РИДДЕРУ

№ 12. Иркутск, 28 апреля 1820 г.*

Ваше превосходительство милостивый государь!

Будучи приглашен в свободное от занятий по службе время содействовать учреждению при Иркутском военно-сиротском отделении школы по методе взаимного обучения, устройством которой заведение сие обязано особенному попечению здешнего коменданта г[осподина] полков-

* Помета: № 98. П[исано] 13 мая 1820 года.

ника Цейдлера[1] и вниманию сибирского генерал-губернатора[2], я имею случай заметить, что кроме преподавания чтения, письма и арифметики в то же время могут ученики приобресть и первоначальные геометрические познания. Сделанный опыт удовлетворил ожиданию. Составленные мною для сего предмета на общих правилах той методы таблицы вошли здесь в употребление и показали успех.

Его превосходительство Михайло Михайлович при личном обозрении, которым он несколько раз школу сию удостоил, нашел, что составленные мною таблицы соответствуют их цели, и дабы тех из них, которые служат для объяснения, доставить Военно-сиротскому отделению достаточное число и облегчить их чтение, изволил приказать напечатать оные в губернской типографии. Хотя употребление сих таблиц собственно назначено для сей только школы, но как угодно было г[осподину] генерал-губернатору ныне же сообщить экземпляр оных в Санк[т]-петербургское общество для учреждения в России училищ по методе взаимного обучения[3], а может быть, в Департамент народного просвещения, то я поставляю с моей стороны долгом представить к вашему превосходительству таковой же экземпляр с следующею к оному диссертациею.

Ежели изволите найти труд мой заслуживающим внимания, то на тот конец, что училища по методе взаимного обучения могут быть заведены и в ведомс[тве] Путей сообщения, я осмеливаюсь покорнейше просить вас, не угодно ли будет экземпляр сей переслать в Г[ла]вное управление.

При чем донести честь имею, что число экземпляров напечатанных и начерченных соразмерно только одной здешней надобности и именно менее пятидесяти. Почему не могу приложить оных более одного, ибо занятие перепискою и черчением отвлекло бы меня от дел по службе, значительность которых ныне требует поспешности и всего внимания.

Впрочем, с глубочайшим к особе вашей высоко[по]читанием и совершенною преданностию имею честь быть вашего превосходительства милостивого государя всепокорнейший слуга

Гавриил Батеньков.

32. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Тобольск, 9 октября 1820 г.

Забытый вами, почтенные друзья мои, не забывает вас. Не знаю, на что жаловаться: на вашу ли жестокость или на слабость моего сердца. Всякий другой на моем месте прерванную связь принял бы знаком того, что не остается уже ему ничего более желать и испрашивать; но я никак не могу управиться с своими чувствами, которые решительно вопиют за вас и с корнем исторгают все мысли, противные уверенности в вашей любви ко мне и постоянстве.

Скажите мне откровенно: чем могу заслужить прежние права свои? Как я потерял их? Могу ли надеяться, по крайней мере, узнать вину свою?

Старые люди говорят, что самая ревность имеет доброе начало — начало исключительной любви. Ежели это правда, то можно и мне простить выражения, похожие на упреки, ибо они проистекли от желания, по крайней мере, напомнить о себе, ежели не с надеждою успеть в этом,— желание, которое без уважения к вам быть не может.

Я живу опять в Тобольске и пробуду здесь, по крайней мере, до нового года, все еще нахожусь при Сперанском и совершенно теперь успокоился, скажу более, возродились во мне новые надежды и почти не осталось следов прежней угрюмости.

Не смею более распространять свои изъяснения, ибо не знаю даже, туда ли пишу к вам, где вы действительно теперь находитесь.

Как бы вы ни поступали со мною, но ничто не поколеблет того почтения и преданности, с коими всегда пребывает к вам Батеньков.

33. А. А. ЕЛАГИНУ

Тобольск, 4 декабря 1820 г.

Возможно ли это? Не обманывают ли меня глаза?— так вскричал я, увидевши письмо из Белева,— и долго вертел его, как бы не смея распечатывать.

Елагин! Ты опять возвратился ко мне, блудный сын! Приобретение дорогое, радость, ни с чем не сравненная! Но я недоволен собою: мучение совести наказывает за безрассудство. Дорого заплатил бы я, чтоб возвратить

письмо, писанное за две недели прежде, по крайней мере, чтоб точно знать, что я писал тогда. Помню, очень помню несправедливые упреки, которые там помещены,— и по странному стечению обстоятельств вместо того, чтоб с важным видом правого человека, с нежною улыбкою друга, все забывающего, даровать тебе прощение, вместо того, говорю, должен сам я с потупленными глазами, с жалкою рожицею в смиренном покаянии просить отпущения грехов своих.

Но не дал ли ты мне права поступить таким образом? Не более ли бы я был виновен пред тобою, ежели б хладнокровно сносил двухлетнюю потерю друзей, лучшего моего утешения в жизни? Любовница проклинает изменника тем сильнее, чем более его любит. Пока не изгладятся из сердца милые черты милого человека, всякая неуместная тень на этом прелестном изображении волнует душу и приводит рассудок в исступление.

Но ты мой, ты опять со мною, я отыскал все, что было потеряно, и завидую сам своему счастию.

А два года, Елагин,— опыт продолжительный! Я удивляюсь даже степени моей к тебе привязанности. Надобно, чтоб все мне надпоминало тебя, чтоб мысль о лучших днях моей жизни представляла мне всегда тебя верным спутником, словом, чтоб ты был для меня то, что есть,— иначе не дождался бы от меня ни упреков, ни благодарности.

Молчать два года!.. Но пора перестать об этом, пора надеть очки и, справясь с письмом твоим, отвечать на предложенные мне вопросы.

Я торчу при Сперанском в качестве таком, какого и сам не знаю. Называюсь инженером, находящимся при нем по особым поручениям, но ничего не делаю инженерного. План преобразования сибирского управления во всех почти частях [1] и даже мало-мальски соседственная политика — вот что занимает меня под руководством сего истинно великого человека. Он привык уже ко мне и ко всем моим странностям, так что я вовсе не прячусь, не кривляюсь, не жеманюсь и отношусь прямо, как человек к человеку.

План мой чуден, ежели можно назвать планом предположение на один год жизни, ведущее к следствиям важным и решительным, но вовсе неизвестным.

В начале февраля я оставляю Сибирь; на последней неделе послано прошение о увольнении меня в отпуск на

4 месяца. Направление возьму я на Дон и к Таганрогу, отдохну немного в южной стороне и в апреле возвращусь в Петербург. Тут надеюсь я быть полным распорядителем делами своими; говорят, будто бы я хотя на короткое время, но необходим в Сибири, ежели утверждены будут новые об ней положения; говорят, что в противном случае я могу избирать любое и, что бы ни случилось,— все не должен прятаться в толпе, но быть полезным.

Яснее этого я ничего тебе сказать не могу, потому что сам ничего не знаю. Уверяю только, что мы непременно в течение будущего года увидимся — и лучше бы желал я в передний путь.

Ты должен, между прочим, выполнить следующее поручение:

В Боровске, в 14-й бригаде служит штабс-капитаном мой добрый друг Любенков, о котором ты, верно, вспомнишь. Он будет мне спутником: итак, не можно ли привлечь его к тебе и удержать у себя до моего приезда. Восхищение мое было бы ни с чем несравненно, ежели б я все нашел у тебя. Ручаюсь, что ты его полюбишь, но в таком дальном расстоянии не могу и вообразить, как бы удобнее тебе было исполнить мое желание.

Я собираюсь к тебе тогда, как ты перестал звать меня. Сейчас пробежал я твои письма, писанные назад тому за три года: там на каждой строчке усильное желание меня видеть. Не знаю, что ты выиграешь, взглянувши на рябую харю, красный нос и сутулую фигуру?

Чтоб наказать тебя чем-нибудь и за что-нибудь, посылаю особое письмо к другой твоей половине и к вящему тебе удару запечатанное, ежели только не поленюсь и успею.

Елагин! Не откладывай писать ко мне; ежели б слепые твои глаза могли когда-нибудь увидеть, каких восторгов бывают виною твои строки, то, верно, каждую почту, каждый день писал бы ты к Батенькову.

Скажи, пожалуй, не знаешь ли ты что-нибудь о светлейшем, светлейшей и светленяточках?—О Дельдене, о Кованьке, о Бердяеве? Один Моисеев съизредка за темнинькой, зелениньkой лесок,— подает голосок.

Вообрази! Скоро уже семь лет, как мы расстались. Это сильное доказательство, что я люблю тебя.

Еще вопрос: не изменил ли ты галиматейной философии и не добился ли какого-нибудь толку о ее апостоле? [2]

Расшевелись, Елагин,— примемся опять за многоглаголание! Я теперь удивительно как здоров, отогрелся и ожил. Кроме маленьких оттенков приближающейся старости едва ли найдешь во мне какую перемену. Все тот же кабак, каким прежде был кабаком.

34. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Москва, 30 апреля 1821 г.

Судите сами дело между мною и вами. Вот мои чувства и мои обстоятельства без прикрас и без скрытности:

Во-первых, насчет свидания. Письмо ваше с естафетом подало мне надежду дождаться вас скоро в Москву. Я выпросил позволение пробыть здесь до 4 мая и, испугавшись затруднительных форм и несносного поклонничества, необходимых для того, чтоб выхлопотать обратный выезд из столицы по той же дороге, по которой приехал,— отложил намерение вас встретить. Всему причиною проклятый мундир: он дает право комендантам и ордонансгаузам вязать и решать и делать нам такие оскорбления, каких во всю службу при открытой вражде с своим начальством никогда от него не встретишь.

Между тем я получил уже предписание явиться в П[етербур]г и письмо от Спер[анского], что с прибытием государя пребывание мое там по делам сибирским необходимо. Он, не зная, однако же, наверное времени сего прибытия, отдает на мою волю погостить еще в Москве; но с тем, чтоб ехать уже сломя голову, ежели царь возвратится. Вместе с тем прибыли курьеры, чтоб вовсе пресечь военные приуготовления: следственно, по всему вероятно, что скоро разъедутся из Лейбаха [1].

Надобность поспешить в П[етер]бург заключается в следующ[их] пунктах, слово в слово выписанных из моей переписки с генер[ал]-губернатором: «1. До возвращения еще государя надобно будет многие из сделанных предположений пересмотреть и согласить между собою. 2. Проект о дорогах требует особенных объяснений при главном нашем управлении, а в июне генерал Бетанкур выедет из П[етербур]га. 3. В присутствие государево генерал Бетанкур будет слишком занят и не уделит достаточно времени для Сибири, как равно и другие министры».

Я прибавить должен к тому, что дело теперь касается до разрешения главного вопроса о моем гражданском поприще. Можете судить, должен ли я пренебречь что-либо и не лучше ли, сжавши сердце, вытерпеть разлуку с вами еще на несколько месяцев, нежели потерять наилучший случай пусть хотя не все для себя сделать, по крайней мере, все узнать и на будущее время размерить шаги свои по верному масштабу; определить цель и средства.

В этом понятии вы, конечно, оправдаете меня, ежели не долее ждать буду вас, милые друзья мои, как до 4-го или 5-го мая. Первый досуг мой — есть время, вам принадлежащее. Я буду, и непременно буду еще иметь средства обнять вас; все прочее мы сообщим перепискою.

Во-вторых, насчет продолжительного вместе. Это обстоятельство гораздо более затрудняет, понимаю ли я вас или не понимаю. Должен между тем предварить, что последние три года, в которые вы беспрестанно молчали, изменили совершенно один из прекраснейших планов, какой было я составил на основаниях, от вас же мне данных, изменили до того, что возобновить его уже теперь нет возможности. Отношения мои сделались сложны; несколько решительных шагов возложили на меня обязанности, которых не могу и не хочу презреть. Словом, я не имею права избирать ничего, кроме рода занятий и места, где бы твердо укорениться.

Род занятий определит нынешнее мое пребывание в П[етербурге]. Твердый пункт и теперь еще останется неизвестным. Ежели вы не будете медлить изъяснением ваших мыслей, то легко можете иметь влияние на то и другое: я не упустил бы из виду ваше желание при окончательной отработке своих дел.

Если б располагал я свободным капиталом, то не было бы затруднений; я поселился бы около вас и, будучи таким образом *вместе*, по крайней мере по направлению всех средств, считал бы это особенным счастием. Но богатство мое еще в проекте. Оно зависит от исполнения столь многих условий, даже для положения первого краеугольного камня, что считаю надежнее привыкать к состоянию не иметь ничего, хотя никак не согласен признать совершенную свою зависимость от службы.

Дети ваши так близки к моему сердцу, как сами вы.

Я сказал уже прежде, что вы для них можете располагать по произволу всеми моими средствами.

Вот, любезные друзья, еще вам новая точка зрения на меня. Ежели вы не усомнитесь в возможности от честного человека постоянной, чистейшей и искренней дружбы, то нет нужды *проклинать чистосердечие;* нет нужды без скорого свидания *не сказать* что-либо *никогда,* и неизвинительно будет, ежели *уныние отнимет перо и доверенность.*

Друг ваш, может быть, и мечтатель, но мечты его необходимы для его счастия и покоя. Он любит предполагать в людях нечто выше обыкновенного и уважать душу и сердце, хотя бы все побочное было не так, как ему хочется, и хотя бы судьба непрерывно зияла злобою.

Таким образом, настоящая разлука наша в то время, когда все было приготовлено, чтоб нам долго быть вместе, когда вы требуете этого, когда желаю я того со всем влечением пламенного чувства,— эта разлука подвергает новому опыту нашу связь. Я за себя ручаюсь.

Батеньков.

P. S. Я заметил *у вас печать,* совершенно с моею сходную!!

Мальчика прошу держать в руках. Посылку я получил и благодарю. Постелю вовсе не надобно везти в Москву, потому что я купил здесь новый матрас. Мне может скорее всего понадобиться шуба, остальное, что удобно привезти, лучше бы иметь в Москве. В Калуге можно порядочный тюк отдать почтмейстеру для пересылки ко мне. Он найдет средство.

Моисеев в Веневе, подполковник, не очень на тебя сердится, но выполни скорее и извинись, что леность и проч[ее] причиною.

35. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 20 мая 1821 г.

Вот, любезные друзья мои, я уже и в Петербурге. Принят хорошо и обласкан обоими начальствами[1]. Но, право, еще не знаю, что будет далее. Теперь очень занят делами и почти не имею досужной минуты. На будущей почте уведомлю вас о приезде государя—и обо всем подробнее.

Батеньков.

[*Адрес:*] Его благородию Алексею Андреевичу Елагину. *В Москве.* Возле Сухаревой башни, в доме г[оспожи] Померанцевой.

36. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 21 мая 1821 г.

Неужели вы еще не в Москве? Я, право, не знаю, куда писать к вам. Сижу теперь, как сенатский секретарь, за бумагами и вовсе не знаю досуга. Царь уже приехал, надобно многие дела приводить к концу [1].

Между прочим, однако же, признаться надобно, что краду время и на удовольствия, которые собственно состоят в одном театре. В Петербурге теперь опера довольно хороша, комедия также, но трагедию желать бы можно гораздо лучше.

Скоро, кажется, развяжутся наши дела — и тогда-то нападу на вас своими письмами.

Теперь поневоле должно дать отдых. Прощайте — до гроба ваш Батеньков.

Все бы хорошо—но я начинаю чувствовать надобность в способах жить.

[*Адрес:*] Его благородию Алексею Андреевичу Елагину. *В Москве.* Возле Сухаревой башни в доме г[оспожи] Померанцевой.

37. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 7 июня 1821 г.

Скоро уже месяц, как я здесь,— и все еще не имел удовольствия получить от вас ни одного письма. Не знаю, в Москве ли вы или в Долбине, и, признаюсь откровенно, начинаю тихонько роптать на ваше молчание. Связь с вами была для меня всегда самою приятнейшею; с последнего свидания я привык не думать о себе, не думая об вас, и чем безжалостнее судьба поступала с нами, тем более считаю я себя обязанным доказать вам, что люблю и почитаю вас более, нежели кого-либо другого в целом свете.

Обстоятельства доказали, что я не ошибался. Приезд мой в Петербург был в самое приличное время: дальнейшая медленность могла бы мне повредить. Впрочем, дела

мои по сие время еще не только не устроены окончательно, но почти не сделано к тому начала. Я успел только отделать проекты и почти развязался с сибирскими занятиями. На нынешней неделе надеюсь быть у Волконского[1], кажется, все склоняется к тому, чтоб служил я при Главном штабе.

В мае месяце была здесь самая неприятная погода. Дождь шел каждый день — и никак я не мог по сие время быть на островах, в городе же скоро можно соскучиться. Счастлив, что был занят, но дурно, что должен свести знакомство с аптекою — и, как обыкновенно бывает со мною, вследствие недугов и немощей принужден теперь сидеть дома.

Прощайте, не забывайте уделять мне хотя минуту из свободного времени — я скоро надеюсь писать к вам целые томы.

Батеньков.

Ежели представится возможность, я просил бы мальчика прислать ко мне[2].

[*Адрес:*] Его благородию милостивому государю Алексею Андреевичу Елагину. *В Москве.* Возле Сухаревой башни в доме г[оспожи] Померанцевой.

38. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 28 июня 1821 г.

Вот уже получил я с прошедшею почтою из Сибири ответы на п[етер]бургские свои письма, а все еще не имею от вас ни строчки с самого отъезда из Москвы. Не хочу самому себе верить, чтоб вы были против меня огорчены; известная целому свету леность Елагина изъясняет мне это обстоятельство; впрочем, я считаю себя вправе упрекнуть за эту леность, ибо мы могли бы теперь изъясняться и удобно и занимательно. По крайней мере, мне нужно знать и нужно непременно, здоровы ли вы?

Две недели как я отдыхаю от всех почти занятий: главный директор[1] наш отправился уже в Нижний, оставивши памятником своего ко мне благоволения махровые эполеты, которые имел я честь возложить на себя торжественно 20-го числа сего месяца[2]. Генерал-губернатор беспрестанно работает, часто посещает Царское Село и, может быть, в течение недели совсем туда переселится... Толки о назначении его различны, верного еще нет ниче-

го, но то истина, что он пользуется отличною милостию императора.

Я, со своей стороны, все еще не получил ничего решительного; но и моя участь скоро должна решиться, говорю скоро — и разумею по-петербургски, то есть в течение нескольких месяцев.

Отношения к Турции составляют главный предмет в соображениях здешних политиков. Пророчествуют войну, пророчествуют нейтралитет — и все только что пророчествуют [3].

Благодаря бога, мы несколько дней имеем уже хорошую погоду: я брожу на островах, по городу, в саду, по бульвару, но тем не менее скучаю более, нежели веселюсь. Чтение не допускает, однако ж, слишком много бранить здешнюю жизнь; это бесценное удобство в столицах заменяет многие другие невыгоды и мало-помалу ровняет отстающих по обстоятельствам назади с теми, которые идут всегда ровным шагом.

На днях собираюсь быть в Гатчине [4], чтоб видеть доброго-несчастного Дельдена и почтенную Анну Ивановну. Они живут теперь кое-как. Странная судьба великого кагала! Первые сделались последними, а последние первыми! Школьники наслаждаются всем возможным для человека блаженством, старцы скитаются из града в град, везде гонимы, везде преследуемы; фарисеи под игом мытарей, саддукеи потеряли глас и силы [5]. Один только Книжник, летая по обетованной земле с развалины на развалину, более имеет причин оплакивать разрушение Иерусалима, нежели собственные свои бедствия [6].

Но не так в галиматейном отношении. Вам известно, милостивый государь: 1, что металлы суть кости нашей планеты и основа ее твердости; 2, что металлы суть причины звука. Недостаток столь важного отражения всеобщей идеи жизни в творимом ее качестве нарушает гармонию и равновесие во всех частях.

Но, оставляя все шутки, я точно имею крайнюю нужду прибегнуть к вам с просьбою одолжить мне до тысячи рублей. Настоящее обращение доказывает вам, что я нимало не поколебался в уверенности своей на вас чрез столь безжалостное молчание, и мне все легче просить вас, нежели сильных, от которых завишу, хотя это гораздо им удобнее и хотя я на то имею все право. Мне кажется, что

я обидел бы вас, если б верил кому-нибудь другому более, нежели вам.

Неужели вы по сие время в Долбине?[7] Если так, то, конечно, уже останетесь там до зимы. Как бы то ни было, но мне это знать необходимо, ибо я непременно хочу быть у вас в августе.

Прощайте! Ради бога, пишите ко мне. Батеньков.

Говорил ли я, как вам адресовать? Вот как: При господине тайном советнике Сперанском.

39. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Петербург, 22 июля 1821 г.

Наконец вы в Москве; наконец прервали убийственное для меня молчание; не знаю только, каким образом случилось, что письмо ваше шло до меня десять дней; я должен бы был целою неделею ранее радоваться исполнению вашего желания и целою неделею ранее слышать приветливый голос дружбы.

Благодарю вас от всего сердца: но зачем приводите вы меня в смущение? Ваши опасения не могут не действовать на мое сердце; ради бога, устраните всякие мрачные чувства, они отравляют жизнь. Твердая ли надежда на провидение или (может быть, суеверная) уверенность, что предчувствие никогда не обманывает в важных делах нашей жизни; как бы то ни было, но я не перестаю верить долгому, очень долгому продолжению нашей дружбы; не перестаю верить, что судьба назначила нас для взаимного подкрепления, необходимого в трудной и по сие время в неприятной моей жизни. Отнять у меня столь сладостные надежды значило бы не оставить уже ничего в мое утешение и погрузить опять мысли и чувства мои в тот хаос, из которого я, опираясь на сильные средства, едва мог извлечь их.

Нет, почтеннейшая Авдотья Петровна, опасность счастию моего друга, опасность собственному моему счастию необходимо отозвалась бы горестным предчувствием; но я покоен, и надежды мои живы. Вот успокоение для вас самих. Соединим к тому усердные мольбы к богу, и он не попустит ни нам обоим, ни детям вашим остаться сиротами.

Сколь ни слабо, сколь ни дурно выражаю я мои чувства, все можете вы видеть, до какой степени считаю я



М. М. СПЕРАНСКИЙ
Художник Ян Дамель. 1821 г. *ГПБ*

вас необходимою для себя. С той самой минуты, как, сделавшись супругою Елагина, вы разделили с ним его ко мне чувства, я стал уважать и любить вас еще более; я уверился, что связь моя с Елагиным далеко выходит из пределов обыкновенного товарищества. Совместная жизнь, одинакие упражнения, сходство правил, конечно, могли нас довольно сблизить, но равно могли с переменою отношений ослабить взаимную привязанность. Елагин мог до самого свидания со мною умолчать вам обо мне; но дружба его была гораздо совершеннее, он желал, чтобы я участвовал в его счастии — и я знаю это, что он почти в одно время искал руки вашей и искал вашего ко мне внимания.

Но все ли способны отвечать такому искательству? Живущий на краю света, почти без надежды вас видеть, неизвестный, незнакомый, мог ли сделаться чем-нибудь

для сердца, обыкновенно только доброго? Простите мне, что я не буду уже говорить более.

Благодарю вас за исполнение моей просьбы: не знаю уже почему, но мне приятнее было получить от вас именно.

Наконец, я должен вам открыть о горестной необходимости отложить даже до зимы свидание с вами. Дела мои в необыкновенном теперь положении: правительство требует моего здесь пребывания. Зато я не удалюсь от вас далее нынешнего. Обстоятельства делают меня петербургским жителем и вот каким образом: государю угодно, чтоб я переменил службу; скоро оставлю военный мундир и стану на поприще вовсе для меня новом. Михайло Михайлович сделан членом Государственного совета, я буду служить при нем, не знаю еще, в качестве ли чиновника для особых поручений или помощником статс-секретаря. Полагаю, что в последнем случае помешает чин: ибо я не более как надворным сов[етником] могу вступить в гражданскую службу.

Елагину, заботливому о моем положении, прибавьте к этому, что условия сего определения мог предложить сам я, что в числе сих условий назначил я оклад пяти тысяч рублей, что настоящая моя цель служить при Государственном совете, покуда будет можно и покуда достанет моих способностей.

Теперь прощайте! Я решительно хочу писать к вам каждую почту.

P. S. Мальчика отсылать помедлите. Прошу поручить его в особенный надзор вашему Михайлу [1] и дать ему все над ним права.

Я много издерживаю денег на книги. Жаль, что живу не в Москве: там мог бы я пользоваться вашею библиотекою. Науки политические при настоящих обстоятельствах для меня необходимы.

Виноват! По сие время не был у Воейковых [2], но скоро буду. Ежели угодно познакомить еще с кем-нибудь, прошу познакомить письмами.

40. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Петербург, 22 октября 1821 г.

Бестолковый адрес, которым угодно было Елагину снабдить своего путешественника [1], заставил его против

воли осмотреть П[етер]бург гораздо прежде, нежели он предполагал; а трикраты бестолковейшее послание ко мне сделало первую встречу нашу довольно странною. Однако же, как бы то ни было, но мы вскоре познакомились и, кажется, понравились один другому. В каждый из прошедших трех дней провели вместе по нескольку часов — и вчера обедали у В. С. Филимонова[2]. Беспрестанно говоря об вас, я вообразил себя с вами и вдруг забыл свои болезни и досады.

Гость наш был уже у Воейковых — я не осмелился еще этого сделать и отложил до удобного случая: никогда не бывал я человеком светским и способным на знакомства — теперь, кажется, еще менее прежнего, и потому самого меня открывать надобно почти как полуистлевшие антики геркуланские[3]. Не подумайте, однако же, чтобы елагиническая лень держала меня в своей неволе и чтоб в неподвижности находил я первое блаженство; нет, совсем другая тому причина, другая, не та... но я, право, не знаю, какая именно.

Опасаясь, впрочем, входить в подробное размышление о причинах, как о вещи запрещенной, я поговорю лучше о последствиях. Пребывание здесь Егора Васильевича дало мне мысль убедить всеми правильными и неправильными доводами, что и присутствие Елагина необходимо, и это потому: 1, что он давно уже не был в П[етер]бурге; 2, что лениться можно и здесь, ибо он не будет иметь никакого дела, а еще менее искательства; 3, что отлучка из Москвы не более как на месяц не расстроит его тамошних занятий; 4, что я провожу его и останусь у вас на святки. (5-е и 6-е еще не придумал.)

Радость моя была бы ни с чем не сравненна, если б сбылись такие мои желания. Помогите, ради бога, помогите этому: в моей скучной и неприятной жизни необходимы утешение дружбы, мои радости в ваших руках, и, может быть, одна уверенность, что имею друзей, привязывает к жизни и ограждает от крайнего уныния. На все, что вокруг меня происходит, смотрю, как на скучное, несвязное представление, и если б сердце мое не билось сильнее при мысли о любимых мною — я усомнился бы в своем бытии.

Пылкие страсти и деятельное воображение, встречая сильные препятствия, не останавливаются, не ослабевают и, разрушая все, являют обладающего ими в новом могу-

ществе. С каждым пробуждением пробуждаются его надежды, ему раболепствуют обстоятельства, и все вещи в какой-то волшебной красоте представляются его взору; он многое находит в мире и, что всего важнее,— находит в самом себе и побудительные причины, и способы действовать. Напротив, те же страсти и то же воображение, погружаясь в долговременное бездействие, не будучи ни останавливаемы, ни побуждаемы, ослабевают, притупляются, гибнут: для человека в сем последнем состоянии нет ничего прелестного, душа его дремлет, весь мир движется в чужом для него круге, луч надежд не освещает пустоты, его окружающей, и все вещи оборачивают к нему токмо отененную сторону. Я близок к этой полусмерти — и вот мое право просить, чтоб вы не оставляли меня одного.

Прощайте! будьте уверены, что любит вас всегда преданный Батеньков.

Егор Васильевич остановился в Демутовом доме[4] и, по описанию его, самое дурное имеет помещение; я не мог, однако же, упросить его, чтоб хотя на время переселился ко мне, где можно даже поместиться и Елагину.

Шубы получил исправно, и, как нарочно, сделалось теплее.

41. С. Т. АРГАМАКОВУ[1]

Петербург, 25 ноября 1821 г.

Ежели ты точно выехал вчера или сегодня, то я ничего не имею сказать тебе более, как-то, *во-первых*, чтоб ты побывал в Москве у Алексея Андреевича и Авдотьи Петровны Елагиных и узнал от них, не имеют ли ко мне каких поручений. Они живут возле Сухаревой башни в доме г[оспо]жи Померанцевой. Еще поклонись от меня экзекутору Николаю Ивановичу Похвисневу и директору Конторы дилижансов Петру Михайловичу Рудневу. Елагиных я предварю.

Во-вторых, по приезде в П[етер]бург остановись прямо у меня по Дворцовой набережной близ Прачешного моста, в доме г[осподина] Масальского, по парадной лестнице с набережного подъезда, в самом верху, это хотя бы и ночью.

[*Адрес:*] Его благородию Семену Трофимовичу Аргамакову*.

Почтовому чиновнику Сибирской дирекции в *Свияжске*. Прошу удержать до прибытия его из Тобольска.

42. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Петербург, 3—6 января 1822 г.

Вы отгадали, что с изменением погоды оживу и я. Несмотря на разные душевные беспокойства, которые описывать довольно затруднительно, я, по крайней мере, здоров и с тем вместе все прочее могу встретить и перенести с геройским терпением. Видеться с вами мне необходимо нужно и потому не возмущаю пока ничем не обуреваемой лености Елагина; но сам хочу непременно протрясти его и, ежели вы будете согласны, возьму его с собою для того более, чтоб дать ему хоть некоторое движение.

О вашей потере мне уже известно, и сетование о том я разделял с почтенной Александрой Андреевной [1]. Она вас любит — и потому чувства наши явно согласились.

И обо мне более жалеть надобно, нежели упрекать за скучный тон некоторых изъяснений. Знаю, что вы все, до меня относящееся, принимаете к сердцу — и потому-то именно и должен я лучше молчать, когда не могу сказать ничего, по крайней мере, не унылого.

Я весьма благодарен за посещение Дельденовых: это семейство я люблю и обязан им много за расположение ко мне во все время прежней моей службы. Всегда можно было надеяться, что те милые малютки [2], с которыми игрывали мы с большим удовольствием, сделаются прекрасными девушками. Знаю, что такой об них отзыв много обрадует отца, а еще более мать, которым после самых неприятных оборотов счастия одно это остается в утешение.

6 января

Мне не дали кончить письма в прошедший вторник. Сперва оторвали от дела сторонние люди, а после должно было побывать у генерал-губернатора. Хоть это побывать нередко оканчивалось прежде минутами, и, следственно, была надежда скоро возвратиться домой. Но побывать у людей знатных и сильных часто значит потерять целый

---

* Далее в письме просьба к почтовому чиновнику рукой Батенькова. Здесь же почтовый штамп: «Санкт-Петербург. 1821 ноября 25».

день[3]. Чтоб сказать ему несколько слов, надобно протолпиться чрез густую колонну других полузнатных, четвертьзнатных и вовсе незнатных лиц — и, таким образом, не легче это сделать, как напиться сегодня невской воды против Зимнего дворца во время церемонии водоосвящения. Как бы то ни было, но я не раньше обеда возвратился домой и потому сегодня отправляю письмо.

Вы не можете себе представить, как мне наскучил Петербург, как бесполезно я здесь трачу мое время и как сильно желаю поскорее куда-нибудь спрятаться. Этого не предприму, однако же, без вашего совета и согласия: знаю, что мне надобно выдержать ужасное нашествие елагинских доказательств, но, верно, я буду иметь против него и сильных союзников.

Надобно вам заметить, что я расстался здесь и с последним удовольствием, то есть с театром. Повторение одних и тех же балетов, почти в афишках только отличающихся, несносная продолжительность антрактов, явное пренебрежение к публике во всех отношениях, совершенный упадок трагедии и комедии — единственных, по моему мнению, стройных театральных произведений,— все это гонит от театра и заставляет пугаться всяких туда приглашений. Говорят, однако же, что скоро явится на сцену старшая Семенова; к ней все любители Мельпомены привязывают свои надежды[4]. Посмотрим, в какой степени они оправдаются!

43. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

[Петербург,] 17 января 1822 г.

Грейг[1] уже здесь — и я ожидаю Зонтага: неужели он раздумал служить? Я, впрочем, говорю об этом вовсе без соболезнования, ибо, по моему мнению, не служить гораздо лучше, так что я с трудом могу понимать, каким образом решаются люди дорогую свободу и сладкий покой менять на пустые мечты. Столь неосторожно промолвившись, я вижу, как Елагин наморщился и начинает мне грозить. Иди вперед, иди— кричит он мне,— фельдмаршальский жезл или камергерский ключ не пустые игрушки. Первым отражаются внешние враги, последний отворяет дверь правосудия и милости.

Я слышал уже это и даже читал в печатных книгах: сам некогда мечтал об общей пользе и готов был прино-

сить ей всякие жертвы. Но усердие мое в самой быстроте его стремления встретило тысячу препятствий — и сей, некогда быстрый поток едва теперь струится по направлению ветерков — всегда переменчивых.

Не входя в глубину сего суждения, я обращаюсь к Зонтагу: будет ли он служить? Нужно ли ему служить? Что он надеется выслужить?

О себе еще не могу вам сказать ничего. Собираюсь в Москву — и все еще собираюсь. Проклятые дела держат за полу и к тому же сильно простудился.

Через три дня приедет к вам некто Илличевский [2], советник владимирского губ[ернского] правления, знакомый мне по Сибири, брат томского губернатора, который едва меня не выжил со свету. Но как он впоследствии искал помириться со мною, то я прощаю его совершенно и все, что мне сделано, выгнал из сердца, желал бы истребить и из памяти.

Ежели Илличевский к вам заедет, то вы обяжете меня ласковым его приемом. Он недолго пробудет в Москве и едва ли более одного раза быть у вас успеет.

Прощайте!

44. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 31 января 1822 г.

Мне кажется, целый век не писал я к вам и целый век не получал ваших писем. Бесчисленные хлопоты всякого рода пожирали мое время, и тогда, когда вижу конец одного дела, сверх всякого чаяния возникает другое: теперь еще не могу ручаться, чтоб в течение десяти дней мог отделаться и воспользоваться свободою пуститься в Москву. Эта цель, как воз сена впереди усталого коня, делает меня трудолюбивым и деятельным.

Новостей у нас пока нет еще никаких, но скоро надеемся сбыть с шеи главные сибирские дела, которые приняли уже вверху некоторое движение.

Вы не поверите, как скучно мое положение: по настоящему времени оно прикрашивается свободою; но что впереди? Бог знает; меня тянут в ту и другую сторону, и я похож на невольника, которого продают с аукциона и которому вовсе неизвестно, в чью пользу будет последний удар молотка. В этом положении необходимы ваши советы. Прощайте!

45. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 16 февраля 1822 г.

Мне несносно повторять вам только скучное обещание скорого приезда в Москву. Никогда я не был ни более связан, ни более упорен против собственного своего сердца. Странное стечение обстоятельств, непрерывная цепь дел и множество других сует мало-помалу пожирают мою свободу, и хотя никогда не далее завтрашнего дня представляется развязка, но я не могу ею воспользоваться. Впрочем, главные суеты еще в конце прошедшего месяца приняли деятельный ход, и ежели успею сбыть с рук остатки, то, несмотря уже ни на что, брошусь в повозку — и полечу к вам отдыхать и утешаться.

Не хочу верить ни тому, чтоб мы вечно остались в разлуке, ни тому, что мне необходимо было целый век сидеть на привязи, как, впрочем, ни была она великолепна и красива.

Ежели выбор будет зависеть от меня, то я нимало не расположен домогаться никакой высокостепенности, которая большею частию обращается в пышную подлость и всегда держит в страдательном положении. Чем меньше букашки, которые нас кусают, тем они непобедимее, как потому, что обыкновенно многочисленны, так и потому, что ничтожество каждой из них на особицу скрывает их от взора самого проницательного. И так лучше всего стать в счастливой посредственности и искать одних моральных наслаждений. Кто имеет искренних друзей, тот имеет уже много и может обойтись без поклонников и игрушек. Для меня любимая мечта: воображать себя в беспечном досуге, среди близких моему сердцу. Я разумею здесь казенный досуг и отнюдь не желаю быть вовсе без действия, ибо это с природою человека не согласно.

По рассказам томского юноши [1],— за которого, кстати, благодарю вас,— Зонтаг и Анна Петровна [2] должны быть в Москве. Я прошу им поклониться: вероятно, что приезд его в Петербург есть дело несбыточное.

Напишите мне, когда крестник мой [3] начнет говорить, ходить и проч. Мне воображается, что он уже велик и готов со мною идти резать турок, за то, что они ... турки.

Прощайте, почтенная сестрица и ленивый кум! Мне приятно позволение называть вас сим именем, разумеется



А. П. ЗОНТАГ
Фото с портрета, принадлежавшего М. В. Беэр.
Из кн.: Альбом выставки в память
Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского (1852—1902).
Изд. Фишера. М., 1902

вас, ибо Елагина я охотнее бы называл не ленивым, если б это было не против совести.

46. [М. М. СПЕРАНСКОМУ] [1]

Петербург, март 1822 г.

Ваше превосходительство, милостивый государь!

В течение трех почти лет, в которые имел я честь проходить службу при вашем превосходительстве, изволили вы быть свидетелем, до какой степени полученными в сра-

жениях во время последней войны одиннадцатью ранами расстроено мое здоровье.

Давно почувствовав необходимость оставить службу в армии, я вступил в Корпус инженеров путей сообщения, но и здесь для практических занятий силы мои недостаточны. Два раза предпринимал я пользоваться на минеральных водах и не имел успеха.

Таким образом, остается мне одно средство к удовлетворению желания моего продолжать службу: вступление в службу гражданскую.

Ежели ваше превосходительство изволите находить меня к сему способным, я осмеливаюсь просить ходатайства о том вашего и, будучи уверен, что всемилостивейшее снисхождение ко всем, потерявшим на войне силы и здоровье, распространится и на меня, предаю себя в полную волю высшего начальства.

С глубочайшим к особе вашей уважением имею честь быть, милостивый государь, вашего превосходительства всепокорнейший слуга Гавриил Батеньков.

47. А. А. ЕЛАГИНУ

[Петербург,] 21 апреля 1822 г.

Прошу объявить г[осподину] Азбукину [1], что в Капитуле есть сведение о его кавалерстве; но нет ничего о подвигах, за какие дано сие и по чьему представлению. Чтоб решить это дело, пусть напишет он в Инспекторский департамент прошение, изложив свою службу и требуя сообщить Капитулу о даче грамот. Это прошение прислать ко мне при письме, я дам ему ход.

Только и успеваю написать. Прощайте!

[*Адрес:*] *В Москве.* Его благородию Алексею Андреевичу Елагину. Возле Сухаревой башни в доме Померанцевой.

48. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

[Петербург,] 2 мая 1822 г.

Это письмо вы получите от человека милого мне, как товарища неразлучного в течение трех последних лет; пусть вам он замечателен будет хотя по названию — это Николай Васильевич Жуковский [1].

От него вы узнаете все, что обо мне знать захотите,

до самомалейших подробностей — и да будет он вам живою грамоткою.

Ежели [Камчак][2] мой в Москве, то отдайте его с руками и ногами Жуковскому для отсылки в Сибирь.

49. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Петербург, 2 июня 1822 г.

Я искал себе извинения в столь продолжительном молчании — и не нашел: так много виноват я перед вами.

Молчание мое называю я продолжительным, хотя недавно писал к вам несколько раз, по нескольку строк; но для меня стало слишком мало и не только не уменьшает моей вины, но едва ли еще не увеличивает.

С некоторого времени мне становится грустно — именно потому, что я как бы отстал от вас и, будучи исполнен чистейшею дружбою, беспрестанно желая вырваться из своей неволи, чтоб подышать с вами животворным воздухом свободы,— сижу как безногий на ветхих своих креслах и всасываю яд коварства, зависти, непостоянства, которым все служебное напитано.

Без сомнения, странно видеть человека беспрестанно в трудах, в разлуке со всеми ему милыми, в борьбе и досадах, но без всякой цели и надежды. Я сам не понимаю, какою скрытою силою приводим я поныне в движение; разве настоящее мое положение не есть ли уже следствие борьбы нынешней моей беспечности с прежним навыком к трудам? Предположив это, можно объяснить множество противоречий, которые замечаю в себе. Итак, что же будет, когда навык истребится другим навыком?

Но оставим такие скучные и неутешительные предположения... Да доводится оставить и письмо, потому что как нарочно тысяча человек нападает на меня с разных сторон. Вот общая участь всех наших предприятий.

Просьбу г[осподина] Азбукина отдал в Инспекторский департамент, но еще не знаю, что там сделано, и потому замедлил ответом на его письмо.

Вчера был у меня Воейков и просил вам кланяться. Ал[ексей] Андр[еевич][1] в Царском Селе и здоров. Поневоле должен сказать: прощайте!

50. А. А. ЕЛАГИНУ

Петербург, 12 сентября 1822 г.

Благодарю за письмо: по редкости сей вещи она имеет особую цену в моих глазах.

Поздравляю с сыном [1] и более всего желаю здоровья его матери.

Спасибо за добрый прием наших пилигримов [2]: я навязал тебе на шею всю Сибирь, и ты мышцею высокою разлил на них всю силу гостеприимства.

Не радуйся слишком много грузинским моим походам [3], они в существе не обещают ничего более, кроме беспокойства, и даже могут навлечь опасности; ибо условие совершенной и безмолвной зависимости не сродно моему нраву и привычкам, а в чужой монастырь не ходят с своим уставом. Впрочем, по чудному стечению обстоятельств, я говорил уже о Браамсе: об нем отзываются чрезвычайно хорошо; но на сем отзыве страшно основать средства помочь ему, потому именно, что решительная проба достойных людей происходит на военных поселениях. Ежели привлекут сюда Браамса, то *спасение* его впоследствии невозможно.

Я все еще остаюсь по-прежнему правителем дел Сибирского комитета: «Учреждение сибирское» уже утверждено [4], напечатано и рассылается в губернии; но нам остается приведение сего учреждения в действие. Затем ожидаю царского повеления о занятиях по военным поселениям.

Теперь я так досужен, что с сей стороны не было бы никакого препятствия завтра к тебе ехать; но мне выищутся во всем препятствия: ждем герцога Виртембергского [5], нового нашего начальника, и до приезда его нельзя взять отпуск.

Прощай, пожалуйста, не ленись писать ко мне, я желал бы установить это на лучших правилах.

В любви и дружбе твоей не сомневаюсь.

С Жуковским мы начинаем знакомиться [6]. Он удивляется, что не получил посланных денег от вас.

51. С. Т. АРГАМАКОВУ

[Грузино, начало 1823 г.]

Я приехал сюда в субботу до обеда, скоро и благополучно. Здесь все застал по-старому, *по-прошлогоднему.*

П. А. Клейнмихель[1] при мне приехал и уехал с докладом о ниспослании на достойных богатой милости. Мне отдых, в полном смысле сего слова: по сие время граф не заставлял еще ничего делать. Гуляю и красуюсь. В продолжение бестолковых сборов я, или лучше сказать Белоусов, забыл нужнейшие для меня вещи: халат и комнатные сапожки; сделайте милость, постарайтесь переслать их через дом графа.

Сибирские дела еще не сбыл с рук.

Не забудь прислать Славянскую грамматику.

Вели выхлопать ковры.

Уведомь меня:

1) перекладывают ли печь,

2) кончил ли ты с Прокофьевым[2] дело о чае.

Кланяйся и непременно Василию Васильевичу[3] и Корнильеву[4].

Писать лень более.

[*Адрес:*] Семену Трофимовичу Аргамакову. На Невском проспекте в доме Лазарева.

52. С. Т. АРГАМАКОВУ

[Грузино, начало 1823 г.]

Постарайся увидеться со Степаном Семеновичем Ямпольским[1] и скажи ему, что он может прислать ко мне на имя графа прошение об определении в Временный строительный комитет с приложением документов о прежней службе. Ежели он не бывает у тебя, то знает, я думаю, жительство его Ал[ександр] Ст[епанович] Осипов.

Я нездоров: ужасно болит горло.

Среда.

[*Адрес:*] Семену Трофимовичу Аргамакову.

53. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 25 мая 1823 г.

Провожая сегодня в путь М[ихаила] М[ихайловича][1], я не успеваю почти ничего писать к вам, мои любезные; но считаю непростительною виною не исполнить торжественного своего обещания и пропустить хотя одну почту. Но от вас с самого отъезда нет ни строчки. Так-то вы начали держать свое слово!

В прошедший вторник был я в большом собрании

Общества любителей российской словесности[2]. Тут читаны многие статьи и в прозе и стихах. Выбор пьес был довольно хорош, и время все провели там с удовольствием. Множество посетителей, тишина и внимание, с коими они слушали, несмотря на тесноту, доказывает ту отрадную истину, что удовольствия сего рода становятся уже потребностию нашей публики. Четвертая часть собрания состояла из посетительниц. Вот как наши!

Вихрь двора умчал Жуковского в Павловск. Перед отъездом он был у меня каждый день и взял честное слово посещать его. Жаль, что он живет во дворце, где нельзя у него останавливаться, и словом: ни встать ни сесть!

Оставив письма Мумии[3] в Москве и не получив их от вас по сие время, я в крайних хлопотах и не знаю, как выпутаться. Вообразите, что в одном из сих писем (к Самарину[4]) вложены деньги. Ежели вы по сие время не трогали их из своего шкафа, то осторожность требует письмо вскрыть и заявить деньги на почте, иначе они могут остаться в руках почтовых служителей — и по праву. А где подъячий взять имеет не только охоту, но право, там возьмет уже наверное.

В денежных делах у меня везде болтун.

54. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

[Петербург,] 1 июня [1823 г.]

Мне становится уже страшно. Не получая от вас известия с самого отъезда из Москвы, я не могу придумать тому причины. Ежели Елагин в деревне, то верно уже малолетние[1] имеют на один час досуг, чтоб написать мне несколько строчек и меня успокоить.

У нас все разъехались; но не думайте, чтоб я был оттого на свободе. Напротив, тут как нарочно накопилось дело, и оканчивать его тем труднее, чем рассеяние жилища всей знати.

На днях я имел честь познакомиться с новым мин[истром] фин[ансов][2]. Вчера в первый раз дома был у него с делами, и было довольно свободы, чтоб завести разговор о посторонних предметах. Он кажется человеком благонамеренным, просвещенным, трудолюбивым, но не *без своих* фантазий! Купаясь с утра до вечера в поту во время наших сильных жаров, продолжающихся целый май, я так

ослабел, что едва держу перо в руках, и так изленился, что самое легкое дело стоит мне неимоверного труда. Для подкрепления сил читаю Дон-Кихота[3] в двух французских и двух русских переводах в одно время и пью сливки вместо чаю и кофе, а для подкрепления сердца вспоминаю время, с вами проведенное, и заставляю надежду твердить мне, что такое же время скоро опять наступит.

Уж вы не забыли ли мой адрес. Это: В доме сенатора Неплюева у Прачешного моста.

55. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 31 августа 1823 г.

Наконец дождался я своего старика[1]; он возвратился вчера здоров и весел. Погостив у любезной дочери, кажется, он получил новые силы — верю ему потому, что и сам недавно испытал подобное лекарство, и знаю, как оно действительно.

Нынешняя и наступающая неделя будут для меня весьма хлопотливы. Надобно управиться со множеством бумаг до отъезда графа[2], назначенного в половине августа *. После сего до ноября, ежели и не буду совершенно досужен, то, по крайней мере, по своей воле могу располагать временем, трудом и отдыхом.

На днях должен был проехать через Москву Федор Евстафьевич Бухмейер[3]. Вообразите, что этот старик увлекся пагубным духом времени: он отправлен с фельдъегерем в Чугуев и выслан оттуда в 24 часа. За два дня прежде мы вместе присутствовали в Совете[4], и потому наказание его не могло не оставить во мне некоторых впечатлений.

Хотя в настоящем моем положении и некстати заводиться многими вещами, но приличнее жить на легкую руку; со всем тем вы не обремените меня, ежели пришлете вторую часть сочинения Броневского[5] о Кавказе, на которую оставил я билет у Михайла.

Впрочем, я здоров — вот новое доказательство Елагину, что душа от тела не зависит, или, по крайней мере, не составляют они одну массу.

---

* Описка автора, следовало написать: «сентября».

56. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 7 сентября 1823 г.

На прошедшей неделе не получил я от вас писем — и это очень меня беспокоит. Между тем нет еще и Путешествия Броневского[1], которое, по словам вашим, было уже отправлено. Не опять ли шалость мальчика? Право, нужно, и очень нужно, учредить эту часть понадежнее.

Из Москвы разлились сюда великие милости. Никакого нет сомнения, что обрадованный высочайшим присутствием первопрестольный град снова ожил и красуется теперь приятными воспоминаниями.

Не худо иногда давать городу Петербургу чувствовать, что Москва мать ему, что в ней почиет кротость и любовь отца отечества. Без того мы слишком уже высоко вздернем нос и поднимемся, как на ходулях, на мнимых правах наших.

И в прежние времена бывали Чупятовы
«В Марокксиих лентах и звездах»[2].
Давно уже замечено, что даже мудрая Фелица[3]
«Дурачество сквозь пальцы видит».

Следственно, нимало не удивительно, что Петербург наш не весь населен и населяется людьми первого разряда, а еще менее должно казаться чудным, что мы завидуем Москве даже в кратковременных ее преимуществах и, привыкнув повелевать ей, с чувством некоторого унижения приемлем щедроты, из недр ее излиянные.

Вот какую чепуху можно нагородить, когда не о чем писать и думать. Уродливое мое воображение олицетворило два великих города и придало им мелочные страсти, обыкновенно нас обуревающие. Сколько можно было бы вывесть последствий из сего предположения! Но, к счастию вашему, мне писать более лень и потому, право, лень кончить в установленной обычаем форме.

57. В. А. ЖУКОВСКОМУ

Петербург, 26 сентября 1823 г.

На прошедшей неделе получил я из Москвы два письма. Одно из них от Авдотьи Петровны — весьма неприятное, ибо содержало оно в себе уведомление о кончине любимого ею дитяти — Рафаила, прекрасного, как ангел,



В. А. ЖУКОВСКИЙ
Литография. Из кн.: Альбом выставки
в память Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского

и жалкого по перенесенным страданиям, почти с самого рождения. Другое письмо от Елагина, столько же приятное, сколько первое было огорчительно. Он пишет, что А. П. разрешилась благополучно; но сыном или дочерью — ветреный наш корреспондент, и как видно по тону письма, от избытка радости, не благоволил сообщить нам [1].

Спешу вас уведомить, ибо знаю и очень знаю, что эта новость для вас не менее важна, как и для меня.

Скоро ли в Петербург?

[*Адрес:*] Его высокоблагородию Василью Андреевичу Жуковскому в Гатчине.

58. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

[Петербург,] 27 сентября [1823 г.]

Поклон до сырой земли за приятную весть и за успокоение меня. Эта весть была для меня тем необходимее,

что предшественница ее сильно огорчила. Но что делать, потеря была неизбежна и давно предвидена.

С переселением на новую квартиру я так растерялся в канцелярском своем устройстве, что едва могу писать — и потому извините, что пишу мало.

Жуковского уведомил, но видеться с ним ранее половины октября не могу. Тогда все исполню. Это чудный человек; когда начинаю говорить с ним, то вовсе забываю, что есть на свете деньги и что есть на свете другие отношения, кроме сердечных. Обещал ежели не при первом, то при втором свидании перемочь себя.

Броневского[1] пришли, когда восхочешь. Здесь служит со мною родной его брат, и он уверяет всеми богами, что карта, ей-ей, еще не вышла.

59. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 2 ноября 1823 г.

Прилагаю при сем письмо Настасьи Григорьевны[1] и благодарность мою за последнюю вашу грамотку; она была для меня необходима, ибо я начинал уже сомневаться о вашем здоровье.

Дело Н. Г. до того испорчено, что помочь ей совсем нельзя, разве особенным чудом. Она была больна с приезда сюда и пролежала дома то время, когда соперник ее успел все привести к концу. Теперь будет уже исполнено все в его пользу; ей остается только просить государя, чтоб приказал пересмотреть дело вновь в Госуд[арственном] совете. Уверившись в справедливости ее иска, я присоветовал ей послать к государю письмо, но не скрываю от вас, что дело и в Совете может быть решено не в ее пользу; ибо в нем много неясностей и легко толковать криво и прямо.

Жуковского нет еще в Петербурге, но, кажется, он скоро будет, ибо поговаривают о парадном въезде сюда новой великой княгини[2] в 8-е число ноября. Ему предстоит опять приятное упражнение обучать царевну российской словесности, а, по общему всех отзыву, юная сия особа принадлежит к числу редких женщин по уму, образованию и по сердцу.

Я не понимаю, сестрица, вашего вопроса о внутреннем моем состоянии. Оно, кажется, всем уже известно; по крайней мере, я не могу ничего придумать к пояснению

того, о чем говорил уже с вами. Все те планы, какие имел я в старые годы, рушились и остались в одном воспоминании; мне остается только служба и дружба ваша, первая занимает всю голову, а последняя все сердце. Как умею, так и строю из сих материалов воздушные свои замки; а известно, что в архитектуре сего рода не нужно ни строгих расчетов, ни правильного расположения частей.

Есть малороссейская пословица, что не так бес страшен, как намалеван; на основании сей истины и мое пиво не так сильно бродит, чтоб не оставляло уже места никакому другому брожению в моей голове — и потому вы можете успокоиться по сей статье и считать это дело в числе многих других, с коими управился уже я, хоть и с досадою.

Вчера на горизонте нашем появилась новая литературная планета в лице Филимонова: при первом свидании, которого ожидаю не позже как через 60 минут, мы поговорим об вас и потом попотчуем его разговором об новой поэме Олина[3], которую, признаться, я еще и не читал.

Скажите откровенно, писывал ли к вам кто-нибудь такую несвязную грамотку? Как бы то ни было, но вы из нее усмотрите, что я и не думаю ни о какой разборчивости, коль скоро беседую с вами; лишь бы сказано было то, что думаю и чувствую в то самое время, как пишу, а такая откровенность едва ли не лучше объясняет состояние души, нежели все выисканные речи, несмотря даже и на противоречие.

60. А. А. ЕЛАГИНУ

[Петербург,] 7 марта 1824 г.

Я удостоился с прошедшею почтою высокопочтеннейшего письма вашего, высокомилостивый государь Алексей Андреевич; редкость сия, конечно, и не для меня была бы удивительна; почему и немудрено, что я обрадовался, хотя в то же время не перестал беспокоиться об Авдотье Петровне, от которой две недели нет ни строчки.

Жуковский[1] лют на тебя, как почитатель Али на чтителя Магомета.

Я испытал в последнее время множество нашествий, а именно:

1. Должен был прочесть всю систему спряжений Полевого и Греча[2]. Долго было бы толковать, в чем они

правы, в чем неправы, где умничают и где дурачатся.

2. Браамс возлагает на меня Еммануила[3], не имея чем платить за него в пансион.

3. По милости своего камергера потерял все почти свое белье до нитки.

4. Командирован на съемку болота[4] за 150 верст, где, может быть, и проживу пол-лета.

Чье сердце не содрогнется при столь великих и ужасных бедствиях? Для подкрепления бренного своего состава я решился денно и нощно заниматься немецким языком, чтоб напиться всеми таинствами магии по новейшим открытиям, быть первым магнетизером, волхвом и проч., и проч. и посредством чар приобресть способность переноситься к тебе в одно мгновение для того, чтоб дать по носу щелчок каждый раз, когда ты забредишь о 1824-м.

Греч обещается прислать на днях и остальные свои тетради.

Браамс обещается писать каждую почту и требует ответов.

Гонигман[5] сбирается чуть ли не сечь меня за то, что не умею и не хочу смотреть за хозяйством.

По окончании съемки Оттинского болота обещаются поручить мне поверку и продолжение открытий Матюшкина и Врангеля[6].

Где же те острова,
Где растет трынь-трава?[7]

Если б знал я их, то, *во-первых*, учинил бы им подробную съемку; *во-вторых*, вникнул бы во все правила спряжения глаголов употребляемого на них языка; *в-третьих*, посеял бы на них белый лен, *в-четвертых*, завел бы в них высший лицеум.

При содействии вашей семьи слава моя не пропала бы в потомстве, но, напротив:

1. О ней сохранились бы акты в московском Иностранном архиве[8].

2. О ней сочинены были бы прекрасные сочинения.

3. Нарисована была бы она в аллегорических картинах.

При сем последнем слове Жуковский вспыхнул, как порох. Нет, нет, кричит он, по картинным делам нельзя иметь с Елагиным никакой связи!!. Помилуй бог, сказал я и закурил цигарку.

По путям у нас важная новость: велено оставить порядок 1820 года и обратиться к 1809[9].

Департамент и дежурство улетают:

«Как легкий пух от уст Эола».
«Где скрылись ханы?
Где гарем?»[10]

К общему сожалению, скончалась наша герцогиня[11]. <...>[12]

61. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

[Петербург,] 15 апреля 1824 г.

Слава богу, дождался я и от сестрицы несколько слов, хотя в междустрочии, хотя мимоходом, но я рад и тому; ибо всяк дар совершен, свыше нисходяй*.

Предтечи мои вас обманули. Правду сказать, все признаки моего нашествия громогласно возвещали его приближение, особенно же отсутствие певца барок[1]; при всем том я остался неподвижен и далее Оттинского болота во все лето не перенесу телеса моего.

Плюнь ты на болото, от этого оно не будет ни мокрее, ни суше.

Напротив, я ожидаю и весьма желал бы твоего нашествия: мы можем лето провести приятно. Магнитная сила Синих гор для меня нечувствительна, биржевой курс на все монеты, которых могу я разбирать надписи, очень недурен, а прейскурантом на некоторые сибирские произведения нельзя довольно нахвалиться[2].

При всем том я грущу и имею причину, ибо теряю одного из лучших товарищей по нынешней моей службе. Милый Севастьянов[3] ужасно болен; каждый день навещаю его семейство; мало надежды, чтоб первое дитя его не родилось сиротою.

Праздник прошел без всяких приключений: я почти не приметил его.

Его преподобию архимандриту армянскому[4] благоугодно было позвонить к обедне; это доказывает: 1, что уже 10 часов; это доказывает: 2, что я не могу уже успеть к М[ихаилу] М[ихайловичу], а потому на вопрос о Матюшкине полуофициально только имею честь донести, что ему

* Так в оригинале.

лучше подождать Врангеля в Москве*, ежели ордонанс- и екзерциргаузы, квартальные и фатальные седовласой столицы не прогневаются на него за то [5].

Будь прокляты все немцы за почтенного земляка своего Крафта, которому с непамятной древности вздумалось начать и в недавнем времени кончить превосходное свое сочинение о плотничном искусстве; ибо, по важности сего творения, мне необходимо его иметь нужно; а он, собака, ушами нашего С-т Флорана и слышать не хочет, чтоб уступить его менее 400 рублей за экземпляр [6]. Вот нашествие нашествий во дни праздников праздника!

Г. Патентованный [7] имеет полное право переводить и изводить все, что мне принадлежит, выключая, однако же, татарских сапог с туфлями, за надежду получить кои я покорнейше благодарю ваше высокое благородие.

Чтоб не опозорить моей грамоты, написанной самым чистым, высоким и превосходным слогом, я прилагаю особенный лоскуток бумаги о некоторых касательствах моих к тебе поручений.

Гонихман, имея и место, и голос в придворной конюшне, кивает тебе головою; юноша в мундирном своем тулупе [8] также что-то ворчит тебе сквозь зубы; Дельвих [9] всею тяжестью своего баронства клонится к сырой земле; а Корнилович [10] на всех европейских языках, ему известных (как 2×2=4), лепечет тебе светские учтивости по формам времен Петра Великого. Аз же много [г]решный есмь Аз.

Сейчас получил твой последний Иеремиин плач; сейчас получил от сестрицы письмо к Жуковскому, благодарю, по крайней мере, за то, что оно через меня. Отправлено оно уже куда следует.

62. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Штаб поселенного гренадерского графа Аракчеева полка, 17 мая 1824 г.

Что суть Синие горы? Место злачно, место покойно, отнюду же отбеже болезнь лености, сластолюбия, гордости и прочих семи смертных грехов. Как бы то ни было, но если б, по счастию, удалось в течение трех последних

* Это сущий вздор, а поступить ему по письму Энгельгардта, то есть ехать сюда и к нам. (Примеч. Г. С. Батенькова.)

дней вытрезвить его высокоблагородие господина архитектора Соколова[1], то предотвратился бы ряд нашествий и я с спокойным духом отправился бы на Оттинское болото. Но на кого не бывали невзгоды? И Елагин трикраты удаляем был от лица Кабазинского, и Елагин седьмь раз седмерицею изгоняем был из Луцка, где какие-то три грации (ежели могу теперь положиться на свою память) давали ему более права сетовать, нежели моя разлука с немцем, юношею и армянским архимандритом.

Ах, всечестный отец, разлука моя с вашим преподобием близка и неизбежна! Но я рад от всей души, что ее превосходительство к нам возвратится, и как ни люблю древности, как ни желаю возвращения древних героических и даже патриархальных времен, но отнюдь не далее, как от времен Ильи Муромца и, по крайней мере, спустя месяц и день после сильной его победы над Соловьем-Разбойником; ибо раньше сего времени опасно было бы ехать из Чернигова[2].

Всякому, кто хотя немножко слыхал про хронологию и астрономию, известно, что время заставляет все движущиеся вещи, околесив некоторую часть неизмеримого пространства, обращаться на прежнее место. Вследствие сей истины, понеже и вы не можете уклониться из-под закона *для всякого*, должны верить, что я возвращусь в Петербург, и там искать меня, а не на Синих, которые высоки, пространны, скалисты, ветрены, холодны и опасны для всякого путешественника.

Ежели б в мире все делалось с целью и намерением, право, нельзя было бы жить и не над чем было бы смеяться; это, по крайней мере, для меня все равно, как будто бы не было воздуха.

Налагаю на всех дань: заставьте вашего Вернета[3] нарисовать Синие и меня на вершине их:

в сердце с надеждой,
с Рогнедой[4] в душе.

63. С. Т. АРГАМАКОВУ

Штаб поселенного полка графа Аракчеева, 17 мая 1824 г.

Дела мои, слава богу, идут в порядке. Архитектор Соколов, с которым надобно было их кончить, задурил на другой день моего приезда, и поелику он не любит вытрезвиться ранее трех или четырех недель, то я полную

имею надежду не обеспокоить ваше благородие моим нашествием слишком скоро и насладиться на Синих горах свежестью весеннего воздуха и крепительною силою нашествий. Посему предоставляю вам сообразно местным обстоятельствам действовать по предмету переселения и умоляю только не замедлить присылкою сибирских бумаг. Вновь вступающие мне не нужны. Они по законному праву наследства принадлежат величью и наваждению Старика божия [1].

Вы не подумайте, чтобы мы здесь вовсе уже закисли. Третьего дня у почтенного нашего генерала Эйлера [2] провел я целый день в прекрасном его семействе, хотя и надлежало совершить 80 верст взад и вперед.

Отдыхаю теперь в совершенном бездействии, а понеже это редко со мною случается, то и имеет некоторую особенную прелесть.

Бог да благословит вас.

[*Адрес:*] В С.-Петербург. Его благородию Семену Трофимовичу Аргамакову при тайном советнике Сперанском в доме Армянской церкви.

64. С. Т. АРГАМАКОВУ

Штаб поселенного полка графа Аракчеева, 24 мая 1824 г.

Препровождая при сем подписанные сибирские бумаги, прошу не оплакивать меня вовсе. Здесь дела мои кое-как уже кончены. Завтра еду на болото, а оттуда в Грузино. К будущему воскресению, без сомнения, увидимся, почему и не присылать уже ни бумаг, ни писем.

65. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Штаб поселенного гренадерского графа Аракчеева полка, 24 мая 1824 г.

В величественном шествии своем нисходя с остроконечной вершины Синих гор на окружающие их долины, завтра после обедни отправляюсь я на болото с котомкою и посохом, дабы, исполнив священный долг труженика и пройдя необутою стопою топкую влагу, возблагодарить св[ятых] угодников Оттинского монастыря, в навечерие сошествия св[ятого] духа за нижеследующие блага, небом мне посланные: 1 — За полученное здесь от Елагина письмо и донесение Патентованного. 2 — За обещанный отдых

в течение всего июня месяца. 3 — За определение в министры просвещения великого славянофила, поборника фиты и ижицы и мощного карателя оборотного Э и беззаконного Ё с двумя точками, которые, конечно, во всей подсолнечной не имеют злейшего себе врага в сравнении с нижеподписавшимся [1].

Итак, наконец, судьба романтической поэзии решена. Сие исчадие модных лет, сей баловень безбородых пестунов обязан обратиться в первобытное свое небытие. Седой кластицизм возьмет принадлежащие ему права, и из русского лексикона хлынут эмигранты, принадлежащие к шайке инсургентов новой школы. *Влияние* уступит *наваждению*, *гений* заменится *розмыслом*, *уважению* явится на смену *говенство*, *и соображение* запищит под тяжелой пятою *умоключения*. *Быша* и *убо* всплывут наверх, яко елей на источнике водном; имена займут принадлежащее им место на правом, а все глаголы на левом фланге периодов — и, таким образом, устроится боевой порядок против нечистой силы карамзинизмов, жуковскоизмов, пушкинизмов, гречеизмов, дмитриизмов, богдановичизмов, и проч., и проч., и проч.

Но — воля его высокопревосходительства господина министра, адмирала и кавалера,—я никак не согласен ни *оного*, ни *секового* употреблять в письмах к вам, потому что мне не хочется ничего переменять относительно вас и потому что мы живем и движемся вне настоящего, просвещенного круга.

Наконец химия ваша дотащилась до Петербурга; но она не дается мне, как клад, ибо в ту самую минуту, как только хотел я схватить Лавоазье и Форкруа [2], бурное дыхание севера отбросило за Волхов и заставило на родине пресловутой Марфы Посадницы и в окрестностях вадимова места [3] считать кирпичи и, взяв в руки тяжелый булыжный камень, сгонять мух с казенного строения.

Как бы то ни было, но к следующему воскресенью я буду опять в Петербурге.

Бог да благословит вас. Не от того ли мне веселее, что я к вам ближе? Ах, если б ближе; но я поеду и через Гатчину... Honni soit qui mal y pense! *

---

* Устыдись, кто плохо об этом думает (франц.).

66. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 29 мая 1824 г.

Возвратясь из моего антисентиментального путешествия[1], я поморщился, когда узнал, что от вас нет ни строчки на последних двух почтах. Это совсем некстати; и я так рассвирепел, что отложил намерение описывать вам Синие горы со всеми их предшествиями и последствиями.

Худо не иметь предусмотрительности; ежели б она была у меня, то посылка ваша не почивала бы до сего времени в конторе дилижансов. Я не знал, коликия* важности есть сие дело, чтобы сохранить со всевозможным усердием и благоприличием присланную от вас расписку; но теперь сказали мне наотрез, что без нее никто в свете мне не поверит, что я — я; что все мои прочие документы, патенты, печати, доказательства и обязательства суть

Прах и пыль — объедки от червей.

Отроду в первый раз усомнился я в собственном своем имени и бытии: но в самом деле ни того, ни другого доказать нечем. Я боюсь, чтобы контора дилижансов, по силе дилижанства своего, не возбудила и другие конторы, приказы, палаты, канцелярии, ареопаги, магистраты и ордонансгаузы, а пуще всего г. коменданта Петропавловской крепости, требовать от меня доказательства, что я действительно рожден и сотворен, живу и движусь и, наконец, умру безгласен и бездыханен. Пусть не прогневается г. Аристотель и их почтения: Локк и Кант, мало от них можно иметь помочи на столь страшном суде и при решении столь трудного вопроса[2].

Битва между Булгариным и Измайловым еще продолжается[3]. Ежели правда, что судьба представляет решительную победу одной правой стороне, то нам не дождаться конца сей чернилопролитной брани.

Между тем пора и замолчать. Я смертельно устал и перемок в болоте.

67. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Старая Русса, 26 августа 1824 г.

«Ах, с чего бы начать и чем бы кончить?» — так беспрестанно говорил наш Ф. Е. Бухмейер, когда сделали его

---

* Устаревшая форма, в смысле — какой.

президентом нашей комиссии о составлении проекта учреждения военных поселений. Подражая примеру добродушного старца, я не понимаю, с чего начать и чем кончить письмо к вам с заильменских Синих гор.

Но я лучше поступлю, нежели он, и, не осуждая себя на бессонницу в течение многих ночей, начну с чего ни попало и кончу чем доведется, будучи твердо уверен, что и президент наш ничего лучшего не выдумал бы, если б и сто раз бился головою об стену.

Вы давно ко мне не пишете! Это уже не *что ни попало*, этому надлежит стоять на первом месте, и это доказывает всем всю тонкость моей диалектики, составляющей и по словам всех наших *старших писарей* единственное и твердое основание моего настоящего и будущего благоденствия.

На втором месте необходимо должно стоять описание моих хозяек: их три, каждая толще нотары[1], у каждой полмильона и особая старообрядческая моленная.

Далее — далее уж не поедем, а вернемся назад: 1-го сентября будем уже в Грузине, хоть далее от вас, считая по кратчайшему пути, известному саранче и голубю; но ближе по многим обстоятельствам бренного, худодвижного и несвязного нашего бытия[2].

Погода была бесподобная, биржевой курс хорош[3]; не правда ли, что сим и кончить надобно?[4]

68. А. А. ЕЛАГИНУ

Петербург, 14 октября 1824 г.

Милостивый государь Василий Иванович.

Получив от вашего превосходительства дело о подвозке матер[иала...]

Сие испорченное заглавие весьма кстати, чтоб поместить под ним письмо к человеку, пребывающему на политике[1].

Мне выгоднее быть больным, не потому, чтоб порошки с братиею доставляли больше удовольствия, но потому, что это могущественную лень твою приводит в некоторое потрясение. Как бы то ни было, но недуги мои, в переменной, впрочем, степени, по сие время продолжаются. Причиною пакостная погода и суеты, отнимающие у головы всю свежесть и заставляющие сидеть — когда необходимо движение; рыскать по городу — когда необходим покой.

Владыко явился и мгновенно исчез: он обратился во

сретение восходящего солнца от востока[2]. Кипы дел остались без окончания на бедной моей шее, и я не знаю, когда добьюсь с ними.

Сохрани бог от водевилей и апологов[3]: я готов скрыться от них в Петропавловскую, и ты можешь похвастать, что нашел сильнее всякого гравеизма отразительное для меня от Москвы средство, хотя и покупаешь его дорогою ценою. Сохрани бог и тебя от моего нашествия; в лютости своей я заставлю выслушать всю чепуху о иероглифах и все положения, которые написал я в течение прошедшего лета[4]; это стоит городищ[5], апологов, водевилей, саксонской карты, сдачи беспушечной роты и других сего же рода истязаний, взятых совокупно и во всем пространстве мучительного их действия!!

Я решился непременно и чего бы то ни стоило жениться в 1825 году; потому, *во-первых*, что не добро человеку быть единому, *во-вторых*, что Гонихман, слишком занявшись копытчатыми своими пациентами, мало уделяет мне нежности, необходимой для больного; *в-третьих*, что все свободные от власти моей люди торжественно затыкают уши, когда предпринимаю я читать им глубокомысленные свои творения о пользе пользы, о выгодах выгод и тому подоб[ном]. *В-четвертых* и паче всего потому, что Мартын Задека, великий Альберт и г. Брюс[6] предрешают единогласно рождение в 1826 году необыкновенного отрока, который, по общей логике обитателей желтого дома, к лику коих уже за самое намерение я должен быть сопричислен,— не может быть никем другим, кроме моего милого *Тарасушки*.

Аминь.

Барон Дельвиг обещался мне прислать письменное свидетельство, что он, вышеупомянутый, ежели и не вовсе не начинал пародии на стокгольмского своего собрата, по крайней мере, никогда ее не оканчивал.

69. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 14 ноября 1824 г.

По сие время мы не можем опомниться и успокоиться, взирая на каждом шагу на ужасные следы опустошительного потопа[1]. Нас пугает всякое едва приметное возвышение воды, пугает туман, слабый ветер, а более всего пугает, как детей, ежедневная смена дня ночью. Петер-

бург и его окрестности лишились многих своих красот, и вместо беспрерывного улучшения с 7-го ноября началась для сего города эпоха возобновления, и оно, конечно, много лет должно продолжаться.

Потери несчислимы. Скажу о главнейших: до сего времени насчитано около 2 т[ысяч] человек потонувших; Галерное селение[2] не существует; большая часть тамошних домов сдвинуты с места и унесены водою; сахарные, кожевенные и другие заводы или вовсе разрушены или много потерпели; складочные места на пристанях также; суда разбиты и рассеяны; на Васильевском острове, Петербургской и Выборгской стороне залитые водою домы большею частию не годятся для жительства, по крайней мере, в течение нынешней зимы; разрушением мостов все сообщения весьма затруднены; прекрасные острова: Каменный, Крестовский и Елагин — едва ли когда придут в прежнее состояние. В Летнем саду буря скосила лучшие аллеи; красивые окрестные дачи уплыли в море. Главная набережная в плачевном состоянии; Кронштадт лишился многих укреплений и вооружения, и прекрасные фонтаны Петергофа большею частию исчезли. По умеренному счету все известные доселе казенные и частные убытки оцениваются, по крайней мере, в 150 миллионов рублей. Здесь не считается порча мостовой и оказывающиеся во многих домах трещины, вероятно, от ослабления водою фундамента.

Государь беспрерывно оказывает истинное попечение: и опытом сего бедствия мы уверились в нежности чувств его к своему народу. Частные подвиги сострадания бесчисленны.

О распоряжениях к скорому пособию разоренных вы, без сомнения, уже знаете. Из генерал-адъютантов сделаны три военных губернатора в разных частях города: они обязаны действовать скоро и решительно. Беднейшим роздан будет миллион рублей, и доставляется приют всем, кои его лишены. Если ты читал рескрипт на имя князя Куракина, то, сделай милость, не критикуй строго: я писал его скоро — и притом это первое дело по назначению государя[3].

Прощай. О Пуническом страхе глубокое здесь молчание после громкого шума[4]. Во избежание всяких неизбежностей я прошу тебя никак и ни в чем по сему случаю не призывать всуе моего имени. В моем положении нужно

несравненно более осторожности, нежели для девицы пред женихами. Очи всех на тя, господи!

С Жуковским я не видался после беды; но был у него — видел Хромова[5] и Александру Андреевну[6]; она что-то сухо приняла меня.

Целую весь собор.

70. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 29 ноября 1824 г.

Вы, кажется, слишком уж напуганы нашим пото[по]м. Видимые следы его мало-помалу начинают сглаживаться, и все приходит в прежний порядок. Потерпели более всего бедные, но и они щедростию государя выведены из крайности. Число погибших не так велико, как предполагали сначала, и доказательством совершенного нашего успокоения может служить то, что самые разговоры о потопе, две недели занимавшие всех, теперь вследствие обычной суетности человеческой совершенно прекратились; сообщения повсеместно открыты, и даже театр начал действовать. По принятым правительством мерам мы не более одного дня чувствовали некоторое возвышение цен; теперь оно осталось только в найме работников.

Во время наводнения я был дома в своей семье[1]. Мы не подвергались ни малейшей опасности. Всех тетушек и бабушек можете смело уверить, что их чада не потонули и не простудились.

Надежда быть у вас на святки не исчезла и не возросла. Все зависит от обстоятельств, количества дел и биржевого курса. Сутки-двое он был для меня очень выгоден: теперь паки пришел в прежнюю меру, и даже некоторые банкиры пугают уменьшением. Занимаюсь несколько дней расчетами о перевозке бревен и булыжного камня: они так сильно придавили сердце, что я едва собрался с вами побеседовать. Теперь не старые годы: с изобретением паровых машин силы человеческие стали дешевы и не всегда нужны.

Вчера похоронили Федора Петровича Уварова. Вечная ему память! Слезы сожаления, пролитые солдатами, лучший ему памятник[2].

О деревне я убедительно просил бы тебя, если б это было возможно и не трудно.

Болезнь сестрицы меня более пугает, нежели шесть

фонарей на адмиралтейской башне[3] пугают бедных жителей Галерного порта. Но бог к нам милостив, по крайней мере, дома, я готов в том присягнуть.

Прощайте!

Здоровье государыни Елизаветы Алексеевны, благодаря бога, по последним сведениям, поправляется.

71. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 16 декабря 1824 г.

Наконец, гонящий меня рок направил удары свои на самое основание моего покоя и поразил меня в самой тишине уединенного убежища. В тот самый день, когда для целого северного полушария ясное солнышко повернулось на лето, я испытал весь ужас варварского нашествия: оно постигло меня среди сладостных мечтаний. Куда скрыться? — аще сниду на небо — тамо еси; аще сниду во ад — тамо еси...

Я дописывал последнюю строчку в положении о покупке лесов для Старой Руссы и, поставив окончательную точку, запрыгал от радости, видя оконченным урок свой на весь нынешний высокос. Быстро пронеслись в воображении моем: Новгород, Тверь и скучный Клин, в котором обыкновенно пожирает меня нетерпение и раздражается дрянною дорогою. Уже показалась Ивано-Нотарообразная Сухарева башня[1], и я в полном жару исступления простираю руки... обнимаю... и ужас оцепенил во мне кровь ... это не вы были... О боже!.. это он—это неотразимый Граве, с тюком каченовщины[2], с стихами на губах, с язвительною прилипчивостию в глазах и с Дураковыми[3] в сердце.

Первого свидания достаточно было, чтоб сбить меня с ног: микстуры и порошки были недействительны — и я растянулся на зеленом своем диване, несмотря на все усилия ветеринарного[4].

Вдруг Петербург (несравненно более, нежели 7-го ноября) наводнили московскими новостями; я во всех был замешан. На Васильевском острове, у Невского, в Екатерингофе и на Выборгской разнеслось мое имя. Полиция опустила руки, и один только Старик по дружбе своей ко мне спрашивал ежеминутно: как это? почему это? от чего это?

Морфей, бог, до сего времени весьма ко мне благо-

склонный, вероятно, из мщения за последние ночи, в кои, зарывшись в дела, не звал я его к себе, подвигнулся на мое мучение. Из вздоров и небылиц, коими всегда ныне и присно наполнена голова моего друга, представил он ему видение, будто бы получил я в награду 100 т[ысяч] рублей. Он нимало не поколебался торжественно объявить о сем в полном собрании нашего корпуса у герцога Александра[5]. Толки, зависть, брань, защиты, споры, желания, догадки шумным роем скопились под сводами залы и полетели во все концы земли. Сам Виртембергский покачал головою — и с того времени до сей минуты нет мне покоя от поздравлений. Вечное повторение языком моим единообразного ответа: *вздор* и *нелепость* так глубоко вкоренили в моей голове понятия, сими словами выражаемые, что я боюсь, дабы не сделались они от сего времени моим девизом.

К счастию, кашель и лихорадка доставляют некоторое развлечение; к несчастию, кашель и лихорадка не позволяют укрыться от моего гонителя... Он здесь... он у меня... он за плечами ... боже! Дай мне терпение!

Полярная Звезда ныне не взойдет. Северные Цветы и Русская Талия затмили сие светило[6]. Коль скоро выйдут они — я пришлю к вам.

Злодей выпросил отсрочку — на целый месяц[7].

72. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 20 января 1825 г.

Завалили меня, загромоздили меня, замучили меня! При всем том от вас нет ни строки: не стыдно ли? Не грешно ли?

С Жуковским я виделся только на полминуты: нашествие Карамзина разлучило нас[1]. Мне приятно было видеть, что портрет нашей сочинительницы[2] вместо зерцала стоит на письменном его столике; мне приятно было слышать, что он все до самой последней мелочи желал знать об вас. Не будь в П[етер]бурге Карамзина и двора — мы разболтались бы не на шутку.

У меня сегодня весь Петербургский Парнас[3]: я представляю его Елизавете Михайловне[4], и потому наипаче в суетах. На Телеграф[5] собирается сильная экспедиция: всячески стараюсь смягчить ее удары и чуть уже не побранился с польским выходцем[6], который, мимоходом

сказать, что-то поморщился, когда постращал я его Одоевским[7].

Прощайте.

Сейчас получил вашу писульку: только-то?

73. А. А. ЕЛАГИНУ

Петербург, 23 января 1825 г.

Я готов побожиться, что пьянство и буянство не доводит до добра. Доказать могу молчанием Елагина. Прибил бы его, собаку, если б достали руки!

Павел Семенович[1] отправился уже в Москву: он лично представит вам подробный отчет во всех своих действиях и страданиях. Будьте готовы выслушать об эполетах не диссертацию уже, но полное собрание образцовых сочинений в стихах и прозе, не яко опыт творческих его способностей, но яко опыт возбуждаемого в вас терпения.

Но нет худа без добра: вы получите от него 200 руб., данные мною при отъезде. Хорошо сделаете, ежели на половину из них купите мне и пришлете бронзовых вещей, о дешевизне коих в Москве свирепствует здесь трескучая слава. Из остальных подумать надобно о Конском журнале[2] для Гонихмана, ежели Померанцев[3] поупрямится заплатить за это*.

Наконец наступил страшный час: я должен признаться в своем невежестве.

По справке с историею оказалось[4]:

1. Изабелла была внука Генриха (II) Тринстамара, короля Кастильского, побочного брата Петру-мучителю, дочь Иоанна II-го, короля Слабого и Изабеллы Португальской, по великим интригам дона Альвара выданной за короля.

2. Фердинанд был сын Иоанны, королевы Аррагонской и королевство Сицилийское получил прежде, нежели Аррагонию.

3. Несчастный Дон-Карлос, брат его, был соперником его в искательстве руки Изабеллы.

Я благодарен по крайней мере за то, что испанскую историю знаю как пять своих пальцев. На все вопросы готов отвечать неукоснительно.

---

* Адрес: Федору Ивановичу Гоних[ману] в Придворной конюшенной конторе. (Примеч. Г. С. Батенькова.)

На днях взяты у нас вооруженною рукою все известные карточные игроки. Съезжие, гауптвахты и крепость да будут им достойным жилищем!

74. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Петербург, 3 февраля 1825 г.

Наконец долг за мною: я не успел еще отвечать на два ваших письма. Причиною не дело, не безделье — а как какое-то... ни то ни се.

По приезде нашел дела довольно, но желания и силы одолеть его слишком мало. По общему своду оказалось, что число родившихся идей к числу умерших относится как 1:10. В сердце уже и заглянуть не смею.

Кстати о сердце... поздравьте! В него вкрадывается нечто Аррагониальное и Донкишотолиальное [1]: или жить в семье, или пуститься в Ашантиямо искать приключений [2].

Кстати о семье:... я душевно благодарю вас за Дельденов: они до без памяти вам благодарны.

Кстати о благодарности... Пояски совершенно были угодны, а музыка на «Черную шаль» признана слишком высокопарною [3].

Кстати о высокопарности... у ашантиев является нечто великое: борьба дикости с желанием образования; не для них ли теперь время Петра?.. Но понеже на меня действуют два разных желания, следственно, тянут в разные стороны, и, следственно, я должен остаться в бездействии, как сие совершенно известно по галиматейной философии мудрому нашему Елагину.

Кстати об Елагине... Имя сие здесь не в большом уважении, яко картежное и, следственно, корыстолюбивое.

Кстати о корыстолюбии... Его во мне совершенно поняли и, вняв молве, в гравиизме и елагинизме имеющей начало и почивание, вознаградили меня за труды прошедшего года... бриллиантовым перстнем [4]! Есть надежда, что на будущий пожалуют *шаль*, а на предбудущий пелерин — и, таким образом, снабдят полным приданым, для семейной жизни необходимым.

Кстати о жизни... Выкиньте из головы, милая сестрица, негодные ваши страхи. Суеверие прилипчиво; пожалуй, вы лишите меня и последнего покоя, сокрушите до конца.

Кстати о конце... пора кончить!

75. А. А. ЕЛАГИНУ

Петербург, 20 февраля 1825 г.

Стыдно и смотреть на белый свет, имея перед глазами два твоих письма, на которые я не имел чести, а еще более досуга отвечать в течение недели.

Причины суть:

1. Дела, которых навалилось на меня такое множество, что и доброму верблюду едва будет по силам.

2. Пьянство, возбужденное именинами, свадебными юбилеями, недоимками пиров, от потопа накопившимися, и благополучным отлетом 1-й недели великого поста.

3. Лютость за ту лютость, которую так насмешливо ты мне приписываешь; ибо на самом деле я не имею надобности быть лютым, получив подарок в 3 т[ысячи] рублей за одну только понравившуюся царю бумагу, что гласит и самый акт, и сверх того короб обещаний, исполнение коих, яко идеи должно проявиться во времени и пространстве в тот великий момент, когда труд сравнится с милостию и оба совокупно в абсолюте улягутся, совместятся и почиют.

4. Сердце. По сей статье надлежало бы говорить много; но не с такими людьми, как вы, почтеннейший друг мой. Математика, с коею вы не имеете чести быть лично знакомы и которую вы мне в сем случае рекомендуете, как лучшую гувернантку, по мнению моему, есть переодетая ягая баба, от которой много уже терпели наши праотцы и которая пестом своим не может произвести ничего изящного, с костяною ногою далеко не ускачет; а что всего страшнее, то она помелом своим загладила на земле все следы ее последователей. Математика на каждый вопрос предлагает бесчисленное множество решений, а сердцу нужна заповедь: да не будут тебе инии, разве мене. Рука, которая изведет меня из земли Египетской, в которой слишком скучно и пусто, несмотря на все чудеса, иже суть на поле Танеосе [1], рука сия ... но что об ней говорить:

«Вам непонятен чувства глас».

Имею честь быть и проч.

Из сего следует, что мы с вами на политике!

76. А. А. ЕЛАГИНУ

Петербург, 3 марта 1825 г.

Ты так искусно умеешь все склонять в пользу своей лености, что нашему брату, поседевшему в крючкотворстве, надобно учиться у тебя изворотливости... бумажный тебе венец!

Вчера ввечеру град св. Петра весь был освещен великолепным образом. Двумесячный младенец [1] был тому причиною. Сожжено: три солнца, пять лун, Додонское прорицалище, Рейнский водопад, снежные вершины Сент-Готарда, Цесарева торжественная колесница, большая масса облаков, Колосс Родосский ... и проч., и проч. Можешь легко себе представить, какое зрелище сей необыкновенный фейерверк представил праздным и любопытным. Стечение людей было чрезвычайное, несмотря на то, что из каждого почти дома можно было видеть, даже слышать и обонять.

Итак, новый деревянный с.-петербургский театр, освещенный газом и привлекавший к себе ежедневно многочисленную публику,— уже не существует! Кратка была жизнь его. Кто уехал отсюда в августе и приедет завтра, тот не поверит, чтоб у Чернышева моста мы видались с Андромахою и слыхали Водовоза.

Дела мои пришли в страшное движение. Никогда не были они важнее, опаснее и неисповедимее. Я вовсе не знаю, что я и что хотят из меня делать. Писать к тебе об них значило бы болтать пустое, прошу только не верить слухам, которые дойдут, может быть; а еще настоятельнее прошу всячески их оспаривать, уверяя и возглашая, что я не пишу ничего и, следственно, все ложь, суета и произволение духа.

Что Бердяев? Статью его цензор не пускает на свет. Жаль и досадно.

Что Анна Николаевна? Именины ее пировал я у Прокофьева [2] — и не на шутку.

Прощай! Обнимаю тебя, и, следственно, мы опять не на политике. Но на чем же? Пусть хоть на кумовстве до времени.

77. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 27 марта 1825 г.

Пост и постование, дела и делание и многие прочие другие обстоятельства отнимали у меня столько времени и самой охоты писать, что едва ли не отстал я уже в этом и от ленивейшего из своих собратов.

Поздравляю с великим праздником и целую всех вас не яко Иуда, но яко жены, иже стояша одалече.

О женах я весьма бы разговорился, если б не был сегодня великий пяток. Но о чудесах говорить можно. Одна похищенная и девять лет на ложе брачном почивавшая, оставив его, во услышание всех вещает, что языцы вскую шаташася; но что долее не может уже она приводить в действительное исполнение второй пункт великопостной молитвы св. Ефрема[1]. Это испугает хоть кого и свидетельству долгоногого и долгоносого придает немалую силу.

Полковником скоро я не буду и быть не желаю. Чудно мне, что ты все меряешь на гостинодворский аршин; кажется, я знакомил уже тебя с биржевыми делами[2].

Распоряжений о крестнице[3] я потому не сделал, что вовсе не знал своего избрания.

Московскую вашу Мумию давно не видал; явлюсь к ней в праздники и тогда же надпомню Прокофьеву по питейным делам.

Ответствуя таким образом на каждый пункт твоего письма, я мог бы считать уже себя уволенным от дальнейшего суесловия, но понеже не всегда я охотно расстаюсь с пером, когда пишу к вам, то охотно скажу еще что-нибудь.

С некоторого времени Жуковский начал являться на нашем семейном горизонте. Его очень полюбили, и мне весьма жаль, что двор поглощает все его время и не позволяет ему чаще быть у нас. В этом нет никакого сомнения, что здесь он нашел бы более, нежели где-нибудь, отрады, пищи и благоприятства, по крайней мере, собственное мое чувство так убеждает.

Что касается до моих дел, то они в странном, лихорадочном состоянии. Утвердительно знаю только, что в течение долгого времени каждый год моей жизни так сильно переменял мое положение, что оно нимало не сходствовало с прошлогодним. Предаюсь во власть божию!

Прощайте.

78. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Петербург,] 9 апреля 1825 г.

Немножко болезни, побольше сует и многое множество тоски и скуки останавливали меня писать к вам. Никогда я не спрашивал так часто, как ныне, самого себя: для чего я живу, для чего я тружусь? для чего я борюсь? для чего я ... и проч. и проч.

В старину, смотря на даль своей жизни, я видал на ней густые облака, непроницаемые туманы и кое-где минутное сияние света: можно было подумать, что мрак временно покрывает нечто светлое, прекрасное. Теперь та же темная даль ... но без облаков.

Не включайте меня в число чувствительных — недотрог, не предполагайте вздыхателем. Мне просто душно в тесноте, жаль прежней младенческой души своей и несносно терпеть беспрестанные ей принуждения.

Здесь князь Шаховской [1] — и дай бог ему здоровья: мы хотя редко, очень редко видимся, но уже мысль, что есть с кем увидеться, подкрепляет меня.

Весь дом наш на лето отправляется в Ревель, к морским ваннам: итак, я останусь совершенно одиноким. Нельзя ли навеять от Москвы утешение; приезжайте сюда или пошлите хоть одного Фердинанда, ему нужно рассеяние после разлуки с Изабеллою [2].

Бог да благословит вас всегда ныне и присно.

79. А. А. ЕЛАГИНУ

Петербург, 21 апреля 1825 г.

Меня начинает уже пугать ваше безмолвие. Давным-давно не знаю, что с вами делается. На прошедшей неделе я отдал небольшую дань весне, пролежав несколько суток в постели. Но по могуществу моего кощейства восстал опять на новые суеты.

В начале мая еду в Грузино и там буду жить большую часть лета. Впрочем, поговаривают о путешествии двора в Москву, и, может быть, я предстану к вам — и с Жуковским[1]. Но не мечта ли это сердец чувствительных?

Курс паки подымается: лучшие банкиры предсказывают что-то особенное. Что касается до самого меня, то, кроме постоянного продолжения привычки к сухоядию и

неупотреблению мяс, ни в чем не переменяюсь. За устрицами поминаю тебя каждый раз.

Что ваша 4-я часть Мнемозины? За нею и бердяев литературный дебют почиет[2]. Пишите ко мне, сестрица, ради бога.

[*Адрес:*] *В Москве.* Милостивому государю Алексею Андреевичу Елагину возле Сухаревой башни в доме Померанцева.

80. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 28 апреля 1825 г.

Мне становится очень страшно: с одной стороны, продолжение упорной болезни; а с другой — ваше безмолвие рвут мое сердце. Не умею изъяснить причины, как это ни есть для меня необходимо.

В воскресенье отправляюсь в Грузино: там можно отдохнуть от дел, воздух здоровее городского и лечиться можно без помехи.

Завтра в доме у нас свадьба. Прекрасная Анета, племянница М[ихаила] М[ихайловича], обращается в госпожу Имберг[1]; ежели вовсе не изменят силы, я буду держать венец.

И Бердяев жалуется на то, что вы не пишете; леность он прощает, а ежели что-нибудь другое, то сохрани господи.

Прощайте, рука устала.

81. [С. Т. АРГАМАКОВУ]

Грузино, 9 мая 1825 г.

В спальне на столе у окна или на правой горке сыщите и пришлите мне поскорее книжку *О стрельбе в цель.*

Из Штаба принимать и присылать ко мне все бумаги, какие будут у вас получены, особенно же приказы. То же разумеется о письмах.

Спасибо за письмецо. Царское Село я проспал и был там в 2 часа ночи. Проснулся уже в Тосне[1] на рассвете.

Журналов и газет не присылать, но хранить в порядке. Около 20-го я побываю в П[етер]бурге, ежели не отправлюсь в Старую Руссу.

Прошу кланяться Александру Алексеевичу и Елизавете Михайловне[2].

82. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Грузино, 11 мая 1825 г.

От беспрестанной тоски, что так давно не имею от вас сведений, а сохрани бог, ежели от чего-нибудь еще другого, мне ночью с 10 на 11-е мая приснился такой страшный об вас сон или почти видение, что я едва опомнился. Ради бога, образумьте поскорее, любезная сестрица, нового суевера и не дайте сойти с ума.

Здесь живу я неделю и отдыхаю; жаль только, что дурная погода препятствует в полной мере наслаждаться сельскими удовольствиями. Надобно быть в Грузине, чтобы иметь понятие, до чего может дойти деятельность: здесь шесть дней не увидите праздных, в седьмой не увидите трудящихся, и поистине нигде нет ни изнуренных, ни нищих. Без сомнения, трудно было победить первые навыки, но теперь здешнему поселянину и помыслить страшно обратиться в старый быт. Когда будет у меня деревня возле вашей, уверяю вас, что вы позавидуете мне и пожалеете, что не видали образцов [1].

Что ни толкуй, а меня жестоко мучит неизвестность об вас. Неужели продолжите вы это тиранство?.. Хоть одну строчку.

83. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 23 мая 1825 г.

Чувствуя в полной мере великую и богатую вашу милость, столь явственно доказанную мне многим множеством полученных вдруг писем, после долгого молчания и во уважение моих воззваний и жалобных воплей—пишу:

I. В самом деле чудно, что я ощущал ваше беспокойство. Как это было — в прозе объяснить трудно; а на стихи я не мастер и потому оставляю до личного свидания, которое, может быть, когда-нибудь и случится: скажу только без всякого увеличения, что я чувствовал шепот какого-то невидимого существа, которое объявило мне о вашей опасности так страшно и таинственно, что я сего никогда не забуду.

II. В Грузине я довольно отдохнул и не скучал: прочел лорда Байрона во французском переводе от доски до доски [1].

III. Галиматейная философия в великой опале: ей суждено уже всесожжение.

IV. Граве вытаращил глаза и не понимает, за что мы рассорились, а по его мнению, может быть, и подрались.

V. Торчу теперь более за городом; 1-го июня еду взглянуть на Нарвский водопад, потом в *Гатчину* и, наконец, в гости на Волхов. Обратно буду сюда, и надолго, около 12 июня.

VI. Сердце мое темно и по причине моей неискренности не узнаешь ни об исцелении его, ни о терпении. Кому же будет оно принадлежать по закону, это такая тайна, от познания коей да сохранит тебя бог!

VII. Жуковский для меня не существует; о Кюхельбекере[2] не знаю ни аза в глаза. Все мудрено и чудно, не выключая и Конского журнала.

VIII. Вындомской[3] из кареты, в которой ехал он с военным министром, проворчал какую-то о тебе околесную. Чудеса! — да это и было в Чудове[4].

IX. Мы гуляем в шубах; сказывают, что лето отложено до будущей зимы.

X. О Холанском[5] и я желал бы знать что-нибудь.

XI. Здравствуйте и непременно здравствуйте!

XII. Прощайте.

84. А. А. ЕЛАГИНУ

Петербург, 2 июня 1825 г.

Мне ничего более не остается, как униженнейше благодарить вас, Алексей Андреевич, за недоброе обо мне мнение. Вы сильны и могучи на доказательство, что я — не я; да поможет вам сила высшая усомниться в самих себе! Одно только сомнение да не коснется ни главы, ни сердца вашего (ибо оно не простится ни в сем веце, ни в будущем), это сомнение в ангельской душе милой сестрицы. Кажется, в том вы не будете со мной спорить, несмотря на все наущения демона, обладающего вашим пером и устами.

Сверх чаяния остался я в Петербурге и, может быть, на целый месяц. Шатаюсь по окрестностям, везде почти носящим следы ноябрьского бедствия[1], но несмотря на то прекрасным, особенно в нынешнее, прекрасное лето.

В спокойные часы входя в самого себя, я начинаю убеждаться, что сумасшествие[2] мое растет и множится.

Сей небесный дар, истинная причина всего великого и необычайного, может быть весьма вреден моей плоти и легко истребить может последнюю надежду быть когда-либо полковником, несмотря на то, что курс мой достиг своего Maximuma.

К вам отправляется на днях г[осподин] Турниер[3] с Олимпическим цирком. Он рассердил меня до невероятности; ибо отнял последний остаток удовольствия смотреть на танцы и самые балеты; а что всего хуже, пристыдил и показал ясно, что так называемые усилия наши к достижению цели суть не что иное, как непроизвольное движение сонного человека с боку на бок: так они должны показаться всякому по сравнению с совершенством, до коего г. Турниер довел свое искусство, и, следственно, по сравнению с трудами и самою догадкою возможности, ему одному свойственными. Никогда математика не имела столь смелых и точных приложений. Вам как человеку, без ревности взирающему на необыкновенное, советую насладиться зрелищем, в одно время и чудным, и прелестным.

Бердяев, вероятно, циркуляром уведомляет о своем отъезде в Харьков: здесь его сестра и прекрасная племянница. Я с ними незнаком — и, может быть, к лучшему.

Кони мои впрягаются в новую мою коляску, на коей (или в коей, не знаю, что правильнее, и прошу спросить о том у Николая Алексеевича[4]) пускаюсь в Парголово[5], где кочует теперь вся наша семья.

Арии к вам отправляются, а Любенков уже в дороге: на последнего и супругу его взгляните ласковым оком.

Гонигман мой живет в Царском Селе, яко же и все, при дворе сущие. След[ственно], об них я не знаю не только того, что знать не должно; но даже и ничего позволительного.

Бронза? — что об ней сказать: мне не нужно только тельца иудейского.

Собираюсь пуститься в важные сочинители; но будь покоен, милый друг мой, не без твоего утверждения и не скоро. Мне всего досаднее то, что у меня по сю пору нет сына. Страстная охота быть педагогом остается без действия; а покушения мои учить взрослых вообще встречаются то насмешкою, то злобою. Словом, век мой немой; ибо несть от мира сего.

Вот тебе образчик и довод сумасшествия, с коим ... и проч.

Вындомской, напротив, очень доволен.

85. [С. Т. АРГАМАКОВУ]

[Грузино,] 18 июля [1825 г.] Суббота

Я захворал не на шутку и вчера целый день пролежал в постеле, это, вероятно, перед бурею, которая была здесь сегодня часу в 4-м после полудня.

Граф вчера ездил с Карамзиным в поселения, и по возвращении я еще не видал его.

Если по окончании каменщичьих работ будет у тебя свободное время, то потрудись мало-мало привести в порядок мое жилище, имея в виду, что кабинет мой со всею письменною частию устраивается в большой зале и двери туда из передней должны быть заперты. Много полезно было бы приделать к ним замок. Я полагаю здесь пробыть, но проездом, до 5 или 6-го августа. Мне жаль Андрея, хотя новый человек отменно хорош. По рассмотрении и соображении позволяю тебе дать ему надежду, что опять возьму по приезде. Впрочем, что ты учинишь, спорить и прекословить не буду. Корнильев об отъезде пусть решительно уведомит [1]. Из причитающегося на мою долю $^1/_3$ части чая отдать половину Лихардову [2].

Что ты не пишешь о томских?

86. С. Т. АРГАМАКОВУ

[Грузино,] 21 июля [1825 г.] Вторник

Благодаря бога, мне несколько легче и сегодня бродил уже в саде.

Письмо к Ал[ександру] Ал[ексеевичу] Багрееву, при сем прилагаемое, прошу отправить с почтою поскорее. Василью Васи[льевичу] [1] постарайся отдать сам.

Граф уехал в Петербург, чего и вам желаю.

87. С. Т. АРГАМАКОВУ

[Грузино,] 26 июля [1825 г.]

Спасибо за приятные вести из Томска. К пятнице я пришлю туда письмо, а ты купи и приготовь крестик.

Теперь я здоров; у нас куча гостей.

Г[оспо]жа Танеева[1] надолго и г[осподин] Магницкий[2] до завтра. В первый раз в жизни сегодня [обедал] с ним, сидел возле него, разговаривал много, довольно спорил, и что уже бог даст, не знаю!

С. С. Ямпольскому скажи, что по просьбе его не успел еще я кончить. Завтра еду в поселение и дня на три до среды не посылайте мне никаких бумаг.

Да, почему вы не прилагаете приказов по военным поселениям?

Велите их прямо отправлять из Дежурства. Здесь мне взять негде.

Кланяйся нашим и Вас[илию] Вас[ильевичу]. Писать лень — погода хорошая.

88. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 20 августа 1825 г.

Простите и помилуйте! Великолепию моему теперь несть конца; но не оно причиною моего молчания, а его хлопотно-сумбурные следствия.

Устройство нашего города подвинулось вперед быстрыми шагами, а именно: 1. Бутошники все с усами. 2. На извощичьих экипажах нарисованы номера по четверти аршина величиною. 3. Все кадочки, латки, подножки, козлы, колы и проч. выкрашены зеленою краскою.

Несмотря на все сии удовольствия и выгоды, я сижу как приклеенный в штабе — вот что наделала двумесячная отлучка его *шефа*[1].

Наши[2] из Ревеля вернулись, но и это не веселит а) потому, что они за городом; б) потому, что к ним ездить некогда.

Препровожденного к вам Корнильева, ради бога, поцелуйте.

Сестрица должна приложить руку в чтении сей грамотки[3].

89. С. Т. АРГАМАКОВУ

Старая Русса, 27 августа [1825 г.]

Всякий сброд, у меня накопившийся, впредь до разбора, при сем без всякой описи препроводить честь имею[1].

Опись о тобольских заводах я оставил у себя.

90. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 28 августа 1825 г.

Вы так великолепно замолчали, что моему великомолчию становится сие довольно тягостно.

Но как бы то ни было — я тяну старую песню и не отстану от вас, какую бы харю ни делал мне Елагин; ибо там, около его, близко к нему, вижу ангельскую улыбку, которая мне открывает истинное мое при вас положение и успокаивает мое сердце. От вашей стороны навевает ко мне приветный голос: «к нам, к нам! все найдешь по-старому!»

На днях я испытал большую потерю — доброго, умного, истинно честного князя А. Е. Шаховского уже нет. Он умер — и в поучение о тщете человеческой. После трудной борьбы с обстоятельствами, возвратясь из дикого и страшного в самой Сибири края, успокоился в отеческом доме, имел жену, которую любил, кончил здесь выгодно двадцатилетнюю тяжбу, получил место директора Одесского лицея [1], место по вкусу и по силам, обрадован был известием о рождении первого сына и в тот самый день, в который хотел выехать отсюда для утешения 80-летнего отца, к радости молодой жены, к успокоению молодых братьев и сестер и, наконец, для того, чтоб увидеть своего малютку,— в этот самый день мы опустили его в сырую землю.

Смерть милого человека тягостна сердцу: все кажется, будто он зовет, и сам везде его ищешь: так трудна разлука душ.

Не говорю вам ничего о себе, потому что и сам не знаю. Кроме опыта некому сказать, к лучшему или к худшему.

Целую вас.

91. [С. Т. АРГАМАКОВУ]

Грузино, 1 сентября [1825 г.]

Письмо к Тургеневу я посылаю на тот случай, что, может быть, в министерстве не сыщут плана и не займутся скоро сыскать его [1]. Сия мысль людям с толком должна указать все, что надлежит делать, а именно:

1. Отправлять его или нет.

2) Когда отправлять и проч. и проч.

То есть прислать ко мне поскорее бутылочку О-де-Лавину. Сего пока довольно.

92. С. Т. АРГАМАКОВУ

Грузино, 5 сентября [1825 г.]

Обращаю повестку. Печать и прежде прикладывали всегда канцелярскую.

Граф уехал в поселение и будет к прибытию М[ихаила] М[ихайловича]. У нас все своим чередом. Прощай.

Прошу прислать Сибирские штаты[1]. Когда будут готовы.

93. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 7 сентября 1825 г.

Перестаньте, бога ради, мучить меня. Я так давно не имею ни от кого из вас ни одной строчки, что если б был каменный, то и тогда бы сгрустил.

Служба моя несносно тяжела и неприятна. Целый день за делами и беспрестанно в огорчениях. К тому же наступила осень и здоровье изменяет. Не может быть, чтоб человек предназначен был к такой бестолковой жизни, которую многие бестолковые, как вы, в насмешку называют еще счастливою.

Как бы поскорее к вам? Не успеешь оглянуться — и жизнь уже протечет: не спросит ли сам бог ответа за таковое употребление драгоценнейшего его дара?

Корнильев, наконец, явился к вам: увидев его, скажите, что здесь ничего об нем из Сибири нет, что я его люблю, что писать мне особо и лень, и некогда.

Наши переехали с дачи, но и с ними я почти не вижусь — так время мое пропадает.

Прощайте, ни голова, ни рука не слушаются.

94. А. А. ЕЛАГИНУ

Петербург, 14 сентября 1825 г.

Калифатство мое кончилось — и я опять имею все время в своем распоряжении[1]. Причина сему, однако же, довольно неприятна. Граф тяжко заболел и поручил управление поселениями генералу Эйлеру. Причина болезни графа еще неприятнее, а именно случившаяся 10 сентября

в Грузине нечаянная смерть матери его сына. Причина сей смерти несравненно еще горестнее, ибо она последовала от рук рабы [2].

Вот простое изложение дела; о подробностях и последствиях не нам с вами, Алексей Андреевич, составлять исторические и критические рассуждения. Многоречивая Москва, без сомнения, подавит своими толками всю здешнюю и ложь, и правду: следственно, благоразумие требует не пускаться в треволненное. Скажу только, что для меня сие происшествие весьма важно, но как и в чем, право, не знаю и потому спокойно жду развязки от времени, которое разрешает и овидиевы узлы [3].

Между тем считаю себя вправе попенять вам за совершенное прекращение переписки и прощаю от всего сердца, но прошу не мучить долее.

Я очень нездоров от погоды. Сегодня мороз убелил наши улицы, и должно ожидать ясных дней. Они скоро восстановят мои силы.

95. А. А. ЕЛАГИНУ

Петербург, 30 сентября 1825 г.

Да не приведи господи я осердился было на тебя за бестолковую немоту и каждый вечер, распечатывая бумаги, ворчал по получасу, конечно, уже не комплименты, даже до вчерашнего дня, в который прояснилось лицо мое от одного взгляда на твою грамотку, гнев утих, и я снова, как агнец, пред стригущим его.

Тебе известно уже, что деятельность моя деятельностию других пресеклась внезапно. Жалеть бы и не о чем: но беда в том, что мне доводится теперь иметь дело с лицом, на коем сама деятельность почиет в мире [1]. Конечно, можно служить и без очков, известно также, что их без особого приказа и носить не должно; но вы, конечно, милостивый государь, согласитесь, что близоруким лучше жить— только во тьме.

Пресловутая битва московской спеси с петербургскою простотою [2], столь славно и столь несчастливо для обеих сторон кончившаяся, занимала нашу публику в течение полумесяца. Тут представляется нечто новое, похожее на так называемое общее мнение; но да избавит нас бог от сей заразы!

Между тем как грамотеи рассматривали с важностию,

почему бедный подпоручик, неизвестный в жизни, помрачил магнатов в день своего погребения пышностию и многолюдством,— толкучий рынок, выпуча глаза, искал насладиться лицезрением попа в козлиной шкуре[3]. О происхождении сей басни мы не знаем ничего; она изобретена в московском вкусе и самым странным образом поставлена была на здешнем феатре с дивертисментами, хорами, балетами и большим спектаклем. Горячие умы, готовые все толковать по-своему, уверяют, якобы и тут строго выдержаны классические правила.

Но вот, наконец, явилось событие, которое при всей его значительности самым сильным напряжением пиитического восторга не можно уже поставить в общей группе. Все медики утверждают, что каменная болезнь не идея, следственно, кончина графа Дмитрия Александр[овича] Гурьева[4] есть не что иное, как последствие старинного и неизменяемого закона тяготения. «Емпирики! Емпирики!» — скажут новые наши философы; но я, не заботясь о их насмешливой улыбке, осмеливаюсь доложить, что проклинать или благословлять действие идей и приписывать их всемогущество и ангельское, и аггельское нельзя иначе, как на основании Соборного уложения[5], то есть буде сыщется про то до пряма; а понеже понятие, выражаемое словом *прямо*, есть чисто геометрическое, то, конечно, ни вы, ни даже Авдотья Петровна при всем ее терпении не осмелитесь вступать со мной в дальнейшее прение; ибо известно и ведомо: что потоку моего математического многоглаголания ни скука, ни даже самое страдание слушателей, не выключая и присных, не может служить ни преградою, ни средством направления.

Итак, я начинаю. В недавнем времени доказано, что какие бы то ни было параллелограммы, написанные на боках какого бы то ни было треугольника... Но довольно; довольно того, что вы сами не пишете, зачем же заставлять вас еще не читать моих писем?[6]

В заключение я признаюсь, что если б мог ты теперь прокатиться до Петербурга, то доставил бы большое облегчение в моей скуке. Право, не знаю, почему не пользуешься ты досугом; на твоем месте я ездил бы сюда каждый год, тем более, что это весьма полезно для самого здоровья. Подумай-ка!

Северный Архив сочетался законным браком с пле-

мянницею когтеносной своей Танты! Я непременно хочу следовать по стопам его [7].

Корнильеву поцелуй.

96. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ

Петербург, 29 октября 1825 г.

Не стыдно ли, высокомилостивые государи, забывать меня? Право, и без того не знаешь, куда деваться. Мне непременно нужно увериться, по крайней мере, в том, что я не сошел еще вовсе с ума; хотя и нередко доводится наяву бредить по целому дню.

В конце сего месяца я думал было знать о себе нечто более, нежели то, что знаю. Но граф замедлил своим приездом в П[етер]бург, и я, исполняя приказание его как человека, принимающего более всех участия в моей участи и более всех способного уважить мои потребности, остаться должен только в ожидании.

Полагаю, что вы в последнем письме моем заметили расстройство мозга; желаю только знать, не привил ли и вам кому своей болезни; а дабы не обнаружить срама моего пред человеки, бросьте в пещь огненную неоспоримое доказательство, что я брежу иногда до слабости быть искренним.

Начиная с сего дня, обещаюсь бросить романтизм и в последующих четырех актах комедии, написанной моею жизнью, с точностию выдержу единство предмета и даже единство места, поколику сие согласно будет с уложением. Единство времени придет само собою [1]. Вопреки вашим наущениям я все действие должен заключить в одном искании тихого приюта, в несвязных мечтаниях о несбыточном; в спорах с друзьями, в заботах о потомках; словом, в едином, вечном и неизменном *тоже и тоже*, дарующем покой и счастие многим миллионам, среди коих каждому неделимому [2] тепло, смешно, хлопотливо и благонадежно. Аминь.

Корнильеву поклон. Скажи, что паспорта его здесь еще нет, да ежели и будет, что вряд ли отдадут всякому, кто для получения его явится с Толкучего рынка.

97. А. А. АРАКЧЕЕВУ

Петербург, 7 ноября [1825 г.] [1]

Сиятельнейший граф, милостивый государь!

Удостоверясь опытом, что силы мои действительно не позволяют мне продолжать службы без ближайшего вашего руководства и благодетельного покровительства, я чувствую, как много с каждым днем овладевает мною уныние — неизбежное следствие столь важной перемены в состоянии и внезапного отлучения от необыкновенного человека своего времени, удостоившего меня избрания и возбудившего надежды быть в некоторой мере сотрудником в делах, производимых перед лицом великого государя, важных для отечества, важных для истории.

Сего достаточно, дабы в полной мере быть убеждену, что в жизни моей наступило время, в которое всего нужнее твердость духа, решительность и смиренная покорность провидению.

Полагая, что состояние здоровья вашего сиятельства не позволяет вскорости выполнить предположения о приезде в Петербург, я осмелился последовать той мысли, о которой имел уже честь предварить вас и с сим вместе подал прошение о моем увольнении от службы.

Сиятельнейший граф! Увольнение сие сделалось ныне для меня необходимым, чтоб сохранить и душевные, и телесные силы. Оно не может попрепятствовать снова предстать пред вашим сиятельством и паки предать вам мой жребий по первому о сем от вас вызову.

Между тем не могу скрыть, что некоторое пособие о моем содержании было бы для меня благодетельным. Я не прошу о сем, не смея думать, чтоб того заслужил; но полагаю, что если б мог присовокупить к моему прошению свидетельство от корпусного штаб-доктора о состоянии здоровья, то без сомнения воспользовался бы пансионом наряду с другими.

Имея твердую уверенность в благодетельном расположении ко мне вашего сиятельства, я осмелился приложить при сем проект такового свидетельства.

С глубочайшим и неизменным к особе вашей почтением и совершенною преданностию имею честь быть, сиятельнейший граф, милостивый государь, вашего сиятельства покорнейший слуга Г. Батеньков *.

* Внизу приписка карандашом: «инженер-подполковник Корпуса путей сообщения», той же рукой, что и вся копия письма.

98. А. А. ЕЛАГИНУ

Петербург, 13 ноября 1825 г.

Долго жду я напрасно хотя одну от вас строчку, и это в такое время, когда все мои обстоятельства пришли в странное положение и утешения от друзей необходимы.

Ноября 7-го подавал я прошение по начальству военных поселений об увольнении меня от службы; вчера возвращена ко мне просьба с отзывом, что я служу в Корпусе путей сообщения и там искать должен, яко математик, *по данным* неизвестного. Завтра побреду к королевскому высочеству[1] с челобитною и челобитьем. Во всей этой истории хуже всего, ежели будут меня, как мячик, передавать из рук в руки и играть судьбою человека, некогда уваженного, до тех пор, пока не наскучит.

Служить более я не намерен. Запрячусь куда-нибудь в уголок и понесу с собою одно сокровище — чистую совесть и сладкое воспоминание о минувших мечтаниях. Перемены не почитаю за несчастие. Знаю, что многие физиогномии для меня изменятся, но, может быть, найдутся некоторые, кои сохранят прежний вид.

Да будет воля божия. Прощайте!

[*Адрес:*] *В Москве.* Милостивому государю Алексею Андреевичу Елагину. Возле Сухаревой башни в доме Померанцевой.

99. А. А. ЕЛАГИНУ

Петербург, 23 ноября 1825 г.

Спасибо тебе, милый друг, за участие; но не беспокойся, причины, заставляющие меня оставить службу, не так мало мною рассмотрены, чтоб последствия их могли быть неожиданными. В коротких словах скажу, что мне нельзя было долее оставаться при графе, коль скоро между им и мною стало лицо[1], явно мне неприязненное и не умеющее наблюсти в отношении к другим даже и простого приличия. Предстояло два случая: или обороняться в прежней позиции, подъемля на своих плечах день ото дня умножающуюся тяжесть дел и тем самым доставляя случай вредить мне по крайней мере истощением моих телесных и душевных сил, или, преклонив колена пред новым повелителем, пожертвовать добрым именем, нелегко мною приобретенным, и служить подножием к возвышению

23. Нояб. 1825. П. Бург 39

ПИСЬМО Г. С. БАТЕНЬКОВА А. А. ЕЛАГИНУ ОТ 23 НОЯБРЯ 1825 Г.
АВТОГРАФ

человека, которого ни я, ни кто другой из благомыслящих любить не может.

Очевидно, что и то, и другое положение не могут быть заплочены 10 т[ысячами] ежегодной милостыни — единственным по сие время за службу мою воздаянием. Настоящий решительный и никем неожиданный шаг имеет весь вид самонадеянности и каприза; но это несравненно еще лучше, нежели дожидаться времени, когда изженут из сонмища или когда сам почувствуешь, что голова и сердце неспособны уже ни к чему возвышенному.

От всех дел по военным поселениям уже решительно уволен. Граф написал ко мне прощальное письмо[2], наполненное лестными отзывами о моей службе и способностях, с упреком единственно в том, что для нее я не жертвую собою. Я прошусь и из Корпуса путей сообщения. Дальнейшее сего дела продолжение будет уже зависеть от того, каким образом государю угодно будет развязать оное. Поговорим о том в свое время здесь или в Москве. Теперь еще рано. В деньгах не имею нужды, но благодарю тебя за вызов, истинно дружеский.

Обращаясь к самому себе, скажу тебе, что с той самой минуты, как почувствовал я себя освобожденным от дел в поселениях, чувствую совершенный покой и радость. Здесь продолжают обо мне толковать и перетолковывать, и это, по крайней мере, годится для лучшей известности. Чтоб установить мысли на одной точке и не дать поводов к пересудам, в нынешнее время не безопасным, я огласил сделанное мне от правления Американской компании приглашение быть правителем ее колоний с жалованьем по 40 т[ысяч] рублей в год. Само собою разумеется, что это служит только последним пунктом отступления в таком уже случае, когда ничего не будет сносного, и что я не пущусь за тридевять земель прежде свидания с тобою.

Прощай.

100. А. А. и А. П. ЕЛАГИНЫМ[1]

Петербург, 18 декабря 1825 г.

Несколько дней не успевал я писать к вам и теперь едва имею досуг уведомить вас, что я жив. Благодаря прозорливости и величию души нового нашего государя все наслаждаются совершенным спокойствием, хотя и было оное на несколько часов четыре дня назад нарушено.

В числе инсургентов было несколько лиц, и вам известных, но как правительство до сего времени удерживается оглашать их, то и я сам, прекратя, остаюсь вашим покорнейшим слугою.

101. [А. И. ТАТИЩЕВУ][1]

Крепость Петропавловская, 29 декабря 1825 г.*

С позволения вашего превосходительства, представляя подробное мое объяснение, покорнейше прошу предстательства вашего по следующим предметам:

1) Довести мое объяснение до высочайшего сведения, ибо оно может дать понятие о степени подозрений на мне и о существе моих оправданий несравненно яснее, нежели вчерашнее краткое показание, данное мною в крайнем смущении, происшедшем особенно при виде многих почтеннейших лиц, с коими сей случай, может быть, навсегда меня разлучит. Из сего показания теперь я не помню уже ни одного слова и потому опасаюсь, что юридически, а еще более в мнении государя, оно может быть для меня гибельным.

2) Предавая, впрочем, себя божией милости и полагаясь на чистоту своей совести, я умоляю об [том], чтоб исследование обо мне не замедлилось.

3) Для облегчения телесных страданий не можно ли позволить из дома взять необходимые для меня вещи, а именно: белье, одеяло, сюртук и восковые свечи, да за столом употреблять красное вино.

4) Взятые к г[осподину] коменданту при аресте моем в Дворце вещи и деньги приказать возвратить мне в дом.

5) Не можно ли позволить мне иметь для чтения книги.

Подполковник Батеньков.

P. S. В сем объяснении я имел следующую цель:

1) Обнаружить сообща свой образ мыслей, как не совместный с анархическими началами.

2) Объявить, что я не участвовал ни в каких действиях тайного общества, не знал об них и не разделял его намерений.

3) Из соображений прошедшего объяснить, что могло быть поводом считать меня к сему обществу принадлежащим.

---

* Над датой помета: «Пол[учено] 30 декабря 1825».

102. С. Т. АРГАМАКОВУ [1]

Крепость Петропавловская, 18 января 1826 г.

Прошу тебя, любезный мой, принять на себя заботу о моем доме. Распорядись следующим образом:

1) Лошадей не держать долее.

2) Человека не отпускать и производить ему прежнее жалованье.

3) Я бы желал, чтоб ты перешел в мои покои; но полагаю, что достаточно будет занимать и отапливать только спальню и библиотеку.

4) Ежели встретишь надобность в деньгах, то бери у Василия Васильевича [2].

5) Озаботься сберечь вещи, которые подвержены порче от моли. В особенности осмотри белье.

6) Вообще я даю тебе полное право располагать вещами моими и деньгами, как признаешь за лучшее.

7) Хорошо бы ты сделал, если б мог прислать моего чаю с фунт.

Между тем, ради бога, постарайся успокоить сестрицу [3] относительно меня: полагаю, она очень испугана. Я хотя не совсем здоров по обыкновению, но покоен и не изнуряюсь.

Поздравляю с именинником. Весь твой Батеньков.

[*Адрес:*] Семену Трофимовичу Аргамакову. На Невском проспекте в доме Армянской церкви.

103. В. В. ЛЕВАШОВУ

[Петропавловская крепость,] 1 февраля [1826 г.]

Ваше превосходительство!

Представляю при сем смертный мой приговор.

Ежели стоит сожаления человек, заслуживающий, может быть, лучшей участи и столь постыдным для него образом погибающий, то имейте снисхождение к следующим моим просьбам:

1) Не возможно ли пресечь последствия последнего заседания, в коем я совершенно себя не помнил.

2) Не возможно ли неважные объяснения в дополнение к представляемому, ежели будет нужно, требовать, не спрашивая меня в Комитет.

3) Не возможно ли исходатайствовать в Комитете хотя некоторое снисхождение в обращении со мною.

4) По сильному расстройству здоровья, в коем теперь нахожусь, не требовать меня для допроса в течение двух дней. Я и сие едва в силах был исполнить.

5) Обратить внимание на те обстоятельства и показания, кои определяют в некоторой мере мой образ мыслей; ибо признаюсь вам чистосердечно, что мне всего страшнее, стыднее, горестнее и поноснее стать наряду с людьми, с коими, кроме остроты и молодости, ничего не имею общего. Дело мое спуталось именно потому, что я почитал их дело основательнее. Не возможно ли довести о сем до высочайшего сведения и буде можно доставить какое-либо утешение и подкрепление.

Поручаю вам себя, как ангелу-хранителю.

Подполковник Батеньков.

104. [А. И. ТАТИЩЕВУ]

Петропавловская крепость, 7 апреля 1826 г.*

Ваше превосходительство!

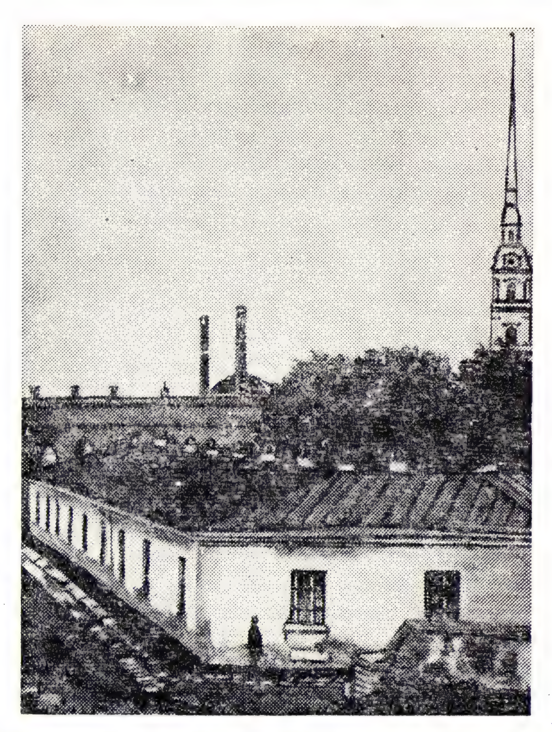
Физическое расстройство сил, ошибка и ложный стыд лишили меня плодов двадцатилетнего труда; но нелегко поверить, сколь полезно сие для морального моего бытия и как совершенно исцелился я от того недостатка, который, укоренясь с детства и укрепясь обстоятельствами жизни, омрачал добрые качества.

Гордясь своим аналитическим умом и заслугами, я постепенно усиливал врожденное и без того сильное чувство самолюбия; боялся и стыдился малейшего на оное посягательства и тем портил свое сердце.

Теперь стало для меня понятно: многие случаи жизни изъясняются. Чему я ныне был подвержен, сие было необходимо, чтоб меня исправить.

Знаю, что путь честолюбия для меня навсегда уже закрыт; что доброе мнение государя заслужить уже не можно; при всех важнейших лишениях для меня драгоценно то приобретение, что я уразумел и напитал сердце свое великою истиною: что ложный, то есть не на совести, а на самолюбии основанный стыд, есть порок, что скрытность есть уже необходимая его спутница и что совершен-

* Пометы: о получении — «10 апреля 1826 № 920»; об ответе — «10 апреля. Коменданту крепости № 599».



АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ
(фрагмент здания)
Публ. по: Рус. старина. 1904. № 7

ное чистосердечие есть лучший страж и порука нравственности поступков и чистоты мыслей.

Быв виновен трояко: политически, граждански и нравственно, я не могу уже себя никогда оправдывать ни в мнении, ни перед законом. Это составит гарантию моего исправления.

Теперь я совершенно покоен. Ум и сердце в наилучшем состоянии.

Все зрелище для меня изменилось: ни унижаться, ни кичиться не в состоянии, и дума моя приняла какую-то чистую высоту, в истине коей удостоверяет меня совершенная гармония моих мыслей и ощущений. Впрочем, я и прежде не был так худ, как могут представить три или четыре обстоятельства в настоящем деле, в продолжение

коего, быв сначала сражен одним ударом, я не пользовался уже ни умственными, ни моральными силами, выключая немногих часов, кои могли меня показать в настоящем виде. Сам не могу понять того, что происходило со мною. Кажется, бедствие мое было предопределено.

Прибегаю к вашему превосходительству, ежели возможно, уважить, с покорнейшими просьбами о исходатайствовании мне:

во-первых, позволения и средств распорядить небольшим моим имуществом; ибо я здесь одинок, имею на себе долги и должен сколько-нибудь обозначить свое бытие, ежели когда-нибудь получу свободу. При том же мне нужно оставить дом, в котором не могу уже явиться никогда.

Во-вторых, избавления меня от позора потомственного оставлением при деле тех токмо актов, кои писаны не в расстроенном состоянии, а именно относительно меня самого, подробного признания, которое точно излилось из сердца немедленно по возвращении моего от государя и которое содержит в себе истину.

В-третьих, позволения иметь мне книги. По долговременной привычке сие столько же мне почти необходимо, как и самая пища.

В-четвертых, выключки меня из Корпуса путей сообщения, которому не хотел бы делать нарекания собою, тем более странного, что за три месяца пред сим почитался, и, может быть, не ложно, в числе лучших и почтеннейших его членов.

Все траты мои неисчислимы, но мне поздно уже домышлять о минувшем и невозвратном.

Подполковник Батеньков *.

105. [И. Н. СКОБЕЛЕВУ][1]

[Петропавловская крепость, после 12 января 1845 г.] [2]

М[илостивый] г[осударь].

Я имел честь получить благоволительное извещение вашего превосходительства по просьбе моей к князю Алексею Федоровичу [3] и почитаю долгом о том донести.

Никакие слова не могут быть достаточны к выражению моих чувств за все добро, которым они внушены.

* Резолюция рукой А. И. Татищева (карандашом): «Позволить писать по своим делам».

Эти чувства таковы, что, не переставая быть человеком, невозможно не иметь их. Были часы в моей жизни, в которые и несравненно меньшую отраду, как действие благородного великодушия на человека забытого и оставленного, я не мог принять иначе, как новым призванием к жизни.

С глубокою благодарностью за внимание в[ашего] п[ревосходительства] всегда с неизменным почтением и преданностию в[ашего] п[ревосходительства] м[илостивый] государь.

106. [А. П. ЕЛАГИНОЙ]

Томск, 27 октября 1846 г.

В жизни моей, и без того уже скорбной, именно в то время, когда силы стали ослабевать, две великие потери потрясли до основания мою душу. Одна общая с вами; другая... Вы догадаетесь, что говорю о Михаиле Михайловиче[1]. У меня нет уже друзей: не довольно ли этого для слез и печали.

Но бог еще меня не оставил. Я имею в руках ваши, твои, милая сестрица, драгоценные строки. Тысячу раз целую их и перецеловываю, тысячу раз благодарю вас. Не нужно много говорить о моем чувстве. Кто может вас более любить, как я? Ты мой ангел-хранитель, единственная отрада. О! да продлит бог жизнь вашу ... и тем самым я буду вознагражден за все мои страдания.

Не оставляй меня, любезная. Ты найдешь во мне то же сердце, которое знала, но, может быть, глубже очищенное. Любовь к детям не помешает оставить и мне место. В светлых пространствах веры и упования мы найдем много для взаимного утешения и подкрепления.

Чтоб сказать что-нибудь о себе, оборотимся сначала к прошедшему.

В Шваргольме[2], в 1826 году, я получил ваше письмо. Подлинно оно было бальзамом на мои раны. Денежное пособие, которое вы мне тогда сделали, было почти необходимо. Из него вчера только я издержал остальные 15 рублей, как ненужные уже для памяти; но с некоторыми вещами, тогда купленными, не расстанусь.

Писал к вам в то же время через генерал-губернатора, и как бы наитием вашей доброты круто переменились мои обстоятельства. Много еще было тогда людей, которые

получено от Графа
А. Ф. Орлова.

Сюртук [illegible] — 90 р.
шуба — 110 —
[illegible] — 10 —
Сапоги теплые — 10 —
Сапоги — 17 —
Перчатки — 2 — 50.
Духи и мыло — 10 —
[illegible] — 18 —
[illegible] — 40 —
теплое одеяло — 15 —
[illegible] — 2 — 50
Ящичек — 5 —
Свечи — 5 —
Извозчик — 5 —
380 — 4̶0̶

получено от И. Н. Скобелева.
Сюртук с [illegible] — 150 —
[illegible] — 90 —
[illegible] — 36 —
[illegible] — 14 —
290 —
Всего 670 рублей
[illegible] — 700 рублей

СПИСОК ВЕЩЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ Г. С. БАТЕНЬКОВЫМ ОТ А. Ф. ОРЛОВА и И. Н. СКОБЕЛЕВА ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ АЛЕКСЕЕВСКОГО РАВЕЛИНА

(Январь 1846 г.). *ГБЛ*

мне желали лучшего, но вы едва ли не всех более. Переменились мои обстоятельства, и опять переменились. Богу так было угодно: я говорю это весьма положительно.

Двадцать лет провел я в уединении: вы, конечно, знали, где я. Вы, без сомнения, думали, что мне нестерпимо трудно. Может быть, и так; но есть во душе человеческой что-то могущественнее всех зол — и это ощутительнее для лица вполне обнаженного. Как бы то ни было, но я перенес всю тяжесть своего положения... не роптал и не ропщу.

Так быть подобало.

Скорбно было не знать об вас ничего. Давно уже перестал я думать, что вы живы. Казалось мне невозможным, чтобы вы не нашли меня. Стоя так близко к распорядителям моей судьбы, при отсутствии препятствий, чем, кроме смерти, могли вы быть остановлены простереть ко мне руку? Тут и видна десница божия: ему угодно было прервать нить прежней моей жизни, и нам остается, не входя в изъяснения, покориться его воле.

В последний мой проезд через Москву я пролил несколько слез на опустевшие уже для меня места около Сухаревой башни и ничего не мог узнать об вас. Знал, однако же, что вы живы, из Отечественных Записок (я получал этот журнал с 1844 года), в которых также мелькнули имена Ванюши и Петруши [3].

О Машеньке [4] и доселе ничего не знаю. Не слыхал и о Зонтаге. В последнем письме, верно, вы забыли известить меня. Скажите, ради бога, обо всех ваших яснее, подробнее. Не предвижу, чтоб нам было невозможно писать друг к другу.

Томском я вполне доволен. Нашлись люди, которые меня любят и не оставляют. Они по возможности примирили меня с жизнию. Еще я жив, еще дышу и вот даже пишу к тебе. О! как милостив бог.

Ах, сестра, все сердце мое рад бы послать к тебе... да, к тебе ... мой бесценный, вечный друг. Люблю твою бессмертную душу, и ты знаешь это.

Не тщетно мы слились сердцами:
Перст божий узел сей вязал
И тот же жар к добру меж нами
В единокровие создал.
Покойна будь в душе прекрасной!
Нам упованье не напрасно:
Отец наш не оставит нас.
Богат он в милостях и силе



А. А. ЕЛАГИН
Фото с портрета, принадлежавшего М. В. Беэр.
Из кн.: Альбом выставки в память
Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского

И сторожем к святой могиле
Приставил воскресенья час [5].

Давным-давно я пропел это для тебя.

Уже мы состарились. Ты, верно, внуков обымаешь. Я навсегда одинок. Скоро промчались десятилетия. Кажется, мы вчера еще хлопотали, заботились о будущем и не успели оглянуться, как оно уже все позади. В самом деле как-то крайне кратка наша жизнь и тем самым резко противоречит всем гармониям. Не очевидно ли, что настоящее время есть не что иное, как приуготовление к лучшему. Есть бог. Удел его бесконечного духа долженствует и на нас изливаться.

Я много мыслил, очень много: весь оборотился на самого себя, знаю уже, чего не знаю, и верую богу по неко-

лебимому убеждению. Мог бы теперь достойнее тебя беседовать с тобою. А кто знает будущее? Может быть, мы обымемся и лицом к лицу скажем друг другу, чем наполнены наши души. По крайней мере, не запрещай мне это усладительное мечтание. Ты сама обещалась увидеться, и это должно сбыться.

Прекрасная, нежная женщина, кому, как не тебе, меня услышать? Кому, как не тебе, понять, сколько наполнена мысль моя чистым небесным светом, когда говорю с тобою. Видишь, могу еще веселиться и радоваться... для тебя и с тобою.

Ну! Крайних нужд я теперь еще не терплю. Год могу прожить, как живу, далее ничего не знаю. Ничего излишнего мне не нужно. Не заботься обо мне.

Прощай, мой бесценный друг. Не грусти, не хилей.

Господь с тобою.

Батеньков.

107. М. И. КОЧЕТОВОЙ[1]

[Томск, декабрь 1846 г.]

Давным-давно собираюсь я писать к вам, искренняя, можно сказать, еще детская, приязнь между нами возлагает на меня этот долг, а сердечное удовольствие писать к вам, Марья Ивановна, настойчиво принуждает.

Уже десять месяцев, как я в Томске. Двадцатилетний период страдания так сильно изъял меня из круга общественной жизни, что я до сих пор не могу осмотреться и привыкнуть смотреть на себя, как на живого.

Первая радость, которую я имел здесь... была в том именно, что я нашел здесь вашу дочь. Она за несколько дней прежде меня приехала и встретилась со мною, как родная, и первая моя просьба здесь была о том, чтоб ее полюбили. Найдя семейную приязнь и приклонив свою голову в доме Асташевых, я и желал этим добром с вами поделиться, не имея возможности отказать влечению своего чувства, когда сами обстоятельства на то вызывали.

Между тем она имела уже надежный приют в доме Соловьева и без всякого затруднения была принята в службу. Жаль, очень жаль, что мы лишились Николая Петровича.

Елизавета Григорьевна девица прекрасная. Любят ее все, кто знает, и занятиями ее безусловно довольны.

Я почти беспрестанно об ней знаю. Сейчас только приехал от нее. Она скорбит, что чем-то вас оскорбила: вы даже не пишете. Но не надо так. Примите мое посредничество и всеми силами любите эту достойную дочь. Ваше благословение много может у бога. Не легко, сударыня, девице жить самой, взять на себя обязанность, приняться за дело и заслужить одобрение. Она много занята и не имеет свободного времени. Кроме Александры Ивановны, почти никуда не выезжает, но я настою, чтоб как можно чаще была и сколько можно простее у Александры Павловны. Я там обедаю. Постараюсь уладить, а они до мая-то еще здесь остаются. Есть еще три или четыре дома, в которых она может бывать. И теперь не скучает, но все же молодой девице нет нужды засесть.

Мечтали мы и о том, что вы к нам хотя на неделю приедете. Но не знаем, как это. Полторы тысячи верст все не шутка, и город вам не знаком. Советовать вам ... Но если вам не понравится, нам беда. Может быть, в самом деле надобно оглядеться. Но не примите за слабость это желание с вами видеться. Если б я что-нибудь знал об вас, то для вас бы и заехал в Тобольск.

108. [Е. М. ФРОЛОВОЙ-БАГРЕЕВОЙ]

Томск, 12 марта 1847 г.

С лишком двадцать лет я не знал об вас ничего. С первым основательным сведением я почитаю себя счастливым, что имею возможность исполнить долг благодарности.

Глубокое к особе вашей уважение и вся душа моя да будут вам должною данью.

Великие лишения, которые вы испытали в немногие годы, смею уверить вас, милостивая государыня, едва ли и на меня менее действуют. Ничего более я и не мог потерять. Я потерял все, что может вместить в себе человек. Для меня только и осталось от моего счастия... продолжение ваших дней. Каждым дыханием молю бога, да живете вы долго, во свидетельство его истины и милосердия.

О себе мне нечего сказать. Продолжительные страдания положили на все бытие мое неизгладимые печати. Уже я стар и сед. Впрочем, вы еще узнали бы меня. И если б малолетнему судьба возвратила благополучие еще раз в жизни поцеловать вашу руку, многие воспоминания

оживили бы систротеющий мой дух и сами вы почувствовали бы, что с вами есть еще кто-то.

Вы удивитесь, что я не раньше как через два года узнал о кончине Михайла Михайловича[1]. Что же было тогда со мною? Замолчал ... и молчу.

Иначе я встретил известие о смерти Мишеньки. Мне пала на сердце ваша слеза и доселе жжет его.

И вдова уже вы ...[2]

Куда же в самом деле девалось все необъятное благополучие, которым мы наслаждались? Все надежды, которые сам бог давал на его прочность. Я не ропщу. Но, конечно, уже нет другого утешения, как только в бессмертии нашего духа.

Мы были ... и нет нас. Много надо света, чтоб мысль, сама мысль не погасла; а истина так: ищущему дано будет.

Вы всегда хотели меня благословить. Со мною и пребыло ваше благословение: я принимал его с детскою радостию — оно и теперь меня подкрепляет. Добрая мать! Все, что могу я почувствовать прекрасного,— это сама вы, и, к счастию, здесь все наполнено вами. Ваши должники мне и платят. Повторю: вот как сильно ваше благословение.

Все вкруг меня переменилось. Сама фортуна здесь махнула на многих своею волшебною ширинкою; но правда и то, что многие первым шагом в свете обязаны вашему родителю. Посему-то и будете вы жить тут не в одном поколении. Мне остается только издали слушать: говорить о Михайле Михайловиче я не смею.

Вы, без сомнения, будете столько великодушны, что не почтете за дерзость чистый, родственный мой к вам отзыв. Вся моя жизнь, все мое добро и зло могут еще быть нечто для меня только при искреннем вашем в них участии.

Во всю жизнь мою уповаю на бога. Да. Точно уповаю. Но слаба моя молитва: помогите мне. Крест имел свою меру. Ведомый и перенесенный всегда имел силу. Может и теперь свести луч заступления в царское сердце; а где же, как не там, и живет божие милосердие. Молитвою-то и помогите мне.

Я год уже живу в Томске. Несколько отдохнул. Снова увидел людей, как из гроба вставший. Все мои чувства — психическая редкость. Понятия переступили время и про-



Е. М. ФРОЛОВА-БАГРЕЕВА, ДОЧЬ М М. СПЕРАНСКОГО
Из кн.: Альбом Пушкинской выставки в Москве, 1902 г. М., 1902

странство. Многолетний быт вижу вдруг. Чрез сравнения и противоположения могу делать такие комбинации понятий, какие и не предполагал возможными. Жадно смотрю на женщин. Неестественная разлука с матерями, супругами, сестрами, невестами произвела во мне такую к ним нежность, что я понимаю, почему змей не перед Адамом поглотил пастью свой ошиб [3].

Вы знаете, милостивая государыня, лучше меня, что любить людей значит разгадать тайну жизни, и потому милостиво уважите мое стремление смотреть на всех с лучшей стороны. И в печальной доле, которая мне досталась на земле, я смею надеяться, что не все меня забыли. Пред вами и свидетельствую мое уважение ко всем тем, которые были своими в вашем доме, особенно Варваре Васильев-

не: она была к вам ближе всех. Она довольно светла, чтоб не испугаться моего приветствия[4].

Я не тот уже, чтобы дать полную свободу игривым фантазиям, но и не так не тот, чтоб был еще хуже прежнего. Я имел случай много думать, и поверьте, могу выдумать вновь всю жизнь, ту самую, которую имели вы щедрость возбудить во мне высоким вашим словом.

Благоговея перед неисповедимыми судьбами провидения, я с христианскою покорностию храню мир в душе моей. Память великого моего благодетеля не перестанет быть властию надо мною. И осветит мне путь к вечному с ним соединению.

С глубочайшим почтением и сердечною преданностию имею честь быть

вашего высокопревосходительства покорнейшим слугою

Гавриил Батеньков.

109. П. В. [КИРЕЕВСКОМУ]

Томск, 10 мая 1847 г.

Всеми силами сердца обрадовался я дружескому твоему письму, добрый мой Петр Васильевич. Ах! как много вы меня обязываете.

Ты прочитаешь мои письма к маминьке и сестре — остается тут отвечать самому тебе.

Семья наша довольно расширилась и по милости божией, верно, еще расширится. Следовательно, нам позволительно оставаться в ней только со своими двумя руками. Правда, теперь моим пригодилось бы и подкрепление, но так как это худо зависит от меня, то станем добры пока на настоящем основании, обымем Машеньку и покатимся вместе по железным рельсам одиночества[1]. Пусть кондуктором нашим будет одно общее чувство, а целию бог, с святою его волею. Не думаю, чтоб такая жизнь была святее, даже беззаботнее; однако и она имеет свои добрые стороны. Я привык быть всем доволен и хотя часто говорю строго и горько, но не помню ни одного дня в жизни, который бы кончил ропотом. Чувство божией благости проникло весь мой состав, и в нем нет места, не занятого любовью к людям. Она пресуществила во мне всякое чувство зла, и мне все кажется, что я недовольно еще терпел. Это потому не самохвальство, что я не могу и хвалить себя.

Ты недоволен литературною разладицей. Но этому так быть надлежало.

Доселе изящная словесность и наука текли особыми руслами. Действительная жизнь и деловые ее отношения стояли к ним объективно в своих громадах. Настала пора ближайшему их соприкосновению. Мысль стала делиться, понятия различествовать, фразы потребовали определения; сроки многим условиям кончились.

С той самой минуты, как схоластика потеряла господство над умами, надлежало означиться новым линиям, новым узлам. Почувствовали, что там и идет слово вперед, где совершается великий творческий акт, проявляемый меною поколений. Время унесет с собою страсти, так не стройно действующие в настоящем; останутся истины, они раздельны по существу своему, но это разделение невраждебно и как чистый ум, как самое бессмертие, не могут и быть иначе, как в вечном покое и согласии.

Добро есть владеть своими страстями и в литературных брожениях, но нельзя в них не участвовать, это значило бы отказаться от жизни. Религия не стесняет, не ограничивает — она Сила, и в литературе и в художестве она же Сила. Тот разве ставит ее особо, кто не верует. Мне жаль, что из тебя не вышел художник. Вот как обманчивы обещания юношества!

Ты посвящаешь себя археологии. Следственно, ты по обязанности славянофил и потому только не романтик, что наша древность не романская. Будучи археологом, ты не защитишь себя от поэзии. Увидясь с Жуковским, скажи ему от меня, что он отчаянный археолог и славянофил и что его муза увлекла тебя на избранный тобою путь.

Не можешь также расстаться и с логикой. Где-нибудь да встретишься с пословицами, а они не что иное, как практическая логика.

Что теперь сказать о себе? Я в самом деле сделался порядочным философом, и, к довершению бед, немецким. А так как ты, к тяжкой моей обиде, поместил меня в число предметов археологических, то я должен обратиться немного к старине. Еще во время утомительных походов французской войны нас трое: Елагин, я и некто Паскевич — вздумали пересадить Шеллинга на русскую почву, и в юношеских умах наших идеи его слились с нашим товарищеским юмором. Мы стали изъясняться в новых отвлечениях легко и приятно. Целые переходы окружал

нас конвой слушателей и целые корпуса со всеми их штабами называли нас галиматейными философами (это слово, верно, слыхал и ты)[2]. Вот как глубоко мое право почитать себя дедушком нынешних литературных партий. Правда, я смотрю теперь гораздо серьезнее, да и дело уже расширилось не на шутку.

Итак, ежели ты в пыли отцовских кладовых отыщешь лоскутки моих старых к нему писем, то будешь иметь один из самых археологических, из самых присушных корней к изъяснению господствующей теперь любви в литературе к германской философии. И как пренебречь таким богатством?

Между тем нельзя ли немного поделиться со мною немецкими книгами, которых много было у отца. Иначе иметь их мне нет никакой возможности. Много их было у Михайла Михайловича, частию и моих; но туда уже нет приступа.

Оканчиваю поручением. Кланяйся старшему брату и попроси его поклониться от меня знакомой ему Марье Николаевне Горловой и ее отцу[3], увидеться с ними и поцеловать их. Арбенев[4] у меня не побывал, а поручил только сказать, что он проехал и подарил мне книгу церковного содержания.

Прощай. Бог да благословит тебя.

Батеньков.

110. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Томск, 26 июля 1847 г.

Сейчас получил я милое письмо ваше от 30 июня, все писанное Мариею Васильевной.

Ах, как давно уже не знал я об вас и давно вам ничего не говорил о себе.

Теперь и обрадовался и успокоился.

В предпринятом в Киев путешествии добрая дочь твоя, бесценная сестра, верно, имела в виду молиться за меня богу, и я уверен, что он услышит ее молитву. С моей стороны благодарю его, что он до сего времени хранит меня всемогущею своею десницею. Как ни проста и бездейственна жизнь моя, но я знаю, что без божьего особенного милосердия не могла бы она не быть мне тягостною...

Лето я прожил в саду, в беседке. Это среди города при доме Философа Александровича Горохова[1], почти с дет-

ства со мною дружного и владеющего в Енисейской губернии важными золотыми приисками. У него жив еще отец, 80-летний старец, также лет 30 мне известный, и теперь мой товарищ, по отсутствию хозяев.

Встаю рано и прогуливаюсь весь в цветах и впиваю аромат их. Тихие и теплые наши вечера тут же провожаю. Ночи нет.

Это много действует на мое здоровье.

Таким перемещением я не прерываю распоряжений о постоянном моем помещении да и не для чего, ибо оно мне не стоит ни копейки.

Видишь, бог не оставляет никого. Ты узнаешь некогда, что и самый переезд мой сюда, которым только и сохранил я жизнь, был бы невозможен без явного небесного действия. Один из благородных вельмож[2] родственным во мне участием проявил это. Но теперь не время говорить. Я сохраню мое чувство в душе и, может быть, некогда лучше выражу. Склонит бог к свету мою жизнь, даст и слово...

Наука составляет мое единственное занятие. Двадцатилетняя разлука с нею сделала меня способным непосредственно сводить умом настоящее с минувшим и проводить по многим направлениям перспективы там, где время вело ученых по всем своим изгибам.

Утвердив свои точки и возвращаясь к ним после продолжительного странствования, я тверже убеждаюсь. Посему-то и ясен мой анализ.

Но и это оставим. Тебе, кажется, уже надоело учиться и оставляешь себе единое на потребу: так, сестра?

Да и я не могу иначе смотреть на науку, как на просветление мысли, и не имею другой цели, как познание божие в мире действия. Оно-то и есть единое.

Тяжело мне слышать, что тебя много беспокоит болезнь сына. Что же делать? Будь христианкою. Мы обязаны смиренно и великодушно переносить все противности, все лишения. Знаю, что нелегко бороться с чувством, и борьба сама по себе умножает зло, но это тогда, когда боремся без преданности воле божией, когда боремся гордо и для того более, чтоб люди похвалили. Тогда в самом деле нельзя и ошибки никакой сделать и поправить. Борьба без выхода и окончания. Но пусть пред богом будет сила наша и слабость, разум и недостаток разума. Рано или поздно сольются крайности в одну святую гармонию и

нежностью нового чувства удостоверят, что бог, как причина, без которого новое быть не может, действительно был с нами. Это новое чувство не всегда бывает победа, но всегда утешение.

Я часто бываю крайне тяжел и досадую, ежели мне предлагают обыкновенное целение. Что тут могут посторонние советы, когда мне нужно отдохнуть ... от терпения? Благодарю мою природу — она не имеет в себе ничего угрюмого и унылого. Оттого я больше молодею, нежели старею: седины только изменяют. Ими обязан я тяжким болезням и потому больше, что не хотел их признавать. Вы знаете, что не ложась в постелю и от ран лечился. Теперь открывается, что это была игра, а не могущество натуры.

Вчера схоронил я 90-летнюю прабабушку. Многочисленное прямое ее потомство провожало ее гроб, а почти столько еще у вас в отсутствии. В числе последних и Семен Трофимович[3]. Мы привыкли почитать 90 лет глубокою старостию; но в самом деле цифра-то не велика, и чудно как-то, что так кратка жизнь наша. Можно сравнить ее с бедностию. Ужасно много 90 т[ысяч] рублей для поденщика, а что это для богача? Перейдя довольно за половину этого возраста, ясно чувствую я, что недолго еще жил. Хорошо помню свое детство[4] и это так недавно, что кажется, тут и настоит. Право, не трудно верить, что до потопа люди жили тысячелетие. Недостает какой-то гармонии, когда Человек, такой могущественный владыка над пространством, так мал во времени. Он не может в нем переступить и шага, и что в пространстве один, каждый, на то во времени нужна жизнь целого царства. Это и изыскания астрономов делает подозрительным; ибо оно в основании лишено определенной единицы.

Россия, наша возлюбленная, в продолжение тысячи лет не состарилась, а помолодела. Как бы нам у нее научиться.

Вот куда увлекло меня желание тебе долголетия и крепости.

Теперь оборотимся к своим.

Вероятно, Петр Васильевич все лето проживет в Орловской губернии, и я от него получу ответ[5]; но Марья Васильевна не сказала, возвратился ли из Москвы с нею брат Василий[6]. На всякий случай посылаю и ему поклон. Целую Лилу и Катеньку[7]. Не забудьте и Ивану Васильевичу сказать, что я жив. Из журналов вижу, что Кароли-



К. К. ПАВЛОВА
Из кн.: Павлова К. Полное собрание стихотворений. М., 1964

на не на шутку писательница[8]. Любопытно знать, нет ли в ее повестях каких-нибудь старых задушевных воспоминаний. Впрочем, девушкина память известна по пословице, и она всегда готова запираться в лучших своих чувствах. Не в укор вашему самолюбию надобно признаться, что женские склонности гибки и не прежде определяются, как тогда уже, когда судьба выразит свое решение. От этого и мало поэзии в жизни.

Теперь простимся, обымемся, сестра, простимся до нового разговора. Может быть, я напишу, не дожидаясь ответа, постараюсь, сколько от меня зависит. Господин губернатор уже здесь, и ты пиши на имя его пр[евосходительства] Павла Петровича Аносова[9].

Ежели здоровье тебе самой не позволит, заставь Лилу.

Да и Машенька, может быть, возвратится к тому времени. Мне к ней писать и легко и от всего сердца хочется. Она моя, иначе прошу и не думать.

Господь с тобою.

Гавриил Батеньков.

111. И. И. ПУЩИНУ[1]

Томск, 3 ноября 1847 *

Склоняя мою бедную голову под громы вашего гнева, я покоен, однако же, потому что не много виноват.

В самом деле давно уже не писал к вам, почтеннейший Иван Иванович, за недосугом — все жил да жил.

Не смею прямо обвинять лукавого; но дело возможное, что и он малую толику содействовал моей неисправности.

Много между тем я перечувствовал и желал бы часть груза переменить на ваш товар; но теперь осеннее время, дороги испортились, реки разошлись и хоть не объявляю себя несостоятельным, но прошу отсрочки. Да точно ли разошлись реки? Им ставать пора, а не расходиться, разве примем это слово в синоним «раскудахтались».

Раскудахтался и я. Што, мол, он не пишет ко мне! Ужели и в самом деле сердится? Но, уважая, что есть какие-нибудь причины и причинишки, успокоился и подаю руку примирения.

А виноват я более перед Евгением Петровичем[2].

С жильем своим кое-как сладил: у меня теперь тепло и просторно[3]. Лето прожил я в саду в беседке. Словом, я пока живу и не старюсь.

Бог, помощник труждающихся и обремененных, не оставляет меня.

Серьезного занятия еще не начинал. Отдыхаю. Читаю газеты и журналы, кое-какие книги и книжонки.

Скудна теперь литература. Она, по свойству времени, всеми юными силами занималась переработкою фраз и терминов сообразно с состоянием наук и понятий, но крепко отстала в изяществе, пестра и не окончена. Часто доводится читать сущий вздор. Каков, например, «Наполеоновский инвалид» в № 9 «Репертуара»?[4]

Время течет быстро. Тянет нас и туда, куда не хочем. Необходимо какое-то обновление мыслей. Все средневеко-

* Помета И. И. Пущина: «Пол[учено] 5 дек[абря]».

все приблизилось к концу. В делах все цифры и цифры, а надобно ум. Кажется, тут при нас вечность и совершает свой оборот. Может быть, дождемся, что означится ее круглота и циклы. Но много еще надобно, чтобы карта времен была составлена и чтоб означились неподвижные их звезды, чтобы изобретен был компас для плавания без берегов в океане жизни.

Но как-то не скучно. Верно, с нами бог.

Некролог наш умножился еще одним именем. Василий Иванович Игнатович [5] скончался в Петербурге в те самые дни, когда собрался сюда. Жаль старика, доброго и трудолюбивого; жаль и бедной вдовы его с детьми.

Сейчас дали мне знать, что на почте получено ко мне письмо от княгини Екатерины Ивановны [6]. Весьма рад я. Будучи знаком с семейством г[осподина] Пятницкого [7], в проезд его убедительно просил его уладить нашу переписку и благодарен от души, что он исполнил обещание. Здесь я имел честь видеть и генерала Руперта [8]: ждем теперь нового Восточного исполина [9]. С отцом его я был хорошо знаком и в делах, а сам он был при мне еще малолетним. Между прочим, наш хорошенький Томск тем и славится, что даже птица мимо его не пролетает. Беспрестанно мелькают в глазах то мильонеры, то камер-юнкеры.

С Васильем Михайловичем [10] я вижусь нередко, и всегда с любовью об вас вспоминаем. Он рассказал мне старую свою ялуторовскую жизнь и что он вообще от нее занял. Будучи беспрестанно в хлопотах, он вовсе не имеет свободного времени, а все бросит, чтобы прочитать ваше письмо.

Вот и я здесь 20-й месяц: быстро течет время, а что оно в себе содержит, никто не знает. Не одну же смерть. Мена поколений должна иметь какой-нибудь порядок, а я по собственному опыту знаю, что нет события важнее, как видеть новый мир [11].

Меня обыкновенно зовут дедушкой, хотя и не имею внуков. В самом деле, помню уже три поколения в полной силе. Ну что теперь уже видеть на театре?

Нас завалил снег и, кроме свадеб, которым предрекает добро, всему прочему угрожает прошлогодним неудобством.

В письмах из России занимаются тревогой о холере. Повадилось же к ним это действие пространства на чело-



И. И. ПУЩИН
Художник К.-П. Мазер. 1850 г.

веческий организм. Но, кажется, уже по-прежнему не разовьется. Ох, эта жизнь! Страдай за себя, страдай за милых. Мы твердо уверены, что на расстоянии Екатеринбурга до Томска и холера соскучится, и пространство повернется с боку на бок, а что-то было похожее и в наших болезнях.

Не родня ли холера скарлатину?

Я чувствую устаток. Может быть, это опять перелом. Ежели приду, как говорят, в нормальное состояние, то, без

особенных случаев, долго жить намерен. И гадательная книга гласит: ежели не скончается на 54-м году, то проживет до 96 лет. Я верю всем гаданиям, которые льстят.

Так уж привычнее: повадится кувшин по воду ходить.

Прощайте, милые люди. Не сердитесь, ради бога.

Окропите иссопом [12] и очистите: верный вам навсегда

Гавриило Батеньков.

112. [А. П. ЕЛАГИНОЙ]

Томск, 18 января 1848 г.

Я получил твое письмо, милая сестра, от 8 декабря. Опасения о вашей холере в значительной степени уменьшились.

Наступил новый год.

Город наш удостоился посещения главного начальника здешнего края [1].

Под совокупным влиянием этих причин я пишу к тебе весело.

Новый год не успел еще означить своего характера. Говорят, что все дни равны; но я думаю немножко иначе: мысль многих миллионов в этот день переходит к чему-то новому; к огромному счислению прибавляется цифра. Все это составляет скачок и вызывает небывалый луч света. Знает бог первый день.

И так я обновляю мое желание и возношу молитву о ниспослании благословения небесного на твои прекрасные дни. Да бегут от тебя все недуги и да не приближается старость! Быть с тобою, хотя и в разлуке, для меня больше всех потребностей. Измеряя свой крест, я вижу на нем твое дружеское участие как единственный бальзам на мои незажившие раны.

Главный начальник наш происходит из древних фамилий. Трудно описать тебе, какую глубокую симпатию производит соединение власти и благородия. Он старше всех здешних городов. Для меня это данные, чтоб тишина и покой, которыми здесь пользуюсь, имели видимое основание.

Велика потребность человека в надежде и утешении.

В прошедший месяц проездом из Красноярска был здесь ваш Николай Петрович [2]. Я был у него, видел жену и подержал на руках двух милых малюток, которые

называют тебя своею бабушкой. Это много было для моего сердца. Он проговаривал, что заедет к вам в деревню. Но как я по положению моему не мог выйти из рам обыкновенного поклона, то и не думаю, чтоб показалось тебе, что я принял его холодно и не как своего семьянина. Напротив, я прошу тебя уведомить меня, благополучно ли он довез детей, которые здесь сильно кашляли и принудили его останавливаться. Он и сам был очень ласков и внимателен. Ведь и прежде свадьбы сестры он бывал у вас в доме, но я не мог вспомнить. Кажется, только мать его обедала у вас в бытность мою в Москве.

Живу я однообразно; но время как-то скоро течет: уже скоро два года, как я здесь. На днях мы перетерпели страшные морозы, и это замедлило мой ответ на твое письмо. Чувствовал большую тяжесть; ибо совершенно отвык от здешнего климата. Голова отяжелела, нервы ослабли, заболели зубы, раны начали беспокоить и никак не мог согреваться. Теперь не более 17° по Реомюру, и это считаем оттепелью. По обыкновенному ходу природы возможны еще три мороза. С дня твоих именин и здесь считают уже весну. Нередко воробей напивается в ручейке.

Само собою разумеется, что посланные тобою триста рублей я получил. Благодарю всею душою. И хотя принимать от тебя пособия мне как-то легко и просто, однако же отнюдь не делай это в чувствительный ущерб другим потребностям. Что град вас пообидел, я читал в журнале; теперь поездка в Москву потребует издержки. А я так установил свою жизнь, что для собственного потребления всегда могу ограничиться урочным положением. Сверх того судьба сохранила еще мне на месте в двух-трех домах воспоминание прежней приязни, и меня не допустят они до безобразной нищеты.

Книги читаю охотно; но, не имея никакой возможности проследить все, что было без меня, я стараюсь приводить к общим понятиям и, привыкнув сливать понятия и соображать, читаю с равным участием и старое и новое. Нелегко поставить мысль в гармонию с мыслию целого поколения, при мне не существовавшего и которое мне довелось видеть только в углу и в отрывке. Но это психически и занимает меня преимущественно. Вижу ежечасно новое и не знаю скуки.

Все, сестра, минует — и добро и зло. Скоро не будет и следов нашего бытия. Однако же ум, сколько-нибудь воз-

бужденный к самодеятельности, знает, что вещественные стихии не могут его уничтожить, что среда, в которой он действует,— бог сам, и хотя непостижимо, как можно быть, когда рушатся все известные условия бытия, однако же в благости и обетованиях творца можно найти успокоение. Ум возрастает и расширяется в понятиях, и ни одно из них не погибает. Научиться можно, а разучиться никто не умеет. Забыть ... отвыкнуть ... все это относится только к удобности действия и упражнения, и такие понятия, как смерть и душа, никто свести не может.

Этими последними строками я равно отвечаю и на ваше письмецо, милая Марья Васильевна. Приятно мне читать твои выражения, исполненные истинного чувства. Добрая, любящая бога душа всегда много сказать может. Воображение мое далеко отстало. Этот милый ребенок, с которым часто встречал я новый год, хотя все та же ты, но вполне и определительно теперешний твой быт мне не высказывает, и мне даже чудно, что ты меня не забыла. Не надеясь никогда тебя видеть, я долго, очень долго останавливался на прежнем образе и вот без приметного скачка опять с тобою.

Передай мои поклоны братьям. Они слишком разбросаны, и мне легче всего поставить тебя в средоточии. Служи опорой и мне и матери.

Наконец, обращаюсь и к тебе, добрая Лила. Ежели желание твое погостить в Москве исполнилось, то ты слишком теперь рассеянна. Молодость требует легких впечатлений, и чтоб я не лежал тяжелым балластом, забудь мои лета. Будь уверена, что все от тебя, хотя бы и совершенно детское, приму готовым сердцем и оценю. Деды внучат особенно любят: приласкайтесь вместе с Катею и помолодите меня. На твой вопрос скажу: делать... Это еще не то; уметь... Вот что упражня[е]т волю.

Прощайте, мои бесценные. Бог да хранит вас и исполнит несчетных милостей. О том и молюсь непрестанно.

Гавриил Батеньков.

113. И. И. ПУЩИНУ

[Томск,] 17 марта [1848 г.] [1]

Письмо ваше, почтеннейший Иван Ива[нович], от 27 декабря прошлого года я получил 12 марта.

Искренне, от всей души вас благодарю *. Не забываете!.. Я и доволен, а вы сам столько добры, что прислали очерк и вашего житья-бытья, по возможности приятный и удовлетворительный.

Вот и вам долг крашу платежом. В начале генваря был у нас нестерпимый мороз. Меня так насквозь прохватил он, что я слег в постель и в пребывание здесь князя Петра Дмитриевича [2] представился ему живым вполовину. Зато был уже молодцом в проезд Николая Николаевича [3]: он воображал меня дряхлым стариком, а тут с вами поставил на одну линейку. Что может быть более чести; ибо по всей Сибири гремит слава о вашей нестареемости, и Казимирский [4] иначе не рассчитывает, как почитая вас моим внуком, теперь, сводя оба эти мнения, могу по крайней мере величать себя Кащеем. Об таковом утешении я в то же время по принадлежности донес здешним дамам и девицам, умоляя их кокетничать со мною и любезничать, а по свойству человеческого сердца вы дали еще прочный случай унижать вас перед всеми, как охотника кумиться и, следственно, человека безнадежного и отжившего. Правда, я перед тем имел и печатное доказательство. Получена была почта в довольном собрании лиц обоего пола, там об одном ученом сказано: «Он на 55 году, следственно, вполне мужского возраста». И это о человеке, который чуть ли не двумя годами меня старше. Я принял торжественный вид, прочитал громогласно и с должным ударением. Пошел листок из рук в руки и (вообразите, сколько я имею врагов!) потерялся и пропал, не совершив и половину пути. Самолюбие мне шепчет, что это сделала какая-нибудь воровка; но что-то сомнительно, ибо оне все обыкновенно величают меня дедушкой.

В марте я опять среди мороза встретился с горячкою, хоть довольно легкою, однако же имею честь беседовать с нею и сегодня. Странно, я так отвык от здешнего климата, что по враждебному его на меня действию похожу на кавказского пленника (заметьте и тут не без видов, а именно):

Наш местный некрополь нельзя сказать, чтоб был в полном застое. В начале февраля скончалась всем известная госпожа Горохова ... потеря чувствительная для

* Далее зачеркнуто: «Все же хотя и редко, но может писать один из друзей. Что-нибудь скажут о себе. Но все же наши письма».

всего города, чувствительная и для меня по закоренелой семейной приязни: прошедшее лето я у нее и прожил в садовой беседке. Это женщина 33 лет, мать 9 детей, дочь, сестра, обладательница ежегодных 50 пудов золота и, что всего важнее, всегда готовая на доброе дело. Муж ее доселе не утешаем в буквальном смысле. Сегодня опять хоронят 19-летнюю женщину, дочь знакомого вам Василья Ивановича Игнатовича. Обеим стоило жизни рождение детей. В прошлом году было много свадеб, и жалко смотреть, как доводится мотать на ус такие события новым четам. Смерть... отчего мы к ней доселе не можем привыкнуть. Ждем утра, ждем весны — и неизбежность смерти, как будто и не знаем... Хоть мы с вами действительно молоды, а ни от кумовства, ни от хвастовства люди не умирают, все же, однако, предположив действие каких-нибудь других причин, доводится иногда грустно взглянуть и на эту сторону и ждать разумно получения единственного креста, какой нам по всем статусам приводится.

Сказав несколько слов о литературе, вы меня вызываете. Осьмнадцать лет совершенно скрывалась она от меня за железною решеткою, зато предстала опять ярко со всеми ее новостями и обновленьями. Невольно должно было составить свое понятие.

Вот оно: письменность Европы развита была быстрее нашей, и исключения совершались в их же стихии, она основана была на глубоком историческом чувстве и наследственном развитии ума и потому не подлежала никакому категорическому разделению. Россия усвояла ее себе целою и одинаковою, из какого бы века ни взимала. Так и было почти до истечения первой четверти нынешнего столетия. Между тем время и громадные события оплодотворили новые поля. Бюргерство созрело, чуждое преданий и духа властвующего и господствующего, напитанное, однако, наукою, непосредственным чувством природы и независимым развитием разума, оно отпало от авторитета и приняло особое, свойственное ему направление, высказалось новым языком. Прикоснувшись силою естественного прогресса, вновь уклонило оно на новый путь многие живые струи прежнего и обогатилось ими. С тем вместе наука всецело слилась с изящною литературою, а поелику она, наука, обработана была не у нас и в то же время когда политическое состояние народов по громадности его проявления простою текущею жизнью не только иперболы,

но самые категории и системы привело в возможность выразить простыми предложениями и часто фразы заменять вновь составленными литературными формулами, то в нашем языке по необходимости появилось множество иноземных слов и таких оборотов, которые назвать можно классицизмами и неруссицизмами.

Чрез это много выиграл ум, но вкус приоставлен, ибо непосредственно природа его еще не совершила, а социальные глубины иссякли. Это не просто разделение и школы, а наступление нового цикла, в коем хотя не видно силы, которая бы этот цикл установила и сомкнула. Представилось только какое-то начало, примкнутое к концу прежнего цикля, которому вовсе начала не было. Здесь одно можно заметить, что в первых годах нынешнего столетия во всех отношениях жизнь представляет какую-то единственную вечную высоту, действительный экватор нравственного мира. Надлежало бы определить точно оборот, мену зимы и лета, наклонение эклиптики. Но поелику шар не существует как абсолютная идея и проявляется только рукотворением, то аналогическое умствование в таком символе не ведет далее, и кажется, что наука, пройдя свой экватор и не имея уже надежды возвратиться к равноденствию, должна будет развиваться по всем зонам и искать полюса в индивидуальных понятиях, пока богу угодно будет открыть ее новый постоянный круг или, ежели вовсе нет для нее эклиптики, научить провести условно первый меридиан.

Как бы то ни было, но прежний бассейн дворянского воспитания мысли и чувств с невозвратным уже его истончением не обес[пе]чивает никак навсегда минувший, не может обеспечить будущие цивилизации в необходимых требованиях ума и вкуса.

Смело можно думать, что человек выродился, проявил все свои силы и требует совсюда новых судеб, новых сил и света. Мы уже слишком умны, и все, что нас окружает, весьма искусственно и самими нами изобретено, а мы смертны и в веках ничего хранить не научились, так что и лучшие консерваторы большею частию прибегают к ограничениям и крещениям.

Чего-нибудь ожидать просто от времени — это не для науки, она не разобрала даже, что такое время.

Сам я долго довольствовался простодушным об нем понятием и едва не смешивал с машиною и счислением.

Обстоятельства моей жизни заставили думать об этом. Ясно стало, что все известные теории и столько не содержат в себе данного, сколько требует простая тригонометрия. Там небходимо действительно измерять хотя одно основание. Считая просто часы, дни и годы, нельзя было ничего сказать о времени, я приметил, что не цифрами, а скукою я существеннее знаю время и когда прожил пятьдесят лет, вот и измерил уже нечто.

Верим слуху и зрению: надобно верить и разуму.

Ум обещает открыть более, нежели Америку, ежели станет к пространству не как к стереометрической пустоте и к времени, не как к махинальному движению, но в прямом их к себе, к жизни и к богу отношении и вообще на природу будет смотреть не как на взъерошенную действием мертвых сил поверхность шара, но как на полное отражение вечного бытия живой разумной причины, это одно достойно называться миром и обиталищем умной твари.

Владимир Федосеевич Раевский в Олонках.

114. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

Томск, 17-го марта 1848 г.*

И ваше письмецо, почтеннейший Евгений Петрович, я имел удовольствие получить, точно уже удовольствие потому, что не ожидал. Будучи так добры, вы поверите и моей благодарности.

Вы справедливо замечаете, что науке нашего времени именно недостает благочестия. Она вышла бы из своей шаткости и противоречий, если б признала бога всему причиною. Как ни гляди, а, приписывая все, даже и красоту природы, кругообращению шара, действию центрального огня, возвышению земной коры, электричеству, магнетизму и проч. и проч., даже, пожалуй, самому золоту,— ничего изъяснить нельзя. Понадобится непременно воля, разум и намерение. Вот почему и можно похвалить начинавшееся стремление молодых литераторов искать прогресс в духе и внутреннею истиною объяснять явления.

Наука не разобрала даже самых простых предметов: времени и пространства. Она безусловно верит зрению и слуху и всегда колеблется верить разуму.

---

* Сверху помета Е. П. Оболенского: «Пол[учено] апреля 13-го».

Обстоятельства моей жизни заставляли меня думать о времени. Прежде я едва ли не смешивал его с машиною и определял простым счислением. Прошел возраст школьнических привычек, и ясно стало мне, что все известные теории времени не содержат в себе столько данного, сколько требует простая тригонометрия. Там необходимо действительно измерить хотя одно основание. Считая цифрами часы, дни и годы, нельзя было ничего сказать о времени. Я приметил, что не цифрами, а скукою существеннее знаю время, и тогда понял, что чувство есть лучшее учебное пособие, а когда прожил пятьдесят лет, конечно, уже не пропустив ни одной минуты, то вот и измерил нечто. Не тут ли путь к открытию в науке Америки? Почему бы не стать уму в свойственном ему самопознании; тогда он станет к пространству не как к стереометрической пустоте и к времени не как к грубому механическому движению, но в прямом их к себе, к жизни и к богу отношении и вообще на природу будет смотреть тогда не как на взъерошенную действием мертвых сил поверхность шара, но как на полное отражение вечного бытия живой разумной причины и в ней будет искать себе силы и благодати, столько же для знания, сколько и для действия. Тогда достойно будет называть землю миром и обиталищем умной твари.

Мы уже слишком умны, и все, что нас окружает, чрез меру искусственно, нами самими изобретено и произведено, но кто это все сохранит? И где гарантия, что будет на это воля?.. Должно веровать.

Вы упоминаете о последнем произведении Гоголя[1]. Очевидно, что он в состоянии переходном. Можно, однако же, опасаться, что не вполне выразумел смирение. Да и дело чрезмерно трудное. Самые ревностные подвижники не всегда могли довести эту добродетель до отречения от собственного своего авторитета и заменения его верою живому богу. Тут не безнадежность, не уныние, не сотрение себя, а тихий свет святой славы. Очевидно, что тут и для изящества словесности источник совершеннейший; но достижение его, ежели и возможно индивидуально, то едва ли скоро может быть до того сообщительным, чтобы и пресс тому содействовал. Вот почему переходное состояние есть преимущественно состояние страдания, и чудно было бы, если б кому-нибудь удалось прийти в действительный покой.

И то много, если можно почерпать какое-нибудь утешение.

В письмах к Ивану Ивановичу вы прочитаете некоторые подробности моего житья. Вам их не повторяю, да и не интересны они столько.

Господь да хранит вас и милует; не забывайте меня.

Батеньков.

Кланяйтесь от меня всем вашим товарищам.

115. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Томск, 20 июля 1848 г.

Я несколько против обыкновения замедлил писать к тебе, потому что получил письмо от Кати твоей и ей отвечал. Может быть, ты от нее и знаешь, что я еще живу. У них в городе страшный был пожар: я ведь не знаю, есть ли что-нибудь у них там и не потребовали ли твоего присутствия и помощи.

Моя добрая, милая сестра, время летит, а мы все еще в тяжкой разлуке. Несносный год и бывал ли когда-нибудь хуже... Но покорно предадимся в волю божию — и все ненадолго. Будем верить, что там, далее конца, в предшествовавшем нам океане создания скоро все успокоимся. Может быть, и невозможно свидание в неизмеримом пространстве царства божия, но память, вероятно, останется, и мысль всех, соединенная в свете причины, найдет в общей гармонии симпатий непостижимые теперь лица к лицу отголоски.

Под общим чувством: мы и сый [1].

У нас долго не было лета, и вот два месяца продолжаются нестерпимые жары, бездождие, тучи мух — так и клонит к земле. Тревожат слухи о холере; всюду много близких к сердцу, и многие получают печальные вести. Зло колоссально шагает, слышно, коснулось и нашего тихого края. Не обеспокоив Урала и лежащей на нем обширной губернии, показались признаки болезни в Тобольске. Конечно, мы отделены большим расстоянием и почти ненаселенною пустынею, худо и верим, но все же молиться надобно, особливо кому жизнь представляет еще приятности. Как бы то ни было, душевное уныние в себя не пущу, а это главное. Прекрасно сказал апостол: если живу, то это воля божия, а если и умру ... все то же.

Здесь немногие уже мне остаются. Вот шесть недель

назад похоронил 80-летнего старца, с которым был близок в юности. Он дал добрый пример христианскою кончиною, сохранив до конца умные силы. Я прожил вместе с ним прошедшее лето и любил его слушать, потому что он едва ли не все перечитал [2].

Да, мой бесценный друг, пахнет уже старостью, а может быть, и не личною. Это приметно, особенно когда читаем и пишем.

Красавица наша Томь вседневно ласкает меня своими быстрыми и светлыми струями. Обыкновенно встаю в 4 часа утра и погружаюсь в реке. Успел разглядеть величественное ее течение. О! Как бедна наука в изъяснении красот природы. Вращаясь в кругу рукотворения, она все оцепляет мертвыми буквами. Тут, напротив, величие целости, всюду грации, эстетические формы, согласные с нашею красотою, как с средоточием их и общим выражением; всюду отражение красот вечных, в боге сущих. Не шути: в большой реке точно можно видеть себя средоточием. Кругом правильная рама населенных или одетых растениями и цветами высот, и сверху покрыты они совершенною голубою чашею, с резьбою облаков и с разноцветною от лучей позолотою. Только солнце представляется в особом горниле, и хотя к нему отнесено округление, но кажется оно равным мне — человеку.

Я бросил книгу, когда после того стал читать об устройстве глаза и о химическом процессе зрения.

Ты не любишь Гегеля [3], но неправа: он хорошо понимал и чувствовал и не виноват, если его искажают, может быть, это и оттого, что он не мастер говорить с дамами и даже не предполагал возможным.

Машенька — Лила. Поклон им от меня. Надеюсь на бога, что первая уже здорова. Николай Алексеевич [4], вероятно, как добрый Алексеевич, вовсе не имеет времени.

Ты не принуждай себя писать, ежели тебе тяжело. Возложи это на кого-нибудь. Я буду доволен самым кратким известием. Ежели проходит без этого месяц — тогда уже тяжело.

Да хранит вас господь.

Всегда ваш Гавриил Батеньков.



В. Ф. РАЕВСКИЙ. 1822 г.
Художник Н. П. Нератова. 1980

116. [В. Ф. РАЕВСКОМУ][1]

[Конец 1848 — начало 1849 гг.]

Вы желаете подробно знать мои приключения? Вот вам моя чуть не биография.

Начну с самого корня.

Участие мое в деле дальше знакомства с вами не простиралось. Я не знал даже и того, сколько вам это дело известно, и не мог наименовать ни одного лица. Пять или четыре человека мелькнуло только передо мною.

Оставаясь на воле до 27 декабря, я знал уже и ход дела.

По первому обозрению, государь не принял его к сердцу и дня через три изъявил свою волю быть неограниченно снисходительным и милосердным.

Он дал от себя слово.

Это заключалось в признании при первом спросе: я член тайного общества. Далее уже ни в чем не обвиняли. Всякий мог сказать, что хотел, о своем участии и в то же время имел свободу писать прямо государю, что признавал полезным.

Он велик был в эти дни.

Кто был замешан показаниями других, тому позволялось выпутаться приличною редакциею на очных ставках.

Никто не воспользовался вполне из имеющих силу этим его расположением, и все почли нужным кого-нибудь да обвинить, боясь, что столь гласное дело нельзя уже кончить иначе.

Но многих выпутали из дела.

Очевидно, моя беда и начинается с того, что я не был членом.

Я был представлен в присутствие статс-секретарей и докладчиков, и особо М[ихаил] М[ихайлович] был повещен.

Государь сказал мне следующие слова: «Я не ищу вашего обвинения и изнурять вас не буду; вы мне будете нужны».

Вслед за тем потребовали от меня признания, что я член. Отрицательный ответ принят с гневом, и отослали меня в крепость. Тогда же при мне М. М. и просил государя.

Далее дело приняло совсем другой вид. Вас оставили, а требовали от меня объяснений об участии Спер[анского] и уже не верили ничему, что я пишу.

Богу так угодно было, ибо ни с того ни с сего схватила меня страшная горячка.

М. М. имел и друзей и врагов. На этот раз они согласились, то есть считали всего удобнее послать меня в ссылку. Тогда-то и заронилась искра в пользу мою и впоследствии обнаружила благородное чувство.

До марта государь все еще меня не оставлял. Дибич[2], князь Михаил[3] и еще иные хотели, чтоб я был при государе. И сами говорили мне, хваля меня.

Мне нечего было показывать. Я подробнее и больше написал им, нежели было.

Меня признали невиноватым, и велено было освободить.

Лукавый дернул сидевшего возле меня А. Бестужева[4], с которым мы в продолжение времени и разговаривали через каменную стену, упомянуть меня как-то.

Вот и не решились отпустить.



СВАРТГОЛЬМСКАЯ КРЕПОСТЬ
Из кн.: Schulman H. Striden on Finland, 1808—1809. Borga, 1909

Больного Левашов[5] привез меня опять к государю, который приказал сказать мне уже такие вещи, которых и он не знает, как единственное условие пощады.

Вертели, путали и в мае опять решили мое дело... выдержать в крепости три месяца.

По причине ничтожной и частию скрытой, понятной только мне, а более по воле божьей, переменили и доклад и все дело; не по официальному производству, а по бумагам, писанным в собственные руки, и в ином смысле, на что открыт мне был путь с полным удостоверением ... Как вам уже известно, приговорили меня к казни.

Сначала пробыл я около года с шестью человеками добрых товарищей в Свартгольме, больной и изнуренный. Потом при посредстве ген[ерал]-губ[ернатора] Закревского[6] угодно было государю, чтоб я был возвращен.

И вот почему, вовсе отделяясь от вас, переведен в П[етер]бургскую крепость.

Я застал, что там было хорошо и благородно. Секр[етный] дом зависел от министра внутренних дел и имел значительного чиновника ст[атского] совет[ника] смотрителем[7]. Но вскоре это переменилось на обыкновенное арестантское устройство. Между тем мне опять было позволено заниматься делом и писать в собственные руки государю.

Надобно чистосердечное доверие, что вам не лжет человек, чтоб принять дальнейшее изложение моей судьбы.

Бог дал мне вдруг глубокое чувство, и я знаю, что бог.

Я убедился в том, что не должен оставлять своего уединения и не жалеть, что прекращаю все связи с людьми.

Я весь предался моему предмету, то есть устремил все силы к обозрению, как это есть, что царство существует, и как это возможно, что слово немногих людей действует на миллионы. Мне послужило руководством известное предание о свете лучших наших фамилий, и я мог уже без сбивчивости разбирать это, да будет в практических его применениях.

Таким образом я начал жить умом и тою же силою хранить себя.

Нелегко сказать о жизни такого рода в продолжение двадцати лет.

В наружной жизни я хранил крайнюю тишину и кротость.

Это не спасло, однако же, меня от того, что комендант на вопрос обо мне государя объявил, что я вовсе помешался и нет никакой надежды к спасению.

Чтоб не оставаться праздным, я предпринял изъясниться. Чрез годы и* писал бумаги, никем не будучи ни надзираем, ни тревожим, кроме глупых придирок и затруднений, например, в счете листов бумаги. Это потому, что Литвин — подпоручик, назначенный смотрителем, ровно уже ничего не знал и, имея одного меня на всю службу, мог уже быть столпом службы.

Бумаги мои никто не читал до вступления Орлова. Он и разобрал их. Потому с [1]844 года и переменилось совершенно мое положение. Граф назначил от себя деньги на мое содержание, выписал мне журналы и газеты и, объявив, что он будет посещать меня как родственник, тем самым и дал уже значительность [8].

Дедушка Скобелев, человек добросердечный, повторил это, и благородный человек, бывший тогда плац-майором, не пропускал ни одного дня, чтоб чем-нибудь не выказать свою дружбу, и когда произвели его в генералы, пришел проститься.

В [1]845 году я закончил мое изъяснение (бумаги при-

---

* Так в оригинале.

нимали без затруднения), и мне нечего было больше там делать.

И хотя располагался 1846 год весь пробыть, чтоб осмотреться и определить что-нибудь для себя лично, но почувствовал крайнюю усталость, почти дряхлость и начало цинготной болезни. Это заставило меня в январе уже настоять об отправлении в Томск. В два дня все и кончили.

Мне объявили свободу и состоявшееся именное повеление, которого альфа и омега заключаются в слове: он опасен.

Две недели пробыл я в этом положении. Каждый день пил чай у коменданта и раз был в соборе у обедни. Ни с кем не мог видеться, потому что уже вовсе ничего не знал, как дикой. Даже едва умел ходить, а видеть и говорить вовсе отвык. Любопытные приходили смотреть на меня.

Пока вот все. Входя в подробности, пожалуй, на год достанет. Потому бы и хотел пожить с вами.

Чудны дела провидения, и я уверен, что сделал все, что мог из своей жизни. К довершению разве женюсь еще...

Не сердитесь на Мациевского — он мне и письмо отдал. Это прекраснейший человек: я его особенно люблю [9].

Последний мой поклон и живая к вам грамотка посланы с сестрами Бестужева. Благодарю их, что они со мною увиделись.

О здешней моей жизни можно и не писать, хотя бы и то хотелось передать вам. Братская ваша любовь и в самом обыкновенном найдет что-то.

Лето я прожил в саду, что, верно, вы уже знаете, теперь переселился в город, все туда же, где остановился сначала. Одинокий, не имею больших нужд.

Вот опять увижусь с вашим губернатором.

И у нас новый губернатор. Человек хороший и образованный. Немного познакомился уже с ним. Ожидаем и князя.

Вы говорите, что тревожит всякая перемена. Конечно так, но много ли нам надобно? Лишь бы не гнали. А мы сами уладим свою колею. Ничего не делая, можно бы, кажется, и правым быть.

Да почему бы и не верить уже нам! Худо или хорошо, но все же довелось жить-то перед потомством.

Тогда же и разберут, лозунг ли это было или умысел.

И все невозможное явится невозможным.

117. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Томск, 24 мая 1849 г.

Пора мне опять написать к тебе несколько строк, милая сестра: я ждал твоих ответов, и, верно, они замешкались в житейских суетах.

Все, слава богу, для меня и около меня благополучно, все как и было, так и есть.

С наступлением весны я принял возможное мне участие в хлопотах по домашнему хозяйству, и не более как в хлопотах. Главное земельное дело: ох это земельное дело! Оно просто состоит в осушке болотного места и в возвышении части, потопляемой рекою. Я взял в руки лопату, набрал возчиков и сформировал из домашнего народу рабочую команду, а главное — всем, кому только мог, надоел своею энергиею. Еще надобно насыпать тысячу возов, и дело с концом. Так этому делу будет конец, но не конец деятельности. Черчу уже планы на перестройку флигеля, после примусь за цветник, за теплицы. Словом, нашему огороду и прилежащим к нему местам предстоит такая радикальная реформа, какой не мог бы он ожидать и от поступления в откупное или золотопромышленное ведомство.

Беда только, что делаю промахи. На базаре торгуюсь до безобразия, а продавец в неожиданных барышах. Просят ассигнациями, а я плачу серебром. Одно утешение, что те, которые надо мною смеются, попадают в тот же капкан. Тут, между прочим, можешь заметить, что я начинаю приобретать успехи в искусстве радоваться чужому невзгодью. Говори теперь, что наука не одолевает природу. Может быть, и в самом деле смеяться пополам с горем гораздо общежительнее и нравственнее, нежели смеяться на особицу и не разделяя чувства.

С 16-го мая началось и купание. Но Томь теперь слишком красива в ее великолепном разливе, и досадно в нескольких саженях от берега исчезать неприметною точкою. Впрочем, май у нас довольно холоден и дождлив. Цены упадают, денег становится менее и менее. Здоровье вообще удовлетворительно, и материк спокойствия выказывается сам собою без углубления. Самый ил нищеты уносится быстрым потоком деятельности, кажется, в Ледовитое море.

О холере нет и речи. В исследовании этой болезни

24. Мая 1849. Томскъ

[illegible]

Все, слава Богу, у меня и около меня благополучно, все как было, такъ и есть.

[illegible]

ПИСЬМО Г. С. БАТЕНЬКОВА А. П. ЕЛАГИНОЙ
ОТ 24 МАЯ 1849 Г.
Автограф. *ГБЛ*

русские врачи приобрели право зиждителей науки и могут выставить себя учителями[1]. Лучшее доказательство тому, что начинают говорить толковито, понятно не врачам, без гнева на разномыслие и объявляя, чего не знают. Под их пером вековое схоластическое прение о превосходстве теории или практики очевидно сглаживается и примиряется основательнейшим объемом.

Вообще в последнее время медицина доставила литературе много ясных фраз и вообще наука выразила свои результаты текущим словом. Логика может иметь уже свой лексикон и подвинуться к соображению категорий слов, фигур и тропов; в этом и сущность математического метода. Правда, слог еще пестр и неровен; но нам, русским, бояться нечего, сколько потому, что мы, как окружная стена Европы, разделяем корысти, собираемые в готовых централизациях, столько и потому, что имели уже опыт и входа и выхода. Теперь то же повторяется, что было при Петре[2]. Карамзин в молодости сомкнул тот круг, и надолго мы не имели новых притечений, чуждых языку, очищая прежние и богато черпая в собственных сокровищах[3]. А на это нужно время. Гнушаться экзотическими пересадками не значит ли отказываться от благодеяний своего климата и почвы.

При нынешних бедствиях нужно утешение, вера и надежды. Громады доселе не были поняты, оставались неприступными разуму и не выражены. Пятьдесят лет теперь громады в движении и болезни. Они же и родят, бог даст, понятие, и наука узнает, чего искала. А понятию всегда сопутствует слово, посему Пушкин и Жуковский не останутся последними из говорящих.

Прости меня за короткое письмо. Так как-то расположен.

Обымаю родственным и дружеским чувством все твое семейство. Марье Васильевне, когда соберусь, напишу о себе. Весь твой и тебе Батеньков.

118. [Н. И. ЛУЧШЕВУ][1]

[Томск, лето 1849 г.]

Обдумав основательно последнее решение по предпринятым постройкам, я нахожу необходимым исполнить буквально волю Семена Трофимовича[2], то есть все и решительно прекратить; это тем более удобно, что мы недалеко

еще зашли, и, если б не распутица остановила пять почт, знали бы все своевременно, итак, вот в чем дело:

1) Постройка жилого флигеля отнюдь не начата, и говорить об ней вовсе нечего. 15 т[ысяч] кирпича и 12 сажен камню все равно, что наличные деньги, ибо заготовлены своевременно и всегда могут сойти с рук без убытку, сколь не с выгодою.

2) Хотя службы уже заложены, но стоит только известить начальника арестантской роты, что мы не будем продолжать до времени, он не будет в претензии, ибо рабочие руки, конечно, теперь ему и нужны, а, получив $1/3$ вперед, он ни за что не ответствует.

3) О заготовленном лесе на службы нужно сделать выметку из имеющегося в доме у вас счета и отослать по требованию. Нужно только спросить, хранить ли этот лес или обратить в деньги, что также в свое время легко сделать.

4) Полученные 500 рублей можно бы тотчас возвратить как нетронутые, но лучше, ежели о том получите положительное разрешение, ибо мне как-то не хочется входить с Иваном Дмитриевичем[3] в изъяснения. Он человек сторонний от нашей жизни и может принять это не так, как я вижу, а лучше, ежели отдадим безмолвно после оборота почт, как будто бы я сам занимал.

5) Забор предоставлено строить Степану Егоровичу[4]. Если к нему уже писано, то опять и толковать не о чем. Вот и все. От него же я получил деньги и всегда считал более принадлежащим к его делу, но только через такое огромное расстояние и такое долгое время разлуки изъясняться очень трудно. Но я сохраню свое чувство и постараюсь высказаться.

119. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Томск, 10 октября 1849 г.

Наступление нового месяца материалисту ничего не значит, ибо ничем не отмечено в видимой природе. Нравственно совсем другое: это действительный аспект. Сколько оканчивается и сколько начинается сроков в нашей матушке России? И ежели это производит действительную волну в животном пространстве, то прибавляется в нем новая черта — реакции на успокоившееся уже в продолжение двенадцати дней движение в заграничном мире[1]. Если б можно было устроить и в этом пространстве об-

серваторию... О! Тогда бы открытие Америки имело себе победоносного соперника.

И во мне наступление месяца производит живую струю — я получаю возможность сказать тебе, мой добрый друг, два, три искренние и благодарные слова.

Октябрь хотя по имени и соответствует музыкальным гармониям, но меня встретил не совсем приятно. С наступлением его я слег в постелю и мог потерять употребление руки и языка. Но по милости божией я сильнее болезни. Вот уже сижу и пишу, не могу только быть с людьми, а к этому я уже и привык. Мне не хотелось бы возбудить в тебе никакого опасения и печали. Кажется бы, довольно, что я сам не опасаюсь и не печалюсь. Даже медик посещает только меня, но ничем не поит, не сосет кровь и не мажет. Надобно было всему случиться со мною, чтоб крест мой был полон, очищение удовлетворительно и упование на бога имею во всякой милости основание. Есть провидение, и потому оптимизм не совсем мечта, sauf *, что нельзя играть превосходными физическими и нравственными силами, да и в самом деле нельзя.

На зиму остаюсь в прежнем помещении. Новое не успели и не могли докончить. Правду сказать, давно уже хочется завоевать до дюжины кубических сажен для вседневного дыхания. Желание умеренное — но и то отложить доводится до юбилейного года [2].

Теплою одеждою я запасся и ежели буду в силах употреблять ее, то, наученный опытами трех минувших годов, не буду себя закупоривать, а пойду лицом к лицу прямо навстречу здешним морозам и установлю пешие прогулки непрерываемо. Надобно признаться, что старею: ибо до пятидесяти лет шуба была мне сущим бременем.

Прошедшая зима у нас была теплая, и это было предсказано многими прекрасными северными сияниями. Нынче утешительной радуги не видали, а что ни говори, но когда ртуть замерзает, то рука не свободно открывает оконце ковчега. Но сосчитаем и смеряем: ведь только уже четыре с половиною месяца ... до ... твоих именин.

Уединенный, только теперь и слышу, что тихий бой маятника и удары молотка в часовой тимпан [3]. Это приятная новость: остальное держу по примеру прежнего уединения. Та же лампадка на всю ночь, та же библия на сто-

* За исключением того (франц.).

лике. Ко мне придут и уйдут в определенное время: с чашкой чая, с куском хлеба и стаканом молока. Такая жизнь имеет глубокую приятность. Понятно, какая святыня окружает сельского священника, когда он один, при немногих свечах, собственно для неба отправляет служение и за шумящий в даль его мир приносит жертву. Мудрено ли ему чувствовать сияние вечного света.

Сей жрец чередовой завета,
Завесой отделен от света,
Поет — и видит свой венец [4].

Прощай, доброе сердце! Сладко быть уверенным, что оно для меня никогда не охладеет.

Обыми Марью Васильевну, всех своих детей и внучат. Божие благословение да хранит вас и да пребудет всегда с вами.

Гавр[иил] Батеньков.

120. [С. Т. АРГАМАКОВУ] [1]

[Томск, начало 1850 г.]

Письмо твое, мой превосходный друг, среди перерыва всех с вашей стороны откликов обрадовало меня много, и я долго держал его в руках, просто любуясь так мне известными и так прекрасно доселе сохранившимися чертами. Обращаясь к своему искусству, я имел бы полное право завидовать, но это чувство мне совершенно чуждо; и странное дело — оно пропало в огромном количестве моего природного самолюбия, которое, будучи до крайней меры напряжено волею и обстоятельствами жизни, не могло укрыть и самого меня и в борьбе душевной просветило истиной до чувства чести, и как это есть теперь во мне, исключительно по-моему она тем и хороша в моем положении, что нимало не тревожит. Вот какое вышло странное вступление, когда по содержанию, уже несколько часов мне известному, надобно бы сосредоточиться совсем в другом пункте. Следует отсюда, что я наго развиваюсь теперь же перед тобою душой своей, а я в самом деле этого и хотел. Через такое долгое время и на таком огромном расстоянии необходимо, чтоб случай дал какое-нибудь дело, дабы можно было обмыслить взаимно и обмыслить жизнь в ее драматическом ходе. Я напрасно и назвал это случаем. В существе мы коснулись только одной из артерий той же самой жизни.

Ты говоришь ясно и искренно, моя задача та же самая, хотя надобно признаться, что по свойству моему все ее формулы и выражения столько же строгие, выходят не столь положительными, гибки[ми] и эластичны[ми] от привычной осторожности, когда доводится говорить о лицах. Все же, однако, есть возможность хоть и не вдруг объясниться, ибо основа у нас одна, а едва ли разнятся и исходные точки.

Я боюсь только, чтоб расстояние не перепутало наши мысли и самую силу слов, потому их должно быть немного, изложение сжатым по всей возможности, без чего не будет ясности. К счастию, ты обладаешь упорным терпением и не теряешь от времени впечатлений. Посему мы и можем приложить математический метод.

1) Жизнь твоей семьи[2] не представляет никакой аномалии с жизнью почтеннейших домов в городе. Была всегда нравственно строга и стоит незыблемо на корню, оставленном родителями.

2) Всем известно, что сестра не имеет никаких собственных средств и зависит в этом от брата, уделяющего ей по родственной любви даже и из того, в чем отказывает самому себе, не будучи неимущим, но не обладающим богатствами в современном, роскошном значении этого слова. Такое понятие установлено самою ею, и она высказывает себя всегда зависимою, ограниченною, но довольною.

3) До последней катастрофы я видел эту жизнь вообще, но не вникал в ее подробности и почитаю неуместным входить в них. Но могу, однако же, удостоверить, что хотя и нет примеров экономии, но нет и расточительности или отсутствия приличий и смысла в распоряжениях хозяйства.

4) Я писал к тебе не с тем, чтобы в чем-нибудь считаться, но, коснувшись по твоему требованию счетов, хотел быть вполне искренним, чтоб не сделать шага в ложное положение к тебе.

5) Долгов в прямом, неприятном значении этого слова никогда на твоем семействе не было. Но по обширности, в которой я его застал, и по требованиям и обычаям городской жизни, сильно тогда дорогой и развитой, нельзя было свернуться в формы казначейства, когда уже было общежительное направление. Отсюда выходили лавочные счеты, счеты по комиссиям и оказывали по временам дефицит в годовом итоге. На покрытие одного из таких

дефицитов была моя полная воля и все удобство. Я сам отвратил потребность особо обратиться к тебе, полагая, что ты дал уже на это средства, ибо я стоял тогда на той мысли, что никак от твоего семейства не отделюсь и не имею никакой причины думать о собственном обзаведении. И меня радовал самый случай, при искренности моего изумления, что ты весь для меня так благородно сохранился.

6) Я сам ушел далее, нежели был должен и нежели предполагал. Но я, подавленный и измученный долгим бездействием своей довольно энергической натуры, вскоре бы уже умер, если бы не принялся ни за какое дело. Богу одному известно, каким образом очутился я хозяином дома и действительно стал во главе семейства [3]. Достало, однако же, у меня ума, всегда оборачиваясь на [средства], не приковать себя к этому положению и остаться свободным и способным в любой день, никого не удивив, выйти и стать особо. Я уже и решался на это, но меня удержал Иван Дмитриевич, дружески рассмотрев, что значение мое в Сибири не совсем забыто и что скромный быт мой благоразумно тому соответствует и должен быть поддержан доселе, что спуститься с него было бы оскорбительно дружбе, особливо в тот час, когда она надеется. Ты знаешь, что это лицо не до слабости снисходительно. Губернатор с той же стороны напал на меня, узнавши о намерении избрать хоть тут же в доме, но более тесное помещение.

7) Я хорошо не вижу, долго ли могу так держаться. Но концы с концами свожу 1-го числа каждого месяца. Дефицит не допускаю, но и запаса мне не накопить, прибыльного дела, которое бы материально меня обеспечивало, мне не завести, да и лучше быть от всего свободным и чуждым всяких столкновений. Я верю дружбе и не отвращаю ее руки — единственного моего сокровища и блага.

8) Не считай ты положение младшей твоей сестры слишком неприятным. Она не несла на себе забот, ничем не стеснена в жизни, а по характеру своему и благоразумию сама ограничивает ее развитие. У ней есть и неприкосновенные запасы, конечно, небольшие, но все же лучше, что есть. Меня сильно возвеселило, что ты обращаешься к ней ласково, об этом я еще раз прошу тебя, но, ради бога, не оставляй в слезах и старшую. Она уже дряхлеет. Кто не имеет недостатков? Будь снисходителен. Оставим настоящий предмет между нами. Протяни к ним братнину

нежную руку. В чем нужно, авторитет твой нимало от того не пострадает.

9) Только отправлю это письмо, замечу его слабую и неумную сторону. Так создал бог человека, что надобно что-нибудь сделать, чтоб увидеть, по своей ли идет дороге. Будем откровенны, и не останется места никакому огорчению. Впрочем, ты в этой добродетели не имеешь недостатка.

10) На присланные тобою 800 руб. я смотрю еще дико. Об них у меня не предшествовало никакой мысли, как о давно прошедшем окончательно. Пожалуй, оне могут мне служить теперь подкреплением. Но еще не решаюсь ни на что. Может быть, утро вечера мудренее будет. Пусть остаются запасом, как денежка на черный день. Деньги обыкновенно держал я у Филос[офа] Александр[овича][4] и всегда выбирал сполна. Теперь года три вверяю уже своей коробке. Посланные с Иваном Дмитриевичем строки кое-что восполняют, а мне уже жаль дальше обременять тебя.

Прими мое искреннее, неизменное чувство и прости, ежели в чем провинился.

Поздравляю с наступающим днем ангела и прошу поклониться доставляющим мне великую опору доброю памятью и приязнию, а во главе их Козьме Григорьевичу[5].

121. [К. Г. РЕПИНСКОМУ][1]

[Томск, начало 1850 г.]

Прямо искать для себя я ничего не могу, ибо решение мое такого свойства, что работы нет без заказывания и требования.

Весь ход дела и круг отношений после меня совершенно изменился.

Однако же ум Сперанского бессмертен, и пока есть ум, будет иметь свой элемент. К этой стороне принадлежат многие и многие, как в старом, так и в новом поколении. В них я и могу иметь всегда сочувствие.

Почти все меня знают, разумеется, в свете или в тьме. Но эти все точно ничего не могут.

Несмотря на это, надпомнить-то бы могли, а граф Орлов в силах был бы опять попробовать навести прежнюю мысль употребить и меня к делу, в чем теперь уже и не выйдет от меня никакого препятствия.

Надеюсь, что здешнее начальство [2] может только подкрепить.

Дубельт *[3] необходим, как дверь на лестницы. Он должен обо мне много знать.

Мне сдается, что отзыв одного простого честного человека, каков, например, адмирал Рикорд [4], очень много мог ** бы значить.

Лучшее содействие во всем мог бы оказать Василий Андреевич Жуковский, но он еще не возвратился из-за границы. Через это много теряется. Однако же двор не совсем неприступен. Укажу на Никиту Всеволожского [5], князя Безбородко [6], на мадмуазель Варвару Ланскую, на Сергея Михайловича Лихардова, главноуправляющего в Петергофе.

Министры все знают меня, да они неприступны. А лукавый знает, может быть, Врочченко [7], и даже сам Клейнмихель желали бы быть со мною.

Бахтин [8], Ханыков [9], Танеев [10], Корф [11], конечно бы, не отказались встретиться, хотя уже они имперские гранды.

Старика бы какого-нибудь выкопать, а многие меня любили.

Две особенные просьбы:

1) Ежели остановитесь в Москве, увидитесь с значительным сибиряком Васильем Дмитриевичем Корнильевым. У него свой дом на Мясницкой по бульвару. Там же еще мой кровный Иван Васильевич Киреевский.

2) Знаете, в каком бедном положении Настасья Ивановна Гуляева. Право, по всей справедливости ей следует пенсион за 50-летнюю службу отца [12]. Я посоветовал ей просить государя. Нельзя ли вам сколько-нибудь помочь этому.

3) Молдавского [13] и Леонида Лучшева [14] не забудьте. Последнему мог бы помочь директор Департамента Матвей Михайлович Корнилов, он женат, добрый мой товарищ с детства. Забыл только фамилию, а там еще зять здешнего Штейнгейля, женатый на его дочери, вице-директором [15].

[*На л. 1 приписка карандашом:*] Мне теперь нечего делать, нельзя не горевать.

---

* В оригинале: «Дупельт».
** В оригинале: «может».

122. А. Ф. ОРЛОВУ

Томск, 6 июля 1850 г.

Сиятельнейший граф!

Велик лежит на мне долг благодарности за великодушное воззрение вашего сиятельства на мою судьбу. Чрез вас восстановлена возможность счислять ее в добро и смотреть мне на все свои страдания, как на совершающиеся в виду светлой власти, могущей определить их меру и оценить неограниченную покорность ее воле.

Так и провел я здесь четыре с половиною года испытания после тех двадцати лет, которые необходимо должны были очистить душу и освятить.

Оживленный, успокоенный и снабженный вашим сиятельством в первых потребностях начатой вами мне жизни, я приобрел навык и самую обязанность мыслить, что благородному вашему сердцу не свойственно одним актом доброго дела отсекать от себя все его последствия.

На таком основании приемлю смелость представить вашему сиятельству искреннее изложение моих нужд.

В Сибири я надеялся найти родной воздух, а может быть, и дело к покрытию насущных потребностей. В первом отношении жестоко обманулся. Вся жизнь, не здесь проведенная, произвела решительную отвычку в старости от сурового климата. В продолжение краткого лета я бывал здоров, но с наступлением осени весь обращаюсь в болезнь. Многие раны, полученные в сражениях против французов, предрасположение к цинготным, апоплексическим, а частию нервным и душевным недугам, особливо при морозах зимою, проницающих через всякое жилище, и при неимении медицинских пособий,— мучат меня и истощают.

Сибирь обширна и не одним климатом ограничена. Болезненный человек на воле может и в ней находить лучшее, по крайней мере в перемене места; может нуждающийся в содержании приискать себе занятие. Эти выгоды до меня не относились, и я должен есть печальный хлеб казенного и частных пособий. Бездействие и праздность мне не по природе. Они теснят душу мою, даже издали, и разлучают с силами. Заключенный в стенах города, не имеющий никаких гражданских прав, никакой собственности, я могу трудиться только уныло и не для себя.

Служба мне едва возможна — гражданская. Но я редактор здешних законов[1], и многие установления мною изобретены и названы. В ходе дела под верховною санкциею течет собственное мое слово. Страшно стопою цинизма вступать в это святилище. Предпочитаю совершенно уничтожиться.

Тяготит меня и еще одно обстоятельство. Все, что я не имел прежде, по какому-то решению взято в казну, а я оставил на себе необеспеченные долги, обыкновенные по счетам. Следовало бы их заплатить.

Прибегаю к вашему сиятельству с докукою о новом для меня ходатайстве. Оно того же свойства, как и первое: сохранить мне жизнь. Смею уверить, что она та же и с теми же чувствами, которым счастливые мои сверстники имели возможность приобресть столь блистательное развитие.

Сближение средств содержания с условиями лучшего климата, возможность заработать сделанные мне одолжения — вот что составляет теперь мое желание. Прошу возвратить меня в родственное семейство и позволить жить в Тульской губернии и если потребно точнее — в городе Белеве и его уезде *. Этим благодеянием вы бы еще раз меня воскресили.

Сие мое желание и предаю милостивому благоусмотрению вашего сиятельства в настоящий час всеобщего благоденствия и радости. Опасно возбуждать в себе стремительные чувства; но, обнажая себя пред вашим сиятельством, я увлечен. В этой наготе, не имея никакого предостережения, переношусь на минуту в ту высокую стихию, где полагал мой рай и где находил родственные приветы.

В кресте моем много темных мест. Та же самая десница, которая его возложила, не раз помогала мне снять его или нести. Это не мог я ни забыть, ни отемнить. Непонятен гнев. Всем известно, что в существе вина моя ближе подходит под закон народной пословицы: «Был на Иване Великом, а птицы не согнал».

Басни и кара и совершившиеся так неожиданно, но так ярко предвиденные события могли бы изъяснить все мое поведение и ясновидение ваше, хотя бы по тому же правилу, которое во зло мне было принято, я и не был бы

---

* Приписка рукой Л. В. Дубельта (карандашом): «Об этом ходатайствовал д[ействительный] с[татский] с[оветник] Якобсон»[2].

единожды спрошен. В нынешнее время такой разительный опыт в жизни мог быть и обширно употреблен в пользу дел, науки и мысли по простой экономии в людях[3].

В сих последних строках я представляю моим извинением единственное неограниченное и неизменное в самой глубине души моей к особе вашей почтение и любовь, уповая, что всю даль до моего состояния наполнит сияние вашей доброты.

Гавриил Батеньков.

123. [К. Г. РЕПИНСКОМУ] [1]

[Томск, после 6 июля 1850 г.]

Семену Трофимовичу сейчас обо мне подробный отчет.

Скажите ему, что он поставил меня к себе в неоплатный долг.

Иное право уж такого свойства, что мне самому стыдно, я распоряжаюсь уж так, как будто завтра заплатить в силах.

Полученным от него содержанием я вполне снабжен. Не имею никакой существенной нужды, даже предаюсь иногда сердечному влечению.

Лучшевым за призрение меня и за такую ко мне привязанность, что буквально ни одного слова между нами неприятного в продолжение четырех лет не было, я до глубины души благодарен. Здесь и останусь пока здесь, да и после не разлучусь.

Экономя моими средствами, я частию сам предпринял и частию еще склонен устроить ветхий дом. Вот осушал болото, расширил место, построил новое жилье и творю по обширному плану, чтоб лет на пять и более было мне занятие. Никакое другое дело невозможно, а от бездействия могу умереть.

В доме его сестер бываю ежедневно и совершенно ими доволен. Николенька крепко мне понравился и сам меня полюбил.

Мне здесь жить и просто и уже безбедно. Но нравственные мои страдания чрезмерно велики, на свет бы не глядел, хотя душа моя довольно еще сильна и чиста, чтоб одолевать противное чувство. Климат своими морозами и крутыми переходами нестерпим.

Почел бы за большое добро, если б позволено было переехать на житье в Белев или уезд его Тульской губер-

нии. Там мои Елагины, а сам я мог бы заняться наукою и все, что готовил для нее, доселе привести в окончательный строй [2].

В заключение скажу, что меня не испугает никакая неудача, ничто противное и никакое зло. Нет никакой надобности что бы то ни было скрывать от меня. Всякое сведение приму с благодарностью, как успокоительное по своему влиянию на мое холодное рассуждение.

124. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Томск, 17 августа 1850 г.

Наконец я пишу к тебе из нового жилья. Не знаю, сохранит ли оно меня сколько-нибудь от жестоких морозов, но теперь радует, как младенца. Правду сказать, такая радость не требует глубокомысленных изъяснений: четверть века я дышал собственными своими испарениями и последние пять лет пробыл действительным Танталом [1]. Разные мелочные препятствия и существенные недостатки средств моих и моего хозяина разрушали надежды то в конце, то в начале. И вот напряжением всех сил, как в тугой лук, в три месяца сомкнулись предприятие и цель. Я перешел тотчас, как пустили дым, несмотря на шум и гам продолжающейся вокруг одра моего работы. Теперь имею ровно 40 кубических сажен для дыхания и ровно 40 квадратных аршин для света. Не в великолепии и роскоши тут дело, а об удовлетворении вопиющей нужды.

Лето у нас простояло с половины июля до половины августа невступно. Какие прекрасные и вожделенные дни! Вставленные в столь тесную раму, они казались панорамою лучшего мира. Я исходил все стежки около города и в окрестностях одной из хозяйских пустынных дач, наслаждаясь целыми солдатскими переходами ежедневно. Время сенокосное, дни работ и песней. О медведе уж и не думал, хотя он страшно на днях изувечил крестьянина почти в самом городе. Этот зверь, разумеется, не все один и тот же, тревожит нас три года. Не знаю, чем-то кончился вчерашний на него огромный поход.

Последнее письмо от тебя я получил от [1]3 июля. Оно дошло ранее месяца, и я опоздал целую неделю ответом за тяжкими хлопотами. Из большой семьи непрерывны известия о больных, и как мне жаль тебя, что ты, как родоначальница, необходимо должна всем сочувствовать.

В наш век, говоришь ты, все разъединяет с семьею. Правда: Олимп к нам ближе уже, нежели Пенаты. Это, может быть, и потому, что масса умерших превосходит уже массу живых, держит ее в громадной солидарности и тянет ее от Земли. Но мы люди еще старого века и потому двояко подвержены семейным скорбям. Мучимся и положительно, и отрицательно, и от любви, и от недостатка любви. Так же истину сказала ты, что богу единому принадлежит любовь. В Земле, конечно, нет любви, она вся в боге: живое слово его и сила и в таком значении: наша жизнь, наше слово, наша сила и мудрость. В душе любовь тесна и беспокойна; в духе безбрежна и стремительна. Она сама себя выразила вседневною нашею молитвою.

Отец небесный да святится
От всех послушных чад его!
И на земле да водворится
Сиянье царства твоего!
О! Да познают твою волю.
Насущного дай хлеба долю
И не взыщи твоих долгов.
И всё и всем теперь прощаем.
О! Да в напасти не впадаем.
Ты бог, дух, слово всех миров.

Это простой перефразис лучшего изложения.

Председатель А. Болтин, через которого шла твоя переписка, теперь в отпуску и скоро должен быть в соседстве у вас, в Тульской его деревне.

Что-то наши крымские пилигримы[2]. Я неразлучен с ними чувством. Там первый шаг мой в свете, моя юность, моя первая и до конца не погасшая дружба, там вся моя поэзия.

О Феодосия! Священным
Ты вечно храмом будешь мне.
По высотам, к тебе склоненным,
Как Моисею в Купине,
Призывный огнь мне возгорелся.
В полет им к небу я согрелся,
Узрев в кольце его концы.
И моря и земли волненье
Мне указало вдохновенье
Денницы гаснувшей венцы[3].

Юность навсегда мила нам. Это только что вышедшее из рук создателя создание прозрачно еще его добротами; на него не пали еще имена земных громад и не начался в нем химизм разрушительного действия страстей.

«Не препятствуйте детям идти ко мне,— сказал Христос,—в них царствие божие».

Да, это проводники любви нашей к богу, и параллельный с ними ум в самой зрелости часто и в одряхлевшем теле силен.

Прекрасно первое состояние невинности. Но от нас уже требуется познание добра и зла, и потому окончательное совершение наше в уме. Когда эта божественная искра рассеет окружающий ее мрак, сольется воедино с волей и устремится к своему изотопу, тогда начинается бессмертие. Свет во тьме светится, и тьма не объемлет его.

У нас недавно было горестное и страшное событие. Упал весь купол на строящемся вновь соборе, почти при самом его окончании [4]. Это другое такое же событие в Сибири. Здесь четыре человека лишились жизни. Это усердные или любопытные. Каждый день многие невозбранно всходили наверх, и я часто бывал другим проводником. Эпархиальный, добрый и благочестивый наш архиерей любил это здание и беспрестанно бывал на нем, обозревал и знал все части от великих до малых. Причина падения неизвестна и совсем не понятна.

Работа производилась по проекту знаменитого Тона и по чертежу благополучно конченной работы в Петербурге. Невозможно было приложить более прилежания и тщания. Выбор материалов, отделка, техническая точность — все строго, очень строго соблюдалось, и сомнения нималого не было... Однако большие арки не выдержали тяжести, и купол рушился с ними внутрь так симметрично, как бы по исчислению, не поколебав и не повредив стен, столбов и всех частей, бывших с ним в соприкосновении. Один из упавших сверху отрыт полициею из громады щебня и среди огромных лесов по голосу, живым и мало изувеченным. Хотя разрушение было непредвиденно, вдруг, мгновенно, однако многие из посетителей успели сбежать с верхних лесов по первому треску и стать в безопасности в том же здании. Я был сажен за двести и видел падение. Жаль, развалины, ежели можно так назвать обезглавленное только здание, и теперь у меня перед окнами. Жаль труда и усердия, жаль и красоты.

Вот и до конца написал. Прощай, мой неоцененный друг. Обымаю Марью Васильевну и предаю вас и себя покрову божию.

Гавриил Батеньков.

И в неудаче зданий, вероятнее всего, причиною наш зверский климат. Он решительно разлучает физику с геометрией, точно так же, как и организм с духом.

125. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Томск, 18 сентября 1850 г.

Получил я твое письмо, мой почтенный и добрый друг, от 10-го августа. Нам нечего считаться ответами; они, без всякого сомнения, всегда пишутся и всегда доходят. Точно так было, что я долго не имел от тебя сведений, но знал, что причина этому местная. Здешний гражданский губернатор, по званию главного начальника Алтайских горных заводов, отлучается с весны в Барнаул и заводскую округу, тогда и случается, что письма из Омска проходят к нему, и чрез то теряется несколько недель. Включая же время, требуемое расстоянием между нами, выходит полные два месяца в один конец. Вот тут и нелегко, когда порвется на каком-нибудь известии о болезни и разных трудностях семейной жизни.

Приятно слышать, что наши крымские купальщики извлекли достаточную пользу из своей поездки. Если они еще там, то позволь мне им позавидовать. Знаю, что целых два месяца они будут пользоваться живительною природою, тогда как наша с 1-го сентября, точно уже по индикту[1], накинула на себя серую мантию с белыми лентами и пожелала доброй ночи до будущего июня. Что же читаю в твоем письме? Жары в 25 и 27°. Суди сама, легко ли управляться с такими аномалиями даже воображением.

Ты стала в каждом письме упоминать и о Наталье Петровне[2] (прежде всего кланяюсь ей). Я и предвидел это, стоило только в самом деле заболеть, чтобы материнское сердце, и еще такое доброе, как твое, обильно излило глубоко затаенное в нем чувство. Вот и этот последний эксцентрицитет[3] в твоем семействе сильно укоротился, и, верно, скоро вся система около тебя, своего средоточия, будет двигаться по одному закону.

Месяц прожил я в новом моем жилье радостно и как будто чувствую себя легче, крепче и моложе. Нечего мне доискиваться: пространство, свет и воздух нам необходимы, а я долго, долго получал их гомеопатическую дозу. Благодарю тебя, милая сестра. Без твоего ангельского обо мне попечения мне трудно было бы и овладеть частью

хозяйского болота и осушить его, прочие же места в городе по чудовищной цене их вовсе недоступны. Правда, я не имею и теперь ничего собственного, но провидение видимо помогло мне, и я слабо чувствую это лишение. Шестидесятипятилетний мой хозяин [4], добрый христианин, добрый гражданин, добрый отец семейства,— говоря светским языком, случайно, на две недели только принял меня под тесную, старинную свою кровлю и поделился необходимым ему помещением. Это было в то время, когда все от меня побежали, а я отвык и не умел даже купить на рынке черного хлеба. Он почувствовал сердечную мою теплоту и приселил к себе. Повторю, все это случайно, по-светски, а по моей вере — перст всемилостивейшего бога.

Производя хозяйскую работу, я имел случай видеть, что быстрое развитие индустрии требует многого и очень многого времени, чтоб укрепиться; уверился, что наука — не однолетнее растение. Все, что мы выиграли эстетически и спекулятивно, теряем в экономии и прочности. Работник тщится ставить дело налицо и не щадит материалов. Например, в лесах у него нет обрубков; на каждый клин давай новое дерево или рассчитай и отпусти. «Не могу и не хочу иначе» — вот и весь ответ. Я принужден был внушать, что строительные материалы — такой же дар божий, как и хлеб,— и если считается за грех бросать под ноги кусок и даже крошку, для которых зерно ежегодно произрастает, то не надобно ли усилить еще чувство благоговения и благодарности к творцу, когда потребляешь лес, во многие десятилетия им взлелеянный, и лишение которого, особливо здесь, угрожает бедствием, худшим голода. Неприятно, что досюда не простерлось религиозное чувство, столь свойственное нашему народу. Это открытие, что попечение о благе будущих поколений состоит в разумном употреблении даров, принимаемых от лица живого бога, и потому уже отнюдь не с пренебрежением и злоупотреблением,— объемля этим правилом совокупно дары материальные и душевные.

У нас и второй тоновской конструкции собор не устоял. Кажется, я писал уже, что купол упал в Томске 26 июля. Может быть, самая консепция гениального художника не сообщима исполнителю, вышедшему не из его школы; может быть, также качество здешних материалов и жестокий климат физическим их действием одолевают геометриче-

ский строй и расстроивают равновесие. Велика еще задача для науки, и много ей потребно жизни. О, как трудно привести ее всю к понятию божия бытия. Сказать легко, что тут божие наказание, божий гнев; но чтоб это было разумно, надобно еще найти такой грех, который бы влек за собою полную меру законов природы, дабы судящая воля могла стать свободно выше их. Оно так как-то, но точно непостижимо. Нам остается в таких катастрофах видеть только и без того бедную сторону нашей слабости и невежества.

Медведя, который нас целое лето беспокоил, солдаты и охотники убили. Страшный и дерзкий был зверь. Замечательно, что перед смертью изломал он человека, который пошел воровать лошадей. Любопытно должно быть в суде показание. Много также говорят о раскаянии довольно безнравственного лица, которое бог привел к этому почти чудом. Это упавший с самого верха купола и не сокрушенный громадою камня и дерева. Полный, кажется, урок, но достанет ли сил им воспользоваться...

Сердце человеческое вода. Брось камень — она дает многочисленные и резкие круги. Но скоро все утихнет, и не может вещество повторить явления из самого себя, собственными силами.

О Марье Васильевне и аскетической ее жизни много бы мне хотелось поговорить с вами; но диалектика моя все как-то не готова. Я испытал это настроение души, в котором кажется, что из мира один только шаг стоит сделать, и последует совершенное от него отречение. Нет, мир не башмак, с ноги не сбросишь. Куда проходит воздух, пройдет и мир, везде светское, где есть свет, и что могут тут толстые монастырские стены и самый нахлобученный клобук? Кажется, простее в мире и искать его творца. Как в обыкновенных проездах остаются в нас неподвижными память, разум, воображение, так и благочестие, по мере его в душе содержания, пребывает и среди треволнений жизни, со всею удобностию к развитию. Мы ищем исключительный дар святого духа, но прежде должны знать, что все творение свято. Искомый дар не есть категория, а некая поляризация. Он покой, ум и воля. Склонность к аскетизму есть какая-то потребность в исключительном деле, в исключительной заслуге, и если ограничиться одними размышлениями благочестивыми, то всего опаснее. Деятельный ум непременно впадет в скеп-

тицизм; ум слабый обымется суеверным страхом. Жизнь в самом простом значении слова и отрицание того, что ведет к смерти, есть лучшее угождение богу, и по разуму и по букве Евангелия. Тогда только и самопожертвование, разумеется в важных случаях, имеет полную цену.

Прощай, мой несравненный друг. В беседе с тобою все мое утешение. Господь да хранит тебя надолго и долго — навсегда.

Твой Гавриил Батеньков.

126. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Томск, 16 октября 1850 г.

Две недели лихорадка, флюс и лом раненого плеча продержали меня в постели. Теперь с наступлением ясных морозных дней стало и мне светлее... И вот пишу к тебе. Это моя первая потребность сердца, не удовлетворив ей, я бы и не рассчитывал на выздоровление.

Осень наша несколько лет пользовалась доброю репутацией, но в три года совсем испортилась. Сырой сентябрь, сырая половина октября с внезапными, кратковременными перемежающимися морозами — ну что будешь делать? Прибавить еще надобно к этому начало нынешней весны с июня, дожди до Ильина дня и три недели только лета. Томь начала замерзать с 1-го октября, останавливалась и опять прошла. Ежели кто предпринимал работу и в тысячу рублей, никак не успел совершить, как бы надлежало. Боюсь на зиму и за новое мое жилье. Стены и печи не могли просохнуть, а смазку полов и потолков трижды размывало, пока переменяли временную крышу на постоянную и выводили трубы.

Справедливо сибиряки называют свой край не[мощеным] и некрытым.

Хотя на первый раз и неутешительно, но едва ли неправда, что в целом мире приметна какая-то физическая перемена или собственно кризис в действующих силах. В этом последнем случае будем оптимистами и признаем, что божия десница действует к лучшему соглашению нашей жизни с созданною прежде нас природою. Упование, упование! Кто мог пройти без тебя и краткий путь от колыбели до гроба; а по точным словам писания: «Упование не постыдит». Израилю обещан покой. О, когда бы приблизиться к нему и материально и нравственно!

Земля ощутительно мала уже для человека. Вкусив познание добра и зла, он слишком скоро ее обнял, а в состоянии невинности едва ли бы знал теперь более, как пространство одной Персии и часть морей, ее омывающих.

Мысли и слово, простираясь без меры и не имея в себе полного содержания, сращиваются одними крайностями и перескакивают через противоречия. Вот когда мы здесь корчимся от холода, в нашей же губернии Семипалатинск, к которому в гражданском отношении можно подать руку, сгорает от жары в один и тот же час. До того мы дожили, что и география просится в область философии. Бог слышит новые понятия, он отыщет их гармонию в природе, протянет в ней фундаментальный бас и изобретет и дарует нам новые с нею аккорды. Оптимист по натуре, я люблю такого рода молитву, она содействует и сердечной, возбуждая и питая веру, надежду, любовь, без которых всякая утопия мечта.

Денежный кризис у нас продолжается, и становятся приметны его свойства. Во-первых, он разногласит с принятыми сроками в кассах и в виде их истощения обнажает несвоевременно обыкновенные отливы на дело. От этого колеблется кредит и заемные премии выходят из естественных границ, слагаясь из застрахования и прибыли.

Во-вторых, быстро понизив потребление и цены, затруднил движение капиталов и труда.

В-третьих, в местном отдалении от централизации сил парализировал возможность пособия, а нравственное нужд и причин их выражение обременил сомнением в правде.

Между тем источники богатств и деятельность в добыче их не истощились; существенно недостает каких-то понятий, какого-то объема. Века скрывали эти богатства до нашего времени: следственно, и тут оптимизм возможен. Бог открыл, бог и устроит во время свое. Главный наш богач Е. А. Кузнецов [1], по слухам из Иркутска, там скончался. Это последний фазис кризиса. Человек был примечательный особенно по многим переворотам его жизни. Я стал знать его лет тридцать тому назад; но о мертвых должно говорить добро или молчать.

По климату холодеет и душа. В ней все как-то день от дня пустее, бессильнее, бесцветнее. Живу преимущественно воспоминанием. По крутому повороту моих чувств вся жизнь от детства представляется вдруг и настоящею,

как строки книги, мной прочитанной. Забытое считаю ненужным и всегда рад, когда что вновь забуду. Возраст уже преклонный, но представляется кратким, почти одно-дневным. Уж вечер, запад, но все кажется, ненадолго усну и завтра поутру пробужусь. Встречаясь с людьми, которых давно знал, начинаю приветствие и разговор, как в бывалое время, и всегда почти выходит неловко. Вскоре, приметив страшную метаморфозу от лет, я подвергаюсь полному удивлению, и едва-едва могу войти в приличную колею и впить в себя то и другое количество, накопившееся от времени и обстоятельств. Мне менее приятен старик, нежели младенец, такой, однако же, который сам не зная куда бежит, вдруг остановился и считал себя далеко, далеко, увидел, что кружился только около отеческого дома. Дети меня любят и все без изъятия зовут родным дедушкой. Вот бы мне было житье, если б я каким-нибудь волшебством очутился в кругу истых твоих и моих внуков. Любовь и ум заразительны, не в той, однако же, мере, как обыкновенно думают, медленность нравственного прогресса от поколения к поколению и непрестанное зрелище движения вспять доказывают противное. Многие дети перестают быть любезными, чуть лишь коснутся рутины добра и зла. Страшно как-то, что в будущем не будет уже детей. И Адам потому подвергся гневу, что не удовлетворил мудрому правилу:

Не пей кастальских вод
Иль выпей все до дна.

Что-то наши крымские путешественники? Сюда доходили слухи, что там были великие жары. Но как они ездили в горы и на воду, то, вероятно, не растаяли. Мне очень приятно будет услышать, что Катя по-прежнему жива и весела, утешает тебя. На будущий год, вероятно, они сманят и Ивана Васильевича с его домашнею свитою. Мне чудится, что ожидает его там решительное исцеление. В то время, когда я купался в прозрачных, зеленых водах Феодосии, хотя не имел нужды ни в каком лечении, то Черное море показалось мне такою нормою, что я брал его в основание сравнения всех других вод. Куда перед ним близкому его родственнику в Таганроге, куда я ездил уже раненый и раскаивался.

Помнишь, что в то время я и с вами разъехался. Напрасно ждал в Туле, Калуге, Москве: Черное море никог-

да так не шутит. Вот и вспомнил теперь восторженные похвалы Зонтага[2] моему любимцу, он называл его раймором в обиду огромному океану его родины. Уверяют, что и наше Ледовитое имеет свои прелести, я видел их в миниатюре во время зимнего странствования по Байкалу, в сопутствии Геденштрома[3], который умел показать поэзию в такой природе; но это все то же, что Воробьевы горы[4] называть Швейцарией, хотя тут те же названия, как и за полярным кругом, но повозка, лошади, перекличка с зимовья на берег для опытного — ошибка, для бывалого — разочарование. Мне только понравилось, что, бросив на льду поклажу за десять верст от ночлега, можно быть уверенным, что никто к ней не попадет, ничего не потеряется.

Прощай, мой друг, пора и кончить мое длинное послание. Дружески обымаю Марью Васильевну и всю твою семью.

Гавриил Батеньков.

127. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Томск, 14 апреля 1851 г.

Христос воскресе! Этим радостным и священным приветом я поздравляю тебя, моя возлюбленная сестра и добра[я] христианка. О! Как приятно будет узнать, что ты встретила 61[-ю] пасху веселая и здоровая.

Я все дни молился: не пропустил ни одной церковной службы, молился о тебе и заключаю светлые дни упованием. Самый застой новых писем толкую в добрую сторону, хотя может быть этому причиною и тяжкая болезнь.

У нас зима доселе. В первые дни праздника даже и не таяло, прекрасный зимний путь и рождественское по городу катанье. Морозы в апреле доходили до 20°. Такой пасхи и из нас, стариков, никто не помнит. Верно, природа не хочет быть в долгу и не допущенный капитал нынешнею зимою платит весенними морозами. Такой замен немного щекотлив, но для моего здоровья сущее благодеяние. Теперь надобно ждать быстрого перехода к теплу, и Томь, доселе покойно спящая, вдруг должна вырваться из оцепенения; ибо терпеть его долее 23 числа она не привыкла.

Старухи наши как-то по тараканам рассчитывают, что вода будет огромная. Не имея никаких лучших оснований, поневоле усомнишься, и мы начали готовиться встретить

дорогую гостью. Впрочем, как бы тараканы хорошо и ни предчувствовали, может обойтись и без больших хлопот. Мудрецы, однако же, покачивают головою, слыша чудеса об улитках, разговаривающих через Атлантический океан, и я не удерживаю переносить хлам из подвалов на чердак. Осторожность не мешает. По крайней мере, будет польза в том, что его перетрусят. Улицы в городе высыпаны хрящем, скоро просыхают, топей нет; но глубоки снеги, а грязь и от дождей держится дня два или три. Осень редко беспокоит; ибо скоро начинает замерзать. Прежние потоки были несравненно страшнее, сильно все поднято насыпями. При постройке домов я имел случай видеть, что фашинная кладка и слой хряща, мною положенный менее 35 лет назад, лежит уже в глубине около двух аршин. Там, где я в первый раз прокладывал и провешивал улицы, погрязая по пояс в болото, теперь уже каретная езда[1]. Так и на хозяйском дворе стучат уже колеса экипажей, а не далее как в 1849 году плодились дикие утки, которых и можно иметь честь доселе видеть у соседей. Впрочем, некоторые работы и там крепко не удались по слабости грунта, а еще более по слабости капитала. Верно, одним трудом не все одолеть можно. Не мог я добиться, чтоб основываться на свайной бойке. Здесь это такое нововведение, к которому никто не готовился и которое считают приличным для одной казны, так что и снаряд надобно доставить за 400 верст. Теперь период лиственничных стоек и частию каменных бутов; но прочного камня нет и до материка доходить не могут, ограничиваются первым слоем твердой глины, который, однако же, нередко оседает, ибо самый материал по всем указаниям должен быть каменный, но глубины 5 и 6 аршин для этого недостаточно.

Более писать теперь не могу, потому что праздник добрался и до меня. Все что-то тянет из дома, а дома оставаться хоть с кем-нибудь другим хочется.

Цалую во имя воскресения всю твою семью от мала до велика и умолкаю до мая, ежели не до цветов, то, по крайней мере, до первой зелени.

Навсегда твой Гавриил Батеньков.

128. А. А. КРАЕВСКОМУ[1]

[Томск, 1852 г.][2]

Милостивый государь!

Случайно досталась мне рукопись неизвестного автора. По содержанию она, как думаю я, могла бы найти место в издаваемом вами журнале. Препровождая на ваш суд первую статью, я не могу прежде ее напечатания послать следующей статьи, особенно потому, что худо знаю правила, позволяющие или воспрещающие издавать труды людей неизвестных, и достаточно ли для этого объявления перед вами одного моего имени, также неизвестного, хотя и истинного. Во всяком случае прошу и меня избавить от всякой гласности. Молчание ваше я приму за ответ. Математический символ, поставленный под предисловием, ежели это правилам не противно, может служить к отметке печатаемых статей.

С истинным почтением имею честь быть вашим, м[илостивого] государя, покорнейшим слугою

Коллежский регистратор Александр Иван[ович] Лучшев в Томской окружной службе.

[*Адрес в рамке, в конце листа:*] Его высокоблагородию Андрею Александровичу Краевскому, редактору «Отечественных записок» в С.-Петербурге.

Предисловие и письмо к редактору

Три человека случайно где-то встретились и скоро подружились. Они разошлись на все четыре стороны (чудное дело трое!) и при прощанье дали друг другу обещание вести между собою переписку до того времени, пока возможно человеку обогащаться опытом. При этом сделали странное условие: воображая себя на всех без разбора местах, не ограничиваться и временем, так что когда не о чем писать прямо от себя, то просто писать от имени отсутствующих и отдаленных современных и давно, даже очень давно умерших. А чтоб не растеряться в эпизодах, согласились глядеть на одну какую-то звезду, долгота и широта которой едва ли и самими ими была с точностию определена, ибо из первых писем не видно, чтоб они многосложными инструментами в чем-нибудь для своих опытов пользовались.

Друзья исполнили свое обещание, как изволит увидеть читатель из вереницы статей, здесь помещаемых. Однако

и тут вмешался случай, но уже не их виною, а волею редактора «Р[усской] Б[еседы]». Ежели он откажется печатать, то и дело друзей останется в том состоянии, в каком было оно до их свидания и условия[3].

129. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Томск, 24 мая 1853 г.

Вот и май со всем признаком воскресения приближается к концу. Ежели время есть круг, то, вероятно, мы, старики, вмещаемся в самом малом числе его градусов, на крошечном отрезке. Все оно проходит мимо нас, очень мало вместе с нами, а только по совершении оборота прогрессивно осаждает на фонд наш значительный раствор своей тяжести. Что ни начнешь, так и ясно, что совершить уже некогда, не выключая и ежедневных намерений.

Письмо твое, начатое в день пасхи и отправленное девять дней после, не правда ли, душа моя, немного подтверждает мое умозрение. Впрочем, какое-то заблудящее счастье поправило наше дело, и я получил твои строки необычайно скоро, 18 мая.

Май ... да это у нас какой-то самозванец. Представь себе, что доселе еще холодно; за городом кое-где и снег не растаял. Зеленые ковры, по выражению поэтов, по-видимому, кое-как выкладываются из подвалов для просушки, а деревья кажутся наскоро подмалеванными под окраску. Томь раскапризилась небывалым образом. Сняв с себя довольно смирно ледяной покров и войдя в обычные берега, вдруг вздумала подражать сестрам своим, текущим по илу, и неведомо откуда столько набрала мутных вод, что, возвышаясь зело, зело, произвела сущий потоп и не хочет уступать своей горной натуре уже более недели. Кухни в доме у нас залиты, и мы имеем честь сидеть на строгой диете. Вышло чисто по-вашему, хотя, веруя вполне единству науки, я доселе не слишком ясно понимал такое близкое соотношение медицины и топографии.

Катя, верно, недолго пробудет у отца, разве на беду старик влюбится в своего внука. Это всего опаснее: однако можно бы немного поинтриговать и как-нибудь да их поссорить. Конечно, помочи от Кати по домашним тебе хлопотам немного, но морально присутствие ее много-то значит, особливо молодой юмор почти необходим, когда явится

вдова с ее глубокою печалью и пока не оглядится она еще на чужбине[1].

И наша вдова[2] тоже собирается к отцу, по крайней мере, погостить. Так как это лицо тебе неизвестное, то я сообщу некоторые сведения. Она принадлежит большому, но довольно богатому семейству. Одни привычки воспитания заставляют ее предпочитать родственников мужа, а более то, что губернский город представляет средство для воспитания детей, из которых старший и отдан в пансион. Это девятилетний довольно даровитый мальчик; меньший еще и говорит плохо. Старик живет в Корякове, знаменитом своим Соляным озером, от которого с избытком продовольствуется вся Западная Сибирь. Я был там лет тридцать пять назад и катался на соли точно как на льду, в роспусках[3] на пять лошадей. Жизнь привольная, но скучная. Капитал, главное, обращают в торговле быками, получаемыми из Киргизской степи, и цифра доходит иногда до полумиллиона рублей. Добыча и сплавка по Иртышу соли производятся казною, и мало что достается на долю частных людей, выключая перевозки от озера на пристань, которою живет целая волость крестьян. В соседстве есть еще и другое богатство—огромное пресное озеро Чаны с его рыбными ловлями. Соленые озера по иртышской линии есть еще и другие, которые могли бы в другом месте составить важную статью, но здесь, по недостатку потребителей, остаются запрещенными. Примечательно из этих озер Ямышевское, соль которого имеет яркий розовый отлив и очень красивым делает его вдали, особливо при утреннем или вечернем солнце[4]. Богата и прекрасна наша Сибирь, ежели, забыв расстояние, смотреть на нее вообще; пустынна и далека, если окинуть взором всякое место. Творящий и организующий дух может здесь неоскудно работать целые столетия и все еще не взвесить паи и атомы. Настоящему времени тягостно, что все великие здешние реки текут в вечный лед и страна не может иметь удобного и быстрого сообщения с остальным миром. Но кто знает! В тысячелетие не растает ли и море от огненного дыхания сгущенной цивилизации. Бог хранит мировые запасы, чтоб держать историю человека на свойственной ей высоте и не повторять явлений, пока не сомкнется цикль, которым определит возраст мира и целый оборот вечности такое маленькое создание, как мы, своею жизнью, идеями и делами.

Но я вот заговорил о вдовах; ими и кончу. Не означает ли это состояние, что человек много печалится, и в целом мире неизмерима масса этого чувства. Не о мертвых же все это, потому что и все мы скоро будем мертвыми. Верно, есть более высокое и более полезное значение всякой печали и не менее его причина как бог, с которым мы разлучены и, может быть, даже по смерти не скоро, не вдруг соединимся.

Но предоставим правде божией ее дело и в покорности его воле обымем радостно друг друга.

Прощай, моя милая сестра, мой ангел-хранитель и утешитель. Гавриил Батеньков.

130. И. В. КИРЕЕВСКОМУ

Томск, 3 июня [1853 г.]

Центральное ваше положение позволяет мне из общей эпистолы отделить особенный листок собственно вам, мой близкий к сердцу Иван Васильевич. Из малолетних Елагиных никто меня лично помнить не может, но вы с братом были уже моими друзьями до эпизода смерти и воскресения [1], хотя неполного, но все же не гробового и безгласного. Эпизод, говорю, а не перерыв, ибо чувства мои к вам не умирали.

Больно мне непрестанно слышать о ваших недугах, как так вы им поддались? С вами ангелы-хранители; этого одного было бы достаточно для ограждения от враждебных сил из дали или для прогнания уже наступивших. Мне они же помогают, и я, несмотря на соседство 60-го года, все большею частию на ногах и без Прудникова пластыря. Летел бы к вам, но по закону крайностей северные наши крылья не подымают, а тайга менее способна и к разбегу, нежели африканские пески. Смотрите, как усердно ищут Франклина [2], но, видно, льды, которые меня затерли, еще непроходимее и страшнее.

Между тем, если можно так сказать о четверти века, вы овладели Натальей Петровной [3], которая успела подарить уже и меня во имя ваше не одним приветом; с вами дети навсегда отдаленной от нас памяти... О! Сколько было бы для меня сокровища и радости, а я мастер проводить параллели и освещать настоящее прошедшим. А в самом деле есть ли прошедшее? Математики проводят свои оси где захотят, и в жизни то же можно делать, тем

более, что совершенное забвение невозможно: я не нашел в себе ничего, что бы уничтожилось. По прежним чертам прошли новые, вот и все, ежели они совместились — стали яснее, ежели разнятся — дают образ, и все забытое только в мрак всту[пает]; стоит обратить туда внимание — и оно осветит. На вашу статью в сборнике мне надобно что-нибудь сказать, но дайте время изучить ее основательно. Может быть, у нас и прение завяжется. Но это и добро, потому что безграничная любовь моя к вам и к истине поможет разложить и сложить все элементы избранного вами предмета.

Мне не хочется отяжелять в стариковских привычках и потому слежу по возможности своим тихим и мерным шагом всякое движение мысли и чувства в новых областях времени, всегда вновь населяемых, как ни бедны мои средства. Простое слово — человек становится глубже и глубже. Мы исследываем старинными орудиями, может быть, уже грубыми для вас и иновкусными, но и вы к нам же идете и в свою очередь приметите, может быть, и выразите, чем вы перед нами и чем последующие перед всеми утончились. На это данные берите и от нас, тем более, что мы охотно это наследство уступаем.

Прямых ответов от вас не требую, потому что, может быть, вам вовсе неизвестна форма и тем самым легко затруднить может. Но чрез своих известите меня: во-первых, о вашем Николае Петровиче, во-вторых, о моем таковом же[4]. Я разумею Горлова, которого лишь как-то знает Наталья Петровна, а ежели видаетесь с Каролиной Карловной, то поклонитесь ей низко от меня.

Бог да хранит вас. Много о том молю его и надеюсь.

131. А. П. ЕЛАГИНОЙ

12 июня 1853 г.

Повернулось солнце на зиму. О, как короток год! Это какой-то маленький уезд во времени, ежели сравнить его с пространством. Сколько, однако же, совершается дел в этом кружке? Успевает природа одеться и раздеться, устать и отдохнуть. Успевает торговля, всякий труд и промышленность совершить полный оборот, разлиться потоком по всем городам и селам; напитать, освежить их и сомкнуться своими концами с новым началом.

Деньги, этот не исследованный доселе бассейн движу-

щих сил, реальная математика, рациональное простейшее выражение чисел, требуемое всюду, где человеческая мысль имеет потребность в числе (а она без чисел и обойтись не может),— деньги также успевают описать многие орбиты, произвести пучины, поднять материки, насорить осадки и обвалить в пропасти первобытные материки. Если б человек успел понять год — могущественно поумнел бы он, положив основание великому порядку.

Слово, эта объемлющая мир субстанция, дается каждому в удел и раз[л]ито на целые народы для исследования той и другой природы, в нем воля и почерпает понятия, а беспредельный ряд их представляет уму, этому алмазному камню нашего духа, средства открывать новую связь, созидать новые формы и раскрывать внутреннее глубокое значение того же самого слова, но и сей самый ум есть не что иное, как слова живого бога. Точно, обетование истины, слова небесного, христова слова, составляет все наше упование. Оно не ограничивается настоящим бытием, но может продолжаться и по разрушении его; оно стало быть плотию, а следственно, сохраняет красоты в слове возвышенном и прославленном.

Солнце спустилось с своего зенита и опять в него возвратится... В мысли нашей означается это определенною точкою, но она еще не достигает ее высоты, не спускает и до глубины надира[1], и потому год еще не понятен, а самый круг лежит доселе в графическом разумении и не имеет никакого утверждения в создавшей его причине.

Отсюда, простирая далее мышление, мы видим много суетного в самой науке, в чувствах наших и желаниях.

Я люблю это величавое воздушное торжество, которое мы называем грозою, и там, за городом, среди гор и лесов при блеске молнии, предпринял было вчера писать к тебе, моя сердечная сестра, по пробуждении имел светлую концепсию и чувствовал себя в силах срисовать явление и передать его тебе, как всегда в таких случаях со мной неразлучной, но сторонние люди помешали моему делу, а теперь небо ясно, только холодно и ветрено и копошится народ на улицах. Воображение и воспоминание недостаточно художеству, когда природа молчит или другое представляет. Много мы теряем в самом себе от окружающих влияний, и поверишь ли — мне часто жаль бывает своего прежнего, совершенного уединения. В нем недоставало только беседы с другом, а я тогда немного меньше знал тебя и о тебе

и не преодолял это препятствие, а мог бы чрез полное напряжение сил, в несравненной степени более нынешнего тогда во мне сосредоточенных. Я не знал еще слабости и немощей, надпоминающих возраст и подводящих итог неправильностям прошедшей жизни. Хорошо знаю я, что дух наш пребывает в пространстве стихии, проникающей вполне все вещественные затворы, и ощутительными умными и вольными нитями утвержден в том солиде[2], который в себе самом и необходимо содержит всю необходимость бытия.

Не хочется как-то спуститься к обыденным потребностям жизни, да и ничего нет, чтобы говорить нужно было. Место есть только любви моей ко всем твоим, поименно и нераздельно. Но вот внезапно и тень легла на сердце. Сейчас дали мне знать о кончине Анны Алексеевны Поповой[3], о которой я однажды писал к тебе, как о женщине редкой доброты. Много страдала она в последнее время и от потери богатства как средства делать добро и, похоронив в прошлом году мужа, впала в неизвестный недуг. Это была примерная брачная чета. Невероятно даже, но буквально истинно, что, едва не отпраздновав золотой свадьбы, жили они свежею любовью, во взаимной нежной заботливости и не произнесли один другому ни одного неприятного слова. И да будет им вечная память.

Не желая кончить печалию, которая отдается, и влиятельно, в целом городе, я поспешаю заметить, что нравственные силы добродетели далеко существеннее и обязательного золотого блеска, которым Поповы наделили наш край и несколько лет уже видели померкшим в собственном доме.

Прости, мой друг, предоставь мне самому управиться с собою... Будь только ты сама здорова и благополучна.

132. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Томск, 23 июня 1853 г.

Вот в какой мифологический вечер приводится мне отвечать тебе, дорогая сестра, на письмо от 21 мая. Не знаю, распустится ли и дастся ли мне в руки чудесный Крон[1], а я уже перестал его ловить, и надобно, чтоб он сам найти меня позаботился. Не вдаваясь в борьбу с страшными чарами, я любуюсь простым розовым цветом, которым в нынешнюю весну роскошно покрылись окрестности города, и с осторожностию от шипов наполнил

не одну корзинку нащипанными листочками для домашнего употребления. Не ем я сладкое и из всех вареньев люблю только розовое, ежели оно по моему вкусу приготовлено. Оно как-то по-моему и благовонно, а говорят знатоки, что еще и симпатизирует тихой сердечной любви.

Лето наше наступило хотя очень поздно, но ведет себя как прилично честному лету. Тихое свежее утро с росою, жаркий полдень, вечером дожди и гром весьма благоприятны Помоне и Флоре[2]. В миниатюрном моем хозяйстве озими уже околосились, травы манят косу, огородная зелень раскидывается, цветет, и огурчики завязываются. Земляника, редиска и салат являются и на стол, а это мое лакомство и сытная пища. Купаюсь вседневно и был бы бодр, если б только ноги ... Ах, мои бедные ноги, они, кажется, прежде всего откажутся служить, явно то от ран, а может быть, есть и другие причины. Убийственный наш климат всех наделяет ревматизмом, к тому же не могут быть без последствий и прежние походы на пространстве каких-нибудь двенадцати тысяч и более верст. Как бы то ни было, но слабость уже такова, что заставляет лежать три четверти суток. В шестьдесят лет лучшего и ожидать нечего.

Жаль мне тебя с твоими хлопотами, так бы и летел на помочь, если б было возможно. Медленные сборы Елизаветы Жуковской, пожалуй, промучат тебя до осени: хорошо бы ты сделала, если б поскорее Катю отняла от отца[3]. Но опасно, что старик, сидячий агроном, немец, привяжется к маленькому Алеше, и тогда молодая женщина вовсе не увидит божьего свету.

В городе у нас теперь пусто. Все разбрелись и с семействами частию на золотые прииски, частию по другим своим делам на восток и запад, на север и юг. Это между прочим свидетельствует о центральном положении места, а трудиться надобно много, чтоб выйти из кризиса, поколебавшего в последние годы почти все капиталы. Обманчиво это состояние под ореолом. Наши Колумбы увлеклись миражом и при широких расчетах на миллионы потеряли из виду прозаический рубль, а теперь с него-то и начинать доводится. Но не надобно никого осуждать. Сил человека недостаточно, чтоб вдруг возрасти и укрепиться. Для полноты жизни надобно прежде испытать и добро и зло. Жаль только, что по краткости века некогда воспользоваться плодами опыта и самый крест полезен уже

не для здешней жизни. Редко кто может похвалиться обилием духа.

Сей дух является веками —
Не потому, что от земли
Был похищаем небесами,
Во сне покоился или
Сгорал как Феникс и рождался:
Раз к нам спустясь, у нас остался.
Но мы томим его в цепях
Страстей нечищеных волненьем,
Безумным время расточеньем,
Насильем в слове и делах [4].

Желал я человеку, чтоб он снова мог пережить свой век. Со мною это почти и случилось. Конечно, стал и получше, но всего этого немного. Одно, кажется, и приобрел, что уже не могу сомневаться в бытии божием и удостоверился, что одно только это понятие может направить и укрепить нашу мысль и дать лучшие надежды душе; но воля все остается бессильною, немощною, под тяжестью тела. Верно, святые люди с воли и были призваны и учились волею, а не умом.

Вот скоро и полночь, а думканов крон все еще не расцвел. Пора спать, нечего его дожидаться.

Прости, мой друг.

Гавриил Батеньков.

133. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Соломенный, 4 июля 1853 г.

Я стал получать твои письма чаще и скорее. Последнее от 10 июня дошло сюда к Петрову дню. Следовательно, в 18-й день. Это для меня очень успокоительно и радостно. И кажется мне, что ты писала охотно, без обременения. Вот и то тяжело, ежели не желаешь и чувствуешь надобность что-нибудь делать, да как-то силы не движутся, а время уцепляет и тянет их за собою вовсе в другом направлении. Одним могу похвастаться, что этим путем я всегда доходил к живой и настоятельной необходимости. Припоминаю здесь старую заметку, что истинное чувство крепнет в препятствиях и даже в самой вине. Древние боги для того противно своей натуре куролесили, чтоб заставить говорить судьбу, а она слишком уже в наше время молчалива и, кажется, стоит давно и явно с долготерпением.

Ты опять собираешься на железную дорогу, а я на днях отправил к тебе по ней письмо мое. Правду ты говоришь, что Елизавете Жуковской не легко будет вступить в русскую жизнь, и нам, знающим добрый порядок только à priori *, вконец надоели начищенные самовары, изломанные щипцы и ничего не запирающие замки с пуком ключей неизвестного употребления. Вот и сам я всегда беру бумагу навыворот: не привык к этим штемпелям в собственном доме. Ты меньше хлопочи о широком для нее жилье. Это не в обычаях немцев. Они лучше любят помещение сжатое, связное и все наполненное, без пустых зал, гостиных и анфилады проходных комнат, в [ко]торых нельзя ни поместить, ни поместиться.

Чтоб не отстать от тебя, и я буду ориентироваться.

Дачная жизнь, о которой и здесь с любовию толкуют, а никогда не пользуются ею, начинает мало-помалу развертываться и в нашем углу довольно огустилась. Ближайшую к городу составляет мой Соломенный дворец[1], в который я не на шутку день от дня массивнее переселяюсь, может быть, для постоянного пребывания, так что перевез уже и книги. Сажень за сто от меня большая дача Сосулиных[2], соседей по земле и добрых старых приятелей; несколько шагов мне только в гору до их пчельника, а из него прямо в сад. Я также на горе выбрал место для домика и сада с прекрасным, далеким видом вокруг, обгородил, перевез лес, а дальше и не хватило силы в нынешнее лето. В шести верстах далее на винокуренном заводе полковника Валериана Петровича Шредера[3], которого лесные дачи прямо перед моими окнами, за р. Ушайкой — поместилась губернаторша наша Августина Николаевна Бекман (сам он теперь в Барнауле и объезжает горный округ[4]). Еще далее верстах в 1 ½ на даче Поповых Басандайке расположилось семейство председателя Федора Семеновича Политковского[5].

И так можно быть в непрестанных экскурсиях. Все это люди добрые и меня полюбили.

Вчера я ездил обедать на завод в телеге и одетый в армяк — чисто по-сельски и прямо с своей пашни. Обратно губернаторша с своими гостями усадила меня на огромную линейку и проводила сюда. Долго бы мы просидели за чаем и пробегали по лугу, но приближение громовой

* От предыдущего, от прошлого (лат.).

тучи нас разлучило. Несмотря на всеДневные дожди и громы, лето у нас жаркое, и я купался в один день трижды: два раза в Ушайке и раз в Басандайке. Томь теперь далеко. Надобно ехать к Политковским, чтоб с нею увидеться. Впрочем, завтра и на воскресенье буду в городе, а с ним только и имею устроенное сообщение, здесь простые рабочие лошади и сбруя.

Не видал я материальных железных дорог — это чудо нашего времени. И подлинно чудо: кузнец перевернул весь мир. Верно, миф был не без толку. Вот Вулкан [6] опять взят на небо: смешон он был по сравнению с Прометеем [7], но выходит, что он поймал отца в самом акте творчества и своею железною сетью удержал тайну от разглашения, пока гнев пройдет и искусство, чтоб воспользоваться ею, созреет. Но, изуродовавшись падением с неба, он не может выпрямиться и крепко хромает односторонним направлением капиталов и истощением их для множества неотразимых потребностей.

Правда, дело его готовить и моральную перемену, *но не дело* кузнеца довершить ее.

Не тщетно вечность был прикован
К скалам Кавказа Прометей:
Завет любви на нем основан,
Живое слово для людей,
Что света и огней струями
Зевес, в нем скрытый красотами,
Танталов жажду утолит.
Сатурна косу в ток расплавит,
Урана жезл за Стикс поставит
И врана голубем сменит [8].

P. S. Будем дожидаться, прощай, обымаю всех вас. Хомякову [9] кланяйся. Кроме Мих[аила] Александровича, еще двое [10] отправляются в Россию.

Умолкните, Синая громы,
Явися нежный вновь Орфей!
Пусть агнец с тиграми пасомый
Взыграет по струне твоей;
Пусть роза чувствует дыханье
Четы счастливой; обладанье
Одних сердец заставь желать:
Тайн довершенных откровеньем.
Распространись над всем твореньем
И проповедуй бога-мать.

134. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Соломенный,] 28 августа [1853 г.][1]

Вот и лето пришло к концу. Измеряя время чувством, я опять повторяю, что год очень невелик. Пусть бы я жил уже крайне весело, был молод и богат, а то далеко не так, при всем том, однако же, поскучать некогда. Охота же Земле для таких пустяков, как обычные дела наши, вертеться и нестись так быстро, что мы даже и не примечаем ее движения... Я не понимаю, однако же, как из всего этого составляется время, а оно вряд ли пустая мечта, потому что в больших количествах требуется и потребляется всеми организмами, особливо на деяния людей и целых народов. С ним как-то в сродстве сама история, хотя ничего не заимствует от математического движения, по крайней мере, нимало на нем не основана. Как бы то ни было, а кажется, бог хитрее Парижской Академии и не скоро выпытает она у него творческие тайны. Он не только математик, но и поэт такого обширного размера, что всю Вселенную наполнил своею славою, величием, гармониею и красотою.

Сдается мне, что пространство не так стереометрически пусто, как полагают одни, и не так наполнено материею, как думают другие. Это бытие субстанция бесконечная и, следственно, эстетическая. Оттого вся природа прекрасна и картинна, не выключая и диких окрестностей моего приюта, и сурового неба, которым он покрыт. Какое наслаждение могла бы иметь душа, если б вся натура состояла из вещества. Да и как бы мог абстракт-пространство быть вместилищем всего бытия?

Я читаю «Космос» Гумбольдта[2] и признаюсь, что за некоторыми исключениями мне нравится одна вторая его часть. Здесь он разбирает действие природы на человека и историю понятий его о Вселенной. Это и есть космос, по буквальному значению слова. Телескопическая и микроскопическая ученость мне как-то не по летам. Тут такое множество цифр, имен и авторитетов, что по прочтении ум ничего обнять не может и, не имея возможности исчезнуть по требованию, дивится, что, представив величество обитаемого нами мира, вдруг погружает его в сущее ничтожество. Что-то индейское и тяжкое; грустное уже и потому, что творец и его воля остаются чуждыми всего создания и ни в чем ясно и отчетливо не поняты и не выраже-

ны. По крайней мере, надобно бы его вспомнить, говоря об образовании земной поверхности, а то все газы да газы.

Наука много установила истин и сделала много открытий, не открыв, однако, бога, и потому сомнительно, чтоб много. Желательно бы знать, к чему послужит нам такая ученость по разрушении тела?

Пригодится ли к чему тогда и память странных академических имен и ссылки на страницы великих их творений. Не все понятия, хотя бы и не совершенные, какие можем извлечь из природы о вечной ее причине, могут идти вперед и в той и в здешней жизни. И это потому, что тут и отрицать нечего, а можно только исправить, и должно сознаться, что этот путь к познанию действительно рациональный.

Но что-то с тобой происходит? По последним твоим строкам ты рисуешься мне больною и усталою. Какой-то нерв в моей душе стал быть сильно раздражительным. Вечно я в худых перед тобою: вечно ты недовольно щадишь меня и будто целые веки уже не пишешь. Насилу распознал я, что это-то и называют самолюбием. Ох, какое оно кислое и беспокойное! Боже упаси, ежели оно в человеке господствует и тянется с ним в чести, славе, любви, беде и силе. Ведь не шутя мы имеем внутренние нервы (нельзя сказать и невидимые, разумеется, духом), отправления которых совсем не в нашей воле. Иные из них восхищают тонкую умную субстанцию, другие дистиллируют низкую, страстную.

Истребить тут ничего нельзя, а надобно искусно править как Палатою и Советом. Чудно, что телесные нервы всего далее от воли, как противный ее полюс. Она не может дойти до них иначе, как посредством мышц — этого зодиака нашей орбиты жизненной и тверди, соединяющей и разъединяющей два сложенных организма, через которую они уже не два, а материя и пространство. Вот я кое-как и угомонил моего червяка. Теперь могу повести тебя, моя милая сестра,— родственно, дружески по моему миниатюрному хозяйству. Первый опыт озимого хлеба удался вполне: сжали колосья полные и обильные. При всходе, казалось, заглушат его наши дикие сорные травы, но он, как истинный русский, победоносно одолел всех своих соперников, так что и васильков не видно в снопах. Яровой много потерпел от морозов 10 и 12 августа, опустошивших огороды. Это были сущие разбойники и озорники, потому

что после них досель продолжается обычное тепло. Сено уродилось прекрасно, но все собрать не успели, потому что каждый день бывает дождь,— и вот четвертая часть скошена и гниет. Жаль продукта, а о выгодах тут думать нечего, какие могут быть выгоды?

Надобно было года три прежде бороться с дрянной дикой природой, пока означились луг и поле. Потом обработка вся наймом по самым капризным ценам, импровизированными земледельцами, допотопным снарядом. Это делается только для занятия и успокоения своей совести, что не живешь дармоедом, а вымаливаешь кое-что от земли. Несравненно всегда дешевле привозной хлеб, добываемый крестьянским хозяйством верст за полтораста от города. Куда с ним тягаться, когда у нас в рабочую пору поденщик стоит в день белый рубль, и, пожалуй, часовой мастер объявит себя жнецом. Часто бывает, что, нанимая работника, нанимаешь претензию. Досаднее всего потравы. Здесь никакого нет понятия о поземельной собственности, прошу тут толковать с городскими пастухами, что они не должны перегонять скот через ту или ту канаву, когда они чистосердечно считают всю Сибирь томским городским выгоном. Пробовали убеждать, что на нашей земле грибы и ягоды наши; «нет», говорят, «божьи, а ваше у вас в сундуках». Пять-шесть хозяйств в таких обстоятельствах ничего не могут ... Пожалуй, хоть в суд подавай. Да и он разве ушибет кого на выдержку, а впечатления никакого не сделает. На что нет идеи и убеждения, на то нет и суда. О золоте только понимают, что оно казенное, и не смеют по воле им распоряжаться.

Трудно в Сибири установить точное понятие межи, когда и то непонятно народу, почему Китай, Америка и сама Индия не наши. Вот чистый варяжский тип. Русский все-таки более сомкнут.

Сколько ни говори, а кончать надобно. Жду известия, как ты управилась со своей вдовой, горько сказать, что и у нас стали приготовляться к встрече индийской гостьи[3]. Я, однако, ее нисколько не боюсь.

Гавриил Батеньков.

135. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Томск,] 2 октября 1853 г.

Я понимаю, моя милая сестра, эту болезненную усталость, которая произошла в нас не от дневных трудов, а от трудов целой жизни: хорошо еще, что мы не обязаны считать всех дней и часов, а мне кажется, что от одного счету годов устали целые народы.

Ну если б нам вдруг велели теперь повторить одеванье, раздеванье, сиденье за самоваром, разливку щей и проч[ее] и проч[ее]. Не было ли бы это самою ужасною каторжною работою. На том свете нам приведется ... быть, а всю эту дрянь, теперь забытую, но, без сомнения, не уничтожившуюся, доведется выработать в полный свет... Ох!.. Не скоро высшие способности духа выберутся из такого хлама, а еще страшнее, что все органические отправления, которые теперь так смутно чувствуем, должно будет выразуметь в творческом, да будет и возвести в полное знание. Здесь нам некогда узнать истину; наберем только одни материалы, а там уже станем разбираться с своими пожитками, как после большого пожара.

Эти вертящиеся столы (хотя и нельзя верить всей их мифологии) со многими другими огромными и мелкими чудесами нашего времени почти показывают, что сделалась трещина на тверди, отделяющей физику, и мы в самом деле проникаем в другой мир, где должна быть ближе всего масса разрушенной жизни и пространство будущего вечности, обратившееся в пережитое[1]. Как бы то ни было, а где-то утверждается же эта сила, которая из целой Москвы делает одно неделимое, прожившее органически многие века, чудовище прожорливое и кровожадное, но в то же время умное, благочестивое и исполненное воли и решимости ... быть. Москва, как моральный индивидиум, может легко повернуть не только стол, но и всю Сухареву башню, а почему же и не говорить по-русски? Когда ученые сперва хотя посредством какого-нибудь моллюска постигнут количество, пай жизни, тогда принуждены будут и с целою математикою переселиться из физического мира, измерять и сравнивать Иркутск и Ригу, наблюдать лучи поляризации, выражаемой царским словом, и привести администрацию и экономию в научное, математическое явление. Таким образом, почти шутя доходим мы или, по крайней мере, прозреваем в графическое выражение по-

рядка и к доказательной точности разумного признания монархического начала. Нет уже нужды древний Олимп искать в географии: современно Олимпы означились явственно в стихиях жизни и потому уже не физически, что, возвышаясь над горизонтом, не тонут в круглоте его. Будем постоянно желать им всей полноты бытия, неколебимости, света и блаженства и чрез то оправдаем наше смирение и покорность, усилим надежду.

Идеи наши тянутся из нас как паутина, но это еще простой узор, пока нет в них довольно силы, чтоб сделаться правилом, и довольно света, чтоб быть принятыми властию. Вот еще консепции и поле для анализа, но я не пишу диссертаций, а лучше сказать, и ничего не могу и не умею писать по простой отвычке и слабо владея наукою. Точно так же, как и ты, устаю и желал бы лучше просто поглядеть на тебя...

Для чего еще тебе трудиться над иллюстрацией кистью. Ты мастерски это совершила, передав немногими словами портреты Кати и Машеньки. Как будто вижу их! И это глубокая тайна слова, ибо что такое воображать отсутствующих, знать их и любить по описанию? Не есть ли это слияние истины, действующей в душах наших, вездесущей и всеведущей истины, непрерывно творящей, так что каждый образ, ею начертанный на чистом и способном к восприятию фоне, есть такая истина, удерживаемая памятью и легко воспоминаемая.

Люблю я бога, как источник прекраснейших даров и блаженства нашего.

Осень у нас недурна, и солнце сияет. По утрам легкие морозы, перепадывает и снежок. Состояние здоровья в городе после нескольких наносных случаев эпидемии пришло в обычное, и все достаточно успокоились. Предстоит только борьба с семимесячною зимою и с неотступными ранами. Но вот странный случай, доказывающий какую-то их судьбу возобновления. Некто тайный советник Деменков[2], единственный здесь из сослуживцев моих по [1]812 году, раненный насквозь пулею в живот, так что продолжение жизни его всем казалось чудесным, по неосторожности слуги в дороге вновь и тяжело ранен нечаянным выстрелом чрез прикосновение к заряженному ружью. Вчера привезен сюда и страдает теперь от перевязок и вырезок дроби. Уверяют, однако, что вне опасности: пойду сейчас и я навестить его.

Прощай, моя дорогая сестра: с тоскою говорю это слово и едва могу уже произносить его.

Всегда твой Гавриил Батеньков.

136. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Томск,] 9 ноября 1853 г.

Наконец г[оспо]жа Александра Гамбурцева дотащилась сюда с красками, с ребятишками, с тетрадью и завязкой, которой почти вовсе нет в комедии и о созидательнице которой она хорошенько не могла мне объяснить, наведя сильное подозрение на всех Киреевских[1]. Мелюзга захворала от дороги, экипаж нужно было переменить на зимний — и так довелось ей остаться здесь на целые четыре дня. Прочитывая твои письма, я обыкновенно их цалую, а на настоящий свиток капнула слеза: так только и можно было оценить твой труд.

Разумеется, над содержанием пьесы плакать было нечего, но комизм ее естествен и отвечает нравам славянофильства вполне разумно.

Молодая вдова едет на восток в шероховатое время, и хотя должен я адресовать ее к тамошним моим друзьям, но немного тревожусь о собственном их спокойствии[2]. Видя в ней особу тихую и скромную, надеюсь, что она и в своем положении между двух, не вполне слившихся властей ежели не устоит, то отсидится, равно как и в отношениях ко всем сущим и будущим партиям и претензиям. Другое дело бедная Елена[3], ни с того, ни с сего очутившаяся в средоточии Харибды, горюющая доселе в Омске и тяготящая своих родных опасениями о случайностях разрешения на чужой стороне, бывшего уже единожды несчастливым. К ней приехал брат[4], и я убеждал, по крайней мере, сюда привезти ее, но, верно, не согласится она разлучиться с мужем и на короткое время.

Описывать тебе всю катавасию[5] не берусь, потому что и сам плохо знаю, да и сложна она, неладная, до бесконечности. Рожь сильно мелется, а, вероятно, все же мука наконец будет.

Говорят, что и Марья Александровна[6] просит увольнения, а что это такое, не могу понять. Свербеев[7] все еще лечится в Ялуторовске, но с 19 октября стал уже выезжать, закупоренный и закутанный: он чуть было не потерял глаз, как кажется, от золотухи и простуды. Наша пу-

тешественница проехала мимо того города и очень жалеет, что не видала Николеньки. До совершенного выздоровления его не отпустят, да дороги еще *нет* оттуда зимней. Товарищ его Бибиков[8] зачем-то должен явиться в Омск, а коснется ли дело и самого его, Свербеича, не знаю. Впрочем, я живу в таком сибирском оазисе, который совсем не занимается чужими делами, да и своими мало.

Маленького Алеши я имею самую полную биографию от матери. Это только бог прямо дал им утешение. Чудны эти чувства, которые мы имеем к ребятишкам, нередко досадно бывает, что они растут и начинают надпоминать ту же дорогу, которую мы прошли и которую редко кому захотелось бы повторять. Как колесо, наша жизнь; все вертится на одном месте, хотя и меняются поколения. И просто это потому, что каждое идет вновь сначала и хотя видит, что стоит спереди, но ничего о том не знает и обыкновенно не туда смотрит. Но в чем же для стариков иллюзия при зрелище новой жизни? Теоретически, казалось бы, просто, они восполняют знание, видя в детях первые дни и годы, проведенные ими без сознания, но тогда мы не любили бы уже внуков, от которых ничего не узнаем, а выходит совсем напротив. Нас радует всякое новое явление творческого акта и влечет к себе щедро излиянное и ничем еще не омраченное счастие, и уму тут нечего анализировать.

Ты не ошибайся, полагая, что послал к тебе иллюстрацию собственной работы. Нет, это точно таежная и таежными средствами. Давно уже я не рисую, и рука не берется за кисть по решительной неспособности; но так как и здесь я имею в своем распоряжении многих любезных внучек, то присылка красок крайне их обрадовала, и употребляемые для того ящики вдруг показались неладными и мужичьими, а для охотниц рисовки по атласу — это уже сущий клад. Желал бы я поймать в разные рамки весь горизонт моего Соломенного, тогда бы ты увидела, что жилье мое обставлено недурно: погоду только надобно избирать с небольшою лестию природе.

Гостья сегодня намерена отправиться; еду и я из города. Прощайте!

137. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Томск,] 23 ноября 1853 г.

Письмо твое от 28 октября получил я еще на прошлой неделе, следственно, очень скоро, а так и нужно мне было, потому что целый месяц прошел от последнего известия. Не скоро ответил я тебе по грустному расположению чувств. Пяти похорон в знакомом кругу без всякой эпидемии — кажется, довольно для недели. Смерть, с своей стороны, действовала довольно рационально, ибо косила там, где всего менее ждать можно было и где больше осталось печали вслед за нею. Не вдаваясь в тяжелые для чтения подробности, я должен, однако же, сказать о двух-трех фактах и более для передачи старику Дееву [1], о котором и самом можно сомневаться по твоему молчанию, хорошо выражающему неизвестность.

Большая потеря для всего города во внезапной кончине Александры Павловны Асташевой [2], женщины образованной, в цвете лет и готовой на всякое добро. Она оставила сиротами больного мужа, отсутствующего сына и до ста малюток в содержимом ею приюте. Страшная тень легла на огромное богатство этого семейства. За нею скончался некто советник Дягилев, добрый гражданин, добрый семьянин, оплаканный всеми, особенно бедными поселенцами, которым был начальником. После него осталось девять дочерей *, беременная вдова и до 9000 ассигнациями долгу ... Молодой офицер Мартынов скончался в мороз от угара. Остальных двух также знает Алексей Петрович. Это больной старик Рудаков и брат Сосулина Иван Егорович, недавно женившийся на Коломыльцовой.

Более и говорить об этом не могу.

Твое занятие рисунками Жуковского [4] меня как-то радует, желаю только, чтоб оно шло без всякого напряжения и не обратилось в изнурительное. Велика выгода поэта, если он может выражать свое чувство не одною формою искусства. Они ему все потребны, но овладеть всеми едва ли кому удавалось.

Пусть журналисты спорят о романтизме и мистицизме знакомой нам музы, я, с своей стороны, не отрицая влия-

---

* Одна из них в Иркутске в институте, которую по дружбе с нами Мария Александровна [3] приняла как дочь. (Примеч. Г. С. Батенькова.)

ния германского элемента, довольно хорошо знаю, что Жуковский во всех творениях, не выключая и переводов, старался выразить собственную свою душу или по словам Писания: то тайное имя, которое известно одному приемлющему. Неприятно слышать, что это называют мечтательным мистицизмом, как будто бы бытие божие и вездесущая его сила — суть менее реальны, нежели электромагнит и пары, им же сотворенные. Пластичность в слове и во всех искусствах тогда только и бывают истинны и изящны, когда выражают чувства сего великого бытия, ибо в самом веществе нет истины и изящество не уловимо механизмом приборов. Такой пластичности и надобно искать в вольных рисунках Жуковского, прямо чувствам, а ум свое не преминет собрать и устроить.

Что остается от необыкновенных людей, составляет для сочувствующих им питательное брашно *: они любят, чтоб ели их тело и пили кровь — для того и трудятся.

Ты прекрасно высказала мысль свою о вертящихся вещах. Если назвать это простым невежеством, не стоило бы примечания, но как нечестие это уже сила, и, может быть, бог извлекает ее из душ и обнаружит. Хорошо, если б черная магия составила достояние ума, тогда можно было бы в самой борьбе с грехом призвать на помощь логическую стройность, а политическое зло подвергнуть уголовному анализу и ввести в психологию дескриптивные приемы. Но это предвидится только, а до самого дела еще далеко. Вообще ум едва начинает цвести и не успел собрать рассеянные черты новых истин. А вся теперь новая истина в познании божия бытия.

У нас был уже с неделю времени жестокий мороз. Мне тяжело по обыкновению, но, к счастию, тепло в доме, и беличий тулупчик висел без употребления. За город собираюсь на днях; туда не пускали тараканы, которых принуждены были морозить. Вот и эта тьма, хотя, без сомнения, немного, и уступила труду и цивилизации, но все еще не побеждена и явно свидетельствует, что день не настал.

У меня на пальце правой руки ногтеед и пишу с большим трудом. Не взыщи.

Рад, что Николай Алексеевич уже с тобою. Как ни плохо идет ваше хозяйство, но в настоящее время все же

---

* Брашно (церковнослав.) — яства, пища, корм, еда.

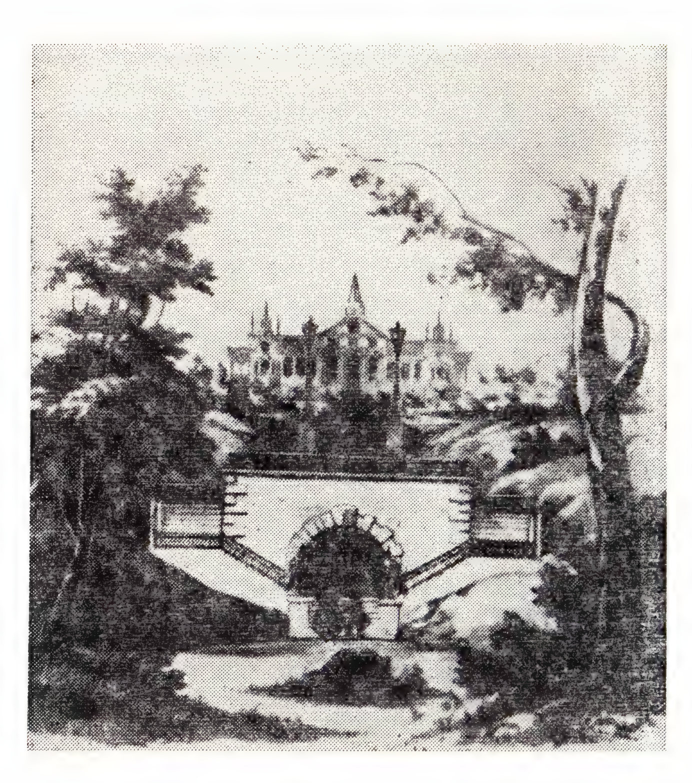
лучше, что оно зависит прямо от земли, кормилицы нашей, и менее подлежит тем страшным кризисам, которые поражают другие богатства, более счетные, нежели существенные. Да хранит вас бог. Марью Васильевну приветствую.

138. А. П. ЕЛАГИНОЙ[1]

Соломенный, [конец 1853 г.]

Дикое во время моего сюда приезда и приступное одним охотникам болотистое место составляет теперь мое жилище. Из окон дома на северо-восточную сторону видна вблизи рисующаяся выпуклою дугою речка Ушайка с миниатюрными островками, потопленными весною и потому заросшими одною вербою, которую называют здесь тальником. Правый берег образуют вогнутою дугою поросшие лесом горы, на левом берегу, через небольшой двор, плетется березовый частокол, обымающий в виде прямоугольника мой огород, испещренный посреди зелени обыкновенных овощей цветущим маком, подсолнечниками и оставленным на семена салатом. Речка быстра, течет по дресвяному[2] и каменистому дну, местами журчит на переборах, а ниже, против городской каменоломни, образует шумный порог. Ландшафт не обширен, но довольно приятен, а я люблю вид гор с долины. Ниже речка огибает красивый мыс, называемый Толстым, куда и прежде приезжали на гулянье из городка. Далее в красивом гористом местоположении течет Ушайка с переборами по камням большою извилиною, мимо немногих дач и, пересеченная несколькими плотинами[3], перерезывает город и посреди его впадает в Томь.

С юго-западной стороны дома горы отходят далее и образуют опять красивый мыс, не закрывающий дороги в город, которая видна на большое расстояние. Перед окнами с этой стороны огорожено место и сделаны на нем дорожки для цветника, а против середины тянется вновь сделанная прямая дорога. Подойдя к горе, она разделяется надвое. Вправо, обогнув мыс, извивается по скату и представляет лучший вид в окрестности. Тут рисуется во всей красоте течение реки и монументальный очерк Толстого мыса. С горы же вид обширный до самого города. Эту дорогу и сделал я для местоположения, хотя и есть другая, более удобная. Вторая ветвь поднимается на гору



ПРОЕКТ ДОМА С. СОСУЛИНА ПОД ТОМСКОМ
Из альбома архитектурных чертежей.
Красноярский краеведческий музей.
Начало 1850-х гг.
Публ. по: История СССР. 1975. № 6

возле места, избранного для особого домика, также во уважение местоположения и обширного вида на главный путь к реке и на горы. Здесь начинается лесистое место, сперва узкою полосою, оканчивающеюся оврагом, и, минуя его, через взвозы и мост расстилается по возвышению. В промежутках вычищенного леса помещаются сенокосы и в самом конце поля озимого и ярового хлеба. С обеих сторон этой возвышенности лежат овраги, из которых один, раздвоясь, образует еще мыс, и, таким образом, все местоположение разнообразно и красиво будет, когда вполне очистится и устроится. К дому возле дороги течет искусственный ручей, то есть собранная вода из оврагов,

имеющих ключи, даже обитаемый рыбками. Я назвал Лу-чу[4], приписывая китайское происхождение своему хозяину.

Возле самого дома на горе начинается сперва пчельник, потом сад и в нем дом богатого соседа[5]. Тут с балкона прекрасный открытый вид к ручьям и ближней деревне, а с другой стороны — обширный двор с цветником, огородом, оранжереями и разными мастерскими, с свечным и мыловаренным заводом, а тотчас за двором, через дорогу, обширное засеянное поле. К этой даче проложено несколько дорог и даже есть мост через один из наших оврагов. Лес расчищен, сенокосы обширны и поля во множестве. Таким образом, дикость места мало-помалу исчезает, и оно уже дошло до того, что везде можно пройти и проехать с удовольствием. Цветов, ягод и грибов не могут всех выбрать и толпы приходящих из города. Лес большой, частью березовый, но много сосны, ели, акаций, черемухи, рябины, попадаются и лиственницы, а кедры, растущие в 4-х верстах, равно и тополи, здесь уже насаждения — лип вовсе нет около Томска. Из кустарников в обилии смородина и малина.

Восхождение и захождение солнца восхитительно, тучи, радуга, гроза великолепны по гористому местоположению. По вечерам слушаем соловьев и пение маленьких птичек также обычно. В лесу множество тетеревей, а по реке — бекасов и диких уток. Водятся и змеи, но безвредные и красивые. Минералогическим богатством нельзя похвалиться, много глины, дресвы, чернозему, серый речной песок и признаки железных руд. В горах несовершенно образованный песчаник, шифер, рассыпной камень, в котором попадается и кварц.

Вот мое жилище. Вблизи много деревень, винокуренный завод на речке Басандайке с господским домом и при устье ее дача г. Поповых[6] того же имени и с хорошею церковью. В нынешнем лете (1853) были и соседи; ибо две последние дачи, кроме хозяев, занимали одну — семейство губернатора, а другую—семейство председателя и инвалидного офицера и еще два лица по деревням. Все это на расстоянии 6 верст, а город еще ближе.

139. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Томск, 23 апреля 1854 г.

Чудное у нас время; вовсе не Сибирь. Тихие, теплые, ясные дни, легкий отлив зелени на полях и в перелесках, белые и фиолетовые цветочки, пух и листья на вербах; летние птицы. Река давным-давно вскрылась со всеми притоками, и небольшие из них величавы своим половодьем.

Бывают годы, в которые дикая наша природа вспоминает свое географическое достоинство и дарит нас теплым, плодородным годом: прекрасною раннею весною и прекрасною долгою осенью. Следовало бы и всегда этому быть, потому что мы живем под одной широтой с Митавой [1], даже южнее немного. У нас нет моря, зато широта континентального размера в чувствах жителей далеко превосходит балтийскую. Тысяча верст у нас нипочем, и, прислушавшись к говору, можно подумать, что до Тихого океана легко перебежать взапуски. Но пространство ласкает только населенную природу. Оно человеколюбиво и, изливая непрестанно из недр своих эстетическую субстанцию в человеке, поляризует ее, дает смысл гармонии и не оставляет рукотворение мертвым и безобразным. Нас вдохновляет оно одним математическим величием. Правда, это смежно с диким эпосом, но певца Сибирь еще не произвела, красоты ее безмолвны и неосмысленны. Не теряемся в пространстве, но и не привлекаем из него тех тонких живительных излияний, с которыми душа отражает на все, что подлежит ее чувству, пластическую грацию.

Наша Томь, это чудовище в полтысячи верст длиною, будто играет своею бесчувственною жизнию и, всегдашняя в это время преступница, осталась в нынешний год верна своему ложу. Под глубоким снегом лед был тонок и не мог построить обычных плотин, земля по той же причине мало промерзла и нашлась в состоянии по мере таяния всосать большое количество влаги и, уделяя ее теперь порциями всей системе, держит ее в величавой и здоровой полноте. На северной стороне гор видна еще седина, и мне кажется это безобразием по сравнению с моей головой, кругло белой.

Вот тебе, моя милая сестра, картина сего Георгиевского дня, за завтрашний не ручаюсь (так довелось провести

всю жизнь): может быть, он и не будет уже так прекрасен. Впрочем, при всем своеволии стихий есть внутри нас и невозмутимая красота, а что всего надежнее, бог в нас и с нами[2].

Бог ... это опять пространство, не менее человеколюбивое, истинный источник чувства и мысли, освящающий и просвещающий душу, покоящий ее и возвышающий, не оставляющий до смерти, в смерть и по смерти. Что самая воля наша? Она была бы простым бескачественным движением и рутинною привычкою, если б не привлекала в себя слово, силу, значение и суд из божия бытия. Так только и может устроиться и, не будучи вечною и самобытною, быть чем-нибудь. Никогда человек не отрицался и не может отречься своего небесного происхождения и непрестанной зависимости от своей причины, но беспрестанно и затемняет это благородное сознание земными страстями и, единожды возгордясь дарами, считает унизительным признавать себя созданием.

В этом состоянии скорее согласится быть суеверным язычником, нежели просвещенным сыном божиим. Боится природы и поклоняется ей; не боится творца и не чтит его, не признает никаких его благодеяний. Все мы много или мало так же худы и грешим до того, что не умеем, хотя бы и хотели, выразить самое покаяние и дать ему надлежащие следствия. Неоспоримо, что род человеческий имеет уже приметные успехи, и немудрено: сколько веков питается он православным телом Христовым и слышит его воскресение! Соединился в громадные общества, с готовым словом, горизонт его широк, и ум, объемля весь мир, знает его происхождение. Он ждет только вдохновения, чтоб так же обнять и вечную истину, а, вместив ее в себя, пасть уже не может, так как не забудет никогда ни экватора, ни полюсов, ни долгот, ни широт, а все ложное почтет себя недостойным.

Но никаким скачком сюда достигнуть нельзя. Самая мысль видит себя отторгнутою и почти заблудившеюся, ежели переступает за круг настоящего времени, и повивается только легким, нерешительным упованием. Время в этом отношении — строгий блюститель размеров нашего преуспеяния, и нельзя из него выкинуть ни одного часа, не пережив его всецело. Резкие эффекты производят бури в духе и, может быть, помогают огранить его алмазную

субстанцию, но огустевает она и крепнет тихо et par loi de la continuité *.

Что-то твоя семья? Ты сказала мне много тревожного о Кате и замолчала. У меня на будущей неделе родственная свадьба. Парасковья Трофимовна[3] выдает и вторую свою дочь, умную, благовоспитанную и красивую девушку, с прекрасным нравом. Пожелаем счастья новой чете. Женихов здесь немного, и ежели решится порядочный молодой человек обзавестись семейством — это уже праздник. Впрочем, есть и другие свадьбы, но в довольной дали, и тебе не для чего знать об них, да и я не смею присвоить себе титул регистраторский. Цифры набирать также не мое дело, хотя здесь вообще не изобилуют поставщики их, даже и для статистики. Не могу только забыть одной цифры — седьмого десятка жизни, потому что она стоит неотразимым коэффициентом всех функций: застарелых ран, ревматизмов, головокружения, зубной боли, неповоротливости мышц, слабости ног и желудка. Желал бы убрать ее куда-нибудь напряжением воли и всегда стыжусь крайней нашей нищеты во времени. Играем тысячами в таких огромных единицах, как миры, и редкий может досчитаться до сотни в самом интимном нашем интересе, а год, право, не велик, вот уже целой трети из давно ли наступившего уже нет. И ежели смерять эту часть собственными делами, то можно вывести, что она составляет самую мелкую дробь в жизни.

Прости, мой добрый друг. Приветствую вас родственным Христос воскресе! И по праву всех обымаю и цалую.

Гавриил Батеньков.

140. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Томск, 14 мая 1854 г.

Обыкновенно пишу к тебе, моя любезная сестра, единожды в месяц, и это мне кажется не редко и не часто. Слава богу, что так возможно. Тут немного вмешивается и математика. Промежуток времени выходит тот самый, который требует расстояние. Как бы ни усиливались, как бы ни старались мы огустить переписку, все раньше месяца ничего друг об друге не узнаем. Отсюда следует, что

---

* И по закону преемственности (франц.).

число удовлетворительных писем в точности пропорционально выраженному временем расстоянию.

Камчатка может написать и получить не более двух писем в год; между Тулою и Москвою обернется их до ста. Для нас такое число было бы плеоназмом [1], и потребовалось бы хранить отпуски, писать начерно и почти завести контору с входящими и исходящими регистрами, чтоб разобрать, о чем кто из нас пишет. Не думаю, чтоб от этого могло выиграть чувство.

Установляя таким образом новое классическое единство, я в самом деле нахожу в нем некоторый драматизм. Хотя антракт наш был слишком длинен, декорации радикально изменились, и мы с поднятою завесою прямо шагнули от юности к старости. Но без того наша драма, может быть, не имела бы завязки и содержания и кончилась бы обычным гробом без почувствованной потребности в христианском эпилоге.

Драма может быть в картине, в биографии — да и не драма ли вся народная история? Не смею простирать этого до космополитизма: там уже цикли, нечто отличное от действия; проявление начал, священное, божественное.

Да, история не будет наукою, если будем об ней иметь понятие, как о простом агрегате. Она развитие всей человеческой натуры в светлых и темных ее свойствах, пока совершится полный цикль этого развития, если уже не совершился. В географическом значении ничему более быть нельзя: другого экватора не откроют, остается только наполнять кадры долгот и широт. То же и в истории: мы обняли совокупность всей этнографии, неоткуда выйти новым, неизвестным варварам. Кажется, и в психологии то же: мыслим уже и изволяем категорически,— это все, что быть может. Остается понять творца, и, оценив первозданную чету, цикль закончится. Как ярки две черты: свидение Спасителя, совпадающее со временем Августа, низвержение огненное развитой цивилизации, сомкнутое войной 1812 года. Так проявились две полные ветви циклоиды, и можем принять этот символ для выражения поступательного движения истории, пока проявится, может быть, и орбита ее.

Мы говорили о тобою о Гумбольдте, и я рад, что немножко угодил тебе. Прочтение всех книг оставляет тяжелое впечатление. Оно, разумея пространство стереометрическим без всякой реальности и собственной ему субстан-

ции, вмещает все в начале и так вмещает, что все исчезает. Вместо прекрасной, пластической астрономии является звездочетство. Между тем ум и чувство вопиют, что Земля знаменательнее математической единицы и в самом материализме от нее должно идти и к ней возвращаться. Вот почему прекрасная и умная часть произведения германского писателя кажется эпизодом, а я тебе ее только и рекомендую. Если взглянуть на небо со стороны его красоты, можно прийти к другим понятиям пространства и света, к разуму бесконечности. Это послужило бы к огустению чувства, и рад бы был я, если б наука, такое космическое явление, как наша мать Россия, с ее монархическою полярностию, признала мерилом всего возможного, как один из пяти перстов чудного нынешнего организма. А ухищренные исчисления, пожалуй, низведут эту духовную громаду до значения муравейника даже в одной Солнечной системе. А правда ли это, по простому по неоспоримому чувству? Некто восторженный Д'Аламбертовою системою в старинное время сказал[2]:

Здесь виден возраст наш духовный,
Как, отрясая вещество,
Вставал из праха дух свободный
И понял мысли существо.
Локтей и стоп оставя меры,
Взял в руки ось земныя сферы;
Потом — ось годовых путей.
И сей Титан свой рост теряет...
Так напоследок ум взлетает,
Пределов не нося цепей.

Результат не тот, который выведен Гумбольдтом.

У нас конец апреля и начало мая были дождливы и не теплы. Это остановило растительность; теперь начались громы и было уже жарко. Полевые и огородные работы в полном ходу, затрудняемся в семенах: они померзли и не собраны в прошедшую осень. Впрочем, все зелено и лес оделся. Реки довольно полноводны, хотя и содержатся в берегах. Купаться я уже начал, жаль только, что не обнаружились удобные места, по множеству ила. Это несносное неудобство наших горных потоков, с каждым годом изменяющих и портящих свое ложе, обрывающих берега, а удерживать их от своевольства некому и нечем.

Само собою разумеется, что новостей у нас никаких нет, даже мод и обыкновенных губернских сплетней. Это самый тихий оазис, сомкнутый в самом себе без брожения.

Деятельность жителей видна, а предметы ее скрыты. Хотя город наш есть главный этап транспортировки для всей Сибири, но в нем не видно обыкновенной мочальной и веревочной драпировки, все чинно прибрано, и можно подумать, что все заняты одним домашним хозяйством. Строятся только быстро и охотно, а неоконченные или развалившиеся здания разорившихся богачей, несмотря на немногие протекшие годы, кажутся уже отодвинутыми в археологическую даль. Но какое превосходство моральных сил наших над физическими! Большой пожар [1]845 года, истребивший многие кварталы незастрахованных строений, через год уже был забыт и весь послужил популярности архитектуры, деятельности и успехам работников, живости промышленности; падение же нескольких капиталов наполнило неисцелимыми язвами. Выходит, что богатство — добрый спутник жизни; но оно много требует ума и в практике верного понимания, натуральных консепций, национального механического устройства, а без того рушится и при самом твердом основании, как великолепные куполы Тоновых проектов.

Ну и конец, мой друг. Бог да хранит вас всех, равно мне милых родственно.

Гавриил Батеньков.

141. Е. И. ЯКУШКИНУ [1]

Соломенный, 14 мая [1854 г.]

Что такое опять разорвалось у вас, любезный Евгений Иванович, что вы не смеете пошевелить рукою? По ревизским сказкам вы уже записаны в нашей семье, а пропали без вести. Пожалуй, доведется отвечать за вас. Если бы не черкнул старик отец [2] о вашей милости, мы бы подумали, что колыванский городничий преследовал вас до изнеможения. Да и я бы подал явочную: не вы ли стянули пред пасхою из моей шкатулки старые рубли, пятачки и двадцатифранковые, известно, что вам это в привычку.

После вашего отъезда получено письмо от мамы [3] с припискою отца, как значится в ялуторовской депеше. Я решил сжечь его, а сестра [4] без вашего разрешения не смеет, и оно хранится у нее впредь до повеления.

С вашей легкой руки было у нас непрестанное нашествие малолетних до настоящего месяца. Из Москвы, из Омска, из Барнаула — видимо-невидимо. Разумеется, Свер-



И. Д. ЯКУШКИН
Художник К.-П. Мазер. 1851 г.

бей Свербеич был всех интересней. Пожелайте ему счастливого пути. Он отправился на Амур и в Камчатку. Но мы с вами сделали страшный промах — притащили к себе почти за уши ... камер-юнкера [5]. Да простит он нам во имя простоты нашей и своей скромности!

Ваших что-то не слыхать еще.

Молчанов доселе крепко болен, хотя и отправляет службу. По сведениям я ожидаю его и с женою на дороге к водам.

Уверен, что вы отдали Авдотье Петровне подробный обо мне отчет и представили меня рельефнее, нежели лучший дагерротип [6]. К ней пишу я с этою же почтою, но она получит позже. Потому и назначил я распечатать эту грамотку и прочесть. Может быть, вы еще и не возврати-

лись. В таком случае сестра перешлет в П[етер]бург. Я так полюбил малолетнего[7], что отнял бы его боем у Ивана Дмитриевича, чтобы любоваться сыном. Жаль мне, что я лично незнаком с Фон-Визиными[8], но это не мешает вам сказать им что-нибудь обо мне и обратно мне об них. Прежде бывало так, почему же и не теперь, когда есть возможность?

Много писать не намерен, потому что бегу сперва в лес и потом на земельное дело. С городом теперь расстался и являюсь там единственно ко всенощной и то только до троицы включительно. Но и здесь не дают покоя. Третьего дня приезжали молодые Засулины, а вчера нагрянуло все губернское правление. Пронеси господи сегодня и завтра! Молодая зелень и цветы всех прельщают, а за город всего ближе и беззаботнее — ко мне. Прекрасно это для прославления Соломенного, но мне и отдых нужен, да и самое время, чтобы чем-нибудь заняться, хотя, впрочем, и с гостями не церемонюсь и, оставляя дом в их распоряжение, сам нередко уклоняюсь по удобности, пожелав и им и вам ... спокойной ночи.

[*Приписка:*] Авдотье Петровне. А ее прошу вскрыть, прочесть и отдать Евгению.

142. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Соломенный,] 4 июня 1854 г.

Получил я твое письмо, моя милая сестра, ввечеру того самого дня, как к тебе писал,— и странное дело! Не будучи занят, не будучи болен, не будучи огорчен кем-нибудь и пользуясь покойно загородным уединением, я до сего дня не мог приняться за перо и теперь пишу с тугою головой и неповоротливою мыслью. И не я один так страдаю: мой бедный хозяин не лучше меня, а на молодую соседку и глядеть скорбно. Итак, старость сама по себе; скверная погода тоже не без влияния — однако всего этого недостаточно, чтоб человека обратить в нетесаный болван. И ежели в самом деле я таким и останусь, то не счастие ли это уже ко мне присунулось.

В городе что день, то свадьба, спешат — и, вероятно, для счастья же, обвенчаться, пока не прояснело, пока не просохло и не потеплело. Я закупорился в одной избной комнате, прочие штукатурят малороссийским способом, и весь домишко мажут снаружи или собираются мазать, ког-

да перестанет дождь. Что делать? У нас все дворцы, главное, должны быть зимние, не выключая и соломенных. Не худо бы кому поглядеть на мои несчастные ноги, как и они обмазались глиною, когда сейчас я возвратился с так называемой прогулки, особливо когда катился с горы почти на лыжах, как истый звероло́в.

Вся моя прислуга здесь состоит из одной старой, очень старой немки, и она от всей души сделала мне выговор: и «зашем таскался,—ой, таскатца! Кто тебя мыть будет? Хожу насила; изба мой, за двором хожу до мокрым сама». И мне в самом деле жаль ее стало ... Впрочем, старуха моя исполнена ревности и нетерпимости; не может переносить, чтоб служил мне кто-нибудь, кроме ее, и так аккуратна, что возмущается самомалейшею новизною, особливо же появлением незнакомых ей гостей. Словом, она старается привести меня в то же положение, в котором я находился двадцать лет. Довольна, главное, тем, что я одел ее самым немецким образом, пою кофеем и, таким образом перенося воспоминанием в родную Ригу, стараюсь свести конец ее жизни с началом. Здесь она уже много лет и попала за контрабанду, не понимая до сего времени, в чем и есть ее вина. Толкует только, что француз запретил покупать сахар у англичан, а ей до этого никакого дела не было: у всех сахар был, а у жидов дешевле, дура, что ли, она, чтоб брать дорогой в лавках. С такими-то нераскаянными преступниками доводится жить вместе...

Как ни судить, а в самой общественной жизни ума и правды у людей еще очень мало; едва-едва приметны весенние всходы. Что-то произведет нынешняя война [1], в которой главная и разительная новость — обширная письменная полемика и взаимная критика каждого дела, каждой речи? Но все это идет как-то мелко и едва ли достигнет цели поставить целые народы в состояние благородного рыцаря. Бог у всех на языке, но едва ли веруют его бытию; иначе старались бы узнать его волю и его правду. Независимо от этого все же он один действует, один связует звенья рождающихся и вымирающих и возбуждает вседневно спящий мир к утреннему бодрствованию. Что такое художественное произведение? Мысль, наведенная на грубую материю. Не то ли же представляется и вся природа? Она и есть дух божий наведенный... Беден обточенный шар, мертв и не изящен без этого духа. Бронзовую вещицу произвел ум, а цветок — бессмысленная природа.

Странное умствование! Не можем понять, что бог не меньше Солнца, и это оттого, что все чертим и вертим и не можем дух измерять трубочками и толочь в <...>*. Чего нельзя притащить в Академию, то, конечно, уже и не существует. Если б самую маленькую дозу богопознания приняла жизнь, мысль и наука, они бы вышли на широту и прямо направились бы к лучшему; а не имея светильника, громадны только и многотрудны.

Николай Алексеевич, вероятно, хлопочет теперь с набором[2] и пашней, Катя, ежели и приехала, долго ей оставаться с тобою нельзя. Одна Машенька неразлучна. Вот уж, верно, вы привыкли друг к другу, срослись душами, и сдается мне, что ум и любовь, растворенные в боге, составляют такой цемент, который смерть разрушить не может. Эти светлые точки суть метки, по которым бог соберет разрушенный мир, и беда, если на ком их не окажется.

Простимся пока: опасения мои о затруднении переписки были напрасны, все осталось по-прежнему, и мы здесь совсем не чувствуем никакого наития военной осторожности. Жаль, что доктор не умел сохранить рыбу, да и тащился он уж слишком долго. Я больше боялся за нельму, а она-то и вынесла. Навязывал еще маркизу[3] и Евгению, да по времени года было уже невозможно. Всего лучше для этого начало зимы, но случаи тогда для отсылки редки. Здесь попадаются чудеса в этом роде; например, стерлядь более пуда, хотя, впрочем, средней величины — от 15 до 20 фунт[ов] — всегда вкуснее, но жирны и легко портятся.

143. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Томск, 10 июня 1854 г.

Вот и лето по календарю, но только по календарю. У нас такого на деле еще не было. После раннего и теплого начала весны продолжаются более месяца холода, сырость, дожди. По улицам города страшная грязь, огороды почти пусты, цветы позябли и многие померзли; травы на лугах низки, и яровые посевы значительною частию не состоялись. Начинают опасаться за плодородие, хотя, впрочем, по деятельности нашей почвы и двух месяцев достаточно для всякого произрастания.

---

* Одно слово не поддается прочтению.

В прошедшее воскресенье служили соборный молебен и приметно было большое смирение и обращение к небу целой церкви.

В то же время проехал здесь переведенный из Иркутска в Ярославль архиепископ Нил[1], управляющий тою отдаленною паствою 16 лет и потому весьма известный по всей Сибири. Высокий рост его, величавая осанка, удобоприступность для всех, современное образование, высказывающееся в самых приемах, заставили принять его благословение всех, кто желал поверить с действительностью тот образ, который слово начертывает в думах или по первому слуху имени, или по речам очевидцев о лицах и предметах. Главная ревность сего архиерея обращена была на многочисленных инородцев ламайской веры. Он сам изучил употребляемый бурятами язык соплеменных им монголов, старался об образовании миссионеров и имел в обращении к христианской вере большие успехи. Учредил монгольскую церковь, в которой все богослужение, чтение и пение отправляется на монгольском языке. Ламу преобразовал в священника, и это тем чуднее, что прежняя его вера сильно организована и имеет за собою несметное число последователей и многие века древности, не говоря уже о материальных выгодах избранного сословия, к которому он принадлежал. Выходит, что убеждения ума и сердца в наш светлый век делают легким и естественным переход к истине евангелия от преданий и обычаев, которые она с высоты своей обымает. Правду сказал кто-то, что умному язычнику стоит предложить тело и кровь Христовы—и он будет христианином. Вероятно, и бывший наш пастырь Афонасий[2], человек ученый и по превосходству добрый и миролюбивый, наследует дело своего предместника подобно тому, как здесь сгладил закоснелое старообрядчество — и все добром. Это средство всегда сильно и прочно: оно увлекает всю душу без всякого остатка для осторожности.

Я здоров, но довольно расслаблен тяжестию атмосферы и головою и всеми суставами. Даже все книги кажутся туманными, и память страшится всякой встречи с невытверженным прежде словом. Рад я за тебя, что имеешь теперь в собравшейся семье большую сердечную отраду, а сердце сама природа запрятала вдаль от воздушных влияний. Скорбно, что я не с вами: тормошил бы маленького Алешу, а в былое время дети так много от меня

терпели, что прозвали мучеником, понимая по-своему. Теперь эти дети—генералы и полковники, а давно ли, кажется, я крестил их ... Жизнь так тороплива, что потомки действительно догоняют предшественников, и немножко стыдно нам называться дедушками и бабушками. Очертив за гробом век наш нормальною 60-летнею мерою, мы увидим в нем себя сущими эфемерами, и вся хронология сольется в несколько неподвижных точек, так что все мы будем современники и не поверим, чтоб было какое-нибудь движение, улыбнемся разве, вспомнив историческую древность.

Опять и опять прощай, моя добрая сестра. Поцалуй Машеньку, Катю и меня заочно.

Гавриил Батеньков.

144. [И. И. ПУЩИНУ]

Томск, 16 июня 1854 г.*

Что-то давненько уже мы не слышим друг о друге. Ни банное, ни земельное дело далеко не кончены, а мы уже начали изнемогать. Дошло наконец до того, что я почти вовсе бросил город и переселился всем** составом на Соломенный; мажу его, крашу и обклеиваю, чтоб, закупорясь герметически, дополнять свою слепоту и глухоту и, свернувшись в куколку, подвергнуть опыту человеческую организацию, не подлежит ли она метаморфозе из червячка в мотылек et vice versa***.

Иркутск означился здесь довольно выпукло. Проехали оттуда архиерей, генерал и прилагаемый при сем малолетний[1] — три языка; ожидается еще Марья Александровна, и до шишковского числа недостает только 18, было, правда, в Великий пост переселение народов и с запада, но теперь, яко исчезает дым, все исчезли. По словам Сергея Петровича[2], все у них утряслось и уладилось. Аргонавты уплыли[3], сели на мель, перегрузились и опять уплыли[4]. На этот раз эти амфибии однопольны[5]. Большое и малое давление бросили и летят, летят на крилах ветряных... Дай им бог полного успеха, в чем и нельзя сомневаться, ибо дело пущено по течению великой реки.

* Помета И. И. Пущина: «Получено 2 июля».
** Хоть убейте меня, а в этом речении слог се антиорфографический. (Примеч. Г. С. Батенькова.)
*** И наоборот (лат.).

Свербеич, без сомнения, надулся наблюдательным газом, но что делает камер-юнкер?[6] Здесь, по крайней мере, такая задача неразрешима по удалению от всех дворов и чисто мещанскому состоянию города.

Барон[7] сидит теперь в воде тремя линиями глубже грудной полости, однако голос его ясен и звучен, радует сердце и веселит ум.

По словам Викентьевских-Поклевских, Альфонские[8] должны быть у вас. К ним и старик отец собирается, однако это, пользуясь временем, не мешает им поклониться от меня, перецаловать ребятишек, а ежели не зазрит совесть, и самое барыню.

У нас все разъехались и разъезжаются в прагматическом и ироническом смысле. Вертится только стол и пишет один только волшебный карандаш[9]. Зато все благополучно, даже роды и свадьбы.

Вот и еще одного не стало из наших. Бедная Наталья Дмитриевна! Из Москвы почти со слезами об этом пишут.

Крест донесешь горделиво —
И с нашей могилы другие
Подымут его на плеча[10].

Колонизуйтесь вы на здоровье, а я запечатаю, пока еще спят в доме.

Евгений давно уже в Петербурге. Есть весть, но не от него.

145. [И. И. ПУЩИНУ]

Томск, 2 июля 1854 г.*

Ваша деловая справка почти столько же мне досадила, сколько и счет из лавки г. Наумова. Сей последний заставил заплатить двойную цену за целые полпуда макаронов, а вы отрицаетесь и отпираетесь от всякой от меня в продолжение лета вести. По всей вероятности, этого не могло быть, и разве что-нибудь до вас не дошло. Посовеститесь и признайтесь!..

Впрочем, и в самом деле мы порядочно замолкли. Может быть, просто читаем в душе друг у друга.

Ждал я, ждал Ивана Дмитриевича или, по крайней мере, его сына[1], но вот вы говорите опять о новой оста-

* Помета И. И. Пущина: «Пол[учено] 15 июля».

новке. Верно, успеют у меня высохнуть крашеные полы, и я в состоянии буду еще принять его у себя. Страсть все окрасить возникла из того же несчастного банного дела, ибо нечем другим было нам пособить беде. Печей решительно не будет, зато построен целый каменный этаж, и чуть где показалось дерево, размалевано оно так, что смотреть страшно. Но Соломенному ли отставать в наряде? Нет, он еще превзошел; а за этими двумя первенствующими зданиями потянулись и все прочие, так что во всем доме решительно теперь нельзя ни к чему коснуться, да и нечем: все пальцы у всех в охре, белилах и черляди, под олифой и лаком, и пишу в перчатках.

При таком развитии масляного дела само собою разумеется, что земляное и водяное не могли быть слишком деятельными, и настоящий фельетон почтительно уступает вашему, но по-иному. Разве похвастать дождями и холодами, но и они не могли ни вздуть реки, ни заморозить. Страдают только огороды, но это не наше, а женское дело, а они и без него к нам с вами не весьма теплы и сухи.

Плывут, плывут, плывут[2] ... Но, помилуйте, я уже писал вам об этом. Верно, гривенник понадобился посланному на что-нибудь другое. Бедный гривенник!

Евгений к вам пишет ... он собака должен быть, потому что нас не известил даже о приезде[3].

Ждем Марью Александровну, а все еще нет ее. Яков Дмитриевич предсказывал скорый отъезд, а она что-то не ворохнулась.

Доказательством страшной кипятка-энергии может служить разлука с неразлучною женою[4]. Камер- и натур-юнкеры торчат теперь на повозке, и, верно, долго мы ничего от них не услышим. Елена, Елена ... жаль бедной Елены ... но мне жаль и его. Человек даровитый, но вовсе потерял здоровье. Нравственно он, может быть, слишком современен, а теперь, право, настоящего нет, разве мы только сомкнули орбиту, ему не следует нам подобиться, а все надобно вперед, вперед, лететь по тангенсу. Жена бы тогда и не приметила. Жаль Елены...[5]

О смерти Павла[6] я от вас только узнал; может быть, он и хорошо сделал, но Дружинин[7] через это так сблизился с Чичиковым, что, право, совестно смотреть на него. Маремьяна, Маремьяна![8] Положить бы твоей милости сто земных поклонов за весь мир и забастовать. Однако же в менделействе могу принять я сердечное участие.

Отец его был моим учителем в гимназии и впоследствии добрым другом, равно как и мать со всем ее родом[9]. Малолетний родился после меня, а я знал только с полдюжины сестер, и, верно, ваша как-нибудь меня помнит. Ее дядя Василий Дмитриевич[10] был верен мне всем сердцем до последнего его вздоха. Губернатор[11] приехал вчера, но я с ним еще не виделся. Беда моя, что не умею и разговор начать дельный, все же, однако, понатужусь, и если не извещу недели через две — значить будет, что ничего не мог.

Все наши живы и понагнулись к вашей колонии[12].

Познакомился я на минуту с преосвященным Нилом, а у нашего[13] еще не бывал. Видел только на службе и два раза в гостях.

Старики Романовы теперь у нас; а почему вы не видались с ними... А!

146. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Томск,] 12 июля [1854 г.][1]

Весь пакет от 31 мая вчера я получил. Он очень полон, от всех, и хотя знаю об вас несколькими днями позже, но вы такие мастерицы разделять чувство, что из слов ваших устареть нечему.

Софья Григорьевна докатилась, доплыла и доехала благополучно. Остается ей уже по-здешнему не дальний путь. О! Как [она] обрадует родных своим посещением. Да и меня обрадовала: легко было слышать в ее душе, что не одна страсть к путешествию подвигнула ее. Единственный брат, несмотря на его бороду и сибирку[2], конечно, уже близко лежит к ее сердцу, что она и лет своих не перечла, не говоря уже о титулах. Итак, есть еще в наше время и любовь и дружба, родство и христианские добродетели. Много приятных и неприятных воспоминаний она мне подновила и напомнила. Не привезла только тебя, и на этот раз, и единственно на этот мне столь грустно, потому что увидел в сотовариществе твоем и с нею действительно возможным осуществление такой несбыточно и сильно непозволительной мечты. В этой возможности я и виделся с тобою, даже переменил печаль на радость и [умо]ляю тебя не решаться ни на что более, разве только сами Свербеевы двинутся и со всем путевым удобством. Видишь, я умею создать и надежду. Здесь меня знают как бессемейного и безродного, и не знаю, достанет ли у кого столько

толку, сколько нужно, чтоб обнять воистину, что и как может святая дружба.

За посылку благодарю: она дошла, еще пока нужда не удовлетворена, смешная нужда, но точно так на деле, здесь никак не могли угодить мне. Прочее можно и оставить: парусину, как нарочно, привез один купец на продажу (может быть, и вследствие моего ворчанья), и мне легко запастись ею, да и книг почти не нужно. Чего нет, о том я всегда думаю так, что и иметь не своевременно.

Рад я, что Алеша и вырастет в моей дружбе.

В городе я зажился: вчера была племянница, сегодня проезжая — верно, останусь до завтра. И не очень жаль, потому что идет дождь, как и всегда бывает [от] нашей капризной природы во время сенокоса.

Конец обрывкам; остается туго уступающий анализу солид, слиток всего моего существа с вами.

147. Е. И. ЯКУШКИНУ

Соломенный, 30 августа 1854 г.

Испугавшись строгой вашей настойчивости, мой любезный Евгений Иванович, я взялся за стальное перо и красные чернила, потому более, что гусиного очинить не умею. Извините мою мудреную логику. По смыслу речи выходит частию и так, что пишу именно потому, что не имею порядочного пера.

Далее следует уже само собою, что переписка наша довольно случайна и остается чувству сильнее восполнять ее.

После вашего отъезда все наши новости состояли, главное, в том, что была Пасха, Троицын и Петров день, давно уже, впрочем, отмеченное на годовом цикле. У вас новость обыкновенно получает исполинские размеры. Так, например, вы имеете нового отца, ибо прежний, считая себя обязанным спасти меня от смертного греха-зависти, уступил мне все права свои на вас и самое наименование, из которого они проистекают[1]. Извольте же знать об этом и ведать.

Но подождите немного: я кончу сперва официальную часть, а именно:

1) Бурундуковое дело, при сем прилагаемое*.

* Приложение к письму не обнаружено. Может быть, были посланы шкурки бурундука?

2) О торговых путях: нелегко нам разделаться, хотя и возможно; однако на Николая[2] плохая надежда. Он определен исправником на золотые прииски и разлучается с нами.

3) Зачем вы ничего не сказали о Иване Петровиче, а с ним произошел какой-то кризис[3].

4) Тезка ваш пропал уже без вести[4]. Барин его также уже не с нами.

Во флигель перешли старики и отбросили на самый край Солдатской слободки вашего сожителя. К счастию, это по дороге с нашей запутанной межевым ведомством территорией, и я мог показать ему вашу грамотку; в городе же встречается редко, хотя и бывает он в доме, ибо

5) Все лето прожил я под стражей Толстого мыса. Вымазал и обклеил Соломенный, так что вы не узнали бы его теперь, какое бы ни употребляли напряжение памяти.

Сестра ваша Ольга бывает здесь нередко и даже прогостила недели две с ребятишками[5].

Может быть, и вовсе ей приведется здесь жить, когда уедет шурин. Уж не взять ли ее за себя, чтоб не рвалась за вами в Москву. По обыкновенному же ходу вещей мне стоит только назвать кого невестою, свадьба уже будет.

Кланяется она, Кока и Толя.

6) И старик здесь ночевал, я рад, что знаком теперь с ним, равно и с Вячеславом[6]. Если б он приехал ранее, верно, попал бы в аргонавты.

Баста. Вступаю теперь торжественно в свои права.

Первый долг мой оградить тебя крестным знамением и преподать родительское благословение, увы, без всякого материального выражения, хотя бы и желал послать целковый 1711 года, но налицо уже не имеется, а Сергей[7] давно нанялся в рекруты и увез мой минц-кабинет с собою на царскую службу, не сказав и спасибо. Не мотай, мой сын, не мотай, живи не роскошно, не щеголяй; обойдешься и без моего целкового.

Повелеваю тебе чаще видеться с Авдотьей Петровной, отыскать через нее Марью Александровну Дорохову и старика Деева, а если можно, чрез Наталью Петровну[8] и Горловых. Мне очень хочется, чтоб последние видели живого человека из наших стран, который вообще, хотя и в новом сюртуке, будет интересен старикам немало.

Поклонись от меня своему спутнику и спи. Христос с тобою!

Познакомь с невесткой и внуками[9].

148. И. Д. ЯКУШКИНУ

Соломенный, 25 сентября 1854 г.

Наконец получил я и от вас грамотку, старик божий, мой добрый товарищ, отчетливую и дружескую[1]. Благодарить словами считаю ненужным, вы теперь немного знаете уже мое чувство и сами можете в данном случае истолковать его. Остается прибавить, что Евгений ваш и мой доставил мне такое же удовольствие, не дождавшись понудительных мер и отстраняя от себя эпитет, казавшийся заслуженным.

Поклоны ваши частию повершены, а частию повершатся по возвращении моем в город.

С своей стороны, понеже я пишу не более одного письма в какую-нибудь сторону, то настоящее будет иметь вид смеси и беспорядка.

Не сумеете ли вы этим самым отвратить гнев, на меня движимый со стороны двух Владимиров[2], и не можете ли, как старый схоластик, словами этой пресловутой науки прибавить, что чувство у меня вещь существенная и постоянная, а письменность случайная и зависимая.

Елена с мужем проехали благополучно, но они лишены были всех удобств, остановившись не у меня, а в гостинице, в чем виновата не Елена, а больной, которому казалось, что этому препятствуют лечебные операции.

Впрочем, я веселее пробыл с ними несколько часов, нежели думал, потому что и они были бодры и веселы. И здесь Елена так мне мила, что, кажется, Сергей Григорьевич опрыскал нас чем-то из своего собственного сердца. Вот уже я видел трех из нового поколения нашей касты и нашел [в]полне, что им дано не только самое ценное по положению их воспитание, смыкающее требования света с простотою человеческой свободы, но даже и душа — прекрасное отражение на семейства, из которых они произошли.

Мила нам добра[я] весть о нашей старице.

Мои домашние вас приветствуют, и все остается в том положении, как вы видели, кроме переселения на вашу половину, приведенную вскоре после вас в окончательное состояние. Приближаются, впрочем, некоторые перемены; но говорить об мире еще рано, потому что данные не установились.

Эта мистика не должна вас смущать, потому что пе-

чального в ней нет ничего, разве только в хозяйстве моем потребуются новые перемещения. Понимаю что с[ка]зал загадку. Да и вся жизнь загадка. Конечно, лучше было бы промолчать, да злость моя так велика, что так или иначе, а задеть вас хочется, когда говорить вовсе не о чем.

С Сергеем Петровичем я недавно беседовал. Остается благодарить за 6-е сентября[3]. Чаем он [реш]ительно одолжает меня.

Не мешает немного объясниться о времени. Деньги бывают у меня свободны обыкновенно с января до марта. Это с моей стороны самое благоприятное время, но не знаю, как совпадает с ним удобство пересылки от вас. Во всяком случае, я ставлю этот срок в ежегодный бюджет, хотя должен признаться, что в этом необходимом продовольствии затрудняюсь и на окончание нынешнего года. Здесь все чаи скуплены, и трудно доставать иначе, как фунтами весом при большой дороговизне.

Впрочем, обещают место за 150 руб. серебром, но из него более трети на нашу долю не достанется, а мне лично едва придется десятая часть и из этой трети, годовая же моя пропорция равна 25 фунтов и то при помощи семипалатинского, которого уже вовсе нет в продаже.

Вот сколько заняла меня эта дрянь. Вините Ивана Яковлевича[4] с его несвоевременным неладным докладом.

Сказывали мне, что Свербеич уже в Якутске: вероятно, скоро будет с вами и примет мой радушный поклон. Соедините их руки... с Вячеславом и всуньте в них перо, хотя я очень знаю, что к старикам писать не находят они ни предмета, ни желания. Так и кажется, что два поколения суть два различных мира.

Прощайте пока, Иван Дмитриевич. Кушайте во здравие вашу неблаговонную растительность и обрадуйте меня поскорее, что она извергла с собою все ваши недуги и пуще меня вас помолодила[5].

Прощайте!

Маленький Люля[6] вас целует.

[*Приписки на полях:*] О маркизе[7] пишут, что он едет в Вену с депешами, потом в Италию и наконец ... в Томск.

Другой Евгений[8], кажется, недолго усидит на новом месте. Начинаются уже недоразумения, но бог с ним; я больше ничего сделать не могу.

149. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Томск,] 10 октября 1854 г.

Что-то не много более обычного вы замолчали? У меня недостает терпения подождать, и хотя сегодня очень мало имею досуга, все же могу сказать несколько слов, особливо имея надобность ответить Марье Александровне, о которой и намерен говорить преимущественно.

Печальна ее судьба. С любящим, сильно впечатлительным сердцем, оставив немного в бездействии холодные советы всегда осторожного ума, думала она восполнить пустоту, оставленную тягостною попыткою счастия в первом браке, новым обязательством, которое представляло ей добрые залоги,— оставила она место, занимаемое с честию, обеспечивавшее жизнь и привлекшее к ней любовь юных сердец и благодарность их родителей — и вот почти на церковном пороге поражена новым ударом.

Теперь выехала она; куда и зачем? К родным своего жениха; но он был еще только женихом, и она не вступала в семейство и не знакома с ним. Чудной драматизм! И велика милость божия будет, ежели окрепнет узел, таким слишком интеллектуальным образом завязавшийся. Крайне боюсь, не увлеклась ли она и тут своим собственным чувством и не слишком ли уверенно судит по себе о других. Но что же ей и делать, оставаться в такой дали нельзя, родственные средства окончательно истощены, а приют необходим. Бедная женщина: что с нею будет? А жить еще надо долго. Ожидаю от тебя обстоятельного известия и опять боюсь, что она может много подействовать и на вас своими невзгодами и даже расстроить покой всегдашнею скорбию, ибо дружба твоя чрез меру симпатична.

Когда я приеду в город, мне не дают ничего делать. То тот, то другой: и теперь оторвали трижды. Но вот уже последняя неделя и за городом. Николай Иванович отправляется по новой должности в тайгу, и я должен буду жить постоянно в здешнем доме с Ольгою и ребятишками. Жаль мне своего уединения, которое надобно будет посещать только урывками, а распорядить иначе никак нельзя. Больше хлопот будет с хозяйством, однако я сумею выкроить и для себя сколько нужно будет времени, по привычке вставать рано поутру и не засиживаться в гостях. Деев уехал на лето в деревню к своим знакомым

и к сыну под Петербург, вот почему вы так долго его не видали. Он пишет от 4 сентября, и я сердит на него, что ничего не мог сказать о тебе.

Прощайте, мои милые. Всех вас целую сердечно.

Адресовать надобно на имя Ольги Павловны Лучшевой. Или, как писано прежде, [на отца] Лидии; первое ближе.

150. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Томск, 20 октября 1854 г.

С августа месяца я не мог дождаться от тебя, моя дорогая сестра, никакого сведения. Нося в душе упование на бога, я еще не обеспокоился, но жду, чтоб ты промолвила, уже с нетерпением.

Лето у нас закончилось жаркими и светлыми днями, таковы же были и первые недели осени. В конце сентября начались дожди и продолжались с редкими перемежками до 18 октября. Тогда вот и начало мерзнуть, и сегодня доходит до 13° по Реомюру. Ушайка замерзла, вероятно, и на Томи показался лед (шуга по-сибирски). Итак, зима начала вступать в свои права, но дороги совсем нет, потому что снегу нет, а грязь все изрыла и испортила.

В нынешний год представляет лето у нас несколько особенностей. Оно слишком благоприятствовало только уборке сена, а я, как нарочно, не могу похвастать довольным его запасом вследствие найма солдат, увлеченных на прямые их обязанности. В огородах почти ничего не родилось. И жалко смотреть на нашу не свившуюся и съежившуюся капусту. На хлеб еще не слышно жалоб, грибов не видали, а множество только лесной дичи, едва ли когда бывалое. После этой экономической картины мне не остается говорить ни особой радости, ни особой печали.

Здоровье мое еще держится на обычном уровне. И вообще в городе не слышно болезненности. Итак, милосердие божие над нами не оскудело, если же получу от тебя хоть одну строчку, смело пущусь оканчивать год с благодарением и надеждою.

Главная перемена в домашнем быту, то есть отъезд Николая Ивановича, хотя поставила меня в хлопотливое состояние по дому, но при заведенном уже постоянном порядке и при содействии ему женской руки, кажется, все пойдет, как прежде было; да и неоткуда произойти пута-

нице, потому что глупо мы ничего не делали и, не основывая жизнь на случаях, не боимся, чтоб каким-нибудь из них, разумеется в нашем положении не очень важном, была она окончательно расстроена.

В городе тишина и безденежье. Можно бы на это смотреть хладнокровно, если б не угрожали те последствия происшедшего кризиса, от которых не может произойти ничего живительного, а разве в течение прожитых и уже забытых затруднений, как вообще бывает при переборке старых, сложенных в кучу и ни к чему уже не годных материалов.

По географическому положению город наш окончательно пасть никогда не может, как этап, необходимый для всей промышленности столь необъятной и богатой страны. Но желательно, чтоб поскорее внутренние его капиталы возродились и чтоб он пошел проложенным уже путем к улучшению и украшению. Странное отношение к добру и злу имеет эта сила ... Капитал. Предполагая скопленный явными неправдами, его не любят долго и ропщут, но наконец уже подвергаются, как некоторой власти, благотворному из него влиянию и тогда-то на преследование его и разрушение смотрят как на новое и бесполезное зло, кроме злых и неисправимых завистников. У нас и этого не было. Источник капиталов известен и безукоризнен, изменили расчеты и преувеличенное увлечение при стечении неблагоприятных экономических обстоятельств.

Для нас с тобой, впрочем, это постороннее дело, но я как ни уединен, не могу совершенно отчуждить в себе чувства окружающей среды, чувство вовсе бесполезное практически, но годное моей душе.

Более писать не о чем. Остается сказать мой искренний сердечный привет всей твоей семье и просить, чтоб ни в горе, ни в радости никто из вас не забывал меня.

Всегда вам преданный Гавриил Батеньков.

151. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Томск,] 6 ноября 1854 г.[1]

Уже сильно меня тревожит продолжительное молчание твое, добрая сестра. Времени точно не исчисляю, но как-то долго, очень долго не знаю об вас, конечно, более месяца. Может быть, нетерпение увеличивает размеры, тем более, что настоит глубокая осень с ее распутицей и рекостава-

ми, задерживающими почты; однако газеты имеем уже от 11 октября и, следственно, есть какая-то задержка, не зависящая от путей. Не хочу предаваться никаким мрачным воображениям, ибо на таком расстоянии, какое есть между нами, это значило бы непрерывно печалиться; наш отвес всегда был минувший месяц и таким широким размахом навевал бы всегда опасение и тревогу. Я верю более чувству, которое всегда совершенно, и производящему его в нас вседержителю. Слово передает истину, не прибегая ни к какой дате. Но это чувство исполнено упования, которое в земной моей жизни неразлучно с вашим благополучием. Я пишу к тебе — и это радует мою душу и покоит.

У нас зима, но зима легкая, реки хотя подо льдом, а морозов нет и не было; снег лежит прозрачною дымкой. Переезды немного неприятны, и я мало живу за городом. Правда, есть этому и другая причина—отъезд моего товарища, хозяина, по новой его должности и невозможность оставить добрую Ольгу нашу одну с домом и хозяйством. Ты сама бы полюбила ее доброе сердце, если б ее знала, но есть и свидетель в лице Марьи Александровны, о которой, ох, сильно скорбит мое сердце, особливо при совершенной неизвестности, что встретило ее в Москве и на чем можно основать успокоение ее и надежды? Бедная женщина, она все оставила, чтоб всего лишиться; променяла любовь на любовь и приобрела одни слезы, а более было бессмертного в любви детей...

Чем мрачнее скопилися тучи, чем менее известно, какое откроется небо, когда они греметь перестанут, тем глубже западает в душу какое-то ожесточение, лишенное ожиданий. Все мы чувствуем, что отечество наше неколебимо и неприступно; могут помяться и растрепаться его бахромы, но материковый солид надолго сохранит свою неразрушимость, хотя очевидно, что и в нем совершается какой-то роковой перелом. Станем молиться, да просияет тут луч вечного божественного света. Ежели и в немощах совершаются силы, то имущему, по обетованию, дано будет и преизбудет. Презрением побеждать врагов нельзя, и лучшая победа была бы, если б воссиял в нас небесный свет и озарил противоборствующие силы. Борьба началась от чувства, что гарантии человеческого согласия недостаточно; вопрос о гарантиях поднят высоко, но их ищут опять в ослаблении — мысль, несообразная с потребностью и справедливо отвергнутая! Ослабление питает только частную, изо-

лированную выгоду, а общее благо требует, чтоб все человеческие силы, далеко еще не соразмеренные с силами вещественной природы, при всем их разнообразии стремились к соединению и направлялись к общему средоточию, прекрасно указанному в Евангелии под именем царства божия и вечной его правды. По мере удаления от этого пути растут наши бедствия, и одному провидению известен исход их[2].

Не призванные ни к какому влиянию на общий ход событий и мыслей и потому не неся на себе их тяжести и за них ответственности, мы ограничимся семейным долгом, и он велик, достаточен на всю жизнь, если пожелаем соединить силы, дать чувству истину и, не выпадая из окружающей нас среды, сохранить в ней собственное свое скромное, но прочное место. Пусть все с каждым днем минующее из житья нестройною массою, она не в нашей воле; можем только установить волю и ум под правильным углом, и оно, нестройное в кале[й]доскопической оптике, всегда предстанет в прекрасных образах. Быть абсолютно мы не можем—это свойство единого бога. Может быть, и вся природа не более, ибо мы не понимаем, какою она держится твердию. То и истина, что скажет вдохновение.

О себе сказать мне нечего. Чувствую все ту же жизнь. Люблю доброе во всех людях и красоту во всех вещах. Старею тихо и немоществую, как всегда. Желаю симпатии в сердцах, но они давно и без меня заняты; даже тот малый круг, в котором обращаюсь, едва ко мне тяготеет. Следственно, силы мои невелики, и как бы ни хотел я собрать часть внешних лучей в одно теплое горнило, все оно стоит одиноко вдалеке и мало кого согревает, а расплавить в ток едва ли может и мягкую восковую натуру. Но к тебе и к твоим обращаю его с гордою уверенностью. Прощайте.

Всю прошлую долгую ночь видел вас во сне.

152. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Томск,] 23 ноября [1854 г.][1]

Добрый случай представил мне написать к тебе, неоцененная сестра. Жаль только, что эти добрые случаи всегда бывают экстренными и мало оставляют времени и удобства на искреннюю беседу. В настоящем случае не к тебе прямо явится проезжий из Камчатки доктор Петр Сергеевич



КОНТР-АДМИРАЛ В. С. ЗАВОЙКО С СЕМЬЕЙ
С негатива Центрального военно-исторического музея. Ленинград

Вешняков, а к г[оспо]же Свербеевой[2], потому что исходная его точка от ее сына.

Полученное на днях письмо Кати, прочитанное мною несколько раз сперва с недоверием и сомнением, потом с уверенностью в его прямизне, без недомолвки, решительно успокоило меня в опасениях и тревоге после двухмесячной о тебе неизвестности. Верно, хотя одно письмо у нас да пропало. Катя пишет о твоих ревматизмах. Эту несносную болезнь я мало слыхал в Москве, а здесь она почти обычная, лечат ее довольно просто и нередко успевают. Это молодой весенний лист, кажется, лучше всего березовый, которым обкладывают страждущие места, но у вас, верно, есть средства, более рациональные. Скорбно мне за тебя, которую желал бы всегда видеть здоровою, веселою и бодрою. Охотно желал бы часть твоих недугов взять на себя, потому, во-первых, что я мужчина, а потом по медленному до сего времени напору на меня старости, а наконец и потому, что против обыкновения в настоящее

время я совершенно здоров. Правда, и зима у нас прекрасная, особливо теперешние лунные ночи при ясном небе, заставляющие непрестанно гулять и кататься, а Ольга наша охотно бывает товарищем мне в этом. Молодая женщина, симпатизирующая красотам природы, и пара резвых ребятишек служат в таких случаях лучшею обстановкою.

Да, я бы мог взять на себя часть твоих недугов, но не так устроил бог, а мне все кажется, что, если б мы жили вместе, он дал бы мне и целебную для тебя силу. Я имел бы одну неуклонную волю, всю для тебя, и, непосредственно слушая своею душою твою прекрасную душу, жил бы в ней светло и крепко. И теперь эта воля непрестанно с тобою. По временам ты можешь ее услышать, но расстояние велико и времени много гибнет.

Вот и наша Сибирь огласилась бранными громами. Недавно сделано было нападение на главный Камчатский порт и отражено успешно[3]. Это далеко отсюда, очень далеко, с лишком 8 т[ысяч] верст, но мы привыкли считать всю Сибирь одним двором, одним семейством. Жаль, что в таких обстоятельствах лишаюсь я удовольствия скоро увидеться с восточным ген[ерал]-губернатором[4], ибо нельзя будет ему ехать в П[етер]бург, а я всегда проводил с ним и его женою несколько самых приятных часов. Княгиня Волконская * также не возвратится до весны, а Молчановы должны быть уже у вас.

Мы лишились превосходной нашей спутницы страданий, доброго всем нам друга и много уважаемой женщины. Екатерина Ивановна Трубецкая скончалась как добрая истинная христианка[5]. Марье Александровне она весьма и весьма известна. Радует меня весть, что эта страдалица нашла отраду: дай бог, чтоб положение ее сколько-нибудь устроилось.

Народ набрался и не дает писать более.

Прости меня милостиво.

[*Адрес:*] Евдокии Петровне *Елагиной.* В Москве. В Афонасьевском переулке в доме Слепцовой.

* В оригинале: «Волхонская».

153. Н. Д. СВЕРБЕЕВУ

[Томск,] 26 ноября [18]54 г.*

Я имел уже ваше письмо из Иркутска в то время, как доктор[1] и товарищ его штурман посетили меня и первый передал якутские строки. Дело небывалое со времен Врангеля и Матюшкина. Итак, вы, дорогой мой Николай Дмитриевич, не знаю, заключили ли, либо вновь начали прикосновенность мою к сибирским географическим деятелям.

В обоих случаях много вам благодарен сколько за возобновление стародавних воспоминаний, а более и более за доброе, дружеское, родственное ко мне чувство. Причислив вас к себе в качестве любезного внука, я очень рад, что вы так мило ответили моему желанию. Не возлагаю на вас ничего трудного, но прошу убедительно вспоминать меня, когда время и душа покажут, что это стало обоим нам нужным.

Ежели в Амурской экспедиции открывалась надежда откупорить Сибирь к Тихому океану, то вы, новые Пизарро[2], совершили великое дело и поставили Геркулесовы столбы в развитии этой обширной и благодатной страны, для которой самая война, несмотря на временные ее и, без сомнения, при всех успехах неотвратимые потрясения может принести обширную пользу, пристегнув ко всемирным интересам и вызвав как свое государственное, так и общее политическое внимание.

Горестное событие в семействе Сергея Петровича всегда мне присуще, как огромная собственная утрата. Не решаясь еще признать жизнь свою на исходе, я скорблю, что час от часу отторгается она от лучших своих оснований, и, конечно, ненадолго уже их остается, чтоб поколебать и обрушить и ее самое. Да и на что она тогда?

Оставаться сфинксом в пустыне, право, не лестно, хотя бы какие-нибудь бедуины и огребали наносимый ветром песок и странник по временам дарил бы любопытным взглядом.

Смерть Екатерины Ивановны наклонила и мою мысль к закату. Будьте утешителем оставшихся, молодое теплое чувство может быть великою отрадою.

Удавалось иногда дедам начинать от внуков новый ряд дней и глядеть за Стикс уже открытыми глазами.

---

* Помета о получении: «5 декаб[ря]».



С. П. ТРУБЕЦКОЙ
Художник Н. А. Бестужев. 1834—1835 гг.

Марья Александровна писала мне о приезде в Москву, но не сказала ничего определительного, кроме того, что мать покойного [3] в чувствах и мыслях прошедшего столетия поразила ее ропотом на сына, отравившего всю жизнь ее своим преступным делом. Теперь Катя Елагина пишет, что сестра и зять смотрят иначе. Приняли к себе страдалицу с родственным расположением, полюбили ее и успокоили. И осень осталась она жить в университете в доме ректора, и есть надежда, что [сойдется] с новым семейством [4]. Николая Ивановича уже нет в городе. Он уехал в томскую тайгу, определенный туда в горные исправники.

Остаюсь я с Ольгой Павловной хозяевами, и все, впрочем, идет по-былому. Перед отъездом по прежним вашим назначениям он запродал ваш возок отъезжавшей в Москву г[оспо]же Гарасс[5], кажется, за 60 руб. сер., и я, получив от вас другое распоряжение, не мог уже остановить сделки, о которой прежде и не знал. Если вам нужно, удобно и выгоднее, можно возвратить в Москве этот экипаж в дом ваш, разумеется, целым и невредимым. О деньгах мне еще неизвестно, кто их получил, но не замедлю справиться.

Приветствуйте от меня Якушкиных. Надобно бы еще отвечать г[оспо]же Гамбурцевой, но по складу моей переписки не приводится вдруг писать много.

Примите на себя труд посетить духовное училище, поблагодарить за меня Александру Ивановну[6] и попросить ее пообождать немного моего ответа.

Целую вас и поручаю небесной защите.

154. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Соломенный,] 3 декабря 1854 г.

Едва вчера поутру написал я к тебе письмо мое в П[етер]бург, сидя один-одинешенек в загородном доме, как приехала Ольга Павловна и привезла твое письмо. Не можешь представить моей радости при первом взгляде на твои милые строки, точно уже забыл все, что меня занимало, и если б не омрачило этого дня сведение, что ты опасно нездорова, его можно было бы назвать счастливым.

Не думай, чтоб я роптал на тебя самое за двумесячное молчание, мне досадна была только неуверенность, не пропадают ли письма, и тревожное какое-то недоверие к письмам Кати, Марьи Алекс[андровны] и Деева во всем, что до тебя касалось. Знаю по себе, как тяжело иногда приниматься писать, и прошу тебя не сильно принуждать себя к этому, пока само собою не порвется в душе влекущая вниз, к земле, тяжесть и чувство с новою силою не оживится. В наши лета вся дрянь всплывает со дна, так что уму и воле нелегко с нею управиться. После смешно кажется, почему это так было и почему эти пережитые, давно уже обветшалые и никогда не употребляемые рассудочные нити казались истиной и действительностью. Я недавно узнал этим путем, как бывают люди подозрительными, ревнивыми, хитрыми, мелко скупыми, сплетниками, зло-

вещими, узнал также, что прежде все это во сне только приходило, и ужаснулся, убедившись, что через сон душа сколько освобождается от сора забот, столько и путается в разнообразии рассудочной паутины. Вот почему удаляюсь я от всяких мрачных представлений; скорее грубо, нежели зло толкую факты и при радикальных лишениях предаюсь воле божией.

Настоящее положение Марьи Александровны и по моему мнению не может навсегда упрочиться. Нельзя ли ей надпомнить мой совет: здесь давно предположен девичий институт; при настоящей бытности в Петербурге, ежели она принята будет по-прежнему, попыталась бы она предложить себя в начальницы. С успехом этого дела сопряжены два добрые последствия: устроила бы она себя и подвинула самое дело. Здесь в институте крайняя потребность, есть и капитал, но переписка идет вяло и противоречиво[1]. Волею императрицы все это легко миновать, и благодеяние месту было бы велико.

Святое чувство Марьи Васильевны, конечно, не может печалить, но зачем думать, что бога в мире нет и ограничен он одною только церковью. Ум показывает, что есть к нему много путей и они должны все сходиться, потому что все ведут к нему. Христианство велико тем, что объемлет все создание, и познание отца небесного вывело из тесных рам исключительных иерусалимских уставов. Конечно, церковь всегда сохраняет свое центральное положение, воздерживает и направляет другие силы, но отнюдь не отчуждает жизнь и не препятствует ей иметь свободный ток и развитие. Несколько страшна даже односторонность в предмете первой важности. И, лишаясь всякой практической обстановки, она становится неудовлетворительною и погружает в тоску, которая не чужда скорби о напрасных, произвольных, но уже неисправимых лишениях. Я говорю все это, не зная самого дела, и крайне жалею, что нахожусь в такой дали.

Николая Ивановича жду к праз[д]нику в город. В семье нашей большая кутерьма, и выйти из нее до весны не надеюсь. Это сущий домашний кризис, а так как и в нем множество неопределенных ипотез, то и говорить подробно не приводится. Надеюсь на то, что глупого ничего не делали, то должны быть и исходы того же свойства.

Здоровье мое улучшается, и если я плохо молодею, то, по крайней мере, и старость не весьма настойчива, и

60 лет прошли, как будто простое астрономическое явление. Говоря о семейных делах, я немного неясен. Запутан в них своею же волею, и от меня зависит завтра же стать в сторону, потому что не удерживает никакое обязательство, никакой долг.

Поздравляю тебя с праздниками и Новым годом. Более всего желаю здоровья и крепости. Да даст их бог тебе, как единственную мне надежду в кресте моем. Прощай, моя милая сестра, до будущей беседы.

155. [И. И. ПУЩИНУ]

[Томск,] 16 декабря [1854 г.]*

Вот он и сам Петр Васильевич[1], которого мы с вами потеряли и считали погибшим. Он здесь на несколько часов, как и все вы, перелетные птицы...

Этапа вашего не минет: следовательно, надобен ему и письменный вид. Но мое бюро, на беду, в таком беспорядке, что и несколько строк написать нелегкое дело. Впрочем, и писать почти не о чем, а разбирать что-нибудь поинтереснее из самого себя вовсе не время. Довольно пока и того, что мы продолжаем свое — Слушай!

[*Адрес:*] Ивану Ивановичу Пущину в Ялуторовске.

156. Н. Д. СВЕРБЕЕВУ

[Томск,] 18 декабря [1854 г.]

Благодарю вас всею душою, мой неоцененный Николай Дмитриевич, за добрую вашу ко мне приязнь. Речь молодого друга часто бывает слышнее, нежели громогласная протестация застарелых чувств, хотя другому и не мешает, ежели не чуждо истины. Изменнику счастию я нередко пеняю, что, не потерпев меня на большой дороге, лишило возможности окружиться малолетними, тянуть их с собою и тянуться вместе с ними, образуя в официальной семье семейную группу, с соединенными силами в один нераздельный капитал. Оторванный теперь от общей жизни, я рад и проблескам и хватаюсь за них со всем напряжением сжатого чувства.

Вы опять, кажется, собираетесь плыть, обозревать и

---

* Помета И. И. Пущина: «Пол[учено] 22 декабря».

работать. Не думаю, чтоб вам это не было приятным, ежели здоровье позволяет. Вы большим ковшом черпаете запас привязанности к достойному славы предмету или, по крайней мере, живительных воспоминаний. У вас теперь цветет творчество, хотя оно почти повсюду увяло, и, как первое слово жизни, нигде семена так прочно не пристают к почве, как в пустынях, а время передает их и просветляет, храня над уровнем всего будущего водворения цивилизации, как бы высоко она ни поднималась, как бы ни огустели и как бы ни зашумели деятельностию и силою. Право, это завидная доля — быть первыми.

У нас все как было. Толя только растет приметно и, играя, выучил буквы.

Живу в двух домах: в городе и за городом и как ни люблю последний, отделанный теперь уютно и красиво, но поневоле более в первом, потому что сам хозяин по новой должности водворяется в тайге, хотя на праздники и сюда теперь возвратился. В городе тихо, и не спит одна промышленная его суета.

Пожимая вам руку крепко-накрепко, остаюсь все тот же и навсегда.

Марья Александровна писала мне из Москвы, она очень довольна приемом сестры Петра Александровича, поместилась в их университетской квартире, и они полюбили ее. Теперь уехала к отцу в Петербург. Авдотья Петровна нездорова, и меня очень тревожит это.

157. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Соломенный,] 28 декабря 1854 г.

Я ушел на праздники из города, чтоб на свободе побеседовать с тобою, моя бесценная сестра. Там визиты, именинные пиры и свадебные сходки в близких домах, здесь тишина и уединение, а день памяти отца дал мне возможность от всего этого уклониться.

Люблю я мой лесной угол: в нем как-то вера живее, молитва чище; ум деятельнее и сосредоточен; сердце более веще. Здесь мало-помалу утихают и мои тревоги о твоих недугах. Более, нежели надежда, уже уверенность начинает занимать их место. Кажется, должно быть так, что мы будем жить и когда-нибудь радостию свидания увенчаем нашу дружбу. Прежде я сильно почувствовал себя отсталым от тебя. Это молодость, перенесенная в гроб и остав-

ленная в нем, обманула меня, но, пересчитав лета, я не вижу между нами большой разницы, и потому, если я могу еще жить, можешь и ты, даже по преимуществу, ибо окружена несравненно удовлетворительнее и не лежит на твоем сердце той скорби, которая меня снедает.

Правда, и ваше положение не цветисто. Военные усилия затрудняют вас и истощают; мы менее это чувствуем, потому что удалены и средства наши совсем другой натуры, даже большею частию безотчетны и неуловимы для фиска [1].

Но домашний наш кризис, о котором я упоминал, все еще продолжается, только означился яснее. Направление мое было к тому главное, чтоб жить за городом. Внезапное отсутствие Ник[олая] Иван[овича] хотя временно, но увлекло меня в другую сторону. На руках моих остался большой городской дом, и я должен был четыре месяца держать его, не оставляя и загородной дачи. Семейное положение Ольги, которую я очень люблю, не позволяло взять ее сюда с собою, и отлучки мои стали быть краткими, одно только счастие, что было на кого положиться. Теперь хозяин возвратился и намерен прожить до поста. Но он располагается жениться, а это вводит опять новый элемент. Если Ольга успеет пристроиться, как есть коекакие виды, то я останусь покойно и уютно в своем Соломенном, и вся напасть минует. В противном случае опять приводится основаться в городском доме, а сюда искать постороннего жильца, которого по общей непривычке жить за городом и найти нелегко, а оставаясь по-нынешнему, я уже не сведу концы с концами. Здесь главную статью расходов составляет прислуга, это дорогая, безумная, разнообычная вольница, с которою и ладить большая задача. Все, однако же, думаю, что я глупо не жил, а потому и глупым следствиям выйти не от чего: всего вероятнее, устроюсь как должно и уже прочно.

Я люблю ход жизни сколько можно более драматичный. Чувство мое всегда участвует в событиях, а ум группирует их и организует. Так бы и желал непрестанно творить. Крайне боюсь пошлой обыденности и, ежели не на кого действовать, действую на себя. Эта среда ко мне всегда ближе и благодарнее: я положил себе задачею приготовиться к переходу в другой мир и стою на том, что мое «Я» должно все сбирать в себя, одеться сколько можно чище и богаче, а уничтожиться оно никак не может и

все, что ему принадлежит, неизбежно перенесет с собою. Но оно часто ошибается и принимает свою атмосферу за самое ядро. Эта атмосфера не одно тело, но и душевная обстановка даже внутри нас, из которой мы непрестанно черпаем в себя, но не солидарны с нею. Между «Я» и «Я» огромное расстояние, главная связь в слове. Симпатии сближают нас, как увеличительные стекла, а может быть, падает от них и самое расстояние. Тогда любовь и единомыслие.

Моя к тебе симпатия до того крепка и разумна, что я мучиться буду, ежели останется между нами расстояние, не вместе будем созерцать творца и не соединимся его вечным словом. Но не должно быть так.

Оставив тленные красы,
Там вечным светом насладимся,
Когда все в урне совместимся
Под общим чувством: мы и сый [2].

Зима у нас стоит умеренная по-здешнему, да и у вас, как показывают печатные сведения, тоже. Жилья мои теплы, и, когда случилось раз продрогнуть в гостях, я узнал всю цену согретых комнат. Мы были с Ольгой на сговоре Аннушки, жениной сестры Александра Ивановича [3], и прыгали от радости, возвратясь домой. Трусили только за свои иззябшие ноги, но все прошло благополучно.

К нам прибыла группа странствующих актеров и начала тешить город Букою, открывается и благородное собрание; мясоед короток и все будут спешить насладиться.

Новый год по обыкновению встречаем у городского головы, прежде он был все один 12 лет, а теперь новый другое трехлетие. К Асташеву приехали дочь и зять, и дом порядочно оживился. В продолжение печального года я чаще всех посещал его и любил быть с уединенным умным человеком, помогая рассеивать грусть. Он поедет в П[етер]бург весною к выпуску сына, и Леман [4] туда возвратится, а жена здесь останется. С такими дамами, как она, можно иметь приятные часы, и я охотно провожу их в кругу женщин, может быть, и потому, что вовсе не видел их во всю молодость, целые двадцать лет; они вообще чувствуют оставшуюся во мне пустоту и наивно ласкают ласкового дедушку, играя самыми его сединами. При встрече обыкновенно приветствуют поцелуем, так что в церкви в день пасхи позавидовал сам строгий наш ревизор генерал

Анненков[5], увидев, что мои права более обширны и желательны.

Присланный от Кати рисунок и теперь у меня перед глазами. Пусть Алеша немного подрастет: тогда черты его яснее означатся и вид будет вполне интересным. Недостает еще портрета Машеньки, а я бы желал взглянуть на него, хотя бы в карандашном же очерке. И Кати также нет у меня, а я и не видел ее. Твой облик красуется на туалете у Ольги. Как она, так и все незнакомые, кто только увидит, любуются им: кажется, добрее лица не произвела природа. И солнце-то к тебе было услужливо, а оно редко выражает душу. Лучше бы всего иметь семейного рисовальщика, чтоб передать сколько можно больше мелочей и обсчитать расстояние и пошутить над разлукой, не обременяя экономии. Странно, что Петр Васильевич не развил своего дарования, а он его имел. У меня никого такого нет под рукою, в городе есть только пейзажист из учителей гимназии, а госпожа Гарасс, мастерица этого дела, теперь у вас, и что-то с нею происходит?

Об Елене, Марье Александровне все те же вопросы. О старике Дееве больше слышу. У вас теперь порядочная группа моих, но, вероятно, ты их редко видишь. Матушка Москва обширна, а ты и всегда была тяжела на выезды. Я хорошо помню, как приметна была тебе моя подвижность, особливо в противоположность вашей домашней лени, а я почти не переменился.

Зато добрались и до конца. Остается проститься и пожелать всем вам в Новый год новых благ, сколько они возможны под тучами. Год этот должен быть тяжким, но может быть и последним в этом направлении, столь неожиданном, по крайней мере для большинства, и исполненном всякого рода страданий, которые, без сомнения, принесут свой плод. Но перенести их еще надобно.

Вся душа моя с тобою и о тебе молится.

158. И. И. ПУЩИНУ

[Томск,] 15 января [1855 г.]*

Александр Михайлович Леман, проезжая тысячу раз мимо вашей колонии и порядочно знакомый с вашим братом, вывел, наконец, меня из терпения и заставил пись-

* Помета И. И. Пущина: «Пол[учено] 10 февр[аля]».

менно запутать его в обязанность явиться к вам. Рекомендовать его или описывать степень нашей приязни почитаю излишним, ибо это прямо следует из его значения в собственном его семействе.

Разбирая по картам и пояснительному к ним разуму положение вашей колонии, убеждаюсь я, что казаки-завоеватели искуснее вас избирали места для острогов. Если б вместо близости к Тюмени вы поместились бы, например, в Тюкале, тогда внезапно вырос бы там новый мамврийский дуб и даже ангел-истребитель не прошел бы мимо, отыскивая десяти праведников [1].

Кажется, после отъезда Зиновьева от меня к вам не было речи, да, правду сказать, и сообщить было нечего. Безвестная моя жизнь, конечно, не лишена своего драматизма, и ход ее представлять может даже некоторые интересы. Завязка наша достаточно крепка для этого, хотя по кроткому моему нраву и не ведет к эф[ф]ектам. Темен для вас такой очерк по своей крайней неопределительности, но, может быть, собственная ваша жизнь несколько изъясняет его и оправдывает мои слова, что писать вовсе не о чем.

Зима у нас самая теплая, и мы, не будучи ни англичанами, ни французами, почти ее не чувствуем. Вчера уехал отсюда на восток Яков Дмитриевич; мы довольно беседовали с ним о вас, и вы можете быть уверены, что такой случай составляет сущий для меня праздник. Воображаю, сколько приезд его доставит удовольствия Сергею Григорьевичу, к которому лежат главные его симпатии. Но это, конечно, не поможет бедной Нелиньке, которой, впрочем, высота характера обрисовывается в настоящих обстоятельствах еще яснее и как бы развивает драматизм нашего быта. Само небо недавно мстило за нее и странным случаем искалечило их антагониста [2]. Вероятно, вы уже слышали об этом: ноги за ноги, как бы по закону Моисееву.

Больше писать не могу, потому что вся голова наполнена сегодняшней свадьбой своячины Александра Лучшева девицы Дьяковой с купцом Ненашевым. Обоим вместе считается 40 лет, то есть в полтора раза меньше, нежели одному мне. Притом же в воскресный день всегда народ у нас, и надобно было бы бежать на Соломенный, чтоб иметь досуг и собраться с памятью и мыслями.

Сего ради прости, колония.

159. Н. Д. СВЕРБЕЕВУ

[Томск,] 28 января 1855 г.

Писать я к вам начал, а едва ли выйдет из этого что-нибудь нужное. Время коротко, голова тяжела, и на уме только то, что перед глазами.

Начну с дельного. Кажется, я крепко обманул вас известием о возке[1]. Вот вам прагматическое пояснение.

Не прежде получения одного из ваших писем узнал я, что вы оставили здесь эту штуку и на свои розыски получили ответ, что Аполлон Филимонов[2] продал его за 60 руб. г[оспо]же Гарасс, отправляющейся в Москву. Я хотел было остановить эту сделку по вашему требованию, но уже не мог, потому что основано уже было на этом распоряжение к отъезду. Лучшева здесь не было, и переговоры мои шли через третьи уста. Теперь нет здесь и Филимонова, а говорят мне только, что деньги должны быть у него, но из оной цены сделана издержка на поправку. К 1-му февраля Николай Иванович будет здесь, и я заставлю его отписаться к вам обстоятельнее. Если вам нужны какие-нибудь сведения о действующих лицах этой драмы, можете вполне получить их от Масаловой[3]. Пускаться теперь в дальнейшую диалектику страшно. Не отыщу ни конца, ни начала.

Позвольте просто обнять вас до будущей беседы.

Письмецо Сергею Петровичу пошлите поскорее: оно о проезжих[4].

160. И. И. ПУЩИНУ

[Томск,] 7 февраля 1855 г.*

Справедливо, моя возлюбленная старица, мы хотя по временам и перекликаемся, знаменуя свои сторожевые посты и неусыпное бодрствование, все же переписка наша становится вялою и редеет. Ежели это действием ленивой старости, то да будет воля господня, а ежели от охлаждения чувства, то да поможет нам небо одолеть такое несносное влияние времени!

Правду сказать, последняя ваша грамотка была не совсем лаконическая, а если несколько моих страдали спартанскою болезнию[1], то это произошло от неотвратимых

---

* Помета И. И. Пущина: «Пол[учено] 15 февр[аля]».

обстоятельств: они писаны врасплох и в такой поспешности, что мне не приводилось ни тять — ни потять. А понеже число их вышло довольно почтенное, то и обманывал я себя, говоря в нос: «Вить писал я непрестанно».

Числа в наш век играют главную роль: и благородных отцов, и злодеев, и нежных любовников — посему нимало не удивительно, что в расчете моем с вами заменили они и пространство и содержание, хотя можно наверное сказать, что мы друг перед другом не играем никакой роли, а стоим просто-напросто, как бог создал.

От Ребиндеров[2] вы уже знаете, что мы виделись, ознакомились и сблизились. В Сашеньке я нашел тот же мне известный тип княжеской простонародности, Сережу признал сущим китайчонком, а девица дочь — душка! По слухам о самом принципале я не воображал никакого малолетства и был приятно разочарован! Вот вам отчет о впечатлении, какое только могло быть в продолжение двух-трех часов. Оно беглое и легкое, но оказалось достаточным при других данных.

В масленицу я кутил напропалую: был в благородном спектакле в пользу страждущих томского егерского полка и даже раз в благородном собрании... Описывать вам что-нибудь как-то не имею охоты, хоть бы достало содержания на огромную диссертацию. Впрочем, конечно, вам любопытно, в чем одеты А., Б., В. и прочие, с кем они танцевали, и как я с ними любезничал?

Когда уже дело коснулось до любезностей, позвольте мне выговорить вам мою претензию. По какому праву не известили вы меня ни словом о таком милом, образованном и дружелюбном семействе, как Викентия Поклевского? А? Они всю ялуторовскую колонию, а особливо Басаргиных[3], знают как пять своих пальцев и, явясь сюда без всякого письменного вида, отняли у меня несколько месяцев самого приятного знакомства.

Прошу вперед так не поступать и, в очищение столь тяжкого прегрешения, кому-нибудь из вас отправиться в Успенский завод и оказать в установленной для побежденных рыцарей форме Даме мо[е]й Ангелике обычное предпочтение пред всеми дамами обеих Сибирей[4].

Камер-юнкер[5] в быстром своем стремлении по закону тяготения к главной центральной массе, конечно, не мог коснуться ни меня, ни вас, чтоб, во-первых, не заразить свою атмосферу нашим запахом, а во-вторых, не разру-

шить нас в прах, как субстанцию рыхлую и жидкую, но спасибо ему и за то, что выбросил на полете, где прилучились, аеролид Свербеича, который и упал от вашего удара по своему назначению в простертые вверх и ловчие мои руки. Этот юноша, как кровный лицеист[6], в самом деле полюбил меня и часто беседует. Да сохранит его господь от глубокого ведения прав, которые, по мнению г[осподина] Прудона, суть не что иное, как монополия и сущее похищение[7]. Я обязан даже так молиться, потому что взято с меня обещание не произносить этого несчастного слова ни с какой кафедры, даже и в ящике нашего отца архимандрита[8].

Зима у нас курам на смех теплая, почему и не перестают они класть яйца во все ее продолжение. В городе дорога сера и песчана, масленские горы едва-едва, пополам с грехом, дотянули свой срок; а на Соломенный не знаю, как и попасть сейчас от разлива Ушайки.

Молодею я напропалую, страстно, энергически и не смею полагать никакого предела таким вожделенным успехам. С весною хочу опять приняться за земляное дело, а пресловутую баню сегодня уже затопили. Я придумал поместить под нее коровник, и оттого жара страшная, жаль только, что печи в других залах, но, однако, в том же строении, и мыться можно на приволье с большою удобностию при зеркалах и в цветниках.

Вот мое настоящее положение.

Больших новостей у нас никаких нет, кроме ожидания бегущих на почтовых в Камчатку 210 пудовых пушек из Тобольска, для препровождения которых завтра отправляется мой хозяин до Красноярска[9] и оставляет меня внезапно со всею домашнею путаницею, для устройства которой приезжал было сюда, видя, что она ничем не лучше, как и во всех прочих восточных вопросах.

Из сего следует эпизодически, что и все худые и лучшие люди вам кланяются, а из числа последних маленький Толя, неизвестный вам, усерднее всех. Большой же Толь торчит кое-как, собираясь съездить в Иркутск для препровождения времени[10].

Простите и благословите: я говею.

О маркизе ни слуху ни духу. Пропал как в камский мох.

161. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Томск,] 11 февраля 1855 г.

Невозможно мне, моя бесподобная сестра, негодованием негодовать на тебя за твое довольно долгое молчание. Не таковы мои к тебе чувства, не такие и должен я иметь их. Сердце мое тревожилось и скорбело, но это была чистая любовь и нетерпеливое желание беспрестанно знать о тебе и пожирать душою твои дружеские речи. Часто бываем мы так настроены или точнее — расстроены, не на короткое время, что именно лучшие-то чувства и не смеем высказывать, даже не можем, опасаясь смешать их не только с огорчениями нашими, но даже и с удовольствиями, все равно, когда они имеют другую цену и значение, особливо чрез расстояние, почти неизмеримое. Дни и недели быстро летят в обыкновенных суетах, но когда рано или поздно отсутствующие постучатся в наше сердце, оно вдруг изменит продолжение и воспрянувшая энергия выскажет все, что только было задержано. Правда, мое отсутствие имеет особенный характер, и по свойству жизни тоска ближе упадает на мою долю и по справедливости должна уже накопиться, чтоб вызвать сочувствие. Для меня она всегдашнее состояние, хроническая тридцатилетняя болезнь, потушившая множество сил, и этого тягостного чувства вы не должны знать, не следует вам ни рассудком, ни воображением вступать в его мраки. Теперь моя очередь, и более законная, просить у тебя прощения за то беспокойство, которое причинил тебе моею жалобой. Тягостно изгнание, но оно тяжелее еще от раскаяния, когда своим печальным голосом затронет тех, кому желаешь всегдашней радости и неизменного благополучия.

Что-то лишнее высказалось и теперь против моего обычая, но я сам не знаю, почему не хочется отрекаться от своих слов, потому, верно, что заменить их искренность каким бы то ни было способом значило бы усомниться, что сам я с тобой самой беседовал.

Может быть, немного и опоздаю, но посылаю тебе мой родственный привет со всеми добрыми желаниями на предстоящий, по здешней хронологии, семейный праздник твоего имени, и здесь для меня он будет частию семейным, а более церковным, молитвенным и благодарственным. Я люблю этот день. Первое марта и в гражданском счислении ставится в начале лучшего времени года и почему-то

избран был космологическою годовщиною или, по мнению иных, в воспоминание создания первого человека. Впрочем, зима у нас теперь такая, что вовсе не ждем к весне крутого поворота. Не знаем, куда и девались наши родные морозы, уж не отправились ли они в Крым, по призыву всех стихий, куда

Урал пойдет стеной навстречу,
Совьется в крепости Валдай;
Вольются Днепр и Волга в сечу;
Огнями заблестит [Алтай] —
И пушек писк, едва приметный,
В громах его поглотят Этны...

Дружно гордо русское чувство. Долг запада навевать на нас теплоту, а в ледяных, твердых и бурных силах мы неистощимы [1].

Кто не желает мира, но мы знаем и то, что мир — высота, утвержденная в боге. Мы давно стоим на ней и опоясуемся только бранными тучами, чело остается постоянно ясным и когда захочешь, можешь слить отброшенные тени в услугу внутренней нашей красоте. Все пребывающие народы на большей или меньшей высоте имеют мир в себе, и, если он чрез дела и отношения будет высказан их оракулами, явится выход из страданий к чему-то вечно непоколебимому. В математике легко искать по данным неизвестное. В истории народов и чрез столько веков, после страшных усилий и пожертвований, простой метод еще не применим, и держится одна нить преданий и взвешивания интересов по их тяжести. Самая глубокая добросовестность ищет только уменьшить давление, не зная, как его совершенно уравновесить. В частном быту мы мыслим лично для себя и много, если для небольшой группы, большею частию по аналогии, и должны веровать, что люди, призванные к созерцанию, вдохновляются свыше святым божиим духом. Чрез эту веру история сохраняет единство и движется с успехом вслед за провидением. В нашем необъятном отдалении всякое страстное увлечение — анахронизм, и мужественное напряжение сил на общую пользу представляет нечто величавое и чудно сходно с умной и опытной старостью.

В настоящее время не хочется и говорить о себе самом. Все кажется мелким и неуместным. Довольно, если ты узнаешь, что жив еще твой друг и брат Гавриил Батеньков.

162. А. П. ЕЛАГИНОЙ

Томск, [Соломенный,] 1 марта 1855 г.

Томск. На даче.

Вот настоит этот святой день, твое собственное именное торжество, тридцать пятая годовщина нашего первого свидания, а день решительной разлуки, как и все злое, я и помнить не хочу. Поутру молился я в церкви о тебе и за себя; отобедал дома сам пят и мимо прочих имениниц отправился в свое уединение с намерением быть с тобою и беседовать.

Мне понравился отчет о вашем университетском юбилее[1]. Исходная точка и направление вполне соответствуют потребности, и желательно было бы, если б публика поддержала высказанные мысли. Может быть, на деле вышла простая церемония, но все же можно предполагать, что ее скоро забыть нельзя, а чтение объяснит значение, и что-нибудь останется в думах. Прежнее весьма важно во всяком установлении. Жизнь наша коротка, и никогда одно поколение не сомкнет цикль, им же самим начатый, и не выработает формы, для которой ничего не приготовлено. И в частном быту, оставив предания, все разорились, и трудно указать на фамилию, которая бы в будущем могла быть исторической, а это гибельно и для самого основания нашего образа правления. Можно даже спросить, есть ли теперь недвижимые имения? Прямо ведет это к насильственному изменению городского и сельского быта, а это должно бы быть следствием и успехом веры и нравов.

Бродячая жизнь стала почти обычаем; дружеские и семейные связи — редкостью; одни деньги признаются силою. Нельзя перестать говорить об них с надлежащей точки зрения. Эта реализация числа должна быть понята надлежащим образом и войти в разумные, естественные ее пределы. Не может быть, чтоб жизнь выражалась числом или вся была на нем основана. Число ей нужно и полезно, но для употребления, а не для того, чтоб захватывать его сколько можно более, без формуляции; безусловно покоряться ему, как самостоятельной и самодейственной силе, взамен старинных судьбы и провидения. Странно, что при таком разливе и тонкости ума он почти ни к чему не служит. Конечно, всегда можно находить успокоение в мысли, что бог в час свой приведет в стройность всякий хаос и все продукты его брожения; но для чего же оста-

ваться в состоянии жертв, когда их не требуется? Не лучше ли употребить все дарованные силы к сохранению себя, личному почти уже невозможно, ибо лицо уничтожилось в обществе, по крайней мере, тех начал, которые движущую пружину обращают к центру, а не развивают в прямизну улиткообразную ее фигуру, чтоб сделать после ни к чему не годною.

Я не вполне еще устроил мой маленький быт, потому что он все куда-то вдаль стремится, и всякий новый элемент толкает от средоточия и мешает понять случай и положение. Вообще мысли движутся смешанными, затверженными, но непонятными словами и фразами, их и принимают за предание мудрости и опыта; лишась чувства, не верят чувству и с изнанки смотрят на всякое дело. Целый мир становится желанием каждого, но мир не объемлется оком и слухом, и довольно уже готово, чтоб познавать его, не называя своим и не кидаясь во все стороны. Лучше всего искать в нем единственного Владельца, тогда может быть все разумно и много разумеемо. Недавно одна дама в разговоре о страшном суде наивно сказала: «Я, право, не знаю никакой заповеди, кроме врожденного мне человеколюбия, и ничего не умею сделать в ожидании награды или из страха наказания». Или когда стали говорить, что преимущественно надобно помогать многим, а не исключительно. «Да,— отвечала она,— когда есть сила, это приятно, потому что представляется огромное *со мною и не я;* но и немногие также не я». Трудно высказать, как это произошло, но слова эти залегли в моем сердце, и сказаны они были с явною досадою на умствование, неохотно, искренно, без кичения.

Малолетний Кузьмы[2] также отрадное явление; ему я всегда верил и буду верить. Он остался неподвижным среди бушевания всяких ветров и где никто ничего не может, лучше всего сохранить самого себя. У меня есть дагерротипы его ребятишек, а своего и жены не прислал. Не понимаю, зачем сыновья пустились на Кавказ, вероятно, уже не в солдаты. Там есть и другое поле.

Наша зима вела себя очень похвально. До конца февраля была теплою, теперь начались морозы в 30°, но они уже не страшны, солнце сильно действует, и хотя против обыкновения первого марта не таяло, однако воздух нагрелся в полдень и похоже на то, будто бы на весь уезд сделан огромный очаг. Здесь проживу дня три, а потом

Ольга приедет за мною и увезет в город. Николай все еще на приисках и побывает здесь только дней на пять.

Это письмо получишь ты к самому празднику. Цалую вас всех христианским лобзанием. Мои именины будут в великую субботу, и потому никого у меня не будет. Архиерей начал, а я оканчиваю пост. Его день был в понедельник, на первой неделе, однако мы за день, в воскресенье, у него обедали, а мне уже подобного сделать нельзя. В первый раз случилось так во всю здесь бытность.

Прости, мой милый друг. Веселись на празднике и будь здорова.

Посланные от тебя чулки наконец дошли — 22 пары. Благодарю тебя, но о хозяйстве моем больше не беспокойся. Оно в последний год стало мне знакомее, нежели во все предыдущие. Я узнал, как много значит в этом случае, ежели есть в доме женщина, а мне никогда не приходилось этого испытать. Теперь умнее и один жить могу.

Ежели близки к тебе профессоры, поздравь их от меня[3]. Мне очень пришлись по душе произнесенные и приготовленные речи. Грустно только, что говорят о недостатке времени: так и кажется, что в официальности тонула наука и никто ничего не слушал. Лучшая задача университета переселить мысль в бога; а Колумб — уже был *.

Большое спасибо за сведения о Дееве, Елене и Марье Александровне.

Катю, Машеньку обымаю и всех малолетних от Алексея до Иоанна.

Отправляю 4 марта. Так матушка почта. Это из города.

163. Н. А. БЕСТУЖЕВУ[1]

Томск, 17 марта 1855 г.**

Ты отгадал, что я удивился, получив от тебя письмо из Иркутска. Я составил было о тебе понятие, как о неподвижной звезде первой величины; но вот пособил же лукавый открыть твой параллакс[2] и привести тебя в движение. В самом деле, мой милый Николай Александрович,

---

* Мы только кланяемся ему, а совсем его не знаем. Не признаем в науке бога ни творцом, ни вседержителем. Право, много уже данных знать бога. Наука чрез это оживет, а воспитание еще более приобретет. Докуда нам жить сиротами? Есть у нас отец и мачеха природа также. (Примеч. Г. С. Батенькова.)

** Помета (карандашом): «Батеньков».

верно, уже пришла пора возить нас напоказ, и ничего нет мудреного, если опять тебя вытребуют в Адмиралтейский музей, я и сам туда, правду говорю, прямо просился из Алексеевского, и сюда прислали только для освидетельствования и приложения этикета *, ибо в самом деле под № 5-м и узнать нельзя бы было, что за вещь попала в число этнографических редкостей [3].

С некоторого времени я чаще о тебе слышу и из всех выходцев подосадовал только на Зиновьева [4], который ни с того ни с сего почел себя не довольно интересным, чтоб иметь право возмутить твой покой, и проехал из Кяхты мимо. Сказал, однако, что ты жив, ибо молва об этом преследует его доныне.

И мне о себе сказать нечего. Домашний быт не стоит описания; лица подряд тебе неизвестны; кажется, знает тебя только зять Спафарьева по первой жене, маркиз де Траверсе, да и тот явился сюда чрез четыре года на одни сутки [5].

Сам я здесь типически один. Дня два-три в неделю живу совершенным аскетом на даче версты за четыре, остальные дни в городе семьянином и всегда с людьми, между которыми приметно составляю какую-то притчу во языцех. Дряхлеть еще не начинал и потому увиваюсь около женщин, а я в самом деле их люблю, даже единично кое-кого. Но honni soit qui mal y pense**. Все это в качестве деда [6]. Несмотря на симпатии, я, однако же, парадокс Эмиля Жирардена [7] о равенстве детей перед матерьми и о преобразовании чрез то всего общества на женский лад едва имел терпение читать и лучше согласился бы и страдать за «Телемахидой» [8]. Странный народ эти коммунисты: в них есть инстинкт потребности выйти из политических громад, но главное стремление — разрушить социальную форму. Если они усилятся, конечно, выйдет борьба; но все же право и силы создания окажутся не на их стороне. Неоспоримо, что вышеозначенная форма исполнила свою меру, обветшала и клонится к падению, хорошо также, что они нам на это указали, хотя и сами мы достигли знания от времени, но все же необходимо терпение, чтоб дать место метаморфозе естественно совершиться. Много пущено в ход аргументов, но большею частию обращены

* Следует читать: «этикетки».
** Позор тому, кто видит в этом дурное (франц.).

они на гниль, а не на осредоточение* силы в индивидуумах и их группировке.

Вот тебе и письмо, читай по субботам. Я нарочно взял маленький размер, чтоб не заболтаться. К тому же не надеюсь, чтоб оно застало тебя в Иркутске. Ты ленишься писать, а я вовсе отвык и совсем не умею, то есть и процессом-то править. Кончив, чувствую, что отвалился камень, и прочитать свое редко решаюсь. Видишь, что и меня много уважать не за что.

Верно, борзые литераторы вовсе на нас непохожи или мы на них. Правду сказать, все будет высказано и без нас; нам остается почить с миром; однако, пока чувствуем, можем и не молчать. Прости!

Як[ов] Дм[итриевич] пробыл здесь неделю и еще 13-го уехал[9]. Сестрам и брату[10] от меня кланяйся.

164. Е. И. ЯКУШКИНУ

[Томск,] 25 марта 1855 г.**

Благодарю тебя душевно, милое дитя мое, за последнее обстоятельное, èventuellement*** утешительное письмо.

Рад я отвечать и, может быть, затрагивать твою лень, которая, впрочем, и быстрому, строгому царедворцу[1] дала такой толчок, что он не осмелился проскакать мимо и в раннее утро, подобно прежнему проезду с письмом Свербеича, полученным мною уже из Ялуторовска, где теперь также он закружил голову до того, что не видел Ивана Великого[2].

Основательно мыслить, что по настоящему нашему положению все силы, все симпатии должно соединить и направить к поддержанию умного абсолютизма. Историческое наше сложение (и географическое) сделали это необходимым, тем более, что всякую другую форму составить уже поздно, а окончательную, по выражению Ламартина[3], рано; и всегда будет рано, пока стоит такая необъятная громада, составленная завоеванием и славою. Но много сверх того есть вопросов, не менее существенных и нагло настойчивых. Главный из них тот, возможен ли просвещенный деспотизм и абсолютная централизация?

---

* Так в оригинале.

** Помета Е. И. Якушкина (карандашом): «Г. С. Батеньков».

*** Возможно (франц.).

Рассвет все более и более раскрывает наслойку здания и связь его частей и ужасает крайнею несоразмерностью индивидуальных сил с долгом многих из них сиять на всю земную поверхность и даже с ограничением на приметную с Луны часть ее; с долгом давать, развивать и поддерживать жизнь многих тысяч и нескольких миллионов населения.

Положим, что все мы веруем и в успокоение ума, велим ему почитать всю систему сводом, тяготеющим к общему центру; но кто же этот центр, чтоб в то же время и действовать на всех? Конечно, уже бог, ежели притом ему благоугодно приводить в действительное и бысть тако. Но бог не отступит от природы, а мы заменяем ее невообразимым символом; согласится ли она на это? Знаю, что я и моя речь исчезают мгновенно пред действительностию, но тогда согласиться должно, что этой действительности нет умного выражения и она стоит на суде перед законом, вовсе нам неизвестным и, следственно, безусловно роковым. Тогда все надежды спрячутся под фаталистический оптимизм, и только группы <...>* могут искать себе лучшего в смешанной массе добра и зла по началам разума, сердца и воли, обращая всякий исторический, местный и обрядный лоскут в исключительную свою пользу. Из всех этих групп самая главная и богатейшая есть так называемая правительственная; она стоит так высоко именем и духом, что может требовать себе веры. Но кем же должна и вооружиться она словом, понятиями, консепциями, началами?

Согласимся, что стало легче, менее страшно, и в глубокой благонамеренности скажем народу, что и колокол упал во значение, что свалилось с плеч все, чему упасть надлежало, и чрез то облегчилось будущее. Однако необходимо было бы улучшить начала, не почитать Россию огромным поместьем и всех нас имуществом, не стремиться обратить его в военную силу и не полагать главным цементом уголовный кодекс, тюрьмы и арестантские роты. Но это пути сообщения тирании. Она влюбилась уже в них, как все большинство в железные рельсы. По ним легко двигаться на простых парах и надобно только разветвлять и размножать, чтоб превысить и доверенность и дело. Столпотворение. Но объемлется ли так вся природа человека; где

* Одно слово неразборчиво.

же поместятся его нравственные способности, где свобода, необходимая для силы и действия их?

К удивлению, и то ясно стало, что Англия выразила свободу только на срок и так неполно, что в самой себе содержит неотвратимое разрушение. Чрез нее можно усомниться и в Америке; Китай, Япония также перестали быть образцами! И так все формы далеко просрочили: они рушатся невозвратно, а нового творения нигде нет. Религии покоятся неподвижно в преданиях, и чего мы от них дождемся? Всем нам потребно новое чувство к богу, но и того мало — потребно творческое его действие, которое бы, сомкнув цикль исторический, начало известный, новый его оборот, а человек нуждается уже и в определении точек на этом цикле; долготы и широты эпох, склонения и прямого восхождения неподвижных звезд неба. Я встретил главное событие ... недоумением и доселе из него не вышел. Надежды трогают сердце; но их характер семейный, любовь и дружба; охотно предаюсь им и готовлюсь питать эти чувства более и более.

Не жди от меня никаких записок [4], для того, что предполагал, не нашел и не собрал данных. Притом я плохой и отсталый литератор.

Самая диалектика моя слишком оригинальна, чтоб годилась в печать, а вдохновение мое про себя.

С компаньоном моим по отцовскому званию по временам перекликаюсь [5]. Но он что-то опять одряхлел. Скорее бы его выручить, чтобы не говорить в пользу здешнего климата, но он ощутительно суров — дикостью. Попробуйте, например, одно лето оставить устроенную дачу, и вы возвратитесь уже в тайгу, следственно, здесь жизнь помогает природе, а не природа жизни. Мы сами, своим существом и должны подымать на себе все ее украшения и целебность.

Большое добро сделал ты Эммануилу Густавовичу [6]. Хотя цитованные тобою письма и книги еще не получены и по распутице не скоро уже получатся, хотя не знаю я истинного состояния его чувств по этому предмету, но тебе лично он восторженно благодарен, и поелику нужды его до крайности велики, то и полагаю, что он попечением твоим на настоящее время будет из них выведен. Вероятно, не поедет и в Иркутск, куда его гнали те же нужды.

Прошу тебя посещать мою Авдотью Петровну сколько можно чаще. От нее больше можешь знать и обо мне, а по

временам и сам что-нибудь мое сообщишь ей. Никол[ай] Ив[анович] теперь живет в Тайге, а я один в доме с Ольгой Павловной, Костей и Толей, которые низко кланяются и желают от души, чтоб ты их помнил.

Прощай.

Деев этот живет, кажется, на Тверской против генерал-губернатора в доме Дубецкого № 11.

165. И. И. ПУЩИНУ

Соломенный, 4 апреля [1]855 г.*

Ежели бы потребно было извиняться мне перед вами в бесчисленных моих неисправностях, то едва ли не довелось бы сочинять, к чему я нимало не способен. Жаль, однако, что не издано доселе словаря извинений, он мог бы мне послужить теперь от аза до ижицы. Хотя еще лучше желал бы я обладать такой диалектикой, которая бы перевернула вину на вас самих и открыла бы нужду в другом словаре: пеней и упреков. Однако можно кончить дело без дальней хитрости и просто написать вам, что, по чистой совести, и писать было и есть вовсе не о чем. Впрочем, этой формулой еще не разрешается вся задача; остается неизвестным, для чего же теперь берусь за перо и о чем писать буду?

Пока наберусь ума-разума, легче всего, по примеру прочих периодических изданий, сделать, пожалуй, в виде крестика длинную выписку из чужих произведений, ссылаясь на какой-то прежний, вероятно забытый самими вами вопрос или на выраженное мимоходом недоумение. Итак, вот что пишут из Москвы: «Маша Дорохова у отца в Петербурге, где с нею по крайней мере ласковы. Здесь не умели ее понять и приютить эти бездушные, корыстные барыни. Ничто так не тяжело, как видеть эту безграничность любви оттолкнутою пустотою светского эгоизма. Не знаю, дадут ли ей место, но она еще о том не хлопочет, еще устала и требует отдыха». «Елена мила, принята здесь отлично; родных у нее много, она выезжает и веселится. Мужу лучше, он начал ходить. Но столько, сколько люблю Елену, столько ... ее муж»[1].

Как бы вы ни спесивились, а все должны принять такое вступление в беседу за великое мастерство. Видите, *во-*

---

* Помета И. И. Пущина: «Пол[учено] 21 апр[еля].

первых, тут ни слова не говорю я о себе, выпустил, *во-вторых,* неприятный эпитет в отношении к другому. Следственно, поступил нравственно и, не ломая головы, наполнил полторы страницы, может быть, и не без интереса для вас. Ответственности не несу никакой, и в моей воле тотчас же остаться с совершенным почтением и преданностию, готовым к таковым же услугам и на будущее время.

Недавно было первое апреля, и я хотел было пустить к вам за Балаклаву взятие Пекина и Эдды, а день был почтовый, однако в старости лет поленился и посовестился[2]. Впрочем, в татарах у нас недостатка нет, а особливо в татарках, которые ворожат и нам возвращение.

Было бы прилично при этом случае фантазировать без всякой оглядки. Но допотопные люди, богатые опытом, всегда шли медленным шагом, и если теперь кое-что непременно будет прозрачнее, однако надобны еще люди, чтоб разглядеть без очков путеводные звезды, а железная дорога давно уже готова ... разведи только пары новым топливом, и не нужно будет ни звезд, ни компаса, да и день был нужен только для постройки. Доброта сердца — прекрасное качество, но надобно, чтоб оно было силою и полным светом. Легко и нам теперь свести в одну точку свои симпатии и свои молитвы, но надобно облегчиться от всех страданий и тесноты, чтоб хоть немного приподняться; а это противоречит всем принятым формам, всему действующему слову. Петр и Екатерина, юный Александр — добрые авторитеты, но надобно еще совместиться с ними, выразуметь их дух и принять дозу прогресса, до которого они не дожили[3]. Трудно ходить в пустыне огненным столбом, особливо если Израиль только и хочет корысти и мяса. Тяжело, Михеевна[4], настоящее время, и нужны чудеса, чтоб оно направилось.

Кончим лучше нашу речь, потому что и рука устала, и свеча уже догорела.

166. И. Д. ЯКУШКИНУ

Соломенный, 5 апреля 1855 г.

Хотя мы, то есть я *во-первых* и *во-вторых,* а вы хотя просто *во-вторых,* мой почтеннейший Иван Дмитриевич, не очень исправные корреспонденты, однако не должны доводить этого, похвального, впрочем, свойства, до черты решительного сомнения в приязни на основании этой, ве-

роятно, схоластической регулы, примите настоящее послание без досады за то, что нарушил свое и нарушаю ваше спокойствие; хотя наперед уверяю, что и в любезный ваш микроскоп вы не усмотрите в нем ни одной интересной точки [1].

Господи боже мой, как Евгений уверен, что мы оба отца так вместе по просухе и явимся ему! Чуть ли не заказал уже плести нам новые покойные туфли и не налил масла в сторожевой ночник. Они там ближе, а едва ли не хуже нас знают, как тяжелы мы на подъем ...

Правда, теперь в самом деле стало прозрачнее, но все же в шуме огромной машины мало что нежного можно услышать и не перестает опасность стукнуться лбом о невидимое от быстроты движения колесо. Надобно сильное отречение от прошедшего, чтоб нас в добро вспомнить, и дай-то это бог, а просто отпустить по прежним формам и при небольшом старании, пожалуй, не мудрено. Конечно, и это весьма желательно и расшевеливает фантазию до того, что порою сам Соломенный кажется временным жилищем.

Чай привез мне Яков Дмитриевич, но я его уже и раздарил, оставил, однако, частицу у себя.

Костей хочу заняться сам, имея заднюю затаенную мысль, что и увезу его с собою [2]. Он так даровит и добронравен, что стоит тщательной заботы. Итак, оба дела, возникшие между нами, можно почитать решенными.

Вы льстили мне свиданием с Вячеславом, но я плохо поверил этому, и вот чуть он не столкнулся с Николаем Ивановичем в Ачинске, куда тот провожал ужасные ваши пушки. Ползая по одному двору, предпринимал я разные переселения, но они не удались, и я остался жить в том же доме, где вы останавливались; только с Ольгой переменился помещением. И широконько оно при загородном дворце, но и шикарно-то жить еще не хочется. О вашем здоровье что-то неблагоуханные слухи. Но что это за напасть? От роду не слыхивал, чтоб Ялуторовск портил у Иванов ноги: перекреститесь, пожалуйста! И если в Ангаре нет толку, переезжайте на Томь.

Писем много вдруг я писать не умею и так прошу раздать мои поклоны: Сергею Петровичу, Сергею Григорьевичу, Свербеичу, обоим Владимирам [3], Гамбурцевой, со всеми их подразделениями. Виноват я страшно по старости лет, но малолетним запретите на меня сердиться.

Кого выдвину на первый план, тому уже не миновать скуки — напишу целый лист... Бибиков так проворно улетел, что я, когда он вовсе не надеялся выехать, возвратясь через условленные полчаса, уже не застал его. Поневоле пусть извинит. С вербой был я у него, и то ни к чему не послужило. Возвратясь в город, так и нападу на своего Николу, пусть как умеет распутывает дело о тарантасе Ник[олая] Дмитр[иевича]. Дело шло мимо меня, и я попался тут как кур во щи. Этот последний период довольно для вас темен, чисто немецкий, а написан для того, чтоб вы его хоть не читали, да показали.

Весна у нас ранняя, но с поддержкой; медленная и серая. Далеко теперь оттолкнулся мой хутор, ездить по Кругосветной дороге через Синие Сосулинские горы, и не знаю, как поможет бог отсюда выбраться, разумеется, на санях давно уже нельзя и на колесах не без горя, а расстояние выросло до осьми верст.

Однако и стыд знать надобно. Пора за шапку; обнять, пожать руку и пожелать спокойной ночи, ежели вы еще не уснули.

Прощайте!

[*Адрес:*] Ивану Дмитриевичу Якушкину.

167. И. Д. ЯКУШКИНУ

[Томск,] 17 апреля 1855 г.

Наш добрый сын, кому естественный, кому приемыш, в самом деле начинает быть добрым человеком. Так теперь выставил вехи на приличных расстояниях и приличной высоты с видимою мохнатостью (к вехам теплота нейдет), что совершенно в последнее время закрыл и сделал неприметными все те пустоты, которые от исходного пункта лежали так длинно, что казалось, собака повертела хвостиком, а межевщик совсем потерял и глаза, и направление.

Дай бог ему здоровья, вышел на истинный путь и хоть куда стоит отеческой нашей нежности. Рылся в поли[глот]ских и в мифологических словарях, но нигде не нашел выражение, как мы-то с вами приходимся друг другу через Евгения? Уже не сваты же — верно, «святы».

Не знаю также, у моря ли мы сидим и ждем погоды или просто у огромной панорамы и можем потом только передвинуться от одного стеклышка к другому.

Верую и исповедую, что у такого царя, как нынешний, достало бы широты сердца в добро и правду на удовлетворение многих желаний, да форма-то пружина... Он безжалостно связан ими, и потребно быть исполином-реформатором, чтоб сколько-нибудь порвать эти узы.

Первого разрешения ждать не долго, может быть, несколько часов, так что мечте и надежде мало сроку, и предаваться им незачем.

Представьте себе, что мы целою кучею, как журавли осенью, взмахнем крыльями к небесам! Картина хороша, да кто ее нарисует?

Малолетние едва не уехали, не видав меня и с пустыми к вам руками [1]. Но, к счастию, несмотря на дождь, я пришел пешком с Соломенного в город, и они попали мне в лапы. Блин мой выходит второпях комом, но и за то спасибо.

Что-то ваши ноги и проч., и проч. Крайне бы не хотелось слышать ничего дурного о их поведении, да Струве крепко напугал меня. Вы непременно бы простили его за неисправный перед вами отъезд, если б сами видели, с каким умилением и смирением он мне рассказал об этом и как просил ходатайства о заступлении. Прибавьте, пожалуйста, и эту статью вашему милостивому манифесту.

Не последний же раз мы беседуем. Следовательно, можно и уважить недостаток времени, а мне очень хочется сказать пару слов и иным прочим. Поклонитесь Сергею Петровичу и обоим Владимирам. Если б и стал к ним теперь писать, верно бы, не лучше вышло настоящего и настоящих прочих посланий.

Брату моего сына дружеский привет.

168. И. И. ПУЩИНУ

[Томск,] 20 апреля [1]855 г.*

Вот довелось же опять и писать к вам, мой добрый Иван Иванович. Неприлично и невежливо было бы отпустить Бернгарда Васильевича без всякого письменного вида для надлежащей прописки на вашем этапе. Он доедет, верно, еще не так скоро, чтоб не дошло между тем новой от вас вести, а по старым документам, кажется, нет никакой за мной недоимки.

---

* Помета И. И. Пущина: «Пол[учено] 4 мая».

Правда, заметив в вас воинственное расположение, я мог бы уже предполагать вас в числе защитников Севастополя и беседовать преимущественно о той стране, где начал сам я под красными эполетами совершеннолетие [1]; но, рассчитывая, что не могли вы легко прыгнуть на одной здоровой ноге в такую даль, почти уверен, что доселе кушаете воду синего Тобола из нежных рук Михеевны и в числе страждущих и плененных ожидаете великой и богатой милости. Мое расположение по преимуществу мирное, однако и я могу страшно прогневаться, ежели оно, уже более по малодушию, нежели по храбрости союзников, в настоящий благоприятный час удовлетворено не будет. По старой памяти я закоренелый антибонапартист и ничего доброго не ожидаю от пресловутой тризны, снаряженной французским народом своему громадному Воителю [2]. Если б он еще оставался единственным, можно было бы смотреть на него как на историческую пирамиду, но теперь, явившись с третьею цифрою и довольно устарелыми идеями, кажется, уже погружающими под горизонт, сколько бы праздная литература своими возгласами ни старалась поставить его в фарос временам настоящему и грядущему [3].

Пролог кончился; можно бы и не начинать войны.

Но Бонапарт и мир — все как-то кажется противоречием. Политики требовали бы, поддержав выходца, оборотить его лицом на собственный грунт, чтоб повторил в большом виде Доктора Францию, а потом успокоил вместе с собою и все наследованные тенденции на веки веков. Это пятая, а если угодно, то и единственная гарантия, которую Восток и Запад в видах мира и равновесия желать может и требовать вправе [4]. Иначе залечатся от революции до того, что и здоровья на Земле не будет.

Не бросаясь вплавь по океану надежды, я принимаюсь с весною за любимое мое земляное дело. Не полагая добыть и при благоприятном случае что-нибудь более куриных крыльев, я все же охотно взмахнул бы ими, чтоб перелететь через частокол. Все, однако же, в воле божией, само чудо преестественное. Не скрываю, что есть какое-то доброе предчувствие и возникли лучшие симпатии, по крайней мере, то почти очевидно, что тяжести не прибавится. Слетятся и орлы, ежели заметят гнездо на высоком пике.

Боюсь рельсов—они хотя плохо выкованы, да длинны,

очень длинны, дорого стоят, а Монгольфиер остался с указкой при чубуке[5].

Разболтался я уже много, но когда вам читать при такой приятной встрече?

Простите, ради бога, и за начало, и за окончание.

Да благоденствует колония!

169. [Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ][1]

[Томск,] 25 апреля 1855 г.*

Подполковник вручил мне лично ваше истинно дружеское письмо. Оно много меня обрадовало и довершило уверенность, что в нецеремонных наших встречах обнаружившаяся симпатия действительно влекла к сближению, и узел приязни завязался несравненно крепче, нежели я имел право надеяться. Товарищи мои по положению между людьми все единогласно уважают вас и любят; имели случай испытать на деле всю доброту вашей души; но если б вы не помогли сами, мне трудно было бы схватиться за одно предание, ибо я слишком опоздал в прямом участии с ними как по добру, так и по злу; и с первого раза предстал пред вами и неизвестным, и неосмотрительным, более забытым, нежели ясным, только что узнанным.

Мало-помалу ознакомляюсь и с Ф. Ф. Венрихом[2]. Нашлись некоторые точки соприкосновения по прежним моим знакомствам; началась и смена мыслей. Он теперь входит в жизнь нашего городского общества, и часто случалось встречаться в гостях и не заставать его дома. Тревожусь немного, чтоб не найти в нем соперника и в благоволении прекрасного пола. У вас должны быть теперь иркутские выходцы[3]. Они сильно рассчитывают на отраду при свидании и после быстрого перелома начинают, по-видимому, успокаиваться, обласканные и здесь добрым приемом от всех, к кому обращались. Но им грозит еще один удар, более чувствительный, о котором догадываются смутно, а я прочитал в газетах о кончине отца[4], жестоким почел сделаться первым вестником несчастья и попустил, может быть, опаснейшую внезапность, но не мог одолеть желания оставить их несколько времени при надежде, по крайней мере, на все время и без того трудного и скучного пути

* Помета: «Получено 1-го мая».

через пустыню. Это и лишало меня большей части удовольствия при каждом свидании.

У нас ясные, но холодные дни; реки давно прошли и без разлива; дождя не было, и зелень не показывалась.

При всем том горестное положение делает, что загородные виды весьма печальны, и кто за птицами, кто за воздухом, спешат в поле навстречу весне, возврат которой целые 7 месяцев с нетерпением был ожидаем.

Иван Дмитриевич собирается в путь и намерен выехать в начале июня[5]. Сопровождая его всеми, какими только в силах, лучшими желаниями, я не могу не видеть тех лишений, которым сам подвергаюсь во время его отсутствия, срок которого остается неопределенным. Но я привык уже терпеть и готовлю себе новую практику в этой добродетели.

Манифест об нас молчит ...[6] Это еще нельзя признавать опровержением надежд столичных друзей на нечто лучшее, но я не могу предаваться рановременному увлечению и, почитая себя крепким земле, продолжаю обычные занятия и храню обычный строй мыслей. Кажется, и далеко стало будто бы вверх и вдаль несколько прозрачнее и что-то успокоительное навевает на душу и можно думать, что такая поэзия основана на чем-нибудь действительном.

Покорюсь я вашему замечанию без оглядок наивно и добродушно. Но простите меня еще раз, ежели исповедуюсь, что в чувстве моем я всегда уважаю отличие рода, ума и заслуг и не думаю, чтобы это было препятствием самому интимному утверждению дружбы и искреннему излиянию чувств, потому что, возвышая несколько тон, можно не выпадать из гармонии.

Мог бы я и умолчать, что с неделю страдаю головною болью, простудившись в холодной церкви, ибо надобно чем-нибудь оправдать тупость мысли и неповоротливость руки, не прибегая к самой неприятной цитате возраста и цифры лет. Гласно сказал я, что сам объявлю по должной форме, когда удостоверюсь, что совсем быть* (сделался) стариком, но такового объявления доселе еще не воспоследовало, и так можно почитать настоящий недуг исцелимым.

---

* Слово «быть» в оригинале не зачеркнуто, хотя заменено словом «(сделался)», вписанным над строкой в скобках другим почерком.

Резкой болезненности у нас нет, но не один я жалуюсь на тесноту в голове и на какое-то расслабление, а медицина вообще безответна, когда дело касается атмосферических или топографических влияний, и ничего в них не распознает, предоставляя натуре исправить самое себя ... Я к этому искусству и не прибегаю. Мне лучшим целебным средством служит веселый юмор, беззаботность, а чаще всего тихое уединение, которому и намерен с сего же дня предаться до конца недели за городом. Впрочем, вы не видали моего *Соломенного*, и я не имею большого удобства распространяться об этом моем любимом жилище и о красотах тамошней местности, виденных вами только мимоходом.

Мундирная книга[7] и здесь уже появилась, а о других новостях доходили только слухи. Мы даже не знаем, в какой степени они имеют право на веру, и потому ни о чем не слышно ясного говора, а многого и согласить не умеем. Всего кажется вероятнее, что крутых перемен ожидать нельзя; новая воля выскажет себя по времени, последовательно. Теперь всего желательнее внешний мир[8]; о внутреннем и заботиться нечего. Само провидение приметно тушит бурю страстей, и, кажется, люди начали понимать, что улучшения не извергаются, а наступают тихим шагом. Нельзя отрицать, что есть в мире и независимый от человека двигатель — нравственная необходимость, имеющая неизмеримую силу в огромных человеческих обществах, но с нею бог, и она в руках его; а потому и не должна быть для нас страшилищем, и чем менее мы захочем переломить ее по-своему, тем добрее к нам будет, и мы можем даже полюбить ее[9].

Оканчивая беседу, я посылаю мой привет милой вашей дочери и все те же поклоны Федору Николаевичу и Софье Андреевне[10]. Повторяю одно и то же, долблю каплями камень, авось произведу и впечатление.

Неизменно и искренно вам преданный Гавр[иил] Батенков *.

170. И. И. ПУЩИНУ

[Томск,] 15 июня [1855 г.]**

Какая-то, прости, господи, кулдыворда ввязалась в нашу стройную переписку. Беспрестанно доводится писать

* Так в оригинале.
** Помета И. И. Пущина: «Пол[учено] 24 июня».

второпях и почти, опять избави бог, срочные ультиматумы.

Таков и этот синий ответ на желтое письмо [1].

Раздольем был бы двухсуточный здесь отдых выходцев из Давидовии [2], но целую половину из этого времени отняли проводы в С.-Петербург И. Д. Асташева, из остальной половины четверть проболтал с ними же и с Мазаровичами [3], и остался вот один час на все́-на́все, не исключая бороды и строгого вам выговора: 1) что вы показались оным проезжим погруженным в глубокую мерлифлюндию, 2) что забыли передать через них обычное «слу-ша-й», 3) что дожили до крайности видеть самое Михеевну при смерти [4].

Всемирный потоп давно уже нас, жителей Зеландских островов, отделил по времени и пространству от остального обитаемого и вочеловечившегося мира. Вероятно, также не вдруг какой-нибудь народ решится по темным преданиям послать экспедицию для открытия нас — диких и голых или случай толкнет на скалистые берега наши и коралловые косы кого-нибудь из рода Беллинсгаузенов [5] — при всем том сами по себе мы все еще люди и по-своему, по-новозеландски, можем кое-что и молвить друг другу.

Конечно, по причине хотя не совсем совершенной круглоты Земли и окружающих нас льдов и океана, самозванно Тихого и Великого, мы не видим ни зги в современных событиях, однако умишко еще торчит и, кто знает, может быть, что-нибудь и маракует.

Когда высоким вдохновеньем
Душа незримая полна,
С ежеминутным отдаленьем
От берегов растет она.
Как хрящ под прочерком скругленья,
Исчезнут слабые творенья,
Как Тенериф, свой пик взнесут
Певцы великого размера,
И можно там спросить Гомера:
Где пальмы для венцов растут? [6]

Не правда ли? — чисто новозеландский эпос.

Мне кажется, нам не для чего слишком предаваться объективному жару. Всяко вопрос войны и ее интересы не наши. Дело идет между Кромвелем, Бонапартом и Чингисовыми наследниками при посредстве Махиавеля [7]. Им надобно и окончить свой эпизод, ежели в самом деле могут они кончить. Главное содержание эпопеи не в том. Надоб-

но как-нибудь решить три вопроса: нет ли в самом деле какого-нибудь серьезного и определенного отношения между миллионами народов и единицами властей и потентаций? Нужно или не нужно знать, что бог существует, и нельзя ли сделать из этого какого-нибудь вывода и даже открытия постоянного закона? Наконец, международное право — на бумагах или на жизни должно быть основано? Война и даже 14 гарантий едва ли уже успокоят тревожный мир, ищущий выхода из тысячелетней своей оболочки, постепенно умирающей, гниющей под обманчивою зеленью паразитов. Пусть Европа киснет и бродит для нового продукта, она к тому и готовилась. Наше русское место — не теряя с нею полного соприкосновения, питаться ее соками, всеми без исключения, но под сильным своим прессом выжимать из себя туда же разные газы и, сгущаясь в каменную опару будущего, послужить потом новому движению жизни всею своею упругостью.

Некогда теперь мне развить этого символа, но в нем есть что-то истинное. Промойте на досуге мой отвал и ежели не найдете в нем даже и бедного содержания, то в вашей воле убраться из тайги и возвратиться на свой оазис.

Кажется, грамотки ваши я все получил, но, живя на Соломенном, не видал ни Бронникова[8], ни Анненкова[9], к крайнему моему сожалению. Теперь оставил и Соломенный в чужие руки. В жизни моей идет большой переворот, да и у вас что-то не ладно. Ужели доведется помолчать? Иркутские новости я и сам знаю прямо от Якушк[ина][10]. Евгения жду, а артели кланяюсь.

171. [Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ][1]

[Томск,] 25 июня 1855 г.*

Медленный, заунывный тон большого сибирского колокола напоминает душе начало и конец могущественного деятеля в тысячелетнем обширном нашем отечестве. Это историческое кольцо нельзя перешагнуть без сильного чувства и, верно, не в один год. Мне довелось проглотить полный и зрелый плод добра и зла, а уверяют, что он однокачествен с плодом древа жизни; но это уже тогда,

* Помета о получении: «9 июля».

когда догорит пламенное оружие херувима, который его стережет...

Здесь мы каждый день под тучами, громом и дождем. Такое состояние атмосферы разлучает с прекрасными загородными окрестностями, и не мудрено мне теперь сочувствовать вашим описаниям омской скуки.

Люди и природа необходимы, чтоб жизнь имела приятности; но и люди нас оставили. Иван Дмитриевич улетел на Неву; губернатор на заводы; сам архиерей в ту же сторону, по эпархии. Один кривой Философ Александрович[2] остается на поглядочку. Город стал походить на перестраивающийся замок, с которого сняты все шпили. Зато поэтическая юность и молодость в полном разгаре. Переселились с завода Поклевские, возвратились из Вологды Коноваловы; любовь Еремеева одолела все преграды, и он женится на красавице Клеванской, которую, увы, едва ли вы знаете. Дмитрий Гаврилович также просватал свою дочь за майора Катина[3]; а известно, что свадебный сезон обыкновенно идет в расширении, особливо после всякого застоя. Итак, нам предстоят пиры или, по крайней мере, бесчисленные толки.

Александр Карлович Дометти[4], пробыв несколько дней, отправился по Иркутскому тракту, и еще раз мы его увидим на возвратном пути. Он останавливался в лагере и сильно оживил его. Сколько при том удобства доставлено этим для службы и служащих, особенно потому еще, что солдаты порешили со смотрами в самое удобное время, до наступления рабочей поры, они что-нибудь приобретут и помогут обычному здесь недостатку рук, ощутительному особенно по распущении большей части арестантской роты, по Манифесту[5].

Изволите видеть, что с вами говорит человек-хозяин, обремененный домом и Соломенным. Правду сказать, хозяин очень плохой; но хвастливого с богатым всегда распознать трудно, особливо если он вооружен техническими и пышными словами.

В настоящем путешествии, которое вы предпринимаете, вижу я ту главную пользу, что вы проведете лучшее время в лучшей природе. Горный воздух благоприятен здоровью, особливо для Сашеньки[6], которая росла в горах. Притом же навеет немного густого русского духу.

Я не могу ценить, изъясняет ли вполне преобладающее в Омске воинственное стремление то состояние и строй

материковых русских сил, которое долженствовало проявиться при нынешнем необыкновенном состоянии окраин нашего отечества, но полагаю, что за Уралом вы яснее это почувствуете. На самых заводах встретите уже усиленную деятельность в общем направлении и можете услышать тон метрополиальной речи, от которой наша колониальная все же имеет какие-нибудь различия в излишестве или недостатке, следственно, насчет точности.

Там живет история. С самого наступления весны я не пользовался полным здоровьем. Тяжесть и по временам кружение в голове, давление в груди, зуд и боль в заживших ранах, лом в контуженном плече — все это делает из меня сущего инвалида, хоть по милости божией в последнее время чувствую облегчение. Прежде хворал я обыкновенно осенью; теперь вышло наоборот. Верно, шестидесятилетний человек, подобно часам, к которым привешен длинный маятник, отстает от времени, а уйти было вперед нет никакого основания, как бы ни казалось приятным это последнее изъяснение[7]. Назначение нового председателя выживает из Масаловского дома Федора Федоровича по при[чи]не тесной дружбы с хозяином[8]. Зато он переселяется в середину города. Нельзя сказать, чтоб и теперь он был удален от других по жизни, но тогда будет всякое сближение еще удобнее. Случись это зимою, он был бы весьма рад, а на лето помещение точно было прелестное.

Оканчивая мое разглагольствие, я не надеюсь вскоре получить отклик по причине вашего путешествия. Молюсь, да хранит вас бог.

172. И. И. ПУЩИНУ

[Томск, Соломенный,] 13 августа [1855 г.]*

Едва успеваю вам сказать несколько слов, но по принятому обычаю пропустить случай считаю грехом. Письмо ваше через Зиновьева я получил: оно удовлетворительно и полнее, нежели я ожидал. Страшно слышать, что Матрена Михеевна в опасном положении. Что ж будет с венскими конференциями, ежели она нас оставит?

Занят я теперь сенокосом и прочими земляными делами по случаю приближения осени. Благословение и любовь всей вашей колонии.

---

* Помета И. И. Пущина: «Пол[учено] 19 авг[уста]».

Жду Марью Николаевну[1] и приготовлю грамотку подлиннее.

[*Адрес:*] Ивану Ивановичу Пущину в Ялуторовске.

173. [Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ][1]

[Томск,] 18 августа [1855 г.]*

Не хочется пропустить доброго случая, а я полагаю, что вы еще не возвратились в Омск и имеете полное право не спешить, ибо все сокровище ваше с вами же.

Последнее сведение от вас получил я из Ялуторовска и не отвечал еще Ивану Всемощному, ожидая приезда Марьи Николаевны, которая по глаголу светлейшей должна быть здесь на сих днях[2].

У нас весь хор жизни играет на прежний лад. Первые дни августа были светлы и теплы; кто только мог, спешил луговыми работами; теперь опять мрачно и сыро. Филос[оф] Александр[ович] немного отдохнул присутствием Александра Васильевича Виноградского, а скоро опять он его оставит, перебравшись на масловскую виллу. Немного пустовато в городе: кто в разброде, кто с завязанными зубами и горлом; я и сам часто хватаюсь за нос и без пользы ковыряю уши, стараясь раскрыть отягченный слух. Зеленовато еще пока около Соломенного, однако деревья начинают уже седеть желтизною и плешиветь от листьев. Ветер воет, и все предвещает близкую осень. Редко мне доводится вспоминать добром это печальное время года. К нему примыкает годовщина первой моей боевой раны; и, кажется, Сатурн не потерял еще от старости свою память.

У нас одною рукою дергают ветошь на корпию, а другою готовят пир и разные огни к высокому празднику первого тезоименитства царского: занятия похвальные, и сочувствие к торжеству и скорби всякий разделяет охотно.

И здесь виден успех общественности: наши раны не были призрены от нежной руки милых соотечественниц, и клочок собственного белья служил на все. Правду сказать, и война была быстрая, обильная событиями и передвижением, за которым не могло гнаться усердие и даже долг. Если идти на сравнение, то надо признаться, что полевые,

---

* Помета: «Получено 23 августа».

Бородинская и Лейпцигская, битвы, у которых поставлены уже были Геркулесовы столбы, едва ли не уступят Севастопольской, убеждающей, между прочим, и в том, что история не повторяется в явлениях[3].

В Крыму я начал мою службу в былое время*. Этот Крым уже нимало не походил на Крым ханский, еще на памятях начальников наших покоренный, не походил также и на Крым, расцветший при Воронцове[4] и впоследствии. Теперь уже, конечно, не походит на все свое прошедшее. Сколько же изменений испытала эта счастливая по географическому положению небольшая страна?

Поучительно такое позорище страстей, и как много две природы, человеческая и земная, противоречат одна другой, хотя в этом отношении и первую из них нельзя назвать небесною.

Поручая себя вашей дружбе, с постоянным и неизменным чувством искреннего уважения всегда пребуду.

174. И. И. ПУЩИНУ

[Томск,] 18 августа [1855 г.]**

О суета предположений человеческих! Я обещал себе написать вам длинное и предлинное письмо с настоящим оказием и едва имею в своем распоряжении десять тиньтинь времени. Княгиня приехала только часу в 1-м и сейчас же отъезжает.

Разумеется, она меня с трудом и отыскала.

Две недели я косил сено на Соломенном, возвратясь домой, отправился молиться Фролу и Лавру в здешний монастырь, преимущественно за здравие и благополучие упряжных и рабочих коней, в присутствии всей полиции, которая подводит обыкновенно в этот день пожарных и казачьих лошадей под окропление св[ятой] водою. Потом пирог у архимандрита.

Далее закуска на главной гобвахте у исправника[1], посаженного туда за какое-то позднее донесение, к сожалению, только на 24 часа.

И вытащили меня уже из-за обеденного стола от г[оспо]жи Леман[2].

Какие уж тут письма, а ранее я не заготовил. Будет,

---

* «В Крыму <...> время» подчеркнуто карандашом.

** Помета И. И. Пущина: «Пол[учено] 27 августа».

дескать, еще время. Так и наказуется моя беспечность...

Яков Дмитриевич, верно, уже от вас отправился. Но на случай прошу ему низко поклониться.

И колонии также.

[*Адрес:*] Ивану Ивановичу Пущину в Ялуторовске.

175. И. И. ПУЩИНУ

[Томск,] 22 августа [1]855 г.*

Беспрестанно мелькают случаи писать к вам, но только так быстро, что не дают остановиться ни слову, ни мысли. Раздолье одному воображению, которым и имею честь беседовать с вами, уверенный, что вам этап привязчивее и привлекательнее и каждому свиданию дает реальную меру.

При этих же оказиях получил я несколько беглых строк от Сергея Петровича и Ивана Дмитриевича, а наконец и от Нелли[1].

Она вложила мне грамотку к матери, но я отправил ее к отцу, по ее же назначению, ибо не полагаю, чтоб она сегодня уже была у вас. Странная, тяжкая судьба этой милой женщины! Верно, мы, имея несколько отрадных часов в жизни, передали ей восполнение наших страданий, чтоб весь крест предстал в вечность бездоимочно. Нам до могил недалеко, а ей еще путь и путь...

Грустно развивать это чувство, а оно так тяжело лежит на сердце, что и молитва оттуда кажется совсем безнадежною. Впрочем, последние письма от нее немного успокоительнее, но на кого она полагается? Кто будет рассматривать и пересуживать? На эти вопросы я отвечать не умею.

Брошюры ваши я прочел и возвращаю. Любопытна из них была приписываемая Бонапарту, по шуму, который она сделала, но содержание ее не представляет ничего, что бы не было известно и преизвестно[2]. Вы много в отношении меня не маремьянствуйте: здесь книги есть, притом же я постоянно читаю «L'indépendance» и «Revue des deux mondes», а в них теперь вся суть, поколику нужно, чтоб нить современности не порвалась[3]. Хорошо сделали, что начали издавать в Бельгии газету с русской точки зрения[4], это, конечно, уже поумнее, нежели бранливая «Северная пчела» или медвежье-услужливая «Новая прусская газета»[5]. Здесь получать ее будут.

---

* Помета И. И. Пущина: «Пол[учено] 5 сентября».

Меня замучило мое наследственное хозяйство. Сенокос, пасека требуют отлучек. А прочее и прочее... Это уже не земляное дело и не банное строение.

Все лето принужден был прожить в городе, а на Соломенном поселил путейского офицера, и то только до сентября. Однако он выстроил мне беседку с развевающимся флагом, и далеко будет по белому снегу пурпур возвещать присутствие мое во дворце!

Карман мой весь в дырах, наполнять его трудно, а наполнить невозможно. Прекрасный исход из тридцатилетнего карантина. Помните вы басню о трех желаниях? Мне теперь колбасой представляется переселение в вашу колонию [6].

Хотя бы вас нелегкая занесла сюда для всевозможной отрады.

Болтал бы и более, да не болтается; тороплюсь как угорелый, потому что генерал на отлете [7], а мне еще предстоит пять-шесть дел, никакой отсрочки не терпящих. И все это потому, что в нынешнее лето светлые дни отпускает нам небо гомеопатическими дозами.

Каждое облачко, яко смертный приговор сену, пшенице и меду, ерошит всю внутренность. Впрочем, сметал уже 900 копен и сжал 1030 снопов, которые, разумеется, при хозяйственных моих способностях обойдутся в полтора раза дороже базарных. Нет, на будущий год меня уж не подденут. Залягу на бок да как усталый верблюд не тронусь с места.

Но сердце не камень. Буди воля божия.

Пострели их совсем с этими расчетами без *вычета*. Не знаю, томское ли это изобретение или и у вас тоже, но скверно, что деньги не деньги, а крестьянский лаж мучит меня и сбивает с толку [8]. Шумлю каждый раз как пьяная баба.

Матрене Михеевне мое почтение, желал бы, чтоб она вас обрадовала, даже — до приумножения дома.

Созонович пропал без вести, а несчастного Дружинина замучили [9]. Покорно благодарим.

Адрес прост: Ольге Павловне Лучшевой.

176. И. И. ПУЩИНУ

[Томск,] 30 августа [1855 г.]*

Письменный вид Колошину [1].

А делать нечего — душ тысяча именинников и 1/100 минуты времени. Письменный вид, да и только. Здоровья мало-мало.

Читаю «Le Nord». Изрядно—все далеко лучше, умнее, приличнее «Северной пчелы».

Вы получите такую же беглую грамотку чрез Левшина и ваши три брошюры.

Прощай, колония и Михеевна.

[*Адрес:*] Ивану Ивановичу Пущину.

177. Н. Д. СВЕРБЕЕВУ

[Соломенный,] 18 сентября 185[5] г.**

Эти немногие строки предназначены единственно на изъяснение вам благодарности за память обо мне и на возбуждение желания подробно побеседовать со мною о любопытном эпизоде в вашей жизни, что, конечно, приму я с полным участием [1].

Не знаю еще наверное, где вы обретаетесь, неохотно как-то распространяюсь моей речью, но уверен, что впоследствии вы меня принудите и говор наш оживится.

В чувстве к вам с моей стороны недостатка нет, и я, пожалуй, готов хранить его безмолвно, ежели время не в вашем распоряжении и уделять его мне покажется некоторою роскошью, а может быть, отчего да сохранит бог, и потерею.

У нас все шло обычным образом и почти ничего отметить вам достойным особого примечания. Живу большею частию в Соломенном, с книгами, с лесами и кроме мух не имею в настоящий час никаких собеседниц. Сквозь эти слова явно просвечивает, что летом были и посетительницы, которым нравится неизысканный, простодушный прием старого дедушки, всегда готового приласкать своих внучек, преимущественно пред внуками, рассеянными в городских удовольствиях.

Отправлюсь в город единственно за тем, чтоб прово-

---

* Помета И. И. Пущина: «Пол[учено] 6 сентября».

** Помета о получении: «19 октября».

дить отъезжающих, с которыми желал бы вас ознакомить, потому что их можно любить.

Повторяю еще, что писать много не располагал и хотя не хочется кончать, но кончу, чтоб не изменить своему слову.

Да хранит вас бог.

[*Адрес:*] Его высокоблагородию Николаю Дмитриевичу Свербееву. *В Иркутске* при генерал-губернаторе Восточной Сибири.

178. [Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ] [1]

Соломенный, 7 октября 1855 г.*

Бывает время, в которое чувству человека предстанет вдруг дурная сторона жизни во всем ее громадном безобразии и не просияет ни один луч уму от благотворного света. Душа предается справедливой скорби и негодованию, не видя ничего, кроме произведений зла, организованного и окрепшего. Отсюда мысли о двух началах, когда сохраняется еще память добра; о сатане, ежели ищется утешение в религии, и почти отчаяние, когда нет ни того, ни другого пособия. Кто не испытал подобного состояния? Надобно разве совсем погрязнуть в этой тьме, чтобы ее не приметить. Умный Гоголь не мог вынести и потерял талант и жизнь, единожды до того коснувшись [2].

Собственный мой опыт в этом роде научил меня выразуметь ваше последнее письмо.

В пылкой молодости со мною бывало это часто: тогда, обыкновенно, замыкался я в самом себе, как решительный эгоист. Но сердце всегда заставляло вспоминать или искать что-то лучшее; итак, мало-помалу познание добра и зла стало для меня серьезною наукою и деятельным искусством, некоторым охлаждением страстного на них взора. Но я имел большой досуг и не знаю, в какой мере метод мой применим к другому. Об нем тот же Гоголь писал ко мне, что он чувствует его истину, но как-то не мог ею воспользоваться на самом деле [3].

Человек никогда не объемлет всего своего знания, всех своих понятий и правил в один нераздельный момент, умом и волею. Отсюда множество ошибок, противоречий самому себе, несообразностей и одностороннего, рутинного дейст-

---

* Помета о получении: «17 октября».

вия. А сколько еще находится в таком положении, что нет знания, понятий и правил?

Сущая нечаянность! Вы меня вызвали на такое изъяснение, какого я и не предполагал; но в письмах должно же быть содержание, и, право, всего лучше, когда они выражают присущее чувство[4].

И во сне я вас сегодня видел — просто в беседе.

Озерскому[5] еще некогда было соскучиться. Как общежительный человек, он знакомился с лучшими домами и лицами, горячо принялся за служебные дела и усердствует собрать наши музыкальные средства в устроенное филармоническое общество. Мы видимся нередко, а Федор Федорович старый ему сослуживец[6].

Все прочее у нас не выдается из-под общего уровня. Приезд Масаловых оживил Философа Александровича, жаль только, что спешит назад, зато остается старшая дочь, из которой выработалась прекрасная девица в великое утешение отцу, что легче всего вы и оценить можете[7].

С печальной стороны занимает город бедный Кротов[8]. Он имел несчастие на охоте всадить себе в ногу ниже колена, почти в упор, полный заячий заряд с пыжом. Все это остается в теле и у костей более недели, и доктора наши, растравляя рану, не решаются ни на какую операцию, а через то состояние больного почти безнадежно.

Наша осень ведет себя еще порядочно. Было несколько очень теплых дней, по вечерам перепадывали дожди, по утрам легкие морозы. Сегодня белеет на траве снежок, но все небо ясно, и чувствуется какая-то бодрость. Даже сухо было, и что растает теперь, верно, не оставит следа к вечеру.

Камнем лежит на сердце событие, что мы лишились силы на Черном море — плода вековых трудов и огромных жертв[9]. Конечно, это не колеблет и не истощает могучей России, но с условием, чтоб не обсчитали нас в торговом отношении. Чудное дело! Никого нет умного ни с той, ни с другой стороны в такое чреватое будущим время. Может быть, одной дозы согласия на новый во всем порядок, сообразно с успехами жизни, было бы на все достаточно — и к утолению жажды народов, и к покою властей[10].

Трудно выдумать порох, но и порох ничего не выдумает.

Много благодарен, что Сашенька меня помнит. Мало

было времени, чтоб с нею познакомиться: я уверен, что она помнила бы меня тогда еще лучше. Еще раз благодарю за все и за вся.

179. [Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ] [1]

Соломенный, 15 октября 1855 г.

Случай представления к вам наших малолетних вызывает меня на беседу. По чистой совести можно сказать, что у нас, кроме навалившего свыше всякой меры снега, нет ничего перед глазами. Все и всё поседело, в морщинах и до того состарилось, что, принявшись перебирать хлам, всякое перо притупеет.

Только теперь и движения, что в рекрутском присутствии, но и оно для меня неприступно и отзывается несколько дешевизной дров и леса по потребностям в деньгах. И было бы хорошо, если бы эта потребность самого меня не касалась: тепло я люблю и строиться готов до смерти.

Странна для меня нынешняя война, когда сравнить ее с нашей, столь быстрою в движении: толкутся на одном месте, и обе стороны только томят друг друга. Как и думать? Ужели перевелись или переучились все орлы и под страхом ответственности ощипали себе перья? Или же под австрийским «ветом» раздолье одному чугуну? Более всего сходства с Троянскою войной [2], но та нужна была для взаимного опознания и передвижения народов; а из этой что будет? Кажется, лбом ударились в непостижимость судеб? Старая дипломатия обнаружила все свое бессилие, а создать вновь международное право — некому. Как же теперь заключат мир? Хотят, чтоб был он прочный: честный и справедливый, а до чего ни коснуться — нет ни прочного, ни честного, ни справедливого, хотя философы недавно гордились, что понимают историю и разумеют ее уроки. Вернее всего, что история, со всею ее славою, кончилась; и потребности человека начали сосредоточиваться в нем самом. Можно из предстоящих громад вывести одно заключение, что они необъятны нашими силами и, как произведение вечности, в ней и имеют свое изъяснение. Все пред богом: стоят они или рушатся, и нам, не призванным к действию, остается только созерцать и молиться. Пусть дитя ваше растет и хорошеет. Оно принадлежит поколению, которое чего-нибудь дождется.

Мне, по крайней мере, все кажется поздним и все своевременным, даже самая старость [3].

Простите великодушно, что написал нескладно: притупела голова и от употребления и неупотребления. А выше сказано уже, что практическая часть кругом меня на большое расстояние как степь гола и неживописна.

Только и дела, что играют без козырей и боятся Федора Федоровича не по официальному его званию, ибо метаморфозою ералаша закон обойден, а по действию непрерывных его побед и счастия [4]. Бьет самым мелким огнем, копеешным, но что ваши штуцеры и бомбы! И с меня попущением божиим, по вашему же ведомству, недавно Дмитрий Гаврилович [5] утащил почти целковый. Но дай им бог хоть в любви счастья! Одному так и должно, потому что он женат, а другому за то, что не женится. Пусть мне откажут свою долю: я забуду проигрыш.

Поручаю себя с полною надеждою вашему доброму расположению.

Батеньков [6].

180. Е. С. МОЛЧАНОВОЙ

[Томск,] 15 ноября 1855 г.

Дождался я, наконец, случая вам ответить, доброе, искренне мною уважаемое и любимое дитя. Не знаю и сам, почему я вас так называю, а лучше и иначе не умею, понеже и сам во всех чувствах остаюсь малолетним.

Давно уже не слышу об вас ничего; прошло как сон время, когда слышал вдруг много; но я молюсь об вас всею силою христианской молитвы.

Верно, несли мы крест не во всю меру и тяжесть, и вам досталось восполнение. Вполне чувствовал я, как естественно и свято душа ваша, открытая перед небом и землею, возвышалась и крепилась в самом страдании и собственною нежностию его умеряла. Много теперь скорби в сердцах, но я не знаю чище жертвы и достойнее в искуплении.

Стыдно теперь, кажется, и говорить о своей жизни. В ней ничего, кроме тяжелого на сердце камня, обросшего бесцветным мхом, годным только для теплоты жилища и лихорадочных настоек. Не пропал еще вовсе — и за то слава богу.

Московские мои едва ли в Москве, о выезде их из де-

ревень вести еще не дошло, да и не то теперь время, чтобы думать о роскоши и увеселениях, хотя, впрочем, не для этого они и переселяются [1].

О Мишеле[2] нашел только и знаю, что он колонизирует крайний восток и ближе прочих аргонавтов. Чудный этот человек Николай Николаевич, он изобрел для молодых людей небывалое поприще, они обновят нам легенды о Ермаках и Кортесах [3] и сами могут стать под какой-то мифический ореол. В самом деле, мы готовим что-то для будущих романистов и поэтов, ежели и не выработаем новую категорию — Сибиристов, чрез рапсоды и саги.

Растет ли ваш Сережа? Это милое и ласковое дитя, недавно мелькнувшее передо мною и улетевшее к вам как ангел утешитель? Прошу поклониться от меня Дмитрию Васильевичу и княгине Марии Николаевне [4].

Прощайте, моя родная. С неизменным чувством остаюсь вспоминать вас.

Батеньков.

181. И. Д. АСТАШЕВУ

[Томск,] 18 ноября [1855 г.][1]

Вот в хронологическом порядке оканчивается и еще год нашей жизни. Я имею обыкновение обозревать себя * и давать отчет о своем положении; обымать в общих чертах как смыкающийся круг, так и открывающийся вновь.

Богу угодно было, чтоб десятилетнее мое здесь пребывание не представляло ни явного упадка, ни разительного несчастия. Чудным образом чрез благородную дружбу и душевные симпатии он дал мне возможность не только отразить безобразную, чудовищную нищету, но и упражнять свою деятельность в том ограниченном круге, который строго необходим для приличного существования и полезного занятия в практическом употреблении жизни, которому тогда же и учиться был принужден.

Много задолжал я без надежды удовлетворить, но задолжал все той же дружбе, которая в прекрасном, великолепном своем побуждении должна же быть долготерпелива, мне стоит это огромной прибавки к страданию, но не лишает веры в искренность участия.

---

* Далее вписаны не связанные с остальной фразой слова: «К началу имел».

Старался основать себе свой собственный грунт, но грунт только и вышел, и, правда, сохранился он доселе под моими ногами неколебимым. Принятые мною произвольно на себя заботы спасли меня от праздности и облекли в виде хозяина дома, подобно прочим гражданам, и даже семьянина, нимало не стесняя свободного действия ума, продолжения науки и нравственного о себе старания. Радует меня эта милость и крепит в душе глубокую благодарность.

Благоразумие требовало, однако же, держать себя всегда наготове, от всего вдруг отторгнуться, ибо грунт, на котором стою, ничего не производит, потому что не вижу здесь дела, решительно никакого дела, кроме простой работы своими руками и мелочных, мне ненужных спекуляций.

С самого начала я видел, что мне светлее всего и радостнее поставить главный опорный пункт в вас и в вашем доме. Вы не отвергли моего желания, и я старался удержаться с вами, возлюбить вас и приобрести доверие к моей душе и моим свойствам. Сколько истинного драматизма проявилось между нами и какими прекрасными часами я обязан то искренной, то умной беседе и не ошибся, думая, что мне возможно продолжить ту же жизнь, которая так стремительно прервана странною катастрофою, и что я могу не разлучаться ни с надеждами, ни с направлением и не терять из виду звезды, которая прежде меня водила. Ибо богу все возможно, и достойно человека всегда готовым быть к прощанию, хотя бы по-видимому уничтожались все на то данные. И кажется мне, что этого и требует долг верноподданного.

Предаваться малодушию, истязанию во время гнева и кары и губить в себе чувство полезной силы не есть ли уже порок и невозвратное падение.

Вот какой эпизод в здешней жизни выработался из вашей ко мне приязни.

Теперь, когда еще раз смыкаем конец с началом, я не чувствую в себе никакой тревоги, и кажется, все то же будет продолжаться, а ваше слово дает еще и гарантию.

Обращаясь к положительному и численному, я могу докончить год без значительных затруднений, не касаясь данного вами мне при отъезде кредита[2]. Остается только пробел в первых двух месяцах нового года, он происходит оттого, что Авдотья Петровна назначенную мне из дво-

рянского дохода долю не могла в нынешнем году выслать по известным обстоятельствам, расстроившим кассы. Это составляло обыкновенно сумму 300 рублей, у меня есть небольшой запас, которым в нынешнем году снабдил меня Семен Троф[имович][3]. Но я положил его хранить в золотой монете неприкосновенным, на всякий случай. Вот что представляю я вам как предвидимую потребность, не вполне, однако же, наглую и с которою одно теплое благорасположение может вдруг согласиться.

Не скрою еще, что по качеству моих упражнений встречается иногда сильное желание прочесть некоторые выходящие вновь серьезные книги, которые здесь не могут показаться, как разве в вашем доме. Упомяну теперь о двух. 1. «Аполлинарий и Сидоний» Ешевского. 2. «О поклонении Зевсу»[4]. Никогда они не будут лишними в библиотеке, особенно при моем об ней понятии, как складе всего того, что может остаться от меня вашему сыну.

Есть еще и другие книги, которые впоследствии будут редки и дороги. К числу их принадлежат полное собрание Законов, Свод летописей, издания Географического общества и разные Археологические акты[5]. Сочинение Тенгоборского о производительных силах России[6] и проч. Но вы еще долго пробудете в П[етер]бурге, и мы еще успеем обменяться мнением.

Но что теперь делать с самою Фортуною? В дворянском имении положить ее становится сомнительным; на банки нужно смотреть бдительным и предусмотрительным оком, потому что едва ли они при потребности миллиардов на войну не оборотятся в долг казны и не поколеблют достоинства бумажных представительных знаков. Остается надежною металлическая добыча всякого рода, не прекратится, конечно, и хлебная торговля; но здесь уже заняты [все речки]. Вот почему всем хочется, чтобы вы сколько возможно более упрочили вашу промышленность и двигали ее из нее же полученными средствами, не истощая скоплением капитала всякого другого рода. И если будет излишек, поместили бы его на Урале. Вы сами теперь в средоточии движения и лучше это знаете, а я говорю отсюда именно потому, что вы не здесь.

182. И. И. ПУЩИНУ

[Томск,] 8 декабря [1]855 г.*

Еще какой-то ангел выводит из преисподней ветхозаветную праведную душу, первенца вдов наших, и я с первого же на нее взгляда готов побожиться, что она прекрасна душой и телом [1].

Между тем как Восток плошками и бочками блистательно празднует славное отступление десяти тысяч [2] и с Запада несутся тифоны и ураганы на разрушение шаткого здания здешнего общественного банка, последнего убежища экономических остатков,— я, бедный, вытаращил глаза вдаль и вижу перед собой только одну точку замерзания, не запасшись в добрые годы даже порядочными рукавицами и лунтаями [3].

Но господь бог, спасший от льдов любви-реки [4] слепого Свербеича, тщедушного** Мишеля, простоволосого Чеха и многогрешного камер-юнкера [5],— может, по бесконечной благости своей, согреть и меня, если не настало еще время догонять Давыдова, которого точка отправления, после Катерины Ивановны, кажется мне знаменательнее всех прочих, верно, потому, что распочинает уже последнее число и тем самым поднимает вопрос: кто же переживет всех и останется монументальною единицею в сиротстве[6]. Большой для меня открылся простор, ибо на полторы тысячи верст в ту и другую сторону нет уже ни одного этапа.

У нас непрестанно валит снег с начала зимы и покрыл толстым саваном все земляное дело... Вечная ему память! Так бы и хотелось сдуть все эту массу на Байдарскую долину [7]. Вот до какого озлобления может довести человека тряское его положение и невозможность схватиться за что-нибудь твердое.

Однако прислушайтесь хорошенько. В душе я не ропщу: провидение было с нами. Вот и вам, как пишет мне Яков Дмитриевич, устроило самое задушевное дело и вопрос, зачем вывело оно на распутье Марью Александровну, указав, что дружба еще не погибла и жива хоть скромною, но не бездейственною силою. Под внешним давлением ощутительнее ее благоухание [8].

Москва от двух новых своих журналов ожидает и го-

* Помета И. И. Пущина: «Пол[учено] 24 дек[абря]».
** В оригинале: «щадушного».

лоса и направления, полагая, что то и другое им позволено [9].

Да и солнце готово повернуть на лето...

Впрочем, сама старуха Астрономия знает ли хорошо будущее? Вот царства и народы представляют страшную агонию и ищут будто бы только с шумом сойти с арены. Формы их устарели, обнажают много неправд и закоренелое несогласие, по которому нет между ними ни дружбы, ни веры и каждая тянет в свою сторону по привычке к отжившим уже свой век интересам. На все нашли истолкование, а этим путем все дипломатии обратились в непримиримую полемику. Прежде всего нужно мир для мира, тогда протиснуть может истина и обновление. Военная слава уже решительно сдвинута с первого места, и история переменила свой характер.

Утешительно, что у нас стали и официально писать поумнее — так литература является зарницею: вытеснить может с поля действия корысть, односторонность и бездарность и приучить слух к гармонии.

Когда восторженный душою
Державин свыше звезды зрел,
Как в мразный, ясный день зимою
Пылинки инея — удел
Ему тот дан для миллионов,
Чтобы возвысить дух Солонов,
Мелькнувших в Севере тогда,
Чтоб ухо остеречь от гула;
И как Давид лечил Саула,
Струной напомнить иногда [10].

Дай бы бог!

Да уповает на него и вся ваша колония. Прощайте.

Не собирается ли куда-нибудь и Александра Васильевна? [11]

Поклевские вам кланяются.

183. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Томск,] 28 декабря 1855 г.

Еще год приближается к концу, а я потерял размер, чтоб поздравить тебя, моя добрая сестра, с Новым летом. Однако еще не поздно для дня собственного твоего новолетия, если не ошибаюсь, уже 68-го. Возраст страшный для малосильного люду, как радужный билет для нищего; но если мы и вместе сложим цифры нашего почтенного

возраста, то едва достигнем числа лет патриарха Израиля, о которых он говорит: «Малы и злы дни жития моего».

Я все с каким-то предчувствием ждал для беседы с тобою радостного часа, и вот в самый праздник поутру дошла к нам весть о величавом, не жертвенном событии в Карсе[1], сильно уравновешивающем военные жребии, и что всего дороже, утешительном для сердца, к которому склонил бог столь искренние симпатии. Да разумеют языцы и не злобствуют, яко с нами бог.

Как прилично было в тот день благодарственное пение за прежнюю великую помощь, и, окинув взором все многочисленное собрание в храме, я увидел, что один стою участником тогдашних дел и безмолвным, по своему положению, свидетелем истины и истолкователем слов церкви, принимаемых как только славное предание предстоящим поколением, для которого и имя Александра I чуждо обаятельного, беспримерного могущества и образ его не под лаврами, а под кипарисом. Извинительны старику слезы в такой момент, и давно остывшая кровь моих ран встревожилась воспоминанием. Ежели вызывались когда тени в оставленный ими мир, то я один из них, ибо более знаком с смертию и гробом, нежели со светом жизни, и эта тень все же могла смешать себя с ликующими душами.

Сильна христианская вера, в ней только можем благодарить творца и за крест и за утешение, как дети отца, справедливо строгого и милосердого.

Сколько чего перечувствовали мы в наш век! Что теперь можно назвать новейшею историей?

Цикль, выработав новые понятия, при которых мифы становятся действительностью и иперболы ложатся в меру, это уже не солид, а сцепление звеньев, едва соприкасающихся, которых единство только Гений откроет в духе. Ждем родного поэта, чтоб объяснил судьбы наши.

Когда без всякого покрова
Певец увидит красоту
И звуками родного слова
Оденет легкою мечту,
Он все отечество возносит.
Напрасно иноземец просит
Священной манны сей вкусить:
Чужим она не раздается.
Одно Танталу остается —
В один Язык с певцом вступить.

Не может быть жизни чисто прозаической и материальной. Материя не мыслит и проза не творит. Надлежало прежде много вообразить и образовать в экстазе понятия, чтоб пуститься по рельсам.

Когда, лишась мер и созвучий,
Песнь жар не потеряет свой,
И все еще листок пахучий —
Гордиться может красотой:
Так скажет ум обыкновенный.
Ум, для великого рожденный,
Такую должен класть печать,
Что в ходе, в красках песнопенья
Без святотатства и смятенья
Нельзя и черточки отнять.

Может быть, война откроет замолкшую трубу. Вить нельзя в гостиных найти тон, соразмерный делам такой целости, как современная Европа, и Юпитер для нее должен был обратиться в Быка. Как ни сладкозвучен Пушкин, однако в Севастопольских адах ему невозможно извлечь живую мысль и извести что-нибудь с собою оттуда своим голосом. Сам пастырь церкви говорит, как простой певец, заимствуя краски от Синая и огненного столпа. Не слова уже тут могут, а полнота слова.

Жена явилася с кинжалом,
Собор страстей ее народ.
Крилом орла и львицы жаром
От прочих отличен их род.
Здесь одеваемы женою,
Как в чаше каждая собою
Подносит полный океан.
Он бурь седалище — ужасен,
Он без брегов стоит — прекрасен.
Для быстрых бегов людям дан[2].

Неоспоримо есть последовательный драматизм в этом событии, но представить его можно только в размерах самой природы.

Но вот о себе я не сказал еще тебе ничего, да и сказать нечего. Перенес кое-как темную часть зимы, довольно у нас снежной, холодной и с буранами. Теперь начал прибывать день, будет все светлеть и светлеть, а потому и отраднее. Мне и делать нечего, как только пересчитывать дни и часы и отмечать их то минувшею, то наступающею нуждой. Впрочем, я ничего еще не потерял из своего труда, и хозяйство мое держится бережливостью. При всех угрозах расстройства все какая-то сила подкрепляет меня

и внушает надежду, что хотя я и пристав к чужому добру, но бог не лишит насущного хлеба. Thesaurus meus mecum porto. Perdit, quod vivit, quite, Deus, non dilegit*.

Простая, но страшная истина; условие и долг, который смертный сам собою принять на себя никак не может; ибо с самого рождения разрушается на всякий час.

Молился однажды Минерве не способный к пластическим искусствам юноша. Богиня явилась на помощь, и он передал ей резец и кисти. Тогда сказала мудрая: «Да ты и сам руку-то с Минервой двигай».

Увы! Уже я на деле испытал, что временная даже болезнь может, в таком же явлении, разлучить с Олимпом, а после хоть усвой минервин способ, Олимп уже не услышит.

Опять доводится сказать «прости!» Но пока дышу, молю бога: да здравствуешь.

Гавриил Батеньков.

184. Ф. В. БУЛГАРИНУ

[Соломенный, конец 1855 г.] [1]

Милостивый государь Фаддей Венедиктович.

Издаваемый вами хозяйственный журнал объемлет много предметов вообще полезных. Но случается, что местные наши потребности, преимущественно же при особенных обстоятельствах и топографических условиях, во время самой настоятельной нужды остаются неудовлетворенными.

Многие из них такого свойства, что при всей своей специальности могут составить содержание журнальной статьи, как применимые не к одному только месту, но дающие повод к общему разрешению.

Казалось бы, и для публики и для самого журнала не безвыгодно было, если бы редакция получила вопросы и краткие программы от частных хозяев по востребованию естественных обстоятельств их быта.

Пребывая в столице, вы близки к бесчисленному и разнообразному множеству техников, имеете под рукою иностранные сочинения и вообще пользуетесь сосредоточенностью средств для разрешения входящих к вам представлений.

---

* Свое сокровище несу с собой. Если погибает живущий, то [значит] бог его не любит (лат.).

Основываясь на их соображениях, я прибегаю к вам с покорнейшею просьбою, не угодно ли будет собрать и напечатать в журнале вашем статью — О хозяйственном распорядке в отношении к строениям, затопляемым весенним разлитием речных вод. Простите великодушно, что я войду по этому предмету, сколько касается он меня, в особенные подробности.

Река Томь при вскрытии весною от льда обыкновенно в апреле месяце, встречая препятствия в мелководье и между островами, загромождает льдом свое ложе и ежегодно строит себе в разных местах из этого непрочного материала всякие и не вдруг разрушаемые плотины, отчего вода ее возвышается на несколько сажен и, покрыв низкие части города, стоит на них от одного до 14 дней, в близких к главному руслу местах наносит лед, а в дальних и не подверженных действию струй низменностях, особенно между строениями, наполняет едва колеблемою ветром массою.

Последний случай падает на мою долю. Зато возвышение воды бывает до 8 аршин, и, разумеется, сильно страдают от этого ежегодно печи, полы и разные деревянные пристройки. Даже каменное на извести и цементе строение ежели не повреждается, то все же возбуждает разное сомнение.

Отсюда возникли для меня следующие хозяйственные вопросы:

1. Каким образом предпринять постепенную [выверку] местности, чтоб год от году возвышая дно приходящей на столь краткий срок воды, наконец возвыситься над нею.

2. Какие нужны работы и как располагать их, чтоб, производя выверку, обходить занятое строениями место, на время или навсегда, имея в виду двери и окна, чрез которые должно уже пускать воду, или нет ли средств избавиться и от этого.

3. Каким образом выгоднее и удобнее может быть на высоту 3-х сажен построена со стороны, откуда приходит вода, охранительная дамба, длиною в 10 и до [10] сажен, с правилами особо для каменной и всякой другой?

4. Состав цемента для кладки каменной и кирпичной, имея в виду ежегодное и неежегодное потопление, продолжающееся не долее двух недель. В особенности для устройства сводов и перемычек.

5. Опыт показывает, что часть печей, сложенных на

извести, при потоплении остаются без вреда и кирпич нимало не теряет своих качеств, между тем как связанный глиною совершенно размокает. Желательно бы иметь конструкцию печей, русских и голландских, в которых бы сколько возможно более, экономя одним даже кирпичом, употреблен был цемент и известь и нет ли глиняного цемента для печей?

6. Нет ли особо для настоящего предмета удобной конструкции для железных печей.

7. Устройство в печах, помещенных на цементе, кирпичных, каменных и пличных полов; полов чугунных.

8. Утверждение деревянных полов при бесполезности обыкновенных плинтусов.

9. Устройство потолка, где весь нижний этаж заливается и даже часть верхнего, чтоб не разрушало его и чтоб вода между двумя настилками надолго не оставалась.

10. По невозможности и вреду в некоторых местах кирпичного и в каменном строении употреблять штукатурку нужно знать состав цемента для обтирки. Здесь можно заметить, что мастера советуют при творении извести класть обыкновенные составы, то есть толченый кирпич и кузнечные огарки, а в ящики пред самым употреблением в дело вливать достаточное количество смолы. Точных же пропорций никто сказать не может.

11. При забивке шпунтовых свай, кантованных в рамы, нужны основательные правила для фланговых укреплений и поворотных мест, особо перпендикулярных и особо наклонных как по продолжению стены, так и по концам. Конечно, самое лучшее—строить по флангам каменные форты или быки, но расчет требует другого дешевейшего способа.

12. Правила для забивки некантованной с обеих сторон и без рам шпунтованной стены.

13. Правила для забивки шпунтовых стен из плах, в рамах и, если можно, без рам.

14. Правила для употребления на высо[хшие] места фашин, хворосту, дерну, слабой [плавучей] и всякой другой земли. Навозу и щеп.

Вот, милостивый государь, каким множеством вопросов вас обременяю; но польза хозяйства и <...> * стоят всякого труда. Я и решился на это по исключительному к вам уважению, с коим имею честь быть.

---

* Одно слово не поддается прочтению.

185. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Томск,] 13 января 1856 г.

Поздно я ставлю новую годовую цифру и ничего не могу представить в оправдание себе. С третьего дня праздника до конца нового года пробыл на Соломенном, и так мне понравилась тишина и уединение, что, встретив начало в своей семье, я опять туда возвратился и даже крещение пробыл один. Вчера приехал по случаю именин и только вошел в двери, узнал, что приезжал из Губ[ернского] совета чиновник с письмом и деньгами. Остальное уже скажет тебе собственное сердце, а то, что нужно, я поясню после. Все это время напрасно я ждал приезда Ев[гения] Якушк[ина], который он строго назначил на 7-е число и не сдержал слова, даже доселе. Господь знает, что с ним случилось или что его задержало. Я по обещанию готовил ему несколько листков из моих заметок и так убивал все время. Чем солидарнее слита жизнь наша с милыми сердцу, тем несовместнее с нею обязательные сроки на излияние чувств, ибо все же на это нужно хотя небольшое вдохновение, потому что чувства все происходят от бога и нередко требуют они глубины, хотя краткого замолчания. Это заметил и Соломон[1] в «Песне песней», а иногда и просто угловатое нерасположение к беседе протягивает время. Без сомнения, тебе это известно столько же, как и мне. Взамен всегда чувствуется некоторая болезненность в сердце по окончании каждого письма, что далеко не все желаемое высказалось в таких тесных размерах.

Марья Александровна, столь нежная и нетерпеливая в своих привязанностях, вечно жалуется, что ее забывают. Жалуется и теперь, особливо на Катю, что не получила на два письма ответа, я уже намерен поворчать на нее за такую претензию; ибо для полного ее удовлетворения необходимо, чтоб была только одна-единственная разлука и только две точки в мире, по выражению старика Руссо, хотя сказать на ухо, по отношению моему к тебе, выходит нечто похожее. Да вить это действительно чудо. Оно надпомнило мне поговорку престарелого отца Андрея[2], что архангел мученику не указ.

Благодарю тебя много, но заботы твои обо мне становятся уже изумительны и порядочно меня тревожат с самого открытия войны. Я знаю всю тягость, на вас

лежащую, и не желал бы умножать ее, хоть нет сомнения, что душе твоей опять тяжело такое отрицание. Милосерд бог—я располагался уже так, чтоб прошедший год в общую тесноту, по справедливости, сжал и меня. Однако прошел он так кругло, что я прокатился на прежней колее и в декабре встретил весьма умеренный дефицит, который теперь и покрыт с избытком. Надобно тебе, для ясного сведения, обрисовать картину моего экономического года. Он начинается с марта, когда я из несомненных избытков после расчета с монетным двором известного тебе моего друга[3] получаю обыкновенно 800 руб[лей]. Эти деньги располагаю на обыденный домашний расход помесячно, расход, впрочем, немаловажный, потому что живу теперь домом и в семье. Весенние издержки состоят в именинах: единственном моем празднике, которым я обязан общему меня в городе гостеприимству и который в прошлом году не попал в бюджет по случаю великой субботы. Потом следуют огородные работы на даче и небольшая прихоть, пожалуй, и хозяйство в поле. Затем заготовление дров и сенокос. Эти две статьи, простирающиеся до 300 руб[лей], покрыл Николай Иван[ович][4].

Потом все просто до осени, то есть до заготовления на год овса, муки и других припасов. Тут опять помог Ник[олай] Иван[ович] и частию Иван Дмитриевич[5]. К концу зимы закупка на Ирбитской ярмарке бакалейных для дома потребностей и тому подобного. Это собственно статья Ольги Павловны и ее братьев. Вот как оборотился год, и мы успели еще построить службы за городом и повесить в зале 20-рубл[евую] люстру. Из твоих денег обыкновенно содержу гардероб, ремонты и всякого рода пополнения. Сюда же отношу церковные расходы, а городские повинности оплачивает свободный при доме флигель. Всего тяжелее у нас прислуга: вся она наемная и пьет чай. Нужны две женщины, два дворника, два слуги, кучер и кроме того прачешная. Повара не держу.

Кредит мой в городе, пожалуй, коммерческий, но я пользуюсь им по-немецки, то есть строго первого числа каждого месяца очищаю все счеты до копейки и если как-нибудь истощусь в декабре, то отсрочка постановляется по ясному предварительному условию, которое еще, впрочем, ни разу не осуществлялось на деле, а покрывалось денежным займом, хотя я всегда во избежание кризиса и нечаянностей имею несколько сот рублей в запасе серия-

ми или банковыми билетами. Вообще я никогда рубль не теряю из виду, свой рубль, часто дичающий у других от фантазий и роскоши. Вот как нужда заставила меня калачи есть. Люблю поделиться с теми, кто беднее меня, за то и мои друзья делают по временам облегчительные мне сюрпризы.

Объяснившись так подробно, я уже на веки веков замолчу перед тобою по этому предмету.

Обымите за меня Машеньку, Николая Васильевича и орловских Елагиных[6], если в самом деле у них сама будешь, и прости, мой друг: надежда на свидание час от часу слабеет.

186. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Соломенный,] 5 февраля [1]856 г.

Воскресенье.

Мне почти не о чем извещать тебя, моя бесценная сестра, но само время так теперь стареет и скоро, что пропущенные две-три недели, говорю о себе, кажутся мне продолжительным, заматерелым упущением. Не помню уже, когда я писал к тебе,— так давно это было, по чувству, хотя простым счетом год еще в начале, а я уже дважды подавал обычный голос.

Верно, весь итог разлуки присущ душе, она дошла к нему и ключик часов еженедельно наматывает на валик цепочку массивностию тридцати лет. Без всякого сознания это выражалось бы томительною скукою и нетерпением, хотя и для меня слово сознания кажется слишком крепким, однако чувство не то, что скука и нетерпение, оно похоже на упругую спираль, побуждает разум и силится развиться. Мне кажется, я перехожу через стоячие воды Леты и снова юнею в мире, не вполне еще мне знакомом.

С этим настроением согласуются и все многочисленные слухи о теплоте и свете, просиявшем* на высотах гор и готовом озарить нашу длинную полярную ночь.

Смысл таких внушений я не перевожу на простой положительный факт, но отрадно мне, а, право, не знаю, что именно. Оно как речь в пророчестве, как удовлетворение жажды утешения, применимого не ко всем лицам, груп-

---

* В оригинале: просиявающем.

пам и положениям, но как бы ко всей натуре человека. A nihil humani à me alienum puto*.

А вот и факты. Сосланы сюда недавно три должностные лица, по суду в каком-то уголовном деле. Об одном из них просила дочь оказать милость. Когда последовало разрешение возвратить этого одного, то велено тогда же известить особым письмом, чтоб обрадовать скорее, и сказано тут же, что меру эту распространить и на прочих, ежели просить о том будут. Не правда ли, что здесь есть что-то новое, возле формы, но над формою.

Не могу сказать, чтоб моя жизнь не представляла самых упорных трудностей. Но и то правда, что я смотрю на них хладнокровно и даже с отвагою. Постоянно чувствую внутреннее подкрепление, ободряющее меня продолжать путь и даже заглушающее рассудок, требующий важных изменений, представляя лучшее по расчету как бы малодушным в отношении веры и надежды. Тут скрывается какое-то подчинение порядка и домашней экономии преобладающей вышней силе и отношений к людям — властной, действующей, верной судьбе. Где примечу тут простую привычку, немедленно от нее отторгнусь; но привычка, влекущая вперед и расширяющая чувство, мне доселе загадочна, и мне желательно испытать, не дело ли это, которого оставлять не должно.

Так долго уже идет, что я на сей день бываю доволен своим положением, и даль будущего и есть то самое, о чем я говорил выше.

Не это ли значит, что бога довольно для всего моего бытия.

Мне не хочется, однако же, остаться при неопределенном чувстве и ипотезах, но я предпринял обмыслить все это как практическую задачу. С этой точки раскрыл уже в себе два начала: одно широкое, общественное, в котором беспредельность только может быть побуждением и заменять количество, даже в самом времени; другое личное, домашнее, которому необходим отвес, который бы бил секунды.

Здешнюю жизнь пустил я от произвольной точки, взятой между обоими началами, и вижу теперь ясно, что надобно уменьшить ход, ибо неудовлетворенные потребности стали прогрессивно накопляться. С самого начала

* Ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

года видно, что рессор не довольно сжать, а перевернуть улитку, чтоб шла от полого состояния к сжатому, не умею. Однако это сущее открытие; для доброй экономии необходимо, чтоб она раскрывалась в начале года и свивалась внутрь к концу, тогда зиждется ожидание и сердце со всеми его прихотями получает постоянный правильный ход. Нынешний обратный общественный и частный прием ведет только к накоплению долгов и обременению потомства. Вся земля уже обнята: не надобно вести ее в систему миров и системы систем, а, приняв за Maximum экватор, его и сжимать в циклический оборот. Надобно раскрыть и в частной жизни подобие экватора и, определив в начале года свой собственный моральный и экономический échap[p]ement *, пустить движение к центру устройством послушного мерного отвеса. На все это потребна упругая, дисциплинированная душа, а это дело воспитания, направления науки и потенции сил в общественном состоянии. Вообще судьба наложила на нас какое-то огромное мировое дело, и надобно познать ее и самый рессор провидения, чтоб с этим делом управиться.

Пишу к тебе обыкновенно ночью или в раннее утро в загородном уединении, и ток моей мысли всегда уходит в то аскетическое состояние, в котором я так долго находился, и потому выходит целое странным и необычным. Много недостает наглядного в разрозненной нашей жизни как с твоей, так и с моей стороны, чтоб имели для тебя мои письма драматический интерес и разнообразие и не представляли бы неукрашенную сухость.

Но я верю своему чувству; оно не разлучается с тобою, и ты ясно или темно, но непрерывно слышишь, что говорю я, а не другой кто.

Проведя опять через свое сердце Машеньку, Катю, Алешу, Николая Алексеевича — всех вас и лелея мое сокровище, умолкну.

Молодой брат Елены отправился в столицы, он даже коллежский асессор[1]. Приехал ко мне в заутреню и так спешил, что напился только чаю, пока запрягли лошадей. По достоверным известиям, дело зятя оканчивается, хотя не вполне приятно, но и не так худо, как пошло в последнее время. Оба здешние генерал-губернатора на днях у нас побывали[2]. Восточный 7 минут, а западный более

---

* Выход (франц.).

недели и был очень милостив к нелюбимому им доселе городу, принял благосклонно его хлеб-соль и увеселения. В русском народе несомненна искренность во всех таких случаях, и любит он выразить свое уважение и приязнь к начальственным лицам.

187. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Соломенный,] 18 февраля 1856 г.

Слава богу, получил я от тебя письмо, и в нынешнем году посланное, и это вскоре по отправлении к тебе от себя. Через неделю и Катя обрадовала грамоткой, на которую и прилагаю мой ответ, не зная наверное, где отыскать кого-нибудь из вас.

Итак, у меня праздник, сущая масленица, с которою и имею честь поздравить. Первое марта не забуду, но уже поздно приветствовать. В счастливых телеграфных местах можно это делать в тот же день, а между нами почти месяц расстояния и всегда будет не вовремя.

Вот и мир скоро, и по самым уступкам мир искренний и добронамеренный. Имея внутри силу и достоинство, мы, по мнению моему, ничего не теряем[1]. Заметим только, что и мир тоже кризис и влечет за собой огромное перемещение капиталов. С весною нахлынет к нам иностранный привоз, которого так усердно ожидаем и действительно в нем имеем нужду. Многие вещи подешевеют, но остеречься надобно, чтоб не произвело это влияние на денежный курс, а мы даже и здесь, на жиле золота, почти не имеем уже металлической монеты. Но бог любит Россию, государь наш из лучших детей его—будем надеяться, что все совершится благополучно и к улучшению.

В моем уединении так тихо, что слышен только бой маятника, и тот за стеною. Снаружи воздух не колыхнется, мороза нет и солнышко светит зорко и приветливо. Как ни хитро выдуманы часы, все же чувствуется, что это машина, а само время нечто совсем другое. В нем никто не слышит никакого материального движения, так что если бы оно проявилось, мы ужаснулись бы на многие веки. Кто не замечает движение неба, но это так деликатно, как мысль, и движение тени во время затмений несравненно ощутительнее и страшнее. Воспоминание об одном из таких резких явлений наполняет душу благоговением; мне казалось тогда, что я чувствую присутствие

божия бытия и великие космические действия как бы почиющей в законе воли. Не содрогаемся мы при игре теней, когда придвигаем обыкновенные наши светильники, хотя эта игра ударяет прямо в лицо и открытые очи. Так невеществен свет и так груба перед ним механическая толкотня!

Столь же плавно вращается и вся жизнь наша: мы не замечаем смерти в мене поколений и сами себя чувствуем как бы всегда пребывающими в одном неразрушимом солиде, а чуть где смерть достигнет меры общего явления, хотя и никогда не сравнится с механизмом — мы повергаемся в тревогу и нечто теряем от мужества. Самая война, раскрывая широкие ворота разрушению, никогда не доходит до того, чтоб мы слышали скрип их петель даже при громе тысячи жерл. Тут же и покой, тут же и мир, неистощимо и неразрушимо. Ясна премудрость божия на всех делах его.

Собираюсь в город и потому много писать не могу, а там, верно, уже не успею потому, что давно не был и накопились хлопоты.

Прости, мой добрый друг, милая сестра, ангел хранитель.

188. Е. И. ЕЛАГИНОЙ

[Соломенный,] 18 февраля 1856 г.

Нет, моя милая Катя, письмо, о котором ты сомневалась, не потеряно и план вашего строения налицо. Могут теряться письма отсюда по причине ваших передвижений, а сюда всегда доходят и любопытствовать их некому.

Благодарю тебя за всю сердечную откровенность, за мелкий шрифт описания домашнего быта. Это всегда дорого тому, кто желает и в далеком отсутствии жить с вами; а для этого ситуация обыкновенно чертится самыми тонենькими штрихами. Я желал бы даже знать, во что ты одеваешься и как наряжаешь своего Алешу, чтоб обновы и приобретение долго желаемых безделок рисовались выпукло и колористо.

Вот посмотри на меня, каков я в серой полутриковой куртке или, пожалуй, пиджаке, в вигоневом жилете и красных сапогах. Как гордо расхаживаю по тюменским коврам и озираю зеленые, белые, голубые и пунцовые шпалеры. Как пишу к тебе перед стенным зеркалом, сидя на боль-

ших сафьяновых креслах перед желтым заводским под зеленым наклеенным сукном и с пятью выдвижными ящиками, столом, с сигарою во рту, вооруженного пальмовым мундштуком *, который я имею дурную привычку грызть и потому переменять весьма часто, так что снабжение меня этою вещью сделалось постоянною повинностью обеих столиц. Направо стоит коробка с бумагами, налево разбросанные книги и газеты, русские, немецкие, французские, а иногда и польские. У задней стены в углу комод, возле него шкап с платьем, а к обеим боковым стенам шкапы же с книгами и покрытая канфовым голубым одеялом кровать. Если ребятишки нашей Ольги посетят меня здесь, то не смеют ни до чего дотронуться и играют и ласкаются совершенно в порядке. Костя не снимает своего форменного гимназического сюртука, по чину и этикету 2-го класса; Толя роскошествует своим костюмом, которым, по словам его, он богаче дедушки. И в самом деле он обладает множеством разноцветных рубашек, имеет свой казимировый пиджак и драдедамовое пальто.

В городе занимаю я одну угловую комнату, обклеенную миленькими шпалерами по белому фону с розовыми цветами и мелкою зеленью узорно. Тут опять кровать, комоды, конторка, письменный столик, диванчик, большие кресла, италианское окно под гардинами и с термометром. На стене портрет Сперанского и в маленьком объеме «Тайная вечеря». Высота покоя в 5 ½ аршин. Я очень люблю такую меру. Там костюм мой, разные пальто и одеваюсь тотчас, не зная халата. Это потому, что в соседних комнатах живет женщина, которая разливает чай не иначе, как готовая тотчас принять гостей, а они нередко и делают ранние нашествия. При всей ограниченности средств быт наш имеет всегда какой-то праздничный вид, хотя действительное угощение невозможно.

На февраль приехал Николай Иванович, и я уступил ему вполне городскую жизнь и ее хлопоты.

Ты бы много угодила нам, если б прислала к весне небогатую, но хорошенькую шляпку, отнюдь не свыше 12 руб., имея в виду вдову за 25 лет, среднего роста, блондинку, легкой талии, с маленьким личиком и живыми, ясными, откровенными, средней величины голубоватыми глазами. Шляпок и порядочных перчаток здесь совсем

---

* В оригинале: монштуком.

нет. Остальным перебиваются. Братья дарят обыкновенно деньгами, а я всегда советую лучшие вещи выписывать, да, правду сказать, поручить некому, а когда кто делал наугад, по объявлениям, всегда не удавалось. Евгений[1] рекомендует в корреспондентки свою жену.

Вот я написал тебе решительно в женском вкусе, чтоб и ты и то видела, что я хоть немного причесанный медведь.

Не знаю, какой-то журнал, кажется, «Вазу»[2], хозяйка наша выписывает сама.

Обымаю и целую всех вас.

[P. S.] Я могу служить вам горностаями и бурундуками, но теперь поздно, надо осенью. Разве попадутся случайно. Цена на хорошую тальму не дороже 35 рублей.

Где-то там шалят. Горностая моего знакомого подменили на почте оренбургскими, а эти сущая дрянь против барабинских.

189. Е. И. ЯКУШКИНУ

Соломенный, 20 февраля 1856 г.

Не хочется мне упускать случая делиться с вами, мои добрые друзья, всем, что дойдет до меня доброго и что может послужить к утешению и успокоению одного из нас.

Вот что пишут из столицы 23 января довольно компетентные люди: «Нелли все еще озабочена[1], но ей можно *уже* успокоиться, по милости божией, хотя она того и не знает. Солнце греет и живит все, до чего коснутся лучи его, да и люди, согретые им, становятся сами добрее».

Вы, без сомнения, слышите и знаете более, нежели я в своей пустыне, не видя и города по целым неделям. Мир по моему чувству надобно принять с полными симпатиями. Тут немного задета наша гордость, услышали мы предел экспансии *, но морально ничего не теряем и, уступая, являемся великодушными; доказываем великим делом, что нам дорога вера народов в нашу прямоту. Если пойдем и внутрь по тому же пути, то много выиграем от такого урока.

Озираясь назад, надобно уподобиться жене Лотовой, обратиться в столб[2]. Не люблю я споров, огорчений, сожалений, оправданий. Что было, то было: настоящее

* В оригинале: экспанции.

положение восполнит и объяснит. Бранят или хвалят, рассказывают и критикуют каждый по своему воззрению и направлению; но от этого зависеть не должно. Мы сами довольно выдвинулись на вид и хорошо было, что принуждены долго мыслить молча. Наболтали на нас целую гору, но где же теперь все это? Очевидно, бог нас не оставил, и мы своею жизнию успели дать добрый ответ. Может быть, теперь только и созрело наше нравственное значение. Кто же здесь нас ищет, тот очень опоздал с бороною: пашня давно уже поросла строевым лесом. Перетерпим до конца — и спасемся. Право, наша группа недурно рисуется на фоне лучшей зари, и тяжело уже стало променять ее на скороспелые изукрашенные построения, как ни годны они под горячим полуденным освещением, на самые ценные залоги по подрядам... Правда, эпитеты на нас наложены самые резкие; но кто когда принимал лозунг товарищества за самое дело или одно дело за всего человека? Я собрал в себе эти мысли для того, чтоб уметь молчать и говорить, на случай, если приведется еще погрузиться в обширную стадию общежития. Впрочем, это для меня клубок нити в странствии по катакомбам. Я так уверен в его прочности, что готов бы предложить любому Тезею [3].

На масленицу собираюсь в город и пущусь во все тяжкие, если любовь к уединению не одолеет.

Траур кончился [4]. Постараемся снять черноту его навсегда и перейдем на освещенную сторону, чтоб видеть тот же образ в одних правильных благородных чертах и вне тумана кадил, как пристойно для вечной памяти.

Забудешь и добро и зло:
Лучи красот многоразличных
В сиянии венцов приличных
Соединя на светлое чело [5].

Не взыщите, более писать не успеваю.

190. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Соломенный,] 6 марта 1856 г.

Боюсь, что опять потерял я тебя из виду. Не зная, где ты теперь, пишу наудачу, сжато и не развязно. Самый день твоих именин провел по-постному, провожая своего домашнего хозяина в тайгу и переносясь непрестанно мыслию и чувством то к тебе, то к нему, и выгадал только

вечер, отправясь за город. С того времени сижу здесь в уединении, где посетила меня только чета молодых жениха и невесты из губернской аристократии и потешила жарким дружеским поцелуем. Ольга наша также побывала напиться чаю, но досадно — без ребятишек, о которых уже скучаю, и если сегодня сам не поеду в город, то завтра пошлю за ними.

Дорога ко мне прекрасная, дни при умеренном холоде стоят светлые и ночи лунные — самое лучшее катанье в Пост, какое придумать можно; но наши жители предпочитают серые, бесснежные, ухабистые улицы. Ворчу на это, но и радуюсь потому, что люблю покой. Из всей моей прислуги живет здесь охотно только комендант Соломенного, мещанин московский, 70-летний отпущенник Волынских, умный и добрый. Женщина, которая готовила стол, соскучась, вчера отошла внезапно, и я должен плестись к моим добрым соседям, чтоб не остаться голодом. Широка матушка Сибирь; широка и размашиста жизнь в ней, кабала никому не известна и домашняя оседлость до того подвижна, что кажется, в земле нет никакой притягательной силы и сотни квадратных верст тленный душный участок.

Лес отряхнул свое снежное убранство, обвалы оголили, и Толстый мыс так приблизился, что, кажется, прямо глядит в окно, а остальные горы кругом обозначились стеною и словно шепчут Ушайке, что недолго ей спать, близка пора заструиться и зашуметь в своих порогах. Пахнет весною.

Эта пора любви, обновления и счастья совершает при мне уже 62-й оборот и совершит его теперь все прежним складом. Обещают накрепко, что лето будет теплое. О, если б дал бог нам вместе погреть кости на светлом солнышке! Пора бы, кажется.

На последней почте я отправил свое письмо к Кате от 24-го октября. Вот как исправна моя с нею переписка! Объяснять эту историю было бы долго, а мне не захотелось уничтожать документа. Бывают самые простые случаи в жизни, которые делают напрасные тревоги и досады, а опытность должна служить к тому, чтоб их принимать простее. Орлов много и не все на самой большой высоте, и случается им так замешаться, что вместо Оки попадут на Вятку.

Читаю я «Русский вестник» и желаю ему успеха: он

налаживается немного на новый тон, но приметна еще непривычка и некоторая неловкость, сдается что-то ученическое, как бывает при перемене профессора, но много еще веры в крепость старого грунта[1]. Вот почему потребность в новом сильном журнале, который бы смелее коснулся жизни и расшевелил ее, остается неудовлетворенною. Понимаю, чего хочет Англия, но она сама не имеет на это творящего слова. Мир и тем уже благо, что дан, хотя, может быть, и временное успокоение избавит от истощений и удосужит осмотреться. Впрочем, он сильно толкнет, как паро́м, внезапно стукнувшийся о пристань, а продолжение нынешней *, очевидно, было бы простым возвратом к варварству. Она и была не что иное, как тризна великим покойникам. Пусть Турции становится от нас безопасно, но ей не приобрести безопасности от самой себя. Все както недостает то ума, то морали, чтоб проложить надежную колею на будущее тысячелетие, из-под старой все рессоры выбились невозвратно.

В давнее время сказал кто-то:

Восстал Титан на поле; он
Тельца златого простою
В местах, усиленных судьбою,
Все может обновлять свой трон[2].

Но как Титан не обновит Олимпа.

Верьте, что как ни неприятно, но полезнее бы нам было держаться самого тесного союза с Альбионом[3], чтоб всегда впереди была голова и не перекачнулся торс совсем на одну сторону. В морском соперничестве нам вовсе нет ничего, кроме бедственного напряжения.

Но оставим божие богу: мы не призваны никакому совету, и мышление наше ожидает одно расстройство.

Прости пока.

191. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Томск] 21 марта [1856 г.]

Бибиков привез вашу корреспонденцию, исполненную надежд, которые и сам я разделяю в некоторой мере[1]. Так далека наша страна, что и самое огромное событие не произвело здесь особого впечатления: нам давай либо золото, либо победы одну за другою непрерывно — все

---

* Далее пропущено слово «войны».

прочее трынь-трава. О! Если б желание наше исполнилось! Молюсь и молюсь. Прекрасное обстоятельное письмо Кати было мне превосходным подарком, и Евгений, мой неестественный сынок, так же изрядно и умно разглагольствовал. Очень жаль, что не могу им ответить теперь же, да и старика Деева помещаю в ту же группу. Сегодня почта, и мне надобно ехать на Соломенный по дрянной дороге с провалами и через речку; страшно, что в полдень будет уже очень худо. Встал рано, но не мог писать и отправился к заутрене, а так и опоздал. По теперешней распутице мы не будем получать почт, именно тогда, когда стали они наиболее интересными. Кажется, однако, на празднике отправить письма еще будет возможно.

Как бы ни было желание наше далеко от исполнения, все же оно оживляет душу; сердце охотно верит богу и людям, но ум требует прежде быть призванным, чтоб начать свою деятельность. Он соглашается только, что здесь я на чужой уже стороне, виден как старик, отживший век, и должен подавлять все свои симпатии, чтоб еще дальше не оттолкнуть от себя море жизни, всегда глубокое и бурное. Ежели нужно избирать себе могилу, то я не здесь бы желал иметь ее. Но, говоря о могиле, мы прямо ничего не говорим: это только способ выражения других затаенных чувств, которые мы выразить не всегда можем и не всегда хочем. Не говорю, чтоб я не способен был предаваться иногда и в область только возможного; но время очарований для меня действительно прошло вдруг, быстро и невозвратно. Правда, крепнут через это ум и воля, но я не знаю еще, как быть с ними, для себя ли сжато или немного обширнее.

Прости, милая сестра, спешу. А не правда ли, что стало все менее страшно?

192. А. П. ЕЛАГИНОЙ

[Томск,] 29 марта [1]856 г.

Приезд нашего Свербеича совершенно меня обрадовал и успокоил. Кроме самых свежих строк от 10-го марта, следственно, не с большим за две недели, он рассказал мне, что тебя видел и как видел. Называясь курьером, он как угорелый торопится, и можешь представить себе, долго ли мы были вместе, когда надобно было еще посылать за мною на Соломенный. Правда, у нас зима еще

в нетленном состоянии и дорога прекрасная, так что получаса на весь переезд достаточно, но из двух часов и такая вырезка весьма приметна.

Надобно бы здесь перепутаться востоку с западом потому уже, что мы западный, для аборигенов, берег Америки называем восточным и, бежав во всю прыть от Европы, сталкиваемся на Востоке с западным человеком прямо лбами. Однако разница страшная. Человек здешнего запада почти неподвижен, ничем не занят, ни о чем не думает: между тем восточные в вечной суете, хлопотах и заботах, так что в стремлении как можно скорее увидеться с милою невестою можно уже приметить некоторую плавность, как бы величавый дрейф при сильном течении и ветре.

Какая редкая женщина была мать теперь уже у вас известной Зины[1]. А отец, а сестра ее? Вступить в такое почтенное и умное семейство право можно назвать счастьем, и я рад за Ник[олая] Дмит[риевича], что он не растерялся в симпатиях.

Как много обязала ты меня, переслав письмо Кати с рукоприкладством Петра и Василья. Она пишет так дельно, что кажется мне, я побывал у них и перецеловал всех. По вашим обо мне хлопотам можно судить, до какой степени истинные чувства сердца и правый взгляд на положение могут найти место на исполинских высотах, вечно опоясанных льдами из предосторожности, чтоб когда-нибудь не согрелись. Впрочем, я внутренно убежден, что святой океан жизни ложь в себе терпеть не может и так или иначе выкидывает ее вон, и потому должна уже по временам обнаружиться несообразность всего, что на меня напутано, или горько обличить потом негодность начала, кажется, уже осязательно обнаруженного обоими его элементами: малодушием и упрямою гордостью.

Справедливо толкует Катя, что в нашей жизни вообще мало годного целиком перейти в вечность и получить там полное значение. Надобно просеять, промыть, перегнать и творчески преувеличить всякое дело, чтоб оно быть-то только стало, а здесь во времени, что не забыто в 30 лет, то уже должно быть изумительно достопочтенно и требовать нового выражения; если же забыто все, то три юридические давности должны развязать руки[2]. Это одна из темных дилемм, но предстоят иные, гораздо яснейшие, а когда доживаешь до дилемм, потребна необходимо воля,

поступок, решение. Подобный разум предания, разум чисто политический, едва ли вовсе не потерян в наше время, и потому нет слова между лицом и обществом. Ежели нельзя будет нам достигнуть ничего лучшего, будем, по крайней мере, стараться сблизиться по расстоянию. Выкинуть полторы тысячи верст и то не шутка.

Вытащенный против желания в город, где не хотел быть до Лазаревой субботы (отпраздновав уже именины и, что важнее, отговев и причастившись),— я теперь похож как-нибудь и на тебя, московскую переселенку. Но ближе к спасению: проболтаюсь еще один день и раскланяюсь. Хозяйственной частью я занимаюсь слегка и свысока, тем не менее расходы часто выводят из терпения и погружают в хандру и раздумье: у нас и дешевизна и дороговизна рядом, но понеже последняя перевешивает, то первой и неприметно. Ужели у вас так худо, что не достанется хлеба на продовольствие? Иначе дороговизнь не бывает во вред помещику, признаться, впрочем, надобно, что я вовсе не знаю теперешнего вашего экономического быта, а чудится мне постоянно, что он не может быть в прогрессе.

Обымаю тебя, сердечный мой друг, и с тобою всех твоих во имя и с словом предстоящего воскресенья.

193. В. И. ШТЕЙНГЕЙЛЮ

[Томск,] 15 апреля [1856 г.]

Пасха.

В сей лучший день в году я обращаюсь к тебе, мой добрый друг и брат, с сердечными пожеланиями и приветом. В юности читал я книгу, в которой один английский ученый стройно, научным порядком доказывал, что воскресенье Христово имеет всю достоверность исторического, и с того времени всегда мне казалось неприятным, что наука ничего не основала на вере и признании такого великого факта. Теперь мне уже кажется, что и на это отклонение науки есть также воля божия[1], но понятия наши об ней принадлежат к тому роду, который мы называем судьбою или иррациональною стороною провидения. Хорошо было бы, по-видимому, привести сюда и то, что мы называем непостижимостью, но путь к этому последнему чувству совсем другой, именно потому, что чувство оно, а не разумение.

А я и желаю сегодня преимущественно чувства; самую



В. И. ШТЕЙНГЕЙЛЬ
Литография О. И. Эстеррайха. 1823 г.

беседу с тобою начинаю потому, что чувство к тому побуждает.

Распутица в нынешнем году не лишила нас радости узнать о заключении мира, и с этим известием прекратилось правильное получение почты. Как велико было в людях желание прекращения кровопролитий, может прекрасно выразить чудная сцена, когда в самый день кончины Мих[аил] Яков[левич] Ядринцов [2] непременно требовал показать ему тот листок, где написано о мире; с усилением зрения прочел и, перекрестясь, произнес уже последнюю молитву и благодарность.

Есть много, мой милый друг, удостоверений, что в нынешнее лето располагаются отпустить нас, и даже выражено желание увидеть и разглядеть. Поздненько, правда, и как-то не очень поспешно, хотя есть и оправдывающие

причины. Впрочем, никак уже не так, чтобы выжидали, не умрет ли кто еще.

Давно я от тебя не имел никакой вести и затрудняюсь даже, к кому адресовать письмо. Мне кажется, мы порядочно уже запужались; да и города, в которых мы живем, день от дня более разлучаются. В нынешнем году еще никто не приезжал от вас и отсюда к вам также. Часто вспоминаю я это с скорбию, полагаю, что тебе не так ощутительно, потому что все лица обращены у вас на запад, и кто б мы для вас ни были, вы всяко к нам стоите тылом, как к отсталым географически и запоздалым на ощутительный отрезок времени. Знание географии и огромный государственный быт преобразовали человеческие соотношения и конституцию коренных чувств, так что теперь и с вопросом об отце всегда вяжется другой вопрос: где он?

С иркутскими несколько раз случалось перекликнуться, однако ничего не знаю об них детально. Последний к ним отправился жених Зинаиды Трубецкой, молодой лицеист[3] Свербеев, которого, верно, и ты знаешь уже по слуху. Итак, девицы наши все разобраны, и одной из них довелось уже понести крест едва ли не в ту же меру, как и родителям. Долго были по этому делу благоприятные слухи, но внезапно дан ему новый оборот, и никто сказать не может, чем кончится.

Нам, по крайней мере, то хорошо, что на другой чашке весов никого нет. Добро — нам одним добро; худо — нам одним худо. Выходит, что исковые уголовные дела точно уж от лукавого.

Весна у нас еще упрямится. Лед на реке крепок, снегу растаяло мало, по утрам мерзнет, а не далее как в прошлом году в эти числа видна была зелень. Как ни судить, однако, а в наш бурный и умный век в природе никакой перемены не последовало и не ответила она ничем на так называемые наши над нею победы, по крайней мере, мы не имеем глаз и слуха для этих ответов.

Прости теперь, душа моя, откликнись.

194. Н. Д. СВЕРБЕЕВУ

Соломенный, 2 мая [1]856 г.

Знаю, мой добрый Николай Дмитриевич, что вы заняты теперь вполне другим делом, нежели досужною бесе-

дою с любящим вас стариком; но представ очень благоприятный случай окрикнуть восточных моих друзей, между тем как они и я, мы нередко засыпаем молча на несколько месяцев. Впрочем, у вас и сон сладостен, потому что играет кругом громкий хор и видятся прекрасные сны. Здесь сон — там сон, и благо, что весенний поток нарушил немного разнообразие, по крайней мере, на нашем дворе в двух форштатах.

Правда, по случаю 1-го мая вчера было на меня из города порядочное нашествие, но в шубах встречать весну как будто немного и невежливо, и общий для всех *благодетельный мулла...* самовар, соединив в одном углу всю компанию, заставил забыть и времена года, и широту места, и прочие данные моего переплетенного в шагрень календаря.

Вместе с сим отправляются к вам еще две питомицы наши, прошу принять их и любить и жаловать, одна из них очень хорошенькая и носит на себе дорогое вам имя [1].

Не знаю, как у вас, а здесь сердечные дела развиваются быстро, и второе после пасхи воскресенье застало все романы конченными, эпизоды отброшены в сторону, и общественная стезя потянула молодых вдаль и вдаль по своим рельсам.

Приятно видеть, как хорошо вы рассчитались с войною; удалось вам и Сибирь позолотить немного славою и видно, что умели придать цену своему товару.

Я всегда рад, когда энергия торжествует. Будем умом держать наши отношения, но мне доводится признаться, что и сердце несколько затронуто.

Обратясь к давно прошедшему, чудно кажется, что малолетние так и скоро вырастают. Любопытно, что вы будете делать теперь с рекою Любви. Населить бы ее всю разноцветной эмиграцией, а положение места представляет много выгод, как будто Магеллан и Васко единожды навсегда обогнули мир и тут почили [2]. Торгуйте льдом, пока нечем более: у вас может быть июньская добыча. Взгляните, пожалуйста, с мирной точки и делайте хотя фантастический на первый раз очерк.

Люблю я тебя, Свербеич, и между нами много есть родственной связи. Тут же смешались и мои молодые симпатии к Лицею, дай бы бог, чтоб это творение моего второго отца сохранило свои предания и чтоб ссылка на

Петербургскую сторону, как всякий крест, послужила только к их освящению[3].

У меня лежит на душе вопрос: нет ли возможности хотя в обыкновенную меру общежития сблизить Сергея Петровича с Масаловым[4]. Уверяю вас, что это добрые и симпатичные ко мне люди. Не скрываю некоторой угловатости, но мне, по крайней мере, она ничему никогда не мешала, и я с полным доверием и без ошибки вел добрую приязнь. Конечно, в этом и нет нужды, но мне как-то простее не разразнивать речи и своих группировать без всякой оглядки.

Вячеславу поклон, Бечастному поклон, привет Ротчевым и Бибикову[5].

Спасибо за свидание.

Чтоб довершить деревенскую грамотку, опять спрошу, не встречаете ли как-нибудь Александру Петровну Смирнову, в доме она Серебрен[н]иковых — ее обрадуете, если скажете, что я об ней осведомляюсь.

И забыл, что вам не до меня,— прощайте!

Тост за ваше здоровье и счастье!

195. Е. И. ЯКУШКИНУ

Соломенный, 3 мая 1856 г.

Благодарю вас, мое милое чадо, за грамотку от 30 марта. Хорошо вы сделали, что не струсили просрочек и в отвращение предварительно сложенных уже штрафов как правовед-дилетант у места цитовали всемирный милостивый манифест[1], гласящий в одном из пунктов, что лучше поздно, чем никогда.

И добрые вести слышать утешительно, нельзя и сомневаться, чтоб побуждения были лукавы и лицемерны, все, однако же, надобно сказать, что таким образом можно корабль навести на бурун, а поворотить или положить в дрейф нельзя.

Положим, что руль установлен правильно и прочно, но если мачты допущено ставить и перестановлять старшим из плавателей, не спрашиваясь корабельного архитектора, то руль может себе вертеться на любой румб, а судно его не послушает и увлечено будет морским течением ... и должно будет спасаться на мели... Горестный этому пример представляет сам Пий IX[2].

Прекрасно заводить то и то в губерниях, да губернии-то еще учредить надобно и сколько-нибудь согласить есте-

ственное разделение России с рациональным. Сами видите, что законодательство наше отрицает или, по крайней мере, не признает ни истории, ни этнографии, ни климатологии и не ищет никаких данных в основание, боясь стесниться и ограничиться или определиться.

Разуметь, по крайней мере, надобно, что мы бутим теперь чем ни попало тряский грунт наш, и когда там и тут означатся отверделые места, здание само на них станет, хотя не стройное и безвкусное, но удобное и прочное вековое, что и случилось в Англии. Но, с одной стороны, надобно еще разносторонне обозреть образ, проверить меры и сроки принятого таким образом Символа; с другой же, обратиться к опыту. Мы точно так бессознательно бутим уже 60 лет между пробитыми из кольев кое-как линиями и совсем для другого здания, а об материке доселе ничего не слыхать: верно, уж слишком жидок грунт и от буту только далеко расплывается в стороны. Вот почему не худо бы забить местами и чесноком * сваи, а более всего помнить, где они забиты.

Римляне для гвоздя выбирали диктатора, а сваи вить толще и нужны современные имена Моисея и Магомеда, чтоб укрепить грунт хоть на тысячу лет. Предмет этот такая потребность, что с него бы и начать новые журналы правдиво, добросовестно. Могут одобрить — дело начато; не могут — господь с ними, как терпели пресс, вытерпим и разложение.

Памятник Крылову, памятник Карамзину [3]. Это не те сваи, о которых я говорю, и на своем они месте разве тогда, когда уже предпринят, развит всеязыческий элемент нашего общества.

Примем теперь за основание, что Россию повелением сдвинуть нельзя и что можно ее до времени эксплуатировать добром и злом,— так порадуемся же, что добром начали.

Добро и уголовный суд — в некоторых объемах жизни это совместимо, но в высших слоях я не понимаю соответствия между этими идеями. Закон говорит: «не убей» — но государства и убить нельзя, «не укради, не прелюби и сотвори опять то же» и все 10 заповедей, кроме первой, здесь неприменимы, разумеется, в строгой точности буквального смысла [4].

---

* Так в оригинале.

Бог знает, что будет с Россией!

У нас даже нет простого юридического смысла в жизни, а добыть его никто не старается. Добыча эта предоставлена творцам, и одно у них орудие ... слово.

Старые, но живые народы представляют глубокие, наполненные самою эластичною субстанцией бассейны. Из этой материи можно вытягивать бесконечные полосы. Силы правительств тогда и в полном действии, когда умеют или принуждены бывают это выбрать и произвести. Тут и важно понять, что сделано, что проявилось, ибо это и есть закон. Вот мы учредили государственные имущества, в смысле фискальном, много ежели материально-экономическом, против воли бессознательно и [да]же глупо[5]. Но огромность меры уже означилась и вид[ится] с изнаночной стороны и в союзе с безмерным развитием ипотечных долгов рекламирует уже себя как переходный закон к эмансипации невольного сословия. Когда же и это совершится, то вся совокупность факта обратится в какой-то кардинальный, неподвижный закон, в выражение конституции [народа] и пребудет с ним, как сомкнутый цикль его истории. Это и есть такой акт, который безразлично мы можем назвать роком, судьбою или провидением, древняя трагедия или знала это, или имела достаточное предчувствие. Той же самой натуры меры сороковых годов — переложение курса — и сам нынешний мир. От этих мер обращаться <...> * значило бы мучить и мучиться. Отмена нан[т]ского указа[6], изуродование дворянской грамоты, уничтожение Сената! Тут потребно выждать час зрелости, понять сие, выразить зрелость словом и далее на том уже основать законное пользование. Здесь ясно видно, как велико различие между пустой теорией и историческим ходом и почему априорические конституции всегда являются миражом.

Теперь извольте, милостивый государь, свернуть этот листок, отправиться к Авдотье Петровне, сказать, что вы его получили; известить, что писано к ней чрез А. И. Свербееву[7] и на ее имя через Белев. Вы привезли мне иноязычную библию, но в ней разрыв с прежней доставкой. Недостает левитских книг с 481 страницы, всей книги «Числ и Второзаконие», то есть 3, 7, а может быть, и 5 Mesten Erstes Bandes, а следует уже вторая часть

---

* Одно слово неразборчиво — текст выцвел.

с книги Навина, вся обоих отделов, а 3-й части только Erste Abteilung. Erstes Heft, так что и Псалтырь не кончена, но это, верно, еще и не вышло, хотя дата 1853 года[8].

Засим прошу отыскать Деева в большом трактире против дома ген[ерал]-губ[ернатора] на Тверской, кажется, в III отделении № 11, и бранить его, что не пишет. Поклониться Молчановым, непременно ознакомить меня с Еленой Густавовной[9] и исполнить при содействии всего света следующие поручения: отыскать, купить и переслать кожаные, струнные помочи и два черных шелковых платка. Здесь вовсе нет и несносную [прод]ают дрянь. Также нет у меня ни фуражки, ни порядочных перчаток. Уполномачивая на все это занять в Опекунском совете до 15 руб. серебром, которые и будут немедленно уплачены мною, даже хотя немного и свыше.

Сестра и племянники вам кланяются[10]. Первая совсем сдурела. Собирается уехать под Чуваши и потом в Коряков... Уймите ее, а не то я осержусь. Ну довольно.

196. Н. Д. СВЕРБЕЕВУ

[Томск,] 7 мая [1]856 г.

Вот и 29 апреля[1] уже настояло и по обыденному счислению прошло и миновало. Но для вас, мой добрый друг, пребудет оно навсегда как неподвижный зодиакальный круг, как начало нового цикля в отметку счастливых дней. Радуюсь и паки реку, радуюсь, поздравляю от чистого сердца. Тост за молодых, тост за отца и тяжелый из самой глубины сердца вздох в память матери. Дети, рождаясь, плачут, почему не выронить слезу и среди восторженной радости. Прекрасно означили вы свои ко мне симпатии, призывая к участию в самых лучших в жизни чувствах. Живите, молодые, и наслаждайтесь, будьте наградою за страдание и залогом божия благоволения!

К вам писал я на днях с Масаловыми, еще до получения грамотки 27 апреля, теперь передаю вам здешнюю малолетнюю Зину. Это единственная дочь большого дружного мне семейства Сосулиных; полюбите ее, хорошенькую, и Зинаиду Сергеевну убедительно прошу ласкать ребенка при посещении института. Не помню, видали ли вы у меня Пьера, ее отца[2]. Это славный молодец и

с добрым чувством; отчаянный хлебосол и человек верный в приязни.

Тогда же явятся и две другие, Филимоновы[3], которые еще больше меня любят. И об них тоже слово. Старшая Ольга Ник[олаевна] должна поступить пансионеркою, потому что перешла общий приемный возраст, девочка даровитая и может войти во второй класс. По расстроенному состоянию родителей нелегко им будет содержать ее, и великое было бы благодеяние, если б всемогущая власть Н[иколая] Н[иколаевича] вывела их из такого затруднения; меньшая принята на счет здешнего банка и не обременит семейство свое. Может быть, потому, что исключительная моя любимица, хотя для нее я ничего не сделал. Как великий дипломат, удержась взглянуть на это дело, научите и помогите направить его ко всему лучшему и удобнейшему.

Заметили вы, как царь выуживает ваш лицей из-под военной окладки? Слава ему.

Осыпая вас желаниями всех возможных благ, прошу поклониться моим допотопным товарищам и чадам их.

Прощайте...

197. [Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ] [1]

[Томск,] 7 мая 1856 г.

Ваше путешествие в западные страны прервало на некоторое время ход нашей переписки, а когда вы прибыли на место, непрестанно я слышал, что отправитесь сюда, а между тем вина моя накоплялась более и более и наконец вот до какой дошла меры, что вы уже приняли ее на себя.

Прекрасно вы разобрали нынешнее положение вещей: конец и начало. От неосторожной игры огнем довелось потерпеть обжог и на деле исполнить евангельскую заповедь: «аще око твое соблазняет тя» и пр.

Жизнь и наука делают огромные шаги; географические условия начинают составлять статистическую ценность. Города, реки, горы могут быть взвешены и выражены цифрою, входить в формулы или занимать точки в каком-нибудь дельном очертании. Все это ведет к обновлению как человека лично, в семейном быту, так и огромную целость царства! Когда же будет уже светло до того, что под густотою материального покрова откроем божие бы-

тие, точка действительно переправится в новый свет с жизнию, наукою и делами.

Такие весьма недавно еще завоеванные у мистики мысли становятся теперь логическою потребностью.

Здесь виден возраст наш духовный,
Как, отрясая вещество,
Вставал из праха дух свободный
И понял мысли существо.
Локтей и стоп оставя меры,
Взял в руки ось земныя сферы,
Потом ось годовых путей.
И сей титан свой рост теряет...
Так напоследок ум взлетает,
Пределов не нося цепей.

Скоро, может быть, мы увидим железные дороги из Москвы в Одессу и из Курска в Динабург — эти осязаемые гарантии мирных наклонностей народов, равные почти самому земледелию, верные компаньоны его, но различные от него широтою обзора. Сколько от этого произойдет изменений в экономическом быте России! Сколько передвижения населений, перемещения капиталов уже в состояние не колеблемое, а отвердненное! И в то же время родится географическое понятие и географическая мысль в народе. Дипломатия и скрытная политика кажутся уже чем-то ветхим, односторонним, бессильным, неудовлетворенным, и требуется, чего бы то ни стоило, выяснение и выражение народного и международного права. Но здесь еще нет рельсов, хотя близки уже мы к открытию, пониманию и познанию космогенической и универсально-деятельной силы... Бога, а может быть и к <...> * к ней для всякого пользования.

Без этого, впрочем, и теперь никто обойтись не может, хотя глубоко несознательно [2].

Наша местная летопись последнего времени показывает два брачных сочетания: одно — в доме Ф. А. Горохова старшей его дочери Ольги с прокурором Коньяром [3], ровной парочки и взаимно влюбленной; другое — в доме Атопкова также старшей и единственной от первой жены дочери Танички с известным у вас в Омске Семеновым [4]. Три новые проекта невест отправлены в Иркутск для приготовления в институт; это: две младшие Филимоновы и Зиночка Сосулина. На другой странице летописи записано

* Пропуск в тексте примерно на десять букв.

страшное нынешнее наводнение. Лед на Томи тронулся 16 апреля и четыре дня стоял затертым. Весь наш двор был залит, и вода доходила по улице до соборной ограды. Теперь последовал второй потоп: он менее прежнего, но озорничает немало — это от дружного таяния глубоких снегов и, вероятно, от сильного разлива Оби, оспаривающего течение нашей реки. Погода стояла до сего дня холодная, от нуля и ниже, до +5°.

Скажу теперь несколько слов и на вопрос ваш: ежели сколько-нибудь развяжут ноги, я намерен водвориться у своих, в Тульской губернии, в деревнях около Белева. Иван Великий приглашает в Нижний; но так мне не приводится [5]. В случае же освобождения более обширного,— на что трудно надеяться,— буду жить в которой-нибудь из столиц, где много еще осталось близких, дружеских симпатий.

Прекрасен наш граф в своем посольстве, и как оно светло в сравнении с Константинопольским! [6] Не пало никакой тени.

Покорно прошу сказать мое Христос воскрес г. Померанцевой [7], а мать ее просила вас поклониться и поцеловать Сашеньку, на что и я прошу позволения.

Благодарю вас много и пребуду всегда с должным и искренним чувством преданности и уважения.

Батеньков.

Масаловы вчера (6 числа) уехали в Иркутск.

198. Е. И. ЕЛАГИНОЙ

[Соломенный, Томск,] 7, 8, 10 мая 1856 г.

Вечер, за городом.

Может быть, моя милая Катя, и не все получили мы письма друг от друга, но нет никакого основания предаваться сомнению и простой случай приписывать какой-нибудь враждебной причине. Я жалею крайне, представляя себе возможность утраты хотя одной твоей речи, но не хочу беспокоиться и рад был бы навести тебя на то же чувство.

Праздник прошел для меня не очень весело. У нас было большое наводнение, и даже до сего дня вода беспокоит и стояло холодное, сырое время. До получения последнего письма от сестры я не знал, в Москве ли ты или осталась в деревне и что твой Алеша [1], о котором

после грустного известия прервались распутицею все сведения, потому что наши огромные реки останавливают обыкновенно пять почт, и ты очень кстати явилась утешительницею с первою полученною из них. Переправа через Обь на 70 верст делает изрядное препятствие, да и через Томь доселе не ходит паром, а там еще Иртыш, Тобол, Тура, также знаменитые своими разливами, и делают путь незначительную часть водяным, а к тому еще неиссыхаемые грязи по Барабинской степи на 500 верст.

Но это все физические невыгоды, и слава богу, что нравственно не вторят им, разве отнести сюда твои пылкие чувства и благородное негодование на несбывающиеся надежды. Впрочем, со всех сторон приходят удостоверения, что вскоре надобно ожидать и благоприятных дней, да и теперь уже сильно уменьшились тревоги и симпатии высказываются без страха. Война здесь была мало ощутительна, а потому и мир принят, как историческое событие, более важное для востока нашей страны, и не многим понятно его значение.

Кажется, просто обожглись, играя огнем. Самая торговля наша не простирается до Черного моря, и разве единственный поставщик свинца, не докончивший полного оборота своего дела, почувствует влияние перемены. Поговаривают у нас об учреждении наместничества, об открытии университета и женских гимназий по губерниям, но все это не означилось еще официально и не раньше сделается интересным, как в реализации и действии. Город наш как отдельный оазис в пустыне. Сильно замкнут в самом себе и после большого денежного кризиса не представляет никаких резких явлений, а только приноравливается мало-помалу к новому своему положению.

В частности мы отпировали несколько свадеб, отправили несколько девочек на воспитание в Иркутский институт, готовим в пользу бедных благородный спектакль — вот и все.

Весны у нас еще нет: лес не позеленел, травы не видно, а во многих местах белеет еще снег. Только одни исто евангельские цветы иммортели, кажутся золотою россыпью, оттеняемою фиолетками. Но природа как здесь ни скупа, но всегда в сроки и усердно расплачивается с своими долгами. Два-три теплых дня — и все примет праздничный вид; есть поговорка, что на дальнем севере можно видеть самый процесс рождения. Как бы человек пытлив ни был

и как бы ни вооружал свои чувства, он должен знать, что природа со всех сторон его обошла, и он, погруженный в нее всем своим очертанием, может только то чувствовать, что его касается, а тут же и стоит на страже смерть, не попускающая проникнуть в самую бездну. Правда, фантазия силится разгадать и пересказать тайны и если ведет иногда к открытиям, все, однако, в том же самом круге, который очерчен условиями нашего бытия, и если мы, вооруженные искусством, силимся взглянуть далее — прежде всего оскорбляется эстетическое чувство, явления, не соотнесенные к строю наших органов, кажутся гадкими, и строгий ум не одобряет такие попытки, как бесполезное нечестие. Но человек давно не щадит себя, ему не дорога жизнь, он охотно расточает ее на познание добра и зла и имеет главною задачею приобрести высокий божественный ум и дух бессмертный, как праведное воздаяние за страдания свои, смирение и веру. А это такие дары, которые не могут уже основаны быть на веществе и должны опираться на бога, как всякий свет и сила; даже необходимым кажется условием слышать его живое слово.

Болью только мы чувствуем вещество, все прочие чувства ведут к познанию бога. Старайся чрез себя самое привести в ясность это познание и не пожелаешь динамически или наглядно искать истолкование жизни. Сильно любить будешь в своем дитяте повторение того же творческого акта, которым ты сама создана, и изъяснится тебе нынешняя бессознательная любовь, более страстная, нежели разумная. Действие божие всегда беспредельно, потому и видим, что просветляемые народы собраны в огромные общества, в которых каждый индивидуум ищет и находит свои силы. Бытие есть та же бесконечность, полая в одну сторону и определенная началом, как удел и особь, что и называем сотворением. Это определение составляет судьбу и сущность каждого предмета и чувствуется ясно в собственном нашем ... я.

В видимой природе я чувствую пространство и ищу его чувствовать и исследовать, люблю физиономию неба и, дорожа эстетическим чувством, удаляюсь от механических воззрений, я уверен, что они реализуются только рукотворением, а обширные математические явления в природе должны быть относимы к другим высшим началам, как проявление воли божией в порядке открове-

ния вечности, неуловимое нашими крошечными орудиями, которые только искажают их красоту в нашем чувстве.

Это я оканчиваю уже поутру 8 числа и сейчас еду в город, осмотрю только строение заложенной соседом прекрасной часовни с намерением освятить ее в церковь, если позволят средства дать требуемое законом обеспечение ее содержания. Я смотрю иногда на избранное для того красивое место, как определенное в покой моих костей, но доселе сильнее еще надежда, что они лягут у вас, возле костей лучшего из друзей моих[2], и что жизнь моя не угаснет прежде, нежели оставит какой-нибудь след в достойном его семействе.

Прости, мой друг, обыми за меня мужа и сына. Меня обрадовала мать пересылкою одного из твоих писем с припискою от Петра и Василия. Мне это нужно было как дополнение.

Помечаю в городе 10-м числом, завтра отошлется, а меня уже здесь не будет.

199. В. И. ШТЕЙНГЕЙЛЮ

[Соломенный,] 16 мая 1856 г.

Слава богу, получил и твою грамотку, мой добрый друг и брат; она от 4 мая, следовательно, не залежалась и пошла после распутицы, и это вполне успокаивает начавшуюся уже о тебе тревогу.

Письмо от 3 февраля мною получено, а, верно, пропал мой ответ, что и могло случиться по неверности слуг, часто здесь переменяемых, а чтоб менее грешить, оно, конечно, было обширно, и Ольга Павловна вложила еще свое,— и вес превысила. Но разыщу: может быть, и сыщется, ежели срок не прошел; а есть у меня в памяти и самое сомнение, именно этого рода. Да, точно так и есть. По справке почтовые меня уверили, что у них нет и вес не остановил бы, а зная по печати, записали бы деньги на нас и после получили; по карте отправка еще не разыскана.

Я хорошо знаю Анжу еще со времени сборов его в экспедицию на Ледовитый океан в Иркутск с бароном Врангелем и переписывался с ними во время их странствия. Притом еще он родня Асташеву. Я был очень обрадован благородным его чувством и, прочитав снова письмо, обновил мою радость[1].

Нельзя не заметить, что мы довольно счастливы со-

хранившеюся к нам симпатиею старых друзей, большею частию поднявшихся высоко, и может похвастать, что не ошиблись в их выборе. Меня всегда удивляло только их бессилие помочь нам, хотя по всему мы с тобою засели тут отнюдь не глубоко. Сначала мне казалось вопиющею несправедливостью; притом кое-как приподнимался в уровень; а теперь уже смешно было бы отталкивать от себя понесенный крест. Чудно также, как не могли доселе разобрать, что лозунг далеко не дело и не умысел. Весьма основательно смотришь ты на будущее. Леность, рутина и эгоизм хорошо закрылись названиями охранителей и, не умея сами жить, вероятно, и других не допустят. Как бы кажется, получившим даровое счастие не почувствовать благополучия, не поделиться им с нуждающимися и не вознести к богу сердечного благодарения? [2] Знаю, что грунт под всеми тонок и скользок, все же не так, чтоб нельзя было удержаться на ногах, если, впрочем, руки чисты. По прочтении мирного трактата кажется и хлопотали о пустяках. Верно, уже мы замахивались слишком широко, когда пролито столько крови, чтоб разжать кулак. В наш век умеют как-то все преувеличивать. Видят зорко, а не умеют различить злодейство от моральной отваги. Сколько успели построить дорог и железных и каменных, а нет и тропинки к индивидууму: ни телескоп, ни микроскоп не помогают разглядеть его. Правда, в номерах мало отличительных признаков; но ведь мы занимаем самый конец номерации и потому должны быть приметными.

Желал бы я знать, к чему послужили чрез столько лет ежемесячные ведомости, и никто не догадался, что в них пошлые пустяки, а все же нет черных пятен.

А адмирал все же светло глядит.

Маремьяна-старица позаботилась и меня успокоить на твой счет. Добрая баба, умная и деятельная. Я бы продал что-нибудь, если бы имел хоть нитку не общую и не строго потребную для обыденного употребления. А знаешь ли ты, что я во всю жизнь мою ничего не продал? В старой Греции это сделало бы меня основателем школы. Все купленое и не вошедшее в употребление или вышедшее из него — я все раздаю и вообще покупаю не для себя, а в общину. Так и мысль стоит: завожу, чего дом и семья требуют. Даже и не кормлю себя; мяса и рыбы не ем с лишком 30 лет, и хотя дома непрерывно стол человек

на пять, на шесть, но я обедаю всегда в гостях, а ужинать не привык. Сапоги ношу дотоле, пока все мастеровые откажутся их починивать; новые часто переходят к другим, не бывши и надеваны. Не люблю обнов, особливо на голове и на ногах. Прочего платья много; нет только шинели, и больно состарились шубы. Белье — моя главная роскошь. А дом требует сажен 150 дров, копен тысячу сена, пудов 700 овса и проч. по соразмерности; да одной услуги 10 человек на жалованье и содержании; хотя нас и двое, но в прошлом году была моя главная часть. Худо и понимаю, как бог помогал доселе.

Весны у нас нет: ни земли, ни листьев. Вчера и сегодня выпал глубокий снег, неизвестно куда пропадающий в полдень, и земля замерзла. Бедный мой огород! А что еще и будет? Лета остается не с большим два месяца.

Ну эта легкая грамотка уже не перетянет. Читай на здоровье! У Ядринцевой[3] сейчас побываю и тебе расскажу после.

200. В. И. ШТЕЙНГЕЙЛЮ

Томск, 4 июля 1856 г.

Ух, как я замедлил тебе ответить.

Последнее время был в великих хлопотах: надобно было разорить все свое хозяйство, и я увидел, что легче устроить его в десять лет, нежели покончить в несколько дней. Ольга Павловна уехала сперва к отцу в Киренск *, а потом располагается переехать в Тобольск и жить там с сестрою. Следственно, осенью ты ее увидишь, и я прошу тебя выразить всю благоприязнь во имя нашей дружбы.

Ты обратил внимание на слова, что нас хотят видеть. Это передали приезжие, и мне самому показалось что-то знакомое в них, как бы намек на процедуру первоначальную; однако смысл подлежит и ограничению. Может быть, кто-нибудь хотел, не опираясь слишком на торжественном дне, продолжить надежду еще на неопределенное время, указывая на новое намерение посетить когда-нибудь Сибирь. Впрочем, ужели случится такое противоречие, что бежавшие и подымавшие снова оружие получили полную амнистию, а неуклонившиеся от суда должны быть из нее

---

* Так в копии, вероятно, следует читать: Коряков, место жительства отца О. П. Лучшевой.

исключены. Но и это до нас прямо не относится: мы глубже в рабстве, нежели иноязычники.

Что бы ни было, а я употреблю все старание отсюда выехать, по крайней мере на Иртыш и Тобол. Тяжко жить здесь, хотя большинство и не отказывает в доброй приязни. Все разрешит Натальин день, хотя бы довелось сказать: вот тебе бабушка и Адриан!

Меня ужасно тяготит отдаление; кажется, живу на самом краю света, а если еще воображу Иркутск, то кровь леденеет. И за десять верст нестерпимо подвинуться на восток...[1] Приняты меры, чтоб письма на имя Ольги Павловны я получал; но как перешел я теперь в дом Квятковского, то можешь адресовать и на имя Апполинарии Тимофеевны для передачи дедушке[2]. Ты должен знать их по Таре.

Разных перестановок и волнений в своих чувствах теперь не описываю; довольно сказать, что отрешение от хлопот мне весьма по нраву. Начну сжиматься в одну точку — а ей везде найдется место. Молодость далеко впереди, можно и отстать от нее по самому естественному побуждению. Старикам легче всего успокоиться в своем «я», которое уже никому другому и не нужно.

Во всю мою жизнь я ничего не продал. Не хочу этого и теперь: все раздам. Жаль только, что и товарищ в том же расположении и положении,— а то бы легко было взять котомку и уйти из ворот.

С удовольствием перечитываю письма Анжу и поздравляю тебя. Два другие его товарища также хороши, особливо Матюшкин, любящий меня, как родной.

Все бог устроит, и я верую, что даст нам вкусить нечто от его благости хотя в самый разрыв последнего дня.

Яков Дмитриевич* на днях приехал в Иркутск, попрежнему дружественный, хотя и под звездою[3]. Сегодня ждут нового бригадного генерала; преосвященный в отлучке на восток, а губернаторствует Александр Васильевич[4]. Дождь льет и пугает сено; хлеб крайне подешевел от уничтожения казенного Киреевского завода, и пахать становится невыгодным. Вот наши живые интересы настоящих дней.

Писать более не успеваю: нужно еще многое ула-

---

* Рукой М. И. Семевского далее вписано на полях: Казимирский.

дить, прекратить, передать и сократить за городом.

Прости, мой добрый друг и брат. Да хранит тебя господь.

201. В. И. ШТЕЙНГЕЙЛЮ

Томск, 27 июля 1856 г.

Ежели удалось мне обрадовать тебя в день именин, то и ты последним письмом отплатил мне вполне. Сама хозяйка, передавая его мне, разделяла мое чувство и настойчиво потребовала, чтобы я тебе поклонился, когда узнала, от кого.

Чтоб выразуметь это дело, надобно дать всю цену тому процессу мысли, который совершился в наших душах и о котором весть мы успели передать друг другу. В мирском состоянии человек походит на Луну: он знает день и ночь, но не видит и не признает надобности повернуться для этого на своей оси. Чтоб познакомиться с Землею, он охотнее перебежит половину своего экватора, нежели даст себе перед узнать, что нужно, посредством наблюдения турбитаций [1]. Так обнаруживается, что в невольной нашей неподвижности мы совместили и покой и движение, почувствовали время как с той, так и с другой стороны. Кажется также, что мы не совсем глупы были в нашей молодости и могли, наконец, употребить в дело сравнительный метод.

Настойчиво уверяют серьезные люди, что в положении нашем около 19-го августа непременно последует что-то лучшее. Если нет, то упорство нашего креста, оставляя крайнюю непоследовательность в виду всех, означит уже нынешнюю судьбу. Стоило только эмигрировать, чтоб теперь же все было кончено. Бакунину, самому *Бакунину*, как читал я сам в лейпцигской газете, позволено возвратиться! Этому удивляются немцы: удивляются и силе ходатая, кавказского Муравьева [2]. Ужели все так уже, что ходатайство составляет единственный принцип. Узнаем и это [3].

Ольге Павловне нет нужды тащиться на судах: она так отправить намерена только оставленные здесь вещи и будет сама у вас в начале сентября. Ей хочется пожить в Тобольске с любимою сестрою, а мне также с тобою. Само собою разумеется, что лучше было бы увидеться, да и уехать вместе.

Восток был мне и ласков и тепел; но я все в нем исчерпал, что только было моего; неотразимо хочется хотя приблизиться к другой стихии. Между прочим мне сильно здесь надоела ненасытимая жадность к деньгам простого народа, оставляющего всякое дело в стороне и погубившего в себе все нравственные начала. Если бы был я и богат, не мог бы переносить такое состояние; оно еще тем хуже, что гнездится уже на развалинах. Ореол, блиставший иногда над сибирским Сент-Франциско, осветил только широкий путь к разврату и, не создав светила, резко разделил между светом и тьмою. Мне покой нужен. Не разбросав денег, здесь нельзя ничего делать. Общим правилом стало: захватить их вперед и придумывать, как избавиться от обязанности.

Вот нынешнюю зиму остаюсь без сена и дров, а на мне доселе еще лежит половина хозяйства моего отсутствующего и, как сына, любимого мною товарища. Сама природа помогает расстройству: вот целое лето почти непрерывный дождь. Уверяю тебя, что много не знаете из нашего экономического и нравственного быта. И непонятны вам как несносный бурун залива, так и величавый дрейф немногого числа сильных кораблей и множества лодочек, гармонирующих красотам окраины, изрытой безобразными обвалами.

С нами теперь ваш выходец, г. Барон[4]. С ним виделся я только раз, и он мне понравился, как быть* молодому благовоспитанному человеку. Между тем скончался от холеры в Петербурге (как замечает газета «Nord») один из лучших моих друзей, может быть, и тебе памятный, *И. В. Киреевский*, старший сын Авдотьи Петровны. Он приезжал взять своего сына из лицея. Некрологи стали для нас текущим делом, и кажется уже, что отходящие переселяются в нашу сторону... Меня смущает, однако, когда спадает с дерева еще не созревший плод. Младенец не по-нашему должен развиться и в будущей жизни. Ему недостанет данных для сознания прежнего мира, в котором был создан, а нам помочь в том может и самый суд за грехи. Их много, они важны по глубине повреждения, но видим на Христе, что не могут одолеть божия милосердия, и уповаем, что, не будучи творцами, мы не выпали и из судеб его. Для того и дано нам слово спасения,

* Далее, вероятно, пропущено: «должно» или «надо».

чтоб по стигмату[5] нашли нас и чтоб мы знали, какое должно будет взять направление, когда останется ум один вне мира и вне его темноты. Ум этот, время от времени окрепляемый алмаз, должен будет все около себя собрать и представить.

Что после этого и говорить остается?

Прости, мой друг.

202. Н. Д. и З. С. СВЕРБЕЕВЫМ

Томск, 22 августа 1856 г.

Огромное спасибо вам за грамотку, мужу и жене. Мне так стало тепло с вами, что я готов бросить весь тяжелый парадный костюм и жить с вами по-семейному, в канфовом пальто.

Письмо шло, однако, до меня пять недель и побывало прежде у Ольги Павловны в Корякове.

Рад я, что вы остаетесь. Конечно, обрезывать вам крылья нам, бескрылым, не доводится. Но ведь мы знаем, что и лететь некуда; другое дело — подняться всею группою и сесть куда-нибудь на круглой нашей земле в какой-нибудь выпуклости по собственному выбору и по указанию хотя биографических данных, которые теперь, равно как и нравственные, все говорят, чтоб вы оставались до времени.

Сильно восстали вы на мою ошибку, но это только случайная запущенность. Знал я, что коренной москвич всегда пользуется доставшимся ему на долю лучшим у нас ученым учреждением, что вы не изменили своему родовому началу, и ежели когда смешивал, то это только в противоположность правоведению.

Надобно, однако, заметить, что учреждение лицея имело смысл. Там предположено было готовить не для академического или юридического поприща, а желали совершить процесс политического воспитания, и потому курс выходил энциклопедический. Когда цель эта была оставлена, необходимо произошел разлад, отделивший первые выпуски от всех прочих. Приметно, однако же, что предания не совсем погибли, и к учреждению сохранились многие симпатии, какая-то надежда на возрождение. Но много говорить об этом не для чего, особливо потому, что я и пишу не к одним вам, довольно, ежели специальность лицея мог надпомнить.

На беду еще нельзя тотчас заговорить по-семейному. Есть еще дело, хотя по рубрике оно бы и должно дать тон — очевидно, что речь идет об Амуре. Успех, о котором вы говорите, весьма приятен и удовлетворителен по вашей части, по дипломатической; однако моряки говорят и другое. Утверждают они, что по всему берегу Охотского моря нет ни одной удобной гавани — и сближение с Тихим океаном этому не помогло. Потребна еще, по их мнению, большая морская рекогносцировка, чтоб все задачи поставить на свое место, и, может быть, доведется еще иметь дело с Кореею, а следственно, опять с морскими державами. Покончить такой предмет — есть дело достаточное для молодого дипломата, и вам легко по специальности его стать в положение необходимого человека и, не принося никакой жертвы, удержать свой пост для всевозможного успокоения страждущего отца. Я уверен, что с своей стороны он для вас и более готов сделать. Но я худо знаю положение и не могу основательно предложить ничего.

Благодарю вас за внимание к здешним малюткам и по совету вашему об одной из них сделаю, если мы увидимся... Прибавлю только, что там у вас есть еще и наши взрослые. Особенно мне лежат на сердце Дягилева и Попова. Постоянно слышал об них, что учились хорошо, только первая, к несчастию, болезненная.

Ивана Дмитриевича, не знаю, во сне или наяву, видел, но вот скоро вернется Вячеслав и, верно, позволит себя осязать [1]. Они не могут проехать, не встревожив нашего города. В передний путь пронесся слух, что провезли какого-то вельможу, видя, что полицмейстер далеко за заставу его провожает и жандарм тут. Теперь полицейский писарь показал в рапортичке, что проехал такой-то и его *преследует* поименованный казак, следственно, он бежал из Иркутска. Даже Евгений [2] был остановлен по случаю покражи в здешнем казначействе и убийства часового. Колыванскому городничему показалось подозрительным, что называет себя высокоблагородным капитаном человек, едущий на перекладных и одиноко.

Молва. Этой госпоже обязан и я тем, что по приезде сюда никто не пускал на квартиру и сутки пробыл голодом. Принужден был нанять помещение в гостинице за 300 руб. в месяц и как был обрадован, когда незнакомый мне Лучшев вознегодовал, осмелился и повернул к себе

от ворот уже мою повозку, хотя и поместить было тогда негде! Теперь и с ним почти расстался. Удерживаю за собой только Соломенный, а городской приют уже в другом доме[3]. Отношения наши не изменились и остаются совершенно прежние, но он отнят у меня службою. Ольга Павловна уехала к отцу, и мне одному держать большое хозяйство было бы уже глупо, особливо с здешнею негодною прислугой.

После кончины Ивана Васильевича я имею уже письмо от Кати с припискою Авд[отьи] Петровны. Сильно горюют они, особливо брат Петр, однако переносят удар с твердостью.

Худо писать редко: накопилось много, а почти ничего не напишешь. Каждый предмет требует длинных изъяснений, а лучшая часть — чувство — вопиет, вопиет и не имеет места.

От вас будет ждать письма ее бл[агородие] Аполлинария Тимофеевна Квятковская для передачи дедушке.

Слышал я, что одна из Ротчевых уже замужем. Мне понравились эти милые девицы и мать их[4]. Прошу им поклониться. Давыдовых[5] также видел, но как всегда здесь, на самое короткое время. Сами они меня отыскали, и я спешил заронить простодушную о себе память. Теперь любуюсь каллиграфией и речью Зинаиды Сергеевны, и чудно мне кажется, что руки ваши как-то сходны. Теперь всю семью оглядел; не видел только Вани[6], и не дошло еще ничего от него.

Прощайте, мои добрые друзья, да благословит вас бог на продолжительное и неизменное счастье.

203. [С. П. ТРУБЕЦКОМУ][1]

Томск, 27 августа 1856 г.

Шепчет мне еще надежда, что письмо мое вас застанет на той же пресловутой заимке, которая не хуже Соломенного гремит в восточном крае. Полагаю, что вы посетите нас в самое причинное время, хотя и то известно, что причина действовала вчера, а рассчитать можно, что от Солнца и из Москвы добро и зло доходят сюда в одно время. Видно, действие причин и в отношении к нам так же неуловимо, как и в прочих наблюдаемых мудрецами явлениях.

Мы живем ежели не в премудром, по крайней мере,

в мудреном месте. Называют Турцию востоком, глядя на Италию, и все же успели восточный вопрос дотянуть до востока и ухищрения американцев называть наш океан Тихим разрушили пушечными выстрелами в Камчатке[2].

О деле следственном вы сказали точно и ясно[3]. К этому разве можно прибавить, что разврат здесь нижнего слоя обнажается только мрачными сценами, и Шекспир способнее группировать их до правдивого выражения, нежели всякое официальное следствие. Чтоб общее мнение обвиняло полицию, надобно прежде, чтоб оно было и чтоб был критериум какого-нибудь юридического быта в народе, и это, конечно, уже нелегко здесь, когда непрерывно притекает партия за партией по этапам и разливается потом между кочками неосушимым болотом, а перед законом мы все равны, все кочки, не выключая и округленных холмов. Благодетельно было бы добыть где-нибудь в добром климате островок и приложить к нему вытягивающий пластырь. Здесь не худо было бы для примера лучших нравов завести по местам Сарепты[4], а Сибирь, право, восприимчива на всякое добро. За что-нибудь и любят.

Иван Дмитриевич проскользнул здесь как чудное виденье. О подробностях я писал к Свербееву[5].

Благодарю вас за иллюстрацию древней княжеской осадки. Потомок Чингис-хана должен и быть картинным; отродье Витовта должно представлять свои особенности, а Рюрикович в Ялуторовске по-своему дополняет историческую группу. Мне, однолетнему растению, надлежало бы цвести между ними и только через бабушку разве ветвями их осеняться; но одинокому в горшке не составить сада. Так и хочется им поклониться.

Рано схватывая день, вы, кажется, совсем его к нам не пускаете. Мрачно, холодно и непрерывный сеногной; грибов только видимо-невидимо: наше лето!

Не знаю сам уже, почему, но теплые мои симпатии к высиживаемым у вас здешним цыплятам. Сашенька прекрасно делает, что их посещает, и, верно, они будут ее помнить. Зина хвалит Зину — это и не чудно[6].

Теперь уже надо сказать — до свидания. Добрый мой привет хозяину вашего Соломенного[7].

204. А. И. ЛУЧШЕВУ

[Томск,] 11 сентября 1856 г.

Вот, милый А[лександр] И[ванович], пишу и вам привет разлуки. Через две недели здесь уже не буду, и сложившееся из душевных симпатий семейство мое должно будет меня отпустить и со мною проститься [1]. Я теперь как новорожденный младенец, чист от всего, от чего только можно быть чистым, с правом на жизнь, даже привилегированную, и — что важнее — свободен. Обе столицы мне негостеприимны [2], но не совсем и заперты. Со службою не мирит бесчиние; но и туда есть дверь. Словом, я теперь юноша, недоросль и старец, только что поднятый из-под креста. Есть и выгода в таком положении,— я не могу ни стеснять бывших товарищей и ни стесняться ими, как бы высоко они ни забрались.

205. С. П. ТРУБЕЦКОМУ

[Томск, 22 сентября 1856 г.] [1]

<...> Решено: в путь! Дважды воскресшим называли меня — третий раз воскресаю [2]. Боже мой, последняя ночь в Томске... А ведь устал, устал, и достанет ли сил моих добраться наконец до России?

Утром уеду отсюда.
Ждут меня новых скитаний дороги...
Это судьба иль причуда —
Мыкаться по свету в вечной тревоге,
Тихую пристань минуя?

Слышу твой шепот зловещий,
Ночь одинокая, ночь неживая...
Буду укладывать вещи,
Не торопясь, бормоча и зевая,
Будто старик трехсотлетний.

Берег провижу далекий,
С близкими встречу желанную вскоре.
Кануло в омут глубокий
Лет прожитых перезрелое горе,—
Что ж мне так грустно, не знаю.

206. Н. Д. СВЕРБЕЕВУ

Тобольск, 5 октября 1856 г.

Извольте видеть, я уже тронулся. Далее легче было бы предпринять на Иванов день поиск за папоротниковым цветом, нежели поездку даже до Тюмени. Посетить здешний город входило в мой план, сколько потому, что я не был здесь 36 лет, столько и для ознакомления с товарищами и соображения с ними дальнейшего пути. Хорошо и то, что полутора тысячи верст расстояния уже как не бывало.

Здесь застал я Анненкова, Свистунова, Флегонта Башмакова, а со Штейнгелем поменялись приветами из тарантаса в тарантас; он уже укатил в Россию. Из ялуторовских также явились Пущин и Муравьев, первый окончил дела по паспортной части, отправился уже обратно, а Апостол остался неподвижно для дальнейшей проповеди [1].

По городу ездим уже на санях и мало-помалу избавляемся от несносной грязи. Все обещает раннюю зиму, и, вероятно, около 20 числа переселюсь я в Ялуторовск, где могу захватить сотоварищества Якушкина и Ивана Ивановича (двух Иванов), а может быть, и Сергея Григорьевича [2]. Здешних дожидаться не будем, и отяжелели они, а меня торопят белевские и срок назначили на рождение Кати 19 октября. Быстры уж больно!

Слышал я, что Сергей Петрович до февраля не выедет [3], о прочих ваших ничего не знаю. Спутником мне из Томска был контр-адмирал Невельской и пробуксировал меня быстро до Абацкой, хотя мы ехали в разных экипажах, так что был уже я здесь, несмотря на баснословно дурную дорогу, поутру в 7-й день, то есть 29 сентября [4].

В Тобольске обновились мои старые и прежние знакомства, завязались новые — и я беспрестанно пирую. Застал и Ольгу Павловну с Толей в гостях у сестры ее, но живут ужасно далеко, под Чувашами, в месте, с которым все сообщения сущий омут.

Получил и длинное письмо ваше без даты и поцеловал несколько раз приписку Зинаиды Сергеевны. Все идет в порядке.

Невельской — великий энтузиаст Амурского дела; мне непонятно, почему вы его удалили. Теперь, вступая в род-



КОНТР-АДМИРАЛ Г. Н. НЕВЕЛЬСКОЙ
С негатива Центрального
военно-исторического музея. Ленинград

ство с Зиновьевым, он еще более подкреплен бы был в любви к Сибири[5]. Худо зная восточную политику, я не берусь объяснить себе что-нибудь.

Забравшись в Москву, в которой жить, а буквально судя, не въезжать, нам временно воспрещено, я непременно познакомлюсь с вашей маменькой, которую все мои очень любят и уважают. Рад я очень, что ваш Ваня и кавалер Мишель теперь князья и г[оспо]жа Свербеева может иногда намекнуть на свое сиятельство[6]. Много тут странного, но всего приятнее свобода, которая определена уже так, что самый искусный юрист не придумает отлагательного вопроса.

Бедные поляки не знают, как и думать, чего ожидать и надеяться[7]. Широтою доброй воли государя можно было бы шире и воспользоваться. Конечно, старая рутина

нелегка и не скоро уступит, но большой шаг сделан, и, верно, проберутся как-нибудь добрые люди в отворенную дверь.

Теперь мы как новорожденные — хоть в корпус снова. Но свободе я рад, как птица небесная. Под великим давлением чуть не стала быть плоскою вся грудь.

Киев — там ваш твердый пункт и сборное для семьи место. Уповаю побывать там и постараюсь об этом. Густа будет группа и около моего жилья: Свистунов, Фон-Визина, Нарышкин и даже Волконские. Гуляй смело из села в село[8].

Скорбно, что мы лишились Ивана Васильевича, и ждут меня как утешителя[9]. Задача трудная, но приблизительное решение ее отчасти возможно.

Так теперь я рассеян в мыслях и чувствах, что в ту минуту, как начал к вам писать, сердечно пожалел о своем Соломенном уединении. Так две крайности, свобода и неволя, вяжутся в человеке концами в один узел. Но уже бог с нею, с этой длинной прядью, довольно и простого, не крученого снурка.

Поклонитесь от меня Бечасному, Поджио и Гамбурцевой. С Сергеем Петровичем говорю тут же и заключаю пожатием руки.

Батеньков.

207. [Я. Д. КАЗИМИРСКОМУ][1]

Тобольск, 12 октября 1856 г.*

Сижу у моря и жду погоды. Доехал сюда еще успешно, не с большим в 8 суток. До Абацкой буксировал меня контр-адмирал Невельской и был превосходным спутником. Мы усердно смеялись над топями Барабы[2] и над проливным дождем, питались преимущественно чаем. Я не послушался ни его, ни вас, и выходит, что хорошо сделал: Иван Великий с апостолом и евангелистом Матвеем были уже здесь. Один только первый возвратился, и получили мы известие, что слег от боли в ноге; и не мудрено было при такой ужасной дороге. Не знаю, долго ли здесь пробуду; а чтобы пуститься далее, надобно было бы здоровье, молодость и

* Пометы: о получении — «17 октября» и ответе — «Писал 20 октября».

смелость барона[3] Штейнгеля, который один и отправился.

На долю мне досталось товариществовать с больным, храбрым и мужественным Н[иколаем] П[етровичем] Милордовым. Сегодня к нему переселяюсь и займу самое место битвы. Очевидно, бог спас его. Отражать два топора крошечным кинжалом и без помощи одному двух бандитов — дело не очень обыкновенное. Правда, много помогла ему самая местность, и Тотлебен[4] не мог бы выбрать лучшую, но всяко главное спасение совершило присутствие духа. Рана тяжела, но не опасна, кости целы, и в лицо стекла от разбитой двери не врезались, а язвы на нем только от дерева и жести.

Странны эти две вещи: время и город Тобольск. Через тридцать шесть лет все изменилось здесь, и прежде столь известное мне место кажется совсем незнакомым. Исчислить нельзя, сколько тут гнили, пустырей, развалин и нищеты, но столько же и обновления, хоть оно древнюю столицу Сибири выказывает теперь небольшим русским городком и почти сплошь в заимствованном издали виде. Чувство мое облегчено только отсечением значительной части несносной дали, в которую я забирался, и хотя в Сибири, но кажется мне отовсюду близко. Благодарю вас от всей души, что вы уважили мое нетерпение. Конечно, лучше бы еще было придвинуться до Казани, но это требовало уже смелости и больших усилий. Намереваюсь завернуть в Ялуторовск, и, может быть, найдутся там мне спутники; дорога еще длинна и скука неизбежна.

Не знаю, успели ли вы предупредить Завойку и не препятствовал ли он вам своим тяжелым поездом. Наверное, однако, не могли быстро двигаться и ранее октября не были на месте[5]. В здешнем углу ничего нельзя ведать: здоровы ли вы или нет — никто не скажет.

Удивились мы, почему не попал в амнистию находящийся в Нарыме Выгодовский[6]. Не забыт ли он как-нибудь, а всем известно, что человек мирный и кроткий. Слыхал я об нем, живя в Томске, но лично совсем незнаком. Добросердечие ваше, конечно, примет и в нем возможное участие.

Покорно прошу поздравить от меня с царской милостью Федора Николаевича; приятно, что в ней участвует и Александр Васильевич Виноградский[7]. Вероятно, есть и другие, но мне неизвестно. Газеты не возвестили еще и

генерал-губернаторских наград. Они как у нас, так и за границею вполне заняты московским торжеством, и радостно видеть согласие симпатий к венчанному лицу, выражающих такую противоположность с недавним говором. Давно уже не приносили такой обильной дани великодушию и доброте.

Москва уже ложится в свое русло, и если доведется в ней переменить лошадей, то, конечно, уже не в праздничный день.

Желал бы я надолго, навсегда сохранить вашу приязнь, и встретиться теперь не труднее прежнего, судя по слабой вашей привязанности к Омску. Что-то Сергей Григорьевич? Не у вас ли он уже? Сын обещал немедленно его тронуть; боюсь, однако, не будет ли это трудно по времени года.

Низко кланяюсь Александре Яковлевне и всей столице Западной Сибири.

Навсегда вам преданный

Батеньков.

КОММЕНТАРИЙ

1. Батеньковой (матери)

Письма Г. С. Батенькова. С. 48—49;
оригинал не обнаружен

[1] Речь идет о перемирии, предложенном Англией и Австрией, которое в 1813 г. заключено не было, а с начала 1814 г. военные действия уже переместились на территорию Франции.

[2] Кантонир-квартиры — обывательские дома, в которых располагались на занятой территории офицеры и солдаты при отсутствии казарменных зданий.

[3] Сражение под Лейпцигом — 4—6 окт. 1813 г., знаменитая «битва народов», которая привела к окончательному разгрому войск армии Наполеона.

[4] *Петр Афанасьевич* (Афонасьевич) *Меркушев* — чиновник в Енисейской губ.; исправник в Ачинске и Минусинске; впоследствии окружной начальник в Минусинске. Далее перечислены родственники и знакомые семьи Батенькова в Сибири. Имени сестры декабриста установить не удалось.

2. П. А. [*Меркушеву*]

Письма Г. С. Батенькова. С. 49—51;
оригинал не обнаружен

[1] *Сакен* (Остен-Сакен) *Фабиан Вильгельмович* (1752—1837); в 1813—1814 гг. во время заграничного похода русской армии командовал корпусом (в составе Силезской армии), сражавшимся с Наполеоном. 13-я артиллерийская бригада, в которой служил Г. С. Батеньков, входила в корпус Сакена. С 19 марта 1814 г. Сакен был ген.-губернатором Парижа, занятого союзными войсками после его капитуляции, подписанной 17 марта.

[2] Имеется в виду Чертов мост через р. Рейс в Сент-Готардском ущелье (Швейцария), по которому в 1799 г. провел свои войска А. В. Суворов.

[3] *Барклай де Толли Михаил Богданович* (1761—1818), русский фельдмаршал; в 1813 г. главнокомандующий русско-прусскими войсками в войне против Наполеона. *Шварценберг Карл Филипп*

(1771—1820), в 1812 г. командовал XII корпусом французской армии; после перемирия между русской и французской армиями (с 27 мая по 29 июня 1813 г.) перешел на сторону союзников и был назначен главнокомандующим русско-прусско-австрийскими войсками, действовавшими против Наполеона. После капитуляции Парижа (17 марта 1814 г.) председатель Военного совета при дворе австрийского императора; ген.-фельдмаршал.

[4] Алексей Афанасьевич и Раиса Афанасьевна — брат и сестра Меркушевы. Об Авдотье Алексеевне и других лицах, перечисленных здесь, сведений не найдено.

[5] Серебряная медаль 1812 г. вручалась всем участникам сражений против наполеоновских войск в России. Медаль носилась на груди, на голубой ленте.

[6] Местонахождение этих писем не установлено.

[7] Филя — брат адресата Филипп Афанасьевич Меркушев, сибиряк, приятель Батенькова.

3. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 2.69. Л. 1—2 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 52—53

[1] *Елагин Алексей Андреевич* (1790—1846), сослуживец по 13-й артиллерийской бригаде и друг Батенькова с начала Отечественной войны 1812 г., поручик. Уйдя в отставку, получил чин штабс-капитана артиллерии и поселился в своем белевском имении; писатель, переводчик, поклонник немецкой идеалистической философии.

[2] Бриенское награждение — награждение за отличия в сражении под г. Бриен (Франция) 17 янв. 1814 г., в котором активно действовала артиллерия из корпуса Сакена.

[3] *Бердяев Василий Николаевич,* сослуживец и приятель Батенькова по заграничным походам.

[4] «Ассирийский орден деревянного железа» — ирония, смысл которой уловить не удалось.

[5] Имеется в виду орден св. Владимира 4-й степени с бантом, которым были награждены Батеньков и его сослуживец по заграничным походам Андреев.

[6] Георгдоры — золотая монета, обращавшаяся в то время в немецких княжествах наравне с другими монетными единицами.

[7] *Баранов* и *А. С. Черепахин* — сослуживцы Батенькова по заграничным походам. В *Письмах Г. С. Батенькова* фамилия Черепахина передана неверно: Черемухин.

[8] Здесь и далее под сокращением «Кост...» имеется в виду вел. кн. Константин Павлович, любитель муштры и «ученья». Иронические реплики в его адрес звучат и в других письмах Батенькова.

[9] Возможно, речь идет об И. И. Дибиче, который «взял» Батенькова из французского плена (*ЦГВИА.* Ф. ВУА. Д. 4167. Л. 40).

[10] Опущены две приписки на письме Батенькова, сделанные его сослуживцами А. В. Кованько и В. Н. Бердяевым, знавшими Елагина по совместной службе (*Письма Г. С. Батенькова.* С. 53).

4. *А. А. Елагину*

ГБЛ. Ф. 99, 2.69. Л. 3—4 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 53—54

[1] Монмиральское дело — сражение корпуса генерала Сакена с армией Наполеона 30 янв. 1814 г. у г. Монмираля (на пути от Лафертесу-Жуара в Вертю) во Франции. В результате сражения корпус потерпел поражение, несмотря на мужественные действия солдат и офицеров. Батеньков получил в этом сражении десять штыковых ран, но не был награжден, так как из-за его «чрезмерной храбрости» при защите отступавшего авангарда погибла вся его батарея. Подробнее о сражении под Монмиралем см.: Отечественная война: Описание войны 1812—1815 гг. Спб., 1899. С. 639—651.

[2] «За одиннадцать ран» — горькая ирония Батенькова в связи с тем, что его не наградили, несмотря на десять ран, полученных под Монмиралем, и первое ранение в сражении при деревне Крейнбау 7 авг. 1813 г.

[3] Жалованье офицерам выплачивалось по третям года: январская, майская и сентябрьская. В свою очередь, оно подразделялось на три вида: собственно жалованье, выдававшееся на руки; столовые деньги — выдавались вперед на месяц и квартирные — каждые четыре месяца, т. е. три раза в год. Столовые и квартирные офицеры чаще всего получали натурой.

[4] Любенков — сослуживец и друг Батенькова со времени заграничных походов *Николай Тимофеевич Любенков;* после отставки — коллежский советник; с его семьей Батеньков поддерживал близкие дружеские отношения и по возвращении из ссылки часто бывал в его московском доме.

5. *А. А. Елагину*

ГБЛ. Ф. 99. 2.69. Л. 5—6

Письма Г. С. Батенькова. С. 54—55

[1] Антицерковные высказывания Вольтера нашли активный отклик в творчестве и переписке декабристов, в том числе К. Ф. Рылеева, В. Ф. Раевского, П. И. Борисова, П. И. Пестеля, А. В. Поджио и других. Кого имеет в виду Батеньков, говоря «о треклятых поступках окаянного нашего первосвященника и друга», установить не удалось. Предположение первого публикатора письма, не был ли это М. Н. Паскевич, кажется неубедительным.

[2] *Браамс Александр Исакич*, командир и приятель Батенькова со времени заграничных походов; с 13 июня 1811 г. полковник артиллерии. Среди друзей и сослуживцев пользовался уважением и любовью, а за свои обширные политические интересы имел прозвище «герцог Кабазинский». В 1821 г. командир 4-й батарейной роты 4-й артиллерийской бригады (см. также письма 8, 11, 60).

[3] *Дельден Александр Вильмович* (1773—1829), полковник артиллерии, командир 27-й артиллерийской бригады, 3-го корпуса действующей армии (1814), в ее состав входила 53-я легкая (бывшая 13-я батарейная) рота, в которой служил Батеньков.

[4] Следует согласиться с первым публикатором письма, что здесь, вероятно, речь идет о министре внутренних дел (1811—1819) *Осипе Петровиче Козодавлеве*, которого современники в шутку называли Кольбером. Сравнение это основывалось на действиях министра, направленных на развитие отдельных отраслей русской промышленности, в том числе текстильной, и производства «кунжутного масла», сходных с экономической политикой основоположника меркантилизма министра Франции *Жана Батиста Кольбера* (1619—1683). Говоря о «потере великого министра», Батеньков намекает на потери, связанные с кризисом предприятий, занятых обработкой льна и пеньки, и полотняного производства, вызванным быстрым ростом хлопчатобумажной промышленности, создающей ткани более дешевые, чем льняное полотно.

[5] Одес — г. Одесса.

[6] Немень — р. Неман, берущая начало в Белоруссии и впадающая в Балтийское море. Здесь сравнение трудностей предстоящей переправы артиллерийской бригады через Неман с библейской легендой о трудностях перехода израильтян из Египта через «Чермное» (Красное) море.

[7] Бердяев, Моисеев, Бурнашев, Верховитинов и Кулды — сослуживцы Батенькова по заграничным походам.

[8] Анна Ивановна — жена А. В. Дельдена.

[9] И. И. Дибич.

6. *А. А. Елагину*

ГБЛ. Ф. 99, 2.69. Л. 10—11 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 58—59

[1] Это первое из дошедших до нас стихотворений Батенькова включено в кн.: *Илюшин*. С. 90. Письмо — шуточная эпитафия якобы умершему другу А. А. Елагину, воскресить которого можно только «горячею слезою» друга.

[2] В *Письмах Г. С. Батенькова* (с. 59) № 53 ошибочно прочтен как 35.

7. *А. А. Елагину*

ГБЛ. Ф. 99, 2.70. Л. 1—1 об.;
оригинал скреплен сургучной печатью;
текст в нескольких местах поврежден трещинами

[1] А. В. Дельден был командиром 27-й артиллерийской бригады, а не роты. Батеньков допустил описку.

[2] *Ульрих Василий Яковлевич*, полковник артиллерии.

[3] 7 мая 1816 г. Батеньков «по прошению уволен от службы за ранами с чином, мундиром и пенсионом полного жалованья». В отставку он ушел в чине подпоручика из 14-й батарейной роты 7-й бригады, в которой числился с 11 янв. 1816 г. 19 июля того же года Батеньков простился с товарищами и готовился к поездке в Петербург (см. письмо 9). Указ об отставке от артиллерии он получил уже в Тобольске в марте 1818 г. (см. письмо 24).

8. *А. А. Елагину*

ГБЛ. Ф. 99, 2.70. Л. 3—3 об., 4 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 61—64

[1] Елагин находился в Брянске, вероятно, этот город и называет Батеньков Маркитантией. Видимо, там находились и интендантские службы (см. письмо 4). «Шнапсоидальные» таланты — ирония по поводу любителей выпивок (от нем. Schnaps — картофельная водка).

[2] Имеется в виду «галиматейно-ахинейное письмо» Батенькова Елагину (без даты), атрибутированное в 1936 г. 1814 годом (*Письма Г. С. Батенькова.* С. 57—58). Столь долгое ожидание ответа можно объяснить перерывом в переписке друзей в связи с военными обстоятельствами. Это письмо нами не публикуется. Галиматейно-ахинейными философами называли Г. С. Батенькова, А. А. Елагина и [М. Н.] Паскевича их сослуживцы во время Отечественной войны 1812 г., не понимавшие их философских бесед, насыщенных трансцедентальной терминологией Канта и Шеллинга, чьи идеи они «вздумали пересадить <...> на русскую почву» (см. письмо 109).

[3] Цитаты из писем Кованько и Браамса нами опущены. В них содержатся похвалы Батенькову («О ты, которого ни пули, ни ядра, ни стремящиеся на поражение французские штыки не могли сразить и поколебать»), сведения о местонахождении, здоровье и жизни авторов.

[4] Батеньков в это время был уже уволен в отставку (см. примеч. 3 к письму 7).

9. *А. А. Елагину*

ГБЛ. Ф. 99, 2.70. Л. 5—5об.

[1] Фамилия Паскевич неоднократно упоминается в переписке Батенькова 1814—1820-х гг. Скорее всего, речь идет о поэте *Михаиле Николаевича Паскевиче* (Пашкевиче), впоследствии штаб-ротмистре Белорусского гусарского полка, «прикосновенном» к деятельности Васильковской управы Южного общества. Верховным уголовным судом он был признан «виновным в сочинении и распространении вольнолюбивых стихов и в недонесении о существовании тайного общества». После двухмесячного заключения в крепости был переведен на службу в Иркутский гусарский полк (*ЛН.* М., 1954. Т. 1. С. 225—226).

10. *А. А. Елагину*

ГБЛ. Ф. 99, 2.70. Л. 6—7
Письма Г. С. Батенькова. С. 65—66

[1] В первой публикации: «бесправные занятия».

[2] «Иксами и плюсами» Батеньков занимался в Петербурге в связи с предстоящей явкой «на публичное испытание» в Институт Корпуса инженеров путей сообщения для получения звания инженера.

[3] Гагаринская пристань, сейчас ул. Фурманова в Дзержинском районе г. Ленинграда (от набережной Кутузова до ул. Пестеля). Дом Быкова № 24 не сохранился.

[4] Харьковский оракул — В. Н. Бердяев,— уйдя в отставку, жил в Харькове и хотел «сбить с толку» Елагина, чтобы вместе с ним идти служить в кавалерию (см. письмо 9).

11. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 2.70. Л. 8—8 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 66—67

[1] Батеньков готовил себя к занятиям гидротехникой, отсюда шуточные слова: «добиваюсь определения в водяные».

[2] См. примеч. 2 к письму 5. Два следующих предложения в первой публикации пропущены.

[3] Фидеизм (от лат. Fides — вера) — «философия веры», «учение, ставящее веру на место знания или вообще отводящее известное значение вере» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 10); общее название идеалистических философских учений, согласно которым вера является основой познания действительности, в то время как разуму доступна лишь одна видимость явлений, а не их сущность.

[4] Имеется в виду *Фридрих Вильгельм III* (1770—1840), король Пруссии (1797—1840); его армия потерпела поражение — «поругание» в битве с Наполеоном в 1806 г. под Иеной и Ауэрштетом. После разгрома и изгнания наполеоновской армии из Пруссии король нарушил свои конституционные обещания и установил реакционный абсолютизм.

[5] Перефразировка надписи, выбитой на серебряной («беленькой») круглой медали в память победы в Отечественной войне 1812 г.,— «Не нам, не нам, а имени твоему» (см. письмо 2).

[6] Вероятно, эта метафора использована автором для оценки вероломства Фридриха Вильгельма III. С помощью феодальной знати он получил огромные — «Крезовы» — богатства, а жестокостью к своему народу походил на свирепого царя Ирода («Ира»?). Другого толкования имени «Ир» найти не удалось.

12. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 2.70. Л. 11—12 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 68—70

[1] Казанское письмо — см. письмо к А. А. Елагину от 28 окт. 1816 г. из Казани (*ГБЛ.* Ф. 99, 2.70. Л. 9—9 об.; *Письма Г. С. Батенькова,* с. 67—68. В наст. изд. не включено из-за незначительности содержания). В письме упреки адресату за молчание в ответ на шесть отправленных ему писем: «Забуду имя твое <...> — гордость моя не может терпеть твоего презрения, и ежели еще до сего времени я не изгонял тебя из моего сердца,— то одна только сила священной дружбы, которую я питал к тебе некогда, может извинить меня».

[2] Чин поручика со старшинством с 17 дек. 1813 г. был присвоен

Батенькову только 2 февр. 1817 г., а должность инженера 3-го класса («по выдержании экзамена») — 5 окт. 1816 г. с назначением на службу в 10-й округ Корпуса инженеров путей сообщения. До получения «высочайшего повеления» Батеньков именовал себя поручиком, так как звание инженера 3-го класса было приравнено к этому чину.

[3] В первой публикации: «не помещения».

13. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.1. Л. 3—4 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 72—74

[1] «Чертушко» — Чертов, сослуживец Батенькова по заграничным походам. «Философ брянских лесов» — адресат письма А. А. Елагин.

[2] Ахерон (Ахеронт) — мифическая река подземного царства, через которую переправлялись тени умерших. В разговорной речи Ахерон — символ подземного царства и его ужасов.

[3] 3-й округ Корпуса инженеров путей сообщения — Петербургский.

[4] С апр. 1817 г. Батеньков занимался работами по «устройству г. Томска», в том числе проектированием и строительством моста через р. Ушайку, а также проектированием работ по укреплению р. Ангары в Иркутске.

[5] Абзац: «Преосвященная башня <...> доставляют» в первой публикации опущен.

14. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.1. Л. 5—6 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 74—76

[1] «Слепой божок» — бог любви Амур. Вероятно, речь идет о любви Батенькова и молодой жительницы Тобольска Марии Ивановны (впоследствии в замужестве Кочетовой). Оказавшись весной 1846 г. в Томске после двадцатилетнего заключения, он уже в декабре начал с ней переписку, вспоминая свою юношескую любовь (см. письмо 107). Девичью фамилию Марии Ивановны установить не удалось.

Намек этот мог касаться и более щепетильного сюжета. В деле *ГАОО* — «По определению и службе в X округе инженер-майора Батенькова» (ф. 4, оп. 1, д. 129, л. 99—100) — среди документов 1815—1819 гг. хранится недатированное, ранее не известное исследователям письмо некой «Окулины (Акулины) Ивановны» (или Ивановой?), адресованное «с почтением» Г. С. Батенькову. В письме малограмотной женщины говорится: «Милостивому государю и единородному было соединясь с вами <...> Гаврила Степанович, и засвидетельствую мое почтение соединенную с вашим сердцем Окулиною Ивановой и уведомляю вас, что мне бог дал сына Петра Гавриловича, и поздравляю вас и на том прошу вас не оставить меня при едаком случае и помочь своим радением <...>». К сожалению, на протяжении своей жизни Гаврил Степанович, нежно

любивший даже чужих детей и мечтавший сам о сыне и женитьбе, ни разу не упомянул о своем (!?) сыне Петре. Не исключено, что ребенок Акулины Ивановны прожил недолго и не оставил следа в биографии отца. Возможно также, что письмо попало к адресату уже тогда, когда младенца не было в живых. Адресатка могла быть какой-то знакомой или служанкой в доме матери Гавриила Степановича в Тобольске, где «слепой божок сшутил» над ним. Однако не исключено, что следы Петра Гавриловича могут обнаружиться в каком-нибудь сибирском архиве.

[2] *Ламанов Михайло Львович*, ст. сов., томский вице-губернатор в первые годы службы Батенькова в Сибири (1816—1817).

15. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.1. Л. 7—8 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 76—79

[1] Перуны — древнеславянские боги грома и молний. Иносказательное напоминание другу о взятии в 1814 г. союзными войсками Парижа и самой возвышенной его части Монмартра.

[2] Здесь «кагалом» условно называются друзья-однополчане. После завершения войны 1812 г. и заграничных походов русской армии товарищи Батенькова разъехались в разные концы империи: от Салгира — реки в Крыму, т. е. на юго-западе страны, до Оби — реки в Западной Сибири.

[3] Сон оказался «вещим». 4 июня 1817 г. Елагин женился на своей троюродной сестре Авдотье Петровне (урожд. Юшковой, 1789—1877), но Гавриил Степанович известия об этом событии еще не имел. Авдотья Петровна была вдовой Василия Ивановича Киреевского, с которым прожила с 1805 по 1812 г. В 23 года она похоронила мужа, имея уже трех детей: Петра, Ивана и Марию. Мать Авдотьи Петровны, Варвара Афанасьевна Юшкова (урожд. Бунина) была родной сестрой (по отцу) и крестной матерью В. А. Жуковского. В юности Дуняша была дружна с дядей — поэтом, а после смерти первого мужа встречалась с ним в имении Бунино у своей тетки Екатерины Афанасьевны Протасовой, где жила два года. Жуковский некоторое время жил в имении Киреевских Долбино (Лихвинский уезд Калужской губернии) и написал там несколько произведений. Поэт прислушивался к замечаниям племянницы на свои сочинения, так как высоко ценил ее литературные дарования, вкус и серьезные знания. Впоследствии Жуковский говорил ее сыну Ивану Киреевскому: «Я не знаю никого, кто бы писал лучше ее <...>» (Уткинский сборник. Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой. М., 1904. С. IV). Авдотья Петровна переводила пьесы, и некоторые ее переводы печатались (безымянно — Рус. архив. 1877. Кн. 2. С. 487).

С 1820-х гг. салон А. П. Елагиной стал особенно известен в литературных кругах. В ее московском доме у Красных ворот собирались писатели, общественные деятели, музыканты. Здесь бывали В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. И. Герцен, А. С. Хомяков, Н. М. Языков и, конечно, ее сыновья Иван и Петр Киреевские и многие другие. Литературные друзья и знакомые Елагиных стали друзьями и знакомыми сибиряка Батенькова.

[4] Строительные работы в 10-м округе путей сообщения, которыми руководил Батеньков, выполняли военно-арестантские роты, формировавшиеся из ссыльных солдат, и арестанты, закованные в ножные кандалы, которых привозили на работы из мест заключения.

[5] «Утро жизни моей» — детские годы в родительском доме в Тобольске и учеба Батенькова в Дворянском полку 2-го кадетского корпуса в Петербурге, где он познавал не только военную науку, но и жизнь. На допросе в Следственном комитете 22 марта 1826 г. Батеньков заявил о своем юношеском знакомстве и дружбе с В. Ф. Раевским в корпусе: «<...> в первый раз осмелился я говорить о царе, яко о человеке, и осуждать поступки с нами цесаревича» (*ВД*. Т. 14. С. 93).

[6] «Людмила» и «Громобой» — баллады В. А. Жуковского. Первая появилась в печати в 1818 г. Вторая состоит из двух частей: ч. 1 — «Громобой» — впервые напечатана в «Вестнике Европы», № 4 за 1811 г.; ч. 2 — «Вадим» — вышла впервые в 1817 г. вместе с 1-й частью под общим названием «Громобой, или Двенадцать спящих дев. Старинная повесть в 2-х балладах» (Жуковский В. А. Собр. соч.; В 4 т. М.; Л., 1959. Т. 2). Вероятно, Батеньков имел рукописные тексты «Людмилы» и 2-й части «Громобоя» — «Вадим».

[7] Этот стихотворный экспромт включен также в кн.: *Илюшин*. С. 91. Стихотворений Батенькова — «походного поэта» — обнаружить не удалось. Отголоском походной поэзии можно считать шуточную эпитафию живому другу, А. А. Елагину, от 4 июня 1815 г. (см. письмо 6).

[8] Собрание образцовых сочинений прозы древних и новых писателей. М., 1811. Ч. 1—4.

[9] Батеньков просил у друзей произведения французских авторов: «Теория аналитических функций» Лагранжа, «Геометрический анализ» Монжа и «Гидравлическая архитектура» Прони.

[10] Имеется в виду книга: Boulanger N.-A. L'Antiquité devoilée par les usages. Amsterdam, 1768. *Буланже Никола-Антуан* (1722—1759), французский философ и писатель. В этой книге автор объясняет историю через астрономические символы. Батенькову астрономическая символика также была очень близка. Вспоминая юность и свое увлечение системой мира французского энциклопедиста *Жана Де Ламбера* (1717—1783), он писал: «Я решил, что никакие другие науки, кроме астрономии, недостойны человека, который в ней только может гордиться своим умом» (*ГБЛ*. Ф. 20, 6.5. Л. 1). Перевод этой книги, сделанный Батеньковым, не обнаружен. О работе над переводом см. также письмо 22.

16. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.1. Л. 9—10 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 79—81

[1] Главный директор — *Франц Павлович Деволан* (1753—1818), француз; в Россию прибыл из Голландии в 1787 г. инженер-майором; с 1809 по 1818 г. главный директор Управления путей сообщения; инженер-генерал-майор, генерал-аншеф и член Комитета

министров. Рапорты Батенькова по начальству и отзывы о его инженерной деятельности в Сибири в 1817—1819 гг. см.: *ГАОО*. Ф. 4. Оп. 1. Д. 129, 163, 144, 190, 184 и др.

17. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.1. Л. 11—12 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 81—82

[1] Сам светлейший — А. И. Браамс. В первой публикации: «ваш».

[2] Главным начальником в Нерчинском округе 1817 г. был обер-бергауптман *Тимофей Степанович Бурнашев*.

18. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.1. Л. 13—14
Письма Г. С. Батенькова. С. 82—83

[1] Это письмо — ответ на сообщение А. А. Елагина о его женитьбе на Авдотье Петровне Киреевской, которую Батеньков «давно ожидал» (см. письмо 17). С момента женитьбы Елагина дружба и братская любовь к нему Батенькова распространилась на его жену и детей.

19. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.1. Л. 19—20 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 85—86

[1] *Молчанов Мирон Филиппович*, чиновник канцелярии Иркутского губернатора Н. И. Трескина; с 1819 г. секретарь при сибирском ген.-губернаторе М. М. Сперанском, замененный в 1820 г. другим чиновником. Более подробно о службе Молчанова см. письмо Батенькова М. А. Корфу от 1 дек. 1861 г. (*ГБЛ*. Ф. 20, 2.15. Л. 1—4 об.).

[2] Стихов «военно-походного поэта» здесь не обнаружено.

20. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.2. Л. 1—2 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 87—88

[1] «Книжник кагала» — дружеское прозвище Батенькова, данное ему сослуживцами-офицерами во время военных походов (см. также примеч. 2 к письму 15). Управление 10-м округом путей сообщения возложено было на него временно в связи с отъездом в отпуск на четыре месяца начальника округа Ф. Ф. Риддера (*ГАОО*. Ф. 4. Оп. 1. Д. 144).

[2] Адрес в первой публикации не воспроизведен.

21. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.2. Л. 3—3 об., 6—6 об.

[1] Сведений о П. Н. Дамогатском обнаружить не удалось.

[2] Имеется в виду распространенное в то время спиритическое гадание.

[3] «Лист», адресованный А. П. Елагиной, опубл.: *Письма Г. С. Батенькова*, с. 88—89. Эта приписка содержит заверения автора в дружеских чувствах и предложение активной переписки: «<...> от вас ожидаю много вопросов, буду отвечать подробно, может быть, самая сторона, где я родился и живу, теперь может быть для вас занимательна» (там же, с. 89).

22. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.2. Л. 7—8 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 89—90

[1] 7 авг. 1813 г. — дата первого ранения при дер. Крейнбау.

[2] См. примеч. 10 к письму 15.

23. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.2. Л. 11—12 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 91—92

[1] *Коллет Леонард Петрович*, коллежский сов., председатель Гражданской палаты в Тобольской губ.

[2] Вероятно, прав был В. Г. Карцов, считавший, что речь здесь идет о М. Н. Паскевиче, бывшем сослуживце Батенькова (*Карцов.* С. 29, 232). Едва ли имеется в виду кто-то из братьев *Ивана Федоровича Паскевича-Эриванского* (*Письма Г. С. Батенькова.* С. 175).

24. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.2. Л. 13—14 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 92—93

[1] «Лизы» — собирательный образ, обозначающий влюбленную девушку (по имени героини повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»).

[2] См. примеч. 3 к письму 7.

[3] Адрес в первой публикации не воспроизведен.

25. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 20, 3.2. Л. 16—17 об.

[1] Сибирский генерал-губернатор — *Иван Борисович Пестель* (1765—1843), отец декабриста П. И. Пестеля. В 1789—1798 гг. московский, в 1799 г. петербургский почт-директор и президент Поч-

тового департамента. В 1805—1819 гг. сибирский ген.-губернатор; после ревизии М. М. Сперанского (1819—1821) отдан под суд за злоупотребления сибирских чиновников. Уволен со службы в 1822 г.

26. *А. А. и А. П. Елагиным*

ГБЛ. Ф. 99, 3.4. Л. 1—3 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 95—99

[1] Близких родных у Батенькова уже не было. Мать его умерла в Тобольске в конце янв. или начале февр. 1819 г. Такая приблизительная дата ее смерти подтверждается письмом секретаря 10-го округа путей сообщения К. Чернова от 17 марта 1819 г. из Тобольска (*ГАОО*. Ф. 4. Оп. 1. Д. 129. Л. 117—118) Гавриилу Степановичу. В отчете о расходе и состоянии тобольского имущества и денег адресата Чернов писал: «Нанял читать Псалтырь за 15 рублей шесть недель», т. е. читать молитвы «по усопшей» матери Батенькова. Таким образом, всю связь «с миром» у него и олицетворяли Елагины.

[2] Милый малютка — сын Елагиных Вася, родившийся в 1818 г.

[3] Имеется в виду день именин Батенькова.

[4] «<...> период явного моего бедствия» — служебные неприятности Батенькова в связи с производством инженерно-строительных работ без предписания непосредственного начальства.

[5] Имеется в виду Главное управление Корпуса инженеров путей сообщения, находившееся в Петербурге.

27. *А. А. и А. П. Елагиным*

ГБЛ. Ф. 99, 3.4. Л. 4—5 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 99—104

[1] Томск основан в 1604 г. по указу Бориса Годунова. Место для города было выбрано на правом берегу р. Ушайки. Впоследствии здесь была сооружена Воскресенская церковь, по имени которой гора получила название Воскресенской. Противоположный берег Ушайки назван Татарским, или Юртошной горой, на которой было татарское юрточное поселение и построена деревянная мечеть (*ГБЛ*. Ф. 20, 5.11. Л. 2 об.).

[2] «Тристрам Шенди» — роман английского писателя-сентименталиста *Лоренса Стерна (1713—1768)* «Жизнь и мнения Тристрама Шенди».

[3] Кафисма (Кафизма) — название каждого из 20 отделов Псалтыри в обиходе православной церкви.

[4] *Елизавета Алексеевна* (1779—1826), русская императрица, жена Александра I.

[5] Батеньков просит друзей прислать ему перевод сочинения французского мистика XVIII в. Дю-Туа «La Philosophie Divine» (1793), сделанный Корнеевым: «Божественная философия в отношении к непреложным истинам, открытым в тройственном зерцале: вселенной, человека и священного писания» (1818—1819, в 6 ч.),

28. *А. А. и А. П. Елагиным*

ГБЛ. Ф. 99, 3.4. Л. 7—8 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 104—105

[1] *Сперанский Михаил Михайлович* (1772—1839), государственный деятель, автор проектов государственных реформ в первые годы царствования Александра I; в 1812 г. сослан в Пермь, а затем в Пензенскую деревню; возвращен на государственную службу в 1816 г.; 22 марта 1819 г. назначен ревизором и наделен властью ген.-губернатора Сибири. Он прибыл в Тобольск из Петербурга 27 мая 1819 г.

[2] Новым главным директором Управления путей сообщения в 1819 г. стал инженер-ген.-майор *Августин Августинович Бетанкур* (1758—1824), который занимал этот пост до авг. 1822 г. Бетанкур учился в Париже. На службе в России с 1808 г.; ген.-майор, инициатор учреждения и первый инспектор Института Корпуса путей сообщения в Петербурге (сейчас Институт инженеров ж.-д. транспорта им. акад. В. Н. Образцова). По его проектам преобразован Тульский оружейный завод, построены Пушечный литейный дом в Казани, здания Экспедиции заготовления государственных бумаг в Петербурге, экзерциргауз в Москве, Гостиный двор для Нижегородской ярмарки и другие. С 1816 г. председатель Комитета о городских строениях в Петербурге. Автор научных трудов по гидравлике и механике. 25 сент. 1819 г. Батеньков писал о нем Елагину: «<...> давно уже пользуюсь его расположением, итак, все стеклось к моему успокоению» (*Письма Г. С. Батенькова*. С. 9). С 5 мая 1822 г. адъютантом Бетанкура был декабрист А. А. Бестужев (Марлинский).

[3] Батеньков произведен в капитаны 17 апр. 1819 г.

[4] Адрес в первой публикации не воспроизведен.

29. *Ф. Ф.* [*Риддеру*]

ГБЛ. Ф. 20, 9.25. Л. 1—2 об.
Конец письма не сохранился

[1] *Риддер Филипп Филиппович*, инженер-полковник, затем инженер-ген.-майор; в 1817—1820-х гг. начальник 10-го (Сибирского) округа Корпуса инженеров путей сообщения, непосредственный начальник Батенькова во время его службы в Сибири в 1816—1819 гг.

[2] Имеются в виду работы, связанные с укреплением берега р. Ангары в Иркутске, которыми было поручено заниматься Батенькову.

[3] Имеется в виду командующий Отдельным Сибирским корпусом генерал Глазенап.

[4] *Осипов Александр Степанович*, ст. сов., в канцелярии И. Б. Пестеля служил «для исправления дел»; в 1819 г. тобольский почтдиректор.

30. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.4. Л. 11—12 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 106—108

[1] Имеется в виду ухудшение здоровья Батенькова в связи с его многочисленными ранами — см. медицинское свидетельство, выданное ему для получения отпуска на лечение (*ГАОО.* Ф. 4. Оп. 1. Д. 129. Л. 40. Заверенная копия).

31. Ф. Ф. Риддеру

ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 188. Л. 32—32 об.
Войтих П. Новые материалы о Г. С. Батенькове // Сиб. огни. 1963. № 8. С. 180 (фрагмент)

[1] *Цейдлер Иван Богданович* (1780—1853), в 1821—1835 гг. иркутский гражданский губернатор; снят с этой должности за попытки облегчить положение сосланных в Восточную Сибирь декабристов и 6 дек. 1835 г. выехал с семьей из Иркутска.

[2] Имеется в виду М. М. Сперанский.

[3] 29 июля 1818 г. руководящие деятели Союза благоденствия Ф. П. Толстой, Ф. Н. Глинка, М. Н. Новиков и другие передовые деятели России представили в Министерство народного просвещения проект создания Общества для учреждения училищ по методе взаимного обучения. В проекте говорилось: «Нижеподписавшиеся, будучи уверены, что воспитание есть самое успешное средство для доставления отечеству граждан честных, трудолюбивых, покорных законам и благочестивых, и желая споспешествовать распространению оных по мере сил своих, вознамерились составить общество <...>». Уставом общества, утвержденным 14 янв. 1819 г., предусматривалось создание училищ, составление учебных пособий и основание отделений в разных городах России. Первое заседание состоялось 16 июля того же года под председательством Ф. П. Толстого. Активными пропагандистами и сторонниками системы взаимного обучения в России были также декабристы М. Ф. Орлов, В. Ф. Раевский, П. П. Пассек и другие. Школа взаимного обучения в Иркутске была создана Сперанским по инициативе этого, петербургского общества. В деятельности общества принимали активное участие многие декабристы и члены масонских лож, в том числе и Г. С. Батеньков (более подробно об этом см.: Дружинин Н. М. Декабрист И. Д. Якушкин и его ланкастерская школа // Дружинин Н. М. Революционное движение в России в XIX в.: Избр. тр. М., 1985. С. 395—411).

32. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.4. Л. 13—14

33. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.4. Л. 17—18 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 110—112

[1] Имеется в виду разработка Батеньковым вместе со Сперанским уставов по управлению Сибирью.

[2] См. примеч. 2 к письму 8. Вероятно, обращаясь к Елагину, Батеньков спрашивает о третьем из «галиматейных апостолов» — [М. Н.] Паскевиче.

34. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.5. Л. 9—10 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 117—119

[1] Для выработки согласованного решения в борьбе с революционными событиями в Европе в окт. 1820 г. в Троппау был созван конгресс правителей государств — членов Священного союза. Страх перед революционными восстаниями в Кадиксе (Испания) в янв., в Неаполитанском королевстве (Италия) в июле, в Португалии в авг. и в России (в Петербурге, восстание л.-гв. Семеновского полка) в окт. 1820 г. способствовал временному сближению интересов участников конгресса. 7 нояб. 1820 г. было принято решение «о праве вмешательства» во внутренние дела других государств в целях подавления в них революционного движения и «о поручении Австрии направить свои войска в Неаполь». В марте 1821 г. эта «помощь» была оказана, и австрийские войска разгромили неаполитанскую революционную армию. Узнав о революции в Пьемонте, Александр I, находясь в Лайбахе, предложил австрийскому императору поддержку. Вслед за этим русские войска получили предписание двигаться в Галицию, а затем в Италию. Но Австрия и в Пьемонте сама подавила революцию — ее войска уже в апр. были в Турине. Таким образом, «помощь» Александра I и русской армии не потребовалась (более подробно см.: Окунь С. Б. История СССР. 1812—1825 гг. Л., 1978. Ч. 2. С. 90—97). Вот поэтому из Лайбаха и «прибыли курьеры», «чтоб вовсе пресечь военные приуготовления», и ожидалось возвращение в столицу царя (см. также письмо 36).

35. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.5. Л. 11—12 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 119

[1] Два начальника Батенькова — М. М. Сперанский и А. А. Бетанкур.

[2] Здесь и в двух следующих письмах при первой публикации адрес не воспроизведен.

36. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.5. Л. 13—14 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 119—120

[1] «<...> дела приводить к концу» — завершать работу по подготовке к утверждению «Сибирских учреждений» — уставов по управлению Сибирью. Через две недели Батеньков сообщил, что «успел» «отделать проекты» (см. письмо 37).

37. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.5. Л. 15—15 об., 16 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 120

[1] *Волконский Петр Михайлович* (1776—1852), светл. кн., с 1813 г. начальник Главного штаба е. и. в. В 1821 г. по инициативе А. А. Аракчеева освобожден от этой должности и назначен в Государственный совет; в 1826—1852 гг. министр двора и уделов; ген.-фельдмаршал (с 1850); муж сестры декабриста С. Г. Волконского Софьи Григорьевны.

[2] Речь идет о мальчике-слуге Батенькова, привезенном им из Сибири и временно оставленном в московской квартире Елагиных.

38. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.5. Л. 1—2 об.

[1] Главный директор — А. А. Бетанкур.

[2] 20 июня 1821 г. Батеньков произведен в майоры и получил право на «махровые эполеты».

[3] См. примеч. 1 к письму 34.

[4] Гатчина — загородная резиденция императорской семьи; вблизи дворца размещались дачи придворных и дома офицеров.

[5] Саддукеи (сер. II — конец I в. до н. э.) и фарисеи (с нач. II в. до н. э.) — древнееврейские религиозно-политические партии. Первая представляла высшее духовенство и аристократию и придерживалась «писаного закона». Вторая опиралась на торговцев и ремесленников и была сторонницей «устного закона» Моисея. Фарисеи, согласно евангелию, не делают того, чему учат других, возлагают на других бремя, которое сами носить не соглашаются; изображая праведников, они полны лицемерия и беззакония. Мытари — мелочные, плутоватые, живущие неправедной жизнью оборотливые люди. Своим иносказанием Батеньков намекает на усиление деспотизма и реакции в стране, где даже «фарисеи под игом мытарей, саддукеи потеряли глас и силы».

[6] «Летая по обетованной земле», Книжник занимался в этот период расшифровкой египетских иероглифов. Здесь очередное иносказание автора.

[7] Имение покойного В. И. Киреевского Долбино с 1812 г. принадлежало его сыновьям Ивану и Петру Киреевским.

39. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 3. 5. Л. 19—20 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 121—126

[1] Михайло — слуга Елагиных.

[2] Воейковы — семья племянницы В. А. Жуковского, двоюродной сестры А. П. Елагиной, *Александры Андреевны* (урожд. Протасовой, 1795—1829) и *Александра Федоровича Воейковых.* Александр Федорович (1778—1839) — поэт, сатирик, журналист, издатель газеты «Русский инвалид» (1822—1838), журнала «Славянин» (1827—1830) и других.

40. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 3.5. Л. 21—22
Письма Г. С. Батенькова. С. 122—124

[1] Путешественник — *Егор Васильевич Зонтаг,* муж старшей сестры А. П. Елагиной *Анны Петровны Зонтаг* (урожд. Юшковой, 1785—1869), детской писательницы.

[2] *Филимонов Владимир Сергеевич* (1787—1858), воспитанник Московского университета, участник войны 1812 г. и заграничных походов; поэт, переводчик, беллетрист и драматург, печатавшийся во многих журналах и альманахах первых десятилетий XIX в. В начале 1820-х гг. покровительствовал Н. А. Полевому, был близок с А. А. Бестужевым, А. С. Пушкиным и другими литераторами. Своим наставником в поэзии считал В. А. Жуковского. В начале июля 1831 г. Филимонов был арестован по обвинению в принадлежности к тайной организации студентов и бывших воспитанников Московского университета, руководимой Н. П. Сунгуровым и Ф. П. Гуровым. В ходе следствия причастность его к «делу» Сунгурова не подтвердилась, но обнаружились письма к нему декабристов Г. С. Батенькова, А. Н. Муравьева и копия письма В. И. Штейнгейля Николаю I, цитаты из проекта конституции Н. М. Муравьева и другие документы декабристов. О деле Филимонова см.: «Секретное дознание о В. С. Филимонове». К истории распространения литературно-политических документов декабристов после 1825 г. Сообщение Ю. Б. Неводова (*ЛН.* Т. 60. Кн. 1. С. 570—582).

[3] Антики геркуланские — находки, обнаруженные при раскопках 1808—1815 гг. древнеримского города Геркуланума, расположенного на берегу Неаполитанского залива, у подножия Везувия. Геркуланум был разрушен и засыпан вулканическими породами при извержении Везувия в 79 г. одновременно с Помпеей. Здесь, сравнивая себя с древними находками, которые надо «открывать», «искать», Батеньков прикрывается метафорами, ясными другу. Посещение дома А. Ф. Воейкова было Батенькову неприятно, так как ни уважения, ни симпатии он к этому литератору не испытывал.

[4] Демутов дом — гостиница и трактир в Петербурге, в доме № 40 по набережной реки Мойки, у Зеленого (сейчас Народный) моста. Дом перестроен, но сохранился.

41. С. Т. Аргамакову

ГБЛ. Ф. 20, 9.10. Л. 1—2 об.

[1] *Аргамаков Семен Трофимович* (1796—1862), сибиряк, дальний родственник, друг и сослуживец Батенькова. В 1819—1821 гг. они вместе служили в Сибири при Сперанском. С нояб. 1821 г. Аргамаков, оставаясь в штате Главного управления Восточной Сибири, переведен в Петербург, в 1-й Сибирский комитет. После ареста Батенькова участвовал в разборке его бумаг и получил доверенность декабриста на распоряжение его личным имуществом и квартирой (*ЦГИА*. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 671). В 1830-е и последующие годы чиновник Министерства финансов, крупный сибирский золотопромышленник, совладелец (с И. Д. Асташевым) Прокопьевских золотых приисков. В последние годы жизни — действ. ст. сов. После ссылки Батенькова в Томск (1846) ежегодно выплачивал ему до 1000 рублей, дававших возможность ссыльному декабристу жить без особой нужды.

42. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 3.6. Л. 1—2 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 124—125

[1] А. А. Воейкова. О какой потере идет речь, установить не удалось.

[2] В первой публикации: «ма[ло]летки».

[3] На следствии Батеньков говорил: «К Сперанскому едва мог добиваться с делами, ибо он окружен был большою толпой и более жил в Царском Селе, куда ездил я только в собрания Сибирского комитета. <...> В течение зимы 1821—1822 мы виделись только по четвергам пред собранием и в собрании Сибирского комитета (*ВД*. Т. 14. С. 142).

[4] *Семенова Екатерина Семеновна* (1786—1849), знаменитая русская актриса; ее голос покорял слушателей — любителей Мельпомены.

43. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.6. Л. 3—4
Письма Г. С. Батенькова. С. 125—126

[1] *Грейг Алексей Самойлович* (1775—1845), в 1822 г. адмирал, командующий Черноморским флотом (Крючков Ю. С. А. С. Грейг. М., 1984).

[2] *Илличевский Алексей Демьянович* (1798—1837), лицейский товарищ А. С. Пушкина и И. И. Пущина, чиновник Министерства финансов, в 1817—1821 гг. служил при своем отце (а не брате), томском губернаторе, *Демьяне Васильевиче Илличевском* (р. 1769), действ. ст. сов. Впоследствии А. Д. Илличевский — чиновник Министерства государственных имуществ.

44. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, З.6. Л. 5—5 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 126, с ошибкой в дате: вместо «31 января» напечатано «21 января»

45. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, З.6. Л. 7—8
Письма Г. С. Батенькова. С. 127—128

[1] Томский юноша — А. Д. Илличевский.
[2] А. П. Зонтаг.
[3] Батеньков давно не получал известий от Елагиных и задал шутливые вопросы о их сыне Василии.

46. [М. М. Сперанскому]

Рус. пропилеи. М., 1916. Т. 2. С. 28

[1] Это письмо не «прошение на имя М. М. Сперанского о назначении на должность правителя дел Сибирского комитета», как полагал первый публикатор. Батеньков был в этой должности (одновременно с Цейером) уже с 28 июля 1821 г. Здесь речь идет о желании уволиться из Корпуса инженеров путей сообщения, в котором он числился в это время майором, и перейти на гражданскую службу.

47. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, З.6. Л. 12—12 об.

[1] Азбукин (имя не установлено) — муж покойной сестры А. П. Елагиной — *Екатерины Петровны* (урожд. Юшковой). Речь идет об устройстве его на службу в Петербурге. См. также письмо 49.

48. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, З.6. Л. 13

[1] *Жуковский Николай Васильевич* (1794—1852), чиновник Челябинского уездного суда, секретарь при И. Б. Пестеле, с 1819 г.— при М. М. Сперанском; с 1822 г. управляющий канцелярией ген.-губернатора Западной Сибири, с 1823 г. председатель Тобольского губернского правления, с 1830 г. оренбургский гражданский губернатор, с 1843 по 1851 г. петербургский гражданский губернатор, с 1851 г. сенатор.
[2] Смысл слова не совсем ясен. Возможно, речь идет о каком-то мастере — ткаче камчатных тканей или это прозвище «мальчика» — слуги Батенькова, привезенного им из Сибири, которого надо было вернуть домой.

49. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 3.6. Л. 14—15

[1] А. А. Елагин.

50. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.6. Л. 18—19
Письма Г. С. Батенькова. С. 129—130

[1] 23 авг. 1822 г. у Елагиных родился сын Николай.

[2] Пилигримы — сибиряки, в том числе Н. В. Жуковский, которых по рекомендации Батенькова принимали у себя Елагины.

[3] Грузинские походы — поездки в Грузино, село в Новгородской губ., принадлежавшее главному начальнику военных поселений ген. от артиллерии *Алексею Андреевичу Аракчееву* (1769—1834), связанные с предстоящим переходом Батенькова на службу при Отдельном корпусе военных поселений. 29 янв. 1823 г. он уже уволен от занятий по части Главного управления путей сообщения с откомандированием для работы в Комиссию составления проекта учреждения военных поселений.

[4] «Сибирское учреждение» утверждено 22 июня 1822 г.

[5] *Герцог Вюртембергский* (Виртембергский) *Александр Федорович* (1771—1833), брат имп. Марии Федоровны; на русской службе с 1800 г. С 1811 г. белорусский губернатор; со 2 авг. 1822 г. главноуправляющий ведомства путей сообщения и публичных зданий вместо неугодного Аракчееву Бетанкура.

[6] Речь идет о начале личных контактов Батенькова с поэтом В. А. Жуковским. О денежных расчетах Елагиных с Жуковским см.: *Письма Г. С. Батенькова.* С. 189.

51. С. Т. Аргамакову

ГБЛ. Ф. 20, 9.11. Л. 1—2

[1] *Клейнмихель Петр Андреевич* (1793—1869), ген.-майор, ставленник и ближайший советник Аракчеева, доверенное лицо Александра I (в последние годы его царствования) и Николая I; с 1819 г. начальник Штаба военных поселений, отличался своим деспотизмом и жестокостью.

[2] Вероятно, речь идет о И. В. Прокофьеве (см. примеч. 2 к письму 76).

[3] *Погодин Василий Васильевич* (ум. 1863), сослуживец и приятель Батенькова с 1822 г.; управляющий хозяйственным отделом в Штабе военных поселений; после ареста Батенькова начал за него хлопотать вместе с С. Т. Аргамаковым и Елагиными. После амнистии декабристов дружеские связи Батенькова с Погодиным возобновились (см. письма за 1857—1860 гг.). Уйдя в отставку сенатором, Погодин получил майорат Осет в Сендомиржском уезде Царства Польского. В 1860 г. у него гостил Г. С. Батеньков (*ГИМ.* Ф. 297. № 10. Л. 10—11 об.).

[4] *Корнильев Василий Дмитриевич* (1793—1851), родной брат

матери Д. И. Менделеева; литератор, издатель, один из участников обсуждения «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина в доме декабриста Н. М. Муравьева (первые восемь томов вышли 1 февр. 1818 г.). Батеньков знал Корнильева еще в юности, когда жил в Сибири; в 1850-е гг. он передал ему свою рукопись критической статьи «О «Мертвых душах» Гоголя Н. В.» (см. письмо Батенькова Е. И. Якушкину от 14 нояб. 1857 г. — *ЦГАОР*. Ф. 279. Оп. 1. Д. 459. Л. 25).

52. С. Т. Аргамакову

ГБЛ. Ф. 20, 9.11. Л. 5—6

[1] *Ямпольский Степан Семенович* — иркутский инженер, служил в 10-м округе инженеров путей сообщения.

53. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.7. Л. 5—6 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 132—133

[1] М. М. Сперанский уезжал в гости к своей дочери — писательнице *Елизавете Михайловне* (1799—1857), вышедшей 16 авг. 1822 г. по желанию отца замуж за черниговского гражданского губернатора *Александра Алексеевича Фролова-Багреева* (1785—1845).

[2] Вольное общество любителей российской словесности существовало с 1815 г., а в 1818 г. было официально узаконено. Одним из его основателей и президентом был поэт, публицист, герой войны 1812 г., декабрист Ф. Н. Глинка. Заседания общества проходили «<...> каждый понедельник после полудня <...> в Вознесенской улице, в доме Войвода» в Петербурге (Шредер Ф. Новейший путеводитель по С.-Петербургу. Спб., 1820). В заседаниях участвовали многие видные литераторы: А. А. Бестужев-Марлинский, Е. А. Боратынский, П. А. Вяземский, Н. И. Гнедич, Н. И. Греч, А. А. Дельвиг и другие. Ко времени появления в обществе Г. С. Батенькова среди его участников был уже и К. Ф. Рылеев. Заседание, о котором сообщил Батеньков в этом письме, описано вице-президентом общества Н. И. Гречем (Греч Н. И. Записки о моей жизни. С. 694) и очень эмоционально А. А. Бестужевым в письме к П. А. Вяземскому от 23 мая 1823 г. (*ЛН*. Т. 60. Кн. 1. С. 203—206).

[3] Мумия — прозвище историографа русского флота, декабриста капитан-лейтенанта *Николая Александровича Бестужева* (1791—1855), служившего в 1819—1824 гг. помощником директора Балтийских маяков и начальником Морского музея в Петербурге. Его исторические исследования, результатом которых было сочинение «Опыт истории российского флота» (опубликованное в 1961 г.), и служба в Морском музее были поводом для появления в кругу друзей шуточного прозвища «Мумия». «Введение» к названной выше работе Н. А. Бестужев прочитал в конце окт. 1822 г. на заседании Вольного общества любителей российской словесности и получил единогласное одобрение.

[4] *Самарин Федор Васильевич* (1784—1854), участник Отечественной войны 1812 г., с 1818 г. ст. сов., гофмейстер; отец славянофила Юрия Федоровича Самарина.

54. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.8. Л. 13—13 об.

[1] Малолетние — дети А. П. Елагиной от первого брака, подростки Иван, Петр и Мария Киреевские.

[2] Новый министр финансов — *Егор Францевич Канкрин* (1774—1845), служивший на этой должности с 1823 по 1844 г.

[3] В 1823 г. Батеньков мог читать «Дон Кихота» Сервантеса в нескольких французских и русских переводах. Первый французский перевод был выполнен в 1677 г. Фийо де Сент-Мартеном и затем неоднократно переиздавался: Cervantes M., de. Histoire de l'admirable don Quichotte de la Manche. Avignon, 1786 (в 4 т.).

Второй сделан в 1790-х гг. Флорианом Ж.-П. Клари, де и переиздан в 1820 г.: Don Quichotte de la Manche, traduit de léspagnol par Florian. Paris, 1820. Первый русский перевод «Дон Кихота» сделан в 1791 г. Н. Осиповым с французского текста Фийо де Сент-Мартена: «Неслыханный чудодей, или Необычайные и удивительные подвиги и приключения храброго и знаменитого странствующего рыцаря Дон Кишота. Сочинение славного Михаила Серванта Сааведри. Перевел Н. О.» Спб., 1791. Ч. 1—2. Второй русский перевод выполнен В. А. Жуковским с текста Флориана в 1804—1806 гг. (в 6 кн.). В 1815 г. перевод Жуковского был переиздан: «Дон Кишот Ла Манхский. Сочинение Серванта. Переведено с французского Флорианова перевода В. Жуковским». 2-е изд. М., 1815 (Жуковский и русская культура. Л., 1987. С. 293—311).

55. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.7. Л. 9—10
Письма Г. С. Батенькова. С. 134.

[1] Старик — М. М. Сперанский.

[2] Граф — А. А. Аракчеев.

[3] *Бухмейер Федор Евстафьевич*, ген.-майор артиллерии; ближайший помощник Аракчеева; в 1808 г. по должности командира с.-петербургского арсенала участвовал в заседаниях Временного артиллерийского комитета; с 25 авг. 1817 г. председатель вновь учрежденного «Комитета о строениях в округе поселений гренадерского графа Аракчеева полка», с 29 апр. 1818 г. председатель Общего экономического комитета над военными поселениями. В авг. 1823 г. «увлекся пагубным духом времени» — отказался временно принять на себя управление военными поселениями на Севере в связи с отъездом Аракчеева в Чугуев — центр южных военных поселений, за что и был в 24 часа выслан на юг из Петербурга.

[4] Совет — «Совет господина главного начальника над военными поселениями», членом которого одновременно с производством в подполковники стал Батеньков 25 янв. 1824 г.

[5] *Броневский Семен Богданович* (1786—1858), в 1808 г. прибыл подпоручиком в Сибирь; в 1819 г. назначен Сперанским на должность начальника новой, Омской области и произведен в полковники; в 1835—1837 гг. ген.-губернатор Восточной Сибири, впоследствии сенатор. Сочинение С. Б. Броневского, о котором идет речь в письме: «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе», изданное в 1823 г.

56. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.7. Л. 11—12
Письма Г. С. Батенькова. С. 134—135

[1] *Броневский Владимир Богданович* (1784—1835), брат С. Б. Броневского, военный писатель, бывший моряк, путешественник.

Наиболее известные его сочинения: 1) Записки морского офицера, веденные в продолжение кампании на Средиземном море под начальством Д. Н. Сенявина, от 1805 по 1810 г.: В 4 ч. Спб., 1818—1819; 2) Письма морского офицера, служащие дополнением к Запискам морского офицера. М., 1825—1826. Ч. 1—2; 3) Путешествие от Триеста до Петербурга в 1810 г.: В 2 ч. Спб., 1828 (ее и просил Батеньков); 4) История Отечественной войны 1812 г., доведенная до сожжения Москвы.

[2] Иронизируя по поводу соперничества Петербурга и Москвы, Батеньков вспоминает героя оды Г. Р. Державина «Вельможа» Чупятова и цитирует соответствующую строфу (Д е р ж а в и н Г. Оды. Л., 1985. С. 183).

[3] Фелица — имя, данное Г. Р. Державиным царице в одноименной оде, посвященной Екатерине II (Д е р ж а в и н Г. Оды. С. 62).

57. В. А. Жуковскому

ГБЛ. Ф. 104, 6.57. Л. 1—2 об.
Рус. пропилеи. Т. 2. С. 29

[1] Елагин сообщил другу о рождении (18 сент. 1823 г.) сына Андрея, который, по словам В. А. Жуковского, «так вовремя пришел сменить своего брата» Рафаила (Уткинский сборник. С. 39). Об этих же событиях Батеньков пишет и в следующем письме, называя первое приятной вестью, а второе — потерей.

58. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.7. Л. 13—14
Письма Г. С. Батенькова. С. 135—136, с ошибкой в датировке: вместо «27» напечатано «17 сент.»

[1] Вероятно, речь идет о той же книге, которую просил Батеньков в письме от 7 сент. (см. примеч. 1 к письму 56).

59. *А. А. и А. П. Елагиным*

ГБЛ. Ф. 99, 3.7. Л. 17—18 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 137—138

[1] Упомянутого приложения нет. Кто такая Настасья Григорьевна, установить не удалось.

[2] Новая великая княгиня — *Елена Павловна* (Фредерика-Шарлотта-Мария, 1806—1873), жена вел. кн. Михаила Павловича.

[3] *Олин Валерий Николаевич* (1790—1839), поэт, автор поэмы «Оскар и Альтос», изданной в 1823 г. Многочисленные произведения Олина вызывали шутки и едкие насмешки ведущих литераторов, в том числе А. С. Пушкина, А. А. Бестужева и других.

60. *А. А. Елагину*

ГБЛ. Ф. 99, 3.8. Л. 1—2 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 138—140, с ошибкой в датировке: вместо «1824» напечатано «1814»

[1] В. А. Жуковский.

[2] Журналист, писатель, филолог, издатель *Николай Иванович Греч* (1787—1867) и начинающий литератор, историк и переводчик *Николай Алексеевич Полевой* (1796—1846) в 1820-е гг. занимались системой спряжения русских глаголов. Еще в 1819 г. в «Сыне отечества» Греч поместил разбор грамматики, изданной Российской Академией. Познакомившись с этим разбором, Н. А. Полевой и его брат Ксенофонт Алексеевич решили «переспрягать все русские глаголы, чтобы из этого вывести систему русских спряжений» (П о л е в о й К. А. Записки о жизни и сочинениях Н. А. Полевого // П о л е в о й Н и к о л а й. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов. Л., 1934. С. 51—52, 80, 96). Батеньков по просьбе авторов знакомился с их работой.

[3] Речь идет о подростке — сыне А. И. Браамса Эммануиле (Еммануиле).

[4] Имеется в виду Оттинское болото.

[5] *Гонигман* (Гонихман) *Федор-Иоганн Иванович*, ветеринарный врач придворных конюшен; в 1824 г. титулярный советник; масон, приятель Батенькова, дружеские отношения между ними возобновились и после освобождения декабриста из Алексеевского равелина. Так, в письме к И. И. Пущину 17 апр. 1857 г. Батеньков писал: «<...> мне бы хотелось познакомить вас с одним немцем, старым моим и самым оригинальным приятелем Федором Ивановичем Гонихманом. Это первенец из ветеринарных врачей, рожденных Берлином для русской службы. Теперь, кажется, коллежск[ий] совет[ник] в придворном штате» (Декабристы. Летописи Гос. Литературного музея. М., 1938. Кн. 3. С. 41).

[6] *Врангель Фердинанд* (Федор) *Петрович* (1796—1870), адмирал, ученый, путешественник; в 1840—1849 гг. директор Русско-Американской компании, в 1855—1857 гг. управляющий Морским министерством; в 1864 г. оставил службу. В 1820—1824 гг. в чине лейтенанта был начальником экспедиции к Северному Ледовитому океану; произвел опись сибирских берегов и «Ледовитого моря»

от устья р. Колымы до большого Баранова камня; посетил и описал группу Медвежьих островов; прошел по льду от Шелагского мыса на север, достиг 70°51′ северной широты и 175°27′ восточной долготы и из Нижнеколымска возвратился в Петербург. В 1841 г. Российская Академия наук издала сочинение Врангеля «Путешествие по северным берегам Сибири и Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 годах, с 4 картами» и «Прибавления к Путешествию, содержащие замечания о Ледовитом море, полярных льдах, северных сияниях, езде на собаках, языках туземцев, метеорологические и климатологические наблюдения и таблицы географического положения мест» (Общий морской список. Спб., 1892. Ч. 6. С. 568—571).

Матюшкин Федор Федорович (1799—1872), адмирал, ученый, путешественник, лицейский товарищ А. С. Пушкина и И. И. Пущина; в 1820—1824 гг. мичманом участвовал в экспедиции Ф. П. Врангеля; один из мысов назван его именем; иллюстрировал названное выше сочинение Врангеля. С авг. 1856 г. вице-адмирал, член Цензурного комитета от Морского министерства; в 1858—1861 гг. председатель Морского ученого комитета; с 1861 г. сенатор (Общий морской список. Спб., 1893. Ч. 7. С. 496—498).

Экспедиция Врангеля находилась в ведении Сперанского, поэтому по прибытии в Сибирь ее участники познакомились с помощниками ген.-губернатора. Батеньков заинтересовал моряков своей научной эрудицией и знанием Сибири.

[7] Не совсем точная передача первых строк агитационной песни, написанной К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым в 1823 г.: «Ах, где те острова...» (Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения: В 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 510—511). Песня эта — едкая сатира на нравы самодержавной России, до первого появления в печати она широко распространялась в списках, неудивительно, что ее знал и Батеньков — он был знаком с ее авторами, а с одним из них, Бестужевым, служил в одном ведомстве. А. Бестужев с 1820 г. был адъютантом Бетанкура. Впервые песня была опубликована А. И. Герценом в «Полярной звезде» на 1859 год, № 5.

[8] Архив Коллегии иностранных дел (в Москве).

[9] В оригинале ошибочно: 1804. Речь идет о возвращении от правил, выработанных во время управления путями сообщения Бетанкуром, к порядкам, установленным Деволаном.

[10] Рукописные списки новых, еще не изданных сочинений Пушкина были хорошо известны Батенькову. Здесь цитаты из «Евгения Онегина» (неточная): «Как легкий пух от уст Эола» — о выдающейся русской балерине *Авдотье Ильиничне Истоминой* (1799—1848) и из «Бахчисарайского фонтана»: «Где скрылись ханы? Где гарем?» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. 3-е изд. М., 1964. Т. 5; 1963. Т. 4). Цитируя, вероятно по памяти, Батеньков допустил некоторую неточность или знал другие варианты.

[11] «Наша герцогиня» — жена герцога А. Вюртембергского *Антонина Амалия* (1778—1824), сестра имп. Елизаветы Алексеевны.

[12] Далее опущена приписка рукой С. Т. Аргамакова с приветом от себя и «немца Гонигмана».

61. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.8. Л. 3—4 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 140—141

[1] «Певец барок» — скорее всего, речь идет о В. А. Жуковском, авторе баллады «Вадим», в которой создан образ очарованного челна, несущего героя баллады (*Письма Г. С. Батенькова.* С. 192).

[2] «Сила Синих гор», «биржевой курс», «прейскурант на некоторые сибирские произведения» — в такой иносказательной форме Батеньков сообщал другу о своих служебных делах по военным поселениям (Синие горы в Курляндии, неподалеку от которых находились новгородские военные поселения) и об отзывах на «Сибирские учреждения», утвержденные в авг. 1822 г. Живописное описание Синих гор см. в следующем письме.

[3] *Севастьянов Яков Александрович* (1796—1849), ген.-майор, математик, воспитанник и педагог (с 1814 г.) Института Корпуса путей сообщения; автор и переводчик научных трудов по начертательной геометрии. Вероятно, знакомство Батенькова с Севастьяновым произошло в 1816 г. при сдаче в институте экзаменов на звание инженера путей сообщения. Не случайны поэтому волнения Батенькова по поводу болезни друга, в 1824 г. еще подполковника.

[4] Живя со Сперанским и его помощниками в доме Неплюева, рядом с Армянской церковью (Невский пр., участок между домами 40 и 42), Батеньков знал ее распорядок: «звонили к обедне» в 10 часов; вероятно, и встретиться со Сперанским дома можно было только до этого часа.

[5] Завершив экспедицию к Северному Ледовитому океану, Матюшкин и Врангель возвращались в Петербург через Москву. 21 апр. 1824 г. Матюшкин был произведен в лейтенанты и за успехи в экспедиции награжден орденом св. Владимира 4-й степени. Эти события в жизни Матюшкина и его дальнейшая служба могли интересовать Елагиных.

[6] Речь идет о кн.: Kraft, Jean Charles. L'art de la Charpente. Paris, 1805. С-т Флоран — придворный книготорговец в Петербурге.

[7] «Патентованный» — это Азбукин, о котором хлопотал по просьбе А. П. Елагиной Батеньков. Для определения его на службу не требовалось предъявлять патента на чины, так как были грамоты на ордена (см. письмо 47 в наст. изд. и письмо от 6 апр. 1822 г. — *Письма Г. С. Батенькова.* С. 128).

[8] Имеется в виду С. Т. Аргамаков.

[9] *Дельвиг* (Дельвих) *Антон Антонович* (1798—1831), барон, лицейский друг А. С. Пушкина, И. И. Пущина и В. К. Кюхельбекера, поэт.

[10] *Корнилович Александр Осипович* (1800—1834), штабс-капитан Генерального штаба Гвардейского корпуса, писатель, военный историк, автор статей по истории географических открытий, декабрист, член Южного общества. Верховным уголовным судом осужден по IV разряду на 12 лет каторжных работ, а потом на поселение. В 1828 г. по доносу Ф. В. Булгарина в III отделение выслан из Читы в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. Находясь в крепости, составлял для Николая I доклады по экономическим, военным, административным и другим государственным вопро-

сам. Начиная с 1829 г. просился рядовым на Кавказ, но был отпущен только в ноябре 1832 г. и умер там от тифа.

62. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.8. Л. 7—8 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 142—143

[1] *Соколов* [*Александр Афанасьевич?*] (1798—1863), ген.-майор, архитектор Штаба военных поселений.

[2] Из Чернигова возвращалась дочь Сперанского Е. М. Фролова-Багреева. Очередное литературное иносказание Батенькова: былинный герой Илья Муромец, победив Соловья-Разбойника, очистил дороги, идущие от Киева и Чернигова на север и восток.

[3] Вероятно, речь идет о французском живописце *Шарле Верне* (1758—1836), работавшем в России в начале XIX в. (Русские портреты XVIII—XIX столетий. Спб., 1908. Т. 4. № 99—100).

[4] Рогнеда — дочь полоцкого князя Всеволода, насильно захваченная в жены вел. кн. киевским Владимиром. Здесь ее имя как символ подавленной личности: Батеньков тяготился службой у Аракчеева, порядками в военных поселениях, его тянуло с Синих гор к друзьям в Петербург. Использование для выражения своего состояния имени Рогнеды у Батенькова переплетается с содержанием стихотворения К. Ф. Рылеева, посвященного А. А. Воейковой, страдающей от своего мужа.

63. С. Т. Аргамакову

ГБЛ. Ф. 20, 9.10. Л. 3—4 об.

[1] Прозвище, данное учениками и молодыми сослуживцами М. М. Сперанскому еще в Сибири.

[2] *Эйлер Александр Христофорович* (1779—1849), ген. от артиллерии, начальник артиллерии военных поселений. В 1823 г. вместе с Батеньковым готовил Положение о поселении артиллерии. С 11 сент. 1825 г., после убийства в Грузино Настасьи Минкиной, по 7 дек. того же года заведовал военными поселениями.

64. С. Т. Аргамакову

ГБЛ. Ф. 20, 9.11. Л. 11

65. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.8. Л. 9—10 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 143—144

[1] С мая 1824 по 1828 г. министром народного просвещения был адмирал *Александр Семенович Шишков* (1754—1841), с 1813 г. президент Российской Академии, писатель, сторонник использования в литературе церковнославянского языка, противник нововведений Н. М. Карамзина в русский язык; автор «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка» (1803); один из создателей «Бесе-

ды любителей русского слова» (1811). Декабристы-литераторы, и Батеньков в их числе, как и вся прогрессивная интеллигенция России, в языковом споре между Шишковым и Карамзиным были на стороне последнего.

[2] *Лавуазье Антуан Лоран* (1743—1794), знаменитый французский химик, один из основателей современной химии; как откупщик казнен во время буржуазной революции во Франции. *А. Форкруа* (Фуркруа) (1755—1809), французский химик, популяризатор учения Лавуазье, общественный деятель Французской буржуазной революции 1792 г., депутат Конвента.

[3] Марфа Посадница — *Борецкая Марфа Ивановна* (? — после 1478), одна из предводителей новгородцев в борьбе против самодержавия московского царя во второй половине XV в.

«Окрестности вадимова места» — места сражения Вадима Новгородского (?—863), летописного героя, боровшегося против самовластия князя Рюрика на Новгородской земле. Здесь намеки на строительство под руководством Батенькова военных поселений в районе Новгорода.

66. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.8. Л. 11—12 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 144—145

[1] Противопоставление автором своей поездки по делам аракчеевских поселений «Сентиментальному путешествию» Л. Стерна (1768).

[2] *Аристотель* (384—322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый. *Локк Джон* (1632—1704), английский философ-эмпирик, педагог и политический деятель. *Кант Эммануил* (1724—1804), немецкий философ-идеалист. Содержание письма направлено на высмеивание увлечения А. А. Елагина идеалистической философией Канта и Шеллинга.

[3] Имеется в виду литературный конфликт на страницах журналов между *Фаддеем Венедиктовичем Булгариным* (1789—1859) и издателем журнала «Благонамеренный» (1818—1826), баснописцем, журналистом *Александром Ефимовичем Измайловым* (1779—1831). Эта «битва» велась в форме взаимных оскорблений ее участников. Измайлов печатал басни-сказки о Булгарине-литераторе и человеке. Острые, сатирические оценки противника, данные им в сказках: «Фадей с фонарем», «Песня», «Судья Фадей» и других,— разделялись и многими литераторами. Напоминая о службе Булгарина у Наполеона, Измайлов написал в 1824 г. эпиграмму:

Ну, исполать Фадею!
Пример прекрасный подает!
Против отечества давно ль служил злодею,
А «Сын отечества» теперь он издает.

(Рус. старина. Кн. 12. С. 751—754)

67. *А. А. и А. П. Елагиным*

ГБЛ. Ф. 99, 3.8. Л. 15—16
Письма Г. С. Батенькова. С. 145—146

[1] Сравнение неясное.

[2] В Старой Руссе располагался 10-й военно-рабочий батальон. Батеньков приезжал сюда вместе с генералом Эйлером, с ним должен был возвратиться в Грузино.

[3] Батеньков намекает на свое служебное благополучие.

[4] Далее опущена приписка рукой С. Т. Аргамакова (от 2 сент.) о пересылке к Елагиным этого письма, полученного от Батенькова из Старой Руссы 31 авг.

68. *А. А. Елагину*

ГБЛ. Ф. 99, 3.8. Л. 17—18 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 146—147

[1] Для письма использован листок, на котором Батеньков начинал какое-то служебное послание. Возможно, автор умышленно не взял чистого листа, чтобы подчеркнуть свое недовольство другом, находящимся с ним «на политике», т. е. в ссоре. На самом деле ссоры не было, но Батеньков своевременно не получал письма от Елагина и был на него обижен.

[2] Вероятно, здесь речь идет не о А. И. Браамсе, как полагает первый публикатор *(Письма Г. С. Батенькова.* С. 205), а о «владыке» военных поселений А. А. Аракчееве. Аракчеев оставил Батенькову кипы неоконченных дел, он же, а не Браамс мог спешить «во сретение восходящего солнца от востока». Говоря языком масонов, Батеньков намекал на встречу Аракчеевым царя. Восток — высшее управление в городе или стране (по масонской терминологии).

[3] Апологи — краткие аллегорические рассказы из жизни животных, басни.

[4] О занятиях Батенькова египетскими иероглифами см. вступ. ст. Положения — правила устройства военных поселений, в том числе Положение о поселении артиллерии, которое Батеньков составлял вместе с ген.-майором А. Х. Эйлером (Записки А. Х. Эйлера // Рус. архив. 1880. Ч. 2. С. 378).

[5] Пугая друга, Батеньков грозит ему, что разговоры о его научных занятиях могут быть так же занимательны слушателям, как и беседы с Зорианом Ходаковским. *Доленга-Ходаковский Зориан Яковлевич* (псевдоним Адама Черноцкого, 1784—1825), археолог, собиратель славянской старины. Он, как известно, «мучил» А. П. Елагину и ее детей рассказами о городищах — небольших земляных насыпях «известной формы», разбросанных «на великих пространствах местопребывания славян» (П о л е в о й К. А. Записки о жизни и сочинениях Н. А. Полевого. С. 71).

[6] Батеньков назвал здесь имена людей, обладающих обширными научными знаниями, которые в народе слыли волхвами, колдунами, гадателями, толкователями снов: *Мартын Задека* — автор (?) книг «Предсказание <...> М. Задеки» (Спб., 1770) и «Гадательный <...> оракул» (М., 1800); *Альберт Великий* — граф фон Боль-

штедт (1193—1280), ученый монах-доминиканец, обладал энциклопедическими знаниями, особенно по физике, ботанике и древнегреческой философии. С его именем связывались различные легенды; *Брюс Яков Вильмович* (1670—1735), ген.-фельдцейхмейстер (начальник артиллерии и инженерных войск) при Петре I; увлекался астрономией, вызывая у публики мысли о волховстве и гаданиях.

69. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.8. Л. 19—20 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 147—148

[1] Опустошительный потоп — наводнение в Петербурге 7 нояб. 1824 г. Спустя почти 25 лет, вспоминая это наводнение, Батеньков сравнивал его с сибирскими пожарами (см. письмо к А. П. Елагиной от 26 апр. 1850 г. — Рус. пропилеи. Т. 2. С. 80).

[2] Галерное селение — бывшая Галерная дорога, соединяющая теперешнюю площадь Декабристов и площадь Труда в Ленинграде (сейчас улица Красная). На этой улице, лежащей между Адмиралтейством и Галерной верфью, жили мастера — строители галер.

[3] Рескрипт на имя действ. ст. сов. кн. Алексея Борисовича Куракина был объявлен именным указом от 11 нояб. 1824 г. (*ПСЗ.* Т. 39. № 30113. С. 586—587). «Именной указ <...> о составлении Комитета для пособий с.-петербургским жителям, потерпевшим от наводнения», текст которого готовил Батеньков «по назначению государя», был поводом для награждения его бриллиантовым перстнем. 20 февр. 1825 г. он писал Елагину, что получил «подарок 3 т[ысячи] рублей за одну только понравившуюся царю бумагу» (см. письма 74 и 75).

[4] Намек на затянувшуюся конференцию держав — членов Священного союза, собранную по предложению России 24 июня 1824 г. в Петербурге для разрешения греческих проблем и рассмотрения комплекса вопросов по Ближнему Востоку. В своей реплике Батеньков использовал историческую аналогию — в III—II вв. до н. э. было три так называемые Пунические войны за владычество в Средиземноморском бассейне.

[5] Кто такой Хромов, установить не удалось.

[6] А. А. Воейкова.

70. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.8. Л. 21—22
Письма Г. С. Батенькова. С. 148—149

[1] В своей семье — в семье М. М. Сперанского.

[2] В первой публикации этот абзац опущен. *Уваров Федор Петрович* (1769—1824), ген. от кавалерии, герой Отечественной войны 1812 г.

[3] На башне Адмиралтейства в Петербурге было установлено шесть фонарей, которые зажигались при подъеме воды в Неве как сигнал о бедствии.

71. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.8. Л. 23—24 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 149—150

[1] Сухарева башня — трехъярусное здание, сооруженное в 1692 г. в Москве по приказу Петра I. Вероятно, используя словообразование из имен Иван и Нотар («Ивано-Нотарообразная башня»), Батеньков хотел подчеркнуть наличие в ее очертаниях признаков разных архитектурных стилей.

[2] *Каченовский Михаил Трофимович* (1775—1842), редактор консервативного журнала «Вестник Европы». Свои статьи с критикой писателей-романтиков он подписывал псевдонимом «Лужницкий старец». Батеньков, как и другие декабристы, презрительно относился к «старцу» и редактируемому им журналу. Отсюда производное — каченовщина. Тюк каченовщины (тюк издаваемого Каченовским журнала) Павел Семенович Граве, друг А. А. Елагина, привез Батенькову.

[3] «Дураковы» — скорее всего, ироническое словообразование, собирательное имя, подобное грибоедовским Молчалину, Скалозубу и другим.

[4] Ф. И. Гонигман.

[5] А. Ф. Вюртембергский.

[6] Речь идет о литературных альманахах, издававшихся с разных литературных и общественно-политических позиций их издателей и редакторов. Но в этих альманахах подчас печатались одни и те же авторы.

«Полярная звезда» — литературный альманах, издававшийся К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым. В нем сотрудничали А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Е. А. Боратынский, А. А. Дельвиг, П. А. Вяземский, И. А. Крылов, Н. М. Языков и другие известные литераторы. Альманах вышел три раза: в 1823, 1824 и 1825 гг.

«Северные цветы» — литературный альманах, издававшийся с 1824 г. А. А. Дельвигом. Оценивая первую книжку этого журнала, А. Бестужев писал с легкой иронией в «Полярной звезде» на 1825 год: «<...> Северные цветы, собранные бароном Дельвигом, блистают всею яркостью красок поэтической радуги, всеми именами старейшин нашего Парнаса» (Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. С. 556).

«Русская Талия» — театральный альманах, издававшийся Ф. В. Булгариным. На 1825 г., по словам А. Бестужева, «Русская Талия» «<...> между многими хорошими отрывками заключает в себе 3-е действие комедии «Горе от ума», которое берет безусловно преимущество над другими <...>, книжка сия оживлена очень дельною статьею Греча «О русском театре...» (там же, с. 555).

[7] Смысл слов неясен. Возможно, речь идет о «злодее» Клейнмихеле, который постоянно придирался к Батенькову.

72. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 3—3 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 151

[1] *Карамзин Николай Михайлович* (1766—1826), писатель, историк, литературный деятель, автор «Истории государства Российского». В. А. Жуковский, на которого совершил «нашествие» Карамзин, жил в то время на Невском пр. в доме Меншикова (сейчас д. 64, на углу Невского пр. и ул. Толмачева). В 1824 г. вышло трехтомное собрание его стихотворений, и, бесспорно, Батенькову была желательна встреча с поэтом не «на полминуты».

[2] Скорее всего, имеется в виду А. П. Зонтаг.

[3] «Петербургский Парнас» — в квартире Батенькова на вечера собирались не только его сослуживцы, но и писатели, поэты и музыканты, с которыми он познакомился у Н. И. Греча и В. А. Жуковского.

[4] Е. М. Фролова-Багреева.

[5] «Московский телеграф», двухнедельный журнал, издававшийся в 1825—1834 гг. Н. А. Полевым.

[6] «Польский выходец» — Ф. В. Булгарин, начавший в 1825 г. вместе с Н. И. Гречем издавать газету «Северная пчела», на страницах которой всячески чернил Н. Полевого и его «Московский телеграф». В ответ на нападки Булгарина Н. Полевой выступал с критикой его сочинений (подробней об этом см.: Греч Н. И. Записки о моей жизни. С. 698).

[7] *Одоевский Владимир Федорович* (1803 (1804?)—1869), писатель, критик, музыкант; с 1824 г. издатель (вместе с В. К. Кюхельбекером) литературного альманаха «Мнемозина». Стращая Булгарина Одоевским, Батеньков намекал на журнальную полемику между ними. Во второй, третьей (1824) и четвертой (1825) книжках «Мнемозины» печатались статьи Одоевского и Кюхельбекера в ответ на нападки Булгарина.

73. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 4—5 об.

[1] П. С. Граве.

[2] «Конский журнал» — журнал с таким названием не издавался. Возможно, речь шла о справочнике: О конюшнях кавалерийских полков. Спб., 1821. Т. 1.

[3] *Померанцев* — московский домовладелец; в его доме «возле Сухаревой башни» жили Елагины (см. письмо 79).

[4] Далее дается краткая биографическая справка об испанской королеве *Изабелле I* (1451—1504), кастильской королеве (1474—1504). Ее брак (1475) с *Фердинандом Католиком* (1452—1516), королем Сицилии (с 1468), Арагонии (Аррагонии) (1479—1504), Кастилии (1475—1504) и Неаполя (с 1504) привел в 1479 г. к династическому объединению Кастилии и Арагонии, т. е. к фактическому образованию единого государства Испания. Фердинанд Католик был одним из первых абсолютных монархов в Западной Европе.

74. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 3.6. Л. 6—7
Письма Г. С. Батенькова. С. 151—152

[1] «Аррагониальное и Донкишотолиальное» — состояние, близкое к настроению Дон Кихота (Дон Кишота), рыцаря печального образа.

[2] Размышления о сложившейся в военных поселениях обстановке и своем будущем приводят Батенькова к мысли «пуститься в Ашантиямо искать приключений». В начале XIX в. за территорию работоргового государства Ашанти (в Западной Африке) шла борьба между местными, негритянскими племенами — ашанти и англичанами, пытавшимися превратить эту богатую золотом страну в колонию. Борьба длилась почти столетие. В 1901 г. Англия включила Ашанти в свое африканское владение — Золотой берег. Батеньков, знакомый уже со многими декабристами, так же, как и они, сочувственно относился к борьбе ашантиев с колонизаторами.

[3] Музыка на «Черную шаль» А. С. Пушкина была написана *А. Н. Верстовским* (1799—1852); кантата эта исполнялась на литературных вечерах, в концертах, в домашнем кругу. Батеньков, говоря о высокопарности музыки, передает отзыв на нее «Вестника Европы», об этом же отзыве сообщал В. К. Кюхельбекер в статье «Минувшего 1824 года военные, ученые и политические достопримечательные события в области Российской словесности» (Их вечен с вольностью союз. М., 1983. С. 142).

[4] См. примеч. 3 к письму 69.

75. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 8—9
Письма Г. С. Батенькова. С. 152—153

[1] «<...> из земли Египетской <...>, иже суть на поле Танеосе» — несколько измененный текст из 77-го псалома (ст. 12) Псалтыри, говорящего о «сынах ефремовых», забывших бога и продолжавших грешить, несмотря на явленные им чудеса» (*Письма Г. С. Батенькова.* С. 210).

76. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 10—11
Письма Г. С. Батенькова. С. 153—154

[1] «Двумесячный младенец» — «новый театр у Чернышева моста», «третий театр» в Петербурге. Строительство театра было начато после 27 авг. 1824 г. на «пустопорожнем месте, на так называемом Щукинском дворе 3-й адмиралтейской части 2-го квартала: по реке Фонтанке <...> к Чернышеву переулку <...>, на черте места графа Апраксина <...>». Для удешевления строительства из Ораниенбаума был привезен летний деревянный театр, сооруженный еще в XVIII в. Постройку театра производил архитектор *Смарагд Логинович Шустов.* К концу 1824 г. театр был построен, и 1 янв.

1825 г. оперой Керубини «Водовоз» начались спектакли русской труппы. Играли здесь и немецкие актеры. Театр существовал очень недолго. 8 февр., в конце масленицы, спектакли прекратились, а 2 марта 1825 г. театр сгорел до основания. Причиной пожара была «неисправность печи». Пожар подал повод для эпиграммы на ген.-губернатора Петербурга М. А. Милорадовича, состоявшего с 22 февр. 1824 г. членом Театрального комитета:

Строители забав не любят, видно, Музы,
Его несчастливы с Харитами союзы:
Что он ни затевал,
То все вода снесла иль огнь пожрал».

(Данилов С. С. Постоянные публичные театры в Петербурге в XIX в. // О театре. Л., 1929. С. 164—165).

[2] *Прокофьев Иван Васильевич*, один из директоров Российско-американской компании, жил в Петербурге, в доме компании на набережной реки Мойки, д. 72. В 1824—1825 гг. в этом же доме была квартира К. Ф. Рылеева. Здесь же в квартире литератора, столоначальника компании *Ореста Михайловича Сомова* (1793—1833) жил М. А. Бестужев. С 1824 г. в квартире Рылеева жил А. А. Бестужев. Кто такая Анна Николаевна, установить не удалось.

77. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 12—13
Письма Г. С. Батенькова. С. 154—155

[1] Имеется в виду второй пункт «постной» молитвы Ефрема Сурина, гласящий: «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми рабу твоему». Какая женщина вызвала насмешку Батенькова, неизвестно.

[2] Полковником Батеньков стать не хотел, так как служба у Аракчеева его тяготила и он собирался уйти в отставку. Общение с членами Северного общества в доме Российско-Американской компании и литературная жизнь Петербурга все больше интересовали его в 1825 г. Как и 26 авг. 1824 г. (см. письмо 67 и примеч. 3 к нему), Батеньков, говоря о своих служебных делах, использует иносказательные формулировки: биржевые дела, биржевой курс.

[3] Крестница — дочь Елагиных *Елизавета* (Лила) (1825—1848).

78. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 14—14 об.
Рус. пропилеи. Т. 2. С. 29—30

[1] *Шаховской Александр Егорович* (?—1825), кн., управитель Охотского порта, с 1820 г. сотрудник сибирского ген.-губернатора М. М. Сперанского, приятель Батенькова. После возвращения из Сибири в Петербург получил место директора Одесского Ришельевского лицея, женился, но 8 авг. 1825 г. умер от «нервической

горячки» за три дня до отъезда к месту службы. Работая со Сперанским, Шаховской жил в Петербурге вместе с Батеньковым (см. о нем также письмо 90 и *Письма Г. С. Батенькова*, с. 159).

[2] См. примеч. 4 к письму 73. Здесь намек на занятия Елагина испанской историей и просьба: «пошлите хоть одного Фердинанда» — т. е. самого Алексея Андреевича, так как с «Изабеллой» он уже «разлучился», получив от Батенькова интересующие его сведения.

79. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 16—17 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 155

[1] Поездка Батенькова в Москву не состоялась.

[2] В. Н. Бердяев, уйдя в отставку, пытался заниматься литературным трудом и направил свой дебют в «Мнемозины» (см. письмо 76).

80. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 18—18 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 156

[1] В 1824 г. племянница М. М. Сперанского, о которой он постоянно заботился, *Анна Андреевна Смирнова*, вышла замуж за правителя Канцелярии малороссийского губернатора *Алексея Осиповича Имберга* (1790—1864). Воспоминания А. О. Имберга о жене см.: Рус. архив. 1870. Кн. 1).

81. [С. Т. Аргамакову]

ГБЛ. Ф. 20, 9.11. Л. 13

[1] Тосно — крупный населенный пункт Царскосельского уезда на «Большой дороге» (от Петербурга до Москвы), почтовая станция; в XIX в. важный центр кирпичных, известковых, лесозаготовительных и других промыслов (Даринский А. В. Ленинградская область. Л., 1975. С. 209—211). Путь Батенькова из Петербурга в Грузино проходил через Царское Село (г. Пушкин), мимо Тосно.

[2] А. А. и Е. М. Фроловы-Багреевы.

82. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 19—19 об.
Рус. пропилеи. Т. 2. С. 30

[1] Отзыв Батенькова о военных поселениях необъективен. Поселения здесь явно приукрашены. Не исключено, что при любви к иносказаниям, он и здесь, хваля порядок и строгую дисциплину, намекает друзьям на тяжелые условия жизни в аракчеевских военных поселениях, где труд поселян был строго регламентирован.

83. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 21—22 об
Письма Г. С. Батенькова. С. 156—157

[1] Французское издание произведений поэта *Джорджа Ноэля Гордона Байрона* (1788—1824) вышло четыре раза. Батеньков, очевидно, говорит здесь о последнем к тому времени: Byron (Lord). Oeuvres nouvelles, traduites de l'anglais par A. P. ... T. Paris, 1824.

[2] *Кюхельбекер Вильгельм Карлович* (1797—1846), известный поэт-декабрист, лицейский друг А. С. Пушкина и И. И. Пущина; с сент. 1820 по 21 авг. 1821 г. читал в Париже лекции о русском языке, но выслан в Петербург (по указанию из России). Александр I был осведомлен о свободомыслии, политической и антидеспотической направленности его парижских лекций, поэтому, вернувшись домой, Кюхельбекер оказался без службы. «Он здесь и умирает с голоду»,— сообщал П. Вяземскому А. И. Тургенев. Вскоре с помощью друзей он получил назначение к А. П. Ермолову в Канцелярию главноуправляющего Грузией и командира Отдельного Кавказского корпуса. В самом начале 1825 г. вернулся с Кавказа в Петербург. Судьба поэта волновала всех друзей и почитателей его литературного таланта, в том числе Батенькова и Елагиных, знавших о его путешествии и парижских лекциях. Возможно, Батеньков еще не знал о возвращении поэта, так как по приезде тот временно остановился у своего брата — моряка в казармах Морского экипажа (ныне пл. Римского-Корсакова, д. 22).

[3] Очевидно, речь идет о *Сергее Федоровиче Вындомском* (1768—1846), последнем представителе (по мужской линии) рода петербургских помещиков Вындомских, любителе-археологе, собирателе древностей (см. о нем: Кашкин Н. Н. Родословные разведки. Спб., 1912. Т. 1. С. 142).

[4] Чудово — в 1820-х гг. село по дороге из Петербурга в Новгород, сейчас город Новгородской обл.

[5] *Холанский* (Халанский) Андрей Иванович (1795—1864); с 1824 г. чиновник Государственной коллегии иностранных дел.

84. А. А. Елагину

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 23—24 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 157—158

[1] Следы ноябрьского бедствия — следы наводнения в Петербурге 7 нояб. 1824 г. (см. письмо 69).

[2] См. с. 44—45 наст. изд.

[3] В 1824 г. в Петербург приехал «Олимпический цирк» Жака Турньера, начавший давать представления в доме купца Козулина (ранее — Заводовской). Спектакли этого цирка имели большой успех, но продолжались недолго.

[4] Намек на занятия Н. А. Полевого русской грамматикой.

[5] Парголово — дачное место под Петербургом, подаренное куратору университета гр. *Ивану Ивановичу Шувалову* (1727—1797) имп. Елизаветой. Дача получила название от имени финской деревни Пергола, входившей в состав подаренного участка вместе с другими

деревнями. Со временем район Парголово превратился в дачное место петербургской знати. В середине 1820-х гг. здесь в праздники устраивались гулянья. Туда и отправлялся Батеньков вместе со всеми обитателями «дома» Сперанского.

85. [С. Т. Аргамакову]

ГБЛ. Ф. 20, 9.11. Л. 15—16 об.

[1] Речь, вероятно, идет о поездке В. Д. Корнильева в Сибирь.
[2] *Лихардов Сергей Михайлович*, полковник Корпуса инженеров путей сообщения, сослуживец Батенькова; в 1850 г. ген.-лейтенантом был прикомандирован в 1-й округ путей сообщения «к дворцовому управлению в Петергофе».

86. С. Т. Аргамакову

ГБЛ. Ф. 20, 9.11. Л. 19

[1] В. В. Погодин.

87. С. Т. Аргамакову

ГБЛ. Ф.20, 9.11. Л. 23—23 об.

[1] Госпожа *Танеева* — вероятно, жена *Александра Сергеевича Танеева* (1785—1866), бывшего сотрудника Аракчеева (1808—1810), с 1831 г. статс-секретаря.
[2] *Магницкий Михаил Леонтьевич* (1778—1855), в 1816—1826 гг. попечитель Казанского учебного округа, реакционер, сторонник и приятель Аракчеева.

88. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 25—25 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 158—159

[1] «Двумесячная отлучка» П. А. Клейнмихеля завершилась 14 сент.
[2] Наши — семья М. М. Сперанского.
[3] Далее опущена приписка С. Т. Аргамакова (пересылавшего письма Батенькова) о смерти А. Е. Шаховского.

89. С. Т. Аргамакову

ГБЛ. Ф. 20, 9.11. Л. 31

[1] В авг. 1825 г. Батеньков уже стремился оставить службу у Аракчеева, поэтому спешил отправлять Аргамакову, т. е. в свою квартиру, «всякий сброд» бумаг.

90. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 27—28
Письма Г. С. Батенькова. С. 159—160

[1] Одесский лицей — Одесский Ришельевский лицей. В 1803 г. частный пансион де Вольсея в Одессе взят был под «покровительство» Ришелье; с 1805 г. пансион стал называться Благородным воспитательным институтом на правах гимназического отделения Коммерческой гимназии. В 1811 г. институт стал казенным учебным заведением. Указом от 2 мая 1817 г. институт и гимназия были преобразованы в Ришельевский лицей (Ленц Н. Учебно-воспитательные заведения, из которых образовался Ришельевский лицей. 1804—1817. Одесса, 1903). Указом 10 июня 1862 г. лицей преобразован в Новороссийский университет. Реорганизация лицея завершилась в 1865 г.

91. [С. Т. Аргамакову]

ГБЛ. Ф. 20, 9.11. Л. 21

[1] Скорее всего, речь идет о «Плане государственных преобразований» (1809), составленном Сперанским, который интересовал декабристов, думавших о будущем преобразовании государственного устройства страны (*Семенова.* С. 27—35). Скрывая от Аргамакова свои связи с членами тайного общества, Батеньков послал ему лаконичную записку.

Упомянутое Батеньковым письмо к Тургеневу не обнаружено. Не исключено, что имеется в виду декабрист *Николай Иванович Тургенев*, находившийся в заграничном отпуске по должности управляющего одного из отделений Министерства финансов. «План» мог быть нужен ему за границей для научной работы. Но в 1825 г. мог искать «План» и *Сергей Иванович Тургенев*, который цитировал его еще в марте 1820 г.

92. С. Т. Аргамакову

ГБЛ. Ф. 20, 9.11. Л. 32

[1] Сибирские штаты — штаты к «Сибирским учреждениям», утвержденным в 1822 г. по проектам, составленным М. М. Сперанским и Г. С. Батеньковым. Речь идет о печатном экземпляре штатов, нужном для работы.

93. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 29—29 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 160

94. *А. А. Елагину*

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 31—31 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 160—161

[1] Имеется в виду временное исполнение Батеньковым обязанностей П. А. Клейнмихеля.

[2] 10 сент. 1825 г. крепостные Аракчеева Василий Антонов и его сестра Прасковья убили в имении Грузино домоправительницу и любовницу графа Настасью Федоровну Минкину (Шумскую). Причиной убийства была деспотичность Минкиной по отношению к крепостным и безграничное ее влияние на Аракчеева. Убийство Минкиной отразилось не только на судьбе убийц и причастных к убийству лиц, но и на службе Батенькова.

[3] Думаем, что прочтение: «обидиевы узлы», данное в первой публикации, ошибочно. Скорее всего, следует читать: «овидиевы узлы» по имени римского поэта *Овидия Назона Публия* (43—17 до н. э.), изгнанного из Рима и оторванного от привычной жизни. Батеньков сравнивает свои невзгоды и переживания с невзгодами (узлами жизни) римского поэта. Подобно Овидию, свои страдания он воспевал в стихах.

95. *А. А. Елагину*

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 32—32 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 161—162

[1] Имеется в виду А. Х. Эйлер. 15 сент. 1825 г. приказом по корпусу военных поселений он объявил, что в связи с болезнью Аракчеева (после смерти Минкиной) он вступает «в командование корпусом и в управление делами его штаба до возвращения начальника штаба» П. А. Клейнмихеля. 30 нояб. 1827 г., «получа от болезни облегчение», Аракчеев объявил по корпусу о своем возвращении к служебным обязанностям (*ЛО Арх. АН СССР.* Ф. 100. Оп. 1. Д. 262. С. 12—13).

[2] «Пресловутая битва» — дуэль между «бедным поручиком», членом Северного общества *Константином Пахомовичем Черновым* и флигель-адъютантом *Владимиром Дмитриевичем Новосильцовым* — состоялась в Петербурге 10 сент. 1825 г. Причина дуэли — отказ Новосильцова (под нажимом матери) от своей невесты — сестры Чернова. Брат, вставший на ее защиту, вызвал обидчика на дуэль, в результате которой оба погибли. Похороны Чернова вылились в демонстрацию против аристократов. Активное участие в защите Чернова и его похоронах приняли его друг и секундант К. Ф. Рылеев, А. А. Бестужев, В. К. Кюхельбекер и другие декабристы.

Язвительно-иронический тон письма Батенькова при описании этого события, мы полагаем, нельзя рассматривать как непонимание автором его социальной значимости, как это представлено в комментарии к первой публикации (*Письма Г. С. Батенькова.* С. 217). Скорее всего, Батеньков прикрывает своей иронией главную мысль: «Тут представляется нечто новое, похожее на так называемое общее мнение; но да избавит нас бог от сей заразы». Здесь уже явно слышен голос человека, близкого к тайному обществу. О своем участии

в погребении «убитого на дуэли офицера Чернова» Батеньков сообщает в показании Следственному комитету 22 марта 1826 г. (*ВД*. Т. 14. С. 97).

[3] Образ из народной легенды о попе (имаме), укравшем у своего исповедовавшегося золото, надев предварительно на себя козлиную шкуру. Шкура приросла к нему после кражи, превратив человека в уродливого «козло-мужа». Поэт А. И. Полежаев использовал сюжет этой легенды в стихотворении «Имам-козел», которое вызвало интерес у столичной публики. Но Батеньков не почувствовал сатирического смысла стихотворения и удивлялся такой заинтересованности читателей. Какой театр ставил спектакль на тот же сюжет, установить не удалось.

[4] *Гурьев Дмитрий Александрович* (1751—1825), министр финансов (1810—1823); за казнокрадство был отставлен от службы. В последние годы его пребывания в должности по стране прошли волнения крепостных и казенных рабочих на фабриках, находившихся в ведении Министерства финансов.

[5] Батеньков советует друзьям при оценке ангельского и дьявольского («аггельского») всемогущества идей брать за основу «Соборное уложение» — «Уложение царя Алексея Михайловича», сборник законов, изданный в 1649 г.; исторический памятник законодательного оформления крепостного права и усиления феодально-крепостнического самодержавного строя в России. Одной из причин создания «Уложения» были крестьянские волнения 1648 г. Упоминая здесь «Уложение», Батеньков шутит с Елагиными, намекая на возможное непонимание ими причин смерти Д. А. Гурьева.

[6] Этот абзац — едкая критика педагогической системы, сложившейся в России за время управления Министерством духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицына и сменившего его в 1824 г. А. С. Шишкова.

[7] «Северный архив» — журнал, издававшийся Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем в 1822—1828 гг. Здесь намек на женитьбу Булгарина, примеру которого и хотел следовать Батеньков. Танта (die Tante, нем.) — тетка его жены, объект насмешек современников Булгарина. Даже в агитационной песне К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева «Ах, где те острова...» есть строки:

Где Булгарин Фаддей
Не боится когтей
Танты.

(Бестужев А. А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. С. 510).

96. А. А. и А. П. Елагиным

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 35—36 об.

Письма Г. С. Батенькова. С. 160, с ошибкой в дате: вместо «29 октября» напечатано «19 октября»

[1] Единство предмета, места и времени — основной принцип построения классической драмы.

[2] Неделимое — буквальный перевод латинского слова «individuum» (отдельный человек, личность). Философские термины, при-

нятые в европейских языках, в начале XIX в. переводились русскими философами на родной язык для создания собственной философской терминологии.

97. *А. А. Аракчееву*

ЦГАЛИ. Ф. 1348. Оп. 1. Д. 66. Л. 1—1 об.; копия

[1] Год определен по письму 98. Форма и содержание письма обусловлены необходимостью оставить службу в военных поселениях, не навлекая подозрений Аракчеева о настоящей причине ухода в отставку. Активная деятельность в Северном обществе требовала присутствия Батенькова в Петербурге.

98. *А. А. Елагину*

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 37—37 об., 38 об.
Письма Г. С. Батенькова. С. 163—164

[1] Королевское высочество — герцог А. Вюртембергский, начальник Главного управления путей сообщения.

99. *А. А. Елагину*

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 39—40
Письма Г. С. Батенькова. С. 164—165

[1] Имеется в виду П. А. Клейнмихель.
[2] О переписке с А. А. Аракчеевым по поводу своей отставки Батеньков говорит и в показаниях Следственному комитету 22 марта 1826 г. (*ВД*. Т. 14. С. 97).

100. *А. А. и А. П. Елагиным*

ГБЛ. Ф. 99, 3.9. Л. 41
Письма Г. С. Батенькова. С. 165

[1] Это письмо — последнее до ареста. Батеньков уведомил друзей, что был очень занят, но «жив», т. е. еще не арестован. Говоря о том, что в числе восставших были известные им лица, он намекал им на себя. После его ареста (27 дек.) Елагины начали хлопотать о нем в столице на правах родственников.

101. *[А. И. Татищеву]*

ЦГАОР. Ф. 48. Оп. 1. Д. 296. Л. 1—1 об.

[1] *Татищев Александр Иванович* (1763—1833), ген. от инфантерии, в 1823—1827 гг. военный министр, председатель Следственной комиссии по делу декабристов; с 24 дек. 1826 г. граф.

102. С. Т. Аргамакову

ЦГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 671. Л. 29—30; копия, заверенная С. Т. Аргамаковым
Былое. 1925. № 6 (34). С. 17

[1] В литературе, посвященной Батенькову, это письмо называют его завещанием. Согласиться с этим нельзя. На самом деле это доверенность другу на временное распоряжение имуществом, данная человеком, уверенным в своей безопасности. Написано письмо 18 янв., т. е. за два месяца до показаний, в которых Батеньков признал себя участником «революции политической» (*ВД.* Т. 14. С. 90—91).

[2] В. В. Погодин.

[3] Вероятно, речь идет о сестре адресата — *Полине Трофимовне,* невесте Батенькова, которая жила в Томске.

103. В. В. Левашову

ЦГАОР. Ф. 973. Оп. 1. Д. 40. Л. 1—2
ЛО Арх. АН СССР. Ф. 100. Оп. 1. Д. 305. Л. 35; копия
Утренники (лит. сб.). Пг., 1922. Кн. 2. С. 71—по копии

104. [А. И. Татищеву]

ЦГАОР. Ф. 48. Оп. 1. Д. 302. Л. 109—110 об.

105. [И. Н. Скобелеву]

ГБЛ. Ф. 20, 9.37. Л. 1; черновой автограф без подписи

[1] *Скобелев Иван Никитич* (1778—1849), ген.-майор, военный писатель, с 1839 г. комендант Петропавловской крепости.

[2] Письмо датируется по первой просьбе Батенькова, обращенной к И. Н. Скобелеву 12 янв. 1845 г. (Рус. ист. журн. 1918. № 5. С. 126—127).

[3] *Орлов Алексей Федорович* (1787—1862), старший брат декабриста *Михаила Федоровича Орлова.* В день 14 дек. 1825 г. командир л.-гв. Конного полка, первого из полков, перешедших на сторону Николая I; с 1845 г. шеф жандармов и начальник III отделения. Батеньков просил у него разрешение на получение газет и журналов.

106. [А. П. Елагиной]

ГБЛ. Ф. 99, 2.61. Л. 1—2 об.
Рус. пропилеи. Т. 2. С. 45—47

[1] Батенькова потрясли известия о двух смертях: М. М. Сперанского (1839) и А. А. Елагина (1846).

[2] «Шваргольм» — крепость Свартгольм в Финляндии, южнее города Лавиза, в которой содержались до отправки на каторжные

работы декабристы Г. С. Батеньков, В. И. Штейнгейль, В. А. Бечаснов, И. С. Повало-Швейковский, Н. А. Панов, А. Н. Сутгоф и Д. А. Щепин-Ростовский.

[3] Сыновья А. П. Елагиной от первого брака, которых Батеньков помнил еще детьми. *Иван Васильевич Киреевский* (1806—1856), философ-идеалист, публицист, литературный критик, общественный деятель, славянофил. Попытки его в 1840-е гг. получить кафедру философии в Московском университете не увенчались успехом. Кратковременным (1845) было и редактирование им журнала «Москвитянин», издаваемого М. П. Погодиным. Сочинения И. В. Киреевского были изданы в двух томах в 1911 г. В своих литературных трудах он противопоставлял Россию Западу и объяснял исторический процесс с богословско-идеалистических позиций, считая религию главной силой общественного прогресса. *Петр Васильевич Киреевский* (1807—1856), литератор, собиратель русских песен, переводчик, один из видных деятелей славянофильства; по его завещанию Батеньков, вернувшись из Сибири, переводил «Историю Византии» Лебо.

[4] М. В. Киреевская.

[5] Эти стихи — вторая строфа стихотворного послания Батенькова А. П. Елагиной, написанного еще в Петропавловской крепости. Полностью послание опубл.: *Илюшин*. С. 130.

107. М. И. Кочетовой

ГБЛ. Ф. 20, 9.31

[1] *Кочетова Мария Ивановна* — жительница Тобольска, землячка и подруга юности Батенькова. Ее муж — Григорий Кочетов. В *ГБЛ* кроме публикуемого письма к Кочетовой есть еще одно (ф. 20, 9.31, л. 3—3 об.), написанное карандашом кем-то от имени Батенькова, возможно, дочерью адресатки — Елизаветой Григорьевной. Скорее всего, это письмо он диктовал ей, а потом сделал чернилами несколько поправок. В письме говорится: «Возвратясь на свет божий из двадцатилетней могилы, я желал бы все чувства, которыми наполнена душа, возобновить, устроить и заключить. Встречаясь теперь с подобным желанием и вызовом с вашей стороны, я сколько удивляюсь тому, что прежняя симпатия в вас не погасла, столько же и радуюсь возможности еще раз в жизни с вами побеседовать. Это пока единственное мое письмо в Тобольск, на родину. <...> Да, Марья Ивановна, время вихрем мимо нас промчалось, обстоятельства жизни далеко разрознили направления, которые в детстве нам казались параллельными. Мы как подсолнечники глядели лицом всяк по-своему на величественный круг быстродвижущегося светила, а время неприметно все клало и клало на нас свои тени. <...> Мы уже старик и старуха. Старик без имени. Старуха без развития жизни. <...> В юности судьба нам больше обещала и, коварная, не сдержала слова. Теперь разве ум может оживить чувства детства. <...> Размышление, впрочем, убедило меня, что любовь и дружба по существу своему святы. <...> На этом основании, когда бы суждено нам было увидеться, <...> я бы обнял вас и поцеловал. Не правда ли, этому следовало как-то быть в нашей жизни. Бог знает, почему даже теперь не достается». Копия этого письма хранится там же, л. 4—5.

108. [*Е. М. Фроловой-Багреевой*]

ГБЛ. Ф. 20, 9.27. Л. 1—2
Рус. пропилеи. Т. 2. С. 47—49

[1] М. М. Сперанский умер в 1839 г., когда Батеньков был в Алексеевском равелине и не получал никаких свежих вестей, так как газеты ему разрешили получать только в 1844 г.

[2] А. А. Фролов-Багреев умер в 1845 г.

[3] Батеньков вспоминает легенду об обольщении Евы змеем, уговорившим ее вкусить запретный плод от древа познания добра и зла. За нарушение запрета Адам и Ева были изгнаны из рая на землю, а змей был проклят. Батеньков сравнивал свое состояние с состоянием змея-искусителя, увидевшего Еву. Ошиб — хвост (из библейских легенд).

[4] Вероятно, речь идет о младшей дочери министра внутренних дел *Василия Сергеевича Ланского* — *Варваре Васильевне Ланской.*

109. П. В. [*Киреевскому*]

ГБЛ. Ф. 99, 3.12. Л. 1—2 об.
Рус. пропилеи. Т. 2. С. 50—52

[1] П. В. Киреевский, так же как и Г. С. Батеньков, был холостяком «со своими двумя руками». Не замужем была и старшая дочь Елагиной М. В. Киреевская.

[2] *Шеллинг Фридрих Вильгельм* (1775—1854), немецкий философ-идеалист, создатель натурфилософии (идеалистическое учение о природе), «философии тождества» и «мистической философии откровения». Об увлечении Батенькова и его друзей в период заграничных походов немецкой идеалистической философией, превратившем их в «галиматейных философов», см. письма к А. А. Елагину за 1816—1820-е гг.

[3] Отец М. Н. Горловой — старый приятель Батенькова, действ. ст. сов. *Николай Петрович Горлов*, масон, член ложи «Избранного Михаила» (1816); в авг. 1826 г. как председатель иркутского губернского правления, временно исполняя должность гражданского губернатора, организовал теплую встречу первой партии декабристов, сосланных на каторгу в Иркутскую губернию (Кубалов Б. Г. Декабристы в Восточной Сибири. Иркутск, 1925. С. 12—15; Коваль С. Ф. Декабристы в Сибири: Некоторые итоги и задачи исследования // Сибирь и декабристы. Иркутск, 1978. Вып. 1. С. 26), и разместил прибывших вблизи Иркутска. В 1828 г. против самого Горлова было возбуждено дело «за беспорядки при распределении государственных преступников», т. е. за гуманное к ним отношение (Чернов С. Н. Декабристы на пути в Благодатск // Каторга и ссылка. 1925. № 5. С. 267—275). Дружеские отношения между Батеньковым и семьей Горлова сохранились и после возвращения декабриста из Алексеевского равелина.

[4] *Арбенев Николай Петрович* (1812—1864), брат жены И. В. Киреевского *Натальи Петровны Киреевской* (урожд. Арбеневой).

110. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.61. Л. 3—6

[1] *Горохов Философ Александрович* (1769—1850?), чиновник канцелярии томского губернатора, в 1833—1838 гг. прокурор, в 1840-е гг. крупный золотопромышленник, поддерживал Батенькова в первые годы его поселения в Томске.

[2] Имеется в виду А. Ф. Орлов.

[3] С. Т. Аргамаков служил в это время в Петербурге в Министерстве финансов.

[4] Детство свое Батеньков помнил во всех подробностях, доказательство тому его воспоминания: Данные. Повесть собственной жизни. С. 88—112.

[5] П. В. Киреевский гостил в дер. Бунино — родовом имении деда А. П. Елагиной Афанасия Бунина, где жила семья В. А. Елагина.

[6] *Елагин Василий Алексеевич* (1818—1879), старший сын А. А. и А. П. Елагиных, в 1839 г. окончил Московский университет; общественный деятель, историк-славянофил; занимался историей средневековой Чехии, рассматривая ее как «извечную борьбу двух начал» — католичества и православия (о нем см.: Славяноведение в дореволюционной России. М., 1979. С. 156). В. А. Елагин был женат на своей троюродной сестре *Екатерине Ивановне Мойер* (1821—1899), оставившей воспоминания, в которых говорит о Батенькове (Из воспоминаний Е. И. Елагиной. М., 1902).

[7] «Целую Лилу и Катеньку» — младшую дочь Елагиной *Елизавету* и жену В. А. Елагина *Екатерину*.

[8] *Павлова Каролина Карловна* (урожд. Яниш, 1807—1893), поэтесса и переводчица. Известны ее переводы на немецкий язык стихов А. С. Пушкина, Е. А. Боратынского, Н. М. Языкова и русских народных песен (сочинения К. Павловой см.: Павлова К. К. Полн. собр. стихотворений (серия «Библиотека поэта»). М.; Л., 1964).

[9] *Аносов Павел Петрович* (1798—1851), томский гражданский губернатор с 1847 г., горный инженер, с 1831 г. начальник Златоустовских, а с 1847 г. Алтайских горных заводов.

111. И. И. Пущину

ГБЛ. Ф. 243, 1.14. Л. 1—2 об.
Сибирь и декабристы. Иркутск, 1981. Вып. 2. С. 193—195

[1] *Пущин Иван Иванович* (1798—1859), лицеист первого выпуска, друг А. С. Пушкина, декабрист. В Сибири Пущин был заступником, помощником для всех нуждающихся в этом декабристов, получил по общему согласию прозвище «Маремьяна Старица» (обо всех печалится), он был центром, связующим звеном для расселенных в разных местах Сибири товарищей. Возвратившись в нояб. 1856 г. из ссылки, Пущин по просьбе сестры получил разрешение жить в Петербурге; 22 мая 1857 г. он женился на вдове М. А. Фонвизина *Наталье Дмитриевне* (урожд. Апухтиной, 1805—1869) и поселился в дер. Марьино Бронницкого уезда, недалеко от Москвы,

сохранив свои обычные привычки и занятия, связанные с заботой о друзьях-декабристах. Постоянная дружеская переписка Батенькова и Пущина не прерывалась до смерти последнего. 22 апр. 1858 г. Батеньков писал больному другу: «<...> пусть только настоящий, существующий, окрепший Иван стоит по-прежнему без починок и перестроек средневековою башней на нашей общинной ратуше, и я желал бы около нее нечто вроде колониального устройства. И теперь она хотя одинокая, все же вмещает в себя лучшее наше справочное место и язык среди чужого, незнакомого населения» (*Декабристы. Летописи. Кн. 3.* С. 62).

[2] *Оболенский Евгений Петрович* (1796—1865), поручик л.-гв. Финляндского пехотного полка, декабрист, член Северного общества, один из организаторов и руководителей восстания; осужден по I разряду. Каторжные работы отбывал в Усольском солеваренном заводе, Благодатском руднике, Чите и Петровском заводе; на поселении жил в Ялуторовске. После 1856 г. поселился с семьей в Калуге.

[3] Имеется в виду «жилье» в доме горного исправника *Николая Ивановича Лучшева.* Приехав в Томск, Батеньков по рекомендации своего старого знакомого золотопромышленника Ф. И. Попова был поселен в этом доме. Вся семья Лучшевых окружила ссыльного декабриста дружеским участием.

[4] Наполеоновский инвалид: Комедия-водевиль: В 2 ч. / Пер. с франц. М. В-го // Репертуар и пантеон театров/Под ред. Ф. А. Кони. 1847. № 9. С. 3—69.

[5] *Игнатович Василий Иванович,* томский почтмейстер.

[6] *Трубецкая Екатерина Ивановна* (урожд. Лаваль, 1800—1854), жена декабриста *Сергея Петровича Трубецкого* (1790—1860); 24 июля 1826 г. первая из жен декабристов последовала за своим мужем, осужденным на каторгу в Сибирь; жила в Благодатском руднике, Чите и Петровском заводе; с 1839 г. на поселении с мужем в Оёке, затем в Иркутске, где и скончалась.

[7] *Пятницкий Андрей Васильевич* (р. 1792), иркутский гражданский губернатор (1839—1848).

[8] *Руперт Вильгельм Яковлевич* (1787—1849), ген.-губернатор Восточной Сибири (1837—1847).

[9] Имеется в виду *Николай Николаевич Муравьев* (впоследствии граф Муравьев-Амурский), назначенный вместо В. Я. Руперта ген.-губернатором Восточной Сибири; на этой должности он прослужил с 1847 по 1861 г.

[10] *Любимов Василий Михайлович,* с 1842 г. служил секретарем земского суда в Ялуторовске, где познакомился с поселенными там декабристами, с 1849 г. томский полицмейстер. На сестре Любимова *Анне Михайловне* впоследствии женился Н. И. Лучшев.

[11] В письме от 28 окт. 1847 г. Батеньков писал А. П. Елагиной: «Прогресс, которому сочувствует новое поколение, есть не что иное, как понятие и чувство зрелости, достигнутой веками <...>. Охотно я соглашаюсь с тобою представить им, молодым, развивать свои совершенства, но что бы ни было в веках будущих, они необходимо должны принять в себя и наше содержание; ибо неопределенное мечтание, полагаю, ничем не сомкнутого прогресса, так же как и полая математика и астрономия, несообразны (*ГБЛ.* Ф. 99, 2.61. Л. 9 об.).

[12] Иссоп (Hyssopus-oficinalis) — душистое растение, его молодые

листья можно употреблять как салат, засушенные использовать как лекарство. В России ранее использовалось как дезинфицирующее средство для опрыскивания домов, в том числе и для «очищения» от проказы.

112. [А. П. Елагиной]

ГБЛ. Ф. 99, 2.61. Л. 16—17
Рус. пропилеи. Т. 2. С. 52—55

[1] *Горчаков Петр Дмитриевич* (1789—1868), ген.-губернатор Западной Сибири и командующий Отдельным Сибирским корпусом в 1836—1851 гг.

[2] «Ваш Николай Петрович» — Н. П. Арбенев в отличие от «нашего» Н. П. Горлова.

113. И. И. Пущину

ГБЛ. Ф. 20, 9.22. Л. 1—2 об.; черновой автограф

[1] В письме к Е. П. Оболенскому, написанном Батеньковым в тот же день, что и И. И. Пущину,— 17 марта, точно указан год — 1848 (письмо 114). На этом основании и определен год настоящего письма.

[2] П. Д. Горчаков.

[3] Н. Н. Муравьев прибыл в Сибирь в конце 1847 г., и этот факт подтверждает, что письмо Пущину написано в марте 1848 г.

[4] *Казимирский Яков Дмитриевич* (?—1860), в 1838—1839 гг. плац-майор Петровского завода, позднее полковник, ген-майор, начальник 8-го (Восточного) округа корпуса жандармов. Прогрессивно настроенный офицер доброжелательно относился к сосланным декабристам, несмотря на занимаемую должность, и до конца жизни поддерживал с ними дружеские отношения, в том числе и с Батеньковым. В томе публикуются письма декабриста Я. Д. Казимирскому (169, 171, 173, 178, 179, 197, 207). При первой публикации этих писем адресат установлен не был. Письма некоторых декабристов к Казимирскому см.: *Клебанов А. И.* Из истории идейной жизни декабристов в сибирской ссылке (по письмам декабристов Я. Д. Казимирскому) // Проблемы общественной мысли и историографии. М., 1976. С. 52—56.

114. Е. П. Оболенскому

ЛО Арх. АН СССР. Ф. 100. Оп. 1. Д. 309. Л. 3—4 об.
Рус. старина. 1901. № 10. С. 101—102, с ошибкой в дате: вместо «17 марта» напечатано «7 марта»

[1] Речь идет о книге Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). Об отношении Батенькова к творчеству Гоголя см.: Снытко Т. Г. Батеньков-литератор // *ЛН.* Т 60. Кн. 1. С. 313—314, 316—318.

115. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.61. Л. 18—19 об.

[1] Строка из стихотворения Батенькова (см. письмо 157), имеются в виду чувства, существующие между людьми — «мы» и богом — «сый» (вездесущий, кто есть, был и будет вечно).

[2] Умер отец Ф. А. Горохова — *Александр Михайлович*, в 1819 г. он был советником гражданского и уголовного суда в Томске.

[3] *Гегель Георг Вильгельм Фридрих* (1770—1831), немецкий философ-идеалист, основоположник диалектического метода познания.

[4] *Елагин Николай Алексеевич* (1822—1876), сын А. А. и А. П. Елагиных, калужский помещик, общественный деятель в период подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 г.

116. [*В. Ф. Раевскому*]

ГБЛ. Ф. 20, 9.29. Л. 1—4 об.
Рус. пропилеи. Т. 2. С. 41—44

[1] По описи фонда это письмо значится как адресованное В. И. Штейнгейлю, но в оригинале никаких точных указаний — ни адреса, ни обращения к адресату — нет. При первой публикации в 1916 г. было высказано предположение, что письмо адресовано К. П. Торсону, при второй (Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. 2. С. 120—123) — это предположение подтверждено. Однако допустимо и третье предположение: Батеньков описал свою «чуть не биографию» другу юности, члену Союза благоденствия и Кишиневской управы Южного общества *Владимиру Федосеевичу Раевскому* (1795—1872). «Первый декабрист» находился на поселении в с. Олонки под Иркутском и, узнав о прибытии в Томск Батенькова, о судьбе которого не знал ничего после объявления декабристам приговора Верховного уголовного суда, был очень взволнован. В одном из своих писем другу он писал: «Как это случилось, что чувства, тайный голос не шепнули тебе вместо Томска выбрать Иркутск?» Предположение об этом адресате может быть обосновано текстом письма: «Участие мое в деле дальше знакомства с вами не простиралось. Я не знал даже и того, сколько вам это дело известно, и не мог наименовать ни одного лица. <...> Очевидно, моя беда и начинается с того, что я не был членом». Так Батеньков мог писать человеку, который не был непосредственным участником подготовки и проведения восстания 14 дек. в Петербурге и мог не знать о той роли, которую играл в этом деле Батеньков, не знать, куда он был отправлен сразу после приговора. В то же время это должен был быть друг, близкий по духу, хорошо знающий автора до его ареста, человек, известный ему как член тайного общества. Адресат должен был жить в Иркутской губ., так как ему сообщалось: «Вот опять увижусь с *вашим* (курсив мой.— *А. Б.*) губернатором», т. е. с А. В. Пятницким — иркутским гражданским губернатором, с которым был уже знаком автор.

Следовательно, адресатом Батенькова не мог быть В. И. Штейнгейль, сидевший с ним вместе в Свартгольмской крепости, так как ему не надо было бы сообщать, сколько еще «добрых товарищей» находилось там «около года». Не отвечает необходимым требованиям

к адресату и декабрист К. П. Торсон, которого Батеньков знал очень мало.

Наиболее вероятно, что письмо адресовано В. Ф. Раевскому, находившемуся с 6 февр. 1822 по нояб. 1827 г. под арестом за свою революционную деятельность в крепостях Тирасполь, Петропавловской и Замостье и, как мог полагать Батеньков, не знавшему о жизни друга и его деятельности в Петербурге в 1822—1825 гг. (*Раевский*. Т. 1, 2.). Раевский, как и другие иркутские поселенцы, получал письма через гражданского губернатора А. В. Пятницкого и через него же отправлял своим адресатам.

Это письмо Батенькова — ответ В. Ф. Раевскому, который познакомил друга со своим «прошедшим», с жизнью в Сибири и просил: «К осени приготовь мне ответ на это письмо. Выскажи мне все... все ... <...>. Расскажи мне все» (*Раевский*. Т. 2. С. 405—413). Датировка письма Батенькова: конец 1848 — начало 1849 гг.— основана на содержании его и названного письма Раевского.

Использованные в письме обращения: «с вами», «вам» и т. д. вместо дружеского «с тобой», «тебе» можно объяснить большим перерывом в общении и переписке.

[2] *Дибич Иван Иванович* (1785—1831), ген.-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 г., после войны сопровождал Александра I на смотрах войск и на Лайбахском конгрессе. С 1824 г. начальник Главного штаба; в 1826 г. член Следственного комитета по делу декабристов, доверенное лицо при Николае I, после заключения с Турцией Адрианопольского мира (1829) — граф Забалканский. Скончался от холеры.

[3] Князь Михаил — младший брат царя, вел. кн. *Михаил Павлович* (1798—1849), ген.-фельдцейхмейстер, член Следственного комитета по делу декабристов.

[4] *Бестужев* (Марлинский) *Александр Александрович* (1797—1837), штабс-капитан л.-гв. Драгунского полка; с 1822 г. адъютант главноуправляющего путей сообщения; писатель, литературный критик, декабрист, член Северного общества. Приговорен к смертной казни, замененной каторгой; в окт. 1827 г. отправлен на поселение в Якутск, а затем по его настойчивым просьбам — на Кавказ рядовым в действующую армию; в 1836 г. за храбрость произведен в прапорщики. 17 июня 1837 г. погиб.

[5] *Левашов Василий Васильевич* (1783—1848), ген.-лейтенант, член Следственного комитета по делу декабристов (1826), председатель Особой комиссии для окончательного рассмотрения дела майора В. Ф. Раевского (май 1827—янв. 1828 г.).

[6] *Закревский Арсений Андреевич* (1783—1865?), гр., в 1823—1828 гг. ген.-лейтенант, военный ген.-губернатор Финляндии и командир Отдельного Финляндского корпуса; в его ведении находились крепости, расположенные в этой губернии, в том числе Свартгольм. В 1848—1859 гг. московский ген.-губернатор.

[7] Смотрителем Секретного дома Алексеевского равелина Петропавловской крепости был чиновник 5-го класса (статский советник) Лилиенанкер (?—1827), о нем же вспоминают другие декабристы: М. А. Бестужев (Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951. С. 469) и Д. И. Завалишин (Записки декабриста. М., 1906. С. 241).

[8] Граф — А. Ф. Орлов, в 1845 г. шеф жандармов.

[9] *Мациевский Николай Иванович*, чиновник Томского губернского правления, впоследствии надворный советник, губернский кон-

тролер; с его помощью Батеньков переписывался с иркутскими поселенцами.

117. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.62. Л. 7—8 об.

[1] В 1846 г. эпидемия холеры охватила многие государства Европы, Азии и Америки и длилась около 17 лет. Русские врачи, в том числе выдающийся хирург *Николай Иванович Пирогов*, были активными деятелями в борьбе с этим бедствием. Возможно, Батеньков знал и об отличившемся во время эпидемии 1828—1833 гг. в Оренбургском крае бывшем штаб-лекаре л.-гв. Финляндского полка *Николае Галактионовиче Смирнове*, сосланном в Оренбург после восстания 14 дек. 1825 г. (о нем см.: Большаков Л. Отыскал я книгу славную... Челябинск, 1983. С. 262—264).

[2] Имеется в виду внесение иностранных слов в русский (литературный и разговорный) язык при Петре I, особенно в области научной, военной и военно-морской терминологии.

[3] В своем литературном творчестве Н. М. Карамзин отошел от торжественного, книжно-высокопарного языка классиков XVIII в. и ввел в литературу новый слог, близкий живой разговорной речи.

118. [Н. И. Лучшеву]

ГБЛ. Ф. 20, 9.30. Л. 1—2 об.

[1] Скорее всего письмо адресовано Н. И. Лучшеву, который в это время был в отъезде по делам службы (горный исправник). В описи ф. 20 это письмо датировано 1820 г. Содержание его не соответствует такой датировке, так как здесь прямые указания на материальную зависимость автора от С. Т. Аргамакова и на работы, которые производились за счет С. Е. Сосулина. В 1820 г. этого быть не могло. Полагаем, что письмо написано летом 1849 г., когда Батеньков занимался перестройкой дома Лучшевых.

[2] С. Т. Аргамаков.

[3] *Асташев Иван Дмитриевич* (?—1869), богатый сибирский золотопромышленник, совладелец (с С. Т. Аргамаковым) Прокопьевских золотых промыслов, томский приятель и покровитель Батенькова; библиотекой Асташева ссыльный декабрист пользовался постоянно, а в 1853—1855 гг. делал для него переводы с французского на русский язык газетных и журнальных статей. После смерти Аргамакова (1862) Асташев продолжал выдавать Батенькову, живущему в Калуге, денежное пособие.

[4] *Сосулин Степан Егорович*, томский откупщик-виноторговец; по проекту Батенькова построил себе большой дом в четырех верстах от Томска и в награду за работу отдал архитектору земельный участок (55 десятин), на котором Батеньков выстроил свой «Соломенный дворец».

119. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.62. Л. 17—18 об.

[1] Речь идет о подавлении силами контрреволюции Венгерской революции 1848—1849 гг.

[2] «До юбилейного года» — т. е. до 1850 г. — 25-летия со дня восстания на Сенатской площади 14 дек. 1825 г.

[3] Часовой тимпан — медный барабан, обтянутый кожей, по которому бьет молоточек, отбивая часы.

[4] Фрагмент письма со слов: «Понятно, какая святыня» до конца трехстишия включительно впервые опубликован в кн.: *Илюшин*. С. 134—135.

120. [С. Т. Аргамакову]

ГБЛ. Ф. 20, 9.11. Л. 34—34 об.; 37—37 об.; 35—36

[1] Адресат установлен по содержанию письма: 1. Две сестры адресата, о которых идет речь,— это дальние родственники и хорошие знакомые Батенькова, жительницы Томска. Младшая — *Прасковья* (Полина, Пелагея) Трофимовна Кобылина (урожд. Аргамакова). О ее любви к Батенькову и намерении последнего (в 1820—1821 гг.) на ней жениться см.: Иванов А. Один из декабристов Гавриил Степанович Батеньков // Книжки недели. 1898. № 11. С. 7—12. Правда, в этих воспоминаниях невеста ошибочно названа Полиной Николаевной Агамаковой. Брак не состоялся, так как Батеньков уехал из Томска со Сперанским в Петербург, а затем был арестован. П. Т. Аргамакова считала его умершим и вскоре была выдана замуж за чиновника Томского губернского совета *Александра Михайловича Кобылина* (а не Бобылина, как сообщал А. Иванов). По прибытии в Томск в 1846 г. Батеньков встретился с ней (уже вдовой) и часто бывал в ее доме. Старшая — незамужняя *Татьяна* (Таисия?) *Трофимовна Аргамакова*. 2. Привет К. Г. Репинскому проще всего было передать через общего друга и сослуживца Аргамакова. 3. Деньги (800 рублей) прислал Батенькову в Томск Аргамаков. 4. Иван Дмитриевич — И. Д. Асташев, совладелец адресата.

Датировка подтверждается словами: года три вверяю деньги, т. е. начиная с 1847 г., когда Батеньков окончательно основался в доме Лучшева.

[2] Личной семьи у Аргамакова не было — он холостяк. Здесь речь идет о семье его сестер: П. Т. Кобылиной и Т. Т. Аргамаковой.

[3] Речь идет о семействе Н. И. Лучшева, в котором поселилась вдова младшего брата *Епинета Ивановича Лучшева — Ольга Павловна* с двумя сыновьями.

[4] Ф. А. Горохов; в беседке у него в саду Батеньков провел первое лето в Томске после Петропавловской крепости.

[5] *Репинский Козьма* (Кузьма) *Григорьевич*, бывший друг молодости Батенькова, чиновник канцелярии М. М. Сперанского, сенатор.

121. [*К. Г. Репинскому*]

ГБЛ. Ф. 20, 9.32. Л. 1—2; черновой автограф

[1] Адресат установлен по содержанию: с просьбой ходатайствовать за него Батеньков мог обращаться к очень близкому другу, имеющему доступ к влиятельным в столице людям. Наиболее подходящими для этого были сослуживцы по Сибирскому комитету — С. Т. Аргамаков и К. Г. Репинский. Но Аргамакову не надо было объяснять, кто такой сибиряк В. Д. Корнильев и «кровный» автора — И. В. Киреевский. Он знал их еще в 20-е гг. Вероятнее всего, письмо адресовано К. Г. Репинскому.

Датировка установлена по аналогии с предыдущим письмом.

[2] Томский гражданский губернатор П. П. Аносов.

[3] *Дубельт Леонтий Васильевич* (1792—1862), начальник штаба корпуса жандармов, управляющий III отделением.

[4] *Рикорд Петр Иванович* (1776—1855), адмирал, в 1846—1847 гг. председатель Комитета о постройке пароходов для Балтийского и Каспийского морей, с 1850 г. председатель Морского ученого комитета.

[5] *Всеволожский* (Всеволодский) *Никита Всеволодович* (1799—1862), в 1818 г. камер-юнкер, один из основателей общества «Зеленая лампа», заседания которого проходили в его доме в Петербурге; впоследствии гофмейстер, член Мануфактур-совета.

[6] О каком Безбородко пишет Батеньков, неизвестно.

[7] *Вронченко Федор Павлович* (1780—1852), с 1820 г. чиновник Министерства финансов, с 1844 г. управляющий тем же министерством.

[8] Вероятно, *Николай Иванович Бахтин* (1796—1869), в 1827—1834 гг. чиновник Морского министерства; с 1853 г. член Государственного совета, один из участников подготовки крестьянской реформы 1861 г.

[9] *Ханыков Василий Яковлевич* (1793—1856), тайный советник, член Государственного совета.

[10] А. С. Танеев.

[11] *Корф Модест Андреевич* (1800—1876), воспитанник лицея первого выпуска, учился вместе с И. И. Пущиным, В. К. Кюхельбекером, А. С. Пушкиным, Ф. Ф. Матюшкиным и другими; историк, государственный деятель; статс-секретарь; государственный секретарь (1834—1843), член Государственного совета (с 1843 г.) и Комитета для надзора за духом и направлением книгопечатания (1848). В 1849—1861 гг. директор Публичной библиотеки. В 1848 г. по повелению Николая I написал книгу «Историческое описание 14 декабря 1825 года и предшествовавших ему событий», изданную в 25 экземплярах, в 1854 г. переиздана, а в 1857 г. тот же пасквиль на декабристов издан и «для публики» под названием: «Восшествие на престол Николая I». Им же написана книга о М. М. Сперанском (1860).

[12] Кто был отцом Н. И. Гуляевой, установить не удалось.

[13] *Молдавский* — бывший чиновник Департамента военных поселений, сослуживец Батенькова.

[14] *Лучшев Леонид*, сибиряк, чиновник Петербургской городской думы.

[15] *Топильский Михаил Иванович* (1809—1873), вице-директор

Департамента юстиции, был женат на дочери декабриста В. И. Штейнгейля *Юлии Владимировне*.

122. А. Ф. Орлову

ЦГАОР. Ф. 48. Оп. 1. Д. 61. Ч. 71. Л. 60—61
ГБЛ. Ф. 20, 9.34. Л. 1—2; черновой автограф
Рус. ист. журн. 1918. № 5. С. 140—142; по автографу
Рус. пропилеи. Т. 2. С. 81—84; по черновому автографу

[1] Имеется в виду «Сибирское учреждение», которое вместе со Сперанским готовил Батеньков.

[2] *Якобсон Иван Давыдович* (1804—1874), чиновник для особых поручений при военном министре (1827—1852), впоследствии действ. ст. сов., член Военного совета; в 1861—1884 гг. управляющий Комиссариатским департаментом Военного министерства.

[3] Этот абзац правильнее начинать: *Басни и кара*, а не «Басни Икара», как сделано в публикации «Рус. ист. журн.» Здесь идет речь не о «революционном движении в Западной Европе», а о судьбе самого Батенькова. Наше прочтение соответствует основному назначению всего письма, адресованного шефу жандармов, от которого в значительной мере зависело изменение положения автора. Почти так же прочтены эти слова и в публикации в «Рус. пропилеях»: «Баснь и кара».

123. [К. Г. Репинскому]

ГБЛ. Ф. 20, 9.34. Л. 1—2; черновой автограф

[1] Вероятно, это письмо, как и письмо 121, адресовано сенатору К. Г. Репинскому и написано вслед за письмом к А. Ф. Орлову (письмо 122), т. е. после 6 июля 1850 г. Тогда он просил позволения переехать «на житье в Белев», об этой просьбе он говорит и здесь, надеясь на содействие друзей.

[2] Возможно, речь идет о приведении «в окончательный строй» документов по истории Сибири, собранных Батеньковым во время службы с М. М. Сперанским для разработки «Сибирского учреждения» и впоследствии (1862) представленных в Археографическую комиссию для ее изданий.

124. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.62. Л. 30—31 об.

[1] Свои страдания Батеньков сравнивает с мучениями мифологического Тантала, обреченного на муки за преступления против богов: стоя по горло в воде, он не мог утолить жажды.

[2] «Крымские пилигримы» — В. А. и Е. И. Елагины, отдыхавшие в Крыму.

[3] Те же фрагменты «Тюремной песни», что и включенные в это письмо, были использованы автором в другом письме к А. П. Елагиной — от 11 янв. 1850 г. (Рус. пропилеи. Т. 2. С. 78). Оба фрагмента опубликованы ранее (с небольшими разночтениями):

Мейлах Б. С. Из неизданного литературного наследства декабристов // Декабристы и русская культура. Л., 1975. С. 210, № 6, с. 218, № 27 (далее: *Мейлах*) и *Илюшин*. С. 100, № 7 и с. 107, № 31.

[4] О падении в Томске купола церкви, строившейся по проекту *Константина Андреевича Тона* (1794—1881), см.: Евтропов К. Н. История Троицкого кафедрального собора в Томске. Томск, 1904; его же. Краткий обзор постройки Троицкого кафедрального собора в г. Томске. Томск, 1900.

125. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.62. Л. 32—33 об.
Рус. пропилеи. Т. 2. С. 84—87

[1] По индикту — по объявлению (от лат. indicto). Здесь условное сравнение периодов (циклов) смены времен года с введенным в 312 г. в Византии 15-летним циклом исчисления времени.

[2] Сложные отношения между Н. П. Киреевской и ее свекровью А. П. Елагиной, на которые намекается в письме, возникли, вероятно, в результате отказа Натальи Петровны на первое предложение Киреевского (1829). Впоследствии отношения эти нормализовались.

[3] Эксцентриситет (эксцентрицитет) — здесь отклонение от центра.

[4] Имеется в виду Н. И. Лучшев.

126. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.62. Л. 34—34 об.

[1] *Кузнецов Ефим Андреевич* (1771—1851), крупный сибирский золотопромышленник. Слухи о его смерти не точны — в окт. 1850 г. он был еще жив. Его отчество уточнено по письму С. П. Трубецкого к Е. П. Оболенскому от 11 марта 1840 г. (*Трубецкой*. Иркутск, 1987. Т. 2. С. 106).

[2] Е. В. Зонтаг.

[3] *Геденштром Матвей Матвеевич* (1781—1845), полярный исследователь, путешественник, автор издания: Отрывки о Сибири М. Геденштрома. Спб., 1830.

[4] Воробьевы горы — гористый район на юго-западе Москвы; в начале и середине XIX в. — любимое место загородных прогулок московской молодежи.

127. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.63. Л. 3—4 об.

[1] Речь идет о работах по благоустройству Томска, проводимых Батеньковым в 1819—1820 гг.

128. А. А. Краевскому

ГБЛ. Ф. 20, 6.26. Л. 1—1 об.; черновой автограф Батенькова, подписанный А. И. Лучшевым

[1] *Краевский Андрей Александрович* (1810—1889), журналист и издатель журнала «Отечественные записки» (с 1839 г.); редактор «Литературной газеты» (1840, 1844—1845), «Санкт-Петербургских ведомостей» (1852—1862) и «Голоса» (1863—1884). Батеньков посылал «Предисловие и письмо к редактору» как «рукопись неизвестного автора» в «Отечественные записки».

[2] Датировка письма основана на времени зачисления *Александра Ивановича Лучшева* на службу в Томский земский суд; в июле 1853 г. он уже служил стряпчим в Барнауле. А. И. Лучшев — автор воспоминаний «Декабрист Г. С. Батеньков» (Рус. архив. 1886. Кн. 2. С. 269—280) — опровержения на анонимную статью «Рассказы о Батенькове», напечатанную в том же журнале (1881, кн. 2, с. 251—276).

[3] Приложение к письму подписано цифронимом: «$\sqrt{-1}$», что на языке математических символов означает мнимую единицу. Такой символ мог избрать для себя Батеньков — мастер иронии и иносказания, чтобы подчеркнуть свое бесправное состояние.

129. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.63. Л. 17—18 об.

[1] Имеется в виду вдова В. А. Жуковского (урожд. Рейтерн) *Елизавета Алексеевна* (1821—1856), она ехала из Германии, где 12 апр. 1852 г. умер поэт, на его родину. А. П. Елагина, как близкая родственница, готовила ей встречу.

[2] «Наша вдова» — О. П. Лучшева.

[3] Роспуски — местное наименование саней, на которых ездили сибиряки, впрягая их в несколько лошадей.

[4] Чаны — озеро на границе Тобольской и Томской губ., его площадь 61 км^2. Ямышевское — соленое озеро в Семипалатинской обл. на правом берегу реки Иртыша.

130. И. В. Киреевскому

ЦГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Д. 38. Л. 1—2

[1] Батеньков имеет в виду свое 20-летнее заключение в Алексеевском равелине Петропавловской крепости и освобождение из крепости в 1846 г.

[2] *Франклин Джон* (1786—1847), английский путешественник и полярный исследователь. В 1818 г. участвовал в полярной экспедиции к Тихому океану через Северный полюс и берега Гренландии и Шпицбергена; в 1819—1822 гг. возглавлял экспедицию по изучению северного побережья Американского материка; в 1845 г. командовал большой полярной экспедицией для открытия Северо-Западного морского пути, которая закончилась гибелью всех ее участников. Батеньков сравнивает многочисленные спасательные экспе-

диции, организованные для поисков Франклина, с непроходимыми льдами, которые затерли его самого в Сибири.

[3] Н. П. Киреевская.

[4] «Ваш» — Н. П. Арбенев, «мой» — Н. П. Горлов.

131. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.63. Л. 19—20 об.

[1] Надир (арабское nazir) — точка небесной сферы, находящаяся под горизонтом, противоположная зениту.

[2] Солид (от лат. solidus) — буквально: прочный, надежный, здесь — прочность, надежность, заложенные в себе самом.

[3] *Попова Анна Алексеевна*, жена сибирского золотопромышленника *Федота Ивановича Попова*, «радушная хозяйка, редкая женщина по жизни и нраву» — см. письмо Г. С. Батенькова А. П. Елагиной от 5 авг. 1851 г. (Рус. пропилеи. Т. 2. С. 91—92).

132. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.63. Л. 21—22

[1] Скорее всего, Батеньков имеет в виду папоротниковое растение Думканов крон, цветения которого дождаться невозможно, так как папоротники не цветут.

[2] Помона — в римской мифологии богиня садовых плодов; Флора — древнеиталийская богиня растительности, цветения и юности.

[3] Е. И. Елагина жила в это время со своей семьей в Бунино вместе с отцом *Иваном Филипповичем Мойером* (1786—1858), доктором медицины и хирургии; в 1814—1836 гг. он — декан медицинского факультета и ректор Дерптского университета, учитель Н. И. Пирогова. Выйдя в отставку, поселился в родовом (по матери) имении своей дочери Е. И. Елагиной — Бунино. Отличные медицинские качества Мойера побудили В. А. Жуковского рекомендовать его А. С. Пушкину как хирурга для операции.

[4] Этот фрагмент «Тюремной песни» Г. С. Батенькова впервые опубл.: *Мейлах*. С. 220, № 20; см. также:*Илюшин*. С. 111—112, № 46.

133. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.63. Л. 23—24 об.

[1] Описание «Соломенного дворца» см. в письме 138.

[2] Сосулины — семья С. Е. Сосулина.

[3] *Шредер Валериан Петрович*, отставной полковник.

[4] *Бекман Валериан Александрович* (1802—1870), ген.-майор, горный инженер, томский гражданский губернатор, главный начальник Алтайских горных заводов.

[5] *Политковский Федор Семенович*, председатель Казенной палаты Томской губ.

[6] Вулкан в древнеримской мифологии — бог огня, почитавшийся как покровитель кузнечного дела.

[7] Прометей в древнегреческой мифологии — защитник людей от произвола богов. Он похитил с Олимпа огонь и передал его людям, за что был прикован к скале и обречен на непрекращающиеся мучения.

[8] Стихотворный текст письма (обе строфы) впервые опубл.: *Илюшин.* С. 139—140, с ошибочным указанием на источник: к. 3, № 5. Кроме того, в первой строфе два слова прочтены неверно: в третьей строке вместо «Завет» прочтено «Закон», в восьмой — вместо «расплавит» — «расправит».

[9] *Хомяков Алексей Степанович* (1804—1860), основатель славянофильства, поэт, философ, историк, публицист, родственник братьев Киреевских и их единомышленник.

[10] *Фонвизин Михаил Александрович* (1788—1854), отставной ген.-майор, декабрист, член Союза благоденствия и Северного общества. С 1838 г. на поселении в Тобольске, откуда в 1853 г. получил разрешение вернуться в Европейскую Россию, в свое имение Марьино (из-за болезни брата И. А. Фонвизина). В этом же году отправлялись из Сибири «еще двое»: в Нарву — больной декабрист *Василий Карлович Тизенгаузен* (1781—1857) и к мужу — Н. Д. Фонвизина.

134. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.61. Л. 7—8 об.

[1] Датировка основана на аналогии содержания с другими летними письмами этого года (129—133). Так, в письме 133 от 4 июля 1853 г. автор сообщает Елагиной о переселении в «Соломенный дворец», а в комментируемом письме говорится уже о первом урожае, снятом со своего участка. В первом — советует, как подготовиться к приезду вдовы Жуковского, а в этом пишет: «Жду известия, как ты управилась со своей вдовой».

[2] *Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм* (1769—1859), немецкий натуралист и путешественник, один из основоположников современной физической географии. В 1829 г. совершил путешествие на Урал и Алтай, был в Киргизской степи и на Каспийском море. В 1845 г. вышел первый том его знаменитого труда: «Космос. Опыт физического мироописания», русский перевод издан в 1848 г. Об этой книге и ведется разговор в письме. См. также письмо 140.

[3] «Индийская гостья» — эпидемия холеры, начавшаяся в Индии и идущая с востока на запад.

135. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.63. Л. 25—26 об.

[1] Имеется в виду увлечение спиритизмом, распространенное в этот период в России.

[2] Сведений о тайном советнике Деменкове обнаружить не удалось.

136. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.63. Л. 27—28

[1] *Гамбурцева Александра Ивановна* (1835—?), родственница семьи Елагиных, молодая вдова, приехала с тремя детьми в Сибирь на службу; посетив Батенькова в Томске, отправилась в Иркутск, где была принята на должность воспитательницы училища при Иркутском девичьем институте. О какой «комедии» идет речь, установить не удалось.

[2] Батеньков рассчитывал на дружеский прием Гамбурцевой декабристами — иркутскими поселенцами (прежде всего он надеялся на семью С. П. Трубецкого) и волновался об их спокойствии в связи с началом Крымской войны.

[3] Речь идет о дочери декабриста *Елене Сергеевне Молчановой* (урожд. Волконской). Здесь обычное для Батенькова иносказание. Выражение «между Сциллой и Харибдой» означает положение, при котором есть опасность с двух сторон.

[4] *Волконский Михаил Сергеевич* (1832—1909), сын декабриста; служил в Главном управлении Восточной Сибири, с 1854 г. чиновник для особых поручений при сибирском ген.-губернаторе Н. Н. Муравьеве, впоследствии — товарищ министра народного просвещения, член Государственного совета. Издал записки отца и матери.

[5] Имеется в виду «дело» *Дмитрия Васильевича Молчанова* (ум. 1857), начальника V отделения Главного управления Восточной Сибири (1850—1854), мужа Е. С. Волконской (с 15 сент. 1850 г.), и *Ф. П. Занадворова* — губернского секретаря, женатого на племяннице богатого золотопромышленника Е. А. Кузнецова. Занадворов присвоил значительную часть состояния Кузнецова, за что был отдан под суд. Следствие было поручено Молчанову. Совершив другое преступление — поджог леса на своих золотых приисках в Олёкминске, Занадворов не явился на новое расследование, обвинив Молчанова в получении с него взятки. Молчанов был предан суду, его «дело» длилось несколько лет одновременно с «делом» Занадворова. В 1855 г. оно рассматривалось военным судом в Московском ордонансгаузе. Молчанов попал в тюрьму, будучи тяжело больным (с 1854 г. страдал прогрессивным параличом ног). 23 февр. 1856 г. дело перешло в Государственный совет, и 25 мая того же года Молчанов был оправдан, но не мог ходить, сошел с ума и вскоре умер. «Дело» Молчанова волновало всех декабристов, так как его жена Елена была общей любимицей и вызывала сочувствие за переносимые в этом браке мучения.

[6] *Дорохова Мария Александровна* (урожд. Плещеева, 1811—1887), двоюродная сестра (по матери) декабристов З. Г. Чернышева и А. Ф. и Ф. Ф. Вадковских; вдова (с 1852 г.) *Руфина Ивановича Дорохова* (разжалованного офицера); с 18 авг. 1849 г. начальница Иркутского девичьего института; после смерти мужа была невестой декабриста П. А. Муханова, умершего 12 февр. 1854 г., накануне их свадьбы. Оставшись одна, уехала из Иркутска к его родным в Москву, а с апр. 1855 г. стала начальницей Нижегородского девичьего института. Поддерживала дружеские отношения со многими декабристами — И. И. Пущиным, М. И. Муравьевым-Апостолом, Г. С. Батеньковым и др. Дочери И. И. Пущина *Аннушке* (1842—1863) заменила мать, взяв ее к себе в Нижний Новгород.

[7] *Свербеев Николай Дмитриевич* (1829—1860), чиновник для особых поручений по дипломатической части Главного управления Восточной Сибири, сын московских друзей А. П. Елагиной — Д. Н. и Е. А. Свербеевых, хозяев популярного в Москве салона. Батеньков в письмах часто называет его ласково: Свербей Свербеич, Свербеич.

[8] *Бибиков Александр Илларионович* (1826—1899), камер-юнкер, племянник декабристов С. И. и М. И. Муравьевых-Апостолов; с 1852 г. чиновник для особых поручений Главного управления Восточной Сибири; в 1854 г. участвовал в следствии по делу о поджоге олёкминского леса Ф. П. Занадворовым и так же, как Д. В. Молчанов, был предан суду.

137. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.63. Л. 29—30

[1] Вероятно, *Алексей Петрович Деев*, коллежский советник, старый приятель Батенькова.

[2] *Асташева Александра Павловна*, жена И. Д. Асташева, мать *Вениамина Ивановича Асташева*, впоследствии генерала, разбиравшего в 1883 г. вместе с М. И. Семевским рукописи Батенькова.

[3] М. А. Дорохова.

[4] Разбор рисунков В. А. Жуковского, оставшихся после его смерти, был очень серьезным делом, за которое взялась А. П. Елагина. Жуковский был не только выдающимся писателем и поэтом, но и очень хорошим рисовальщиком (см.: Милонов Н. А. Тульский край в рисунках В. А. Жуковского. Тула, 1982).

138. А. П. Елагиной

ГПБ. Ф. 49. № 6. Л. 1—2; черновой автограф

[1] Письмо-записку с описанием своего «Соломенного дворца» автор написал, выполняя обещание, данное А. П. Елагиной в предыдущих письмах (см. письмо 133 и неопубликованное письмо от 14 мая 1853 г. — *ГБЛ*. Ф. 99, 2.63. Л. 15—16).

[2] Дресвяное дно — каменное дно, легко рассыпающееся в дресву. Дресва — мелкий щебень, крупный песок, получающийся от выветривания горных пород и при обделке камня.

[3] Река в Томске, через которую Батеньков сооружал мост в 1818—1819 гг. (см. примеч. 4 к письму 13).

[4] Лу-чу — шуточная переделка на китайский лад фамилии хозяина дома, приютившего Батенькова в Томске,— Лучшев.

[5] Богатый сосед — С. Е. Сосулин, бывший владелец участка «Соломенного дворца».

[6] Поповы — семья сибирских золотопромышленников Федота (ум. 1831) и Степана Ивановичей. Соседями Батенькова была семья последнего.

139. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.64. Л. 3—4 об.

[1] Митава — бывшее название латышского города Елгава, расположенного на 56° северной широты, так же, как и Томск.

[2] В этом письме Батеньков пытается наиболее подробно изложить Елагиной дуалистические основы просветительской философии, которую исповедовали декабристы. В этой философии роль первотворца природы и человека отводится богу. В то же время признается и самостоятельная роль природы и человека в историческом развитии (Каменский З. А. Философские идеи русского просвещения (деистическо-материалистическая школа). М., 1971).

[3] А. П. Елагина могла знать П. Т. Кобылину, сестру С. Т. Аргамакова, с 1826 г., когда эта смелая девушка приезжала в Петербург, пытаясь узнать о судьбе жениха, находившегося в Петропавловской крепости.

140. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.64. Л. 5—6 об.

[1] Плеоназм — многословие (от греч. pleonasmos).

[2] Далее Батеньков приводит 11-ю строфу из своей оды «К математике» (*Илюшин.* С. 126—127), связанную с проблемой «математика и астрономия». Под словами: «некто восторженный Д'Аламбертовою системою» — скрывается сам автор письма.

Даламбер Жан (Д'Аламберт, 1749—1822), французский астроном и геодезист, составитель таблицы для вычисления движения Солнца и планет; автор работ по истории астрономии и истории измерений Земли.

141. Е. И. Якушкину

ЦГАОР. Ф. 279. Оп. 1. Д. 459. Л. 3—4 об.

[1] *Якушкин Евгений Иванович* (1826—1905), младший сын декабриста И. Д. Якушкина, учился, а потом служил в Московском университете; научный деятель в области обычного права; преподавал законоведение в Межевом институте и Сиротском доме в Москве (1851—1859); управлял Ярославской палатой государственных имуществ (1859—1865) и казенной палатой (с 1865 г.); общественный деятель 1860—1900-х гг., участник организации «Земля и воля» (1860), друг декабристов — навещал их во время командировок от Межевого ведомства в Сибирь в 1853—1855 гг., способствовал написанию ими мемуаров, а затем и изданию их; один из первых фотографов Москвы, запечатлевший своими снимками многих декабристов, их родных и друзей. О его взаимоотношениях с Батеньковым см. письма к нему за 1855—1863 гг., а также: *Якушкин.* С. 523.

[2] Старик отец — *Иван Дмитриевич Якушкин* (1793—1857), один из учредителей Союза спасения и Союза благоденствия, член Северного общества. Каторгу отбывал в Чите и Петровском заводе, на поселении был в Ялуторовске и образовал там ланкастерскую

школу для детей. В 1856 г. уехал из Ялуторовска и жил под Москвой. В ссылке и по возвращении из Сибири Якушкин поддерживал дружеские контакты (личные и письмами) со многими декабристами, в том числе с Г. С. Батеньковым, которому «уступил» своего младшего сына (1854) (*Якушкин.* С. 377—379, 382, 386, 388, 436—439, 441, 442).

[3] О ком идет речь, установить не удалось. Мать Е. И. Якушкина, А. В. Якушкина, умерла в 1846 г., теща И. Д. Якушкина, Н. Н. Шереметева — в 1850 г.

[4] Имеется в виду О. П. Лучшева.

[5] Камер-юнкер — А. И. Бибиков.

[6] Дагерротипия — первоначальный способ фотографирования; дагерротип — фотоотпечаток, сделанный этим способом. Здесь намек на увлечение адресата фотографированием, давшее Е. И. Якушкину в кругу друзей прозвище «Фотограф».

[7] Малолетний — сам адресат.

[8] Фон-Визины — М. А. Фонвизин и его жена Наталья Дмитриевна — жили в это время в родовом имении деревне Марьино Бронницкого уезда, под Москвой.

142. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.64. Л. 7—8 об.

[1] Крымская война 1853—1856 гг.

[2] Н. А. Елагин. Вероятно, говоря о наборе, Батеньков имеет в виду призыв в Морское ополчение добровольцев для «обеспечения шхерных флотилий канонерских лодок и береговой обороны Балтийского моря личным составом», начатый 2 апр. 1854 г. К 22 мая добровольцев записалось уже 7132 человека, значительно больше, чем предполагало правительство (Боевая летопись русского флота. М., 1948. С. 238).

[3] Маркиз — *Николай Александрович Траверсе* (1829—1869), лицеист выпуска 1850 г., чиновник для особых поручений при томском губернаторе (1851—1854), затем чиновник Государственного контроля; в 1862 г. привлекался к суду за сношения с А. И. Герценом. Уезжая из Томска, Траверсе увозил с собой письма Батенькова и других декабристов.

143. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.64. Л. 9—10 об.

[1] Архиепископ Нил — *Николай Федорович Исакович* (1793—1853), иркутский, затем ярославский архиепископ; доброжелательно относился к декабристам, поселенным в Иркутске и его окрестностях (Трефолев Л. Отношение иркутского архиепископа Нила к декабристам // Рус. старина. 1889. № 9).

[2] Афанасий (Афонасий) — *Андрей Григорьевич Соколов* (1796—1868), епископ в Томске с 1841 по 1853 г.; «за кроткий и миролюбивый нрав, просвещенный практический ум, доступность для всякого» пользовался уважением прихожан (см. чер-

новой набросок письма Батенькова И. Д. Асташеву от 7 марта 1854 г.— *ИРЛИ*. Ф. 265. Оп. 2. Д. 134. Л. 2—4 об.).

144. [*И. И. Пущину*]

ЦГАОР. Ф. 1705. Оп. 1. Д. 7. Л. 9—11
Декабристы. Летописи. Кн. 3. С. 30

[1] Из Иркутска проехали через Томск архиепископ Нил и, вероятно, жандармский ген.-майор Я. Д. Казимирский (см. письмо С. П. Трубецкого Г. С. Батенькову от 14 мая 1854 г. — *Трубецкой*. Т. 2. С. 214—216). Но, может быть, речь идет о ген.-губернаторе Западной Сибири (1851—1861) *Густаве Христиановиче Гасфорде* (1794—1874), о поездке которого сообщает Батенькову И. И. Пущин 21 июня 1854 г. (Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956. С. 269, далее: *Пущин*). О ком из «малолетних» идет речь, установить не удалось. Возможно, имеются в виду Ребиндеры (см. письмо 160).

[2] С. П. Трубецкой.

[3] «Аргонавты» — Амурская экспедиция Н. Н. Муравьева и его помощников. Так называли участников экспедиции декабристы по аналогии с мифическим плаванием корабля «Арго» за золотым руном в Колхиду.

[4] При первой публикации две последние фразы воспроизведены с пропусками.

[5] В отличие от предыдущих плаваний ген.-губернатора в этой экспедиции его не сопровождала жена — *Екатерина Николаевна Муравьева* (урожд. Ришмон), таким образом, в экспедиции были только мужчины.

[6] А. И. Бибиков.

[7] Барон — вероятно, *Штейнгейль Владимир Иванович*, живший в то время на поселении в Тобольске.

[8] Речь идет о семьях братьев Поклевских-Козелл: *Викентия Фомича* — томского стеклозаводчика, и *Альфонса Фомича* — чиновника для особых поручений при ген.-губернаторе Западной Сибири Г. Х. Гасфорде, разбогатевшего на перевозках спирта с винокуренных заводов по всей Западной Сибири.

[9] Опять намек на увлечение спиритизмом, охватившее и Сибирь.

[10] 30 апр. 1854 г. умер М. А. Фонвизин. Трехстишье Батенькова понравилось адресату. «Спасибо вам за три стиха по случаю новой могилы в Марьино. <...> Ваше трехстишье отрадно!» — писал в ответном письме И. И. Пущин (*Пущин*. С. 271).

145. [*И. И. Пущину*]

ЦГАОР. Ф. 1705. Оп. 1. Д. 7. Л. 53—55
Декабристы. Летописи. Кн. 3. С. 31—33

[1] Старший сын И. Д. Якушкина *Вячеслав Иванович* (1823—1863), чиновник для особых поручений при ген.-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве; после 1856 г.—в Крыму, занимался землеустройством татар.

[2] См. примеч. 3 к письму 144.

[3] Е. И. Якушкин уехал из Ялуторовска в конце марта 1854 г. и по прибытии домой еще не написал Батенькову письма.

[4] Здесь намек на «кипяток-энергию», которую проявлял в делах экспедиции Н. Н. Муравьев.

[5] См. примеч. 3 и 5 к письму 136.

[6] *Созонович Павел Павлович*, старший сын *Павла Григорьевича Созоновича*, воспитанник декабристов, служил на золотых приисках; о смерти Павла Батенькову сообщил И. И. Пущин 21 июня 1854 г. (*Пущин.* С. 269). П. Г. Созонович — бывший офицер уланского полка Бугского военного поселения, приговоренный к каторжным работам «за оскорбление действием» командира полка; каторгу отбывал вместе с декабристами; служил на Успенском казенном винокуренном заводе, а затем в Ялуторовске на водочном заводе Мясникова и золотых приисках в Восточной Сибири; после смерти жены (1837) отдал свою дочь Августу на воспитание М. И. Муравьеву-Апостолу и его жене Марии Константиновне.

[7] *Дружинин Хрисанф Михайлович* (1800—1860); в 1827 г. по доносу И. И. Завалишина за участие в Оренбургском тайном обществе разжалован из портупей-прапорщиков Оренбургского гарнизонного батальона, осужден к каторжным работам, которые отбывал в Чите, потом был на поселении в Балаганском округе Иркутской губ.; опекал детей П. Г. Созоновича Евгения и Павла. После смерти последнего кредиторы взыскивали его долги с Дружинина. Нечестность Павла Созоновича сравнивалась Батеньковым с поступками героя «Мертвых душ» Н. В. Гоголя Павла Чичикова.

[8] «Маремьяна» — дружеское прозвище декабриста И. И. Пущина.

[9] Речь идет об устройстве на государственную службу *Павла Ивановича Менделеева* (1832—1902), брата Д. И. Менделеева и жены Н. В. Басаргина *Ольги Ивановны.* Об этом просил Батенькова И. И. Пущин (*Пущин.* С. 270, 276). В 1858 г. П. И. Менделеев служил в Главном управлении Западной Сибири.

[10] В. Д. Корнильев.

[11] В. А. Бекман.

[12] Последующий текст в первой публикации не воспроизведен.

[13] Имеется в виду новый томский епископ (вместо Афанасия) *Парфений* (Попов Петр, 1811—1873), впоследствии епископ иркутский (с 1860 г.).

146. *А. П. Елагиной*

ГБЛ. Ф. 99, 2.64. Л. 11—12

[1] Год написания письма установлен по времени приезда в Сибирь к С. Г. Волконскому его сестры *Софьи Григорьевны Волконской* (урожд. Волконской, 1785—1868), жены министра императорского двора фельдмаршала П. М. Волконского.

[2] С. Г. Волконский носил простую одежду, принятую в Сибири, в том числе сибирку — кафтан, пальто.

147. *Е. И. Якушкину*

ЦГАОР. Ф. 279. Оп. 1. Д. 459. Л. 5—6

[1] Об «усыновлении» Батеньковым Е. И. Якушкина см. также его письмо И. Д. Якушкину от 24 июля 1854 г. (*Якушкин.* С. 378).

[2] Николай — Н. И. Лучшев; о его отъезде к новому месту службы см. также письма 149 и 151.

[3] Вероятно, речь идет об *Иване Петровиче Корнилове* (1811—1901), государственном и общественном деятеле, историке, старом знакомом Батенькова.

[4] «Тезка ваш» — *Евгений Павлович Созонович*, младший сын П. Г. Созоновича, воспитанник декабристов, доставлявший своим опекунам много хлопот.

[5] О. П. Лучшева, ее дети: *Константин* (Кока) и *Анатолий* (Толя) Лучшевы. Далее Батеньков ошибочно назвал Н. И. Лучшева не деверем ее, а шурином.

[6] Почти во всех письмах Батеньков пишет «Вечеслав». Старик— И. Д. Якушкин.

[7] Сергей — слуга (или конюх?) в доме Батенькова.

[8] Н. П. Киреевская.

[9] Невестка и внуки — *Елена Густавовна* (урожд. Кнорринг), первая жена Е. И. Якушкина (с 13 февр. 1848 г.); в 1854 г. у них было две дочери: *Ольга* (р. 1849) и *Анастасия* (р. 1854).

148. *И. Д. Якушкину*

ЦГАОР. Ф. 279. Оп. 1. Д. 53. Л. 1—2 об.
Текст бледный, трудночитаемый

[1] И. Д. Якушкин благодарил за теплый прием, оказанный ему и В. И. Якушкину Батеньковым (22--28 июля 1854 г.). О пребывании в Томске Якушкин пишет в письмах и младшему сыну, и друзьям (*Якушкин.* С. 377—382).

[2] «Два Владимира» — В. Ф. Раевский и *Владимир Александрович Бечаснов* (Бечасный) (1802—1859), декабрист, член Общества соединенных славян, с 1839 г. на поселении в с. Смоленщина (под Иркутском).

[3] 6 сент. 1854 г. С. П. Трубецкой написал Батенькову дружеское письмо, за которое он и благодарит его через И. Д. Якушкина, находящегося в это время в Иркутске (*Трубецкой.* Т. 2. С. 224—225).

[4] Кто такой Иван Яковлевич, установить не удалось, возможно, иркутянин И. Я. Билибин.

[5] «Неблаговонная растительность» — черемша, которой лечился И. Д. Якушкин.

[6] Маленький Люля — Анатолий Лучшев.

[7] Маркиз — Н. А. Траверсе.

[8] Е. П. Созонович.

149. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.64. Л. 13—14

150. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.64. Л. 15—16

151. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.64. Л. 17—18

[1] В этот же день, 6 нояб. 1854 г., Батеньков написал письмо И. И. Пущину (*Декабристы. Летописи. Кн. 3.* С. 35—37) с описанием своего быта и новостей из жизни общих знакомых.

[2] В письме к А. П. Елагиной от 20 нояб. 1854 г. Батеньков, рассуждая о войне, написал: «Горько смотреть на нынешнюю разрушительную для всех войну. <...> для чего она начата и продолжается, мы здесь, по крайней мере, ничего не знаем <...>» (*ГБЛ.* Ф. 99, 2.64. Л. 20).

152. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.64. Л. 21—22 об.

[1] Датируется по письму, написанному И. И. Пущину в тот же день, 23 нояб. 1854 г., в котором речь идет так же, как и в комментируемом, о поездке через Томск и Ялуторовск доктора Петра Сергеевича Вешнякова (*Декабристы. Летописи. Кн. 3.* С. 37).

[2] Госпожа Свербеева — мать Н. Д. Свербеева *Екатерина Александровна* (урожд. Щербатова, 1809—1892), хозяйка московского салона.

[3] Главный Камчатский порт — Петропавловск-на-Камчатке. В июле — авг. 1854 г. гарнизон порта отразил нападение англо-французской эскадры. Руководил обороной ген.-майор *Василий Степанович Завойко* (1809—1898), камчатский военный губернатор, командир порта и управляющий гражданской частью Петропавловска (1850—1856).

[4] Н. Н. Муравьев.

[5] Е. И. Трубецкая скончалась в Иркутске 14 окт. 1854 г. и там похоронена.

153. Н. Д. Свербееву

ГАИО. Ф. 774. Оп. 1. Д. 63. Л. 1—2 об.

[1] Доктор — П. С. Вешняков.

[2] *Писарро* (Пизарро) *Франциско* (1478—1541), испанский конкистадор; в 1531—1532 гг. во главе небольшого отряда завоевал Перу и в 1535 г. основал город Лиму. Амурская экспедиция, как верно говорит автор, имела целью «откупорить Сибирь к Тихому океану».

[3] *Муханов Петр Александрович* (1799—1854), писатель, журналист 1820-х гг.; штабс-капитан л.-гв. Измайловского полка, член Союза благоденствия и Северного общества; каторгу отбывал в Нерчинске; с 1832 г. был на поселении в Братском остроге Нижнеудинского округа Иркутской губ., с 1842 г. и до смерти — в Усть-Куте под Иркутском. Его мать Наталья Александровна (урожд. Саблукова, 1779—1855) жила в Москве.

[4] Имеется в виду семья ректора Московского университета *Аркадия Алексеевича Альфонского* (1796—1869), доктора медицины и хирургии, профессора, женатого на сестре декабриста *Екатерине Александровне Мухановой* (1800—1869). Надежды М. А. Дороховой «сойтись с новым семейством» не оправдались, и она уехала в Нижний Новгород.

[5] *Гарасс Елизавета Алексеевна*, воспитательница детей Ф. А. Горохова в Томске; 20 нояб. 1854 г. Батеньков, сообщая А. П. Елагиной об ее отъезде из Сибири в Москву, писал: «Она одна из лучших моих друзей <...> женщина достойная и предостойная, детям Горохова она заменяла умершую мать» (*ГБЛ*. Ф. 99, 2.64. Л. 19).

[6] А. И. Гамбурцева.

154. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.64. Л. 23—24

[1] Девичий институт в Томске так и не был создан; советом Батенькова М. А. Дорохова не воспользовалась.

155. [И. И. Пущину]

ЦГАОР. Ф. 1705. Оп. 1. Д. 7. Л. 1—2 об.
Декабристы. Летописи. Кн. 3. С. 37

[1] *Зиновьев Петр Васильевич* (1812—1868), брат попечителя Харьковского учебного округа *Павла Васильевича Зиновьева*; приятель многих декабристов, неоднократно навещал их в Сибири и во время своих поездок привозил им письма и устные новости. С комментируемым письмом он прибыл в Ялуторовск 22 дек. 1854 г.

156. Н. Д. Свербееву

ГАИО. Ф. 774. Оп. 1. Д. 63. Л. 19—20

157. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.64. Л. 27—28 об.

[1] «Безотчетны и неуловимы для фиска» — для государственной казны.

[2] Фрагмент письма: «Моя к тебе <...> мы и сый» впервые опубл.: *Илюшин.* С. 141—142. См. также примеч. 1 к письму 115.

[3] Аннушка — *Анна Дьякова* (в замужестве Ненашева), сестра жены А. И. Лучшева.

[4] *Леман Александр Михайлович* — чиновник для особых поручений Комиссариатского департамента Военного министерства; женат на *Елизавете Ивановне Асташевой,* дочери И. Д. Асташева.

[5] *Анненков Николай Николаевич* (1800—1865), ген.-майор, ген.-адъютант, с 1848 г. член Государственного совета; с 1851 г. ревизовал Сибирь вместе с двумя братьями — В. А. и А. А. Арцимович. В письме к А. Ф. Бригену из Тобольска М. А. Фонвизин написал 17 марта 1851 г.: «Генерал-адъютант Анненков ревизовал здесь губернское правление и Совет и хотя не нашел никаких злоупотреблений, но недоволен был медленностию в делопроизводстве, называя ее баснословною. Кажется, что он Горчакова щадит и винит исполнителей его распоряжений — едва ли здешние главные лица удержатся» (Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Иркутск, 1979. Т. 1. С. 349, далее: *Фонвизин*). В 1854—1855 гг. Анненков—новороссийский ген.-губернатор; в 1855—1862 гг. государственный контролер; в 1862—1865 гг. киевский ген.-губернатор; двоюродный брат декабриста И. А. Анненкова и дальний родственник И. И. Пущина.

158. И. И. Пущину

ГБЛ. Ф. 243, 1.14. Л. 3—4 об.
Сибирь и декабристы. Вып. 2. С. 196—197

[1] Тюкала (Тюкалинск) — уездный город Тобольской губ. Мамре (греч. Мамври) — дубрава. Мамврийская — священная роща (библейская), где стоял дуб, которому поклонялись. Под ним Авраам, которому якобы явился бог, просил пощадить жителей Содома, если ангелы-истребители найдут там хоть десять праведников.

[2] Имеется в виду Ф. П. Занадворов.

159. Н. Д. Свербееву

ГАИО. Ф. 774. Оп. 1. Д. 63. Л. 3—4 об.

[1] Речь идет о продаже в Томске тарантаса, оставленного Н. Д. Свербеевым (см. письмо 153).

[2] Вероятно, имеется в виду сибирский золотопромышленник *Аполлон Е. Филимонов* (полное отчество не установлено).

[3] Речь идет о дочери Ф. А. Горохова *Калюсфене Философовне Масоловой* (Масаловой).

[4] «Письмецо» к С. П. Трубецкому не обнаружено.

160. И. И. Пущину

ГБЛ. Ф. 243, 1.14. Л. 5—6 об.
Сибирь и декабристы. Вып. 2. С. 197—199

[1] Имеются в виду краткие письма, отправляемые адресату с неожиданно отъезжающими и проезжающими Томск (см., например, письмо 155).

[2] Ребиндеры — семья дочери С. П. Трубецкого: зять декабриста *Николай Романович* (1819—1865), в 1851—1856 гг. градоначальник Кяхты, впоследствии попечитель Киевского (1856—1858) и Одесского (1858—1859) учебных округов, директор Департамента и товарищ министра народного просвещения (1859—1861), затем сенатор. *Александра Сергеевна* (1830—1860), старшая дочь декабриста, с мая 1852 г. жена Н. Р. Ребиндера. Их дети — *Сергей* и *Катя*.

[3] *Басаргин Николай Васильевич* (1799—1861), поручик, декабрист, член Южного общества, с 1835 г. на поселении в Туринске, с 1841 г. в Кургане, с 1846 г. служил канцеляристом в Омске, с 1848 г. в Ялуторовске, в земском суде, тогда же женился на О. И. Медведевой (урожд. Менделеевой). В 1856 г. Басаргин с семьей уехал в Европейскую Россию.

[4] В ответ на эту просьбу Пущин написал Батенькову 22 февр. 1855 г., что такой девушки он не знает «и никогда не встречал. Если как-нибудь мне попадется, то непременно в точности передам ваши слова в форме побежденных рыцарей». Как видно из этого письма, Батеньков передавал поклон дочери надворного советника *Осипа Каспаровича Рымши*, служившего советником по питейной части в томском губернском правлении до 1855 г. и проезжавшего через Ялуторовск к новому месту службы на Успенский казенный винокуренный завод.

[5] Камер-юнкер — А. И. Бибиков — ехал через Томск в Петербург «к главной центральной массе» с донесением от Н. Н. Муравьева-Амурского.

[6] Как видно из переписки Батенькова и Свербеева, между ними возникли, несмотря на разницу в возрасте, теплые, откровенные беседы с ласковым обращением: «мой неоцененный друг» (слова Батенькова), «мой бесценный дедушка» (слова Свербеева — *ГБЛ.* Ф. 20, 13.5). Назвав Свербеева «кровным лицеистом», Батеньков ошибся: Свербеев в лицее не учился.

[7] Батеньков несколько перефразировал известное изречение французского мелкобуржуазного социалиста, теоретика анархизма *Пьера-Жозефа Прудона* (1809—1865): «собственность — это кража» (Прудон П.-Ж. Собственность — кража. М., 1906. С. 5, 7). Аналогичную цитату приводит М. А. Фонвизин в статье «О коммунизме и социализме» (*Фонвизин.* Т. 2. С. 278).

[8] Вероятно, речь идет об архимандрите томского Богородице-Алексеевского монастыря, члене томской консистории Викторе. Батеньков часто бывал у него, поддерживая дружеские отношения.

[9] Имеется в виду весенний (1855) сплав артиллерии на Камчатку для защиты Петропавловска и других пунктов на Дальнем Востоке. Н. И. Лучшев по должности горного исправника, т. е. начальника полиции в горном районе, привлекался для «препровождения» пушек из Тобольска. Однако 3 марта 1855 г., получив известие о подготовке нового англо-французского наступления на Петро-

павловск, Н. Н. Муравьев отдал приказ В. С. Завойко об эвакуации порта: всем судам с вооружением, боеприпасами, продовольствием, личным составом гарнизона и их семьями уйти с Камчатки в устье Амура. 4 апр. из порта вышли первые суда, а 6 мая остальные. 1 мая эскадра Завойко вошла в Татарский пролив и встала в заливе Де-Кастри в ожидании очистки ото льда Амурского лимана. 16 мая эскадра вышла на север Татарским проливом и 24 мая прибыла к устью Амура. Соединенная эскадра англо-французов не нашла русских судов ни у Петропавловска, ни в заливе Де-Кастри.

[10] Маленький Толя — А. Лучшев. Большой Толь — петрашевец *Феликс-Эммануил Густавович Толь* (1823—1867); в 1852—1857 гг. жил на поселении в Томске, первоначально в доме Лучшевых у Батенькова. Указом от 17 апр. 1857 г. петрашевцам были возвращены права и разрешено возвратиться в Европейскую Россию.

161. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.64. Л. 31—32 об.

[1] Фрагмент письма: «Не знаем, куда <...> мы неистощимы» впервые опубл.: *Илюшин.* С. 142.

162. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.64. Л. 33—34 об.

[1] Университетский юбилей — столетие Московского университета, отмечавшееся в 1855 г.

[2] Малолетний Кузьмы—сын К. Г. Репинского *Григорий Кузьмич Репинский* (1834—1906), историк, впоследствии сенатор.

[3] О ком из профессоров Московского университета идет речь, неизвестно. Вероятно, зная о постоянном общении сыновей А. П. Елагиной И. В. и П. В. Киреевских и В. А. Елагина с учеными и литераторами Москвы, автор надеялся через них поздравить А. А. Альфонского и других профессоров университета-юбиляра.

163. Н. А. Бестужеву

ИРЛИ. Ф. 604. Оп. 1. Д. 14. Л. 4—5

[1] Н. А. Бестужев, находившийся на поселении в Селенгинске (с 1839 г.), в конце февр. 1855 г. «по вызову Якова Дмитриевича [Казимирского.— *А. Б.*] приезжал в Иркутск, был совершенно здоров, мил, любезен, добр и весел, как всегда. Провел там месяц и возвращался к пасхе домой. Спешил, дорогой как-то простудился, а через две недели не стало этого доброго человека» (*Пущин.* С. 304).

[2] «Твой параллакс» — буквально: твое уклонение (от греч. parallaxis). Здесь в смысле перемещения Бестужева из Селенгинска в Иркутск, чему «пособил» не «лукавый», а Я. Д. Казимирский.

[3] Намек на службу адресата до ареста. «Под № 5-м» — т. е. в каземате № 5 Алексеевского равелина — провел безымянный сек-

ретный арестант Батеньков почти 20 лет. Весь предыдущий фрагмент письма ранее опубл.: Рус. старина. 1889. № 8. С. 333.

[4] П. В. Зиновьев.

[5] Н. А. Траверсе был женат на дочери бывшего директора маяков Финского залива ген.-майора *Леонтия Васильевича Спафарьева* (1765—1847), у которого Н. А. Бестужев был помощником до поступления на должность начальника Морского музея (1825).

[6] Фрагмент письма: «И мне о себе <...> в качестве деда» ранее опубл.: Рус. старина. 1889. № 8. С. 333—334.

[7] *Жирарден Эмиль* (1806—1881), французский писатель, журналист и издатель дешевых газет и журналов, политический деятель без четкой политической позиции: в 1848 г. сторонник отречения от престола короля Франции Людовика-Филиппа и в том же году противник Республики.

[8] «Телемахида» — поэма В. К. Тредиаковского, изданная впервые в 1766 г., итог многолетнего труда поэта, ученого и переводчика. *Тредиаковский Василий Кириллович* (1703—1769) — один из зачинателей русской поэзии, реформатор стихотворного языка. См.: Тредиаковский В. К. Избранные произведения М.; Л., 1963. С. 337—351. «Страдать над Телемахидой» — сопереживать многолетним страданиям Телемаха, мифологического героя поэмы Тредиаковского.

[9] Я. Д. Казимирский прибыл в Иркутск 25 янв. 1855 г. (*Якушкин*. С. 418) и в марте был еще там. См. также письмо 169.

[10] Брат адресата — декабрист *Михаил Александрович Бестужев* (1800—1871). Сестры Бестужевых: *Елена* (1792—1874) — старшая, в 1847 г., похоронив мать, приехала к братьям в Селенгинск вместе с младшими сестрами *Марией* (после 1793—1889) и *Ольгой* (после 1793—1889), где все они пробыли до 1858 г.

164. Е. И. Якушкину

ЦГАОР. Ф. 279. Оп. 1. Д. 459. Л. 9—10 об.

[1] «Строгим царедворцем» автор иронически называет камер-юнкера А. И. Бибикова.

[2] Иван Великий — одно из дружеских прозвищ И. И. Пущина.

[3] *Ламартин Альфонс де* (1790—1869), поэт, историк, политический деятель Франции. «История жирондистов» — его главный политический труд (в 8 томах), выпущенный в 1847 г.,— была защитой умеренной политики жиронды — партии крупной буржуазии в эпоху Французской революции конца XVIII в.

[4] Речь идет о написании записок-воспоминаний, которые собирал от декабристов Е. И. Якушкин. Он напоминал старикам о необходимости этой работы.

[5] «Компаньон по отцовскому званию» — И. Д. Якушкин.

[6] Ф.-Э. Г. Толь в переписке с друзьями обычно называл себя вторым именем — Эммануил, а не Феликс; так же писали о нем и его друзья.

165. *И. И. Пущину*

ГБЛ. Ф. 243, 1.14. Л. 7—8 об.
Сибирь и декабристы. Вып. 2. С. 199—201

[1] Е. С. и Д. В. Молчановы. Вероятно, Батеньков цитирует какое-то письмо А. П. Елагиной, однако нам обнаружить его не удалось.

[2] «За Балаклаву» — это ответ на сообщение И. И. Пущина: «Сейчас пробежал телеграфическое известие из Ирбита, что Балаклава взята нашими» (*Письма Г. С. Батенькова.* С. 259). Батеньков уже знал, что это известие не соответствует действительности. Еще 14 сент. 1854 г. англо-французское сухопутное командование решило захватить Севастополь с южной стороны, поэтому союзники перебазировали свои флоты из Евпатории: английский — в Балаклаву, а французский—в Камышовую бухту под Севастополем. 22 февр. 1855 г. была обстреляна и подавлена русскими пароходами «Херсонес» и «Громоносец» девятиорудийная батарея французов на высоте между Сушильной и Воловьей балками, а не английская база в Балаклаве.

[3] Здесь ответ на мысли И. И. Пущина, высказанные им в письме от 28 марта 1855 г., о новом царе Александре II и его «царстве»: «Что-то оно скажет в делах общественных. Покамест ничего не выражает» (*Письма Г. С. Батенькова.* С. 259).

[4] Михеевна — отчество экономки И. И. Пущина в Ялуторовске *Матрены Михеевны Мешалкиной.* На ее имя шла корреспонденция к И. И. Пущину от друзей, чтобы избежать цензуру местных властей и III отделения.

166. *И. Д. Якушкину*

ЦГАОР. Ф. 279. Оп. 1. Д. 53. Л. 3—4

[1] Намек на занятия И. Д. Якушкина естествознанием.

[2] Старшего сына О. П. Лучшевой Константина Епинетовича Лучшева Батеньков собирался увезти с собой из Сибири в случае амнистии.

[3] С. П. Трубецкой, С. Г. Волконский, Н. Д. Свербеев, «оба Владимира» — В. Ф. Раевский и В. А. Бечаснов.

167. *И. Д. Якушкину*

ЦГАОР. Ф. 279. Оп. 1. Д. 53. Л. 5—6

[1] «Малолетние» — чиновник для особых поручений при ген.-губернаторе Восточной Сибири *Бернгард Васильевич Струве* (1828—1889) и его семья, проезжавшие через Томск по пути в столицу из Иркутска.

168. И. И. Пущину

ГБЛ. Ф. 243, 1.14. Л. 11—12 об.
Сибирь и декабристы. Вып. 2. С. 202—204

[1] Свое совершеннолетие Батеньков «начал» на войне с Наполеоном в 1812 г. Выйдя из Дворянского полка при первом кадетском корпусе в Петербурге прапорщиком артиллерии, он получил красные погоны. «Беседовать <...> о той стране» — о Франции, где в 1813—1814 гг. Батеньков сражался с французской армией.

[2] Тризной французского народа «громадному Воителю» — Наполеону I Батеньков называет войну, которую Наполеон III вел с Россией. «Благоприятным часом» весной 1855 г. можно было считать отражение второй бомбардировки союзниками Севастополя, предпринятой ими с 28 марта по 6 апр. Несмотря на огромные потери (5986 русских солдат и матросов и 1852 англо-француза), защитники Севастополя вынудили противника отказаться от штурма (Боевая летопись русского флота. С. 233). Батеньков полагал, что этот успех должен облегчить России мирные переговоры в Вене.

[3] Поставить «в фарос» — превратить в маяк для настоящего и будущего. Здесь иносказательно использовано название маленького островка в устье Нила, на котором в 285 г. до н. э. был построен знаменитый многоэтажный маяк.

[4] Батеньков называет пятую гарантию, которую можно желать и «требовать вправе» в дополнение к «четырем пунктам» — условиям мира, подлежащим рассмотрению на Венской конференции послов Австрии, Англии, Пруссии, Франции и России в 1855 г.

[5] В сравнении железных дорог и воздухоплавания явно отдается предпочтение изобретению братьев Монгольфье (1783) — *Жозефа-Мишеля* (1740—1810) и *Жака-Этьена* (1745—1799), первых создателей воздушного шара («монгольфьер»), наполненного горячим воздухом. Впоследствии в развитии железнодорожных сообщений Батеньков увидел осязаемые гарантии мирных наклонностей народов (см. письмо 197).

169. [Я. Д. Казимирскому]

ИРЛИ. Ф. 604. Оп. 1. Д. 14. Л. 6—9;
запись под диктовку Батенькова

[1] Адресат письма установлен по содержанию: товарищи Батенькова «по положению между людьми» — декабристы, все единодушно его (адресата) «уважают и любят», испытав «на деле всю доброту» этого человека. Так отзывались декабристы о своем бывшем плац-майоре в Петровском заводе Я. Д. Казимирском. В 1855 г. он был уже жандармским ген.-майором, но оставался другом своих старых подопечных. С Батеньковым Казимирский познакомился в 1854 г. в Томске (см. письма 144 и 145). При публикации фрагмента письма (Рус. старина. 1889. № 8. С. 333—334) оно было ошибочно атрибутировано как письмо к Н. А. Бестужеву. С Николаем Александровичем Батеньков был знаком еще до ареста, они не были друг другу «неизвестны», автор не мог быть для адресата «только что узнанным». Помета над письмом о получении также сделана не Бестужевым.

[2] *Венрих* (Вендрих) *Ф*[*едор*] *Ф*[*едорович*], вероятно, жандармский подполковник в Томске.

[3] Иркутские выходцы — Б. В. Струве с семьей (см. примеч. 1 к письму 167).

[4] «Я прочитал в газетах о кончине отца»,— т. е. о смерти Николая I (19 февр. 1855 г.).

[5] И. Д. Асташев выехал в Петербург к сыну в июне. Сын Асташева Вениамин в 1856 г. уже служил корнетом 4-го дивизиона л.-гв. Конного полка.

[6] Имеется в виду манифест от 19 февр. 1855 г. о смерти Николая I и начале нового царствования. Декабристы ждали от Александра II помилования.

[7] Мундирная книга — в 1855 г. была введена новая форма обмундирования для войск, а соответственно и новая форма учета «мундирных вещей» (предметов обмундирования), которая рассылалась всем частям и соединениям империи.

[8] Здесь выражение общего настроения, связанного с тяжелыми итогами все еще не законченной Крымской войны 1853—1856 гг.

[9] Фрагмент письма «Манифест об нас молчит <...> даже полюбить ее» впервые опубл.: Рус. старина. 1889. № 8. С. 333—334.

[10] Приветы передаются *Федору Николаевичу Анненскому*, начальнику 1-го отделения Совета Главного управления Западной Сибири, действ. ст. сов., и его жене.

170. И. И. Пущину

ГБЛ. Ф. 243, 1.14. Л. 11—12 об.
Сибирь и декабристы. Вып. 2. С. 202—204

[1] Письмо написано Батеньковым на светло-синей бумаге в ответ на письмо Пущина от 27 мая 1855 г. на желтой бумаге (*Письма Г. С. Батенькова*. С. 260).

[2] Имеется в виду посещение Батенькова дочерью декабриста *Василия Львовича Давыдова* (1792—1855) *Екатериной Васильевной* (1822—?) и ее мужем (с 1854 г.) *Владимиром Михайловичем Переслени*, переведенным в 1855 г. из Енисейского казачьего полка ротмистром в Уланский полк в Крым. По дороге из Красноярска они останавливались в Томске и привезли Батенькову письмо от В. Л. Давыдова (*ГБЛ*. Ф. 20, 11.9).

[3] Мазаровичи — семья подполковника *Ивана Семеновича Мазаровича*, женатого на сестре жены контр-адмирала Г. И. Невельского, *Анне Ивановне Ельчаниновой*. В 1855 г. они проезжали Томск; с 1857 г. Мазарович — член Общего присутствия Департамента военных поселений от войск, в Сибири расположенных.

[4] Здесь речь идет о самой М. М. Мешалкиной (см. примеч. 4 к письму 165), которую разбил паралич в конце мая 1855 г.: «Заботливо теперь у меня — паралич бедной Михеевны совершенно срезал и нас. Вот скоро три недели, что мы все возимся с нею, но успеха мало <...> (*Пущин*. С. 287).

[5] Иносказательные рассуждения о посылке экспедиции или «кого-нибудь из рода Беллинсгаузенов» «для открытия нас — диких» могут быть поняты как сомнения по поводу надежд на изменения в жизни декабристов. *Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич* (1778—

1852), известный русский мореплаватель, адмирал; в 1819—1821 гг. в чине капитана II ранга руководил экспедицией шлюпов «Восток» и «Мирный» в Антарктику и в 1820 г. открыл Антарктиду.

[6] Один из вариантов фрагмента «Тюремной песни» Г. С. Батенькова; другие варианты этого стиха см.: *Мейлах*. С. 213—214, № 14 и *Илюшин*. С. 102—103, № 15.

[7] Здесь иносказательно использованы имена государственных деятелей. Батеньков полагал, что вопрос Крымской войны — не народное дело, что эта война — дело властителей. Ее ведут О. Кромвель (Англия), Наполеон Бонапарт (Франция) и потомки Чингисхана (Россия), которые в своих действиях опираются на макиавеллизм, т. е. не брезгуют никакими средствами для укрепления своей личной власти.

[8] Сын ялуторовского домохозяина адресата *Иван Александрович Бронников*, проезжая Томск, завез Батенькову письмо И. И. Пущина.

[9] *Анненков Федор Александрович* (1825—?), двоюродный племянник декабриста И. А. Анненкова, воспитанник лицея; в марте 1854 г. по приглашению тобольского губернатора В. А. Арцимовича прибыл на службу в Сибирь; с 1855 г. чиновник для особых поручений при Н. Н. Муравьеве; проезжая Томск, спешил, так как должен был прибыть до 15 мая в Шилкинский завод, чтобы плыть вместе с М. С. Корсаковым по Амуру (*Якушкин*. С. 421).

[10] Иркутские новости: о болезни и смерти (15 мая 1855 г.) Н. А. Бестужева; о поездке В. И. Якушкина «с поручением в Шилкинский завод», о «надеждах» Е. И. Якушкина и о начале Амурской экспедиции. Все эти новости Пущин передавал Батенькову со слов И. Д. Якушкина (*Якушкин*. С. 421—422); письма Якушкина Батенькову с этими сведениями не обнаружено.

171. [Я. Д. Казимирскому]

ИРЛИ. Ф. 604. Оп. 1. Д. 14. Л. 10—12.
Запись под диктовку Батенькова тем же почерком,
что и начало письма 169

[1] Адресат установлен по содержанию письма (см. примеч. 6).

[2] Иван Дмитриевич — Асташев; губернатор — В. А. Бекман; Философ Александрович — Горохов; архиерей — вероятно, Парфений.

[3] Кто такие Коноваловы, Еремеев, красавица Клеванская, Дмитрий Гаврилович и майор Катин, установить не удалось.

[4] *Дометти Александр Карлович* (1793—1877), ген.-лейтенант, с 1843 г. служил в войсках, в Сибири расположенных, командуя сначала бригадой, а затем 24-й пехотной дивизией.

[5] По манифесту 19 февр. 1855 г. часть осужденных в арестантские работы амнистирована и возвращена из Сибири на прежнее место жительства.

[6] Я. Д. Казимирский вместе с дочерью Александрой (Сашенькой), больной девочкой, родившейся в 1843 г., собирался в путешествие на Уральские заводы.

[7] Фрагмент «Я не могу <...> изъяснение» опубл.: Рус. старина. 1889. № 8. С. 333—336 как письмо к Н. А. Бестужеву.

[8] В авг. 1855 г. председателем томского губернского правления

вместо Николая Петровича Милордова стал действ. ст. сов. *Александр Васильевич Виноградский*, бывший ранее председателем губернского правления в Тобольске (см. письмо 173). Федор Федорович — Ф. Ф. Венрих.

172. И. И. Пущину

ГБЛ. Ф. 243, 1.14. Л. 13—14
Сибирь и декабристы. Вып. 2. С. 204—205

[1] М. Н. Волконская получила разрешение на поездку в Москву для лечения (*Пущин.* С. 289; *Трубецкой.* Т. 2. С. 244).

173. [Я. Д. Казимирскому]

ИРЛИ. Ф. 604. Оп. 1. Д. 14. Л. 13—14; копия

[1] Адресат установлен, как и в предшествующих письмах к нему Батенькова, по содержанию письма: возвращение адресата в Омск; сведения от него из Ялуторовска (ср. с письмом 174, написанным в этот же день, к И. И. Пущину).

[2] М. Н. Волконская приехала в день написания письма, о чем сообщил Батеньков Пущину (см. письмо 174) — Ивану Всемощному.

[3] Фрагмент «У нас <...> не повторяется в явлениях» опубл.: Рус. старина. 1889. № 8. С. 336 как письмо к Н. А. Бестужеву.

[4] *Воронцов Михаил Семенович* (1782—1856), ген.-фельдмаршал, новороссийский ген.-губернатор и полномочный наместник Бессарабской области (1820—1843), наместник Кавказа (1844—1853).

174. И. И. Пущину

ГБЛ. Ф. 243, 1.14. Л. 15—16
Сибирь и декабристы. Вып. 2. С. 205

[1] Исправником Томска в 1855 г. был коллежский секретарь *Иван Семенович Засулин*, занявший эту должность после Н. И. Лучшева, назначенного в Тайгу горным исправником по части золотых промыслов. «Гобвахта» — гауптвахта.

[2] Госпожа Леман — Е. И. Леман.

175. И. И. Пущину

ГБЛ. Ф. 243, 1.14. Л. 17—18 об.
Сибирь и декабристы. Вып. 2. С. 205—207

[1] 6 авг. 1855 г. С. П. Трубецкой и И. Д. Якушкин послали Батенькову записочку с отъезжающей из Иркутска М. Н. Волконской (*ГБЛ.* Ф. 20, 13.22. Л. 15—15 об.). 10 авг. того же года И. Д. Якушкин написал отдельное письмо, отправив его с ген.-майором *Дмитрием Сергеевичем Левшиным* (1801—1871), инспектором учебных карабинерных полков и заведений военных кантони-

стов Департамента военных поселений (Декабристы. Новые материалы. М., 1955. С. 301). Генерал ехал на инспекцию в Западную Сибирь и был в Томске (см. также письмо 176).

[2] О трех брошюрах в связи с Крымской войной, присланных Пущиным, см.: письмо Батенькову от 23 июля 1855 г. (*Письма Г. С. Батенькова.* С. 262) и письмо адмирала Ф. Ф. Матюшкина Пущину от 25 марта 1855 г. (*ГБЛ.* Ф. 20, 2.27).

[3] «L'Indépendance», «L'Indépendance belge» — интернациональная газета, издававшаяся в Брюсселе с 1830 г., в которой печатались информационные сообщения из основных европейских государств. «Revue des deux mondes» («Журнал двух миров» или «Обозрение Старого и Нового света») — французский ежемесячный буржуазно-либеральный журнал; выходил в Париже с 1829 по 1940 г. Начал выходить как литературно-художественный журнал, затем большое место стал уделять вопросам философии и политики.

[4] В Бельгии (Брюсселе) с 1850 г. издавалась ежедневная газета «Le Nord», которая субсидировалась русским правительством.

[5] «Северная пчела» — литературно-политическая газета, выходившая в Петербурге в 1825—1864 гг., ее редакторами до 1859 г. были Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч, а затем Л. Усов. «Новая прусская газета» («Neue Preußische Zeitung»)—реакционная немецкая ежедневная газета; издавалась в Берлине с июня 1848 по 1939 г. как орган контрреволюционной придворной камарильи и прусского юнкерства.

[6] В сказке Ш. Перро «Смешные желания» бог обещал бедному дровосеку выполнить три его желания, и дровосек попросил колбасы (Перро Ш. Сказки. Л., 1936. С. 119—124).

[7] «На отлете» был ген.-майор Д. С. Левшин.

[8] «Крестьянский лаж» — торговый термин, прибавка (приплата) к установленному денежному курсу при обмене денежных ценностей; во время Крымской войны в связи с быстрым падением курса ассигнаций по сравнению с серебряными монетами лаж значительно возрастал.

[9] Имеется в виду младший сын П. Г. Созоновича Евгений Павлович. Х. М. Дружинина «замучали» из-за долгов, оставшихся после смерти П. П. Созоновича (см. примеч. 7 к письму 145).

176. И. И. Пущину

ГБЛ. Ф. 243, 1.14. Л. 19—19 об.
Сибирь и декабристы. Вып. 2. С. 207—208

[1] *Колошин Сергей Павлович* (1823—1863), литератор, сын декабриста П. С. Колошина; в 1854—1856 гг. служил в Восточной Сибири; 14 янв. 1854 г. Пущин писал Батенькову: «Пишу к вам с малолетним Колошиным, сыном моего доброго товарища в Москве <...>, который теперь полный Сергей Павлович» (*Письма Г. С. Батенькова.* С. 246). В 1861—1863 гг. он издавал журнал «Зритель».

177. Н. Д. Свербееву

ГАИО. Ф. 774. Оп. 1. Д. 63. Л. 21—21 об., 22 об.

[1] Любопытный эпизод в жизни Н. Д. Свербеева — Амурская экспедиция с Н. Н. Муравьевым.

178. [Я. Д. Казимирскому]

ИРЛИ. Ф. 604. Оп. 1. Д. 14. Л. 15—16 об.; копия

[1] Адресат письма установлен по содержанию.

[2] Об отношении Батенькова к творчеству Н. В. Гоголя см.: Снытко Т. Г. Г. С. Батеньков — литератор // *ЛН*. Т. 60. Кн. 1. С. 313—314, 316—317).

[3] «Но я имел большой досуг» — намек на 20-летнее заключение в крепости, когда самым главным занятием декабриста была работа мысли, познание добра и зла. Писем Н. В. Гоголя не обнаружено, хотя о них декабрист говорил в своих письмах не один раз.

[4] Весь предыдущий текст письма опубл.: Рус. старина. 1889. № 8. С. 336—337 как письмо Н. А. Бестужеву.

[5] *Озерский Аникита Дмитриевич*, камер-юнкер, председатель Томской казенной палаты; со многими декабристами находился в дружеских отношениях; его брат *Александр Дмитриевич*, полковник корпуса горных инженеров, в 1858 г. стал томским губернатором.

[6] Вероятно, Ф. Ф. Венрих.

[7] Речь идет о приезде в Томск К. Ф. Масоловой и ее мужа Всеволода Алексеевича. «Прекрасная девица» — сестра Масоловой.

[8] Возможно, речь идет о *Николае Митрофановиче Кротове*, заседателе Омского окружного суда Тобольской губ.

[9] 27 авг. 1855 г. в связи с оставлением защитниками южной стороны Севастополя (после шестой бомбардировки союзниками и общего штурма его оборонительной линии) гарнизон начал переход через Севастопольский рейд по понтонному мосту на северную сторону для продолжения борьбы. Специально оставленные войсковые команды уничтожали пороховые погреба, оружие, морские команды приступили к затоплению своих судов: шесть линейных кораблей, один фрегат, один корвет и семь бригов были затоплены на Севастопольском рейде. 30 авг. были разоружены и затоплены остальные суда Черноморского флота: десять пароходов и транспорт. Силы на Черном море Россия в это время утратила (Боевая летопись русского флота. С. 235—236).

[10] Фрагмент «Камнем лежит <...> и к покою властей» опубл.: Рус. старина. 1889. № 8. С. 337.

179. [Я. Д. Казимирскому]

ИРЛИ. Ф. 604. Оп. 1. Д. 14. Л. 17—18; копия

[1] Адресат установлен по содержанию письма.

[2] Здесь два сравнения затянувшейся Крымской войны, начав-

шейся в окт. 1853 г.: с «быстрою в движении» войной 1812 г. с армией Наполеона I и с Троянской войной — легендарной войной древних греков с Троей (XII в. до н. э.), осада которой длилась десять лет, по своей продолжительности эта война имела сходство с Крымской 1853—1856 гг.

[3] Фрагмент «Странна для меня <...> самая старость» опубл.: Рус. старина. 1889. № 8. С. 338, но с ошибочным наименованием адресата: «Н. А. Бестужеву» и с пропуском двух слов.

[4] Имеется в виду Ф. Ф. Венрих, удачно игравший в карты.

[5] Дмитрий Гаврилович (фамилию установить не удалось) — кто-то из корпуса жандармов (из того же «ведомства», что и адресат), о нем говорится также в письме 171.

[6] Возможно, в то же время, что и комментируемое письмо, Батеньков написал еще одно (неустановленному адресату), в котором в виде выписки дан текст, адресованный какому-то жандармскому полковнику (*ГБЛ*. Ф. 20, 9.36. Л. 1—2 об.; черновой автограф). В выписке есть дополнительные высказывания автора о положении России и стран Европы перед концом войны.

180. Е. С. Молчановой

ИРЛИ. Ф. 57. Оп. 4. Д. 39. Л. 1—2

[1] Речь идет об А. П. Елагиной и семьях ее детей: И. В. Киреевского и В. А. Елагина, которые из деревень Петрищево, Долбино и Бунино приезжали зимой в Москву.

[2] М. С. Волконский по поручению Н. Н. Муравьева в 1855 г. обследовал крестьянские поселения по Якутско-Аянскому тракту и на Амуре.

[3] Экспедиция Н. Н. Муравьева и его сотрудников на Амур сравнивается автором с походом в Сибирь в 1581—1584 гг. казачьего атамана Ермака Тимофеевича, положившим начало присоединения ее к России. Второе сравнение относится к событиям начала XVI в.: *Кортес Эрнан* (1485—1547), испанский конкистадор, завоеватель (1520—1528) Мексики, с 1528 г. ген.-капитан, в 1536 г. открыл полуостров Калифорнию.

[4] М. Н. Волконская проезжала Томск по дороге в Москву к дочери вместе с внуком.

181. И. Д. Асташеву

ГБЛ. Ф. 20, 9.12. Л. 1—2 об.; черновой автограф

[1] Датировка письма основана на словах автора «десятилетнее мое здесь пребывание». Он прибыл в Томск в марте 1846 г., следовательно, в нояб. 1855 г. оканчивался еще один год жизни в Сибири — десятый.

[2] И. Д. Асташев находился в конце 1855 г. в Петербурге, куда уехал из Томска к сыну.

[3] С. Т. Аргамаков.

[4] *Ешевский Степан Васильевич* (1829—1865), историк; в 1853 г. защитил магистерскую диссертацию «Сидоний и Аполлинарий».

В 1855 г. опубликовал «Эпизод из литературной и политической истории Галлии V века». Вероятно, это издание имел в виду Батеньков. В 1855 г. Ешевский преподавал всеобщую историю и статистику в Ришельевском лицее в Одессе. В доме Асташева в Томске была хорошая библиотека, постоянно пополняемая периодическими изданиями и монографиями; после 1846 г. Батеньков пользовался этой библиотекой и зачастую подсказывал ее хозяину, что надо приобретать.

[5] Имеются в виду законодательные и правовые издания и письменные памятники, которые были в библиотеке декабриста: 1) Полное собрание законов Российской империи [Собрание 1-е]. Спб., 1830. Т. 1—45; 2) свод летописей — Полное собрание русских летописей (ПСРЛ), издание которого было начато Археографической комиссией в 1841 г.; 3) издания Географического общества — Вестник Русского географического общества за 1854—1855 гг.; 4) подлинные и копийные археологические акты по истории Сибири, собранные автором во время службы со Сперанским в 1819—1821 гг. и переданные Археографической комиссии в 1862 г. для ее изданий (*ЛО Арх. АН СССР*. Ф. 133. Оп. 1а. Д. 10. Л. 12 об., 14; Д. 667) и 5) Записки Русского археологического общества 1849—1853 гг. Т. 1—5.

[6] Речь идет о сочинении чиновника Министерства иностранных дел, члена Департамента экономии Государственного совета (1855), тайного советника *Людвига Валериановича Тенгоборского* (1793—1857) «О производительных силах России», ч. 1 [Спб., 1852].

182. И. И. Пущину

ГБЛ. Ф. 243, 1.14. Л. 22—23 об.
Сибирь и декабристы. Вып. 2. С. 208—210

[1] «Первенец вдов наших» — *Мария Казимировна Юшневская* (урожд. Круликовская, 1790—1863), вдова ген.-интенданта 2-й армии, декабриста, члена Союза благоденствия и Южного общества *Алексея Петровича Юшневского* (1786—1844), умершего на поселении в дер. Малой Разводной, вблизи от Иркутска, куда он был поселен в 1840 г. Право на выезд из Сибири она получила только в 1855 г. (*Письма Г. С. Батенькова*. С. 264).

[2] Вероятно, речь идет об удачном рейде из Де-Кастри в Амурский лиман эскадры контр-адмирала В. С. Завойко.

[3] Судя по запискам Батенькова за 1855 г. о состоянии Томского общественного банка (*ГБЛ*. Ф. 20, 5.15), он был там секретарем или делопроизводителем (см. также *Карцов*. С. 190). Лунтаи, лунты (к и т.)—бахилы из шкуры дикой козы или оленьи сапоги, шитые шерстью внутрь.

[4] «Любовь-река» — игра слов Амур-река.

[5] Мишель—М. С. Волконский, простоволосый чех—В. И. Якушкин, камер-юнкер — А. И. Бибиков.

[6] 24 окт. 1855 г. в Красноярске умер декабрист В. Л. Давыдов, а 14 окт. 1854 г. в Иркутске умерла Е. И. Трубецкая.

[7] Байдарская долина — котловина в юго-западной части Крымского полуострова, по р. Черной, между Ялтой и Симферополем. Здесь «озлобление» автора на поражение русских войск 4 авг. 1855 г.

у Черной речки в Крыму, потому и желание сдуть туда массу снега.

[8] М. А. Дорохова взяла к себе на воспитание в Нижний Новгород, куда была назначена начальницей Девичьего института, дочь Пущина Анну. Девочка уехала от отца 23 нояб. 1855 г. с Елизаветой Алексеевной Кобелевой, но Батеньков знал еще только о ее сборах (*Пущин.* С. 289—293).

[9] Речь идет о двух литературно-политических журналах, которые было разрешено издавать в Москве с 1856 г. «Русская беседа» — орган славянофилов; в 1856—1860 гг. издавался публицистом А. И. Кошелевым совместно с Т. И. Филипповым. Цель журнала — «вывести славянский вопрос из области археологического интереса в область живого деятельного сочувствия». «Русский вестник» издавался в 1856—1887 гг. публицистом М. Н. Катковым совместно с П. М. Леонтьевым. В 1856—1861 гг. журнал придерживался умеренно-либеральной программы в духе английской конституции и ожидания «реформ сверху»; после крестьянской реформы 1861 г. перешел на сторону реакции и резко выступал против революционных демократов.

[10] Этот фрагмент «Тюремной песни» см. также: *Мейлах.* С. 214, № 17 и *Илюшин.* С. 103, № 18. *Державин Гавриил Романович* (1743—1816), поэт.

[11] *Ентальцева Александра Васильевна* (урожд. Лисовская, 1790—1859), вдова подполковника артиллерии, декабриста, члена Южного общества *Андрея Васильевича Ентальцева* (1788—1845); после смерти мужа она осталась на месте их поселения в Ялуторовске и переселилась в Москву только в 1856 г.

183. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.64. Л. 41—42 об.

[1] Город-крепость Карс в северо-восточной части Турции, на р. Карс-чай, был опорным пунктом турецкой армии в борьбе с Россией; в июле 1855 г. он был осажден и занят русскими войсками, что и вызвало радость ветерана войны 1812 г. По Парижскому мирному договору от 18 марта 1856 г. Карс возвращен Турции (см. примеч. 1 к письму 187).

[2] Три строфы «Тюремной песни» Батенькова, включенные в это письмо, опубл. (с незначительными разночтениями и видоизмененным в некоторых местах синтаксисом): *Мейлах.* С. 214, № 16, 15; с. 210, № 4 и *Илюшин.* С. 103, № 17, 16; с. 99, № 4.

184. Ф. В. Булгарину

ГБЛ. Ф. 20, 9.13. Л. 1—2 об.; черновой автограф

[1] Письмо датируется по содержанию. Ф. В. Булгарин редактировал в 1841—1853 гг. хозяйственный журнал «Эконом. Хозяйственная общеполезная библиотека», издаваемый И. И. Песоцким. Последний, 42-й, номер журнала за 1853 г. вышел в 1855 г. Можно предположить, что, прочитав этот номер, в котором содержатся материалы, близкие сюжетам, интересующим Батенькова, он и написал редактору письмо. Отправил он его или нет, установить не удалось.

185. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.65. Л. 1, 3—3 об., 2

[1] *Соломон* (X в. до н. э.), древнееврейский царь, по библейской традиции автор части Библии «Песнь песней».
[2] О каком «отце Андрее» идет речь, установить не удалось.
[3] Имеется в виду С. Т. Аргамаков.
[4] Н. И. Лучшев.
[5] И. Д. Асташев.
[6] Батеньков передает приветы детям А. П. Елагиной: М. В. Киреевской, Николаю Алексеевичу и семье его брата Василия Алексеевича Елагиным. В отчестве Николая допущена описка — вместо «Алексеевич» написано «Васильевич».

186. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.65. Л. 4—5 об.

[1] Брат Е. С. Молчановой — М. С. Волконский.
[2] «Оба здешние генерал-губернаторы»: восточный — Н. Н. Муравьев-Амурский и западный — Г. Х. Гасфорд.

187. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.65. Л. 6—7 об.

[1] Мир между воюющими странами был заключен 18 марта 1856 г. в Париже. По договору: а) союзники очищали занятые ими в Крыму и на Черном море русские города и порты: Севастополь, Евпаторию, Керчь, Кинбурн и другие; б) Россия возвращала Турции Карс и часть придунайской Бессарабии; в) Черное море объявлялось нейтральным — открытым для торговых судов всех наций и закрытым для военных; г) Россия обязывалась не держать на Черном море боевого флота; д) Россия и Турция лишались права строительства военно-морских баз на Черноморском побережье, а Россия еще на Аландских островах; е) судоходство по Дунаю должна была регулировать специальная постоянная общеевропейская комиссия из представителей всех заинтересованных стран (Боевая летопись русского флота. С. 247—248).

188. Е. И. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.68. Л. 3—4 об.

[1] Имеются в виду Е. И. Якушкин и его жена Е. Г. Якушкина.
[2] «Ваза. Журнал дамских рукоделий, мод и домашней экономии». Редактор и издатель Елизавета Сафонова.

189. Е. И. Якушкину

ЦГАОР. Ф. 279. Оп. 1. Д. 459. Л. 13—14

[1] Речь идет об озабоченности Е. С. Молчановой по поводу судного дела ее мужа, которое должно было рассматриваться в Государственном совете.

[2] Согласно библейской легенде, Лот уходил от гибели из Содома, подлежащего уничтожению, в г. Сигор (под покровительством богов) вместе с женой и дочками. В пути боги запретили им оглядываться, но жена Лота нарушила запрет и превратилась в соляной столб. Батеньков не хотел оглядываться на прошлое и верил в грядущее.

[3] Тезей (Тесей, Фесей) — мифический герой Аттики, которого спасла от Минотавра (полубыка-получеловека) дочь афинского царя Миноса Ариадна, выведя его из лабиринта с помощью клубка нитей. Прочность нитей Ариадны Батеньков сравнивает с прочностью своих мыслей, накопившихся за годы его «странствий по катакомбам».

[4] Имеется в виду траур в связи со смертью Николая I.

[5] Батеньков заканчивает письмо строфой из своей «Тюремной песни» (*Мейлах*. С. 216, № 24).

190. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.65. Л. 8—9 об.

[1] См. примеч. 9 к письму 182.

[2] Чьи слова приводит здесь автор, установить не удалось.

[3] «Держаться <...> союза с Альбионом» — т. е. союза с Англией.

191. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.65. Л. 11—12

[1] А. И. Бибиков привез из столицы вести о мирных переговорах в Париже, предстоящей коронации Александра II и надежды на амнистию декабристам.

192. А. П. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.65. Л. 13—14 об.

[1] Кроме служебных обязанностей Н. Д. Свербееву мешало задержаться в Томске стремление увидеться со своей «милой невестой», дочерью С. П. Трубецкого *Зинаидой Сергеевной* (1837—1920). 22 марта Свербеев был уже в Ялуторовске у И. И. Пущина и пробыл там немного больше, но «<...> 12 часов — это много для курьера и жениха, но мало для нас, которые на лету ловили добрых людей» (*Пущин*. С. 301). Свадьба состоялась в Иркутске 29 апр. 1856 г. Редкая женщина — мать невесты Е. И. Трубецкая.

[2] Речь идет о «трех юридических давностях» — установленных

законом сроках, истечение которых влечет за собой юридические последствия: 1) исковая давность — утрата права на иск; 2) исполнительная давность — утрата права на принудительное исполнение решения суда, исключение уголовной ответственности либо возможности исполнения обвинительного приговора и 3) приобретательная давность — при определенных условиях давность владения вещью служит основанием приобретения права собственности на эту вещь.

193. В. И. Штейнгейлю

ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. № 2468. Л. 94—96; копия рукой К. К. Сунгурова. Местонахождение оригинала неизвестно

[1] Этот фрагмент от начала письма и еще два фрагмента (см. ниже): «Распутица в нынешнем году <...> не умрет ли кто еще» и «С иркутскими <...> как и родителям» — опубл.: Рус. старина. 1889. № 8. С. 340.

[2] *Ядринцев* (*Ядринцов*) *Михаил Яковлевич*, сибиряк, знакомый декабристов; вероятно, отец известного краеведа Сибири *Николая Михайловича Ядринцева* (1842—1894).

[3] Выпускника Московского университета Н. Д. Свербеева Батеньков ошибочно назвал лицеистом по аналогии с другими молодыми чиновниками—воспитанниками лицея, приглашенными Н. Н. Муравьевым на службу в Восточную Сибирь.

194. Н. Д. Свербееву

ГАИО. Ф. 774. Оп. 1. Д. 63. Л. 7—8 об.

[1] Имеется в виду внучка Степана Сосулина Зинаида, «имя дорогое» молодожену Свербееву. Девочку отправляли учиться в Иркутский девичий институт. Ее отец — Петр Степанович Сосулин.

[2] *Магеллан Фернандо* (1480—1521), выдающийся португальский мореплаватель; первый кругосветный путешественник; открыл пролив, соединяющий Атлантический и Тихий океаны — Магелланов пролив, отделяющий с юга Южную Америку от архипелага островов Огненная Земля. *Васко да Гама* (1469—1524), португальский мореплаватель, открывший морской путь в Индию.

[3] Батеньков говорит о Царскосельском лицее, который был образован в 1811 г. при участии М. М. Сперанского, и потому называет его: «творение моего второго отца»; в 1844 г. переименован в Александровский и переведен в Петербург, на Каменноостровский проспект, д. 19 (здание сохранилось, сейчас это Кировский пр., д. 21).

[4] О возвращении В. А. и К. Ф. Масоловых (Масаловых) в Иркутск (6 мая 1856 г.) Батеньков сообщил Я. Д. Казимирскому (см. письмо 197).

[5] Приветы передаются В. И. Якушкину, В. А. Бечасному, А. И. Бибикову и семье хозяйки иркутского аристократического салона *Елене Павловне Ротчевой* (урожд. Гагариной) и ее мужу *Александру Гавриловичу Ротчеву*, известному писателю, переводчику и путешественнику.

195. Е. И. Якушкину

ЦГАОР. Ф. 279. Оп. 1. Д. 459. Л. 15—16 об.

[1] Имеется в виду манифест Александра II от 19 марта 1856 г. об окончании Крымской войны 1853—1856 гг.

[2] *Пий IX* (1792—1878), римский папа в 1846—1878 гг., в марте 1848 г. под давлением революционного движения в Риме обнародовал «Основной закон» Папской области, но когда в янв. 1849 г. в Риме была провозглашена республика, Пий IX бежал. Став вдохновителем европейской реакции, он публично осудил войну итальянского народа за независимость. Светская власть папы с помощью французского экспедиционного корпуса была восстановлена в июне того же года. Об этом «горестном примере» в истории Италии и говорит Батеньков.

[3] Памятники великому баснописцу И. А. Крылову и историку, писателю Н. М. Карамзину были установлены: первому — в Летнем саду в Петербурге в 1855 г. (скульптор С. И. Гальберг); второму — в Симбирске в 1836 г. (скульптор П. К. Клодт). Упомянутые здесь памятники — очередной аллегорический оборот в рассуждениях автора о будущем и современном ему положении России.

[4] «Все 10 заповедей» — религиозно-нравственные предписания, сформулированные в Библии.

[5] Имеется в виду Министерство государственных имуществ, учрежденное 26 дек. 1837 г. (*ПСЗ*. Собр. 2-е. Т. 12. № 10834).

[6] Нантский указ (эдикт) — указ французского короля Генриха IV 1598 г., компромиссный итог Религиозных войн 1562—1594 гг. Этим указом католицизм объявлялся господствующей религией Франции, а гугеноты получали право на свободу вероисповедания и богослужений (кроме Парижа и некоторых других городов) и государственную службу. В 1629 г. эдикт был частично отменен, а в 1685 г. отменен окончательно, в результате пострадали французская торговля и промышленность, так как началась массовая эмиграция гугенотов в соседние страны.

[7] Кто такая А. И. Свербеева, установить не удалось.

[8] Вероятно, речь идет о немецком издании: Biblia das ist: Die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments verdeutschet durch Dr. M. Luther. Reutlingen, 1854.

[9] Елена Густавовна — Якушкина.

[10] «Сестра и племянники» — О. П. Лучшева и ее сыновья.

196. Н. Д. Свербееву

ГАИО. Ф. 774. Оп. 1. Д. 63. Л. 9—10

[1] 29 апр. 1856 г. — день свадьбы Н. Д. и З. С. Свербеевых.

[2] Пьер — П. С. Сосулин.

[3] Других сведений о Николае Филимонове и его дочерях не обнаружено.

197. [*Я. Д. Казимирскому*]

ИРЛИ. Ф. 604. Оп. 1. Д. 14. Л. 19—20 об.; копия. Местонахождение оригинала неизвестно

[1] Адресат письма установлен по содержанию.

[2] Фрагменты письма: «Прекрасно вы разобрали нынешнее <...> хотя глубоко несознательно» и «Скажу теперь <...> дружеских симпатий» опубл.: Рус. старина. 1889. № 8. С. 338—339, но с ошибочным указанием адресата — Н. А. Бестужеву и некоторыми неточностями. Стихотворение, приведенное в первом фрагменте,— один из вариантов 11-й строфы оды Батенькова «К математике», сочиненной в Петропавловской крепости. Полностью ода опубл.: *Илюшин.* С. 123—127.

[3] *Кониар* (Коньяр) *Медест Маврикиевич*, коллежский асессор, в 1856 г. исполняющий должность томского губернского прокурора.

[4] *Атопков Алексей Федорович*, в 1855—1856 гг. заседатель по поимке беглых в Томском земском суде, вероятно, его дочь выходила замуж за «известного» в Омске Я. Д. Казимирскому Семенова.

[5] Батеньков собирался поселиться в семье А. П. Елагиной. Звал его в Нижний Новгород «Иван Великий», т. е. Пущин, у которого там жила дочь Аннушка, а не декабрист И. А. Анненков, как полагает первый публикатор фрагментов письма.

[6] Речь идет о посольстве (1852—1855) с дипломатической и торговой миссией в Японию государственного деятеля, дипломата, контр-адмирала гр. *Ефимия Васильевича Путятина* (1803—1883), в результате которого был заключен первый русско-японский договор (1855); в 1856 г. Путятин — русский военно-морской атташе в Лондане и Париже; впоследствии адмирал; в 1861 г. министр просвещения.

[7] Г-жа Померанцева — дочь московской знакомой Батенькова; в 1820-х гг. в ее доме была квартира Елагиных.

198. Е. И. Елагиной

ГБЛ. Ф. 99, 2.68. Л. 1—2 об.

[1] Имеется в виду письмо от А. П. Елагиной. Алеша — сын Е. И. и В. А. Елагиных.

[2] Батеньков надеялся умереть в семье своего друга, А. А. Елагина, похороненного в Петрищеве. В окт. 1863 г. там и был похоронен декабрист.

199. В. И. Штейнгейлю

ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 2468. Л. 96—98 об.; копия рукой К. К. Сунгурова. Местонахождение оригинала не установлено

[1] *Анжу Петр Федорович* (1797—1869), адмирал флота; в 1820—1821 гг. лейтенантом был начальником Полярной (Устьянской) экспедиции; впервые описал Северное побережье Сибири от Оленска до Индигирки и ближайших островов и составил его точные

карты; в 1825—1826 гг. участвовал в экспедиции для описи северо-восточного берега Каспийского моря. 8 окт. 1827 г. на линкоре «Гангут» отличился в Наваринском сражении и был ранен; с 1844 г. контр-адмирал, капитан над Кронштадтским портом; в 1850-е гг. член (с 1857 г. почетный) Морского ученого комитета, составитель новых портовых штатов и портового регламента. В каком родстве он был с И. Д. Асташевым, неизвестно. Письма Батенькова к Анжу и Ф. П. Врангелю не обнаружены.

[2] Фрагменты письма: «Нельзя не заметить <...> сердечного благодарения» и «Маремьяна-старица <...> помогал доселе» (см. ниже) опубл.: Рус. старина. 1889. № 8. С. 340—341.

[3] Вероятно, вдова М. Я. Ядринцева, умершего в Томске (см. письмо 193).

200. В. И. Штейнгейлю

ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 2468. Л. 103—105;
копия рукой К. К. Сунгурова
Местонахождение оригинала не установлено

[1] Фрагмент письма: «Ты обратил <...> подвинуться на восток» опубл.: Рус. старина. 1889. № 8. С. 343.

[2] Речь идет о томском доме Ипполита Васильевича Квятковского, служившего на золотых приисках И. Д. Асташева в Томской губ.; Аполлинария Тимофеевна Квятковская — его жена.

[3] Имеется в виду генеральская звезда Я Д. Казимирского.

[4] «Губернаторствует» в Томске А. В. Виноградский.

201. В. И. Штейнгейлю

ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 2468. Л. 105—107 об.;
копия рукой К. К. Сунгурова.
Местонахождение оригинала не установлено

[1] Турбитация (от лат. turbo) — вращение.

[2] *Бакунин Михаил Александрович* (1814—1876), революционер-анархист, с 1840 г. жил за границей, участвовал в революционном движении в Германии 1848 г., в 1849 г. арестован, сидел в тюрьмах Саксонии и Австрии, в 1851 г. выдан царскому правительству и сидел в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, откуда написал Николаю I «исповедь» с раскаянием за свою революционную деятельность; Александру II подал прошение о помиловании, и за него ходатайствовал победитель Карса ген. от инфантерии Н. Н. Муравьев-Карский; в 1857 г. Бакунин был сослан в Сибирь и жил в Иркутске, а затем в Томске.

[3] Два фрагмента: «Настойчиво уверяют <...>. Узнаем и это» и «Восток был <...> от обязанности» (см. ниже) опубл.: Рус. старина. 1889. № 8. С. 343.

[4] Вероятно, речь идет о сыне адресата *Андрее Баронове*, родившемся в Сибири от жены-сибирячки, которому была дана не фамилия отца, а прозвище Баронов — от титула отца (барон), которого он был лишен в 1826 г.

[5] Стигмат (греч.) — укол, рубец, знак; здесь иносказание —

в смысле метки или клейма на теле преступника, которые применялись в древности, в том числе и следы распятия на теле Христа.

202. Н. Д. и З. С. Свербеевым

ГАИО. Ф. 774. Оп. 1. Д. 63. Л. 11—12

[1] И. Д. и В. И. Якушкины, декабрист и его сын, прибыли (по дороге из Иркутска в Ялуторовск) в Томск к Батенькову 17 авг. 1856 г., а 25 авг. И. Д. Якушкин был уже в Ялуторовске. На письме, адресованном им С. П. Трубецкому в день приезда в Томск, Батеньков сделал приписку: «Меня так ошеломил приезд Ивана Дмитриевича, особливо при [неразборчиво, может быть: отсутствии] меня, что едва успеваю руку приложить. Благодарю за грамотку и Александру Ивановну. Я более еще удивился, когда мне сказали, что приехали Свербеевы. Прощайте» (*Якушкин*. С. 438—439, 683). О кратком пребывании Якушкиных в Томске Батеньков и говорит: «не знаю, во сне или наяву». В приписке к письму Якушкина есть неточность — Свербеевы в Томске в авг. 1856 г. не появлялись, проезжали Давыдовы (см. примеч. 5).

[2] Е. И. Якушкин второй раз был в Сибири с конца сент. 1855 г. до 1 янв. 1856 г. О его возвращении в Москву и пишет Батеньков (*Якушкин*. С. 430, 434).

[3] См. примеч. 2 к письму 200.

[4] Речь идет, вероятно, о младшей дочери Е. П. Ротчевой *Ольге Александровне*, вышедшей замуж за *Ахиллеса Ивановича Чёрба-Заборинского;* старшая дочь Ротчевых вышла замуж за петрашевца Ф. Н. Львова только в начале 1860-х гг.

[5] Вдова декабриста В. Л. Давыдова *Александра Ивановна Давыдова* (урожд. Потапова) после смерти мужа (1855) получила разрешение выехать из Сибири; только в начале 1856 г. Давыдовы уехали из Красноярска и, проезжая Томск, встретились с Батеньковым.

[6] Сын С. П. Трубецкого *Иван Сергеевич* (1843—1874).

203. [С. П. Трубецкому]

ИРЛИ. Ф. 604. Оп. 1. Д. 14. Л. 21—22; копия

[1] Адресат установлен (предположительно) по содержанию письма. Батеньков явно пишет человеку, так же как и он, заинтересованному в той «причине», которая «действовала вчера», т. е. 26 авг. 1856 г., когда была коронация Александра II. В этот день декабристы рассчитывали получить амнистию. Надеясь на скорую встречу, автор делится своими мыслями с Трубецким, а через него и с остальными друзьями, находящимися в Восточной Сибири,— «рано схватывая день».

[2] «Выстрелы в Камчатке» — оборона Петропавловска-на-Камчатке (см. примеч. 3 к письму 152).

[3] Имеется в виду дело Д. В. Молчанова, закончившееся в Государственном совете.

[4] Сарепта (Сарпа) — немецкая колония в 28 верстах от Царицына, основанная в 1765 г. на р. Сарпе, впадающей в Волгу. Пер-

вые ее поселенцы — выходцы из Богемии, так называемые братья евангелической общины. При поселении они получали льготы: освобождение от всех налогов (на 30 лет), свободу торговли, самоуправление и суд, беспошлинное винокурение и пивоварение для собственных потребностей. Вблизи от поселения были целебные источники. Вот о такой «Сарепте» для декабристов и говорит Батеньков.

[5] См. примеч. 1 к письму 202. Эта фраза еще раз подтверждает, что комментируемое письмо адресовано С. П. Трубецкому — Н. Д. Свербеев, женатый на его дочери, жил вместе с ним, и, конечно, Трубецкой был знаком с письмом, адресованным зятю.

[6] Воспитанниц Иркутского девичьего института посещали и опекали жены и взрослые дочери декабристов, поселенных в Иркутске и его окрестностях, в том числе дружившие с детства *Александра* (Сашенька) *Владимировна Раевская* (в замужестве Бернатович) и З. С. Трубецкая (в замужестве Свербеева). Вероятно, их и благодарит Батеньков за заботу о девочках из Томска — «здешних цыплятах».

[7] Не исключено, что Трубецкой навещал в это время Олонки, где находился дом декабриста В. Ф. Раевского, знаменитый в Восточной Сибири своим садом, «не хуже Соломенного». Потому Батеньков и передавал привет: «хозяину вашего» Соломенного.

204. А. И. Лучшеву

Рус. старина. 1889. № 8. С. 344—345;
оригинал не обнаружен

[1] 22 сент. 1856 г. Батеньков выехал из Томска и 29 сент. был уже в Тобольске (см. письма 205 и 206).

[2] По амнистии права проживать в столицах Батеньков не имел.

205. С. П. Трубецкому

Илюшин. С. 144—145; оригинал см.:
ЦГАОР. Ф. 1143. Оп. 1. Д. 48

[1] Датировка основана на содержании письма 206. Батеньков писал: «<...> был уже я здесь, несмотря на баснословную дурную погоду, поутру в 7-й день, то есть 29 сентября», значит, он выехал из Томска утром 22 сент.

[2] После десяти ран, полученных в Монмиральском сражении 1813 г., и после выхода из Алексеевского равелина Петропавловской крепости друзья считали Батенькова воскресшим.

206. Н. Д. Свербееву

ГАИО. Ф. 774. Оп. 1. Д. 63. Л. 13—14

[1] В. И. Штейнгейль выехал из Тобольска 29 сент. 1856 г.; И. И. Пущин прибыл из Ялуторовска в Тобольск 27 сент., а 2 окт. вернулся и стал собираться к отъезду из Сибири; 18 окт. он выехал в Нижний Новгород. И. А. Анненков с семьей еще не знал, «поедет

ли он на Запад или останется в Тобольске»; *Флегонт Миронович Башмаков* (1775—1859) вернуться не мог, так как не имел на это ни средств, ни сил, и скончался в Сибири. М. И. Муравьев-Апостол выехал 1 дек., в г. Шадринске встретился с П. Н. Свистуновым и его семьей, и они вместе ехали в Нижний Новгород. Перечисляя друзей, встретившихся в Тобольске, где нужно было оформлять «паспортные» дела, Батеньков уведомляет адресатов о начавшемся выезде из Сибири ссыльных декабристов. См. также: *Пущин*. С. 311—321; *Якушкин*. С. 439—444.

[2] С. Г. Волконский уехал из Сибири в сент. 1856 г. вместе с сыном М. С. Волконским.

[3] С. П. Трубецкой с семьей выехал из Иркутска 30 дек. 1856 г.

[4] *Невельской Геннадий Иванович* (1813—1876), выдающийся исследователь Дальнего Востока, действительный член Русского географического общества, адмирал. В 1851—1855 гг. капитаном I ранга, затем контр-адмиралом — начальник Амурской экспедиции, переданной в марте 1853 г. по его инициативе в ведение Н. Н. Муравьева. 27 мая 1855 г. Амурская экспедиция была расформирована, а Невельской для его «успокоения» назначен начальником Штаба морских сил при ген.-губернаторе. В июле 1856 г. Невельской выехал с семьей с Дальнего Востока через Аян и Сибирь, поэтому в начале пути Батеньков ехал с ним из Томска (Алексеев А. И. Геннадий Иванович Невельской. М., 1984).

[5] В какое «родство» с Зиновьевым (Павлом или Петром Васильевичем?) вступал Невельской, установить не удалось.

[6] По манифесту 26 авг. 1856 г. дети декабристов получали титулы, которые имели их отцы до осуждения.

[7] Имеются в виду поляки — участники восстания в Польше 1830—1831 гг. и члены тайных обществ и организаций, сосланные по приговору суда на каторгу и ссылку в Сибирь.

[8] Семья П. Н. Свистунова поселилась в Калуге, Н. Д. Фонвизина — в Марьино Бронницкого уезда, недалеко от Москвы; М. М. Нарышкин — под Москвой; С. Г. и М. Н. Волконские — в Москве вместе с Е. С. Молчановой.

[9] Ждали Батенькова в семье А. П. Елагиной «как утешителя» в связи со смертью И. В. Киреевского (см. письмо 201).

207. [Я. Д. Казимирскому]

ИРЛИ. Ф. 604. Оп. 1. Д. 14. Л. 23—24 об.; копия

[1] Адресат письма установлен по его содержанию, прежде всего по привету дочери адресата — Александре Яковлевне и «всей столице Западной Сибири», т. е. Омску, где он служил. В первой публикации фрагментов письма (см. примеч. 3) адресатом назван В. И. Штейнгейль. Это неверно — о Штейнгейле автор сообщает в конце первого абзаца.

[2] Бараба — Барабинская степь в Западной Сибири, образующая плоский водораздел между Обью и Иртышом; местами по равнине в северо-восточном направлении тянутся невысокие гривы (гряды), много болот и солончака; в степи много озер, в том числе озеро Чаны.

[3] Два фрагмента письма: «Сижу у моря <...> смелость баро-

на» и «Странны эти <...> скука неизбежна» (см. ниже) впервые опубл.: Рус. старина. 1889. № 8. С. 345—346, с ошибочным наименованием адресата и несколькими неточностями.

[4] *Тотлебен Эдуард Иванович* (1818—1884), ген.-лейтенант инженерных войск, организатор сухопутной обороны Севастополя в 1854—1855 гг.

[5] Контр-адмирал В. С. Завойко по распоряжению Н. Н. Муравьева от 27 авг. 1855 г. о расформировании Амурской экспедиции стал камчатским ген.-губернатором с местопребыванием в Николаевске, и все чины, состоявшие в экспедиции, переходили под его начальство. «Тяжелый поезд Завойко» — имеется в виду отъезд контр-адмирала с Дальнего Востока в Петербург; из Николаевска на пятипушечном транспорте «Иртыш» плыли до Аяна, а затем по Аянскому тракту на лошадях, по рекам на лодках до Якутска.

[6] *Выгодовский* (Дунцов) *Павел Фомич* (1802—1881), декабрист, бывший чиновник канцелярии волынского губернатора, член Общества соединенных славян; осужден по VII разряду, каторгу отбывал в Чите, был на поселении в Нарыме; в 1854 г. был заключен в тюрьму; за обнаруженные у него при обыске антиправительственные, революционные и антицерковные сочинения сослан на бессрочное поселение в г. Вилюйск. Умер в Иркутске.

[7] Имеется в виду Ф. Н. Анненский, начальник 1-го отделения Совета Главного управления Западной Сибири, действ. ст. сов. А. В. Виноградский в 1856 г. был председателем Томского губернского правления и губернского Приказа общественного призрения.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВД — Восстание декабристов. Материалы. Т. 1—18

ГАИО — Гос. архив Иркутской области

ГАОО — Гос. архив Омской области

ГБЛ — Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

ГИМ — Гос. Исторический музей

ГПБ — Отдел рукописей и редких книг Гос. публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина

Декабристы. Летописи. Кн. 3 — Декабристы. Летописи Гос. Литературного музея. М., 1938. Кн. 3

Илюшин — Илюшин А. А. Поэзия декабриста Г. С. Батенькова. М., 1978

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинского дома)

Карцов — Карцов В. Г. Декабрист Г. С. Батеньков. Новосибирск, 1965

ЛН — Литературное наследство

ЛО Арх. АН СССР — Ленингр. отделение Архива АН СССР

Мейлах — Мейлах Б. С. Из неизданного литературного наследия декабристов // Декабристы и русская культура. Л., 1975

Нечкина — Нечкина М. В. День 14 декабря 1825 года. М., 1975.

Письма Г. С. Батенькова — Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толля. Из архива Елагиных. М., 1936

ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи

Пущин — Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956

Раевский — Раевский В. Ф. Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск, 1980, 1983. Т. 1, 2

Семенова — Семенова А. В. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982

Трубецкой — Трубецкой С. П. Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск, 1983, 1987. Т. 1, 2

Фонвизин — Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Иркутск, 1979, 1982. Т. 1, 2

ЦГАВМФ — Центр. гос. архив Военно-Морского Флота СССР

ЦГАЛИ — Центр гос. архив литературы и искусства СССР

ЦГАОР — Центр. гос. архив Октябрьской революции, высших органов гос. власти и гос. управления СССР

ЦГВИА — Центр. гос. военно-исторический архив СССР

ЦГИА — Центр. гос. исторический архив СССР

Якушкин — Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951

УКАЗАТЕЛЬ ПИСЕМ ПО АДРЕСАТАМ

(после фамилий указаны номера писем)

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ

Батеньков Г. С. Сочинения и письма.

Б28 Т. 1. Письма / Издание подготовлено А. А. Брегман и Е. П. Федосеевой.— Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1989.—528 с., ил.— (Серия «Полярная звезда»).
3 р. 20 к.; 3 р. 30 к.

В томе публикуются письма Г. С. Батенькова периодов до восстания, сибирской ссылки и после амнистии до выезда из Сибири (октябрь 1856 г.). В них раскрываются многие стороны биографии декабриста, единственного из осужденных, просидевшего 20 лет в Петропавловской крепости.

Б $\frac{0505010000-08}{М141(03)-89}$ 60—89

9(С)15

9(С)15
Б 28

ISBN 5—7424—0037—3

Г. С. БАТЕНЬКОВ. Сочинения и письма. Т. 1. Письма

Художник серии А. М. Муравьев
На обложке портрет Г. С. Батенькова, выполненный художником Н. П. Нератовой
На фронтисписе портрет Г. С. Батенькова с литографии Е. А. Зеленцова, 1822 г.

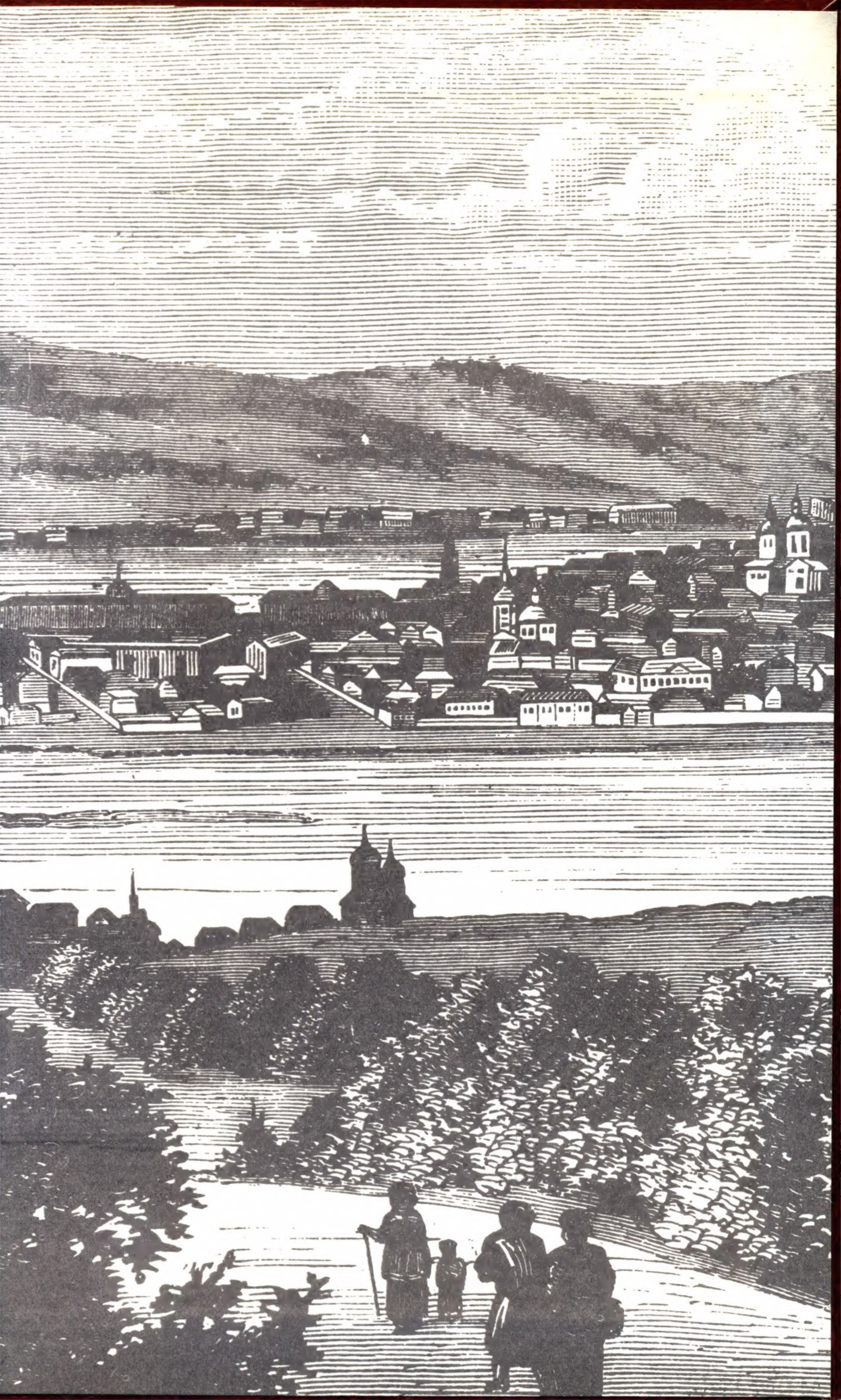
Редактор А. В. Глюк
Художественный редактор Е. Г. Касьянов
Технический редактор А. В. Пономарева
Корректор А. С. Лысенко

ИБ № 1325

Сдано в набор 31.05.88. Подписано в печать 24.10.88. НЕ 00087. Формат 84×108 1/32. Типографская № 1. Гарнитура академическая. Высокая печать. Усл. печ. л. 27,82 (с фр.). Уч.-изд. л. 30,22 (с фр.). Усл. кр.-отт. 28,04. Тираж 50 000 экз. Заказ 1719. Изд. 6235. Цена 3 р. 30 к.; на типогр. бум. № 2 — 3 р. 20 к.

Восточно-Сибирское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 664000, г. Иркутск, ул. Марата, 31.
Типография издательства «Восточно-Сибирская правда», 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109.





3 р. 30 к.

Иркутск 1989


Г.С. БАТЕНЬКОВ